8

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

8



ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Собрание сочинений в десяти томах

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

ВАЛЕНТИН КАТАЕВ

Собрание сочинений

ТОМ ВОСЬМОЙ

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ,
ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ
РОГ ОБЕРОНА

КЛАДБИЩЕ
В СКУЛЯНАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1985

Р2
К29

Оформление художника
Ю. БОЯРСКОГО

© «Кладбище в Скулянах». Издательство «Молодая гвардия», 1976 г. Оформление. Издательство «Художественная литература», 1985 г.

К $\frac{4702010200\text{-}128}{028(01)\text{-}85}$ подписное

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ РОГ ОБЕРОНА

...сквозь сон.

Мама привезла меня в Екатеринослав показать своим родным. Думаю, мне было тогда года три-четыре. В Екатеринославе у меня оказалась бабушка, и это меня удивило, так как у меня уже была одна бабушка — папина мама,— вятская попадья, маленькая старушка, жившая вместе с нами. Тогда я узнал, что у каждого человека есть две бабушки: одна папина мама, другая мамина мама. Погостив некоторое время в Екатеринославе у бабушки, где жили еще несколько маминых сестер, моих теток, мы собрались ехать обратно в Одессу на поезде, отходившем по расписанию в 10.10 ночи.

О, как мне запомнились эти пугающие своей точностью «десять-десять», вероятно еще более черные, чем сама железнодорожная ночь, которую мне предстояло пережить.

Я еще никогда не видел ночи.

Уже в семь часов вечера меня обычно начинало неодолимо клонить ко сну, а в восемь, иногда даже не дослушав шипенья, заскока и пружинного боя столовых часов, я падал как бы с намагниченными глазами в еще не познанную, непостижимую для меня область почи и почти в тот же миг всплывал на поверхность из глубины сна, открывал глаза и видел яркое южное утро нового дня,

солнце, бьющее в щели крашеных деревянных ставней, приделанных к окнам не снаружи дома, а внутри, как все ставни в нашем городе.

Теперь же, в Екатеринославе, поминутно засыпая, я сидел в бабушкиной и дедушкиной квартире, в столовой, и еле держался на неудобном высоком стуле с резной спинкой, украшенной двумя точеными шишечками, что представлялось мне верхом роскоши и богатства. Передо мной простирался большой обеденный стол мореного дуба. Этот прямоугольный стол без скатерти был какого-то зловещего цвета, настолько темного, что его никак не могла хорошо осветить лампа с белым абажуром, висящая на бронзовых цепях, тоже очень мрачных.

Все было мрачно в этой большой екатеринославской комнате, все в ней пугало меня, несмотря на присутствие доброй, толстой, красивой, как пожилая королева, бабушки — мамочкиной мамы,— которая всей душой любила меня, баловала, играла на фортепьяно веселые польки, брала меня под мышки, поднимала, сажала на свои пухлые колени, и я прижимался к ее шелковому платью, как бы погружаясь в его шорох. Все мамины сестры — мои тети, а их было очень много, кажется семь,— тоже баловали, любили меня, тискали, давали конфеты и восхищались, какой я умненький мальчик и как смешно, что у меня две макушки, два волосяных водоворотика, что предвещало счастье, удачливость, везение в жизни. Тетки были разные, но похожие друг на друга — молоденькая тетя Маргарита, и тетя Наташа, служащая в земской управе, и тетя Клёня — Клеопатра, строгая, как пиковая дама, которая служила в Контроле, и тетя Нина — гордость и надежда семьи, красавица,— и еще другие тети, среди которых я катался как сыр в масле.

Тем не менее в этом доме меня что-то угнетало, пугало, я даже чувствовал в нем что-то отталкивающее.

Тогда я не понимал, что это такое, а теперь понимаю: это пугающее был дедушка — мамин папа, муж бабушки,— отставной генерал-майор в узком длинном военном сюртуке с двумя рядами медных гладких пуговиц, с бакенбардами и костистым покатым лбом царя-освободителя. Я любил дедушку, но в то же время боялся. Боялся его костлявых пальцев, которыми он умел трещать, его

качалки, в которой он с трудом покачивался, силясь согнуть в коленях окостеневшие ноги, боялся всего того, что содержалось в бабушкиных словах, сказанных моей маме: «Второй удар», вселивших в мою душу необъяснимый ужас...

Лимончик и Кудлатка.

Уже было, наверное, больше восьми часов вечера — в моем представлении глубокая ночь,— а я все еще маялся и не спал, и никто не спал, и мы все еще не трогались с места, не ехали на вокзал, хотя наши портпледы, картонки и корзины стояли в темноватой прихожей и уже было послано за извозчиками. Все чего-то ждали в этой пасмурной столовой.

— Чего мы ждем? — спросил я, собираясь захныкать.

— Не торопись, сейчас узнаешь,— сказала веселая тетя Маргарита, таинственно блеснув глазами.

— А что?

— Сюрприз.

Тут же раздался звонок и вошла еще одна тетя — Люда,— а вслед за ней дворник внес нечто довольно большое, упакованное в магазинную бумагу. И сразу все выяснилось. Оказывается, дедушка дал тете Люде золотые десять рублей и поручил ей купить для меня в игрушечном магазине самый лучший подарок.

Своими маленькими цепкими ручонками, еще липкими от знаменитого бабушкиного клубничного варенья, я надорвал оберточную бумагу и увидел стеклянный глаз и часть лошадиной деревянной морды с шерстью и яркокрасными ноздрями. Сердце мое вздрогнуло от радости. В бумаге оказалась большая игрушечная лошадь на деревянных колесиках, черная, в яблоках желтого цвета.

— Какие лимончики! — закричал я в восторге, после чего лошадь тут же получила кличку Лимончик.

Не теряя времени я начал играть с Лимончиком и возить его за клеенчатую узду по комнатам, но именно тут-то и наступило время ехать на вокзал.

Лимончика положили на стол, и тетя Клёня стала зашивать его в рогожу громадной кривой иглой, без чего по железнодорожным правилам вещи в багаж не принимались, а везти Лимончика с собой в купе строго запрещалось. Видя, как мой чудный, ненаглядный Лимончик

превращается в обыкновенный железнодорожный багаж, я стал бросаться от мамы к бабушке, хватая их за юбки:

— Мамочка! Бабушка! Как же я его буду по дороге кормить овсом и сеном и поить ключевою водой? Не зашивайте его всего. Пусть хоть морда черчит!

Я еще плохо говорил, и вместо «торчит» у меня получилось «черчит», что всех умилило и насмешило.

Я так рыдал, что пришлось распороть рогожу и открыть морду лошади с деревянными зубами и жесткой челочкой. И потом, получив рубль на чай, обер-кондуктор в круглой барашковой шапочке и широких шароварах, напущенных на низкие сапожки, как у императора Александра III, разрешил поместить Лимончика в тесном купе второго класса, заваленном пледами и шляпными коробками, и я кормил лошадь отборным зерном и поил ключевою водою, поднося к ее торчащей из рогожи морде за неимением ведра свой суконный ботик с черной решетчатой стальной пряжкой, которую я называл на своем детском языке «заслонка», а мама в своем сером саке с большими перламутровыми пуговицами, в шляпе с перьями сидела на полосатом диване и плакала, вынимая из муарового мешочка носовой платок и прикладывая его к покрасневшим глазам, то и дело поднимая на лоб густую черную вуаль.

Не знаю, когда именно, тогда или потом, но я со смутным беспокойством чувствовал, что и этот чистенький батистовый носовой платочек, и мокрые мамины ресницы, и ее смугловатая щека, и траурная вуаль имеют какое-то отношение к дедушке, которого мы видели в последний раз. Он стоял на пороге столовой, держась дрожащей рукой за темную портьеру, и не сводил стекленеющих глаз с моей мамы и с меня, уже одетых и готовых выйти из квартиры на лестницу. Потом уже с улицы я увидел его в окне: он все время крестил нас костлявыми перстами, пока мы усаживались на извозчика и устраивали у моих ног зашитого в рогожу Лимончика.

После изнурительно медленной дороги по новороссийским степям — от восхода до заката, когда солнечный свет с непрерывной медлительностью перемещался по качающемуся на рессорах вагону-микст и заглядывал то в окошки с шерстяными занавесками, то вкось вагонного коридора то малиново-красный, то янтарно-желтый, то

ослепительно-полуденный, но всегда насыщенный особенно мелкой, сияющей вагонной пылью, а потом наступила последняя ночь, и толстая стеариновая свеча багрово горела, шатаясь в стрекочущем фонаре, и проходил контроль, щелкая щипцами, а потом наконец прелестным ранним утром поезд подошел к перрону нашего вокзала, по которому бежал очень знакомый человек в пальто и мягкой шляпе, легкий, стремительный, с бородкой, в пенсне,— это был мой папа, и тут же я очутился в тесных объятиях между ним и мамой, и мы втроем, заваленные дорожными вещами, ехали на извозчике по сухой, звонкой мостовой. Мама и папа сидели сзади, а я перед ними на откидной скамеечке, а Лимончик стоял между нами с высунутой из рогожи мордой, и папа весело, но сконфуженно захохотал, так как оказалось, что он опростоволосился: тоже сделал мне сюрприз — купил другую лошадь, которая уже ждет не дождется меня дома; папа заплатил за нее пять рублей, и она была совсем в другом роде, чем дедушкин Лимончик,— гораздо меньше, со светлой гривой, волнистым хвостом, и была не на колесиках, а на качалке и называлась Кудлатка. Хотя они были не в масть и не в пару, но я запрягал их в опрокинутый стул, превращался в ямщика и мчался с удалыми песнями по Волге-матушке зимой — по янтарно-красному крашеному полу, жарко освещенному южным солнцем, бьющим в окна.

Две лошади!

О таком счастье я даже не мечтал. Покачавшись на Кудлатке и посидев верхом на высоком Лимончике, я ставил своих лошадей в стойло, мордами к обоям, засыпал им отборного зерна, поил их ключевою водой, а потом забирался под мамин туалетный столик, нарядно задрапированный веселеньким ситчиком, с фигурным стоячим зеркалом и всякими интересными вещицами и длинной шкатулкой из лимонного дерева, где хранились мамины длинные перчатки и маленький театральный бинокль в складывающемся футляре, и шляпные булавки с черными шариками, и разные вуали и вуалетки.

Сидя под нарядным туалетным столиком, отгороженный от всего мира просвечивающей на солнце материей, я видел изнанку столика: грубо обструганные сосновые доски и ножки, скрепленные почти черным столярным клеем, проступавшим из узких пазов, тошнотворно попахивали какой-то дохлятиной, и можно было бы сойти

с ума от этого запаха, если бы не чистейшие капли сосновой смолы, сверкавшие на струганой поверхности досок, составлявших потолок этого секретного домика. Мне было жутко и вместе с тем сладко сидеть в своем уединении, рассматривая сучки и задоринки окружающего меня дерева. Весь мир в эти минуты был сокращен до крошечного пространства, в котором я был добровольно заключен.

И вдруг я услышал крик мамы:

— Почтальон!

...Я вылез из-под туалета и увидел маму, которая стояла возле окна, с ужасом глядя в перспективу странно неподвижной, как бы нарисованной улицы с одноэтажными и двухэтажными домами, крытыми черепицей или железом, с булыжной мостовой, акациями и стройным почтальоном без обычной большой сумки, а с маленькой черной сумочкой на черном поясе впереди — для телеграмм.

— Это к нам! — вскрикнула мама и побледнела.— Я знаю. Я чувствую. Я видела это сегодня во сне!..

Была еще надежда, что почтальон пройдет мимо нашего подъезда. Но он, двигаясь как заводная игрушка, в своей форменной фуражке, с черными усиками, вдруг круто повернул в наш подъезд, поднялся по ступеням нашей лестницы.

— Пронеси господи,— одними губами, неслышно, проговорила мама.

Была еще надежда, что почтальон позвонит в квартиру напротив. И сейчас же в передней завизжала проволока и вздрогнул колокольчик. Мама рванулась в переднюю. От ее шлейфа пролетел ветер. Потом она вернулась обратно в комнату с белой телеграммой в руке, села на стул, склонилась головой на грудь, и я увидел слезы, которые быстро бежали по ее побледневшим щекам.

Я сразу понял, что в Екатеринославе умер дедушка.

Пенсне.

Думаю, причиной этого случая было папино пенсне — со стальной дужкой, пробковыми прокладочками в тех местах, где оно защипывало переносицу, и черным шнур-

ком, пристегивавшимся к верхней пуговице жилета. Теперь такие пенсне называются старомодными или даже чеховскими и встречаются лишь на сцене, когда требуется изобразить дореволюционного интеллигента.

Вижу, как папа надевал и снимал пенсне, беря его за металлическую петельку и отставляя в сторону, а то и просто сбрасывал легким движением пальцев, причем оно повисало на шнурке и некоторое время, поблескивая овальными стеклами, качалось как маятник, и тогда я видел по сторонам папиной переносицы коралловые вдавлинки, делавшие его бородатое лицо особенно милым и обезоруживающе растерянным.

Мама тоже носила пенсне, но с черным ободком и тоже со шнурком, и я не любил, когда она его надевала, сразу же становясь в моих глазах уже не мамочкой, а строгой дамой.

Папа в пенсне и черной фетровой шляпе с широкими полями и мама в жакете с узкими рукавами, в вуали, в пенсне, в шляпе с орлиным пером, которое трепал свежий, довольно сердитый морской ветер, сидели на палубе на решетчатой скамейке, а за ними с головокружительным однообразием несло назад темные волны с барашками и кружевную пену, бьющую из-под деревянных колес парохода; из двух черных труб валил дым, и сажа косо проносилась над палубой, сыпалась в темно-зеленую, почти черную от надвигающейся бури воду.

Папа и мама, весело ежась, засунули озябшие руки в рукава. Сидя между ними, я пытался сделать то же самое, но обнаружилось, что я уже вырос из своего матросского пальтишка с золочеными дутыми пуговицами и мои руки не влезали в рукава, ставшие очень тесными, короткими.

А море все неслось и неслось мимо нас, плоское и взволнованное, простираясь до самого горизонта, покрытого тучами, из которых уже высунулся и опускался крутящийся хобот, а из воды навстречу ему поднимался другой вертящийся хобот, и наконец они соединились, и свинцово-синий смерч побежал по горизонту, и я отправился в своей пухлой матросской шапочке с беснующимися лентами гулять по палубе, разглядывая спасательные круги с надписью «Тургенев» и спасательные

шлюпки, покрытые брезентом, и гулял до тех пор, пока не очутился в руках у студентов и курсисток, ехавших в третьем классе из Аккермана в Одессу. Курсистки были в маленьких суконных шапочках, бурнусах и козловых башмаках, те самые курсистки, которые уже несколько раз издали с любопытством поглядывали на нас, посылая нам, в особенности папе, необъяснимые улыбки. Они стали меня нежно тормошить, тискать, даже один бородатый студент в старой тужурке и помятой фуражке с голубым выгоревшим околышем сделал попытку пощекотать меня под мышками, чего я терпеть не мог, при этом он весьма глупо присел передо мной на корточки, щекоча мое лицо жесткой бородой и пугая стальными очками с увеличительными стеклами.

Я заревел и стал лягаться, но курсистки спасли меня от студента и сунули мне в руку сухой апельсин и шоколадку с передвижной картинкой на обертке — шоколадка, наверное, долго лежала в кармане и размякла.

— Мальчик, как тебя зовут? — спросила одна курсистка, прижимая меня к груди.

— Валя,— ответил я.

— Какая прелесть!

— А как твоя фамилия?

— Катаев.

— Странно. Это твой папа?

— Мой. А что?

— Родной папа?

Я не понимал, чего они от меня хотят, и молчал.

— Ты, мальчик, наверное, что-то путаешь. Просто не понимаешь или притворяешься.

— Я не притворяюсь.

— Так скажи же нам, Валюша, как зовут твоего папочку? Антон Павлович, правда?

— Ничего подобного!

— А как же?

— Петр Васильевич.

— Странно. Он писатель?

— Не писатель, а учитель,— сердито сказал я.

— Странно,— сказала одна из курсисток, та самая, что дала мне сухой апельсин и мягкую шоколадку.

— Ничего странного, а просто он учитель в епархиальном училище и немножко в юнкерском.

— Значит, он не Чехов? — разочарованно сказала курсистка.— Странно. Во всяком случае, поразительное сход-

ство: бородка, лучистые глаза, пенсне со шнурком, мягкая улыбка... Гм... Чего же ты стоишь, мальчик? Иди к родителям, они, наверное, беспокоятся, что ты можешь упасть в воду.

В тот же миг я остался один, как Чацкий на балу. А папа и мама, которые все слышали, сидели, прижавшись друг к другу плечами, засунув руки в рукава, на фоне бегущего моря, и хохотали до слез, а мама все повторяла, морща под вуалью нос:

— Я же тебе говорила, Пьер, что в этом пенсне ты вылитый Чехов.

Мне показалось, что папа несколько смущен.

— Мама,— спросил я,— что такое Чехов?

— Вот научишься читать, тогда узнаешь,— сказала мама.

Все же у меня остался неприятный осадок, что мой папа не Чехов.

Письмо внучке.

Моя дорогая! Недавно, лежа в больнице и читая дневники Льва Толстого последних лет — примерно тех лет, когда он был в моем возрасте или, вернее, теперешний я был в его тогдашнем возрасте,— нашел я много поразительных мыслей, и среди них такую:

«Память уничтожает время...»

Как это верно, хотя с таким же успехом можно было бы написать, что время уничтожает память. Впрочем — не совсем: кое-что остается. Но все равно — удивительно верно.

Вот еще что прочел я в дневнике Толстого:

«...Если будет время и силы по вечерам, то воспоминания без порядка, а как придется... Очень стал живо вспоминать...»

Это дневники 1904 года. Ты их, несомненно, когда-нибудь прочтешь. Очень советую. А вот из дневников 1893 года — еще более поразительно и бесстрашно:

...«Искусство, говорят, не терпит посредственности. Оно еще не терпит сознательности».

Это очень отвечает моим теперешним мыслям. Попробую заняться воспоминаниями именно так, как советует Толстой: без порядка, а как придется, как вспомнится, не забывая при этом, что искусство не терпит сознательности.

Пускай мною руководят отныне воображение и чувство.

Итак, дорогая внучка, хочешь, я расскажу тебе без порядка, а как придется про одного маленького мальчика с круглым простодушным лицом, узкими глазками, одетого, как девочка, в платьице с широко наглаженными плоеными складками.

Должен тебе сказать, что тогда маленьких мальчиков было принято одевать как девочек. Когда же в первый раз на мальчика надели короткие штанишки, он был очень горд, то и дело просил маму поднять его к зеркалу, чтобы он мог увидеть свои новые штанишки и ноги в длинных фильдекосовых чулках на резиновых подвязках, пристегнутых к лифчику. Потом этот мальчик поступил в гимназию, стал носить длинные суконные брюки, и так далее.

Самое удивительное, что этот мальчик был не кто иной, как я сам, твой старый-престарый дедушка с сухими руками, покрытыми коричневыми пятнами, так называемой гречкой...

Вот примерно все, что я хотел сказать тебе, моя дорогая, горячо любимая внучка. А теперь попробую продолжить свои воспоминания «без порядка, а как придется».

Золоченый орех.

Были, правда, еще серебряные орехи, но мне больше нравились золотые. В серебряных орехах было что-то траурное. Золотые же орехи блестели на елке как солнышки, радуя сердце.

Что-то у нас на елках вывелись золотые орехи!

Помню, в детстве мы их сами золотили. Это было не так-то легко.

— Подумаешь, как трудно! — скажешь ты.

— А вот, представь себе, не так-то просто. Совсем не просто.

— А чего: взял золотую краску, помазал кисточкой орех — и готово дело!

— Вот у тебя и получится некрасивый орех, хотя и золотого цвета, да с каким-то бронзовым оттенком, не яркий, а мутный, крашеный. У нас же орехи были как зеркальное золото, и сияли они, как церковные купола, отражая солнце и небо. И сияли они так потому, что их не красили так называемой «золотой краской», а покрывали сусальным золотом, которое продавалось в виде книжечек, состоящих из двадцати тончайших листиков настоящего золота, переложенных папиросной бумагой. Каждый листик сусального золота был так тонок, почти невесом, что по сравнению с ним папиросная бумага казалась грубой, толстой.

Для того чтобы вынуть из книжки золотой листок, надо было на него осторожно подуть. Тогда с легким шелестом он приподнимался, и можно было его очень осторожно, двумя пальцами вынуть из книжечки и подержать на весу, прислушиваясь к шороху, который он издавал, почти неслышному и все же — как это ни странно — металлическому.

Если бы можно было усилить этот звук, увеличить его в несколько тысяч раз, то, несомненно, послышалось бы громыханье листа кровельного железа. Лист кровельного синеватого железа, подвешенный за угол, в то время употреблялся за кулисами театра для воспроизведения грома.

...Я сам однажды видел в театре Попечительства о народной трезвости, притаясь за кулисами, как машинист сцены тряс лист кровельного железа, подвешенный к колосникам, как он изредка бил по нему барабанной колотушкой, а в это время притихшие зрители слышали раскаты грома, видели в окнах декораций вспышки молний, и Герцог с приклеенной бородкой, отряхая с плаща струи воображаемого ливня, шагая по доскам сцены клеенчатыми ботфортами, с разноцветными буфами на рукавах, напоминавшими бумажные японские фонарики, пел изо всех сил, желая перекричать бурю в оркестре:

«Сердце красавицы склонно к измене и перемене».

А все вместе — и гром, и молния, и музыка, и дневной спектакль — каким-то образом, так же как и золотой орех, было составной частью рождества...

Для того чтобы как следует приготовить золотой орех, требовались следующие вещи: чайное блюдце с молоком, молоток, обойные гвоздики, немного разноцветного гаруса. Нужно было подуть в книжечку, чтобы в ней зашевелились золотые листики, а затем один из них нежно вынуть чистыми, сухими пальцами. На грязных или же влажных пальцах — чего боже упаси! — тотчас же оставались золотые следы, подобные отпечаткам пыльцы с бабочкиных крыльев, и сусальный листик оказывался безнадежно испорченным, продырявленным.

Если удавалось, не повредив, извлечь из книжечки сусальный листик и с величайшей аккуратностью положить его на чистый, сухой стол, тогда предстояла еще одна операция, не такая тонкая, но все же требующая чистоты и аккуратности: нужно было двумя пальцами взять грецкий орех — иногда его у нас в городе называли волошский,— по возможности красивый, спелый, нового урожая, с чистой, твердой скорлупой, и равномерно вывалять его в блюдце с молоком, после чего, подождав, пока лишнее молоко стечет, осторожно положить его на сусальный листик и закатать в него с таким расчетом, чтобы весь орех оказался покрытым золотом. Вызолоченный таким образом, слегка влажный, но восхитительно, зеркально светящийся золотой орех откладывался в сторону на чистый подоконник, где он быстро высыхал и становился еще более прекрасным.

И все же орех еще не готов: к нему надо прибить маленьким каленым обойным гвоздиком — теперь такие гвоздики вывелись из употребления — гарусную цветную петельку, чтобы можно было повесить его на елочную ветку. Здесь вся трудность заключается в том, чтобы не повредить позолоту, а также чтобы гвоздик не расколол орех, что случалось довольно часто, так как гвоздик следовало вбивать в самую макушку, где орех легко колется, вдруг распадаясь на две части, внутри которых под толстой скорлупой видны как бы мозговые извилины ядра. Поэтому следует очень осмотрительно выбирать место для гвоздика и забивать его еще более осмотрительно, хотя и прочно, чтобы гарусная петелька — ярко-

зеленая, алая, канареечная или белоснежная, как сама русская зима,— надежно держалась и ни в коем случае не могла оторваться.

Вот тогда только целый, крепкий, звонкий, золотисто-зеркальный, с синей шляпкой обойного гвоздика в макушке и гарусной петелькой елочный орех может считаться вполне готовым.

Остается только повесить его на елку, просовывая руку в колючую мглистую чащу, опьяняющую ни с чем не сравнимым, острым запахом мерзлой хвои.

Там золотой орех таинственно светится как бы сам собой даже тогда, когда свечи уже потушены, рассеялся их парафиновый чад, только остались на елочных иголках разноцветные потеки и в комнате темно, а он все светится и светится, отражаясь в замерзшем окне, за которым во всей своей красе стоит зимняя лунная ночь, прозрачная, как лимонный леденец...

Французская борьба.

Перед последним отделением как бы сам собой на арене появлялся толстый ковер, без единой складки разостланный на опилках,— магический квадрат, бубновый туз, вписанный в красный бархатный круг циркового беленого барьера с двумя звеньями, уже откинутыми в разные стороны перед небольшим, плотно задернутым занавесом, из-за которого должны были выйти борцы.

К этому часу цирк уже был наполнен снизу доверху, до самой галерки, до железного рифленого купола, а первые ряды, до сих пор пустовавшие, теперь представляли великолепное зрелище больших дамских шляп со страусовыми перьями, воздушных, как пена, боа на шеях городских красавиц, котелков, шелковых цилиндров, офицерских фуражек с цветными околышами и щегольски поднятыми на прусский манер тульями.

Меха, гетры, лаковые остроносые ботинки, узкие студенческие брюки на штрипках, трости с золотыми набалдашниками, цейсовские полевые бинокли, отражающие снаружи в своих выпуклых стеклах миниатюрную картину цирковой арены с ковром посередине, и висячие электрические фонари, шипящие вольтовой дугой между двух угольных стержней.

Шипенье вольтовой дуги еще более усиливало напряженную тишину ожидания; все глаза были прикованы к выходу на арену, к коридору между двух высоких, выбеленных мелом дощатых стен самых дорогих лож, занятых самой шикарной публикой, и повисшим вверху между ними оркестром, из-под которого из узкого прохода должны были с минуты на минуту появиться «они».

Напряжение было так велико, что даже студент-белоподкладочник, подкативший к подъезду цирка на собственном рысаке, выскочил на ходу из лакированной пролетки и, придерживая на груди накинутую на плечи николаевскую шинель с бобровым воротником, шел затаив дыхание, на цыпочках вдоль барьера, близоруко сквозь стекла золотого пенсне разыскивая свое место в первом ряду.

И вот наконец среди тишины ожидания, достигшего высшей точки, из прохода вальяжной походкой охотнорядца вышел знаменитый Дядя Ваня в синей поддевке со сборками сзади, в сапогах, мещанском картузе, с закрученными усами, держа в руке большой роговой свисток, как у городового, и зычным, ерническим голосом, привыкшим к цирковой акустике, объявил «всемирный чемпионат французской борьбы», а затем, еще более усилив торжествующий голос — так, что под рифленым куполом слегка качнулись подвязанные трапеции,— обернулся к занавесу и крикнул властно и вместе с тем бархатно:

— Парад алле!

В тот же миг занавес волшебно приоткрылся, и оттуда на арену под звуки грянувшего марша стали один за другим выходить борцы, раскачивая голыми локтями, согнув могучие спины, и, обойдя арену, остановились, образуя круг.

— На всемирный чемпионат французской борьбы прибыли и записались следующие борцы,— объявил Дядя Ваня, оглядел сверху донизу переполненный цирк и, как продавец, показывающий лицом свой лучший товар, стал не торопясь называть имена борцов.

Каждый из названных на свой манер раскланивался с публикой. Иной оставался стоять на месте и, скульптурно надув грудные мышцы, ограничивался лишь тем, что коротко наклонял стриженную под нуль, как у солдата, голову с изуродованными, мясистыми ушами. Иной делал шаг вперед и, подняв вверх согнутые руки, играл чудовищно напряженными бицепсами Геркулеса. Иной ко-

ротышка проворно выбегал почти на самую середину ковра и, прижав руки к груди, как-то по-восточному кланялся на все стороны и быстро возвращался на свое место. Иной стоял неподвижно, как прекрасная античная статуя, не шевелясь и даже не кланяясь, а лишь слегка повернув красивую голову со светлым ежиком волос и греческим профилем, считая, что это вполне может заменить приветствие.

Все волновало публику, все приводило в восторг.

Хотя борцы, в общем, были похожи друг на друга, как солдаты в строю, но все же каждый чем-нибудь да отличался от других: черными, густыми, закрученными вверх усами и какими-нибудь особенными эластичными наколенниками, или высокими, артистически зашнурованными ботинками — «борцовками», или алой муаровой лентой через плечо, сплошь увешанной золотыми и серебряными медалями, или особой формой бритой головы с так называемым петушиным гребнем, сросшимся на темени грубым, костяным швом такой крепости, что на нем можно было гнуть железные полосы, чем славился, например, знаменитый еврейский чемпион Грингауз, чемпион мира с лицом биндюжника, кумир Малой Арнаутской улицы, где жили главным образом мелкие ремесленники-евреи.

Как сейчас вижу неестественно бледное, почти голубое лицо Грингауза с черными клочковатыми бровями и сизыми щеками, как бы прорастающими иссиня-чернильными, вороньими перьями, его голову с костяным гребнем, кое-где смазанную йодом, его безумные, отчаянные глаза.

Дядя Ваня произносил имена, которые до сих пор волнуют меня и вызывают в воображении образы не то каких-то русских добрых молодцев, не то римских гладиаторов.

Их было множество, и все они были разные, и трудно было решить, кто из них лучше. Дамы, постоянные посетительницы французской борьбы, сходили от них с ума, не стесняясь ахали на весь цирк и бросали к их ногам кружевные платочки, надушенные духами «Лориган» фабрики Коти, перчатки или даже сумочки, из которых вываливались на ковер круглые зеркальца и пудреницы.

Дядя Ваня вызывал борцов с присоединением некоторых сочных характеристик и подробностей.

— Чемпион мира волжский богатырь Иван Заикин, бросивший на лопатки в Саратове до тех пор никем непобедимого красавца из царства Польского, привислин-

ского богатыря Пытлясинского, который с тех пор, потрясенный горем, перестал участвовать в чемпионатах и удалился в частную жизнь, открыв в Одессе гимнастическую школу для недоразвитых подростков!

— Лурих Второй, Эстляндия, красавец среднего веса, блестящий техник, обладающий силой Геркулеса и фигурой Аполлона Бельведерского.

И я замирал, видя освещенные дуговыми фонарями широкие плечи ревельского полубога, его узкие бедра, сцепленные руки, вытянутые вниз за бугристой от напряжения спиной, матовой от пудры, придававшей его коже цвет каррарского мрамора.

Цирк разражался аплодисментами, которые долго еще летали под куполом, в гулком пространстве над галеркой, напоминая крики потревоженных галок: «кай! кай! кай!..»

— А где сейчас находится Лурих Первый? — спрашивал кто-нибудь, свесившись с перил галерки.

— Лурих Первый,— торжественно возвещал Дядя Ваня, расхаживая в своих сапогах по ковру,— Лурих Первый, чемпион мира, не имевший никогда ни одного поражения и получивший за красоту ног «Гран-При» на всемирной Парижской выставке, скончался пять лет тому назад у себя на родине от неумеренного употребления горячих напитков при отсутствии холодных закусок!

Он был большой остряк, этот Дядя Ваня по фамилии Лебедев, и охотно отвечал на вопросы публики.

Например:

— Дядя Ваня, почему в чемпионате не участвует Сальватор Бамбула?

— Чемпион Экваториальной Африки борец среднего веса Сальватор Бамбула в данный момент болеет корью и находится на станции Жмеринка под наблюдением опытных детских врачей.

Прежде чем начиналась сама борьба, еще предстояла церемония демонстрации запрещенных приемов, которую с блеском проводил Дядя Ваня, вызвав для этой цели на ковер двух каких-нибудь борцов, сноровисто показывающих запрещенные, опасные для жизни приемы: «колье де горж», когда один борец зажимал горло другого борца и выворачивал ему шею захватом сзади, затем так называемый «гриф», то есть сжимание как клещами запястья

противника, вследствие чего могла треснуть кость, ну и, конечно, удар головой ниже пояса или что-нибудь ужасное, применявшееся в джиу-джитсу, но строжайше запрещенное в корректной французской борьбе.

Запрещенные приемы проделывались быстро, наглядно, с чисто артистическим блеском и очень нравились публике, впрочем горевшей от нетерпенья поскорее увидеть самую борьбу. Но уж таков был ритуал, и это искусственное затягивание времени и подогревание общего настроения публики придавало зрелищу особую остроту.

После запрещенных приемов по команде Дяди Вани борцы поворачивались друг другу в затылок и под звуки марша удалялись по узкому проходу между двух аванлож за занавес.

— Ван Риль, Голландия,— беззвучно повторяли мои губы, а сердце леденело от восторга и счастья,— Мурзук, Абиссиния; Омер де Бульон, Франция; Мюллер, Германия; московский богатырь Иван Шемякин; непобедимый чемпион мира Иван Поддубный; Саракики и Окитаро Оно, Япония; Ян Спуль, Рига; петербургский любитель, студент, пожелавший скрыть свое имя под инициалами А. Ш.; Дядя Пуд — борец самого тяжелого веса, самый толстый человек в мире, одиннадцать пудов двадцать три фунта, Россия; вятский великан Григорий Кащеев, на два дюйма выше Петра Великого,— тощий, с обезьяньими руками, висящими пиже колен, с головой микроцефала и лицом, имевшим такой вид, будто в него ударила лошадь двумя подковами сразу и отпечатала на нем надбровные дуги, между которыми еле виднелся вдавленный носик с раздутыми ноздрями,— чудовищный сон моего детства; затем негр Сальватор Бамбула с ловким маслянистым телом и курчавыми, как бы закопченными волосами, для описания которого потребовалось бы по меньшей мере перо автора «Сала́мбо»; Збышко-Цыганевич, Польша; и прочие, и прочие, все чемпионы мира, все непобедимые, все знаменитые, чьи имена до сих пор заставляют дрожать мое сердце.

Арена пустела, но тут же оказывалось, что в стороне от ковра уже поставлен небольшой столик для общественного жюри, составленного Дядей Ваней из местных знатоков и любителей спорта: одного журналиста, одного студента, одного представителя четвертого сословия —

портового грузчика, железнодорожного кондуктора или кого-нибудь в этом роде, что придавало жюри некий широко представительный, надклассовый характер и гарантировало высшую справедливость. Судьи рассаживались лицом к ковру за столик, покрытый большими цирковыми афишами, и для пущей важности раскладывали перед собой какие-то бумаги — протоколы, бюллетени, блокноты. Разумеется, жюри подбиралось самим Дядей Ваней из своих друзей, собутыльников и репортеров-бутербродников. Многозначительно посоветовавшись вполголоса с судьями при мертвой тишине затаивших дыхание зрителей, Дядя Ваня с присущей ему преднамеренно медлительной торжественностью, однако с чуть заметной веселой игрой своего мощного баритона объявлял первую пару и вызывал борцов на арену. Они выходили на ковер, оставляя на нем следы опилок, устремлялись друг к другу, обменивались коротким рукопожатием, отскакивали, поворачивались вокруг своей оси и по свистку Дяди Вани начинали вкрадчиво сближаться, обхаживая друг друга, наконец упирались друг в друга лбами и под нежнейшие звуки вальса «Светлячки» ритмично оплетали и расплетали свои голые руки, в то же время зорко следя друг за другом и норовя воспользоваться малейшей оплошностью противника для того, чтобы бросить его лопатками на ковер каким-нибудь эффектным приемом вроде «тур дё тет», «бра руле», «двойной нельсон» или «прямой пояс».

До сих пор, повторяя про себя эти волшебные слова моего отрочества, я испытываю некоторое волнение, даже наслаждение.

Со своим роговым свистком во рту Дядя Ваня весьма напоминал разъевшегося городового, хотя на самом деле был интеллигентный человек и даже редактировал журнал «Русский спорт».

Пока борцы возились, примериваясь друг к другу, Дядя Ваня обхаживал их, якобы следя за соблюдением правил борьбы, а когда борцы переходили в партер, то есть боролись стоя на коленях или лежа на ковре, то он иногда тоже становился на колени, даже на четвереньки и заглядывал под борцов, желая точнейшим образом установить, коснулись ли ковра обе лопатки того, кто был сни-

зу, или только одна лопатка, что было чрезвычайно важно, так как побежденным считался лишь тот, чьи обе лопатки были прижаты к ковру одновременно — хотя бы на один миг. И тогда Дядя Ваня торжественно провозглашал, сверху донизу озирая форум:

— На четвертой минуте Иван Заикин положил Спуля на обе лопатки приемом «бра руле» в партере.

По окончании оваций вызывалась следующая пара.

Как описать мне эту красивую возню на ковре двух полубогов, их пластичные движения, их напряженные, бычьи шеи, их наколенники, их напульсники на запястьях атлетических рук, их сопенье, напряженные выдохи и вздохи, мычание, звонкие шлепки по плечам и загривкам — так называемые «макароны», всегда вызывавшие восхищение галерки, причем непременно чей-нибудь рыдающий голос кричал из-под купола:

— Неправильно!

На что Дядя Ваня немедленно отвечал на самых низких нотах своего голосового регистра:

— Правильно!

Как изобразить двух схватившихся борцов, минутную неподвижность, а затем вдруг какое-нибудь молниеносное «тур дё тет», когда ноги в щегольских белых «борцовках» летят вверх, противоестественное оплетение блестящих от пота тел напоминает некое единое спрутообразное существо с двумя человеческими головами с ежиками волос, повернутыми одна вверх, другая — вниз, их налитые кровью глаза — и вопль восторга, бурные аплодисменты партера и рев галерки...

Ритуал чемпионата французской борьбы был строго традиционен: одна из борющихся пар — непременно — якобы в пылу спортивного азарта налетала на судейский столик; жюри якобы в ужасе разбегалось; кто-то под общий смех зрителей падал, ронял студенческую фуражку, которая катилась по арене, валились на опилки чернильница, колокольчик; бумаги разлетались во все стороны. В общем, это был маленький спектакль, комическое антре, о котором потом вспоминали простодушные зрители как о счастливой случайности, в то время как все это было заранее подстроено.

Кроме того, всегда перед последней парой борцов зрителей подстерегала ужасная неожиданность. На арену быстро входил метранпаж из типографии в своей традиционной синей блузе, из-под которой выглядывал крахмальный воротничок и галстук, и клал на судейский столик только что отпечатанную, еще сырую афишу завтрашней борьбы. Дядя Ваня, надев маленькое пенсне, так не шедшее к его вульгарному, толстоносому лицу, брал афишу в руки и громко ее читал; оказывалось, что самые интересные пары будут бороться именно завтра, хотя еще вчера всем зрителям казалось, что интереснее, чем сегодня, не будет уже никогда. Искусственное подогревание интереса к чемпионату было строго продумано, и Дядя Ваня — тонкий знаток психологии цирковой публики — с величайшим мастерством составлял афиши с таким расчетом, чтобы каждая следующая была интереснее предыдущей. Для этого требовался большой талант.

«Боже мой,— с отчаянием думали любители борьбы с галерки, потратившие на сегодняшний спектакль последний полтинник и надеявшиеся увидеть самые лучшие пары.— Боже ж ты мой, оказывается, завтра будут бороться два непобедимых чемпиона мира: сам великий Иван Поддубный и волжский богатырь Иван Заикин, лучший техник борьбы двадцатого века». Причем они будут бороться не как-нибудь, а до результата: унылой, томительной ничьей не будет. Завтра зрители могут собственными глазами увидеть, как лопатки одного из кумиров будут прижаты к ковру. Подобное зрелище невозможно пропустить! Было от чего прийти в отчаяние. И бедняки с галерки всеми правдами и неправдами добывали полтинники, даже закладывали в ломбард части своего скудного гардероба и праздничные платки своих многострадальных супруг.

Французская борьба была чем-то вроде всеобщего запоя: она отвлекала от политики, примиряла с неприглядной действительностью.

Сколько раз мне приходилось вымаливать у папы или у тети полтинник или даже сорок копеек на цирк, узнав, какие замечательные пары будут бороться завтра. Ни папа, ни тетя не разделяли моего увлечения борьбой,

которую считали низменным, недостойным интеллигентного человека зрелищем, вульгарным балаганом.

...Когда интерес к чемпионату все же начинал иссякать и сборы падали, Дядя Ваня прибегал к испытанному средству. В один прекрасный день объявлялось, что в наш город прибыл новый борец, скрывающийся под черной маской; он вызывает на борьбу весь чемпионат и откроет свое лицо лишь в том случае, если его положат на лопатки.

Черная маска не участвовала в параде и появлялась на арене внезапно, как гром с ясного неба, выскакивая вдруг из бокового прохода, и с этого мига весь город, охваченный чем-то вроде повального безумия, лихорадочно гадал, кто скрывается под черной маской. Заключались пари. Высказывались самые невероятные предположения. Перебирались все мировые борцы.

Может быть, это легендарный сибиряк Святогор, а может быть, сам Лурих Первый, слухи о смерти которого оказались неверными. А вдруг это непобедимый кавказец Майсурадзе или загадочный борец среднего веса, чех по национальности, Поспешил, еще ни разу не выступавший в нашем городе, известный нам лишь по открыткам, или, наконец, увертливый крепыш Слуцкий из Киева, с Подола, которому знатоки французской борьбы предсказывали блестящее будущее?

Черная маска исчезала так же внезапно, как и появлялась. Это не была обычная бальная черная бархатная полумаска. Вся голова таинственного борца была обтянута до самой белой жирной шеи мешком из черного трико с двумя круглыми дырами, откуда блестели незнакомые глаза, зловещие, как у палача.

Мы ломали головы над вопросом, откуда он появлялся и куда потом исчезал.

Воображение рисовало мне картину ночного города, освещенного странной луной уголовных романов, змеиный блеск гранитных мостовых и стремительную пролетку на резиновых шинах, в которой мчится, закрыв лицо плащом, борец Черная маска. Путая следы, он мчится из цирка, где только что бросил на лопатки своего очередного соперника, в гостиницу. Конечно, это самая шикарная наша гостиница «Лондонская», на Николаевском бульваре, между Пушкиным и дюком де Ришелье. В крайнем случае — «Бристоль» на Пушкинской, рядом с Биржей, построенной в стиле венецианского Дворца До-

жей. В моем представлении на Черной маске должен быть блестящий цилиндр, как у Макса Линдера, и в руках драгоценная трость из палисандрового дерева с набалдашником из чистого золота. Он несметно богат и знаменит, как и все прочие чемпионы мира.

В то время, шатаясь по городу в своих гимназических, сшитых на вырост шинелях и выслеживая таинственную Черную маску, мы с моим закадычным другом Борей Д. даже и не подозревали, что борцы чемпионата — эти полубоги с могучими затылками и нафабренными усами, украшенные лентами с медалями, чемпионы многих стран и даже всего мира, якобы живущие в лучших отелях и разъезжающие на рысаках,— на самом деле совсем не богатые и невзрачные мещане, ютящиеся вместе со своими семьями в дешевых меблирашках недалеко от цирка, а их жены стирают в лоханках детские пеленки, свои кофточки и трико своих мужей, а также жарят на керосинке котлеты с вермишелью, лепят голубцы и вареники и кормят грудью своих младенцев, родившихся во время странствий разноплеменного чемпионата по разным городам Российской империи и заграницы.

А сами чемпионы с полинявшими усами, в егеровских фуфайках с короткими рукавами или в ситцевых рубахах, в спущенных подтяжках играли за непокрытым столом в домино, шашки или подкидного дурака распухшими от частого употребления, засаленными картами с обтрепанными уголками, делая копеечные ставки и складывая их в жестяную коробочку от монпансье Жоржа Бормана.

Да и фамилии у них большей частью были простые, мещанские, и это Дядя Ваня давал им звучные псевдонимы, заставлявшие вздрагивать наши еще детские, доверчивые сердца и тревожить воображение целого города в течение нескольких месяцев, пока длился чемпионат.

Успеваемость в гимназиях падала, студенты забрасывали под кровать римское право, офицеры манкировали строевыми занятиями, дамы сходили с ума, представляя себе мраморные торсы борцов, их крепкие шеи, выбритые подмышки, припудренные «лебяжьим пухом».

Поддавшись общему сумасшествию, мы с Борей на последние копейки покупали открытки с портретами чем-

пионов и выслеживали Черную маску, по нескольку часов ожидая в тени подъезда минуты, когда взмыленный рысак примчит к воротам цирка подпрыгивающую пролетку на дутиках, откуда выскочит Черная маска. Умирая от страха, мы шатались по ночным переулкам, томились у входа в «Лондонскую», где на тротуаре стояли зеленые кадки с лавровыми деревцами, даже иногда уныло сидели на вокзале в зале третьего класса — в первый нас не пускали,— глядя как зачарованные на дверь, ведущую на перрон, откуда появлялись пассажиры прибывающих поездов. Увы, наши розыски ни к чему не приводили. Черная маска была неуловима. Теперь-то я знаю, что, по всей вероятности, в это время он сидел где-нибудь в цирковом буфете — разумеется, уже без маски, в черной мещанской чуйке — и пил чай в компании своих товарищей по чемпионату, ругая на чем свет стоит сквалыгу Дядю Ваню, не заплатившего за последние два месяца, или же играл в меблирашках в лото по маленькой, закрывая выпадающие цифры морскими ракушками, собранными на Ланжероне.

Бывали экстренные случаи, когда, кроме Черной маски, появлялась Красная маска, и это снова подогревало интерес к чемпионату.

Тогда нечто вроде повального безумия снова охватывало город, и высшая точка этого безумия была борьба Черной и Красной масок до результата. Тут цирк ломился от публики, цены подскакивали вдвое, даже втрое. В конце концов зрители узнавали, кто скрывался под черной и красной маской. Потный борец стаскивал со своей бритой головы маску. Обычно это был какой-нибудь известный, но почему-то выпавший из памяти чемпион.

Чемпионат кончался. Борцы уезжали все вместе со своими женами, детьми, кастрюлями, керосинками куда-нибудь в другой русский город, а то и за границу, например в Константинополь, на полугрузовом пароходе австрийского Ллойда по льготному тарифу, в третьем классе, то есть превратившись в трюмных пассажиров. Там, в трюме, при зеленом свете бегущих мимо иллюминатора морских волн, они в своих егеровских фуфайках продолжали играть по копейке, по сантиму, по пиастру в домино, выкладывая на качающемся столе костяшки в виде длинной черной ящерицы с белыми пятнышками.

...А мы оставались в городе и до следующего чемпионата устраивали свою собственную борьбу по всем правилам искусства где-нибудь на берегу моря или в Отраде на глухой полянке, разбивая арену среди бурьяна, посыпая ее морским песком и окружая ракушниковыми строительными камнями, похожими своим цветом на абрикосовую пастилу.

Для наших родителей это было настоящим бедствием: все вязаные вещи похищались из шкафов и сундуков и шли на костюмы борцов. В особенности страдали чулки, из которых мы делали маски, безжалостно выкраивая ножницами кружки для глаз.

Девочки сидели вокруг арены и аплодировали нам, а мы, в полосатых купальных костюмах, в трусиках, с лентами через плечо, устраивали парад, появляясь один за другим из кустов боярышника, показывали запрещенные приемы, и я выходил в маске из тетиных ажурных чулок и, желая удивить публику своим атлетическим сложением и мускулатурой, как у моего кумира Ван Риля, сгибал и разгибал свои слабые, еще почти детские руки с утолщениями в суставах, поворачивался анфас и в профиль, выставляя напоказ свои черные башмаки, старательно выбеленные зубным порошком, в то время как в дачных палисадниках над пыльными осенними цинниями и шпажником уже бесшумно кружились пухлые древесно-серые ночные бабочки и мотыльки, а из моря поднималась еле заметная, бледная, как облако, луна...

Бибабо и бильбоке.

Недавно прочел я в «Милом друге» Мопассана, что Форестье, стоя у камина, курил папиросу и играл в бильбоке. Играл он отлично и каждый раз насаживал громадный шар из желтого букса на маленький деревянный шпенек... Промахнувшись на тридцать седьмом ударе, он открыл шкаф, и в этом шкафу Дюруа увидел штук двадцать изумительных бильбоке, перенумерованных, расставленных в строгом порядке, словно диковинные безделушки из какой-нибудь коллекции...

Это мне напомнило, что в детстве, в юности у нас тоже были распространены бильбоке, которые, впрочем, делались все на один манер: красные деревянные лакированные игрушки, искусно выточенные из дерева,— ба-

лясинка, на одном конце которой была чашечка, а другой конец был заострен. На шелковом длинном шнурке болтался привязанный к балясинке красный деревянный шарик с просверленной в нем круглой дыркой. Можно было ловким движением руки подбрасывать этот шарик так, чтобы он с приятным хлопаньем попадал в чашечку, а можно было подставить острый конец и насадить на него шарик...

Посадить шарик в чашечку было, конечно, гораздо легче, чем попасть острием в его дырочку, но среди нас, гимназистов, попадались великие мастера, делавшие это запросто. Почти у всех мальчиков и девочек в ранцах и карманах лежали бильбоке, и в каждую свободную минуту их извлекали на свет божий, и раздавались звонкие деревянные щелчки шариков, не попавших в чашечку, и плотное хлопанье — попавших.

Шарики садились на острие почти беззвучно.

Потом эта игрушка как-то постепенно вышла из моды. В памяти у меня осталось только слово «бильбоке». Оно вызывало представление об удивительно приятном, музыкальном звуке щелкающего деревянного шарика и о темно-красной лакированной поверхности всей этой игрушки, искусно выточенной кустарями, вроде тех мельниц, счетов, пасхальных писанок, бирюлек и волчков, которые так украшали наше детство.

Помню, однажды появилась новая игрушка, окончательно вытеснившая бильбоке.

Девочка-гимназистка лукаво посмотрела на меня из-под полей своей форменной касторовой шляпы с салатно-зеленым бантом, из-под своей русой челочки, затем, таинственно отвернувшись, порылась в своей клеенчатой книгоноске, что-то сделала и вдруг быстро обернулась, протянув ко мне руку, кисть которой превратилась в какое-то странное, забавное и очень милое существо с целлулоидной узколобой, щекастой головкой и глупыми большими глазами. Это существо, одетое в пестрый фланелевый балахончик, имело две фланелевые ручки, которые уморительно двигались, в то время как головка качалась, как у китайского болванчика, и, казалось, делала мне гримасы.

Я сразу понял всю простую механику этой игрушки: на руку надевалась пестрая варежка — вроде купальной

перчатки — с тремя пальцами. На средний палец надевалась пустая целлулоидная головка с надутыми щеками, а два других пальца исполняли роль ручек.

Девочка посмотрела на меня лисьими глазками, прозрачными, как леденцы, и захохотала.

— Видел? — сказала она, заставляя пустую головку своей игрушки кланяться мне.— Последняя новость. Называется бибабо. Мне подарили на именины.

Затем бибабо сделал мне прощальный жест обеими фланелевыми ручками, а девочка произнесла скороговоркой:

— Жили-были три китайца: Як, Як-цидрак, Як-цидрак-цидрони; жили-были три китайки: Ципи, Ципи-дрипи, Ципи-дрипи-лям-помпони; и женился Як на Ципи, Як-цидрак на Ципи-дрипи, Як-цидрак-цидрони на Ципи-дрипи-ляп-помпони.

И девочка умчалась, громыхая пеналом в своей клеенчатой книгоноске, издали бросив на меня взгляд, похожий на взгляд маленького бибабо.

Скетинг-ринг.

В один прекрасный день в нашем городе появились роликовые коньки — заграничная новинка,— о которых мы до сих пор не имели понятия.

Превосходная штука!

Я увидел их впервые, когда по асфальтовому тротуару мимо наших ворот с шумом проехал незнакомый реалист, показавшийся мне гораздо выше своего настоящего роста. На его ногах я увидел металлические роликовые коньки, прочно прикрепленные к ботинкам ремешками с блестящими пряжками.

На каждом коньке было по четыре дутых колесика — два впереди, два сзади, и эти колесики на шариковом ходу с непривычным звуком — шумным, железным шорохом — катились по асфальту, делаясь сами цвета асфальта.

Какое божественное изобретение: кататься летом на коньках!

Как по мановению волшебного жезла роликовые коньки стали продаваться во всех игрушечных и спортивных магазинах, пополнив собою ассортимент летних игрушек:

зеленых марлевых сеток для ловли бабочек, овальных жестяных ботанизирок, крокета, бамбуковых удочек с сигаровидными сине-красными поплавками, гамаков из крепкого кокосового шпагата и, конечно, фейерверка.

Роликовые коньки были на разные цены — от дорогих никелированных до сравнительно дешевых, с коричневыми колесиками из прессованного картона.

Всюду, где только были асфальтовые тротуары, с шумом и лязгом проносились мальчики и девочки, упоенные возможностью кататься на коньках летом по городу, где повсюду виднелись дымящиеся котлы асфальта, придающие и без того душному южному лету в городе нечто адское.

Так наступила эпоха роликовых коньков.

Но это оказалась не только детская забава. Почти одновременно с детьми ею завладели взрослые господа и дамы, превратившие катание на роликовых коньках в некое вечернее, даже ночное развлечение вроде кафешантана. Появилось новое, самое модное слово «скетинг-ринг», в понимании нашем, мальчиков и девочек, звучавшее как-то даже не совсем прилично, даже порочно.

Скетинг-ринг представлял собою асфальтовый каток в специальном закрытом помещении, у входа в который вечером зажигались гелиотроповые электрические фонари и на жаркую улицу вылетали зазывающие звуки матчиша, в которых тоже чудилось нечто порочное.

Туда ходили молодые богатые господа и дамы с роликовыми коньками в руках, иные подкатывали на лихачах, и мы, мальчики, смутно догадывались, что дело тут не только в катании на роликовых коньках.

Разумеется, я ни разу в жизни не был в скетинг-ринге и не видел, что там делается. По слухам, там мужчины и женщины танцевали на роликах вальс, прижимаясь друг к другу, а позже, ближе к полуночи, откалывали «ой-ра, ой-ра!» и кекуок, а вокруг асфальтовой площадки, за деревянными барьерами с бархатным валиком, возвышались столики, покрытые крахмальными скатертями, возле которых на специальных подставках блестели запотевшие серебряные ведра с битым льдом, откуда выглядывали золотые горлышки шампанского «редерер».

Слово «редерер» удивительно складно соединялось со словом «скетинг-ринг» и вызывало желание громко запеть на мотив ойры пересыпскую босяцкую песенку, где скетинг-ринг презрительно и ядовито был переделан в скотский рынок.

«Был вчера на скотском рынке и порвал себе ботинки», и так далее.

Ой-ра, ой-ра!

Вижу глухой темный переулок, выходящий на круглую Греческую площадь, и в воротах, под газовым фонарем, женская фигура с роликовыми коньками в руке. Лицо наполовину закрыто тенью шляпки, а наполовину зелено от газового света. Она делает нерешительное движение и шепчет якобы в сторону:

— Молодой человек, хотите, пойдем покатаемся на скетинг-ринге.

Каток.

Еще только лужи стали по ночам замерзать и утром лед на них ломался под ногой, как оконное стекло, а уже надо было спешить к сапожнику, чтобы он врезал в каблуки пластинки для коньков.

Зима начиналась пластинками для коньков и появлением стекольщиков, которые поправляли в гимназии зимние рамы, вставляли выбитые стекла и замазывали окна. Стекло и замазка царили в гимназических коридорах. Старая замазка валялась на метлахских плитках — сухая и хрупкая, а новая, распространяя острый запах олифы, лежала на подоконниках в виде округлых глыб с отпечатками пальцев. Замазка была белая и желтая. Белой замазывали окна в актовом зале и в директорской квартире, а желтой — в классах, в коридорах, в «надзирательской», там, где переплеты окон были не белые, но желтые, вернее, коричневые. Зима слышалась в тонком, резком звуке алмаза, которым стекольщики проводили прямые линии по стеклу, приложив к нему линейку, а затем отламывали длинные узенькие полоски, чем-то отдаленно напоминающие внутренность максимальных термометров. Эти стеклянные полоски были квадратного сечения, легко ломались и, в общем, представляли для нас мало интереса в противоположность свежей замазке, ко-

торую мы, отщипывая от тяжелых круглых кусков, раскатывали между ладонями, как тесто, превращая в длинные мягкие сосульки с рубчатыми отпечатками наших ладоней. Мы лепили из них разные удлиненные фигурки. Замазка щекотно отлеплива́лась от ладоней, оставляя на коже приятную влажность олифы. Полоски старой замазки хрустели под ногами, мазали полы, а тоненькие стеклянные обрезки стекла дробились под каблуками.

Может быть, поэтому мне до сих пор первый ледок на лужах кажется оконным стеклом и осень пахнет желтой замазкой, а начало зимы — белой.

Кроме того, начало зимы как бы олицетворялось появлением пластинок для коньков.

Эти железные — может быть, даже стальные! — ромбики с отверстием посередине, напоминающим замочную скважину, врезанные сапожником в каблук «заподлицо» и крепко привинченные, говорили, что наступает время катков.

Каблуки мальчиков звенели по мраморным и чугунным лестницам, по метлахским плиткам коридоров, царапали паркетные полы в классах.

У нас зима устанавливалась медленно, неохотно. Долго опадали желтые листья. Долго чернели обнаженные деревья, не отличаясь цветом своим от осенней земли, тугой и холодной, еще не покрытой снегом.

Но вот наконец распространялась весть, что каток в городском саду замерз.

При слове «каток» мне представляется ключ для завинчивания коньков: бородка в виде круглого утолщения, с отверстием квадратного сечения и сердечко с двумя дырочками, что делало его похожим на свиной пятачок, заканчивающийся острым шпеньком. Этим шпеньком выковыривался первый снег, набившийся в скважины пластинок. Затем коньки вставлялись особым шипом в эту скважину, круто поворачивались и прикручивались к ботинку особыми цапфами. Для большей надежности сквозь косые прорези в задней части коньков пропускался ремешок и туго затягивался на самую последнюю дырочку. После этого, чувствуя, как увеличился мой рост, я неуклюже шел из жарко натопленной раздевалки по морозно громыхающим дощатым сходням на опасно блестящий, еще неиспорченный зеркальный лед. Шатаясь с непривычки и хватаясь руками за легкие от мороза сосновые перила, я съезжал на ледяное поле катка,

отражавшее электрические лампочки, развешанные над главной площадкой катка, над его аллеями и глухими закоулками, где было все же темнее, чем в других местах, и присутствовало что-то любовное.

Почти пустой каток быстро наполнялся.

Играл духовой оркестр, и его парадные такты отражались от больших домов центральной части города.

Сердце замирало.

Уже несколько знаменитых любителей-конькобежцев, склонившись вперед и заложив руки за спину, полосовали каток, совершая круг за кругом и перекладывая на особо крутых поворотах свои длинные «норвежки», свистевшие как ножи, и уже посередине катка выписывал вензеля знаменитый студент-фигурист в канадском свитере и вязаной шапочке, натянутой на красные уши.

Это именно здесь однажды, стремительно разбежавшись по сходням на своих фигурных «гагенах», коренастый рыжий человек с прямым пробором, без шапки, вылетел на лед и без перерыва алмазно расписался на льду: «Сергей Уточкин» — и даже сделал залихватский росчерк, что вызвало общий восторг и долго потом не могло забыться.

...Сердце мое продолжало замирать, и вот наконец я увидел ее...

Она, робко передвигая ножки в совсем еще детских ботинках на пуговицах, скользила, поминутно останавливаясь и переводя дух, в своих новеньких «снегурочках» с закрученными носами. Одной рукой она держалась за спинку стула-саней, а другой, спрятанной в муфточку, балансировала и, увидев меня, замахала этой маленькой меховой муфточкой. Мы поздоровались, и она, не без усилия оторвавшись от спасительного стула и найдя опору во мне, протянула мне свои руки. Мы схватились накрест. Одна моя рука влезла в теплое гнездышко ее муфты и осторожно пожала там ее слегка влажные теплые пальчики, вынутые из варежки. Потом я сжал и всю кисть ее руки, показавшуюся мне нежной, беспомощной, как еще не оперившийся птенчик.

Скрестив руки, мы ритмично катались по кругу, стараясь попадать в ногу, и когда оказывались под голой электрической лампочкой, то наши тени исчезали, а по-

том снова появлялись, но уже с другой стороны, иногда двоились, троились, превращаясь в теневую звезду.

А духовой оркестр играл волшебно-печальный вальс, и такты, которые мягко отбивал пыхтящий турецкий барабан, улетали за пределы катка, отдаваясь в бриллиантово освещенных витринах Дерибасовской. И в душе моей было нечто такое щемящее, что я готов был заплакать от счастья, а потом, провожая ее домой, чувствовал запах ее шерстяной шубки с котиковым воротником, слегка надушенным каким-то знакомым цветочным одеколончиком, свежим, как весенний сад, и мы сжимали в муфте влажные ладони друг друга, сплетали пальцы, и я нес на ремешке ее коньки вместе со своими, и коньки наши звякали друг о друга, а по тротуару звонко стучали и царапали плитки лавы наши каблуки с врезанными в них стальными пластинками, и я видел искоса ее розовое, как крымское яблочко, лицо и чистенькое, хорошенькое ушко, выглядывающее из завитушек волос, слегка тронутых инеем.

Как некогда написал Фет: «Дерзкий локон в наказанье поседел в шестнадцать лет».

Но ей было, кажется, не более пятнадцати. Может быть, даже четырнадцать. Не помню уже, как ее звали. Наверное, Зина. Зиночка.

...Возвращаясь домой один через Александровский парк, пустынный в этот ночной час, я слышал мертвую тишину зимнего моря, черные стволы голых деревьев, где среди обледеневших сучьев горели семь ярких звезд Большой Медведицы.

Замерзшее море.

Знакомое побережье было загромождено плоскими, довольно толстыми льдинами, светящимися на месте обломов зелено-голубым стеклом черноморской воды; сверху они были сахарно-белые, и по ним можно было шагать не скользя; но трудно было перелезать с одной вздыбленной льдины на другую; иногда приходилось садиться на поднятый край одной льдины, спуская ноги на другую, или же прыгать, упираясь одной рукой в обломанный край, на вид хрупкий, а на самом деле крепкий, как гранит. По этому хаосу нужно было идти довольно долго,

прежде чем нога ступала на ровное поле замерзшего до самого горизонта моря. Впрочем, по этому на вид ровному ледяному пространству идти было нелегко; то и дело на пути попадались спаи между отдельными льдинами, небольшие торосы и рябь волны, внезапно схваченной морозом и превращенной в льдину.

До самого горизонта под ярким, холодным солнцем, сияющим, как ртутная пуля капитана Гаттераса, блистала нетронутая белизна соленого, крупно заиндевевшего льда, и лишь на самом горизонте виднелись иссиня-черная полоса открытого моря и силуэт вмерзшего в лед иностранного парохода-угольщика.

Под ногами гремел лед, давая понять, что подо мною гулкое, опасное пространство очень глубокой воды и что я шагаю как бы по гулкому своду погреба, мрачная темнота которого угадывалась подо мною в глубине.

Я помню скопления белых пузырьков воздуха, впаянных в толщу льда, напоминавшие ландыши.

Справа и слева выпукло белели ярко освещенные январским солнцем маяки — один портовый, другой большефонтанский — и маленький ледокол, дымивший у входа в Практическую гавань, напоминая знаменитый «Фрам» Фритьофа Нансена, затертый до самых мачт в арктических льдах, под нависшим над ним органом северного сияния. Надо всем этим синело такое яркое небо и стояла такая высокая, неестественная тишина и таким нежно-розовым зимним цветом был окрашен берег Дофиновки, безукоризненно четко видневшийся сквозь жгучий, хрустальный воздух, от которого спирало дыхание и мохнатый иней нарастал на краях верблюжьего башлыка, которым была закутана моя голова поверх гимназической фуражки, что четырнадцать градусов мороза по Реомюру казались температурой, которую немыслимо выдержать ни одному живому существу.

Однако вдалеке на ледяном поле кое-где виднелись движущиеся человеческие фигурки. Это были горожане, совершающие свою воскресную прогулку по замерзшему морю, для того чтобы поглазеть вблизи на заграничный пароход.

Лазурная тень тянулась от каждого человечка, а моя тень была особенно ослепительна и велика, переливаясь

передо мной по неровностям ледяного поля и перескакивая через торосы.

Наконец я добрался до кромки льда, за которой в почти черной дымящейся воде стоял громадный темно-красный корпус итальянского угольщика с белым вензелем на грязно-черной трубе, вензелем, состоящим из скрещенных латинских букв, что придавало пароходу странно манящую, почти магическую притягательную силу.

Очень высоко на палубе стоял итальянский матрос в толстом свитере, с брезентовым ведром в руке и курил длинную дешевую итальянскую сигару с соломинкой на конце, а из круглого отверстия — кингстона с высоты трехэтажного дома непрерывно лилась, как водопад, вода из машинного отделения, оставляя на старой железной обшивке уже порядочно наросшие ледяные сосульки.

Итальянский матрос махал кому-то рукой, и я увидел две удаляющиеся к берегу фигурки, которые иногда останавливались и, в свою очередь, махали руками итальянскому матросу. За ними тянулся двойной лазурный след салазок, которые они тащили за собой.

Погуляв по кромке льда и налюбовавшись итальянским угольщиком, я отправился обратно. Солнце уже заметно склонилось к западу, за город, за белые крыши со столбами дыма, за синий купол городского театра, за памятник Дюку.

Мороз усиливался с каждой минутой.

Я машинально шел по длинному двойному следу салазок и вдруг уже совсем недалеко от берега увидел на поверхности косо вздыбленной льдины с зеленым обломом какую-то надпись, глубоко и крупно вырезанную чем-то острым, возможно, концом железной тросточки из числа тех, что любили брать с собой на воскресную прогулку наши мастеровые и рабочие заводов.

Может быть, они сами делали для себя эти железные тросточки с круглой рукояткой.

Впервые в жизни я прочитал на льдине сочетание не вполне понятных для меня слов:

«Пролетаріи всѣхъ странъ, соединяйтесь!»

Было что-то грозное и полное какого-то тайного смысла в этой лазурной, светящейся фразе, которая впоследствии так широко и мощно распространилась по всей нашей земле.

Что бы могло значить это заклинание, в один миг как бы приблизившее меня к людям всех стран? — думал я с необъяснимой тревогой.

Прыгая с последней льдины на обледеневшие камни берега, я увидел трех пограничных солдат в башлыках и фуражках с зелеными околышами, которые карабкались по острым торосам, направляясь к итальянскому пароходу.

Розовое солнце блестело на кончиках их вороненых четырехгранных штыков с ложбинками для стока крови.

У них был вид опоздавших людей.

Что все это могло значить и какое это имело отношение к слову «Искра», которое было вырезано на последней льдине, вероятно, все той же самодельной железной тросточкой одним из тех, которые что-то везли на своих салазках, закутанное в рогожу.

Лечение зуба.

При слове «Флеммер» мне сразу представлялся безукоризненно белый, накрахмаленный и выглаженный халат, осанка великого ученого и могучая голова если не Бетховена, то, по крайней мере, Ибсена; не говорю уже о присутствии в воздухе неподвижного, чрезвычайно гигиенического запаха смеси креозота и гвоздичного масла, вселявшего в меня нечто вроде покорного отчаяния и сознания собственной неполноценности.

Даже отец, который в моем представлении был нравственно выше всех людей в мире, вдруг оказался в присутствии доктора Флеммера не уверенным в себе человеком с ординарной внешностью и робкими манерами.

Я сразу понял причину робости папы: он не знал, сколько стоит визит, боялся, что с него сдерут рубля три. Впрочем, для меня папа не пожалел бы никаких денег.

Как бы прочитав его мысли, доктор Флеммер, вытирая руки полотенцем, сказал с сильным немецким акцентом, что первый визит стоит два рубля, а последующие по рублю, не считая чаевых ассистентке-горничной и материалов.

Затем, онемев от ужаса, я взгромоздился на зубоврачебное кресло, прижал затылок к двум кожаным поду-

шечкам, а Флеммер стал нажимать ногой в хорошо вычищенном штиблете на какой-то кривой рычаг с педалью, и я стал толчками подниматься вверх, видя, как вместе со мной подымается стакан с дезинфицирующей водой бледно-сиреневого цвета и особая, какая-то весьма научная плевательница, к красному стеклу которой прилип клочок мокрой гигроскопической ваты, оставшейся, по-видимому, от предыдущего пациента.

В обморочной тишине кабинета звонко тикали часы.

Я почувствовал приближение к себе вплотную накрахмаленного халата и разинул рот, куда сейчас же полез указательный палец Флеммера — слегка волосатый, безупречно вымытый сулемовым мылом,— а затем в мой рот с некоторым отвращением заглянули выпуклые голубые глаза в золотых очках, после чего я услышал брезгливый голос, сказавший моему папе, что у меня не рот, а помойная яма. Затем я уловил страшное слово, произнесенное с еще большим презрением: «дупло».

После небольшой лекции о долге каждого культурного человека заботиться о своих зубах Флеммер многозначительно напряг свой великолепный лоб и, молчаливо обдумав создавшееся положение, взвесив на самых точных весах все «за» и все «против», заявил, что больной зуб удалять не будет, а сделает все возможное, чтобы его сохранить, подвергнет тщательному исследованию, лечению и в конце концов запломбирует его платиновой пломбой.

При этих словах папа вздрогнул, но Флеммер успокоил его, сказав, что платиновая пломба будет стоить вместе с работой всего восемь рублей, то есть ненамного дороже серебряной.

Помню покрасневшие веки добрых папиных глаз и его решительное согласие на восемь рублей, в котором чувствовалась самоотверженная решимость не жалеть никаких денег, а если нужно, то даже обратиться в кассу взаимопомощи, лишь бы сохранить зуб своего мальчика.

Я заметил, что папина пористая красная шея вспотела под твердым воротничком «композиция» и он неловко его подергал, как бы желая освободиться от некоего невидимого хомута.

После этого Флеммер снова заставил меня как можно шире разинуть рот и чем-то блестящим слегка дотронул-

ся до обнаженного нерва. Это вызвало такую адскую боль, которую можно было бы изобразить графически лишь следующим образом:

...извилистая линия раскаленно-красного цвета, начинающаяся в точке обнаженного нерва, опоясывающая челюсть, подымающаяся вверх по височной кости и вспыхивающая где-то в глубине слухового аппарата...

Я крикнул, но Флеммер не обратил на это внимания. Я был для него не человек. Покопавшись в какой-то банке на стеклянном лотке рядом с плевательницей, он положил пинцетом в дупло ватку, пропитанную острой эссенцией гвоздичного масла, и мой рот сразу наполнился горячей слюной. Флеммер велел мне ополоснуть рот гигиенической водой, и я благоговейно вынул полный стакан из тугой подставки, хлебнул из него и сплюнул в плевательницу, любуясь потеками воды и слюны, побежавшими по красному стеклу в черную дыру плевательницы.

На этом первый визит был закончен, и, заплатив Флеммеру два серебряных рубля, которые Флеммер тут же записал в особую, толстую, чрезвычайно аккуратную приходо-расходную книгу, папа дрожащими руками помог мне выбраться из кресла, опустившегося вниз.

...Когда кресло опускалось вниз, деревья за окном медленно поднимались вверх и улица меняла ракурс...

Мы отправились на электрическом трамвае по улице, утопавшей в цветущей белой акации. Я чувствовал себя как после причастия, и мне было мучительно жалко папу, заплатившего два рубля Флеммеру и полтинник горничной и взявшего на себя обязательство заплатить в дальнейшем еще гораздо большую сумму.

Как предсказал Флеммер, зуб мой болел еще ровно два часа. И я все время осторожно трогал его языком и выплевывал горячую слюну, пока наконец боль в зубе не затихла.

С этого дня началось мое почти ежедневное хождение к Флеммеру и лечение зуба, подвигавшееся не быстро, не медленно, а именно так, как полагалось по всем правилам добросовестного зубоврачебного искусства.

Не буду описывать подробности, да они и не имеют

существенного значения, кроме того что это была какая-то часть моей жизни, моего тогдашнего бытия.

Замечу только, что надолго запомнилась мне шикарная улица, где практиковал Флеммер, его громадная, дорого и солидно обставленная квартира, казавшаяся мне всегда пустой, горничная-ассистентка в батистовой наколке, накрахмаленной юбке и какой-то мантии, делавшей ее отчасти похожей на монахиню.

Лечение зуба имело свои прелести.

Отправляясь к Флеммеру один, без папы, я экономил трамвайные деньги и карманную мелочь, выдаваемую мне на тот случай, если я захочу напиться на улице зельтерской воды или хлебного кваса. В конце лечения у меня составилась кругленькая сумма копеек в сорок, и я с утра до вечера размышлял, на что бы их истратить.

Не буду вспоминать сверления зуба бормашиной, один звук которой, проникая в глубь всех моих суставов, до самого мозга костей, заставлял содрогаться весь мой организм. В особенности не буду вспоминать тот миг, когда тончайшая изогнутая игла еще не коснулась обнаженного нерва, а уже все мое существо испытывало грядущую адскую боль и опять она, эта боль, как бы окрашенная в ярко-красный, огненный цвет, пронзала меня, как раскаленная проволока.

...от зуба через всю челюсть до самых таинственных недр слухового аппарата...

...после чего Флеммер, морщась от отвращения, подносил к своему носу иглу с кусочком дурно пахнущего зубного нерва.

Потом уже все пошло гладко, хотя все еще страшила ужасная бормашина, расчищающая дупло своим крутящимся сверлом с крошечным шариком на конце, но это всем хорошо знакомо и не стоит на этом задерживаться.

Зато как прелестны были жаркие одесские дни и зелено-белое кружево цветущей по всему городу акации, их сладкий, даже — я не боюсь сказать — сладострастный запах и ощущение своего легкого, еще почти детского тела, успокоившегося зуба и приятного, теплого пота под зимним гимназическим костюмом, который я надевал всякий раз, отправляясь лечить зуб, так как считалось неучтивым посещать такую знаменитость, как Флеммер, в коломянковой застиранной летней форме...

Козырек зимней фуражки, его внутренняя часть, был покрыт горячим, как кипяток, потом, струившимся по

моим вискам. Несмотря на это, я чувствовал себя необыкновенно свободным, раскованным, неземным.

Когда дупло было наконец превращено в гладкое гнездышко для пломбы, Флеммер приступил к самой важной операции лечения моего зуба.

На некоторое время величественный доктор медицины как бы превратился в некоего немца — ремесленника тонкой профессии,— не то ювелира, не то чеканщика, не то составителя и растирателя красок. Сидя в зубоврачебном кресле, поднятом почти под потолок, по которому сновала красивая летняя бабочка, с крахмальной салфеткой под подбородком, я углом глаза следил за тем, как Флеммер толчет что-то в маленькой фарфоровой ступке, а потом растирает какой-то серебряный порошок на стеклянной плитке, прибавляя какие-то капли и превращая порошок в металлически-темную пасту. Наконец он крошечной лопаточкой стал заполнять дупло моего зуба этой теплой пастой, имеющей привкус цемента. Он работал медленно, то опуская меня, то снова поднимая, он трудился, как пчела, пускающая в свою ячейку по маленькой капельке нектара, смешанного с цветочной пыльцой, а затем заделывающая ее теплым воском. Когда дупло было заполнено, он виртуозным движением своего инструмента срезал излишки пасты, примял еще не успевшую затвердеть пломбу своим толстым пальцем и велел мне до вечера ничего не есть и прийти через два дня, когда лечение будет полностью закончено.

В последний день мы пришли с папой к Флеммеру, и он долго шлифовал пломбу бормашиной, на шпенек которой был насажен картонный, а может быть и наждачный, кружок. Он бешено крутился, шлифуя сильно нагревшийся металл пломбы, и осыпал мой язык сухой наждачной пылью. Наконец пломба была отшлифована на славу, и пока папа, краснея от волнения, клал на конторку Флеммера гонорар — двенадцать с чем-то рублей — за работу, за материал и на чай горничной в царственной мантии,— Флеммер самодовольно вытирал руки полотенцем, назидательно объясняя мне, что эта пломба будет держаться вечно и я доживу с ней до глубокой старости, «и даже, быть может, переживет меня самого» — в конце своей речи сострил Флеммер.

Мы вышли на улицу с папой, который улыбался болезненной улыбкой.

Пломба выпала ровно через месяц.

...Пороховой шнур.

Для того чтобы это увидеть, следовало прийти до начала всенощной, когда в церкви все пусто и сумеречно, лишь кое-где виднеются разноцветные огоньки лампад, совсем слабо золотя оклады окон, и бесшумно ходит церковный сторож, а староста в шубе только что пришел и со щелканьем открывает ключом крышку своей конторки, где разложены в строгом порядке пучки толстых, потоньше и совсем тоненьких восковых свечей, и в церкви еще холодно и пахнет вчерашним ладаном.

Посреди церкви под темным куполом на длинной цепи висит паникадило, уставленное свечами, необожженные хлопчатобумажные фитили которых соединены между собой единым пороховым шнуром, его конец висит высоко в воздухе, готовый в любую минуту воспламенить все свечи паникадила, образующие два круга — большой и малый.

И вот сторож становится под паникадилом, держа в руках шест с маленькой зажженной свечкой на конце.

Едва пламя свечи касается кончика порохового шнура, как мгновенно вспыхивает длинный огонь и стремительно бежит вверх; пожирая шнур, он волшебно-молниеносно обегает оба круга свечей, зажигая их фитили как будто бы все разом, и вдруг церковь наполняется теплым торжественным светом восковых свечей, выхватывающим из рассеявшегося мрака церковных закоулков разные предметы:

...помятую серебряную купель, в которой происходит таинство крещенья...

(В такой купели, наверное, крестили меня и моего маленького братика Женю.)

...Помост для гроба, покрытый черным сукном, побитым молью; деревянное крашеное распятие с деревянным крашеным Христом с ярко-красной раной его прободенного ребра, с деревянным подножием, расписанным в виде маленькой каменной Голгофы с зловещим черепом Адама в ее грубо нарисованных недрах; несколько знакомых икон, выступивших из мрака и ставших вдруг яркими, как весело раскрашенные картинки из тоненькой книжки Нового завета, например —

...Христос, сидя по-дамски на осляти, въезжающий в Иерусалим, и иерусалимцы в цветных одеждах бросают под копытца серого ослика пальмовые ветки — вайи.

Вся эта бутафория была ярко озарена паникадилом и золотыми кострами свечей, которые уже успели наставить перед иконами прихожане.

И чем ярче и пестрее делалось в церкви, тонущей в сиреневых волнах ладана, тем таинственнее и нежнее синел весенний мартовский вечер за узкими церковными окнами.

Музыка.

Мама держала меня за пухлую ручку, и таким образом мы дошли до ближайшего от нашего дома угла, где помещалась почтовая контора. Я еще никогда не заходил так далеко. В своем маленьком темно-синем пальтишке с золочеными якорными пуговицами я едва доставал до края маминой жакетки, обшитой тесьмой, так что в то время, как мама отправляла заказную бандероль, ничего особенно интересного в почтовой конторе я не заметил, если не считать крашеного железного сундука с двумя висячими замками и сильного запаха где-то за мамой дымно пылающего сургуча и отблесков его бурлящего багрового пламени.

На том же углу была будка, возле которой остановилась мама и, подняв вуаль с подбородка до носа, выпила стакан зельтерской воды, а я в это время держался за подол ее суконной юбки и, приподнявшись на носки, старался увидеть, что там делается в глубине будки, но ничего интересного не заметил, кроме двух стеклянных спаренных баллонов. В одном был красный, а в другом желтый сироп. И я попросил, чтобы мне дали попробовать. Но мама засмеялась и не позволила.

Пока она вынимала из своего черного муарового мешка, обшитого стеклярусом, маленькое портмоне, я смотрел вдоль улицы, несколько наклонно уходящей в беспредельное пространство каменного города, этого не совсем понятного для меня скопления домов, улиц и церквей с голубыми куполами.

Отсюда я не видел никакого движения, никаких при-

знаков городской жизни, лишь чувствовал его по каким-то неясным для меня самого признакам.

В то время, помню, я заинтересовался новой оградой возле небольшого, одноэтажного домика почтовой конторы: эта ограда была сложена из новеньких, только что выпиленных брусков камня ракушника, причем бруски эти были положены через один, так что весь невысокий забор состоял как бы из прямоугольных пустот, перемежающихся с каменными брусками, в которых местами поблескивали морские ракушечки.

Через этот сквозной низкий забор легко можно было перелезть, и я уже собирался, отойдя от мамы, это проделать, даже поднял ногу в башмачке с помпоном, как вдруг мой слух привлекли какие-то совсем слабые, но настойчивые слитные музыкальные звуки, долетавшие издалека, оттуда, где, раскинувшись, лежало пространство города, его каменное тело, его центр.

Я остановился, очарованный этим странным звуковым явлением, и долго прислушивался, напрягая слух, так как без его напряжения эти слитные звуки пропадали.

— Музыка,— сказал я, дергая маму за юбку.

Она с удивлением посмотрела на меня сверху вниз своими удлиненными глазами сквозь мутную вуаль и сквозь пенсне.

— Музыка, музыка,— повторил я.— Слышишь?

— Где музыка? Какая музыка? — спросила она.

— Там! — ответил я, протягивая руку в перспективу улицы.— В городе.

— Мы тоже в городе,— сказала мама.

— Да, но там настоящий город, там музыка.

Мама засмеялась.

— Не слышу никакой музыки. Все тихо.

— Нет, музыка,— упрямо повторил я.

— Ты ужасный фантазер,— сказала она и, взяв меня за ручку, повела по нашей Базарной улице обратно домой, но все равно по дороге, стуча новыми башмаками по плиткам лавы, которой были замощены многие улицы

нашего города, я слышал за своей спиной странную, ни на что не похожую музыку, то как бы отливавшую, то приливавшую, то смолкавшую, то усиливающуюся.

Что же это было?

Долго я не мог этого понять, но однажды совершенно неожиданно понял: это было нечто составленное из еле слышного дребезжания извозчичьих пролеток, цоканья копыт, шагов людей, звонкого погромыхивания конок и трамкарет, похоронного пения, военной музыки, стрекотанья оконных стекол, шороха велосипедов, гудков поездов и пароходов, рожков железнодорожных стрелочников, хлопанья голубиных крыльев, звона сталкивающихся буферов товарных вагонов, шелеста акаций, шуршания гравия в Александровском парке, треска воды, вылетающей из шланга садовника, поливающего где-то розы, набегающего шороха морских волн, шума базара, пения нищих слепцов, посвистыванья итальянских шарманок...

Уносимые куда-то морским ветром, все эти звуки составили как бы музыку нашего города, недоступную взрослым, но понятную маленьким детям.

Живопись.

Мама купила мне нечто вроде альбома, который развертывался как гармоника, зигзагами; на его очень толстых картонных страницах было напечатано в красках множество изображений беспорядочно рассыпанных разных предметов домашнего обихода: лампа, зонтик, портплед, саквояж, кровать, мячик, кукла, коляска — и тому подобное.

Никаких надписей не было.

Предполагалось, что ребенку показывают на тот или иной предмет и он должен его назвать преимущественно на каком-нибудь иностранном языке.

Мама выбрала французский.

Она водила пальцем и называла предметы.

— Ля ламп, лё параплюи, лё портплед...

Я довольно легко запомнил французские слова и ста-

рательно выговаривал их, как попугай, отчего обыкновенные раскрашенные вещи приобретали какое-то особое значение, так как обыкновенное окно превращалось в «ля фнетр» и уже делалось в моем воображении совсем, совсем другим окном — окном из некоего разноцветного мира маленьких красивых предметов, поражавших меня точностью, достоверностью своего рисунка и некоторой условностью цвета.

Мне выписывали детский журнал «Игрушечка», в котором я любил рассматривать рисунки разных собачек, кошечек, а также прыгающих в воду лягушек из рассказа о том, как лягушки месяц ловили. Лягушки видели отражение месяца в пруду и думали, что это какая-то круглая золотистая рыба или нечто вроде этого. Я рассматривал нарисованный черный камыш, наклонно отражавшийся в нарисованной воде, и лягушек, летевших с берега в воду, напоминая мне открытые ножницы, называвшиеся по-французски, как я уже знал:

...«ле сизо».

Там было еще изображение большой печально-вислоухой собаки, сидевшей возле спящего ребенка, и мама проникновенно, но со скрытой улыбкой читала мне стихи, напечатанные под собакой:

«В колыбельке детка спит, чуткий Каро сторожит. И пропел бы баю-бай, да боится — выйдет лай».

В доме у нас на стенах не было картин. Я даже не знал, существуют ли вообще в природе картины, написанные масляными красками; я знал только акварельные краски в дурно выкрашенном жиденьком ящичке — разноцветные таблетки, потерявшие свой чистый девственный цвет и сделавшиеся бурыми оттого, что я пользовался плохо вымытой кисточкой: у меня не было терпения хорошенько ее выполаскивать в стакане с почти черной водой, при одном взгляде на которую душу мою охватывала скука и я убирал с глаз долой ящичек с красками и комкал листы бумаги с волнистыми полосами и грязными подобиями человеческих лиц, изображенных барсучьей кисточкой, которая, сунутая в стакан, распускалась, а вынутая оттуда, вдруг съеживалась, и с ее заострившегося кончика, с волоска, как слезы, текла мутная вода.

Каково же было мое удивление, когда однажды я нашел в чулане два просаленных холста, покрытых толстой корой засохших масляных красок. Я начал их рассматривать, и вдруг грубые разноцветные мазки как-то сами собой сложились в изображение синей эмалированной миски с полуочищенными картофелинами; картофельная шелуха спиралью сползала вниз с какого-то предмета, оказавшегося кухонным ножом, и этот нож держала человеческая рука, а над всем этим склонилось человеческое — женское — лицо с опущенными выпуклыми веками, носом, губами и подбородком телесного цвета, написанными грубыми мазками, хранящими на своей затвердевшей поверхности следы жесткой кисти. Я понял, что это портрет женщины, чистящей картофель над синей эмалированной миской, поразившей меня своей похожестью, натуральностью, достоверностью — даже были отражавшиеся в синей эмали какие-то светлые окна.

На другом холсте я рассмотрел берег, скалу, море.

Я сразу их узнал. Это был наш Ланжерон, также прямолинейно и грубо намазанный широкой жесткой кистью, вероятно сделанной из свиной щетины, так как одна щетинка даже прилипла к сине-голубым полоскам полуденного моря, и я не смог ее отодрать, так крепко она присохла. Берег был светлого, несколько кремового, телесного цвета, от каждого написанного камушка ложилась короткая густая тень, и скала тоже отбрасывала лиловую короткую тень, так что во всем этом я ощущал полуденный приморский зной, как бы чувствовал раскаленную гальку и песок, обжигающий подошвы босых ног, даже слышал запах засохшей тины, и в море штиль, и одурящее сияние.

Так передо мною впервые возникло чудо живописи.

Как я понимаю теперь, эти две картинки без рам попали к нам в дом случайно. Что-то помнится, будто мама водила меня на Ланжерон и там два ученика художественного училища делали этюды, познакомились с нами и впоследствии подарили маме на память свои работы.

Смутно помню их серые байковые косоворотки и головы с длинными русыми волосами, разваленными на две стороны. У них был очень простецкий вид. Меня пора-

зили их ящики с мятыми тюбиками масляных красок, палитры, покрытые разноцветными мазками, цинковые сосудики для лака и льняного масла и, конечно, небольшие складные мольберты, а в особенности громадные полотняные зонтики, по которым пролетали голубые тени чаек.

В общем, теперь я понимаю, это были ученические работы, даже, может быть, просто мазня...

Но почему же, почему я до сих пор не могу забыть эмалированную миску густо-синего цвета, с грубыми следами дешевой кисти и отражением окна и серо-лиловой спиралью картофельных очистков и почему до сих пор не могу я забыть июльский полдень на берегу Ланжерона, маму в чесучовой кофте, раскаленную гальку, обжигающую мои голые ножки, и воздушно-голубые тени чаек?

Театр.

Был период увлечения театром, но не настоящим, а игрушечным, раскладным, который мне дарили на елку или в день рождения в красивой коробке, украшенной цветными картинками,— сценами спектакля, заключенного в этой коробке:

...картонная сцена с красивым занавесом, кулисами, декорациями и фигурками действующих лиц, которые можно было расставлять и передвигать, как шахматы.

Это была преимущественно опера или какое-нибудь историко-патриотическое представление вроде обороны Севастополя или волнующих эпизодов из жизни великого русского полководца Суворова, где будущий генералиссимус являлся сперва в виде молодого рядового солдата, часового, стоящего на посту у царского дворца, и где разыгрывалась его сцена с императрицей. Сцена эта состояла в том, что вышедшей на крыльцо императрице очень понравился бравый, смышленый часовой в парике с косой, висящей из-под медной шапки, в белой амуниции, с ружьем, взятым «на краул». Государыня протягивала ему в награду за бравую службу большой серебряный рубль. Но Суворов отказывается его принять, отрапортовав своей матушке-царице, что часовому запрещается принимать

что-нибудь, стоя на посту; на это государыня, в белом парике, фижмах, с голубой андреевской лентой через плечо и бриллиантовой звездой на выпуклой груди, дама строгая, дородная, с двойным подбородком, хвалила молодого часового за отличное знание устава и милостиво клала серебряный рубль на землю у его ног, с тем чтобы он мог после смены караула взять этот рубль себе в награду за хорошую службу.

«Слушаюсь, ваше императорское величество, государыня-матушка, покорнейше вас благодарю за царскую милость».

Так было напечатано в особом листке объяснений.

А вокруг стояли декорации, изображавшие колонны дворца, полосатую будку часового и кулисы в виде выглядывающих одна из-за другой картонных полос с яркими изображениями царскосельских деревьев, а в глубине сцены — неподвижная картина царскосельских прудов с белоснежными лебедями.

Расставив все это по плану, приложенному к театру, и поставив за кулисами зажженные елочные свечи, я поднимал картонный занавес, искусно разрисованный парчовыми складками, и любовался зрелищем театра, причем особенно волновала меня маленькая раковина суфлерской будки.

В сущности это была всего лишь немая неподвижная картина, лишенная человеческих голосов, движения и музыки, но даже ее неподвижность и тишина и косое, теплое освещение придавали ему характер волнующего зрелища, как бы уходящего в перспективу кулис и верхних софитов.

Полюбовавшись сценой, надо было опустить парадный занавес с парчовыми складками, кистями и желтой лирой посередине и начать устанавливать следующие сцены, из которых самая красивая и волнующая была переход Суворова с его чудо-богатырями через Чертов мост: снежные вершины Альп, пропасть с дымящимся на дне синим туманом, падающая со скалы вниз медная пушка и маленький старичок — Суворов, с серым хохолком над узким костлявым лбом, на лошади, с обнаженной шпагой в руке, кричащий:

«Вперед, мои чудо-богатыри!» —

что было также напечатано в объяснении к этой сцене.

Сперва в театре меня увлекала только техника зрелища, устройство сцены, механизм подъема занавеса, расстановка декораций и фигурок действующих лиц, вырезанных из картона, искусственное боковое освещение, суживающаяся перспектива кулис.

Я наслаждался живописной стороной спектакля: сводчатыми потолками каких-то боярских пиров с братинами, дубовыми столами, жареными лебедями на блюдах, кокошниками и уборами древнерусских красавиц, боярами в высоких собольих шапках, в аксамитовых кафтанах, ферязях, витязями в стальных кольчугах и шлемах, белобородыми кудесниками и гуслярами, монахами и разбойниками с кистенями в руках, посреди дремучего леса, в чаще искусно вырезанного из картона ельника...

Меня до слез волновал снег, опускающийся густой сетью на мужественного старика — Ивана Сусанина, сидящего на пне, в то время как польские сивоусые гусары стояли вокруг него с поднятыми кривыми саблями.

В восторг приводила меня громадная голова из «Руслана и Людмилы», ее раздутые ноздри, откуда вылетали тучи сов, и — конечно! — летящий по воздуху карлик Черномор с развевающейся длиннейшей бородою, держа в объятиях несказанно прекрасную Людмилу в русском сарафане и кокошнике, как у кормилицы, с белым, обморочным лицом и закрытыми глазами...

Впоследствии я видел то же самое на настоящей сцене, когда нас водили на праздничные утренники в городской театр, где, кроме магии декораций и скрытого освещения, была еще магия оркестра, музыки, пения, передвижения по громадной сцене, откуда в жарко натопленный зрительный зал дуло со сцены холодным ветром, богато одетых, загримированных до неузнаваемости людей — артистов, которые при свете рампы казались мне удивительно дисциплинированными и движущимися как бы по какому-то расписанию вроде расписания поездов.

Дома я пытался своими средствами на самодельной игрушечной сцене устраивать подобия этих спектаклей с красными пожарами и синими лунными ночами (как в «Аиде»), всегда напоминавшими мне лунные ночи на Ланжероне, где Черное море из края в край блестело как бы светящейся серебряной бумагой — ни дать ни взять Нил, только не хватало черных силуэтов пирамид и пальм.

Помню, как трудно было сделать искусственный лунный свет.

Для этого надо было купить двухкопеечную шоколадку, завернутую в прозрачную синюю желатиновую бумажку, и через нее пропустить луч свечи на мои самодельные декорации, казавшиеся мне прекрасными. Тогда все на сцене становилось лунно-синим. Для пожара требовалась красная желатиновая бумажка, и я опять бежал в бакалейную лавочку за двухкопеечной шоколадкой в красном желатиновом пакетике. И сцена делалась тревожно-багровой. Знойный день в африканской пустыне достигался с помощью желтой желатиновой бумажки. Лавочник удивлялся, как много я съедаю шоколада. Он не знал, что шоколадки я выбрасываю в помойное ведро, для того чтобы поскорее завладеть волшебной желатиновой бумажкой, необходимой мне для сценических эффектов.

...До сих пор, гуляя зимой в яркую лунную ночь по Переделкину и любуясь снежным полем и блеском золотых луковичек церкви времен Иоанна Грозного, мне кажется, что я смотрю на этот неописуемо прекрасный синий пейзаж сквозь желатиновую бумажку моего детства.

Потом наступило время домашних спектаклей.

Главная трудность их заключалась в необходимости достать занавес. Какой же театр без занавеса? Занавес представлялся мне главным элементом театра. Тайком я вытаскивал из тетиного комода новенькие простыни тончайшего голландского полотна с метками гладью Е. Б. (Елизавета Бачей) и, не имея терпения пришить к ним кольца, грубо вырезывал в них ножницами круглые дырки, для того чтобы нанизать их на проволоку, натянутую между двух стен, куда были безжалостно вколочены первые попавшиеся под руку кривые костыли.

Мы гримировались чем попало, приклеивали клеем «синдетикон» бог знает из чего сделанные бороды и усы, румянили акварельными красками щеки, и, надев папин новый сюртук с шелковыми лацканами, я выбегал на сцену, произнося ужасной скороговоркой монолог Чацкого: «Не образумлюсь, виноват, и слушаю — не понимаю, как будто все еще мне объяснить хотят»... и так далее. В то время как тетя рыдала над изгаженными простынями, пытаясь выдрать из попорченных стен на совесть вколо-

ченные костыли, и тушила керосиновые лампы, расставленные прямо на полу в виде рампы вдоль сцены я, ничего не видя и не слыша, выкрикивал:

— «Сюда я больше не ездок! Пойду искать по свету, где оскорбленному есть чувству уголок. Карету мне, карету!»

«Карету мне, карету!» — бесчисленное число раз повторял я, заливаясь злыми слезами.

Домашний скандал, которым всегда сопровождались любительские спектакли, был тоже как бы составной частью театра, драматического искусства.

Но лишь однажды в жизни я почувствовал всю страшную силу настоящего театра. Это случилось, когда папа повел меня на «Бесприданницу», роль которой играла приехавшая на гастроли великая Комиссаржевская. Я следил за переживаниями бедной, хорошей, гордой девушки, превратившейся благодаря среде, в которой она принуждена была жить, в вещь, почти в неодушевленный предмет, брошенной любимым человеком, оказавшимся негодяем. В белом кружевном платье, несколько сухопарая, измученная, с гитарой в слабых руках, певшая в отчаянии каким-то надтреснутым голосом:

«Но не любил он, нет, не любил он...»

она сжигала мне, тринадцатилетнему гимназисту, душу. Я не имел сил выйти с папой в антракте в фойе и сидел неподвижно в кресле, вцепившись руками в бархатные поручни. Я думаю, что у меня тогда были пепельные губы, круги под безумными глазами, дрожали ледяные пальцы... А когда в последнем акте обманутый Карандышев — жалкий и вместе с тем страшный своей крахмальной манишкой на впалой груди, сутулой фигурой и чиновничьей фуражкой — вдруг выбежал, спотыкаясь, из-за кулис и выстрелил из пистолета в Комиссаржевскую, в ее спину с выдающимися лопатками, то она не упала, как можно было предположить, а пошатываясь, но довольно твердо прошла по авансцене, а затем, схватившись за железный садовый стул, оперлась на круглый железный садовый стол и таким образом, стоя лицом к публике,

умирала на фоне восхитительного заволжского пейзажа с грустными неподвижными облаками и туманно-лиловыми далями и, умирая, зачем-то сняла с головы свою трогательную соломенную шляпку с палевыми лентами, дрожащими в ее руке, а другой рукой в кружевном манжете, совсем белой, уже холодеющей, посылала воздушные поцелуи публике, в особенности галерке, где рыдали, бесновались, неистовствовали курсистки и нищие студенты, а она — Лариса — все посылала и посылала во все стороны слабеющие поцелуи прощанья, и всепрощения, и любви, и эти поцелуи — казалось мне — летели стаями, как белые голуби, кружась и кружась под театральной люстрой, и Комиссаржевская откидывалась все круче и круче навзничь, почти ложась простреленной спиной на железный садовый стол со съехавшей ресторанной скатертью, и уже никого вокруг не видела погасающими глазами, кроме прозрачных голубей, летающих по театру, и я чувствовал, что по моим щекам текут слезы и я не знаю, как их унять...

О, как я ее любил и жалел!

А когда ночью мы, подавленные, возвращались домой на извозчике, то папа держал маленький театральный бинокль покойной мамы и все никак не мог сунуть его в футляр, а я с ужасом следил за ночными газовыми и керосиновыми фонарями, через ровные промежутки времени появляющимися на нашем пути, и в душе у меня бушевало смятение, отчаяние и такой отчетливый, такой непобедимый страх смерти, какого я еще никогда не испытывал до этого вечера.

Страх смерти, ужас перед ее неизбежностью почему-то был связан с неторопливым цоканьем подков по гранитной мостовой нашего города, зеленовато освещенной мертвенным газовым светом, был связан с четкой тенью извозчичьих дрожек и костлявой лошадки, почти клячи, тень которой то безмерно за нами удлинялась по мере удаления от фонаря, то начинала сокращаться, на миг пропадала где-то под нами, под дрожками, затем переходила на другую сторону, рождалась, как новый месяц, по мере приближения к новому фонарю и снова непомерно растягивалась вместе с понурой тенью нашего извозчика и двумя тенями — папиной и моей,— как бы вышедшими из какого-то потустороннего мира.

...Резкие тени движущихся как на шарнирах лошадиных ног, вертящихся колес и нас троих, едущих куда-то людей, в молчании спящего города, казалось, и были самой смертью.

Фейерверк.

Он продавался не только в игрушечных магазинах, но также в мелочных, бакалейных и табачных лавчонках. На листе картона были прикреплены образчики всех видов фейерверка.

...ракеты, бураки, римские свечи, золотой дождь, солнце, бенгальский огонь, шутихи, телефон... и их младшие сестры — бальные митральезы.

Это были разных размеров и калибров картонные трубки, наполненные таинственным серым порошком и заклеенные сверху цветной папиросной бумагой, из-под которой высовывался кончик фитиля, черного, как сухая чаинка.

Не у всех у них были одинаковые формы. Так, например, тонкие и длинные, как макароны, трубочки шутих были сложены в несколько колен и крепко перевязаны посередине шпагатом, что делало их похожими на букву «ж» с фитильком, торчащим из одной лапки; солнце представляло собой знак вечного движения — нечто вроде форсунки, составленной из четырех трубочек, все тем же особым, тонким и очень крепким шпагатом привязанных к картонному квадрату с дырочкой посередине для гвоздика, с помощью которого солнце можно было прибить к столбу или дереву. После того как фитиль был подожжен, оно сначала робко разбрызгивало вокруг себя струйки золотых искр, а потом вдруг начинало бешено крутиться, действительно превращаясь из неподвижного картонного квадрата в слепящий, солнечный диск, охваченный протуберанцами золотых вихрей; подожженная мальчиками шутиха прыгала по земле как дымящаяся лягушка, зигзагами металась по улице, на каждом повороте своем стреляя пороховым зарядом, пугая собак, извозчичьих лошадей, прохожих и велосипедистов; толстую трубу бурака глубоко закапывали в землю, и из него, как из мортиры, с громом вырывались огненные снопы; римские свечи были несколько потоньше и подлиннее бура-

ка, их также закапывали в землю, но не так глубоко; из них один за другим с равными промежутками вылетали горящие шары, что отдаленно напоминало ствол мальвы, покрытый чередующимися бутонами желтых и малиновых цветов; больше всего нас, мальчиков, восхищал телефон— картонная трубка, которая горизонтально бежала по туго натянутой проволоке, распустив за собой хвост золотого песка, пока не хлопалась о ствол дерева и, почерневшая, полуобгоревшая, лишенная сил, вдруг останавливалась, истратив весь запас своего сухого горючего и превратившись в труп; великолепны были бенгальские огни, которые, как бы вспухая в разных местах ночного приморского сада, окрашивали в разные неестественно резкие цвета все дачные аксессуары, внезапно выступавшие из ночной синевы: гипсовые статуи греческих богинь, фонтан, сложенный из ноздреватого известняка, решетчатую беседку над обрывом, низкую мраморную скамью с двумя прильнувшими друг к другу фигурами мужчины и женщины; золотой дождь бил фонтаном из скромной картонной трубочки, которая так и называлась «золотой дождь».

Но больше всего поражали мое воображение ракеты — трубочки, привязанные к концам тонких длинных сосновых лучин.

...Фейерверк возили из города на дачи: большие пакеты, завернутые в тонкую бумагу, почти невесомые, как пакеты белья, полученного из прачечной, причем этот пакет с фейерверком, так же как пакет с бельем, был сколот маленькими булавочками...

Что касается ракет, то их возили тоже завернутыми в папиросную бумагу, как букеты гладиолусов, но только самоварные лучины их ножек длинно высовывались из свертка и всегда было страшно, что их могут обломать в вагонной давке. Дачники и гости везли фейерверк на дачи разными путями: на конке, которая, визжа своими чугунными тормозами, ходила тогда до самой Аркадии, где среди глинистых откосов и ракушниковых карьеров поили лошадей и перепрягали в обратную сторону, головами к городу; их везли в открытых экипажах с блестящими, потрескавшимися от жары кожаными крыльями господа в чесучовых костюмах и панамах с шелковой полосатой

ленточкой, в соломенных американских шляпах, которые — ходили слухи — стоили сто рублей...

Наконец, фейерверк везли в переполненных вагончиках дачной узкоколейки с совсем игрушечным паровичком с головастой трубой и медным свистком, оглашавшим окрестности тоненьким, но отчаянно резким, залихватским посвистыванием, улетавшим сквозь дачные сады к обрывам, в море, где на горизонте всегда темнела полоска пароходного дыма или белели паруса яхт.

...По вечерам вдоль моря, в пыльной зелени дачных садов, то тут, то там слышался праздничный треск фейерверка, били фонтанчики золотого дождя и дымно горели разноцветные зарева бенгальских огней.

А еще позже, уже почти ночью, когда на сером небе высыпали мириады мириад млечных июльских звезд, начинали пускать ракеты, и особенно печальна была последняя ракета, как бы возвещавшая о наступлении полночи и конце увеселений.

В темноту небосвода уходила с побережья прямо в звезды ракета, иногда несколько последних ракет одновременно. Они распадались, как отдельные колосья развязанного снопа. Достигнув высшей точки, они лопались, причем звук разрыва доходил до земли значительно позже, чем немое зрелище их огненного распада.

Впоследствии я прочитал у Бунина:

«Был поздний час — и вдруг над темнотой, высóко над уснувшею землею, прорезав ночь оранжевой чертой, взвилась ракета бешеной змеею. Стремительно порыв ее вознес... Но миг один — и в темное забвенье уже текут алмазы крупных слез, и медленно их тихое паденье».

Фейерверк изготовляли на небольших фабриках, за городом. Одну такую фабрику я хорошо помню. Она находилась за глухим каменным забором в приморском переулке, выходящем на Малофонтанскую дорогу. Забор был выбелен мелом, и во всю его длину тянулась надпись черными буквами в рост человека:

«Пиротехническое заведение «Фортуна».

За забором виднелась железная крыша заведения и верхние части таинственных окон. Приставив к забору несколько строительных ракушниковых камней, можно бы-

ло взобраться по ним и заглянуть в окна мастерской, где стояли деревянные станки для крепкого завязывания и перевязывания шпагатом уже готовых картонных трубок. В этих станках чудилось что-то средневековое, как будто бы их нарисовал Дюрер, но люди, работавшие возле них, ничем не отличались от обыкновенных городских ремесленников — те же черные жилетки поверх сатиновых косовороток навыпуск — с цветными стеклянными пуговичками, те же усы и бороды и тонкие ремешки на головах — шпандыри,— чтобы волосы не лезли в глаза, как у сапожников. В других помещениях пиротехнического заведения «Фортуна» катали картонные трубки и толкли в ступках пороховую смесь серы, селитры, порошка древесного угля, бертолетовой соли, а затем, приготовив из этого тесто, набивали им картонные трубки и вставляли фитильки. Штабеля готового фейерверка сохли вдоль ракушниковых стен, и ракеты стояли по ранжиру, как солдаты, от самых крупных, дорогих, до самых маленьких — пятикопеечных, на хилых ножках, из числа тех, которые иногда покупали в складчину уличные мальчики.

Однажды я купил такую ракету, непрочно привязанную к тонкой сосновой лучине с сучками и задоринками.

Для того чтобы запустить ракету, ее нужно было прислонить к чему-нибудь вертикально и поджечь фитилек. Тогда с бешеным шипеньем, ударив в землю струей золотого дождя, ракета взвивалась к небу, оставляя за собой огненный рассыпчатый след, извилистый потому, что вес ее головки и длина ножки были неточно сбалансированы.

У меня не хватило терпения дождаться вечера, и, окруженный своими друзьями, так называемой «голо́той», я торопливо прислонил ракету к обочине мостовой, а проходящий мимо великовозрастный гимназист дал мне свою дымящуюся папиросу, которую я поторопился приложить к фитилю.

Из ракеты вырвалась струя золотого дождя. Ракета, повинуясь силе реактивного взрыва, подпрыгнула на своей жалкой, тонкой ноге, но сейчас же потеряла баланс, так как ножка сломалась, и ракета упала на мостовую, как потерявший костыли безногий, забилась на месте, потом как бы в беспамятстве поползла по ломаной линии, волоча за своим как бы обрубленным телом сломанную

ногу, и, наконец уткнувшись в ствол акации, замерла навсегда, выпустив из себя облачко тухлого дыма, как душу, которая тотчас рассеялась в огромном мире.

Мы стояли пораженные этой ужасной гибелью и чуть не плакали, как будто бы у нас на глазах погибло живое, разумное существо, а вместе с ним все наши надежды, не говорю уже о моем пятачке.

Время от времени пиротехнические заведения горели, и тогда вокруг них собирались, как на большой народный праздник, толпы зрителей: это была дымно-огненная, разноцветная, стреляющая и крутящаяся стихия; сквозь нее как бы проглядывало нечто средневековое, даже еще более глубоко древнее — какое-то китайское празднество, когда по улицам Шанхая, Пекина, Кантона двигались процессии сынов поднебесной империи, в треске прыгающих шутих и пушечной пальбы бураков несущие на палках длинных драконов из папиросной бумаги...

Угольки вылетали из пожара и падали на дымящуюся полынь пустырей.

А иногда мне представлялась осада Севастополя и английские и французские фрегаты, посылающие со своих бортов боевые ракеты на черепичные крыши обгоревшего русского города.

Теперь же я вижу, как в тяжелом сне, гигантскую ракету в железной пусковой конструкции и на ее верхушке маленького обгорелого человечка, который бьется в тесной каморке ракеты, стучит кулаками в суперметаллические стены и кричит в отчаянии:

«Спасите меня! Спасите! Во имя бога и неба спасите!»

...Но никто уже не может спасти его — нет на земле такой силы,— и он гибнет в облаке огненного дыма, среди звездно-полосатых флагов, стрекота кинокамер, голосов, передающих репортаж, и облако дыма улетает в бесстрастное атлантическое небо, как освобожденная душа, навсегда вырвавшаяся из телесного плена.

Ну, а что касается митральез, то они не имели ничего общего со знаменитыми митральезами Парижской коммуны. Это были толстые картонные трубочки, заклеенные с одной стороны папиросной бумагой, в то время как с дру-

гой стороны, из глухого картонного кружка, торчала веревочка, за которую нужно было дернуть, и тогда из митральезы с легким и нестрашным выстрелом вылетал заряд: пороховой дымок и пригоршня бумажных конфетти, осыпая хорошенькую, красиво убранную головку барышни-гимназистки, и затем покрывала натертый воском паркет бальной залы, по которому ловко скользила и поворачивалась атласная туфелька и над ней как бы висел нарядный шлейф вальса...

Болезнь.

Во время зимних эпидемий скарлатины и дифтерита тетя вешала на наши нательные крестики, которые мы с Женей всегда носили на шее под сорочкой, маленький мешочек — ладанку, куда зашивала несколько зубков чеснока, что считалось надежным предохранительным средством против любой заразной болезни.

Увы, мне не помогли ни киево-печерский синий эмалевый крестик на шелковом шнурке, ни ладанка с чесноком.

С трудом я добрался домой, в передней меня вырвало, кое-как отцепив отяжелевший ранец, с меня сняли шинель, еще более тяжелую, чем ранец, прямо-таки свинцовую. Пока меня раздевали и укладывали в постель, я несколько раз терял сознание. В глубине горло опухло и болело.

Я пылал.

Вообще я любил болеть, конечно, не серьезно и не опасно, а так, слегка: приятный жарок, возле кровати на венском стуле стакан малины, зеленая лампа на папином столе, прикрытая раскрытой книгой, чтобы свет не беспокоил меня, приятная тишина, не надо учить уроков на завтра и рано просыпаться; можно мечтать, немножко капризничать:

...дайте мне это, принесите мне то; пусть Женька не гремит своими кубиками; я бы съел бутерброд с ветчиной; почитайте мне вслух Жюля Верна...

...Не жизнь, а масленица!

Теперь же все было по-другому: томительная, угнетающая тишина, тошнота, тягостное забытье — полуявь, полусон, и страшный блеск стеклянного «максимального

термометра», заполненного почти до самого верха темной полоской ртути.

«Сорок один и две десятых».

Голос папы, меривше го мне температуру, срывался, прохладная рука, которую он осторожно приложил к моему лбу, отдернулась, как от раскаленной плиты, крахмальные манжеты загремели как гром: все в моем сознании было невероятно преувеличено.

Я непритворно стонал.

— Он горит,— с отчаянием выговорил папа.

Сколько раз в жизни я уже слышал эту папину фразу, выражавшую такую душевную боль и такое бессилие, что еще более становилось страшно.

После этого началось то, что бывало всегда при серьезной болезни: мучительное ожидание доктора, тревожно настойчивый, короткий, слишком громкий звонок в передней, зловеще длинный сюртук доктора, еще более зловещий кожаный саквояж, золотые очки, золотые часы, золотая цепочка, золотые запонки, серебряная столовая ложка, поданная доктору на чистом, вынутом из комода полотенце, и ее холодная ручка, которой доктор беспощадно нажимал на мой через силу высунутый, белый от налета язык...

...ощупывание под ушами вспухших желез, проникновение чего-то в глубь воспаленного горла, осмотр груди и спины и, наконец, несколько ужасных слов, дошедших до моего помраченного сознания: «Типичная скарлатиновая сыпь».

Я впадал в полуобморочное состояние.

«Дезинфекция, строгая изоляция»...

Я был опасен для окружающих... Тетя, спешно собрав необходимые вещи в портплед, вместе с Женькой немедленно переехала на извозчике к знакомым, а папа и кухарка остались со мной на все время болезни.

Нужно ли описывать мою скарлатину, ежедневные появления доктора, пилюли, микстуры, порошки с бумажными шлейфами рецептов, потом какое-то очень дорогое лекарство вроде крепкого соленого мясного бульона, которое вдували мне в глотку особым прибором в виде пульверизатора, и кошмарные ночи при лунном свете лампадки, освещающей неподвижную фигуру папы, бодрствующего возле моей кровати?

...Мучительное ощущение тяжести кистей моих рук, как бы все время непомерно, бесконечно и безостановочно разрастающихся, делающихся объемом с подушку, свинцово тяжелую и в то же время воздушно легкую, громадную, как вселенная, и вместе с тем совсем маленькую, как булавочная головка, и даже еще меньше и все время уменьшающуюся, превращающуюся как бы в ничто.

Это двойное ощущение макро- и микромира, пуда и булавочной головки, кисти моей руки, в одно и то же время тягостно тяжелой и еще более тягостно легкой, невесомой, как некое звездное тело, делало мой сон длительной пыткой. Мое истерзанное воображение превращало сбившиеся складки ватного одеяла и скомканной простыни в пропасти и хребты Карпатских гор, по которым ехал всадник с мертвым дитятей за спиной, а мертвая панночка сидела передо мной в своем открытом гробу, с любовью протягивая ко мне лилейные руки, мертвая, с закрытыми глазами и в то же время живая, со странной улыбкой, сводящей меня с ума...

...и это моя душа рождалась где-то в виде прозрачного облака, поднимающегося над синим пламенем, и колдун мучил мою разлученную с телом душу своим змеиным взглядом и не давал ей вернуться обратно в мое почти мертвое тело, а стакан с малиной пылал рядом со мной на венском стуле, как Патагония, и все вокруг заливало красное зарево извергающегося вулкана, по склонам которого текли потоки светящейся лавы, и в то же время эти потоки были сползающими с гор ледниками, ледяными глыбами Юкатана, а может быть, и Северного полюса, и одна ледяная гора вдруг наливалась в середине непостижимым полярным светом, и сквозь толщу голубого льда медленно высвечивалась фигура Смерти в белом саване, с косой в костлявой руке.

Она смотрела прямо мне в душу своими пустыми глазницами, и я бежал от нее, переплывая какие-то ледяные полыньи, карабкаясь по обледеневшим вантам безлюдного корабля, затертого среди торосов, заваленного колотыми кусками битого льда, шуршащего и булькающего в резиновом пузыре, положенном на мой лоб, на мою голову, бессильно утонувшую в горячей продавленной подушке, и так хотелось перевернуть эту подушку на прохладную сторону для того, чтобы хотя бы этим способом избавиться от бившего меня озноба, а папа в одном белье стоял

на коленях перед озаренной иконой Спасителя, крестился и бил земные поклоны, прикасаясь своей взъерошенной шевелюрой к потертому коврику, вымаливая у бога мою жизнь.

Это был кризис...

Глядя со стороны, можно было подумать, что я умираю, уже умер... Но я-то знал, что я живу и буду еще долго жить, и уже чувствовал самое сокровенное начало своего выздоровления.

Ах, как долго я выздоравливал, как томительно медленно понижалась моя температура, пока наконец как-то вдруг совершенно неожиданно однажды утром не упала не только до нормальной, но гораздо ниже нормальной, и я заснул весь в прохладном поту, а затем так ясно увидел, что уже все вокруг стало буднично, как прежде, волшебство болезни рассеялось, и я вижу знакомые, ничем не замечательные предметы, слышу знакомые домашние запахи (жареных котлет?), дышу знакомым комнатным воздухом, а за окном все еще продолжается затянувшаяся зима, та самая зима, в середине которой меня постигла Болезнь.

Доктор стал ходить реже. В последний раз он прописал мне в день по рюмке хорошего, заграничного портвейна, или, как он сказал своим низким, сочным басом, зажмурившись от удовольствия: «Опорто».

Папа, убежденный трезвенник, относившийся нетерпимо ко всякому виду алкогольных напитков, даже к санценбахеровскому пиву, папа, приходивший в волнение при одной лишь мысли, что у нас в доме может появиться вино, при слове «опорто» затряс нижней челюстью и побледнел. Но доктор с мягкой усмешкой убедил его, что рюмка хорошего «опорто» поможет моему выздоровлению и восстановит мои силы, ослабленные скарлатиной.

Папа согласился на «опорто», и это согласие в его устах звучало как вынужденное признание, вырванное силой.

— Хорошо,— сказал он,— хотя я принципиально против употребления человеком алкоголя, но если это нужно для здоровья моего мальчика — пусть будет так.

И он тяжело вздохнул, искоса бросив взгляд на икону Спасителя, дескать — видит бог, я подчиняюсь необходимости.

Я ел жидкий рис, сваренный на воде, со сливочным маслом и сухарями, куриные котлеты, клюквенный кисель, и у меня в складках простыни уже завелись острые хлебные крошки, которые я с трудом выгребал из-под своего обессиленного, вялого, неповоротливого тела.

Вижу квартиру, безлюдную до звона в ушах, и прощальный луч зимнего, предвесеннего солнца, который, по диагонали проникнув в дверную щель, пронзает комнату, где происходит медлительный, сладостный процесс моего выздоровления, и вдруг зажигается красно-янтарным огнем в рюмке настоящего «опорто», купленного папою в гастрономическом магазине Крапивина за два рубля пятьдесят копеек бутылка, с иностранной наклейкой, зеленым металлическим колпачком на длинной португальской пробке. Бутылка эта была завернута в шикарную, бледно-розовую, почти папиросную бумагу.

Папа наливал мне портвейн в рюмку с таким видом, будто давал яд.

...Божественный запах «опорто» распространяется по комнате, смешиваясь с запахом лекарств...

О, как нежно кружится моя слабая голова от первого неуверенного глотка этого крепкого, сладкого, как бы улетучивающегося с языка напитка, укрепляющего меня и несущего мне быстрое выздоровление...

Звезды в форточке.

В сущности, я уже был здоров. Кончался период шелушения. Но я продолжал оставаться в постели, лишь изредка позволяя себе в накинутой на белье шинели, в незашнурованных башмаках на босу ногу пройтись в уборную или минуту постоять возле еще замерзшего окна.

С нетерпением ожидал я вечера и томился, как перед свиданием. Собственно говоря, это и было свидание. Одна гимназистка, с которой я даже не был очень близко знаком, вдруг, узнав о моей болезни, начала писать мне еще не установившимся, почти детским почерком со старательно выведенными буквами, без орфографических оши-

бок сентиментальные письма, вкладывая в них то ленточку, то картинку, то брызгала на бумагу духами, отчего некоторые буквы расплывались, как от слез, напоминая как бы фиалки, вложенные в письмо.

Я отвечал ей.

В конце концов мы влюбились друг в друга, и короткий электрический звонок почтальона, раздававшийся в четыре часа, приводил меня в трепет.

— Тебе письмо,— говорил папа с улыбкой и бросал мне на одеяло промерзший конверт, распространявший по комнате свежий запах яблочного клея.

Она опять назначала мне свидание, которое заключалось в том, что ровно в восемь часов вечера — минута в минуту — мы оба, и она и я, должны посмотреть каждый в свою открытую форточку на звезды и в это время подумать друг о друге. На другой день мы обменивались письмами с описанием своих чувств, испытанных в тот миг, когда мы одновременно смотрели на звезды. Предполагалось, что мы видим одно и то же созвездие Кассиопеи, похожее на W («дубль в»).

Прочитав письмо несколько раз и тщательно его осмотрев и обнюхав, я клал его под подушку, и начиналось томительное ожидание вечера, восьми часов — пустота, которую нечем было заполнить.

Очень медленно двигалось солнце к закату, и я следил за передвижением желтого солнечного луча по нашей пустой квартире, такой тихой, что капли воды, медлительно и размеренно падавшие в раковину из кухонного крана, как бы еще более удлиняли движение почти неподвижного времени. В приближающихся сумерках я слышал в столовой осторожные папины шаги; он подходил к пианино, открывал крышку; шелестели ноты и визжала круглая фортепьянная табуретка на железном винте. Неторопливо, как бы читая ноты по складам, папа начинал играть «Времена года» Чайковского, любимые вещи покойной мамы. Я чувствовал, что, играя, папа думает о маме, о своей любви к ней, и его близорукие глаза, прилежно следящие то за нотами, то за клавишами, краснеют и наливаются слезами. Он играл, а я в это время так живо видел —

...русскую зиму, слышал бубенчики бегущей тройки; мне представлялось побережье и длинные кружевные волны, почти касающиеся моих ног; я шел по мокрой

аллее оборванного ветром парка, и желтые листья, срываясь с черных ветвей, кружились надо мною и падали на мокрые скамейки; все это необъяснимо меня волновало, даже слова «у камелька», и наполняло мою душу такой любовью, нежностью, даже отчаянием, что я прижимался лицом к подушке и плакал, чувствуя мокрой щекой свежесть наволочки.

Особенно нравились мне «Белые ночи», папа играл их вдумчиво, поэтично, проникновенно, и я представлял окраины никогда не виденного мной Санкт-Петербурга, почему-то Обводный канал, в неподвижной воде которого среди глухих заборов и фабричных труб горит и все никак не может догореть, отражается и все никак не может полностью отразиться длинная во времени и пространстве заря, и пугающее безлюдье, и ледяное дыхание с Ладоги, и предчувствие каких-то громадных событий, свидетелем которых мне предстоит когда-то сделаться, и предшествующие этим, быть может даже кровавым, событиям тишина и свежесть фетовского мая, чистота откуда-то — кажется, «из царства вьюг и снега» — вылетающего к нам мая.

«Какая ночь! На всем какая нега! Благодарю, родной полночный край! Из царства льдов, из царства вьюг и снега как свеж и чист твой вылетает май!»

Но вот квартира постепенно темнеет, к ночи на дворе подмораживает, на оконных стеклах снова таинственно проступает белый рисунок папоротников и пальм, зажигается на папином письменном столе с маленькими выточенными перильцами, малахитовым чернильным прибором и стопками ученических тетрадок новая электрическая лампочка под зеленым стеклянным абажуром, и в столовой начинают хрипеть стенные часы, что-то щелкает, и вслед за тем раздается их размеренный музыкально-пружинный бой:

Восемь!

На четвертом ударе я уже стою, закутавшись в одеяло, на подоконнике и с замиранием сердца открываю форточку. Я боюсь, ужасно боюсь, что небо покрыто облака-

ми. Но нет. Какое счастье: ночь морозна, ясна и над противоположной крышей в темном небе блестят пять звезд Кассиопеи.

Я смотрю на знакомое созвездие с каким-то неестественным душевным напряжением и в то же время с усилием представляю себе «ее» — как она, скинув башмаки, стоит в серых шерстяных чулках на холодном подоконнике, и, страстно раздув ноздри своего коротенького, хорошенького носика, изо всех сил вдыхает морозный воздух, и, вытаращив свои большие голубые глаза с поволокой, смотрит на «наши звезды», косо повисшие над крышей епархиального училища напротив их дома. У нее круглое, нежное лицо, полуоткрытые, полные, слегка потрескавшиеся губы телесного цвета, тесные рукава и крепкий, еще детский, но уже почти девичий стан, складно обтянутый будничным темно-зеленым шерстяным форменным платьем без фартука. Я так ясно представляю себе две кнопки сзади на ее высоком воротничке, обшитом тонкой полоской кружев.

...У них тоже в это время бьют часы восемь, и она, несомненно, глядя на звезды, изо всех сил старается представить себе меня, но я не знаю, каким она меня видит: неужели с отросшими на затылке волосами, закутанным в одеяло, в расшнурованных башмаках на босу ногу, с бледным, похудевшим лицом и весьма глупой, страстной улыбкой?

Часы кончают бить восемь, и я с удовлетворением, точно исполнил некий очень важный и очень приятный любовный долг, захлопываю форточку, в черном стекле которой, чуть качнувшись, пролетает морозное отражение Кассиопеи — «нашего созвездия»...

Рыбная ловля.

Я бы назвал эту пору в нашем городе сезоном бамбуковых удилищ. Город раскален летним солнцем. Рыболовы в соломенных шляпах и чесучовых пиджаках везут свои бамбуковые удочки к морю. Удочки не помещаются внутри коночного или трамвайного вагона. Их везут на площадках, откуда они высовываются десятками, задевая своими тоненькими, но удивительно прочными и гибкими верхушками сквозную листву отцветающих акаций.

Удочки уже оснащены всем необходимым: наполовину синие, наполовину красные узкие пробковые поплавки, в которые воткнуты стальные рыболовные крючки, и на тонком шпагате болтаются свинцовые грузила; тонкий шпагат привязан мертвым узлом к более толстому, обернутому вокруг конца удочки, раскаленного солнцем.

Хорошее бамбуковое удилище стоит довольно дорого; иметь настоящую бамбуковую удочку — лаково-канареечную, прочную, легкую, длинную — примерно такая же несбыточная мечта, как роликовые коньки, ружье «монтекристо» или подержанный велосипед, о новом, разумеется, не может быть и речи.

Ах, как я завидую всем счастливым обладателям больших, или громадных, или даже средних и маленьких бамбуковых удочек, которые упруго склоняются к зеленой морской волне со скал, с купальных мостов, со свай, вбитых в дно возле берега с брекватера, с бетонных кубических кессонов, беспорядочно наваленных вдоль берега Ланжерона, с шаланд, качающихся «на якоре», который заменяет привязанный к веревке дырявый камень, некогда отбитый штормом от известняковой скалы.

Как волновал меня вид ровно наполовину погруженных в морскую воду сине-красных поплавков, которые так плавно, заманчиво покачивали над литой пологой волной голый кончик своего гусиного пера.

Но еще больше завидовал я тем несметно богатым рыболовам, которые имели возможность «самодурить», то есть ловить скумбрию на так называемый «самодур» с шаланды, летящей под парусом поперек нашей бухты.

«Самодур» представлял собой некое подобие искусственной металлической рыбки, усаженной по бокам рыболовными крючками и пестрыми перышками. Рыболов ловко орудовал своим гигантским удилищем, все время подергивая леску, так что бамбук гнулся в дугу, время от времени расправляясь и опять упруго сгибаясь, с головокружительной быстротой таща за собой по вспененным волнам свою опасную приманку, за которой охотилась хищная скумбрия, хватала ее почти на лету узким зубастым ртом и вдруг, блеснув на солнце серебристо-синей муаровой полосой, оказывалась поддетой на крючок.

При благоприятном ветре все море между Дофиновкой и портовым маяком было полно наполовину темных, наполовину белых, округло надутых парусов шаланд са-

модурщиков; из-под плоских, начерно просмоленных донь-ев, шлепавших изо всех сил по гребням тинистых волн, вылетали сверкающие брызги.

В эти дни базар был завален скумбрией. Ее жарили во всех домах и даже возле домов на керосинках, поставленных в тени акаций на табуретки. Вдоль улицы плыл чад скумбрии, жаренной на оливковом масле.

У меня не было ни бамбуковой удочки, ни красивого поплавка, ни покупного грузила, ни шаланды с наполовину темным парусом, округло вздутым утренним бризом. Мне приходилось ловить бычков на самолов, то есть без удочки, прямо с пальца, опуская со скалы в глубокую воду шпагат с самодельным грузилом и самым дешевым крючком на прозрачной леске. В тинистой воде, в зарослях разнообразных водорослей, темно-зеленых и коричневых, с небольшими песчаными просветами, полянками, по дну осторожно ходили богато оперенные большие бычки, прячась при малейшем шуме в щели подводных камней.

Бычки на креветку.

Прежде чем начать лов, надо было раздобыть креветок для наживки. Сняв штаны и задрав рубашку выше пупа, я хожу в теплой морской воде, высматривая креветок. Их трудно увидеть: они почти прозрачны и крайне пугливы. Как их поймать? Одному не справиться. Но помощник всегда найдется: позовешь какого-нибудь маленького купальщика с выцветшей на солнце русой стриженой головкой, с ног до головы коричневого от загара, только пятки розовые, с животом, туго перевязанным трапочным жгутиком, что в некоторых семействах считалось выгодным: отбивает аппетит, не так много человек скушает, да и живот не отрастет.

Мы ходим вдвоем, держа за углы мой носовой платок, и стараемся незаметно подвести его под стайку креветок. Не дыша и не делая резких движений, даже если нога наступит на скользкий камень, осколок мидии или кусочек бутылочного стекла, матово-отшлифованного вечным движением прибоя, мы охотимся на нервных креветок.

Наловив креветок, мы влезаем на скалу — поздреватую, колючую, накаленную солнцем.

Креветки бьются в платке, с которого течет вода, тут же на глазах испаряясь с раскаленного камня. В судорожных движениях креветок, попавших в плен, в узелок, есть что-то гальваническое; они щелкают, как стальные; их усы прокалывают платок. Но мы беспощадны. Мы отрываем их шейки и наживляем ими крючок самолова.

Грузило осторожно закинуто в воду, тонкая бечевка, сползая по пальцу, наконец останавливается, давая понять, что грузило достигло дна и наживка на крючке плавает около. Теперь надо ждать, не отрывая глаз от подводного царства, которое так сказочно цветет и струится плетями водорослей, темными порослями тины, перламутровым блеском раковин и небольшими вихрями песка, поднятыми каким-нибудь крабом, продвигающимся боком, как бегущая по клавишам рука пианиста, к своему логовищу.

Наконец все стихает, вихрь песка улетучивается, подводное царство снова погружается в легкий, как бы колеблющийся сон, и тогда из щели, заросшей скользкой бархатной зеленью, выплывает большой, головастый бычок с хищно оскаленной мордой и выпуклыми купеческими глазами.

О, как он хорош в своем распустившемся, как веер, оперенье, верхний зубчатый гребень колышется, хвост развернут, и жабры жадно дышат. Его тень волнисто движется по неровному морскому дну, испещренному маленькими подробными изображениями водяной ряби, которая мерцает где-то вверху над бычком, серебряная и зеркальная от солнечных отражений.

Бычок видит шейку креветки, от которой так вкусно пахнет нежной плотью этого ракообразного. Бычок делает круг, со всех сторон осматривая наживку, он берет ее не сразу. Вероятно, он все-таки чувствует какой-то обман, опасность, но ничего не может поделать со своей грубой жадностью. Он подкрадывается к шейке креветки и сначала очень осторожно, почти неощутимо, трогает ее тупой — действительно похожей на бычью — мордой. Это движение, как по телеграфу, передается моему пальцу, и я ощущаю всем своим существом легкий импульс, как бы соединивший меня с другим живым существом, вздрог-

пувшим где-то глубоко внизу среди зеленых сумерек подводного мира.

Стоит больших усилий воли сдержать себя и не дернуть за бечевку.

Телеграфная связь между мною и головастой рыбкой продолжается по бечевке, теперь это уже почти азбука Морзе:

...точка — тире... точка — тире... тире... тире... точка...

Бычок подозрителен; ему чудится непонятная, неосознанная опасность: он не получает сверху ответа на свои телеграфные запросы... В конце концов своим молчанием я усыпляю его бдительность: он успокаивается; он уверен, что меня вовсе не существует, что я лишь плод его религиозного воображения; опасности нет; бога нет; можно хватать лакомый кусочек хищным зубастым ртом с выдвинутой вперед челюстью. Я чувствую указательным пальцем упругое, упрямое натяжение бечевки.

Ага, теперь он мой!

Коротким рывком я подсекаю бычка и тащу наверх, чувствуя, как бьется и мечется в таинственной глубине его пестрое тело, так красиво оперенное пятнистыми веерами плавников. Я чувствую, как крючок — его коварно изогнутая в трех измерениях конструкция — пронзил его челюсть, его перламутровую щечку, как судорожно открываются и закрываются клапаны его жабр. Вот он появляется над водой. Он висит на крючке, сорваться с которого невозможно,— так подло устроено его кривое острие с засечкой.

Я вытаскиваю его. Немного подергавшись, он бессильно повисает в воздухе, в несвойственной ему, непонятной и враждебной среде, и с него, как с хорьковой кисточки для акварельных красок, стекает вода. Куда девалось, во что превратилось его прекрасное, воистину самурайское оперение, его развееренный хвост! Только и осталась лобастая голова с судорожно дышащими жабрами, тонкий хрящик нижней челюсти, выпученные глаза и жалкая кисточка хвоста.

Я зажимаю в кулаке его осклизлое тело, в середине которого отчаянными, спазматическими толчками еще бьется сердечко. Я беспощадно выдираю из перламутровой щечки крючок и, проткнув насквозь обе кроваво-красные жабры палочкой, опускаю бычка на веревочку кукана, где уже висят несколько мелких бычков, уснувших, со слипшимися кисточками хвостов.

В этот жаркий, предвечерний час отовсюду, возвращаясь с моря, шли по городу рыболовы с удочками и ведерками и несли в руках длинные куканы с нанизанными на них гроздьями бычков — светлых, так называемых «песчаных», и темно-пятнистых — «подкаменных».

Нес свой маленький кукан и я, всего каких-нибудь пять или шесть мелких бычков, вывалянных в малофонтанском песке и белой, как мука, шоссейной пыли Французского бульвара. Мне было жалко бычков, в особенности их повисшие, сузившиеся хвостики, с которых уже перестала капать вода.

«Господи! — думал я тогда (или, может быть, теперь?).— Неужели чья-то громадная рука держит и меня, как маленького, ничтожного бычка, сжимая так крепко в своем невидимом кулаке, что мое сердце трепещет, сжимается и каждый миг умирает».

Настоящая большая рыбная ловля представляла из себя нечто совсем другое.

Громадная песчаная коса между лиманом и морем, за Аккерманом, за Шабо, за селом Будáки, недалеко от пограничного кордона — небольшой казармы с мачтой для сигнальных флагов и солдатами-пограничниками, которые вдруг появлялись с винтовками на плечах и шли — по двое, по трое — по краю высокого, крутого обрыва по душистой полыни, по иммортелям, на фоне вечереющего моря и туманной полосы над горизонтом, откуда уже наполовину показался большой круг полной луны, еще совсем не яркой, розовато-пепельной, готовой каждую минуту стать багровой и нарисовать на пыльной тропинке длинные тени степных трав.

На песчаной косе виднелись сложенные из камыша рыбацкие курени и лежали на боку большие, черные, сплошь просмоленные баркасы с одинаково приподнятыми носом и кормой, что делало их похожими на индейские пироги. Они ничего общего не имели с легкими одесскими шаландами — плоскодонками, а были настоящие, серьезные рыболовецкие посудины из дельты Дуная, или, как говорилось, «из гирла Дуная».

Может быть, на таких посудинах мои предки-запорожцы, пересекая Черное море, совершали набеги на турецкие берега и доходили даже до Константинополя.

Рыбаки не без труда сталкивали свои тяжелые баркасы в воду, волоча их по песку, по ракушкам, по рядам засохшей вдоль полосы прибоя тины, по мокрой гальке, уже слегка поблескивающей лунным светом.

Черный баркас увозил сложенный кучей невод далеко от берега, только лунные огоньки вспыхивали под веслами, как будто бы где-то на горизонте высекали огонь из кресала и там сбрасывали его в воду. Сетчатая мотня тяжело шла ко дну, а на поверхности оставался плавать пустой засмоленный бочонок, гладко переваливаясь с волны на волну. Затем узкие крылья заброшенного невода заводили широким полукругом, а концы веревок, привязанные к крыльям с двух сторон, привозились на берег, и начиналось очень медленное, волнующее зрелище вытаскивания невода.

Бочонок подвигался к берегу столь же медленно, как луна к зениту, уменьшаясь и становясь все ярче и ярче, голубее и голубее.

Став гуськом с двух сторон, рыбаки вытаскивали сетчатую полосу невода, которая выносила из воды сначала тину, потом несколько крабов, несколько морских звезд, морских игл и морских коньков... Их становилось на движущейся полосе невода все больше и больше. Уже начинали попадаться отдельные рыбы, сверкающие в лунном свете.

Крылья невода сдвигались, широкая подкова превращалась в тесное кольцо. Из-под воды показывалась мотня, тесно набитая рыбой. Этот сетчатый мешок с усилиями подводили к самому берегу.

...Очень яркая луна уже стыла в самом зените, заливая все вокруг голубым, серебряным светом холодного бенгальского огня.

Мотня кипела трепещущим серебром скумбрии и другой рыбы, в несметном количестве набившейся в сетчатый мешок. Лунный свет заливал все побережье — холодную песчаную косу, лиман, откуда доносился гнилостный, целебный запах его рапы и грязи, обрывы, поросшие полынью, дикой маслиной, и мне казалось, что я вижу в месячном сиянии Буджакские степи, башни старинной турецкой крепости, цыганские костры и телеги, и курчавого молодого Пушкина, и очи Земфиры с белками, отливающими лунным светом, и Алеко с ножом в ру-

ке, так же отливающим каленым лунным светом, и мне чудились мучительные сны, живущие где-то совсем рядом со мной «под издранными шатрами», и «всюду страсти роковые и от судеб защиты нет», и все это — под маленькой, не больше новенького гривенника луною, пробивавшейся над плетнями и виноградниками Будак, сквозь легкую летнюю тучку, как рыбий глаз.

Поздно ночью я вернулся на наш чердак. В окна, косо вырезанные в крыше, были видны темные купы фруктовых деревьев и далекое поле, сплошь белое от лунного света. Женька спал на своих парусиновых козлах. Папа при свете свечи под стеклянным колпаком читал Лескова. Ночь была жаркая, и папа расстегнул ворот своей вышитой косоворотки. От меня пахло на весь чердак солью и свежей рыбой. На босых ногах блестели серебряные рыбьи чешуйки. Я подошел к дощатому столу, где для меня была оставлена простокваша. Папа был сторонником Мечникова и велел нам есть на ночь простоквашу. Глубокая тарелка с простоквашей была прикрыта сверху старой, уже пожелтевшей газетой. Я снял газету и увидел простоквашу, ярко освещенную голубым лунным светом. Я насыпал в простоквашу сахарного песку, который сначала пожелтел, а уже потом стал растворяться и тонуть в простокваше. Я ел с наслаждением столовой серебряной ложкой с маминой монограммой на ручке превосходную, прохладную еду. И серебряная ложка, и простокваша, и далекая степь за окном, и часть папиной холщовой косоворотки в черноте чердака — все это было необыкновенно красивого, яркого и в то же время мягкого лунного цвета, наполнявшего мир и заставлявшего блестеть море, которого из нашего чердака не было видно.

Черновик какого-то стихотворения:

Моя веснушчатая англичанка (колени в ссадинах, ячмень бровей) — я помню вас, матросская голландка и рыжие калачики кудрей! Одиннадцатилетняя, без няни, разбойник в юбке, Робинзон, казак, ты помнишь, как в Отраде на поляне вокруг кола весь день паслась коза и как мальчишки мяч футбольный били тупыми башмаками по козе? В терновых иглах ягодки рябили — коралловые кап-

ли в дерезе. И ты хватала легкий, и звенящий, и твердый мяч, как голову, несла, крутя в руках арбузный хвостик-хрящик, как древняя царевна, весела. Я был в ту пору очень смугл и черен — вихрастый гимназист Иоканаан; писал дневник — ни дать ни взять — Печорин,— твой первый гимназический роман. И много лет прошло больных и хромых, на костылях случайных наших встреч; взлетали вихри снега и черемух, но тот же был над нами месяц — меч. И та же ночь ждала безглазым негром с мечом-кометой в траурной руке, чтоб в должный час из театральных недр поднять любовь в курчавом парике. Вино и кровь — проклятое наследье. Нам истина дешевая дана — тебе в козлином голосе трагедий, а мне в бутылке скверного вина... Танцуй же снова девочкой-подростком, сегодня ты танцуешь для меня... Но детский мяч по театральным доскам летает, пусто и легко звеня...

Дельфин.

После небывалого шторма, когда огромные холмы и горы мутно-коричневых волн со скоростью курьерского поезда косо проносились мимо берегов, с пушечным громом обрушиваясь на обрывы, и заставляли на десятки верст вокруг звенеть, как бронза, туманный воздух, насыщенный йодистыми и сернистыми запахами как бы вспаханного до самых недр моря, вдруг наступил штиль.

Над утихшей, гладкой поверхностью моря как ни в чем не бывало засияло горячее солнце, и мы увидели на девственно-гладком, еще холодном песке тело дохлого дельфина.

Он был ничей.

Мы его увидели первые, и теперь, по всем законам, он сделался нашей собственностью. Мы обошли его вокруг, любуясь крепким, как бы литым, даже на вид тяжелым телом, покрытым черной блестящей кожей, любуясь треугольным плавником на спине, красиво вырезанным хвостом, длинным ртом, скорее даже не то клювом, не то пастью с крепкими, острыми собачьими зубками и неподвижными, резко очерченными глазами, в которых уже не отражалось ничего.

Он был совсем как живой, свежий, только неподвижный; в нем чего-то не хватало. Но чего? Жизни? Да, наверное, не хватало жизни. Но что такое жизнь? Этого мы не знали.

Сначала мы решили его — как общую находку — разделить честно поровну, пополам. Но потом раздумали. Мы были друзьями, так пускай же дельфин считается нашим общим.

Но что же с ним делать?

Мы были в том возрасте, когда мальчики собирают коллекции бабочек и жуков, гербарии, хранят в банках с формалином морских коньков, морских игл, маленьких стерлядок, крабов, медведок, сколопендр, как бы вступив в борьбу с самой Смертью, с ее разрушительной силой и желая дать вечность, предохранить от гибельного тления красоту животного и растительного мира, рассеянную вокруг нас в таком изобилии и разнообразии форм и красок.

Но увы! Бабочки, усыпленные эфиром, все-таки очень скоро начинали разлагаться, наполняя нашу комнату на чердаке тяжелым запахом. Трудно было поверить, что этот запах исходит от прелестных, почти невесомых телец, от распластанных нарядных крылышек «адмиралов», «капустниц», «шелкопрядов», «мертвых голов». Запах эфира смешивался с запахом засохших распластанных растений гербария, оставлявших на бумажных листах желтые пятна, источавшие аромат тления, напоминавший запах старинных книг с кожаными корешками, объеденными мышами.

...Всюду смерть побеждала жизнь...

Но мы не могли отдать смерти такую большую, красивую, дорогую вещь, как дельфин. Никто из наших товарищей еще никогда не обладал таким сокровищем! Нам пришла в голову мысль сделать из нашего дельфина чучело. Нам казалось, что это очень просто. А что? Содрать кожу и набить соломой или, еще лучше, гигроскопической ватой, пропитанной формалином, и тогда получится превосходное чучело, которое можно продать или, в крайнем случае, пожертвовать какому-нибудь музею. Нам уже мерещилась медная дощечка с нашими именами в качестве жертвователей.

Мы сбегали наверх в экономию за ножами и приступили к делу. Однако кожа дельфина оказалась такой

толстой, прочной, приросшей к телу, непроницаемой, что на ней даже не оставалось царапин от наших жалких столовых ножей. Мы побежали за другими ножами — острыми, кухонными, но и они ничего не смогли поделать с дельфиньей кожей. Мы попытались перевернуть нашего дельфина на спину и вскрыть его брюхо, но животное оказалось тяжелым, как слиток чугуна, и нам не удалось сдвинуть его с места ни на вершок. Тогда мы, еще немного поковырявшись в дельфине и сломав один нож, решили отказаться от идеи чучела, а просто отрезать от дельфина красивый черно-синий хвост, чем-то напоминающий фигурные скобки, или, в крайнем случае, спинной плавник, с тем чтобы заспиртовать в большой банке из-под варенья. Увы! Отрезать спинной плавник было так же невозможно, как если бы он был сделан из черной вороненой стали, а о фигурном хвосте и говорить нечего.

Вспотевшие от усилий, мы наскоро выкупались, полежали немного на песке и решили ограничиться ожерельем из дельфиньих зубов: красиво, оригинально и не составляет особого труда. Мы сбегали наверх и принесли плоскогубцы. Однако, несмотря на все наши усилия, дельфиньи зубы не поддавались плоскогубцам. Мы раздобыли кузнечные клещи. Но и они не помогли. Нам даже не удалось пошатнуть хотя бы один зуб.

Дельфин лежал перед нами на песке совершенно целый, и в его резких, стеклянных глазах не отражалось ничего, кроме белой звезды полуденного солнца.

Может быть, хотя бы вырезать у дельфина глаза и положить в банку с формалином? Один глаз мне, другой — Женьке. Мы приступили к делу, пустив в ход все возможные орудия. И ничего! Нам не удалось даже проткнуть глаз, когда случайно острый нож соскользнул с кожи дельфина и попал в зрачок. Дельфиний глаз оказался твердым, как драгоценный камень — берилл, топаз, агат или что-нибудь вроде этого.

Тогда, потеряв терпение, мы стали колотить дельфина молотками, пытались как попало кромсать его кожу ножами, били по его тугой, как резина, голове морскими гладкими камнями-голышами... Бесполезно! На коже дельфина остались лишь несколько еле заметных царапин.

Тогда мы еще раз выкупались и, обессиленные, немного повалялись на песке, я и Женька, но не мой братишка, а Женька — мой друг, сын немца-колониста, у которого мы нанимали на все лето комнату под крышей, откуда был прелестный вид на виноградники, кукурузные поля и на черно-синюю тучу летней грозы с градом и молниями (она обыкновенно заходила с моря в степь). У Женьки были добрые, слабые, вечно красные, как будто бы у него была трахома, лучистые глаза; он был превосходный товарищ, и лучшего компаньона на дельфина трудно было найти. Но что же делать, если дельфин оказался таким неподатливым! Мы провозились над ним до восхода луны и ничего не добились.

На следующее утро, когда мы подошли к нашему дельфину, то увидели, что по его коже, по его глазам ползают тучи зелено-металлических мух и роятся над ним в воздухе с гнусным жужжанием...

Мы поспешили уйти.

А еще через день, утром, дельфина уже не было. Видно, его смыло волной, так как начался новый приступ шторма, пришедшего к нам с Анатолийского побережья Турции, может быть даже из Трапезунда.

Буря на море.

Он пропадал целые сутки и вернулся домой поздно вечером без пояса и фуражки, со слипшимися волосами, в сильно помятом гимназическом костюме, который, как видно, побывал в морской воде и еще не вполне высох.

На все вопросы он упрямо молчал, и по его посиневшим губам скользила робкая и в то же время горделивая улыбка, а в карих глазах появилось выражение странного оцепенения, которое бывает у человека, встретившегося лицом к лицу со смертью.

Лишь через несколько лет он рассказал мне, что с ним произошло.

...Их было трое гимназистов, товарищей, и они, собрав полтора рубля, достали напрокат старую рыбацкую шаланду с парусом, вставным дощатым килем и камнем на веревке вместо якоря. Сначала они хотели только

немножко покататься, но, очутившись в море, вдруг решили с легкомыслием двенадцатилетних мальчишек совершить морское путешествие в Очаков и обратно — всего несколько сот верст,— что казалось им почти подвигом.

А жажда подвига всегда сводит с ума человека, в особенности совсем молодого, мальчишку.

Внезапно — как это всегда бывает на Черном море — где-то за Дофиновкой они попали в один из тех страшных шквалов, которые обрушиваются с северо-востока, превращая море в кипящий котел, где громадные волны, ежеминутно меняя направление, сталкивались друг с дружкой, наполняя воздух адским грохотом, звоном и клочьями серой пены.

Мне никогда не приходилось переживать подобные приключения в открытом море. Это приключение я описываю со слов моего брата; даже не столько со слов, сколько представляю себе всю картину по выражению его глаз, как-то сразу очень изменившихся после этого происшествия, повзрослевших и как бы знающих что-то такое, чего никто, кроме него, больше не знает, как будто именно во время этого шторма совершилась судьба всей его жизни.

Руль шаланды разбило. Парус разодрало пополам. Весел не было. Шаланда куда-то неслась по воле шторма, то проваливаясь вглубь, между двумя водяными горами, то взлетая вверх, почти опрокидываясь и черпая бортами, носом и кормой воду, до половины затопившую старую посудину, скрипевшую всеми своими расшатанными частями. Черпак и баклага с пресной водой плавали в воде, наполнявшей шаланду.

Лил дождь. Ветер рвал мокрую одежду. Вокруг уже ничего не было видно. Наступала ночь, и перед тем, как окончательно стемнело, вдруг на молочно-сером небе, над несущимися табунами волн, засветился розоватый отблеск: где-то за тучами садилось солнце.

Мальчикам показалось, что шторм кончается, но они ошиблись: розовая заря быстро погасла среди черных туч и наступила ночь, еще более страшная, чем этот штормовой день. Мальчики наглотались соленой воды. Их рва-

ло. Шаланда каждую минуту готова была затонуть. Они устали выливать воду почерневшим деревянным черпаком, дырявым ведром, наконец, своими гимназическими фуражками и просто руками. Почти потерявшие сознание от качки, от рвоты, они плакали и охрипшими голосами изо всей мочи кричали в темноте ночи, уже не надеясь, что кто-нибудь услышит их крики и мольбы.

Отчаявшись, они стали молиться богу, но бог не желал или не мог им помочь.

Среди ночи на короткое время тучи разорвались, и среди них мелькнула туманная луна на ущербе. Ее лицо, бледное, как у мертвеца, слегка посеребрило волны, после чего ночь сделалась еще страшней и бесконечней.

Вдруг они увидели огни: недалеко от них шел, переваливаясь среди волн, небольшой пассажирский пароход из Николаева. Мальчики стали кричать:

— Эй, на пароходе! Спасите! Мы терпим бедствие!

Они сорвали голоса и могли кричать только шепотом.

Пароход прошел мимо, не заметив их.

Тогда кто-то из мальчиков вспомнил, что взял с собой маленький дамский револьвер. Он схватился за ванты и, вися над бурной пучиной, стал бессмысленно стрелять в воздух и стрелял до тех пор, пока не кончились все патроны. За ревом шторма выстрелов, конечно, не было слышно, только маленькие язычки огня вылетали из дула.

Пароход растворился во тьме вместе со всеми своими светящимися иллюминаторами.

Порыв шквала сломал мачту, и она теперь волоклась за кормой на еще не вполне порванных вантах. Надежды больше не было. Ночь длилась бесконечно. Однако на рассвете их спасли, уже не помню кто и как. Кажется, дофиновские рыбаки.

Не могу забыть янтарно-коричневых глаз моего брата Жени, когда он рассказывал мне эту историю, его сиреневых губ и опущенных плеч обреченного человека.

С той ночи он был обречен. Ему страшно не везло. Смерть ходила за ним по пятам. Он наглотался в гимназической лаборатории сероводорода, и его насилу откачали на свежем воздухе, на газоне в гимназическом садике, под голубой елкой. В Милане возле знаменитого собора его сбил велосипедист, и он чуть не попал под ма-

шину. Во время финской войны снаряд попал в угол дома, где он ночевал. Под Москвой он попал под минометный огонь немцев. Тогда же, на Волоколамском шоссе, ему прищемило пальцы дверью фронтовой «эмки», выкрашенной белой защитной краской зимнего камуфляжа: на них налетела немецкая авиация и надо было бежать из машины в кювет.

Наконец, самолет, на котором он летел из осажденного Севастополя, уходя от «мессершмиттов», врезался в курган где-то посреди бескрайней донской степи, и он навсегда остался лежать в этой сухой, чуждой ему земле...

Игрушечная яхта.

Это был, несомненно, сын богатых родителей, потому что только у богатых мальчиков могла быть такая чудная игрушечная яхта, почти модель настоящей, английской, из числа тех, что находились в наших Черноморском или Екатеринославском яхт-клубах, вроде «Нелли», «Снодропа», «Майяны»...

Он нес ее перед собой на вытянутой полусогнутой руке, и трудно было отвести глаза от безупречных форм и пропорций маленького корабля, от его стройной высокой мачты, от его дощатого корпуса, легкого и звонкого, как музыкальный инструмент, от его бушприта, парусов грота и нескольких изящно-косых, треугольных кливеров, наконец, от его глубокого киля со свинцовой сигарой противовеса на конце. До тонкой красной ватерлинии корпус яхты был выкрашен белоснежной эмалевой краской, а ниже, вся подводная часть, включая киль,— салатно-зеленой краской, что делало общую расцветку маленькой яхты очень нарядной.

...Мальчик в новой матроске гордо шел по тенистым улицам города, и кружевные тени акаций скользили по девственно свежим парусам яхты и по слегка веснушчатому носику с горбинкой его владельца.

Пока мальчик дошел от центра города до дачи Отрада, за ним уже образовался длинный хвост уличных мальчиков, с завистью и восхищением разглядывающих яхту и предвкушавших зрелище ее спуска на воду. Я присо-

единился к процессии и шел рядом с богатым мальчиком, время от времени просительно бормоча:

— Дай подержать! Не будь вредным!

На что богатый мальчик отвечал:

— Смотрите на него, какой он хитрый!

Миновав Отраду, еще более тенистую и цветущую, чем другие улицы нашего города, мы спустились следом за богатым мальчиком с крутого обрыва и подошли к самому морю, возле которого два плотника в выцветших розовых рубахах и дерюжных портках строили кому-то на заказ средней величины шаланду. Шаланда была наполовину готова, и к ее шпангоутам плотники уже приколачивали гвоздями красиво гнущиеся сосновые доски обшивки. Тут же рядом на костре коптились две жестянки — одна со смолой, другая с суриком для шпаклевки. Переносный самодельный верстак был завален золотистыми стружками, от которых пахло скипидаром.

Подойдя к самой воде, мы расступились, и богатый мальчик благоговейно опустил свою яхту на длинную хрустальную волну. Яхта отразилась в волне всеми своими нарядными, свежими красками, побежала по ветру, и ее стройная мачта, уравновешенная килем, покачивалась как метроном.

По сравнению со старой ноздреватой прибрежной скалой яхта казалась совсем маленьким, беспомощным суденышком.

Но как красива она была!

Взрыв водорода.

...стало известно, что если кусочек самого обыкновенного цинка положить в стеклянный сосуд и залить его самой обыкновенной азотной или, кажется, серной кислотой, то произойдет химическая реакция и станут выделяться пузырьки водорода; если же этот газ собрать в сосуд и прикрыть горло сосуда стеклянной воронкой, то водород, будучи легче воздуха, начнет выходить через трубочку воронки, и тогда его можно поджечь спичкой, и он будет гореть язычком тихого, спокойного пламени, как было изображено на рисунке в толстом учебнике физики Краевича.

Мечта добыть собственными силами и в домашних условиях этот легкий безвредный горючий газ с такой силой и страстью овладела моим воображением, что я уже ни о чем другом не мог думать. В дальнейшем мне уже рисовалась картина небольшого дирижабля, который я сделаю собственными руками, наполню его водородом собственного изделия и запущу в небо на удивление всей улице, посадив в гондолу какое-нибудь животное — кошку или даже смирную собачку,— это придаст моему эксперименту строго научный характер и вызовет всеобщее восхищение, смешанное с удивлением: как это случилось, что в общем такой плохой ученик, как я — даже, можно сказать, двоечник,— провел столь блестящий научный эксперимент! Вот и судите после этого человека по отметкам!

Эти и тому подобные честолюбивые мысли до последней степени разогрели мое нетерпение, и я не откладывая дела в долгий ящик тут же, немедленно, приступил к опыту.

Однако физический опыт добычи водорода, представлявшийся мне сначала поразительно простым и легким, вдруг оказался довольно сложным, так как требовал материалов, лабораторной посуды и химикалий, на приобретение которых у меня не было средств.

Конечно, специальный сосуд для соединения цинка с кислотой можно было заменить простым чайным стаканом из буфета, но это уже будет совсем, совсем не то: пропадет весь внешний вид опыта! Только специальная колба из тонкого тугоплавкого стекла с пробкой и трубочкой для выхода газа могла придать моему опыту подлинно научный блеск, строго академическую форму. С цинком дело обстояло проще всего: почти во всех домах нашего города наружные подоконники и водосточные трубы делались из цинка или, во всяком случае, из железа, покрытого цинком, так что их обрезков можно было набрать сколько угодно на любой стройке. Я натаскал довольно много подобных обрезков. Увы, знающие люди сказали мне, что это не чистый цинк и для опыта он не годится. Надо достать настоящий, химически чистый цинк, без примесей. Такого рода цинк в виде крупных зерен можно было купить в аптеке, хотя и не во всякой, а вернее всего, в аптекарском магазине или москательной лавке, причем оказалось, что этот самый зернистый, чистый цинк стоит копеек двадцать небольшой пакетик. Денег же

у меня совсем не было. А еще предстояло купить колбу, стеклянную воронку, резиновую трубочку, чтобы пропустить полученный газ через воду, а также — и это самое существенное — приобрести кислоту, которую в аптеке отпускали только по рецептам и то исключительно совершеннолетним, а несовершеннолетним вообще ни за какие деньги не отпускали.

Вот когда я горько пожалел, что еще не достиг совершеннолетия!

Обрезки оцинкованного железа, наваленные под кроватью, вызывали брезгливые улыбки тети, действующие на меня гораздо сильнее, чем любой выговор и даже более серьезные меры.

Смирив гордость, я подошел к тете и заискивающим голосом попросил пятьдесят копеек.

Сумма была огромная.

Но тетя не удивилась, а только спросила подозрительно:

— Зачем?

— Мне очень, очень нужно, тетечка,— лживо-ласковым голосом сказал я.— Пока это секрет. Потом вы сами узнаете. Честное благородное слово!

— Нет, прежде чем я узнаю зачем — не дам. Даже не проси.

— Ну, тетечка,— захныкал я, применяя последнее средство убеждения в общем-то доброй и мягкосердечной тети.

Но на этот раз она была непоколебима.

— Зачем? — ледяным голосом повторила она.

— На двугорлую колбу и... и... и на эту... кислоту,— выдавил я из себя.

— Кислота! — в ужасе воскликнула тетя.— Ты просто сошел с ума.

— Ну, тетечка! — взмолился я.— Мне очень необходимо и полезно.

— Полезно? — саркастически переспросила тетя.

— Да, в научном смысле,— подтвердил я,— для одного физического опыта.

Тетя побледнела.

— Не хватает нам в квартире еще физических опытов с кислотой!— сказала она.— Ни под каким видом. Я тебе

это категорически запрещаю. Ты слышишь? Категорически.— И она удалилась, зашумев юбкой.

...Ну, скажите сами, что оставалось мне делать?

Оставалась одна надежда на географический атлас Петри. Это был отличный, очень толстый сборник географических карт всех стран, морей и океанов земного шара в твердом черном коленкоровом переплете с металлическими наугольничками по краям, который стоил в книжном магазине два с полтиной — сумма астрономическая. Не все родители могли приобрести такое учебное пособие своим детям; в сущности, и моему папе было это не по карману; но папа всегда мечтал сделать из меня образованного человека, чего бы это ни стоило: он поднатужился, сократил некоторые свои расходы и купил мне атлас Петри, умоляя беречь эту книгу как зеницу ока для того, чтобы она могла с течением времени перейти Женьке, а от Женьки в будущем Женькиным детям и даже внукам: пусть они все будут высокообразованными, интеллигентными людьми.

Так вот, теперь у меня оставалась одна надежда на атлас Петри. Его можно было в любой момент и без особого труда загнать в магазин подержанных учебников и получить на руки верных полтора рубля, в крайнем случае рубль тридцать.

Я понимал, что делаю подлость, но во мне уже разбушевались такие страсти, что совесть умолкла перед картиной великого физического эксперимента, который я собирался осуществить.

В сущности, это было желание победить мое неверие в науку, которое я испытывал в глубине души, так как мне почему-то всегда — говоря по совести — казалось невероятным чудо превращения цинка в водород; казалось невозможным, что вот я в один прекрасный миг зажигаю спичку, подношу ее к стеклянной трубке — и тотчас загорается спокойный, мирный, безопасный язычок чистого пламени, появившийся, так сказать, *ниоткуда*. Вместе с тем я верил — именно верил — в могущество науки, в слова, напечатанные в учебнике Краевича таким убедительным шрифтом, под гравированным на меди изображением склянки и трубки с горящим над ней огоньком.

Это была мучительная душевная борьба веры с неверием; в конце концов она должна была как-то разрешиться, и чем скорее, тем лучше. Я горел от нетерпения; даже не горел, а скорее сходил с ума, и мое тихое помешательство, незаметное для окружающих, выдавали лишь мои глаза с остановившимися зрачками, которые я видел, проходя в передней мимо зеркала.

Меньше всего обратил внимание на мои зрачки и прикушенные губы еврей-букинист, который, проворно перелистав атлас Петри — нет ли вырванных карт? — и небрежно зашвырнув его куда-то под прилавок, выложил серебряную мелочь, среди которой так обольстительно блеснули два полтинника с выпуклым профилем государя императора. Всего в моем кармане очутилось один рубль тридцать пять копеек, и я сейчас же побежал делать покупки. Мне сразу же повезло. Аптекарь согласился отпустить опасную кислоту, когда узнал, что она нужна мне для научных целей — производства водорода, газа по тем временам вполне невинного. У него также нашелся кристаллический цинк в виде как бы окаменевших крупных металлических капель. Отмеривая мне эти химические элементы, аптекарь, однако, вскользь предупредил меня, что если водород — не дай бог — смешается с кислородом — то есть практически с обыкновенным комнатным воздухом,— то получится так называемый гремучий газ, который легко может взорваться, если его поджечь. Во избежание этого аптекарь посоветовал мне собрать водород в перевернутую стеклянную воронку и терпеливо подождать, пока он полностью не вытеснит оттуда воздух, и лишь после этого приступать к зажиганию. Впрочем, сказал он, можно обойтись и без воронки — простой двугорлой ретортой или банкой.

Поблагодарив аптекаря, я помчался в магазин лабораторной посуды, где был ошеломлен множеством колб, пробирок, штативов, зажимов, спиртовых лампочек, двугорлых банок, пробок разных сортов и калибров.

В особенности меня взволновал вид реторт, этих как бы стеклянных желудочных пузырей с таинственно изогнутыми стеклянными отростками, откуда, вероятно, должен капать в тончайший стаканчик какой-нибудь сложнейший продукт перегонки, даже, может быть, эликсир жизни.

В ретортах было нечто средневековое, дошедшее до наших дней из мастерских алхимиков в бархатных колпаках, беретах, камзолах и мантиях, прожженных различными кислотами, с помощью которых они добывали философский камень и превращали пыль в чистое золото.

Очень хотелось купить реторту, однако эта посудина была мне не по карману, и я ограничился покупкой множества сравнительно недорогих пробирок, колбочек и даже одного дешевенького штатива, совершенно мне ненужного, но имевшего такой научный вид, что я не в силах был удержаться от покупки.

...Дыша от нетерпения как собака, я принес всю эту дребедень домой и, прокравшись, как вор, с черного хода в нашу комнату, спрятал под кровать и надежно замаскировал белым фаянсовым ночным горшком.

На другой день, отпросившись со второго урока, я, не слыша под собой ног, побежал домой, где в этот час обычно никого не было. Открывая мне дверь, кухарка подозрительно посмотрела на мое возбужденное лицо и пробормотала что-то нелестное, но мне удалось убедить ее, что я заболел: по-видимому, свинкой. Эта добрая душа поверила моей брехне и даже посоветовала поскорее лечь в постель и на всякий случай выпить малины.

С хитростью опасного сумасшедшего я сумел убедить ее, что это скоро пройдет, если меня никто не будет беспокоить и входить в комнату.

Прежде всего я постарался придать эксперименту наиболее внушительный характер. Я сделал все возможное, чтобы наша комната с тремя железными кроватями, где спали папа, я и Женька, походила на кабинет какого-нибудь великого ученого вроде, например, Менделеева с его грозным лицом и львиной гривой.

Я притащил из гостиной столик, покрытый знаменитой плюшевой скатертью чуть ли не вековой давности, которая почему-то считалась величайшим украшением нашей квартиры, местом, где обычно находился толстый фамильный альбом с пружинными застежками, где в овальных и прямоугольных вырезах помещались фотографии всех наших родных и знакомых.

Выбросив альбом в угол, я поставил столик посередине комнаты и положил на него несколько томов энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона из папиного книж-

ного шкафа, что соответствовало моему представлению о рабочем столе великого ученого, заваленном, кроме того, разными *манускриптами;* но так как манускриптов в доме у нас не имелось, а заменить их своими гимназическими тетрадями было просто глупо, то я свернул в трубку свои классные таблицы изотерм и небрежно бросил на стол, что получилось довольно эффектно и весьма напоминало манускрипты ученого. В сочетании с лабораторной посудой, горелкой Бунзена и старым волшебным фонарем все это, по моему мнению, имело весьма научный вид. Не хватало только гусиного пера в чернильнице — и картина была бы вполне закончена. Увы, гусиного пера в доме не было, и я даже подумывал, не отложить ли на некоторое время опыт, чтобы я мог перелезть через забор на участок профессора Стороженко, где профессорская жена водила домашнюю птицу, и выдрать из хвоста красавца гусака парочку белоснежных перьев.

Но нетерпение мое было так велико, что я, хотя и не без некоторой душевной боли, примирился с мыслью, что рядом с манускриптами из чернильницы не будут торчать гусиные перья.

Я немного полюбовался издали на свой рабочий стол, уставленный рядами пробирок и прочей лабораторной посудой, и приступил к делу.

Я поставил посередине стола на плюшевую скатерть большую двугорлую банку; в одно горлышко я воткнул пробку со стеклянной трубочкой, а в другое горлышко насыпал из пакетика зерна цинка; после этого с величайшей осторожностью я стал наливать через стеклянную воронку кислоту. До последнего момента мне не верилось, что из цинка начнет выделяться водород. Каково же было мое восхищение и гордость, когда я увидел, что из зерен цинка действительно стали бурно выделяться пузырьки газа, уходя бисерными цепочками вверх. Тогда я заткнул свободное горлышко пробкой и некоторое время как зачарованный следил за реакцией, прислушиваясь к магическому шипенью, доносившемуся из двугорлой банки.

Чудо свершилось.

...водород обильно и безотказно выделялся, азотная кислота, слегка пованивая чем-то тухлым, бурлила. Я по-

слюнил палец и осторожно приблизил его к трубке, на кончике которой тотчас вздулся пузырь: это шел воздух, вытесняемый из двугорлой банки водородом.

Опыт превзошел все мои ожидания!

...теперь оставалось лишь подождать минут десять или пятнадцать, пока водород не вытеснит весь воздух из банки и через трубку начнет выходить чистый водород. Я дрожал от нетерпения поскорее поднести спичку к трубочке и наконец собственными глазами увидеть, каким тихим и смирным язычком пламени загорится водород. Двугорлая банка была довольно большая, и я решительно не знал, когда же наконец воздух окончательно вытеснится и можно будет зажечь водород.

Мне казалось, что я ожидаю уже несколько часов, в то время как прошло минуты две, не больше, но главная беда заключалась в том, что никак нельзя было определить на глаз — вытеснился ли уже из банки воздух или еще не вытеснился.

Несколько раз я уже слюнил кончик трубочки и каждый раз видел вздувшийся пузырек, но водород это или воздух — было неизвестно.

...в банке происходила бурная реакция, зерна цинка подпрыгивали, таяли, выделяя пузырьки...

Мое нетерпение дошло до степени беспамятства. Ждать больше не было сил. А, собственно, чего ждать? Ждать, пока водород не вытеснит воздух? А как я об этом узнаю, если они оба одинаково бесцветны?

Тогда злой дух нетерпения вкрадчиво шепнул мне на ухо:

— А ты попробуй. Послюни трубку и подожги пузырек. Если это гремучий газ, то он просто тихонечко взорвется (ведь пузырек такой маленький!), а если это уже чистый водород, то загорится тихий, мирный огонек. Только и всего. Риска никакого. Не правда ли?

— Неправда,— шептал благоразумный инстинкт самосохранения, пытаясь возражать коварному голосу нетерпения, но соблазн был так велик, что голоса рассудка я уже не услышал.

Суетясь от нетерпения, я наслюнил кончик трубки, и, когда вздулся пузырек, я зажег спичку и дрожащей рукой

поднес к нему огонь. В тот же миг пузырек слегка взорвался, но — увы! — на этом дело не кончилось. Вслед за небольшим, как бы совсем игрушечным взрывом я услышал нечто вроде всхлипа, за которым последовал зловещий, всасывающий звук, и я увидел, как огонь спички молниеносно всосался через трубочку в двугорлую банку, наполненную гремучим газом, и перед моим лицом раздался такой силы взрыв, что я на миг потерял сознание, но тут же пришел в себя от звона посыпавшихся стекол... от вида...

...ядовито-желтого, удушливого грибовидного дыма, возникшего в воздухе посередине опаленной комнаты...

...по всем углам расшвырявшего черно-зеленые тома Брокгауза и Ефрона, осколки пробирок, обгорелые клочья изотермических карт и помятый глобус, который я в последнюю минуту успел водрузить на стол рядом с волшебным фонарем.

Все вокруг было залито брызгами жгучей кислоты, лишь один я был цел и невредим среди этого хаоса, среди этой Хиросимы, что лишний раз подтвердило мою феноменальную везучесть, свойственную всем мальчикам с двумя макушками.

Ворвавшаяся в комнату с мокрой тряпкой в руке кухарка кое-как грубо и решительно усмирила разбушевавшуюся стихию Химии, но когда она попыталась сдернуть со стола знаменитое плюшевое покрывало, залитое вонючей жидкостью, то оказалось, что оно насквозь и целиком сожжено дьявольской кислотой.

Покрывало перестало существовать как таковое. Оно дематериализовалось на наших глазах, едва лишь кухарка прикоснулась к нему своими грубыми, решительными пальцами, оно полезло вдоль и поперек какими-то странными волокнами, а эти волокна, в свою очередь, превращались в еще более странные дымящиеся хлопья, и это исчезновение на наших глазах такого дорогого и любимого предмета домашней роскоши пронзило мою душу поздним раскаянием и таким ужасом, по сравнению с которым внезапное появление на пороге тети с зонтиком, тетрадками под мышкой и с драматическими голубыми глазами на бледном лице было ничто.

— Я так и чувствовала! — прошептала тетя, ломая руки в перчатках, и тетрадки упали на пол, откуда поднимался едкий туман разлитой азотной кислоты, от которого слезились глаза...

Еще, другой взрыв.

Один мальчик принес к нам в класс бутылочку с нефтью. Я никогда еще не видел нефти, хотя много о ней слышал. Эта золотисто-черная, шоколадная жидкость, из которой, как мне было известно, добывалось большое количество разных веществ — керосина, бензина, мазута, анилина,— крайне меня заинтересовала, и я во что бы то ни стало захотел ее иметь.

Мальчик был добрый и подарил мне бутылочку нефти, тем более что это ему ничего не стоило: его отец плавал старшим механиком на нефтеналивном судне.

Итак, я стал обладателем жидкости, представлявшейся мне редкой и очень драгоценной.

Мне захотелось изучить все ее свойства и самому получить из нее если не бензин или керосин, то хотя бы немного глицерина или в крайнем случае мазута, хотя я и не вполне точно знал, что это за штука мазут.

Придя домой и еще не успев снять шинель, я перелил нефть в пробирку, крепко заткнул пробирку на всякий случай пробкой и стал нагревать на своей лабораторной спиртовой горелке, которая распространяла волнующий запах горящего денатурированного спирта.

Я никогда не уставал восхищаться своей спиртовой лампочкой, ее ватным фитилем, опущенным в лиловую жидкость цвета медузы, ее тугоплавким колпачком, с помощью которого можно было мгновенно погасить лилово-желтое пламя, почти невидимое при дневном свете.

Все было прекрасно и строго научно!

Залюбовавшись горящей лампочкой, я перестал наблюдать за нагревающейся нефтью, и вдруг раздался сильный звук откупориваемой бутылки — громкий выстрел из пистолета,— потрясший всю Отраду. Заряд кипящей нефти вышиб из пробирки пробку, и жирная, золотисто-коричневая струя брызнула в стенку, потекла по обоям и в один миг покрыла три белоснежных, тканьёвых, так называе-

мых «марсельских» одеяла, которыми застилались наши кровати, темными, вонючими, неистребимыми пятнами нефти, этого вещества, похожего на жидкость, но почему-то называвшегося минералом, как я узнал уже после гибели марсельских одеял...

Плавни.

Как-то в нашей уличной компании ненадолго появился кадетик Жорка Сурин, сообщивший как нечто весьма обыкновенное, что у них в Николаеве на плавнях у рыбаков можно без труда купить речную плоскодонку — так называемый ковш,— конечно, не новую, а уже старую, «отслужившую свой срок», как выразился Жорка Сурин, грубо сколоченную из почерневших от времени досок, за сказочно ничтожные деньги, что-то рубля два или даже полтора.

Как сейчас вижу этого самого Жорку Сурина в его широких казенных штанах, из-под которых снизу выказывались хорошо вычищенные черной ваксой головки сапог, а выше виднелись из-под штанов рыжие их голенища.

Вижу очень маленькую ловкую фигурку Жорки в коломянковой, много раз стиранной кадетской косоворотке, круто заправленной на спине в одну косую складку под кожаный пояс с медной бляхой, кадетскую фуражку и синие погоны с натрафареченными толстым слоем потрескавшейся масляной краски буквами «О.К.», что значило Одесский корпус, в котором зимой учился Жорка, а потом на лето уезжал в свой родной Николаев.

Вообще кадеты были нашими исконными врагами; мы их ненавидели, и когда встречали на нашей улице кадета, то кричали ему оскорбительными голосами вдогонку:

— Кадет, на палочку одет! Палочка трещит, кадет пищит!

На что кадет неизменно отвечал:

— А вы, гимназисты, жалкие шпаки. Выходи, сколько вас там, на левую руку!

Жорка Сурин был исключением. Мы его любили. У него всегда в руке был маленький черный мячик без воздуха в середине, литой, резиновый, который чрезвычайно высоко подпрыгивал. Жорка то и дело швырял его об землю, или об стенку, или обо что попало и с поразительной ловкостью хапал его на лету своей обезьяньей ручкой, а когда

ему это надоедало, то опускал мячик в глубину бездонного кармана своих казенных шаровар.

...Услышав, что в Николаеве на плавнях можно купить лодку за полтора рубля, я сначала не поверил, но Жорка Сурин, сняв фуражку и обнажив белую, как бы плюшевую головку, перекрестился на голубой купол Ботанической церкви и поклялся, что это святая, истинная правда, «пусть меня убьет молния, если вру».

После этого я потерял покой.

С утра до вечера я думал о лодке, которую можно купить за полтора рубля. Быстро возник план поехать в Николаев, купить лодку, сделать мачту, как-нибудь раздобыть парус и, спустившись вниз по Бугу до Черного моря, вернуться в Одессу под парусом, вызвав восторг и удивление жителей Ланжерона, Отрады и Малого Фонтана, причем все это — за полтора рубля!

Соображение, что старый речной ковш не выдержит морского путешествия, нисколько меня не обеспокоило, так как можно будет дождаться штиля и выйти из гирла Буга в открытое море при самом легком — наилегчайшем! — бризе, что часто бывает в июле, а затем осторожно идти вдоль берега, не удаляясь в открытое море.

Самое странное было то, что идея совершить морское путешествие — да еще под парусом! — в ветхой речной посудине, способной передвигаться лишь в плавнях, нисколько не казалась мне бредом, а, наоборот, я был уверен в ее полной осуществимости и заранее ликовал, хотя, конечно, в самой глубине моего сознания шевелился совсем маленький, но очень неприятный червячок сомнения. Впрочем, как всегда, страсть победила рассудок.

Время было самое подходящее: папа и Женька отправились в Крым, для того чтобы совершить там увлекательное путешествие пешком, а я, как человек, имеющий две переэкзаменовки, должен был остаться на все лето в городе и под наблюдением тети готовиться к весьма неприятным осенним испытаниям по латыни и алгебре. Предполагалось, что я должен заниматься не менее пяти-шести часов в сутки, для того чтобы кое-как наверстать все упущенное за зиму.

Я дал клятву заниматься не жалея сил и, разумеется, свято верил в свою клятву.

...наступал жаркий южный июль, время штилей и мягких бризов...

Медлить было нельзя. Все помутилось в моей голове. И вдруг в один прекрасный день я очутился в городе Николаеве, куда приехал зайцем на маленьком пассажирском пароходе вместе с одним мальчиком Юркой, который ходил за мной по пятам как собака, пока не упросил меня взять его в компанию, за что обещался внести свой пай в размере одного рубля, показал мне этот серебряный рубль, вынув его из подкладки гимназической куртки, и побожился со слезами на лживых глазах, что будет меня признавать за капитана и свято мне подчиняться.

Он так жалобно смотрел на меня, так горячо давал честное, благородное слово, даже немного пустил сопли, влажно зашмыгав носом, что я согласился; отчасти это мне льстило: наконец-то у меня, как у некоторых других взрослых мальчиков, появится свой собственный клеврет, подчиненный, верноподданный, почти рабски преданное мне существо.

Я верил, что он меня обожает, надеется на меня, как на божество, и готов на все, лишь бы доказать мне свою преданность. Он эту преданность доказал, беспрекословно вручив мне свой рубль, вероятно добытый каким-нибудь не вполне корректным способом, о чем я, впрочем, его не расспрашивал. Я присоединил Юркин рубль к своим восьмидесяти копейкам, о происхождении которых старался не думать; таким образом составился капитал для покупки лодки и ее снаряжения.

Пройдя по пустому провинциальному южному городу в слабой перистой тени молодых белых акаций, в одном из домиков, выбеленных, как деревенская хата, голубоватым мелом — или, как тут говорили, крейдой,— мы без труда нашли Жорку Сурина, который, как был в ситцевой рубахе, босой, повел нас по пыльным улицам к своим знакомым Кирьяковым, жившим, как выразился Жорка, «на самых плавнях».

Глава семьи Кирьяков, акцизный чиновник, сидел в малороссийской рубахе на террасе и набивал гильзы табаком, складывая готовые папиросы в фанерную коробку из-под сигар, и не обратил на нас никакого внимания; затем появился разморенный послеобеденным зноем мальчик в матроске, его сын Геннадий, долговязый подросток моих лет, и, узнав, в чем дело, тут же предложил повести нас «на самые плавни» и показать лодку одного рыбака, собиравшегося ее продавать.

Рыбака мы не застали на месте, но увидели лодку,

задвинутую в густые камыши; лодка напоминала длинный черный открытый ящик, на треть полный тяжелой болотной воды, в которой плавал такой же черный дряхлый черпак с короткой ручкой.

Мы откачали воду, и Геннадий, взяв в руки длинный, серый от времени шест, стал возить нас по неподвижным водяным коридорам среди темно-зеленых, очень высоких, сплошных стен еще не поспевшего камыша со светло-зелеными метелками, на которых сидели синеглазые стрекозы.

...в зеркальных коридорах плавней отражалось вечереющее небо с розовыми, нежными облаками, а по неподвижной воде быстро бегали на своих высоких ножках водяные пауки, оставляя за собой легкие концентрические круги, долго державшиеся на поверхности. Забыв, для чего я сюда приехал, я погрузился в неведомый мне до сих пор мир плавней, и лодка наша плыла, временами раздвигая своими боками сабельноострые стебли рогозы и заставляя колебаться на поверхности воды овальные листья белых водяных лилий — ненюфар,— цветы которых уже закрывались на ночь и покачивались белоснежными шариками с кое-где проступавшей яичной желтизной тычинок. И все это вместе с сумраком, гнездившимся в непроницаемых стенах камыша, вместе с тишиной, болотисто-пресным запахом речной воды, особо острым ароматом рогозы, ила и, может быть, каких-то ночных болотных цветов, источавших тонкую, смертельную отраву, околдовало меня...

Покатавшись вдоволь по плавням, мы задвинули лодку в камыши и вернулись к Кирьяковым, так и не повидав владельца посудины. Пришлось дожидаться следующего дня, но и на следующий день рыбак не показался, а где он жил, никто не знал. Таким образом, мы прогостили у Кирьяковых несколько дней, которые сейчас — через шестьдесят лет — представляются мне каким-то упоительным сном, легким, бездумным и в то же время полным неизвестно откуда взявшимся любовным томлением, страстными «поэтическими грезами», потерей ощущения времени, слившегося в какой-то один нескончаемый июльский полдень — жгучий, одуряющий,— внезапно бьющий откуда-то снизу, сбоку, как бы исподтишка зеркальными отражениями плавней.

Сонная одурь охватила мою душу, лишила меня воли, я забыл обо всем на свете и наслаждался простым,

бессмысленным счастьем своего существования на земле, как, вероятно, наслаждались своим коротким бытием роскошные бабочки «адмиралы», синеглазые четверокрылые стрекозы, уцепившиеся лапками за лист камыша и загибающие свой вялый коленчатый хвост, как бы сделанный из бирюзового бисера, или же как уж, извилисто скользящий в почти горячей неподвижной воде, в глубине которой дымчатыми облачками вставал ил, потревоженный какой-нибудь подводной тварью, так же бессмысленно наслаждающейся жизнью, как и я.

...это было нечто вроде приятного и продолжительного теплового удара, лишившего меня понимания — кто я? зачем я? где я?..

Семейство Кирьяковых смотрело на пребывание в их доме двух неизвестно откуда взявшихся мальчиков с терпеливой деликатностью, и лишь однажды мадам Кирьякова спросила как бы невзначай утомленным голосом:

— А ваши родители знают, где вы пропадаете?

На что Юрка не мигнув глазом соврал, что наши родители ничего не имеют против нашей поездки в Николаев, даже, напротив, очень рады, что мы расширим свой кругозор, посетив такой знаменитый новороссийский город, известный своими корабельными верфями и многим другим.

Не без чувства неловкости садились мы вместе со всей семьей Кирьяковых за завтрак, обед и ужин, предварительно долго отказываясь и клянясь всеми святыми, что мы совершенно сыты, что не мешало нам за обедом наворачивать вкусный борщ и голубцы в сметане, которые замечательно готовила мадам Кирьякова с помощью своей дочки, маленькой скучной девочки с бесцветными льняными волосами, подобранными круглой целлулоидной гребенкой из числа тех, какие носили воспитанницы епархиальных училищ и сиротских приютов. Эта девочка была хоть и недурна собой, но так скромна, молчалива, незаметна, а главное скучна, что я даже не обратил на нее внимания, и в моей памяти она так и осталась девочкой без имени, в ситцевом платье, имевшей привычку почесывать одну пыльную босую ножку другой пыльной босой ножкой.

Она осталась в памяти, как те болотные пыльно-голубые цветы, во множестве растущие возле камышей, назва-

ния которых я не знал, а про себя называл «голубоглазые-болотные», так скромно украшавшие природу здешнего раскаленного полудня!

Мы ложились спать на террасе и сквозь листья дикого винограда видели бледное звездное небо, изнемогающее от зноя, не проходившего даже ночью и лишь немного смягчающегося перед рассветом, когда вдруг, зашумев камышами, из плавней прилетал ветерок, уже не ночной, но еще и не утренний, а какой-то нездешний, звездный...

...предрассветный...

На террасу выходило одно из окон дома, из комнаты, где семья Кирьяковых выкармливала шелковичных червей. Мы слышали их неутомимое шевеление в ситах, куда для них клали свежие листья шелковицы, которыми они питались. Там же — в этой пустой беленой комнате — хранились уже готовые коконы, мертвые, ошпаренные кипятком. Кирьяковы продавали эти коконы на шелкомотальную фабрику, что было для семьи известным приработком, так же как набивка папирос, чем занимался — как мы уже заметили — в свободное от службы время глава семьи, сам не курящий, по заказу табачного магазина. Семья водила птицу и свиней; по двору, испятнанному раздавленной кроваво-красной шелковицей, бегали цесарки, индюшки. Имелись две коровы. Словом, семья была на редкость трудолюбивая, и мы с Юркой чувствовали себя бездельниками и дармоедами.

Однако это не мешало нам наслаждаться упоительными июльскими днями в этом глухом уголке необъятной Российской империи, уголке ни на что не похожем, как будто бы мы заехали в совсем незнакомую страну, в дельту какой-то сказочной реки, страну с аистами на крышах и белыми лилиями, сплошь покрывавшими стоячую воду плавней, где во тьме у самых корней камыша росли рогатые водяные орешки, похожие на маленьких пузатых чертенят, и куда уходили скользкие и прочные плети лилий, качающихся наверху, на своих овальных листьях, сплошь покрывавших поверхность воды, напоминая плавающие палитры с густо выдавленными на них толстыми звездами белил и хрома, почти обесцвеченных подымавшимися горячими испарениями болотной воды.

...это было задолго до того, когда я впервые увидел «ненюфары» Клода Монэ в Лондоне...

С утра до вечера мы плавали в своем корыте среди камышей, таких высоких, что небо над протоками плавней виднелось лишь как узкая бледно-синяя щель с редкими белоснежными июльскими облаками. Мы раздевались и, раздевшись, плавали вокруг нашего черного ковша в теплой, почти горячей воде, рвали лилии, ныряли на дно, где дымился потревоженный ил, и всюду нас окружала таинственная жизнь болотного мира:

...почему-то вызывали отвращение жуки-плавунцы. У них было всего две лапки; казалось, что остальные лапки у них оторвали и они превратились в калек. Они гребли этими двумя лапками, как веслами, были очень неприятного черного цвета и при каждом прикосновении выпускали какую-то белую вонючую жидкость, от которой склеивались пальцы, и потом их трудно было отмыть, уничтожить тошнотворный запах жука-плавунца...

Быстрые водяные змейки... жирненькие каплеобразные запятые головастиков; в них уже намечалось, просвечивало нечто лягушечье: глаз? щечка?.. Мальки... какие-то болотные ракушки, открывающие и закрывающие свои створки... Черви...

Отталкиваясь от илистого дна шестом, мы заезжали в такие глухие места, окруженные со всех сторон непроходимой стеной камыша, что делалось жутко, и этот страх, этот ужас уединения, отрешенности от всего человеческого доставляли мне какое-то горькое блаженство неразделенной любви или, во всяком случае, предчувствие ее. Хотелось писать стихи о плавнях, о камышах и о белой лилии, «грезящей счастьем, мечтавшей о нем, страстно считая минуты, летящие вместе с пленительно-огненным днем», и прочей чепухе.

Вдруг однажды появился владелец лодки, дряхлый босой старик с седыми, белоснежными бакенбардами, как я потом узнал, севастопольский герой, бывший военный моряк, своими глазами видевший легендарного Нахимова и

знаменитого матроса Кошку, а может быть, и молодого артиллерийского офицера Льва Толстого. На нем была старинная матросская бескозырка. Его привел Жорка Сурин.

— Вот они хотят приобрести вашу лодку.

Старичок посмотрел на нас из-под мохнатых бровей бирюзовыми глазками и спросил:

— А сколько дадите?

— Вместе с шестом и черпаком рубль сорок,— с трудом выговорил я, опасаясь, что старичок обидится и начнет драться.

Но севастопольский герой радостно согласился.

Мы отдали ему Юркин рубль и два моих двугривенных, и старик, вынув из-за ворота рубахи медный крест на тряпочке, спрятал деньги в холщовый мешочек, висящий рядом с крестом. С достоинством пожав нам руки своей твердой, как будто бы вырезанной из коры рукою, он удалился, дымя маленькой, прокуренной до черноты флотской трубочкой, окованной медным кольцом.

Дальнейшее произошло так быстро и просто, что, собственно говоря, и рассказывать нечего.

...мы приспособили шест в виде мачты, стащили во дворе Кирьяковых с веревки выстиранную, еще сырую скатерть, повешенную сушиться, наскоро привязали ее к мачте и, гребя руками, с большим трудом вывели свой ковш из камышей на чистую воду реки Буга, кажется там, где она сливается с рекой Ингулом. До моря было еще далеко, его даже отсюда не было видно, но едва мы выехали из затишья камышей, как легкий порыв нежного, теплого ветра сразу же перевернул наш корабль, и мы, стоя по горло в воде, видели, как он затонул вместе со скатертью, шестом и черпаком и течение унесло его в недосягаемую даль.

Мы вернулись вымокшие с ног до головы. Плети лилий висели на нас, как на утопленниках. Наши ноги были порезаны рогозой. Юрка плелся за мной, пуская изо рта пузыри, а из носа сопли, шепотом меня проклинал и все время канючил, повторяя голосом грызуна, чтобы я отдал ему его рубль или, по крайней мере, полтинник.

Я дал ему по шее, и он замолчал, но затаил на меня злобу.

Семейство Кирьяковых встретило нас в полном составе, строгое, молчаливое, огорченное гибелью скатерти. Вече-

ром сам Кирьяков надел свою форменную фуражку и лично отвел нас на пристань, купил нам палубные билеты, вручил фунт вкусной копченой колбасы и две франзоли, чтобы мы по дороге не сдохли от голода, собственноручно отдал наши билеты третьему помощнику и проследил за тем, как мы поднимались по трапу на пароход. До отхода оставалось еще минут двадцать, и все это время Кирьяков стоял в своей акцизной форме на пристани и следил за тем, чтобы мы не улизнули. Наконец пароход отдал концы и тронулся, и мы еще долго видели на пристани на фоне бледно-зеленого, уже почти ночного неба с одинокой звездочкой и несколькими электрическими звездами портовых фонарей неподвижную фигуру Кирьякова.

Мы издали помахали ему колбасой, но он не ответил. Я думаю, он вернулся домой, лишь вполне убедившись, что пароход вышел в открытое море.

Я долго не мог заснуть, удрученный гибелью еще одной своей мечты. Наконец сон сморил меня возле машинного отделения, откуда шел приятный горячий воздух, насыщенный запахом стали и масла.

...на рассвете началась мертвая зыбь...

Я почувствовал приближение морской болезни. Я выбрался на пустой спардек и лег на холодную решетчатую скамейку. Хотя море на вид казалось совершенно неподвижным, но на самом деле его очень пологие, блестящие при свете начинающейся утренней зари светло-зеленые волны незаметно и широко раскачивали, кладя с борта на борт, утлый пароходик, и было такое впечатление, будто моя скамейка превратилась в качели и глубоко уходила из-под меня, а потом опять возносила мое тело вверх, и холодное зарево восходящего солнца освещало как бы неподвижную водяную пустыню цвета бутылочного стекла. На миг я забывался коротким мучительным сном, в котором было что-то тягостно-любовное, томящее все мое как бы вдруг возмужавшее тело. Я трогал пальцами свои соски: один из них странно вспух и побаливал, и возле него из моего смуглого мальчишеского тела вырос толстый волос, упругий, блестящий, черный. Я почувствовал приступ тошноты, но не от качки, которую я всегда переносил довольно хорошо, а от чего-то другого, как будто бы напился теплой болотной воды, пахнущей жуками-плавунцами, их липкими молочно-белыми выделениями.

Солнце поднималось из-за горизонта, море, изменив свой цвет, становилось все ярче, как будто бы это была не вода, а расплавленный аквамарин.

...я увидел амфитеатр нашего города...

К этому амфитеатру на всех парах мчался наш пароходик, оставляя за кормой кружевную полосу. Холодный заревой ветер посвистывал в мачтах. Меня бил озноб. Зубы стучали. Кое-как я сошел на пристань, дав еще раз на прощание своему спутнику по шее, как будто он был во всем виноват, и затем поплелся по утреннему, пустынному, еще не проснувшемуся городу домой, где застал папу и Женьку, вчера вернувшихся из Крыма.

У меня обнаружился брюшной тиф.

Бегство в Аккерман.

Мы заплатили каждый по гривеннику и на маленьком паровом катере «Дружок» переправились через Днестровский лиман в город Аккерман. Уже сама по себе поездка на «Дружке» через лиман, достигавший здесь в ширину верст десять, была так прекрасна, что вполне вознаградила за все лишения и усталость, испытанные нами во время хождения пешком из Одессы в Овидиополь, скорее напоминавший деревню, нескладно разбросанную по длинному спуску к лиману, чем уездный город.

Мы устроились на полукруглой скамье на корме катера, так глубоко сидевшего в воде, что поверхность лимана простиралась как бы поверх наших голов, и лишь став ногами на скамью и положив подбородки на борт, мы могли любоваться движущейся массой глинисто-мутной речной воды, рябившей маленькими лиловыми волнами.

Сильный ветер широко дул вдоль лимана, и мое тело покрылось гусиной кожей. Но стоило лишь спуститься ниже борта, как охватывало приятное тепло пыхтящей паровой машины со всеми ее запахами — кипятка, смазочного масла, натертой стали, масляной краски.

Все это приводило нас в восхищение.

Медный свисток слегка шипел от напиравшего пара, и мы с нетерпением ждали момента, когда капитан катера, он же и механик, потянет за проволоку, давая гудок встречному катеру под названием «Стрелка», который шел навстречу нам из Аккермана в Овидиополь.

...встреча этих двух судов посередине лимана была одной из главных прелестей путешествия. Оба капитана одновременно в знак приветствия приспускали флаги на своих комически маленьких, коротеньких мачтах с шишечкой наверху, а затем тянули за проволоку, называвшуюся у нас «дрот», и вместе с паром из медных свистков вырывался на простор густой, сиплый бас почти пароходного гудка, и оба катера проходили друг мимо друга в щегольской, опасной близости, обдавая друг друга серой речной пеной...

Ради одного этого стоило удрать из дому!

Тем временем вдалеке все яснее и яснее, как переводная картинка, выступали очертания старинной турецкой крепости с ее круглыми и гранеными башнями, как бы висящими над серым обрывом того, дальнего берега.

Прибыв в Аккерман незадолго до заката, мы вылезли из катера и пошли, ступая по прибрежной полосе, состоящей из сырого ила и толстого слоя камышовых щепок, упруго пружинивших под ногами, сомлевшими от неудобного сидения на жесткой скамейке катера.

План наш был таков: переночевать в крепости и незадолго до рассвета пробраться на один из дубков, стоящих у грузовой пристани, спрятаться в трюме и вылезти оттуда, когда дубок, дождавшись утреннего бриза, окажется уже в открытом море по пути в Одессу, а если повезет — то и в Константинополе.

Не выбросит же нас штурман в море, не станет же он приставать к берегу, чтобы нас высадить. Самое большее — надерет уши. Впрочем, мы знали, что черноморские торговые моряки хотя народ на вид и суровый, но в глубине души добрый. Таким образом мы рассчитывали совершить замечательное морское путешествие на корабле под парусами, повидать людей и себя показать, что всегда было нашей мечтой.

Обходя грузовую пристань, мы по некоторым признакам поняли, что дубок «Святой Николай» с большими мачтами и совсем маленьким рулевым колесом возле штурманской будочки готов к выходу в море, как только начнется утренний ветер: «Святой Николай» стоял принайтовленный к деревянному пирсу и трап его не был убран. Но даже если его на ночь и уберут, мы сможем пробраться на корабль по толстому швартовому канату.

Еще засветло мы забрались в крепость и стали ходить по ее внутренним дворам, поросшим белой душистой полынью. Мы опускались по разрушенным лестницам в какие-то подвалы, наверное пороховые погреба, где некогда турки хранили свои заряды и ядра. Мы не без труда по обвалившимся лестницам взбирались на хорошо сохранившиеся башни и смотрели в узкие бойницы, проделанные в стенах саженной толщины.

Вблизи крепость оказалась еще более громадной, чем когда мы смотрели на нее издали: целый город, состоящий из пустынных дворов, узких переходов, подземных камер с вделанными в стены ржавыми кольцами и обрывками железных цепей, одноэтажных крепостных казарм для гарнизона и каких-то прочих служб. Кое-где в бурьяне валялись чугунные туши старинных пушек и несколько ядер, на вид маленьких, но таких тяжелых, что их с трудом можно было поднять обеими руками. В одном из глухих дворов, особенно мрачном, заросшем бурьяном, пустынном, мы увидели полусгнившую деревянную виселицу с кольцом в верхней почерневшей балке.

...уже стемнело, и на небе блестела белая летняя луна...

Нам стало страшно. Какие-то черные ночные птицы с криками летали на фоне серебряного неба, и кусты полыни казались тоже отлитыми из серебра, и вокруг сильно пахло желтой ромашкой, и зубчатые тени башен неровно лежали на серебре полыни как выкройки черного коленкора. Вокруг всей крепости тянулся заросший дерезой и болиголовом ров, из глубины которого иногда долетал шорох какой-то ночной твари, может быть даже гадюки, а наверху, на башнях, время от времени слышался крик совы.

Юрка стоял за моей спиной, хныкал и все время повторял, что лучше, чем ночевать здесь, пойти в Аккерман и просидеть до утра на скамейке в городском саду против гостиницы Гассерта, а еще лучше было бы вовсе не совершать этого путешествия.

Я сам умирал от страха и тоже был бы не прочь похныкать. Но желание командовать Юркой и проявлять железную волю заставило меня процедить сквозь зубы:

— Жалкий трус. Напрасно я с тобой связался. Если хочешь, можешь идти сам в город и ночевать где хочешь,

хоть в полицейском участке. А я остаюсь здесь. И не мечтай, что я отдам твои тридцать копеек из нашей общей кассы. Подыхай с голоду.

Это было первое наше путешествие с Юркой, года за три до знаменитой поездки в Николаев.

Юрка поклялся страшной клятвой, что больше никогда не отправится со мной путешествовать, а я поклялся, что никогда его больше не возьму с собой, и оба мы — как видите — соврали.

К конце концов Юрка смирился, покаялся, и мы устроились на ночлег в густой полыни под виселицей — на чем настоял я, для того чтобы мы могли еще больше закалить свой характер. Ночь прошла тревожно. Мы почти не спали от холода и страха, прислушиваясь к зловещим звукам, раздававшимся вокруг нас среди яркой лунной ночи, испещренной черными тенями. Перед рассветом выпала роса; мы вымокли до нитки. Звезды еще не исчезли с побледневшего неба, когда мы решили перебраться на борт «Святого Николая». На наше счастье, пристань была пуста и сходни не убраны. Затаив дыхание мы прошли по узкой доске, прокрались на корму, залезли под какой-то брезент и прижались друг к другу, чтобы как-нибудь согреться.

Небо уже стало заметно белеть, когда послышался густой кашель — судя по звуку, кашлял бородатый человек,— и на мокрой от росы палубе появился пожилой дядька в подштанниках и суровой холщовой рубахе. Зевая и крестя рот, дядька подошел к борту, и мы услышали звук струи, падавшей дугой через борт прямо в воду лимана. Помочившись, дядька снова зевнул, перекрестился, немного покряхтел и посмотрел туда, где на краю неба начинала обозначаться заря. Он попробовал рукой направление ветра, остался недоволен и потихонечку, по-стариковски выругался по матери.

Юрка не сдержался и, закрыв себе рот ладонями, еле слышно хихикнул. Я ткнул его в бок локтем и шепотом приказал ему замолчать. Но было уже поздно. Старик услышал нашу возню и приподнял край брезента.

— А ну, что это за злыдни забрались на мой дубок? — сказал он сердито.

— Дяденька,— жалобно захныкал Юрка.

— Я тебе дам такого дяденьку, что ты у меня быстро

очутишься в участке. Тоже мне нашлись жулики лазить по чужим дубкам. Что вы тут не видели?

При свете занимающегося дня он рассмотрел нас, с удивлением увидев, что мы — два маленьких десятилетних гимназиста.

— А еще гамназисты! — с укоризной сказал он.— Чему вас там, в вашей гамназии, учат только!

— Дяденька,— сказал Юрка,— мы хотели, чтобы вы нас взяли с собой на вашем дубке до Одессы. Там нас ждут родители и очень беспокоятся, а у нас нет денег на проезд на пароходе.

— Возьмите нас, дяденька,— сказал я гнусно-подхалимским голосом.

— Я бы вас, конечно, взял,— сказал хозяин дубка, подумав,— отчего не взять? Да мой дубок снимается сейчас не в Одессу, а до Голой Пристани за кавунами, а уж оттуда — если даст бог ветер — зайдем в Одессу, да и то не наверняка.

Он осмотрел нас, доброжелательно маленьких, мокрых от росы, дрожащих, и сказал:

— Чего ж вы, гамназисты, мерзнете тут под брезентом. Прошу вас до меня в каюту, там будет теплее.

Мы пошли следом за стариком и очутились в маленькой, совсем крошечной каютке, сплошь обклеенной изнутри, как солдатский сундук, разными картинками, кусками обоев, старыми стенными календарями, газетами и дамскими выкройками из «Нивы». В углу над деревянной койкой, застланной лоскутным одеялом, с зеленым сундучком в головах виднелся большой темный образ святого Николая Мирликийского, покровителя моряков,— с седой бородой, коричневой лысиной и строгими глазами. Перед иконой горела маленькая синяя лампадка.

— Седайте,— сказал старик, подвинув нам две обыкновенные кухонные табуретки, а сам, кряхтя, уселся на свою койку.

— Так что вам не имеет смысла идти со мной до Голой Пристани, а лучше вы наведайтесь до старшего помощника парохода «Васильев», может, он поверит вам до Одессы в долг, а до старшего помощника парохода «Тургенев» лучше не суйтесь: он известная на все Черноморское пароходство собака. Но у меня до вас, господа гамназисты, есть одна покорная просьба, как бы сказать — прошение. Как вы есть люди просвещенные, грамотные, имеете в Одессе приличные знакомства, то сделайте для

меня доброе дело, похлопочите в управлении торгового порта, чтобы мне выправили диплом штурмана на право каботажного вождения дубков и других малых парусников, а то, верите, я прямо-таки совсем прогораю: приходится держать специального штурмана, а он для меня все равно что пятое колесо. Сколько раз я уже обращался в управление Одесского порта, три раза сдавал экзамен, плаваю в море сорок один год, а бумагу на штурмана мне не дают. Вот вы, молодые люди, гамназисты, образованные, ответьте мне: где тут справедливость? И есть ли она в нашей империи? Пять раз я подавал заявление, и пять раз мне заворачивали его обратно.

— А экзамены сдавали хорошо? — строго спросил я, принимая несколько начальственный вид.

— Сдавал на «отлично»,— ответил хозяин «Святого Николая» и вытер туго согнутым указательным пальцем слезу.

— Тогда это безобразие! — воскликнул я в сильнейшем негодовании.

— Настоящее безобразие,— подтвердил старик.— Я уже два раза писарям хабара давал — и ничего! Не дают бумагу. Так я вот что вас прошу, молодые люди: у вас, верно, там, в Одессе, есть какие-нибудь знакомые в портовом управлении, может, ваши товарищи, гамназисты, дети какого-нибудь портового начальника. Сделайте для меня это дело — буду за вас кажин день молиться святому угоднику Николаю, чтобы он вам послал в жизни счастье.

Старик вынул из сундучка написанное писарским почерком прошение.

— Шестое прошение подаю,— сказал он, пожевав свои седые усы.— Помогите старику. Найдите за-ради бога ход к портовому начальству, потому что без хода я так и пропаду!

Я вспомнил, что у нас в гимназии учится сын начальника порта, и выразил уверенность, что мне удастся помочь старику.

— Бог вас наградит,— со слезами на глазах сказал старик и вручил мне прошение.— Передайте в собственные руки. Мое фамилие Бондарчук, меня в портовом управлении каждая крыса знает. Христом прошу.

На прощание мы с Юркой обнадежили старика.

— Сделайте дело, я вам трояка не пожалею,— шепнул с таинственным видом Бондарчук.

— Как вам не стыдно! — сказал я с жаром.— Мы вам и так сделаем, потому что с вами поступили несправедливо. А ваших трех рублей нам не надо.

— И дурак,— голосом грызуна сказал за моей спиной Юрка, но я двинул его локтем, и он прикусил язык.

Уже взошло горячее солнце. Экипаж «Святого Николая» — три человека, спавшие в разных местах на палубе, проснулись и, зевая, стали готовиться к выходу из Днестровского лимана в море: начинался утренний бриз.

Мы попрощались с Бондарчуком и провели прелестный день в Аккермане: купили на базаре несколько саек, две тараньки, маленькую ароматную дыньку канталупку и спустились в винный погребок, еще пустой и прохладный в этот ранний час. Мы устроились за столиком, покрытым клеенкой, и на последние шесть копеек купили немного кислого бессарабского вина, сильно разбавили его водой и отлично позавтракали, налив остатки разбавленного вина в свою походную фляжку.

Целый день мы шатались по малоинтересному, пыльному, скучному Аккерману, по его городскому саду, где на почти выгоревших от зноя газонах в виде украшения были расставлены маленькие фаянсовые гномы в красных колпаках и вокруг них цвели кустики ночной красавицы.

От нечего делать мы с Юркой поссорились на всю жизнь, в знак чего показали друг другу большие пальцы, и я поклялся больше с ним не водиться и никогда не брать его в компанию. Отвернувшись друг от друга, мы спустились в порт, где дымил пароход «Васильев», готовый к отплытию в Одессу. Уже в воздухе пробасил третий гудок, состоящий из одного очень длинного и после него трех совсем коротких, резко обрубленных гудков. Мы поднялись по сходням и, жалобно повесив головы, остановились перед старшим помощником, тут же у трапа продававшим билеты.

— А ну, габелки, давайте деньги или марш с парохода обратно на пристань.

— Дяденька,— сказал Юрка, вытирая слезы,— мы потеряли деньги, а дома в Одессе нас ждут больные престарелые родители и ужасно беспокоятся. Поверьте нам в долг!

Старший помощник осмотрел нас с ног до головы —

маленьких, стриженых, с блудливыми глазами — и потребовал предъявить гимназические билеты. Пришлось их предъявить, и старший помощник прочел вслух первый параграф наших правил: «Дорожа своей честью, гимназист не может не дорожить честью своего учебного заведения». Старшему помощнику стало скучно, и он сказал:

— Хорошо. Пусть будет так, можете ехать на нижней палубе, только чтобы у меня не лазить в машинное отделение, на пол не плевать и вести себя скромно. Но имейте в виду: я вас везу не даром, а в долг. В Одессе вернете пароходству тридцать копеек.

...Пароход «Васильев» конкурировал с «Тургеневым», и конкуренция между этими двумя пароходами — белым и черным — дошла до того, что билет от Аккермана до Одессы уже стоил только пятнадцать копеек, или, как у нас говорили, «злот»...

Мы горячо поблагодарили помощника и дали ему честное благородное слово вернуть деньги, в знак чего за неимением поблизости церкви перекрестились на старую турецкую крепость. Скоро «Васильев» отдал концы, и началось наше возвращение в родной город хоть и не под парусами, но все же на бойком белом пароходике, который хлопотливо избивал красными плицами на редкость тихое, прозрачное и красивое Черное море, и мы чувствовали себя во всех отношениях молодцами.

Хорошее настроение немного портил старший помощник; время от времени он подходил к нам и, зловеще нахмурившись, напоминал, чтобы мы по приходе в Одессу не забыли ему отдать тридцать копеек.

...мы обогнали двухмачтовый дубок «Святой Николай», который со своими старыми, темными парусами, надутыми ветром, неторопливо пенил красивые черноморские волны. На корме возле крошечного рулевого колеса сидел на табуретке в рубахе с раскрытым воротом старик Бондарчук и, по-видимому, горестно размышлял о той страшной несправедливости, которую с ним учинили злые люди в управлении Одесского порта. Я помахал ему фуражкой, но он не заметил, и вскоре наш бойкий пароходик, обста-

вив неуклюжий дубок, обогнул белоснежный портовый маяк с медным колоколом, и мы вошли в Одесскую гавань, где в зеркале акватории уже отражался теплый, летний закат...

Не дожидаясь, пока два босых матроса подадут с берега сходни, мы с Юркой прямо с кожуха колеса прыгнули на каменную набережную и, слыша за собой скрипучий голос старшего помощника, кричавшего нам вслед: «Эй, мальчики, смотрите не забудьте вернуть за билеты!» — поспешили в город, уже озаренный огнями фонарей и витрин, такой богатый, уютный, красивый, шумный, наш дорогой город с извозчиками, каретами, велосипедистами, трескучими гранитными мостовыми, открытыми окнами домов, откуда из-за кружевной зелени акаций с черными рожками семян слышались звуки роялей, скрипок и страстных голосов, певших итальянские романсы, может быть даже «Рассвет» Леонкавалло, всегда вызывавший в моей душе необъяснимый порыв восторженной влюбленности, а в кого — неизвестно.

Видя афишные тумбы, слыша звонки конок, я погружался в очарование города, и мне уже казалось странным, что я куда-то бежал, зачем-то ночевал под виселицей в серебряной полыни, посреди старинной турецкой крепости, сидел, скрючившись, под брезентом на дубке «Святой Николай», а потом беседовал в тесной каюте со старым моряком, выслушивая его жалобы на человеческую несправедливость, и так далее.

Разумеется, помощника с «Васильева» мы надули и денег ему не принесли, считая, что пароходство от этого не обеднеет, да и денег не было...

...что же касается старика Бондарчука, то я свое слово сдержал: пошел к товарищу, отец которого был начальником торгового порта, и товарищ повел меня в управление к своему отцу, в громадный кабинет, выходящий окнами на шумный Одесский порт, на эстакаду, по которой катились красные товарные вагоны с бессарабской пшеницей.

Отец товарища оказался добрым коренастым человеком в форменной тужурке, даже, кажется, с погончиками, с орденом на шее, с крепкой серебряной головой, подстри-

женной ежиком. Он толкнул меня в глубокое, очень удобное кожаное кресло, и я, утопая в нем, произнес горячую речь о несправедливостях, творящихся в управлении портом, и о безобразном случае со старым опытным шкипером, хозяином дубка, который сорок лет проплавал на парусниках, а ему не хотят выдавать штурманское свидетельство, необходимое ему до зарезу.

Начальник порта слушал меня внимательно и даже сочувственно, но вдруг его лицо изменилось, по губам, под усами проползла странная улыбка — не то насмешливая, не то горькая,— и он сказал:

— Погодите-ка, молодой человек. Кажется, я вас понял. Дело идет о хозяине дубка «Святой Николай» Бондарчуке? Не так ли? Мы его хорошо знаем. Вы совершенно правы — это прекрасный, опытный моряк-парусник, его дубок приписан к Одесскому порту, но — поймите! — мы просто не имеем права выдать ему свидетельство, так как это строжайшим образом запрещено законом. Не можем же мы идти против закона. За это, знаете ли, можно и под суд угодить.

— Но почему же? Почему? — воскликнул я из глубины кресла.

— Потому что, к сожалению, он дальтоник,— печально сказал начальник порта.— Разве он вам об этом не говорил?

— Нет, не говорил.

— Ну вот видите. Старик никак не может примириться с этой мыслью.

Заметив по выражению моего лица, что я не совсем представляю себе, что такое дальтоник, начальник порта разъяснил мне сущность дальтонизма: неспособность человека, дальтоника, отличать один цвет от другого.

— Подумайте, как же мы можем выдать штурманское свидетельство человеку, который не отличает красного цвета от зеленого, то есть, по существу, красного сигнального огня от зеленого! Ведь в море это дело нешуточное, тут дело пахнет катастрофой, можно потопить корабль, погубить сотни людей.

— Он мне не сказал, что он дальтоник,— пролепетал я.

— Он,— продолжал начальник порта,— хотя и старый, хороший моряк и душа человек, но непроходимая темнота: не верит в дальтонизм. Он искренне считает, что это все выдумали врачи, чтобы сорвать с человека хабара.

Признаться, я сам впервые узнал о существовании дальтонизма.

— А как же дальтоники видят?

— Видят так же, как и мы, но только не различают цветов. Так что, мой молодой друг, к величайшему сожалению, ничего не могу сделать для вашего протеже.

В этот день я долго думал о старом Бондарчуке, о его печальной участи:

...смотреть на мир и не видеть красок!..

Не знать, что волны сине-зеленые, что солнце на закате и на восходе красное, и видеть все вокруг каким-то бесцветным, однотонным, окрашенным лишь одними оттенками серого и черного. Впоследствии я узнал, что именно таким представляется мир собакам. И, ложась спать, я горячо, со слезами на глазах благодарил бога, в которого я еще тогда верил со всем жаром своей младенческой души, за то, что он дал мне счастье не быть дальтоником и видеть мир во всем богатстве его красок.

Модель Блерио.

Как вспомнишь теперь то легкомыслие, ту внезапность, неожиданность для самого себя, с которой в голове моей вдруг, ни с того ни с сего, рождались самые поразительные идеи, требующие немедленного претворения в жизнь, то не можешь не улыбнуться, а отчасти даже пожалеть, что уже нет в тебе той дьявольской энергии, той былой потребности немедленного действия, пусть даже подчас и весьма глупого, но все же *действия!*

Например, история с моделью Блерио.

Почему меня вдруг осенила идея сделать модель аэроплана Блерио? Еще за минуту я даже не думал об этом. И вдруг как молния ударила! И при ее вспышке я во всех подробностях увидел прелестную модель знаменитого моноплана, недавно перелетевшего через Ла-Манш. Причем эта модель каким-то образом была сделана моими руками.

Впрочем, тут же я понял, что делать одному модель Блерио будет скучно, а надо непременно найти себе помощника, и тут же мне почему-то представилось, что лучше Женьки — не моего брата, а другого Женьки, реалиста по прозвищу Дубастый — мне товарища не найти.

И сейчас же как по мановению волшебной палочки на улице появилась фигура Женьки Дубастого, печально возвращавшегося из своего реального училища, где он схватил две двойки и был к тому же оставлен на час после уроков.

С горящими глазами я ринулся к Дубастому и, еще не добежав до него десять шагов, крикнул на всю Отраду:

— Давай сделаем модель Блерио!

— Давай! — ответил он с восторгом, хотя до этого момента ему никогда в жизни еще не приходила мысль сделать какую-нибудь модель.

Немного поразмыслив и остыв после первого восторга, Женька спросил:

— А зачем?

— Продадим на выставку в павильон воздухоплавания,— немедленно ответил я, сам удивляясь, откуда у меня взялась эта мысль.

— А нас туда пустят без билетов? — живо спросил Женька.

— Конечно, пустят, раз мы покажем модель.

— А где мы возьмем модель? — спросил Женька.

— Чудак! — воскликнул я.— Сделаем.

— Сами?

— Сами.

— А с моделью пустят?

— Безусловно!

— Тогда давай.

— Давай ты будешь делать крылья, а я колеса.

— Идет!

Мы тут же — не теряя времени — побежали в подвал дома Женьки Дубастого и быстро нашли там множество всякой всячины, необходимой для постройки модели: молоток, гвозди, моток шпагата, банку клейстера, проволоку, на которой в царские дни развешивались вдоль дома иллюминационные фонарики, обрезки каких-то досок, пилу, куски колепкора, национальные флаги, вывешивавшиеся у ворот по праздникам (они были необходимы для покрытия «несущей поверхности» нашего монопланa), и в числе прочего тюбик универсального клея «синдетикон», весьма популярного в то далекое-предалекое время.

...«синдетикон» действительно намертво склеивал самые различные материалы, но в особенности от него склеивались пальцы, которые потом очень трудно было разле-

пить. Этот густой, вонючий, янтарно-желтый клей имел способность тянуться бесконечно тонкими, бесконечно длинными волосяными нитями, налипавшими на одежду, на мебель, на стены, так что неаккуратное, поспешное употребление этого универсального клея всегда сопровождалось массой неприятностей...

Разумеется, у нас не было никаких чертежей и планов, а мы просто сколачивали модель Блерио большими гвоздями (за неимением маленьких гвоздиков) из наскоро нарезанных щепок. Мы прикручивали к его фюзеляжу крылья, сделанные из проволоки и обклеенные белым коленкором (хотелось бы желтым, но его под рукой не оказалось!), причем все это тяжелое, неуклюжее сооружение было опутано вонючими нитями «синдетикона», прилипавшими к пальцам и мешавшими работать.

С большим трудом, хотя довольно быстро — за два дня,— мы построили модель. Не хватало лишь колес. Недолго думая мы содрали колеса с игрушечной коляски младшей сестренки Дубастого Люси и приклеили их внизу передней рамы фюзеляжа. Пропеллер мы вырезали столовым ножом из сосновой щепки и намертво приклеили его впереди с помощью все того же универсального «синдетикона».

Мы были восхищены красотой своей модели, казавшейся нам поразительно изящной, в то время как это было чудовищным надругательством над самой идеей летательного аппарата, не говоря уже о неестественных пропорциях. Модель получилась грубой, топорной работы. Единственно, что сближало наше изделие с аэропланом, было то, что он с полным правом мог называться «тяжелее воздуха». Этим свойством своей модели мы очень гордились.

С трудом дождавшись девяти часов утра, мы с крайними предосторожностями, чтобы не поломать, взяли модель за фюзеляж, который сразу же слегка покривился, и отправились на выставку.

По дороге нас удивило, что прохожие не очень обращают внимание на модель, которая — по нашим представлениям — должна была вызывать общее восхищение. Даже уличные мальчишки с Новорыбной, так называемые «новорыбники», игравшие возле стены одного из домов в швайку, не перестали играть, а лишь довольно равнодушно

посмотрели на модель Блерио, не сделав никаких замечаний. Я думаю, они даже не вполне поняли, что это за вещь, которую мы держим в руках.

Нечего и говорить, что мы пришли по крайней мере за час до открытия выставки и долго томились возле турникета, поправляя модель, немного деформировавшуюся во время пути, и внося некоторые незначительные изменения в конструкцию моноплана: например, мы более круто изогнули заднюю плоскость и заметно округлили руль.

Рассматривая модель при беспощадном утреннем солнце, мы пожалели, что не смогли вставить в фюзеляж резинку, чтобы пропеллер мог крутиться. Резинка стоила страшно дорого. Ладно, пусть пропеллер не будет вращаться, ведь модель-то не летающая! Конечно, не мешало бы также покрыть поверхность крыльев специальным лаком. Да где его возьмешь?

Наконец появился выставочный сторож в особой выставочной форме, а затем и кассирша — нарядная дама в громадной шляпе со страусовыми перьями и в кружевных митенках с отрезанными пальцами.

Мы бодро двинулись ко входу, стараясь как можно осторожнее держать модель за крылья, но кассирша выглянула из своей будки и сказала:

— Мальчики, куда вы лезете без билетов? Давайте сначала деньги, а потом — милости просим.

Мы объяснили ей, что идем в павильон воздухоплавания выставлять свою модель, но кассирша повернулась к нам в профиль и захлопнула окошечко. Мы попытались пролезть через турникет, но сторож погрозил нам пальцем и сказал, что позовет городового.

Удрученные неудачей, мы побрели вдоль высокого выставочного забора, пока не очутились где-то на задах выставки, где сначала Дубастый перелез через забор, потом я перекинул ему на ту сторону модель, которая при этом немножко стукнулась крылом о землю, а уж потом следом за моделью с муками и страхом перелез и я. Тут возле стены рос бурьян. Мы присели на ракушниковые камни, оставшиеся от строительства главных павильонов выставки, и немного починили нашу довольно сильно расстававшуюся модель, насколько было возможно заделав дырку в задней несущей плоскости, проделанную пальцем неосторожного Дубастого. Затем мы отправились разыскивать павильон воздухоплавания и не без труда нашли его, исходив, вероятно, несколько верст выставочных дорожек, еще

пустых в этот час, посыпанных скрипучим дофиновским гравием, среди фонтанов, затейливых павильонов, в открытых дверях которых виднелись разные машины, среди бархатно-зеленых газонов и цветочных клумб с львиным зевом и штамбовыми розами из садоводства Веркмейстера. Выставочные садовники в белых фартуках щедро поливали их из брандспойтов, и радуга светилась в облаке водяной пыли, висевшей над зеленью.

Павильон воздухоплавания представлял собою громадную палатку-шатер из плотного авиационного шелка; его вход был широко распахнут; мы уже собирались войти, но в этот миг перед нами предстал молодой господин с макслиндеровскими усиками, одетый в новомодный клетчатый жакет, брюки галифе и желтые кожаные краги, ладно облегавшие его выпуклые икры. Тугой крахмальный воротничок высоко подпирал его щеки, и шелковый лиловый галстук цвета павлиний глаз с жемчужной булавкой придавал его спортивному виду оттенок богатства и светского шика, что также подчеркивало строгий пробор его зеркально набриллиантиненных прямых волос. У него во рту дымилась сигара, на которой уже нарос жемчужно-серый пепел, слегка розоватый от внутреннего огня. На мизинце молодого человека блеснул перстень с большим бриллиантом. До сих пор мы видели таких шикарных молодых людей только в карикатурах на страницах журнала «Сатирикон».

— Что вам здесь надо, жлобы? — спросил он на языке одесских окраин с непередаваемой интонацией слова «жлобы».

— Продаем для вашего павильона модель Блерио,— сказал Женька Дубастый не моргнув глазом.

— Вот эту? — спросил молодой господин, показывая дымящей сигарой на наш моноплан.

— А чего? — не без нахальства спросил Женька Дубастый.— Восемь рублей дадите?

Молодой господин показал белоснежные зубы, на щеках у него появились девичьи ямочки, и он стал хохотать, пуская из ноздрей сигарный дым.

— Ну хотя бы два с полтиной дадите? — угрюмо спросил Женька.

Макс Линдер продолжал хохотать.

— Так забирайте даром, если вы такие жмоты,— сказал я.— Мы согласны выставить свою модель бесплатно.

Но Макс Линдер не унимался, продолжая звонко и весело смеяться.

Наконец он передохнул, наморщил свой вздернутый носик и сказал:

— Пошли вон, и чтобы я вас здесь больше не видел!

Тут Женька Дубастый жалобно сказал:

— Хотя бы разрешите нам, дяденька, осмотреть ваш павильон.

— А это — пожалуйста,— покладисто ответил Макс Линдер.— С удовольствием. Только, во-первых, не тащите сюда свою бандуру, а во-вторых, не лапайте экспонаты.

Мы оставили модель Блерио на траве газона под кустом роз и, сняв фуражки, с благоговением, как в церковь, вошли на цыпочках в павильон.

Это был подлинный храм будущего.

...Утреннее солнце, проникая сквозь шелковое полотно шатра, озаряло ярким, но смягченным светом несколько стоящих на полу и подвешенных в воздухе настоящих, больших аэропланов с моторами и сказочно прекрасными пропеллерами из трехслойного полированного дерева с разноцветными переводными картинками фабричных марок. Мы с замиранием сердца узнали летательный аппарат тяжелее воздуха братьев Райт, как бы лежащий на земле, опираясь на некое подобие лыж, его две плоскости горизонтальные и две вертикальные; перед нами стоял на своих толстеньких колесиках с дутыми резиновыми шинами высокий, стройный биплан «Фарман-16», его латунный бак для бензина сиял, а звездообразный, пластинчатый, стальной мотор фирмы «Гном» мог свести с ума кого угодно своей конструктивной целесообразной красотой; приводили в восторг его загнутые лыжи и передний руль высоты... Несущие плоскости летательных аппаратов из особого авиационного шелкового полотна, туго натянутого на легкие конструкции крыльев, покрытые особым, прозрачным лаком, тонкие стальные тросы, скреплявшие всю легкую и прочную конструкцию аэроплана, ошеломили нас своей мастерской отделкой, аккуратностью, красотой форм. Нам так хотелось потрогать руками гладко обструганные, отшлифованные рейки распорок, сделанные руками замечательных мастеров своего дела, столяров самой высокой марки, из красивых сортов отборного бука, клена, может

быть ясеня. Аэропланы одновременно были и летательными аппаратами, и как бы музыкальными инструментами со звенящими, натянутыми струнами стальных проволок...

...но что нас больше всего поразило и унизило, это несколько небольших моделей самолетов, поставленных на специальные тумбочки. Они являлись главным украшением павильона и представляли из себя чудо искусства, точности, глазомера и совершенства пропорций. При виде этих моделей мы с Женькой сконфуженно отвернулись друг от друга и вышли из павильона как побитые собаки, даже не взглянув на свою модель Блерио, которая, заляпанная клейстером, неуклюжая, как табуретка, с полуотломанным крылом, лежала на траве под кустом роз, усыпанным полураспустившимися бутонами, пылающими на ярком солнце...

Мы даже не обратили внимания на все выставочные чудеса, мимо которых плелись к выходу: на знаменитый деревянный самовар известной чайной фирмы «Караван», высотой с четырехэтажный дом и чайником на конфорке, откуда посетители выставки могли обозревать выставочную территорию, не менее знаменитую громадную бутылку шампанского «редерер»; паровую карусель с парусными лодками вместо колясок и медным пароходным свистком; павильон «Русского общества пароходства и торговли» (РОПиТ) в виде черного пароходного носа почти в натуральную величину, с бушпритом, мачтой и колоколом.

Мы даже не обратили внимания на сводящий с ума горячий запах вафель со сбитыми сливками, которые тут же на глазах у публики пекли в раскаленных вафельницах, нагревавшихся электрическим током...

...а сосиски Габербуш и Шилле на картонных тарелочках, с картофельным пюре и репинским мазком горчицы...

Эх, да что там говорить!..

Гостиница «Центральная».

Мне подарили фотографический аппарат марки «Кобальт» или что-то в этом роде. Он представлял из

себя прямоугольный ящичек, скорее коробку, оклеенную черной шагреневой бумагой под кожу, издававшей особый, как мне тогда казалось, «фотографический запах».

Первые мои опыты фотографирования оказались крайне неудачны: я торопился, нередко вставлял пластинку в кассету наизнанку; сквозь не совсем плотно закрытые ставни в комнату проникал губительный луч уличного фонаря, засвечивающего снимок; иногда оказывалось на пластинке два совершенно разных снимка — один вертикальный, другой горизонтальный; я плохо промывал черные ванночки для проявления и закрепления, отчего пластинка оказывалась грязной, сальной; я путал вираж-фиксаж с проявителем, и тогда с пластинки слезала кожица светочувствительного слоя; я ронял пластинки, и они раскалывались в темноте на полу; словом, прошло довольно много времени, прежде чем я научился, как мне казалось, получать хорошие снимки.

...И вот в один прекрасный день я наконец отправился на стрельбищное поле, где ежедневно происходили полеты аэропланов. Снять аэроплан собственным фотографическим аппаратом было моей заветной мечтой.

...Держа за кожаную ручку свой фотографический аппарат и чувствуя приятный солидный вес заряженных кассет с новыми пластинками, тихонько постукивающими внутри, отправился я за город, на стрельбищное поле. Все предвещало удачу: яркое солнце, при свете которого можно было делать моментальные снимки, чистый, прозрачный воздух, жужжание аэроплана, которое я услышал, подходя по бурьяну к стрельбищному полю.

Довольно высоко над землей делал красивый вираж «Фарман-16», желтый, ребристый, весь просвеченный солнцем, блистающий начищенным, как самовар, медным баком для бензина и гудящий, как шмель.

Закончив опасный вираж, авиатор выключил вдруг зачихавший за его спиной звездообразный мотор и сделал одну из самых красивых фигур тогдашней авиации — так называемые «горки», когда биплан с выключенным мотором крутой волнистой линией несется к земле, то как бы опускаясь, то вдруг подскакивая в воздухе и снова взлетая, пока его колеса и лыжеобразные шасси не коснутся земли.

Спуск «горками» был так прекрасен, что, залюбовавшись им, я забыл про свой аппарат и не успел сделать снимок, тем более что и солнце светило прямо в объектив, а для того, чтобы снимок вышел хороший, четкий, надо, чтобы солнце было за спиной.

Аэроплан покатился по степной траве и остановился совсем недалеко от меня. Авиатор в кожаном шлеме, в кожаном пальто и желтых крагах — известный одесский парикмахер Хиони, вечный конкурент Уточкина,— прошел мимо меня, снимая большие кожаные перчатки с раструбами и подвинчивая щегольские черные усы, слегка растрепавшиеся во время полета.

Тут же невдалеке я заметил посреди степи городской экипаж с откидным верхом. Извозчик в длинном синем армяке навешивал на морду лошади торбу с овсом, а его пассажиры — дама в большой модной шляпе, с легким газовым шарфом на шее и бородатый мужчина в купеческой поддевке тонкого сукна — шли, разминаясь, по бурьяну навстречу авиатору и что-то ему весело кричали, вероятно, поздравляли с красивым полетом, а дама даже аплодировала, как в театре.

Прислушавшись, я услышал, что дама и мужчина просят авиатора прокатить их по воздуху на аэроплане. Дама сняла шляпу, бросила ее в пыльные ромашки и повязала голову газовым шарфом; мужчина повернул свой купеческий картуз козырьком назад.

Я видел, как они вскарабкались по тросам и рейкам на нижнее несущее крыло, а затем уселись на легкое, как бы лубяное сиденье, похожее на те решета, в которых продают на Привозе ягоду.

Умирая от страха, дама держалась рукой за полированную распорку, а мужчина прижимал даму к себе изо всех сил, так как они (оба дородные) должны были уместиться в одном решете. Авиатор уселся в своем решете и проверил действие рычагов управления. Моторист не без усилия качнул пропеллер, мотор зачуфыкал и закружился за спиной авиатора все быстрее и быстрее, пока не превратился в почти незримый диск, по которому пробегали молнии солнечных отражений.

«Фарман», слегка хромая, побежал по ромашкам, отделился от земли, взлетел, набрал высоту метров пятьсот, сделал круг и с выключенным мотором совершил блестящий по красоте сначала очень крутой, а потом пологий «воль-плянэ», а затем мягко сел на землю, побежал по

ней, и мы с извозчиком услышали восторженное кудахтанье дамы и хохот ее спутника.

— Ишь ты,— сказал извозчик,— всю ночь прогулял со своей мамзелью в «Альказаре», а теперь догуливает здеся: полетать с похмелья захотелось.— Извозчик добродушно и с большим уважением прибавил несколько неприличных слов и покрутил головою в своей твердой касторовой извозчичьей шляпе с металлической пряжкой; на его ременном кушаке блестели металлические аппликации в виде лошадиных головок.

— Богатый господин. Приезжий. Купец. Гуляет.

В это время аэроплан подкатил к нам, и дама, раскрасневшаяся, как помидор, от страха и наслаждения полетом, увидела меня с моим фотографическим аппаратом.

— Эй, мальчик, сними-ка нас! — крикнула она.

— С удовольствием,— ответил я, зардевшись от счастья, и шаркнул ногами.

— А ты снимать-то этой штуковиной умеешь? — спросил господин.— А то такие нам рожи сделаешь, что родная мать не узнает.

— Вы, пожалуйста, только одну минуту не двигайтесь, чтобы я мог сделать выдержку,— сказал я строго и, поймав в видоискателе маленькую картинку креплений самолета, а среди них фигуры дамы, господина и авиатора, щелкнул затвором.

— А ты нам снимки дашь? — спросила дама.

— С удовольствием,— ответил я, снова шаркнув ногами по пыльной траве стрельбищного поля.

— Гляди ж не обмани,— сказал господин и, порывшись в карманах своей поддевки, протянул мне большую визитную карточку, на обороте которой тут же написал золотым карандашиком, но довольно коряво: «Гостиница «Центральная», номер 76».

Когда я брал из его рук карточку, то ощутил запах винного перегара.

Затем господин слез с аэроплана, поддержал даму, которая с хохотом прыгнула вниз прямо в его руки и крикнула «гоп!», после чего господин полез в бумажник, отслюнил четвертной билет и сунул его авиатору в перчатку.

— Дозвольте, ваше здоровье, поздравить вас с воздушным крещеньем,— сказал извозчик, снимая шляпу и путаясь в полах своего армяка.

— Ладно, потом сразу получишь за все,— сказал гос-

подин,— а теперь вези нас полным ходом в «Аркадию» обедать. А ты, мальчик, не знаю, как тебя звать, не забудь занести снимок, я тебя поблагодарю,— многозначительно добавил он, уже высовываясь из экипажа.

И дама с господином уехали.

Я понял, что мне повезло и я смогу разбогатеть... Ну да, конечно. Ведь, собственно говоря, господин заказал мне снимок своего первого полета на аэроплане. Наверное, он мне здорово заплатит, не поскупится, в особенности если фотография ему понравится. Уж раз он отвалил авиатору за полет двадцать пять рублей — сумму, в моем представлении неслыханную,— и даже бровью не повел, то небось за мой снимок не пожалеет пятерки. Ну если не пятерки, то, во всяком случае, трешницы. А ведь это — ого-го-го! Или уж никак не меньше двух рублей. На самом деле: что ему стоит дать человеку два-три рубля. Я же заметил, сколько у него в бумажнике денег! Целая пачка! И все — четвертные билеты! Я столько денег за один раз никогда в жизни не видел. Нет, меньше пятерки не даст. Совесть не позволит. Ведь снимок-то для него памятный. Шутка сказать — первый полет, да еще вместе с женой. Верное доказательство, что они действительно летали. А летали тогда далеко не все. Полететь — было тогда величайшей редкостью. Может быть, на весь город летали три-четыре человека, да и то вряд ли, не считая, конечно, самих авиаторов.

...Нет, за такую фотографию и десятки не жалко!..

Десятка... Даже подумать страшно... Несбыточная мечта... Фантастический сон... И тем не менее дело вполне возможное: надо только постараться сделать фотографию как можно лучше, не торопясь, аккуратно, не залапать пальцами, чтобы была самого высокого качества.

...Прибежав домой, я с трудом дождался вечера и приступил к проявлению пластинки.

При красном свете фонаря, кстати сказать, похожего на те красные фонарики с надписью «выход», которые всегда во время действия горели в городском театре над дверями зрительного зала, я осторожно покачивал

плоскую ванночку с носиком, в которой, погруженная в едкий проявитель, остро воняющий какой-то кислотой, виднелась невинно-телесная поверхность как бы фарфоровой пластинки. Окна поверх ставней были закрыты одеялами, и дверь заперта на ключ. Самый слабенький пучок белого света мог погубить всю мою работу, и тогда мечта о десяти рублях разлетится как дым. Я впивался глазами в розовую поверхность пластинки, с нетерпением ожидая появления первых намеков на изображение. Мне казалось, что пластинка никогда не проявится. Я уже потерял всякую надежду, думая, что, очень может быть, снимая, я забыл снять с объектива черную крышечку на бархатной подкладке.

Я готов был заплакать.

Меня звали через дверь пить чай, но я угрюмо молчал, обкусывая на пальцах ногти. И вдруг, когда ни малейшей надежды как будто уже не оставалось, я увидал сначала очень слабые, еле заметные, а потом все более определенные темные и белые пятна, которые вдруг начали приобретать форму.

...это было похоже на ночь, проведенную у моря, когда сначала все сливается в однотонную, звездно-серебристую пустоту, но незадолго до рассвета море вдруг начинает слабо отделяться от неба, появляются очертания скал, шаланды на берегу, затем обозначается мутный блеск длинной прибрежной волны, потом силуэт обрыва, на вершине которого понемногу начинают белеть и светиться стены дачи, чернеть кудрявые купы деревьев, белые звезды сонного табака; небо мало-помалу светлеет, проявляется; заря разливается вокруг, и постепенно пейзаж восстанавливается во всех своих подробностях вплоть до мелкой гальки у кружевного шлейфа прибоя... И милое, сонное лицо...

Примерно то же самое наблюдал и я. Темные и белые пятна на пластинке стали явно что-то обозначать, какие-то предметы, и через миг я уже с восторгом видел негативное изображение негритянских черных человеческих лиц с белыми глазами, белые косые распорки биплана, даже смутное очертание бензинового бака, палки руля высоты. Еще через миг я уже видел ребристую несущую поверхность, часть пропеллера и черные линии скрещенных тросов. Все это было не так четко, как того бы хотелось, но, несомненно, это был снимок, настоящий негатив, с которого можно

будет напечатать на чудесной глянцевой бумаге вполне приличную копию, за которую будет не жалко отдать мне ну если не десятку, то, во всяком случае, пятерку или три рубля... а может быть, все-таки десятку?

Печатание с негатива само по себе было чудо! Но мне показалось этого мало. Я решил наклеить лиловатый, еще сырой глянцевый снимок на особую картонную рамку, паспарту, с тем, чтобы моя работа еще больше понравилась богатому заказчику.

Я выпросил у тети пятнадцать копеек и в магазине фотографических принадлежностей Иосифа Покорного на Дерибасовской купил три серых картонных паспарту шесть на девять, в соответствии с размером моего снимка. Широкие поля паспарту, украшенные декадентскими финтифлюшками, как бы увеличивали размер моего произведения и значительно удорожали его. Особым фотографическим клеем я наклеил на паспарту лучший, наиболее разборчивый экземпляр своего снимка, положил его под стопку учебников, для того чтобы он аккуратнее приклеился, и, взволнованный, лег спать, с тем чтобы завтра как можно раньше отправиться в гостиницу «Центральную» на Преображенской улице.

Еще не было восьми часов утра, как я завернул паспарту в газету, взял ранец и отправился якобы в гимназию, а на самом деле на Преображенскую. По дороге я несколько раз разворачивал газету и рассматривал свой снимок. Говоря откровенно, он был не так удачен, как мне казалось. Второпях я недодержал отпечаток в закрепителе, и теперь он как-то поблек, однако не настолько, чтобы нельзя было понять, что на нем изображено. К сожалению, лица господина и дамы оказались не в фокусе и трудно было их узнать, но меня утешало, что по некоторым признакам одежды их все-таки можно было при желании узнать. Кроме того, размер шесть на девять был слишком маленьким, даже если учесть, что поля паспарту несколько его увеличивали. Кроме того, несмотря на все мои старания, я умудрился во время проявления залапать негатив, и теперь на уже довольно порыжевшем снимке отчетливо виднелся дактилоскопический отпечаток моего большого пальца.

Но я не унывал, рассчитывая на доброту и щедрость господина и его жены, которые должны были быть

довольны хотя бы уже потому, что мой снимок был единственным доказательством их полета на аэроплане.

Я очень торопился, боясь, что не застану их дома. Без четверти восемь я уже был в гостинице и спрашивал заспанного портье, могу ли я видеть господина такого-то и его супругу. Портье, в визитке, с бровями, выкрашенными лиловой краской, посмотрел на меня сверху вниз снисходительно и объяснил, как мне найти номер господина, но при этом прибавил с гнусной улыбкой:

— А насчет супруги не могу вам точно сказать. Это вы у них самих спросите.

Смысл этого замечания я не совсем понял и, поднявшись по чугунной узорчатой лестнице, покрытой красной вытертой дорожкой, на второй этаж, пошел по темноватому коридору, пропахшему сигарным запахом, мимо множества запертых дверей, возле которых стояла выставленная для чистки мужская и дамская обувь. В воздухе густо пахло смесью пудры, пыли, духов и еще чего-то неуловимо порочного, может быть даже преступного.

Найдя номер семьдесят шесть, я осторожно постучал в грязно-белую дверь с позолоченными багетами. Мне никто не ответил. Я прислушался, приложив ухо к двери; из номера доносились звуки какой-то возни, и это успокоило меня: значит, заказчик дома.

Я постучал сильнее.

— Кто там? — услышал я хриплый мужской бас.

— Это я,— сказал я.

— Кто именно?

— Ваш знакомый мальчик, гимназист, помните, я вас снимал позавчера вместе с вашей супругой на аэроплане?

— Нешто я летал? — спросил голос за дверью.

— Летали,— сказал я,— я принес вам фотографию.

За дверью послышалось нечто вроде добродушно-сварливого ругательства, затем я услышал шлепающие звуки босых ног, дверь открылась, и я увидел господина в длинной ночной рубашке, в подштанниках, со всклокоченной бородой, красным носом и бессмысленными глазами.

— Вот фотография,— сказал я, шаркнув ногой, как вполне воспитанный гимназист, и протянул господину паспарту, завернутое в газету.

— А который теперь час? — промычал господин.

— Около восьми,— сказал я.

Господин развернул газету и вынул паспарту. Он долго его рассматривал, а потом почесал голову.

— Действительно, летал, значит. Чудеса! Ну, спасибо,— сказал господин, обдав меня сложной смесью разных спиртных запахов, закрыл перед самым моим носом дверь на ключ, и я услышал шлепанье босых ног и женский, кудахтающий кашель, приглушенные бархатной красной потертой гардиной, пропахшей табаком.

Я постоял довольно долго перед дверью и отправился в гимназию, унося в своем сердце горечь разбитых надежд.

Комета Галлея.

...с быстротой молнии распространилась эта весть. Из глубины мирового пространства по направлению к Земле движется комета Галлея, и некоторые астрономы предсказывают весьма вероятное столкновение ее с нашей планетой, в результате чего человечество погибнет.

Картина гибнущего человечества была весьма неопределенна, даже абстрактна, но тем не менее при мысли о ней мою душу охватывал ужас, потому что это была одновременно и моя гибель. Я испытывал не обычный страх смерти, который время от времени пронзал все мое существо, а потом бесследно исчезал и забывался до новой вспышки, всегда внезапной, а ужас перед каким-то бессмысленным, слепым и неотвратимым физическим законом небесной механики, который имел власть над моей жизнью и над жизнью всех других людей, населяющих Землю; имел власть уничтожить самую Землю, превратить ее в ничто и вместе с тем быть предсказанным за несколько столетий вперед.

Меня ужасали строго научные чертежи в газетах и журналах, представлявшие все одно и то же, одно и то же: часть параболы, где комета Галлея была изображена во всех фазах своего неотвратимого приближения к Земле, в виде нескольких точек с хвостами, обращенными в сторону, противоположную от Солнца, и возле последней фазы — кружочек нашей Земли, уже наполовину покрытый хвостом кометы.

...в городе увеличилось число сумасшедших...

Появились зловещие старухи, иногда с иконами в руках, с грозными глазами, обведенными траурными кругами.

Они обходили дворы и посылали проклятия жильцам, погрязшим в пороках и разврате.

Город задыхался от запаха неслыханно буйно цветущей белой акации. Короткие, темные, душные ночи с распахнутыми окнами домов, откуда неслись звуки итальянских песен, что превращало нашу тихую Отраду в подобие Неаполя или, во всяком случае, Сорренто, где в еще более густой темноте, чем обычно, беззвучно двигались парочки, рдели угольки папирос, слышались в подворотнях «шепот, робкое дыханье» и насвистывание сквозь зубы из «Веселой вдовы» — «тихо и плавно качаясь, горе забудем вполне»...— точно и в самом деле нас всех мучило какое-то горе, которое мы старались вполне забыть.

Над морем светились млечные летние звезды, самые крупные из которых даже отражались в почти неподвижной воде и серебрили море у темного горизонта, откуда из угольно-черной бездны должна была появиться комета.

В городе раздавались гудки маленьких пыхтящих автомобилей, бесшумно пролетали экипажи на дутых шинах, с фонарями на козлах, и я знал, что это богачи со своими дамами едут кутить в «Аркадию» или «Северную», где выступают какие-то не вполне для меня понятные красавицы — шансонетки с красными накрашенными ртами, в платьях, осыпанных блестками, с нагими плечами и подмазанными глазами обольстительных грешниц, а в городском театре шла «Аида» с голубым Нилом, серебрящимся при свете африканской луны, и зловещими восклицаниями: «Радамес! Радамес!»

...И в мире, сошедшем с ума в ожидании расплаты за все его вольные и невольные грехи, чудовищные, окутанные густым каменноугольным дымом супердредноуты американского флота с мачтами из плетеной стали, похожие на Эйфелеву башню, бороздили океаны, и где-то в глубине таинственной океанской воды пробирались подводные лодки — субмарины,— в любую минуту готовые выпустить из своих минных аппаратов самодвижущиеся плавучие мины Уайтхеда. Дирижабль «Граф Цеппелин» поднимался над Боденским озером как громадный граненый карандаш, легкие аэропланы летали над зелеными лужайками Европы, и их уже начали приспосабливать для прицельного бомбометания и ставить на вооружение армий. Всюду происходили маневры, и дредноуты стреляли двенадцатидюймовыми снарядами по плавучим щитам,

расставленным в божественно синих водах морей и океанов, по которым — пока что — мирно циркулировало золото из Европы в Америку и обратно...

Все это в моем представлении было связано с фантастикой Уэллса, с леденящим душу воем умирающего Марсианина среди вересковых лугов доброй старой Англии, с человеком, который проснулся, с летающими кораблями будущего и со смертью, гибелью, уничтожением, которые несла Земле из неизмеримых глубин не познанного человеком космоса комета Галлея, с каждым днем приближающаяся со своим светлым ядром и вуалью фосфоресцирующего хвоста, повернутым в сторону, противоположную от Солнца.

Кометы еще не было видно.

Ее видели лишь немногие астрономы в свои гигантские телескопы с шестнадцатидюймовыми рефракторами.

Потом появились фотографии кометы, которая среди рассыпанных звезд выделялась прозрачным хвостом, таким коротким и маленьким, что нужно было обладать большим воображением, чтобы почувствовать опасность столкновения с этим светящимся головастиком с круглым глазом.

Я перестал спать, испытывая чувство неизбежной катастрофы, хотя папа, большой любитель и знаток астрономии, сердито говорил, что все это чепуха и выдумки невежественных репортеров, потому что если даже Земля попадет в хвост кометы, то все равно ничего не случится. Хвост кометы представляет из себя настолько тонкую материю, что Земля совершенно легко пройдет сквозь нее и мы даже ничего не заметим. Если же ядро кометы столкнется с нашей планетой, то также ничего не произойдет, ибо ядро кометы — всего лишь газообразное тело, чуть более сгущенное, чем хвост.

Впрочем, по моим наблюдениям, папа в глубине души, наверное, тоже беспокоился за судьбы нашей маленькой планеты и всего человечества.

Тетя же не исключала возможности мировой катастрофы, но относилась к этому крайне легкомысленно.

...«ну допустим, что все мы в один прекрасный день вспыхнем и сгорим, как бабочки, вместе со всей нашей земной цивилизацией... ну и что ж из этого? Туда ей и дорога!..»

И тетя, надев шляпу и перчатки, отправлялась со знакомыми дамами в оперетку восхищаться Днепровым, который, по слухам, вышел из монахов, или в иллюзион смотреть Макса Линдера или знаменитого Гаррисона из фирмы «Нордиск», элегантного упитанного господина с пробором и белоснежным уголком платочка в наружном карманчике наимоднейшего жакета, артиста, который всегда изображал трагическую фигуру благородного богача, брошенного красавицей женой, разорившегося и стреляющегося из никелированного револьвера, уронив голову на свой громадный письменный стол.

Уходя из дома, тетя беззаботно напевала из «Лисистраты»:

Светлячки всю ночь летают,
Светлячки нам спать мешают...

Наконец наступила ночь, когда комета Галлея должна была либо столкнуться с Землей, либо накрыть ее своим шлейфом, либо пройти вблизи и удалиться в черную бездну, в угольную яму мирового пространства. Улицы заполнились людьми с биноклями и подзорными трубами. Я полез в папин комод и достал маленький театральный бинокль покойной мамы. Я обшарил все летнее небо и ничего не нашел. На улицу вышел взрослый гимназист Серж, у него в руках был массивный цейсовский бинокль, увеличивавший в двадцать или даже в тридцать раз. Серж своей фланирующей валкой походкой сноба и денди отправился к обрывам, откуда открывался более обширный горизонт. Он поискал комету и сказал:

— Вот она. Я ее ясно вижу. Хвост тянется несколько вверх.

Я упросил его дать мне посмотреть. Он презрительно улыбнулся своей аристократической улыбкой, но все же сжалился надо мной и дал бинокль. Я обшарил все небо, но ничего даже отдаленно похожего на комету не обнаружил, однако, возвращая тяжелый бинокль Сержу, небрежно сказал:

— Видел. Ничего феноменального. Обыкновенная звезда, только с хвостом.

Так как я кометы не видел, а лишь страстно хотел ее увидеть, то мои слова тут же превратились как бы в правду, хотя они и были чистейшей ложью. Воображение мое создало небольшую голубую звездочку со светящимся

длинным хвостом, некое фосфорическое подобие рыбьего малька, которого я рассматриваю в микроскоп и вижу в середине его прозрачной плоти нечто вроде светящейся схемы кровообращения.

Дома я похвастался, что видел комету. Женька сказал, что тоже видел — даже не в бинокль, а невооруженным глазом.

Я опять вышел на улицу, темную от листвы и деревьев. Слышался шепот, робкое дыхание. На скамейках возле ворот целовались и тихонько хохотали.

Кого бы я ни опрашивал, все говорили, что видели знаменитую комету, но не нашли в ней ничего особенного.

Через несколько дней газеты сообщили, что комета удалилась уже от Земли на колоссальное расстояние световых лет и продолжает удаляться по начертанному ей пути — по своей параболе.

Она не оставила после себя никакого явного следа. Мы даже не заметили вокруг себя тонкого светящегося тумана, когда ее волшебный хвост коснулся Земли. Все осталось по-прежнему. И все ж какая-то тревога осталась в моей душе — предчувствие какой-то всемирной катастрофы, которую на этот раз мы избежали лишь благодаря чуду, но которая непременно когда-нибудь разразится и уничтожит человечество.

...комета Галлея растворилась в мировом пространстве, но через некоторое время я услышал название новой кометы, еще более страшной, чреватой войнами и революциями, с трагическим названием Биэлы... Комета Биэлы... И я ее опять не видел.

Так же точно однажды ночью в Атлантическом океане меня разбудил стук в дверь каюты:

— Идите на палубу, берите бинокль, вдалеке можно увидеть огни Лиссабона.

Дул черный ветер, глаза слезились, как я ни старался, но ничего не увидел в бинокль. Потом говорил всем, что видел огни Лиссабона. И сам в конце концов поверил этому. Я представлял себе во тьме несколько рассыпанных бриллиантов далекого города. О, как волшебно звучали для всех эти слова: «Огни Лиссабона».

Дорогие игрушки.

...Волшебный фонарь с его вытяжной трубой, загнутой назад гармоникой, с его неподвижными разноцветными картинками — диапозитивами,— которые обычно проектировались на белой стене или даже просто на светлых обоях, с его керосиновой лампой с рефлектором и быстро накаляющимся черным железным корпусом, сквозь щели и дырочки которого в разные стороны вылетали зеркальные зайчики, неподвижно пятная стены, пол, потолок темной комнаты, наконец, с запахом горелой краски и копотью, струившейся вверх из вытяжной трубы, этот традиционный волшебный фонарь, который дома был игрушкой, а в гимназии назывался учебным пособием, уже устарел.

В игрушечных магазинах появился новый проекционный аппарат — синематограф, или биоскоп. Он показывал вместо неподвижных изображений изображения движужиеся.

Он мало чем по виду отличался от старинного волшебного фонаря, пылящегося на шкафу в учительской, если не считать ручки, которую надо было крутить, для того чтобы целлулоидная лента двигалась по замкнутому кругу ритмично, но прерывисто цепляясь за шипы медного барабана.

Та же керосиновая лампа с рефлектором, те же зайчики, зеркально пятнавшие темную комнату, та же копоть и запах горелой краски... но какая разница в изображении!

Сначала мы смотрели как на чудо на движущиеся разноцветные картинки на стене — клоуна в остроконечном колпачке, жонглирующего шариками, или танцующую балерину.

Но зрелище это скоро надоело: замкнутая лента была невелика и чудо движения не могло искупить своей монотонности, бедности, своего механического стрекотания, наводящего скуку.

В городских, общественных иллюзионах движущаяся фотография была куда интереснее. И наша дорогая игрушка скоро попала на шкаф, а оттуда в чулан, где долгие годы пылилась.

В ней не было настоящей жизни...

Маленькая паровая машина тоже считалась у нас дорогой игрушкой, но, по сути дела, она была не игрушка, а настоящая паровая машина — только миниатюрная, сделанная на настоящем машиностроительном заводе. Она состояла из стального вертикального котла со свистком и поршневым устройством, вращавшим тяжелое, хотя и небольшое маховое колесо. В отличие от большой паровой машины, локомобиля, она нагревалась при помощи спиртовой лампочки под котлом.

Мне купил папа маленькую паровую машину не в виде подарка, не в качестве забавной игрушки, а как наглядное пособие по физике.

Машина стоила очень дорого — рублей пять, но папа мечтал, что мы с Женькой вырастем всесторонне развитыми людьми.

Почему среди сотен тысяч жизненных впечатлений в мою память так прочно врезалась эта маленькая машина, этот стальной котел какого-то особого, лиловатого цвета? Не знаю. Это еще не познанная тайна человеческой памяти — одно помнить всю жизнь, а другое навсегда забывать. Наверное, есть какой-то закономерно действующий механизм памяти, законы которого еще не вполне изучены.

Запах горящего денатурированного спирта, его желто-голубое пламя, лизавшее дно парового котла, до сих пор почему-то не могут забыться.

Котел нагревался очень медленно. Каждую минуту мы — Женька и я — прикладывали к нему ладони; он все еще продолжал оставаться холодным, хотя уже не таким, каким был, когда в него только налили воды из кухонного крана.

Мы как очарованные ждали чуда превращения воды в пар. Казалось, конца не будет тому мучительно медленному нагреванию. И все же оно неуклонно, хотя почти незаметно, совершалось. Вот уже ладонь ощущает явно потеплевшую поверхность котла. Однако до конечного эффекта еще очень и очень далеко. Котел нагревается, но еще не слышно внутри него никаких звуков. Вода молчит.

Вот уже котел ощутимо жжет ладонь. Вот уже, прикоснувшись пальцами к котлу, инстинктивно отдергиваешь руку. Вот уже котел источает жар, как хорошо нагретый утюг. Пробуешь повернуть маховое колесо, оно поворачивается, но потом останавливается. Пар еще недостаточно сильно давит на поршень. Прикусив нижнюю губу, при-

слушиваешься. Откуда-то из середины котла доносится тонкий, комариный звук. Потом ухо улавливает сварливую музыку закипающей воды; музыка эта переходит в клокотанье, кипяток просачивается сквозь механизм предохранительного клапана и брызжет во все стороны мельчайшими пузырьками. И вдруг маховое колесо неожиданно сдвигается с мертвой точки, повинуясь слабому прикосновению моего пальца. Сдвинувшись с места, оно как бы само собой медленно совершает полный оборот, на миг останавливается, затем снова как бы теряет равновесие и начинает крутиться все шибче, шибче, шибче, повинуясь пришедшему в движение поршню.

Чудо превращения воды в пар, а пара в движущуюся силу. Количество переходит в качество.

Бешено крутящееся маховое колесо приковывает наши глаза к шипящей, облитой кипятком машине, и мы не можем оторваться от этого на вид такого простого, а на самом деле такого магического явления силы, как бы взявшейся ниоткуда.

Но это было не все. Сила, сжатая в накаленном паровом котле, могла превратиться по нашему желанию также и в звук — стоило только повернуть деревянную крашеную ручку совсем маленького — игрушечного — медного свисточка; раздавался как бы свисток локомотива, такой же чистый, звонкий, зовущий куда-то в дорогу, в горные перевалы, в туннели, на мосты, перекинутые над бурными потоками тающего снега, но только уменьшенных в сотни, в тысячи раз до комнатных размеров.

Маховое колесо можно было присоединить трансмиссией к жестяному бассейну, из середины которого начинал бить игрушечный фонтан.

У одного знакомого гимназиста паровая машина крутила крошечное динамо, от тока которого зажигался электрический фонарик в молочно-белом колпачке, на высоком столбике — точная копия вокзального фонаря.

Потом у нас появился игрушечный паровозик, действующий паром. Он мчался по замкнутому кругу составных рельсов, фыркая и плюясь во все стороны кипятком, а пламя спиртовой лампочки нагревало котел и неслось по кругу, распространяя по комнате свой горячий опьяняющий запах...

Казалось, нам никогда не надоест любоваться действу-

ющей паровой машиной, вокзальным фонарем, бьющим фонтанчиком и бегущим паровозиком с тендером и вагонами.

...никогда не надоест слушать звук парового свистка, напоминающий темные зимние рассветы и щемящий душу фабричный гудок за морозным окном...

Как это ни странно, но все это нам очень скоро надоело, как всегда надоедают игрушки. Ведь они лишь повторяли в миниатюре то, что уже давно существовало в мире не как игрушки, а как большие, полезные вещи.

Они лишь разбудили наше сознание, которое впоследствии всегда отставало от времени, от моторов внутреннего сгорания, от дизелей. И это отставание было невыносимо, как фабричный гудок, еще невнятно говоривший нашему воображению и нашей совести о нищете рабочих окраин, о забастовках, о стачках...

...скоро паровая машина и паровозик вместе со звеньями своих разобранных рельсов очутились сначала на шкафу, а потом в чулане рядом с другими устаревшими игрушками, покрытыми пылью забвения.

Ограбление газетного киоска.

...строжайше запрещалось чтение Пинкертона. Нат Пинкертон был знаменитый американский сыщик, приключения которого сводили нас с ума. Это были небольшие по объему, размером в школьную тетрадку, так называемые «выпуски», каждый раз с новой картинкой на цветной обложке и портретом знаменитого сыщика в красном кружочке. На этом грубо литографированном портрете голова Ната Пинкертона была изображена в профиль. Его бритое, обрюзгшее лицо с выдвинутым вперед подбородком и несколько мясистым носом, с резкой чертой между ноздрей и краем плотно сжатых губ, его проницательные глаза (или, вернее, один только глаз), даже косой пробор его немного седоватых каштановых волос и цветной американский галстук — все говорило, что это величайший криминалист XX века, человек опытный и бесстрашный, с железной волей, гроза американского уголовного мира, раскрывший сотни и сотни кровавых преступлений и посадивший не одного негодяя на электрический стул в нью-йоркской тюрьме Синг-Синг.

У Ната Пинкертона был помощник, молодой американец Боб Руланд, обожавший своего великого шефа, его правая рука, парень тоже отчаянно смелый, большой мастер гримироваться и переодеваться, наклеивать фальшивую бороду, для того чтобы, например, представиться больным стариком и в таком виде, как собака ищейка, идти по следу опасного преступника, время от времени звоня Нату Пинкертону по телефону, для того чтобы получить от него дальнейшие инструкции.

— Алло! Мистер Пинкертон! Это я, Боб Руланд.

— Ха-ха, я тебя сразу узнал, мой мальчик. Ну, выкладывай, что у тебя нового.

— Учитель, я наконец напал на след этой кровавой собаки Джека.

— Молодец! Действуй дальше. Алло! Скоро я приеду к тебе на помощь, и мы наконец посадим этого негодяя на электрический стул.

Больше всего нас волновало восклицание «алло», которое то и дело раздавалось из уст великого криминалиста, едва он брал в руку и прикладывал к уху телефонную трубку.

Черт возьми: на каждой странице телефоны, метрополитены, небоскребы в двадцать этажей, кебы, экспрессы, стальные наручники, револьверы, загадочная тюрьма Синг-Синг, одно название которой заставляло содрогаться читателя, наконец, электрический стул...

Однако вскоре после Ната Пинкертона стали появляться в большом количестве другие сыщики: английский криминалист Шерлок Холмс — рыночное подражание классическому Шерлоку Холмсу Конан Дойля,— затем Ник Картер.

Портрет Шерлока Холмса помещался в канареечно-желтом прямоугольнике. Шерлок Холмс был изображен в профиль, с резко очерченным носом с красивой горбинкой, с прямой английской трубкой в зубах, которая очень красиво и многозначительно дымилась.

Голова Ника Картера помещалась в ярко-синем кружочке; это был совсем молодой человек с по-юношески удлиненным затылком и крутым клоком волос над мудрым, высоким лбом шахматиста.

Приключения Ника Картера отличались большой изобретательностью, он раскрывал запутаннейшие дела, связанные с деятельностью крупных преступных великосветских банд, владевших большим ассортиментом таинственных восточных ядов, снотворных средств, бесшумного огнестрельного оружия, тайнами гипнотизма и даже спиритизма, способного переселять души, не говоря уже о колоссальном количестве награбленного золота, драгоценных камней, например бриллиантов размером с куриное яйцо и жемчужин, больших, как кокосовый орех, что было явным плагиатом из «80 000 лье под водой» Жюля Верна.

Великосветские банды имели собственные паровые яхты, литерные поезда... Они совершали свои чудовищные преступления с непостижимой быстротой фантомов, без труда перемещаясь из одной части света в другую: сегодня Чикаго, завтра Вальпараисо, послезавтра Лондон, затем, разумеется, Париж, Сан-Франциско, Нагасаки,— всюду оставляя за собой множество жертв, отравленных и убитых непонятным оружием, а затем бесследно исчезали, не оставляя никаких следов.

У Ника Картера был не один помощник, а несколько: японец Тен-Итсли, Патси и даже одна помощница — красавица Ирма, при взгляде на которую самый закоренелый преступник терял голову...

Выпуск Ника Картера стоил семь копеек, в то время как выпуск Пинкертона всего пять копеек. У Пинкертона было тридцать две страницы, а у Ника Картера сорок восемь.

Пинкертон был написан дубовым языком и изобиловал такими выражениями, как, например: «Проклятие! — заорал Боб, стреляя в неуловимого Макдональда» или: «Ага, попался, голубчик,— ледяным тоном сказал Пинкертон, надевая на негодяя наручники,— теперь я тебя наконец-то посажу на электрический стул».

Сначала этот мужественный стиль нам очень нравился, но после появления на книжном рынке Ника Картера шансы Пинкертона сильно упали. У Ника Картера сплошь да рядом попадались фразы, волновавшие нас до глубины души, например: «Золотистые волосы красавицы преступницы рассыпались по ее мраморным плечам и покрыли ее с ног до головы сияющим плащом...» или: «Доктор Дацар с дьявольским смехом вонзил шприц с усыпляющим тибетским веществом в обнаженную руку японца...»

Кроме того, выпуски выходили с продолжением сериями по четыре-пять номеров. Серии назывались «Серия Дацара» или «Инесс Наварро — прекрасный демон».

Прочитав один выпуск и остановившись на самом интересном месте, уже невозможно было не купить следующий выпуск.

А где взять деньги?

Выпуски Ника Картера появлялись в продаже каждую пятницу сразу же по две штуки. Цена — четырнадцать копеек. Их привозил курьерский поезд Санкт-Петербург — Одесса, развивавший, как говорили, скорость до ста десяти верст в час. Тотчас же по прибытии поезда свежеотпечатанные выпуски Ника Картера, манящие своими разноцветными обложками с изображениями эпизодов из его приключений, уже лежали большими стопками на прилавках газетных киосков.

Безумное желание купить эти два новых выпуска терзало мою душу: я остановился на самом интересном месте и теперь представлялась возможность узнать, чем кончилась история Инесс Наварро — прекрасного демона.

...загипнотизированная красавица Ирма сидела в кресле, и вдруг за ее спиной зашевелилась портьера и возникла с коварной улыбкой на устах сама, собственной своей персоной, Инесс Наварро, держа в руке маленький револьвер, бесшумно стрелявший отравленными пулями.

— Ха-ха-ха,— мелодично захохотала Инесс Наварро — прекрасный демон, пожирая глазами белое, как мрамор, лицо погруженной в гипнотический сон помощницы Ника Картера.— Наконец-то ты попалась в мои сети, проклятая ищейка.

С этими словами красавица преступница взвела курок, но в это время...

Что произошло «в это время», осталось для меня тайной, так как на этом «выпуск» кончился и дальше было напечатано — «продолжение в следующих выпусках».

Теперь они, эти выпуски, лежали на прилавке киоска, а в карманах у меня было пусто, и не было никаких шансов достать необходимые четырнадцать копеек.

Между тем желание узнать, чем закончилась история Инесс Наварро — прекрасного демона, с каждой минутой усиливалось и наконец превратилось в манию.

Я совсем потерял рассудок.

Я мучительно придумывал, как бы раздобыть новые выпуски, и наконец решился на преступление. Сначала я хотел просто подойти к киоску и открыто, нагло схватить два выпуска и убежать куда-нибудь подальше — на берег моря, и там в уединении под скалой залпом прочесть выпуски. Однако от этого плана пришлось отказаться, так как темный инстинкт самосохранения подсказал мне, что как только я схвачу с прилавка выпуски, хозяин киоска — золотушный еврей с лицом, сплошь засыпанным, как просом, желтыми веснушками, выскочит из киоска через заднюю дверь и устроит такой гвалт, что меня тут же схватят прохожие и как жалкого воришку поведут к постовому городовому, а что последует за этим, будет так ужасно, что невозможно себе представить.

Тогда злой дух шепнул в мое левое ухо сделать следующее: незаметно для хозяина обойти киоск вокруг и запереть двери на замок. Но так как замка у меня не было, то злой дух посоветовал связать кольца для замка крепконакрепко какой-нибудь проволокой или шпагатом. Но так как ни проволоки, ни шпагата у меня при себе не имелось, а действовать надо было немедленно, то злой дух посоветовал завязать кольца носовым платком.

Носовой платок лежал у меня в кармане, хотя он был далеко не первой свежести, но в дело годился.

Я на цыпочках обошел шестигранную будку и с замиранием сердца и с различными ужимками пропустил носовой платок сквозь оба кольца и завязал крепчайшим узлом, который для большей прочности еще затянул зубами и облизал языком. Злой дух сказал мне, что теперь я могу подойти к прилавку и «шопнуть» выпуски, и даже не убежать, а просто поспешно удалиться. Что должен сделать хозяин киоска? Он, несомненно, бросится к двери, но — увы! — не сумеет ее открыть и останется в западне. Когда же он высунется на улицу и позовет городового, то и следа моего уже не будет — кричи не кричи.

Проверив прочность узла, я подошел с блуждающей улыбкой к прилавку и, не отвечая на ласковый вопрос еврея: «Что тебе надо, мальчик?» — схватил выпуски и

бросился наутек, содрогаясь от мысли, что сейчас начнутся крики, свистки городового, погоня, меня схватят за руки и поведут в участок уже не как обыкновенного воришку, а как грабителя, потому что я совершил не просто мелкую кражу, а самый настоящий налет на торговое заведение.

Я перебежал, как заяц, через улицу и шмыгнул в переулок, ведущий к нам в Отраду, прижимая к бьющемуся сердцу липкие выпуски, от которых пахло типографской краской. Меня немного удивило, что я не слышу за собой шума погони и свистков.

Добежав до строящегося трехэтажного дома Мирошниченко, я взобрался по сходням на самый верх лесов, туда, где уже возвели стропила, наполовину покрытые новенькой, звонкой черепицей. Здесь на кирпичном борове сидел, пригорюнившись, Жорка Собецкий, который боялся идти домой, так как у него в дневнике стояло два кола, одна двойка и было записано весьма неприятное замечание. Его круглое толстое лицо лентяя и увальня было покрыто мутными следами высохших слез.

Я с торжеством показал ему заветные выпуски, и мы тотчас, как лунатики, погрузились в чтение продолжения серии «Инесс Наварро — прекрасный демон». Ничего вокруг не видя и не слыша, мы читали до тех пор, пока не дочитали до конца и на чердаке уже стемнело.

...только тут я понял весь ужас своего положения...

Жорка, вздохнув, поплелся домой, с таким трудом волоча свой ранец за оторванную лямку, как будто бы он был набит свинцом. Следом за Жоркой поплелся и я, запрятав под куртку украденные выпуски. Мне казалось, что уже все прохожие знают о моем ограблении газетного киоска. Однако на улице все было спокойно, никто не обращал на меня внимания. Дома тоже все было как обычно.

Неужели, думал я, мой грабеж остался незамеченным? Быть того не может, чтобы хозяин киоска не обнаружил, что дверь надежно завязана платком. Наверное, он давно уже дал знать полиции, и теперь проклятые ищейки из сыскного идут по моим следам и с минуты на минуту в квартире раздастся звонок, дверь откроется, войдут сыщики и полицейские, наденут на меня стальные наручники и повезут в карете под конвоем в Одесский тюремный замок, в одиночную камеру.

Действительно, раздался звонок; я чуть не потерял

сознание и заперся в уборной; но это пришел папа с заседания педагогического совета.

Голубые тетрадки у него под мышкой напоминали мне выпуски Ника Картера.

Папа, как всегда, посмотрел на меня усталыми глазами, поерошил мою голову и поцеловал в лоб, из чего я заключил, что ему еще ничего не известно.

На сегодня беда как будто бы миновала, но что будет завтра? Страшно подумать! Завтра утром мне предстояло идти в гимназию как раз мимо газетного киоска — другого пути не было,— и меня непременно увидит ограбленный мною хозяин киоска, и тогда разразится ужаснейший скандал.

Я постарался прошмыгнуть мимо киоска, отвернув лицо в другую сторону, но все же краем глаза я увидел будку и над прилавком рыжее лицо хозяина, смотревшего на меня с неопределенным выражением иронии и деланного равнодушия. Я внутренне вздрогнул. Ох, этот тихий еврей что-то против меня замышляет! Наверное, он уже сообщил о моем поступке в полицию и директору гимназии, и теперь меня арестуют или, что еще хуже, выгонят из гимназии с волчьим билетом.

Ни жив ни мертв я вошел в класс, преувеличенно льстиво расшаркавшись в коридоре с инспектором, который довольно равнодушно кивнул мне своей серебряной, стриженной под бобрик головой.

Все пять уроков я просидел как на иголках, ожидая, что вот-вот меня вызовут к директору на расправу.

Напрасно.

День прошел весьма мирно, благополучно, даже без двоек. Возвращаясь домой, я снова торопливо прошмыгнул мимо газетного киоска и снова увидел краем глаза лицо хозяина, равнодушно, но в то же время как бы двусмысленно смотревшего на меня поверх «Одесской почты», которую читал.

Так прошла неделя и наступила пятница, когда обычно на прилавке появлялись новые выпуски Ника Картера, с новыми завлекательными картинками на обложке, выпуски, полные загадок и тайн. На этот раз с петербургского курьерского привезли новую серию под названием «Серия доктора Дацара». Я не мог выдержать искушения и прошел совсем рядом с газетной будкой, чтобы хоть одним глазом взглянуть на картинку на обложке нового выпуска:

...Ник Картер стоял в дверях роскошной гостиной, где пировали преступники из великосветской шайки доктора Дацара, и в каждой руке великого сыщика из-за бархатной портьеры высовывалось по большому револьверу смит-и-вессон сорок четвертого калибра. Преступники были бородатые, во фраках, в белых крахмальных пластронах, дамы-преступницы в бальных платьях, все увешанные бриллиантами. Один лишь Ник Картер был одет скромно, корректно, но его юношеское энергичное лицо как бы саркастически говорило: «Попались, голубчики. Руки вверх. Теперь я вас всех упеку в Синг-Синг и посажу на электрический стул!..»

— Молодой человек! Псссс, молодой человек! — услышал я голос хозяина газетного киоска.— Я не понимаю, почему вы все время бегаете мимо меня как заяц! Ваш папа уже давно заплатил мне ваш должок за те два выпуска Ника Картера из серии «Инесс Наварро — прекрасный демон». Ваш папа покупал у меня позавчера «Одесский листок», и я ему напомнил, что за вами четырнадцать копеек. Берите серию доктора Дацара, не стесняйтесь, вы имеете у меня кредит. Может быть, вы выберете еще что-нибудь из Шерлока Холмса? «Кинжал Негуса»? Мальчики хвалили. Может быть, «Приключения Ирмы Блаватской»? Или «Эльза Гавронская»? Хотя вам еще рано знать что-нибудь про ее любовные похождения...

Дети капитана Гранта.

Билеты в городской театр стоили дорого, в особенности кусались места в партере. Поэтому в те редкие случаи, когда мне удавалось попасть в театр, я всегда видел зрительный зал из боковых мест амфитеатра или даже галерки — глубоко внизу, косо, причем знаменитая электрическая люстра на грубо размалеванном потолке — гордость одесской городской управы — была совсем близко от меня — рукой подать! — большая, усыпанная светящимися жемчужинами, как корона, в то время как живописный занавес с изображением сцен из «Руслана и Людмилы» казался не больше цветной открытки, прилепленной боком над совсем крошечной рампой и суфлерской будкой величиной с небольшую рубчатую ракушку. В яме оркестра виднелись пюпитры, люди во фраках, музыкальные инст-

рументы, перелистывались ноты, и оттуда взвивались вверх фиоритуры и гаммы настраиваемых инструментов — какофония звуков, взвинчивающая нервы и обещающая вскоре превратиться в страстную стройную музыку оперы.

Когда же свет в зале мерк и в темноте виднелись лишь фотографическо-красные фонарики над выходами из зрительного зала, и картина занавеса уходила куда-то вверх, я обыкновенно видел только переднюю часть дощатого пола сцены, выступы декораций и артистов в таком ракурсе, что все они были какие-то головастые, коротконогие и передвигались по сцене боком, как крабы, то и дело исчезая из поля моего зрения. Тут не мог помочь даже бинокль.

Но вот однажды на рождестве мы всей семьей отправились в театр на детский утренник по удешевленным ценам. Давались «Дети капитана Гранта», и тетя настояла, чтобы мы сидели, как все порядочные люди, в партере, в креслах, обитых бархатом, и даже не где-нибудь сзади, а в шестом ряду, что считалось большим шиком.

Я думаю, в глубине души тетя мечтала о ложе первого или второго яруса. О ложе бенуара или бельэтажа с зеркалом на косом муаровом простенке аванложи нечего было и мечтать.

Однако и шестой ряд партера было тоже неплохо.

Правда, наши места находились немного с краю, так что сцена была видна все-таки не на всю свою глубину, но совсем незначительно, так что это не раздражало.

...волшебное слово «утренник», от которого холодели руки, падало сердце и свежий крахмальный воротничок под стоячим воротником суконной гимназической куртки холодил шею, как ледяной...

Стояли трескучие морозы, редкие для нашего края, в театре было холодновато и пустовато, и я испытывал ни с чем не сравнимое чувство утреннего спектакля, когда в белых фойе стоял голубой дневной свет, проникавший сквозь высокие замерзшие стекла окон, а в зрительном зале царил парчовый электрический свет, и над ложами светились крупные удлиненные жемчужины матовых ламп, отделанных бронзой.

Одна из прелестей городского театра — как говорят, самого красивого европейского театра XIX века — заключалась в том, что в антракте между третьим и четвертым

действиями медленно, очень медленно опускался и тут же снова поднимался особый, противопожарный железный занавес, раскрашенный под золотистую парчу с прямыми складками и тяжелыми шелковыми кистями, хотя под ними явственно ощущалась ребристость железа, которое где-то вверху, невидимо для зрителей накручивалось и раскручивалось, о чем свидетельствовали слегка рыжеватые от ржавчины продольные полосы. Спуск железного занавеса так занимал зрителей, что в антракте между третьим и четвертым действиями почти никто не покидал своих мест и буфет в фойе торговал плохо.

Буфет в фойе бельэтажа привлекал наше внимание и волновал, быть может, еще сильнее, чем действие на сцене. Нигде я не видел таких больших груш дюшес, от одного взгляда на которые рот наполнялся слюной, таких больших, обернутых серебряной бумагой шоколадных бомб с сюрпризами в середине, таких сводящих с ума пирожных, маленьких бутылочек лимонада — газес, которые стреляли своими пробочками, как пистолеты, а потом их горлышки с остатками проволочки слегка дымились, распространяя вокруг влажный, покалывающий запах лимона, наконец, не было ничего прекраснее театральных бутербродов, выставленных на прилавке буфета, в особенности маленьких круглых бутербродиков с блестящей, черной, как вакса, паюсной икрой по двадцать копеек за штуку, чего наше семейство не могло себе позволить.

Вообще цены в буфете были нам недоступны. Как некую легенду я воспринимал слух о том, что большая груша дюшес стоит здесь один рубль. Это было выше моего понимания и окружало театральный буфет каким-то сказочным ореолом.

С большим волнением мы прохаживались мимо буфетной стойки по как бы ледяной поверхности хорошо натертого штучного паркета фойе бельэтажа, боясь поскользнуться и не отводя восхищенных глаз от резного великолепного буфета, похожего на величественный орган, от всех лакомств и закусок, выставленных на его прилавке, от букетов искусственных восковых роз и папоротников, из-за которых выглядывало, отражаясь во многих зеркалах, лицо буфетчика, розовое, как лососина, на котором было написано некоторое презрение, относящееся ко всем зрителям, не имевшим средств, чтобы взять что-нибудь в буфете. Он как бы вскользь оглядывал нас, нашу одежду, наши башмаки, зная наверняка, что мы не подойдем к его

буфету и ничего не купим. Здесь мы могли только бесплатно отражаться в громадных холодных зеркалах вместе с лепным гипсовым потолком.

...нет, вы только подумайте: одна груша — пусть даже дюшес — стоит один рубль. Грабеж среди белого дня!..

Рядом с нами в шестом ряду партера сидело еще одно семейство с девочкой моих лет в бархатном гранатовом платье с белым кружевным воротником, который до половины закрывал ее стройную, прямую спину. У девочки были распущены по плечам волосы, что делало ее в моих глазах похожей на русалку. От нее пахло одеколоном, и она от волнения все время мяла в руке маленький батистовый платочек. Башмачки на ней были белые, лайковые, на пуговицах.

Нечего и говорить, я сразу же почувствовал к ней сильнейшее любовное влечение, но так как я был с девочками робок и не осмеливался с ней заговорить, а она была высокомерна, то мы так с ней и не познакомились.

...что касается самой пьесы, то сюжет ее был всем нам хорошо известен, и мы не уставали удивляться, как это все хорошо, наглядно, красиво и убедительно выглядит на сцене: лорд Гленарван внушал почтение своим бритым длинным лицом с большими рыжими бакенбардами; Паганель в клетчатых панталонах, со складной зрительной трубой в руках то и дело спотыкался, падал, был очень рассеян и один раз даже надел на голову вместо своего тропического шлема дамскую муфту, что вызвало в зрительном зале бурю смеха и аплодисментов; подлец и негодяй Айртон вызывал дружное негодование... Индеец из длинного ружья выстрелил в летящего картонного орла, который нес в когтях фигуру картонного мальчика, кажется Роберта. Мы все боялись, что индеец промахнется и попадет в мальчика, но все обошлось благополучно. Орел был убит и упал за кулисы, откуда выбежал живой белокурый мальчик Роберт в бархатном костюме, так счастливо избежавший смерти...

...Держу пари, что это была переодетая девочка, даже скорее женщина!..

...Это все, конечно, волновало, но еще больше занимал меня вопрос: как все это делается на сцене? самая механика спектакля? И я делал вслух различные предположения, возбуждая недовольство соседей, шиканье в мою сторону и презрительные взгляды обольстительной девочки с распущенными волосами.

Но одна картина по-настоящему потрясла нас до глубины души — это когда герои попали в Патагонию, в антарктические льды, и неизбежно должны были замерзнуть среди нагромождения ледяных глыб, зловеще освещенных ртутно-белым полярным солнцем. Пресная вода и продовольствие кончились, топлива не было, ужасный мороз в сто шестьдесят градусов по Фаренгейту леденил дыхание, и не было топлива для костра, тем более что и спичек тоже не было.

Отчаянное положение, совершенно безвыходное!

Они сидели на сугробе, прижавшись друг к другу и поручив себя провидению, так как ничего другого не оставалось делать. Они замерзали на глазах у всего зрительного зала, а провидение медлило! В довершение всего громадный ледяной торос вдруг как-то странно осветился внутри магическим синим светом, и зрители ахнули, увидев во льду Смерть: самую настоящую, доподлинную Смерть с оскаленным черепом, в белом саване, с косой, занесенной над коченеющими героями.

«Как *они* это сделали?» — думал я в одно и то же время с ужасом и удивлением.

Казалось, все кончено. Провидение опоздало. И в этот самый миг вдалеке, за нагромождением полярных льдов на узкой полосе синей воды открытого океана вдруг появилась точка, превратившаяся в совсем крошечный фрегат, на всех парусах идущий на помощь погибающим путешественникам. Иногда фрегат удалялся за кулисы, а затем снова выплывал уже гораздо ближе, делаясь значительно больше. Потом он снова ушел за кулисы, и сейчас же выехал на первый план среди прибрежных льдов его нос в натуральную величину, с бушпритом, якорем и тремя надутыми кливерами — мал мала меньше.

«Ура!» — закричали погибающие и бросились в объятия своих спасителей, выскочивших из корабля на сцену.

Неописуемый восторг охватил зрительный зал. Все кричали «ура», хлопали, хохотали, визжали. Это был настоящий триумф. А несчастной Смерти ничего не оставалось, как, взвалив на плечо свою бутафорскую косу, уйти

за кулисы, путаясь в своем белом саване: видно, помощник режиссера забыл выключить синий свет в ледяной глыбе, так что бегство Смерти вызвало в зале прилив злорадного веселья.

Тут тетя, вытирая кружевным платочком невольные слезы, вынула из своей большой муфты коробку шоколадных конфет «от Абрикосова» и велела своему любимцу, маленькому Женечке, угостить соседей. Женечка, в коротеньких бархатных штанишках и длинных чулках, открыл коробку и, увидев много чудесных шоколадных конфет, посередине которых так аппетитно лежал оранжевый треугольник засахаренного ананаса, не сразу нашел в себе силы приступить к угощению соседей.

— Ну что же ты, Женечка, угощай, не стесняйся.

Тогда Женя, посмотрев из-под своей мягкой челочки каштановыми невинными глазками, поднес открытую коробку красивой девочке и дрогнувшим голосом сказал: «Может быть, вы не хотите конфет?» — чем, в сущности, и закончился наш рождественский выезд в городской театр.

...о, зимнее отражение вазы с яркими апельсинами в громадном — во всю стену — зеркале фойе бельэтажа! О, маленькие бутерброды с паюсной икрой! О, девочка-русалка!

Ловля воробьев.

Среди мальчиков распространилась неизвестно откуда взявшаяся уверенность, что воробьев очень легко и просто ловить на водку: стоит лишь вымочить хлебный мякиш в водке и раскидать его кусочками во дворе или на полянке в тех местах, где они обычно собираются стаями.

Сейчас мне непонятно, для чего понадобилось ловить воробьев. Но тогда этот вопрос казался настолько ясным, что не требовал ответа.

Какой же мальчик откажется от возможности поймать живого воробья, а для какой цели — не имеет значения. Важен самый факт ловли. Это, если угодно, заложенный в каждом человеке древний инстинкт зверолова.

До этого простейшим способом ловли воробьев у нас в Отраде считался такой способ: из четырех кирпичей складывали на земле нечто вроде открытой коробки, а пятый кирпич, приподнятый на палочке, являлся крышкой. От

палочки тянулся длинный шпагат. В кирпичную коробку насыпали пшено или какую-нибудь другую приманку. Едва воробей вскочит в кирпичную ловушку, чтобы поклевать приманку, надо дернуть за шпагат, выбить палочку-подпорку, и верхний кирпич накроет воробья в кирпичной западне. Теоретически это было очень хорошо, но на практике всегда почему-то оказывалось, что воробьи не хотят идти на приманку; по всей вероятности, их пугали грубые кирпичи, а палочка с привязанным к ней шпагатом вызывала подозрение, что тут дело нечисто.

Сколько раз я ни пытался поймать воробья таким способом — никогда ничего не получалось.

Ловить воробьев на водку сделалось чем-то вроде общего поветрия среди всех мальчиков нашего города. Появились мальчики, которые божились и ели землю, что собственноручно поймали несколько воробьев на водку. Поддался этому поветрию, разумеется, и я.

Желание собственноручно поймать воробья на водку сделалось моей навязчивой идеей, и я почувствовал, что не успокоюсь до тех пор, пока моя мечта не осуществится.

Но возникал серьезный вопрос: где достать водку? В нашем трезвом доме ее не водилось. Запрещалось даже произносить это слово. Я знал, что обычно пьяницы покупают водку в монополькe, то есть в так называемой казенной винной лавке, и чаще всего распивают ее тут же на улице прямо из горлышка — буль-буль-буль-буль,— причем водка течет по бороде извозчика-пьяницы.

Я знал, где помещается ближайшая монополька, но не имел представления, сколько стоит водка и продадут ли ее мальчику моего возраста, да еще и гимназисту, что строжайше запрещалось законом.

Я навел справки у дворника и узнал, что водка бывает разная: «белая головка» и «красная головка», то есть запечатанная белым сургучом и красным сургучом. «Белая головка» считалась лучшей очистки и стоила дороже «красной головки» — водки плохой очистки. Я понимал, что воробьям все равно, на какую водку их будут ловить, поэтому решил купить «красную головку», если, конечно, мне ее в монополькe отпустят. Остановка была, как всегда, лишь за деньгами.

...Эх, деньги, деньги! Сколько раз мне приходится упоминать о них в этой книге. Но ничего не поделаешь. Такова жизнь...

Где их достать? Я обшарил доску буфета, на которую кухарка клала сдачу с базара. На буфете денег не было. Тетина комната была заперта на ключ. В шкафу, в старых папиных брюках тоже ничего не нашлось. Что же делать, как быть? Я посмотрел в окно и увидел во дворе — как нарочно — множество воробьев, которые попрыгивали на тугой осенней земле среди облетевших кустов сирени и клевали всякую дрянь. Была б у меня под рукой водка, я бы им показал!

Надо заметить, что водка продавалась в бутылках разного размера, носивших соответствующие названия: «сотка», «шкалик», совсем крошечные «мерзавчики» и еще что-то в этом же духе. Кажется, шкалик стоил с посудой двадцать одну копейку. Я был уверен, что шкалика вполне хватит на десятка два воробьев.

Тут же я придумал тонкую хитрость, чтобы мне отпустили в монопольке водку: пущу слезу и скажу жалобным голосом, что у меня простудился маленький братик и доктор прописал растирать его водкой, так что с этой стороны все было продумано очень хорошо.

Но деньги, деньги!.. Где их взять?

Между тем желание немедленно приступить к ловле воробьев уже как пожар охватило мою душонку.

Тогда мне пришла в голову мысль обратиться за помощью к нашему жильцу. Жилец был препоганая личность, сварливый и придирчивый. Он нигде не служил, целый день валялся в жилете и без сапог, положив ноги в белых несвежих карпетках на железную спинку кровати. Нанимая у нас комнату, он отрекомендовался известным путешественником Яковлевым. Это произвело на тетю некоторое впечатление, и хотя его волосатое лицо, грязное пенсне, несвежий крахмальный воротничок, бумажная манишка и какое-то как бы вогнутое лицо с глазами приведредника и склочника тете не понравилось, но путешественнику все же отдали комнату.

...я еще при случае расскажу более подробно про этого жильца-путешественника, а также про других жильцов, которые снимали у нас в разное время комнаты, но сейчас не буду отвлекаться...

Гримасничая от чувства неловкости, я постучал в дверь известного путешественника. Храп, раздававшийся в

комнате жильца, прекратился, и я услышал скрипучий, недовольный голос в нос:

— Кто там? Что вам надо от меня? Войдите!

Я вошел и, преодолевая страх перед знаменитым человеком, произнес, не забыв шаркнуть ножкой:

— Здравствуйте. Извините, что я вас разбудил. Дело в том, что дома никого нет, а мне крайне необходимы деньги на водку.

— Вот как,— сказал в нос знаменитый путешественник.— Рановато начал. У меня нету денег.

— Всего двадцать одну копейку,— умоляющим голосом сказал я.

— Ну да, на шкалик,— заметил путешественник.

— Вы не беспокойтесь, я вам отдам. Честное благородное слово, святой истинный крест,— перекрестился я и для большей убедительности прибавил: — Пусть я провалюсь на этом месте.

— М-м-м,— недовольно промычал Яковлев, надевая пенсне, отчего его вогнутое лицо стало как будто бы еще более вогнутым.— М-м-м, довольно странно так бесцеремонно врываться в комнату отдыхающего квартиранта и требовать от него каких-то денег! Н...не по-ни-маю-с!

С этими словами знаменитый путешественник, не вставая с кровати, порылся в карманах своих полосатых, так называемых «штучных» брюк, пожелтевших по швам и вокруг ширинки, позвенел связкой каких-то ключиков и затем протянул мне на ладони ровно двадцать одну копейку мелочью.

— Но имей в виду, что я даю тебе эти деньги в счет квартирной платы. И не смей меня больше беспокоить.

Я на цыпочках удалился, за моей спиной заперли дверь на ключ, затем послышался звон пружин и храп, похожий на всхлипывания.

С покупкой водки обошлось не слишком гладко, но все же кое-как обошлось. Сиделица казенной винной лавки, помещавшаяся за проволочной сеткой загородки, напудренная дама с заплаканными вдовьими глазами и толстым жирным лицом с лиловым румянцем, сказала мне грубо:

— Пошел вон отсюда. Как не бессовестно, а еще гимназист, сын интеллигентных родителей, и уже с таких лет начинаешь. Вот я сейчас позову городового, и он

отнимет твой гимназический билет. И чтоб я тебя больше не видела. Пошел!

Я выскочил как ошпаренный на улицу, где толпились вышившие извозчики и босяки, откупоривая свои сотки, мерзавчики и шкалики. Делалось это следующим образом: сначала обдирался с головки сургуч; обдирался он о жестяную терку, нарочно для этой цели прибитую к стволу акации, чтобы пьяницы не портили городских насаждений.

Извозчики в своих клеенчатых или касторовых шляпах с пряжкой, в синих армяках до полу, бородатые, с прозрачно-голубыми глазками и красными носами, а также босяки — действительно босые или в каких-то немыслимых бахилках, привязанных к ногам веревочками, в ситцевых штанах и рваных рубахах, сквозь дыры которых виднелось голое тело,— то, что тогда называлось «типы Максима Горького»,— под наблюдением городового толпились возле терки, обдирая об нее сургуч, так что терка казалась как бы окровавленной. Затем пьяницы ловким ударом ладони о дно шкалика выбивали пробочку и, задрав голову, вливали себе в рот чистую жидкость, распространявшую сладковатый, слегка наркотический запах, от которого у меня кружилась голова; затем они вытирали рукавом волосатые рты и, аппетитно хрустя, заедали желтовато-прозрачным соленым огурцом, истекающим рассолом, в котором блестели бесцветные огуречные семечки.

Я увидел тачечника с мешком на голове, уже немного выпившего, который лежал внутри своей тачки с опущенными оглоблями, ожидая, когда его кто-нибудь наймет. У него были русые мокрые усы и добрые полупьяные глаза. Почувствовав к нему доверие, я попросил, чтобы он купил мне в монопольке водку. Подмигнув мне, как своему брату алкоголику, он охотно согласился, и вскоре я со шкаликом в кармане шинели, откуда постыдно выглядывало горлышко с красной сургучной печатью, прибежал домой, не раздеваясь, накрошил в глубокую тарелку белого хлеба и залил водкой, предварительно отодрав сургуч о подоконник. Затем я вышел во двор и стал разбрасывать кусочки мокрого мякиша под голыми кустами сирени и под яблонями со стволами, уже закутанными на зиму соломой.

Меня удивило, что ни одного воробья поблизости не было, хотя до покупки шкалика они покрывали все кусты и деревья.

Я спрятался за дверью черного хода и стал поджидать, справедливо полагая, что воробьи непременно заметят кусочки белого хлеба и слетятся на добычу. Однако воробьев как не бывало. Прошло не менее получаса, прежде чем прилетел первый воробей, красивый, уже немолодой, по-зимнему пухлый, хорошо отъевшийся, с блестящими перышками, как бы искусно, тщательно, во всех деталях нарисованными на шелку тушью каким-нибудь великим китайским или японским художником. Глазки воробья по-детски блестели, и головка вертелась во все стороны, в то время как он сам упруго попрыгивал на своих ножках. Сначала он не обратил внимания на кусочки мокрого хлеба, но наконец заметил, подскочил и клюнул один из них, потрепал, с отвращением выпустил из клюва, вспорхнул и быстро улетел: ф-р-р-р!..

«Вот дурак»,— подумал я.

Скоро прилетели штук пять отличных воробьев и стали всей стайкой как по команде прыгать среди моей приманки, но почему-то не обращали на нее внимания, клюя землю между кусочками хлеба. А хлеба не трогали.

«Что они, сдурели?» — подумал я.

Воробьи попрыгали немного среди кусочков хлеба, а затем как по команде улетели, катясь по воздуху низко над землей как рассыпанные бусы.

Фр-р-р-р-р...

Я порядком озяб, но твердо решил не уходить, пока не поймаю хоть одного воробья. Больше всего меня интересовало, как будет вести себя опьяневший от водки воробей.

Из своей засады я видел, как тетя привела из детского сада Женьку и как потом пришел папа в драповом пальто, держа под мышкой кипу голубых ученических тетрадок, накрест перевязанных шпагатом.

Я проторчал за дверью черного хода до темноты.

Уже пролетело несколько первых снежинок, предсказывавших скорое наступление зимы.

Воробьи прилетали и улетали — стаями и поодиночке. Некоторые клевали кусочки моего хлеба и даже, случалось, уносили их куда-то в клюве, наконец они полностью расклевали приманку, но ни один из них не опьянел и не свалился с ног — на чем, собственно, и строились все мои расчеты.

Несколько раз мне кричали из форточки, чтобы я шел готовить уроки и пить чай, но я не подавал голоса, буду-

чи не в силах примириться с мыслью, что моя мечта рухнула. Мне все еще казалось, что вот-вот прилетит новая стая воробьев, которые наедятся остатками смоченного водкой хлеба, опьянеют, свалятся с ножек, и я их подберу, вдребезги пьяных, сразу штук пять. То-то все будут поражены!

...увы, мои мечты так и остались мечтами. Способ ловли воробьев на водку оказался полной чепухой. Пришлось возвратиться домой с пустыми руками...

На этом историю еще одной моей разбитой мечты можно было бы и закончить, если бы через несколько дней не произошло следующее.

Едва я, возвратившись из гимназии, переступил порог квартиры, как передо мною предстал отец. Пенсне прыгало на его носу, шея подергивалась, словно ее давил слишком тесный воротничок, на щеках играл гневный румянец.

— Негодный мальчишка! — закричал он, выставив вперед нижнюю челюсть.— Оказывается, ты тайно предаешься употреблению спиртных напитков!

— Папочка,— зарыдал я,— клянусь тебе чем хочешь... Святой истинный крест...

— Не кощунствуй,— сказал отец и, взяв меня за плечи, стал трясти, приговаривая:— Боже мой! У меня сын пьяница! Он пьет водку!

Его борода тряслась все сильней и сильней.

— Папочка, откуда ты знаешь? — рыдая спросил я.

— Путешественник Яковлев сегодня рассчитывался за комнату и вычел двадцать одну копейку, которые ты у него тайно выпросил на водку. Так что запирательство твое бесполезно. Ты мне больше не сын!..

...и так далее и так далее...

По-видимому, чаще всего человек говорит правду, когда фантазирует, и больше всего врет, когда старается быть правдивым...

Лекция.

Папе, который преподавал географию, пришла идея попросить путешественника Яковлева прочесть для епархиалок лекцию с волшебным фонарем: было известно, что

у Яковлева в большом клетчатом чемодане хранится коробка с диапозитивами, сделанными лично во время многочисленных его путешествий по земному шару.

Яковлев согласился не сразу.

Сделав кислое лицо, он сначала сказал, что публичные лекции в переполненном зале, в духоте слишком утомляют его нервную систему и потом он долго страдает бессонницей. Папа пообещал, что актовый зал, где произойдет лекция, будет хорошо проветрен, а зрителей придет не слишком много — всего четыре старших класса. Тогда Яковлев поставил под сомнение качество училищного волшебного фонаря. Папа уверил его, что фонарь еще почти совсем новый.

— Но, конечно, без электрического источника света? — саркастически спросил Яковлев.

Папа смутился, и лоб его слегка порозовел.

— Да,— ответил он,— но имеется очень сильная керосиновая лампа с зеркальным рефлектором.

— Воображаю, какая от нее будет копоть и жара,— заметил в нос известный путешественник.

— Копоть устраняется специальной вытяжной трубой,— слегка обидевшись за епархиальный волшебный фонарь, ответил папа и подергал шеей.

— Могу себе представить эту вытяжную трубу,— фыркнул Яковлев, и его вогнутое лицо стало еще более вогнутым.

— Во всяком случае, я вам обещаю, что копоти не будет,— сказал папа официальным тоном.

Чем больше капризничал путешественник, тем сильнее разгоралось в папе желание устроить лекцию «с туманными картинами», как это тогда называлось. Папа уже заранее предвкушал то впечатление, которое произведут на епархиалок «туманные картины», а главное, лекция такого известного путешественника, как Яковлев, не говоря уже о высоком педагогическом достоинстве всего мероприятия в целом.

Еще немного поупрямившись, Яковлев наконец кое-как согласился.

— Вы окажете нам громадное одолжение и сделаете воистину святой, бескорыстный вклад в дело воспитания молодых девиц духовного сословия, чьи души жаждут просвещения,— сказал папа.

На лице известного путешественника появилась гримаса не совсем понятного неудовольствия. Однако он полез

в свой раздутый клетчатый чемодан, набитый грязным бельем, и извлек из него коробку с диапозитивами, сложенными в большом беспорядке.

Папа разложил их по странам, отобрал самые лучшие и впечатляющие (по возможности без обнаженных купальщиц с острова Цейлон), а затем они вдвоем — папа и путешественник — составили краткий конспект будущей лекции и последовательность демонстрации диапозитивов.

Помню, что эта лекция доставила папе массу хлопот и огорчений. Яковлев потребовал, чтобы ему сделали специальный экран, наотрез отказавшись демонстрировать свои диапозитивы на белой стене актового зала, считая это профанацией науки. Экран влетел епархиальному училищу в копеечку. Затем, придирчиво осмотрев волшебный фонарь, специально для этой цели привезенный папой на извозчике, путешественник остался крайне недоволен устройством, в которое вставлялись диапозитивы: во-первых, диапозитивы Яковлева не вполне пролезали в щель, а во-вторых, их надо было вставлять по одному, и Яковлев потребовал, чтобы заказали специальную подвижную рамку, куда можно было бы вставлять сразу два диапозитива, с тем чтобы пока один показывали, другой вставляли и демонстрация шла без перерывов и без задержек. Это было вполне резонно, но обыкновенные столяры не брались за столь тонкую работу, а когда нашли столяра, то он заломил за рамку что-то около десяти рублей — сумму настолько огромную, что казначей епархиального училища с большим неудовольствием решился ее выплатить, поставив на вид папе, что его географические затеи обходятся слишком дорого и являются сверхсметными расходами. Услышав эти слова казначея, папа вспыхнул и готов был отказаться от устройства лекции, но любовь к географии все-таки победила.

В день лекции Яковлев потребовал, чтобы его отвезли в епархиальное училище на извозчике на резиновом ходу, так как боялся разбить свои драгоценные диапозитивы. Папа согласился, но так как оплата извозчика не входила в смету, то он заплатил извозчику из своих личных средств.

Меня и Женьку взяли на лекцию при условии, что мы будем себя вести прилично, и мы сидели в актовом зале епархиального училища в волнующей темноте среди

девочек-епархиалок, которые шушукались вокруг нас и сдержанно хихикали.

Начальница сидела впереди всех на золоченом стуле, строгая, холодная, с золотыми часиками на золотой цепочке за поясом, с носом и выпуклой грудью, как у индюшки. Классные дамы сидели рядом с епархиалками, бдительно следя за тем, чтобы не произошло ничего неприличного: ведь все-таки в стенах этого закрытого женского пансиона находился чужой мужчина — путешественник Яковлев, и кто его знает, какие у него моральные устои.

На особом столике помещался черный, уже раскаленный волшебный фонарь, бросая вокруг себя на стены яркие стрелы лучей. Вокруг него хлопотал папа, вставляя в новую рамку диапозитивы, и я испытывал душевную боль и унижение, видя папу в роли услужающего.

Сам же известный путешественник в длинном сюртуке, от которого на весь актовый зал пахло нафталином и лежалым бельем, возвышался на кафедре рядом с экраном и держал специально заказанную за три рубля — по его категорическому требованию — длинную указку, от которой пахло столярной политурой. Этой указкой Яковлев водил по ярко освещенному прямоугольнику экрана, где с помощью папы появлялись увеличенные фотографии: то кокосовая роща на берегу Индийского океана; то фиорды Норвегии; то буддийский храм в горах Тибета; то группа нагих белозубых негритянок, вызвавших своим появлением на экране тревожное движение начальницы и глухой ропот классных дам; то египетские пирамиды, финиковые пальмы и на переднем плане верблюд с голенастыми ногами и англичанин в пробковом тропическом шлеме, бесстрастно восседавший на его горбе; то заход солнца на Ниле и опять-таки по колено в воде совсем неодетые египтянки...

...Даже в темноте я видел, как густо краснеет папина шея...

А известный путешественник, вяло водя указкой по экрану, скучным голосом бубнил, не забывая всякий раз называть номер диапозитива:

— Номер гм... пятнадцатый. Вид на Неаполитанский залив со знаменитым вулканом Везувием на заднем пла-

не. На переднем плане несколько хорошеньких итальянок с бубнами, танцующих тарантеллу... Номер шестнадцатый. Базар в Занзибаре. Справа обнаженная фигура местной красавицы с кувшином на голове... Номер тридцать шесть. Купальщицы на берегу Бискайского залива... Всемирно известная мраморная группа «Леда и лебедь» — вокруг пораженные туристы...

Откровенно говоря, мы с Женькой испытывали ужасную муку и, когда лекция наконец по требованию начальницы кончилась, почувствовали большое облегчение.

Начальница поднялась со своего золоченого стула и, как бы неся перед собой свою грудь, подпертую корсетом, величественно и грозно удалилась, а следом за ней классные дамы поспешно увели своих вспотевших девочек.

Папа торопливо укладывал в коробку диапозитивы, а известный путешественник, потирая руки, сказал:

— Я хотел бы получить гонорар за свою лекцию. Обычно я беру тридцать рублей вперед, но ввиду филантропической цели просвещения молодых девиц из духовной среды ограничусь лишь четвертным билетом.

Папа, считавший как само собой разумеющееся, что лекция будет бесплатной, похолодел.

— Позвольте, позвольте...— бормотал он.

— Нет уж, вы позвольте,— сказал путешественник.

— Да, но сметой епархиального училища не предусмотрена лекция...— продолжал бормотать папа.— И я надеюсь...

— И не надейтесь,— сказал путешественник внушительно.— Каждый труд, милостивый государь, должен быть оплачен, особенно труд путешественника. В противном случае — к мировому!

— Но вы меня ставите в ложное положение,— вибрирующим голосом сказал папа.— Я буду принужден заплатить вам из своего кармана.

— И прекрасно! — жизнерадостно воскликнул Яковлев, и я впервые увидел улыбку на его вогнутом лице.— Не возражаю. Могу эти деньги засчитать в погашение моего долга за комнату...

— Милостивый государь! — воскликнул папа, что было признаком его сильнейшего негодования.— Милостивый государь! Я полагаю, что человек науки не делает из этого средство наживы. Во всяком случае, так джентльмены не поступают.

— Очень возможно,— ответил Яковлев, продолжая гнусно улыбаться.— Но я всегда поступаю именно так, хотя и считаю себя джентльменом.

Что оставалось папе?

...Через месяц известный путешественник освободил комнату и, ничего нам не заплатив, погрузил свой клетчатый чемодан на извозчика и, поражая прохожих своей черной крылаткой и тропическим пробковым шлемом, отбыл на другую квартиру.

...а может быть, и на другой континент...

Церковное вино.

...вижу круглый крахмальный манжет, высунувшийся из рукава длинного сюртука регента, вижу в его тонких пальцах маленький стальной камертон, издающий приятный, как бы разрешающий все сомнения звук какой-то основной, главной ноты, по всей вероятности «до», и согласное пение хора мальчиков-гимназистов на клиросе нашей гимназической церкви во имя святого Алексея, ангела-хранителя наследника цесаревича Алексея, маленького сына государя императора, будущего владыки Российской империи.

Божьи храмы имелись не только в приходах, но и при некоторых учреждениях, иногда и в частных домах богачей, особняках, так называемые «домовые церкви».

Иметь собственную церковь в собственном доме считалось признаком высшей степени богатства и благочестия.

Были собственные домовые церкви и в некоторых учебных заведениях.

В императорском Новороссийском университете была собственная церковь, в семинарии, в кадетском корпусе — то же самое.

...— Где вы собираетесь стоять пасхальную заутреню?
— В университетской церкви.
— Где состоится свадьба?
— В университетской церкви.
— Где вы говеете?
— В университетской церкви.

Ходить в университетскую церковь считалось весьма шикарным. Это было признаком хорошего тона.

Туда ходили «на двенадцать евангелий», там назначались любовные свидания.

После того как собственная церковь с освященным алтарем открылась в нашей гимназии, мы тоже как бы поднялись на высшую ступень общественной лестницы, хотя гимназия наша до сих пор считалась далеко не из лучших; она помещалась на бедной Новорыбной улице и частью окон выходила на Куликово поле и на вокзал, и в ней получали образование главным образом дети железнодорожников — конторских служащих, иногда даже оберкондукторов или контролеров, что у некоторых вызывало презрительную улыбку и пожимание плечами.

В нашей Алексеевской церкви не было купола, но она отлично освещалась с двух сторон рядами высоких окон, и в солнечные воскресенья в ней было довольно весело, в особенности потому, что все предметы культа были в ней совсем новенькие, только что из магазина церковных принадлежностей: свеженаписанные образа ярко позолоченного, еще не успевшего потемнеть иконостаса, парчовые и серебряные хоругви, на дубовых полках, окованных по краям серебром, серебряные подставки для свечей, совсем еще новенькое паникадило, не слишком большое, но зато с электрическими свечами, красивая золоченая утварь, златотканое покрывало на алтаре, винно-красная, пронизанная солнечными лучами шелковая завеса, задергивавшаяся за резными церковными вратами в особо таинственные, мистические минуты литургии — когда вино в чаше превращалось в Христову кровь, а хлеб — в Христово тело,— чистенькие, несгибающиеся ризы священника и дьякона, желтая, ясеневого дерева, еще не запачканная чернилами конторка для продажи свечей и просфорок; и серебряное блюдо, покрытое шелковой, вышитой серебром салфеткой, для сбора пожертвований, не говоря уже о кружках того же назначения, прибитых к конторке, куда с тяжелым стуком падали медные пятаки подаяния.

Все это весело отражалось в новеньком, желтом, ярко натертом паркете, где лазурь окон соседствовала с гранатовыми тонами алтарной завесы, рубиновыми огоньками лампад, висящих на широких муаровых лентах, вышитых розами, и при ярком дневном свете жидко золотились не

слишком густые костры свечей перед новыми иконами святых угодников.

Нас, гимназистов, приводили в церковь попарно во главе с классными надзирателями и выстраивали по левую руку от клироса, в то время как директор, инспектор и старшие преподаватели в своих вицмундирах и форменных сюртуках, в орденах и медалях становились впереди, а уж за ними все остальные молящиеся: дамы в шляпках, господа в сюртуках, офицеры в мундирах, чиновники, барышни с косами, челками или локонами, украшенными шелковыми бантами — белыми, шоколадными, голубыми.

Все это выглядело весьма празднично и совсем не тревожило душу мрачными предчувствиями неизбежной смерти, как это всегда бывало в старых, полутемных церквах с обветшалой утварью.

В нашей новой церкви царил праздничный, скорее свадебный, чем похоронный, дух радости и веселья, не всегда, впрочем, целомудренного, в особенности когда после причастия, в конце литургии, мы, причастники, по очереди подходили к батюшке для того, чтобы поцеловать в его утомленной руке новенький, еще не успевший облезть золоченый крест, а затем выпить плоский ковшик тепловатого красного вина, разбавленного водой, заесть его кусочком просфоры и положить на блюдо гривенник или пятак.

Уже само причащение как бы вводило нас в мир легкого, божественного опьянения. Поднявшись по ковровой дорожке, закрепленной медными прутьями, по двум ступенькам клироса, я останавливался перед молодым священником с золотистой бородкой, который в одной руке держал святую чашу, а в другой — длинную золотую ложечку, называемую по-церковнославянски «лжицею».

— Открой шире рот,— говорил священник заученным голосом.— Как зовут?

— Валентин.

— Причащается раб божий Валентин.— И при этих словах он, ловко выловив в глубине чаши крошечку размякшей в красном вине просфоры, глубоко засовывал мне в разинутый рот лжицу, от чего я ощущал на голодный желудок (приобщаться можно было только натощак!) на языке жгучую каплю вина и тут же глотал мокрую частицу «тела господня», наполнявшую меня, всю мою душу

острым, мгновенно улетучивающимся опьянением, в то время как дьякон привычным и довольно-таки грубым жестом вытирал мои губы красной канаусовой салфеткой, уже изрядно пропитавшейся столь же красным вином — кагором, и это опять слегка опьяняло меня.

... ах, как мне нравилось ощущение этого божественного опьянения, как хотелось продлить его, испытать хотя бы еще один раз...

Впрочем, я прекрасно знал, что оно скоро опять повторится, когда я глотну из золоченого ковшика с ручкой в виде двуперстия теплого, сладкого, веселящего вина кагора, вкуснее и желаннее которого — казалось мне — не было в мире.

Этот напиток находился в ведении моих товарищей одноклассников, особо избранных за хорошее поведение в церковные прислужники. Поверх своих гимназических костюмов они через голову надевали глазетовые стихари с вытканными серебряными крестами на спине и, прислуживая в алтаре, раздували кадило, подавали его батюшке, предварительно набросав в кадильницу на раскаленные угольях крупинки росного ладана, распространявшего вокруг лилово-меловые облака бальзамического дыма, откупоривали бутылки кагора и смешивали его в серебряном кувшине с горячей водой.

На другой день в классе они давали понюхать нам свои плечи, пропахшие ладаном.

От них зависело, в какой пропорции будут смешаны эти две жидкости — вино и вода. Для своих друзей они умудрялись сделать смесь покрепче и дать не один ковшик, а два или даже три. Эти церковные прислужники были моими друзьями, в особенности Васька Овсянников с простодушным круглым лицом с ямочками на щеках и глазами, невинными, как у девочки, а на самом деле большой пройдоха, который после службы усердно допивал остатки кагора.

У него было прозвище Пончик.

Мы с ним дружили, и Пончик ухитрялся приготовлять для меня довольно крепкую смесь, красную как кровь, и позволял мне три раза становиться за нею в очередь, а ковшик наполнял до краев, после чего голова моя сладко кружилась, душа испытывала неземное блаженство, как бы плыла в клубах ладана под звуки церковных песнопе-

ний, и все вокруг приобретало магический шелковисто-красный цвет, пронизанный горячими лучами солнца, сверкающего в новенькой золотой и серебряной утвари.

Возвращаясь домой после литургии, я пошатывался, делая усилия воли, чтобы не прилечь где-нибудь на полянке, на травке, в зарослях молодой дикой петрушки, пачкавшей коломянковые летние штаны на коленях своим остро пахнущим зеленым соком, и не заснуть блаженным сном, дарованным мне светлой христианской религией, великой мастерицей опьянять своих верующих.

...может быть, идея ловли воробьев на водку имела своим истоком именно это божественное, опьяняющее блаженство причастия?..

Японец.

Он выходил на арену, кланялся, по-японски прижав руки к животу, затем сбрасывал с себя легкое серое кимоно и оказывался в коротком трико, с обнаженными атлетическими руками. У него была маленькая приземистая фигура силача. Его номер заключался в том, что он насквозь прокалывал свои руки, обходил арену, показывая публике первых рядов раздутые бицепсы, проткнутые длинными булавками, а затем вытаскивал их одну за другой и бросал на лакированный поднос, который подавала его ассистентка, японка в ярком кимоно с громадным бантом на спине, делавшим ее как бы грациозно-горбатой, как бабочка.

Было удивительно, что на тугих шарообразных бицепсах японца после этого номера не оставалось ни малейших следов, ни одной капельки крови. Следующий номер был еще более жестокий: японка нагревала на жаровне большую ложку-половник, предварительно набросав в нее кусочки какого-то металла, вероятнее всего олова или свинца, и когда металл расплавлялся, она обносила ложку вокруг арены, показывая публике расплавленный металл, белевший в дымящейся ложке как сметана.

Она подносила ложку японцу, причем ее прическа гейши, одновременно похожая и на черную улитку, и на гриф какого-то музыкального инструмента с торчащими колками шпилек, склонялась в глубоком ритуальном поклоне, а японец резким движением подносил ко рту раскаленную

ложку, вливал в себя расплавленный металл, а через некоторое время на глазах у публики выплевывал кусочки затвердевшего металла, который один за другим со стуком падали на поднос, подставленный японкой.

Это было непостижимо, и весь цирк разражался аплодисментами, а японец, резко поворачиваясь во все стороны, с натянутой улыбкой показывал свой разинутый рот с высунутым языком, за которым в зеве дрожал еще один маленький язычок. Он также откусывал своими белыми, как жемчуг, и крепкими, как сталь, зубами кусочки металлической палочки, и японка показывала их публике на своей маленькой желто-розовой ладошке.

...Однако самое главное было впереди...

Приседая и кланяясь, японка выносила на арену обыкновенный венский стул и устанавливала его посередине особого дощатого настила, чтобы стул стоял твердо и не шатался. Японец садился на этот стул, раздвинув толстые колени коротковатых ног. Тогда появлялся главный шпрех-шталмейстер с поражающим воображение прямым зеркально нафиксатуаренным пробором и громким, отчеканенным цирковым голосом обращался к почтеннейшей публике с предложением выйти всем желающим на арену и связать японца по рукам и ногам любыми способами: веревками, цепями, стальными тросами, ремнями — у кого что найдется, причем дирекция цирка торжественно обязуется немедленно выдать сто рублей тому, кто сумеет связать японца так, что он не сможет освободиться. В доказательство серьезности предложения шпрех-шталмейстер вынимал из красивого бумажника новенькую, хрустящую сторублевку и клал ее на подносик японки так, чтобы все видели. Несколько человек из публики, немного смущаясь, выходили на арену и связывали японца по рукам и ногам разными веревками и ремешками, а один даже железной цепью. Я понимал, что большинство этих «желающих из публики» были подсажены дирекцией цирка, но все же зрелище этого связанного по рукам и ногам и, кроме того, прикрученного к стулу цепью японца производило сильнейшее впечатление, тем более что любому желающему разрешалось собственноручно проверить крепость узлов и целость веревок. Я тоже, преодолев смущение, в своей зимней гимназической шинели на вырост побежал с галерки вниз на арену и потрогал узлы веревки, целость ремней и

с видом знатока освидетельствовал железную цепь из числа тех, на которые обычно сажают дворовых собак, и убедился, что все правильно: веревки глубоко врезались в надутые мускулы крепкого желтоватого тела японца. Затем ассистентка набрасывала на японца поверх его черной стриженой головы шелковое покрывало, закрывавшее его до самых ног.

Музыка смолкла. Слышалось шипение электрических прожекторов.

— Лаз! Два! Тли! — раздался возглас, похожий на крик цапли, в ту же секунду японец, слегка зашевелившись всем своим упругим телом под покрывалом и затрещав венским стулом, могучим движением атлетических плеч сбросил с себя покрывало и предстал перед окаменевшей публикой, стоя во весь свой небольшой рост, а все веревки, ремни и цепи лежали на помосте у его могучих коротких ног, обутых в белые башмаки, а стул валялся на покрытой опилками арене. Японец сделал обеими руками комплимент, раздалась овация, которую японец переждал с невозмутимым выражением своего оранжевого азиатского лица с короткими, но очень густыми черными бровями.

А шталмейстер торжественно положил обратно в бумажник свою сторублевку и, приподняв цилиндр, удалился с манежа.

Стало быть, никто из зрителей не выиграл ста рублей!

«...Эх,— думал я.— Если бы хорошенько все продумать и постараться, то, наверное, можно так заковать этого япошку, что он ни за что не освободится. Жаль, нельзя нигде достать автоматические стальные наручники, как у Ната Пинкертона! Ну да уж ладно, увидим, посмотрим!..»

Прокалывание булавками бицепсов был старый трюк, основанный на хорошем знании анатомии, проглатывание расплавленного металла было хотя и очень эффектно, но тоже вполне объяснимо: папа сказал, что в природе существуют металлы, которые плавятся при температуре плюс пятьдесят градусов по Реомюру, то есть примерно как горячий чай, который может взять в рот любой человек.

Что касается связывания японца цепями и веревками, то никто не сомневался, что это чистой воды шарлатанство, подстроенное дирекцией цирка.

...и вот меня охватило жгучее желание заковать хитрого японца так, чтобы он не сумел освободиться, и тогда я получу сто рублей!..

Я призвал на помощь всю свою фантазию, плохо спал по ночам, и вскоре у меня созрел план посрамления японца и получения сторублевой ассигнации.

План был прост.

Я отвинчу с входных дверей стальную предохранительную цепочку, раздобуду небольшой, но прочный замочек, затем всеми правдами и неправдами достану сорок копеек на входной билет в цирк, храбро выйду на арену, заставлю японца протянуть мне обе руки с тесно сложенными кистями, надену на запястья японца свою дверную цепочку и защелкну ее замочком, а для верности заделаю замочную скважину воском, для того чтобы шпион-японец (а в том, что он шпион, сомнения не было, так как в те времена все японцы считались шпионами) не смог открыть защелкнувшийся замочек своей шпионской отмычкой.

Нечего и говорить, что главная трудность заключалась в отсутствии сорока копеек на входной билет.

...Не будем распространяться о том, каким путем достал я эти деньги. Но я их достал, постаравшись заглушить слабый голос совести, шептавший мне в правое ухо, что не следует продавать старьевщику почти новые Женькины летние сандалии «Скороход». У меня решительно не было времени вступать в спор с совестью: дни летели и гастроли японца могли в любой миг закончиться, и тогда прощай навсегда, быть может, единственный случай в жизни так крупно обогатиться...

Сжимая в кармане дверную цепочку и открытый замочек со скважиной, уже заделанной грязноватым воском от четверговой свечи, я вместе с некоторыми другими «желающими из публики» выбежал на арену — путаясь в длинных полах шинели на вырост, глубоко увязая в опилках, пахнущих лошадьми,— и показал знаками, чтобы японец протянул вперед руки, плотно прижав кисти друг к другу.

Японец посмотрел на меня равнодушно-змеиным взглядом своих буддийских глаз, в самой глубине которых я все же уловил насмешливый огонек, и покорно протянул мне руки — толстые, короткие, как бы надутые руки силача с могучими запястьями, плотно сложенными вместе.

Пока другие желающие из публики привязывали японца к стулу, опутывали его веревками и ремнями, я с коварной улыбкой Ната Пинкертона окружил руки японца нашей дверной цепочкой, продел сквозь ее крайние звенья стальной замочек, похищенный у тети, и защелкнул его, предвкушая минуту, когда японец полезет своей отмычкой в замочную скважину и —

ан нет!..—

окажется, что скважина надежно заделана восковым клапом. Вот это будет номер!.. Номерочек!..

Наконец японец, прикрученный к стулу и обвязанный со всех сторон веревками, ремнями и цепями, с вытянутыми вперед голыми руками, надежно закованными моей дверной цепочкой, был торжественно закрыт с ног до головы покрывалом, оркестр перестал играть, и ассистентка-японка, держа на подносе сторублевую бумажку, крикнула в тишине замершего цирка своим пронзительным и в то же время по-детски нежным голосом цапли:

— Лаз! Два! Тли!

После чего покрывало вместе с венским стулом полетело прочь и японец, у ног которого в беспорядке валялись веревки, ремешки и цепи — в том числе и моя дверная цепочка, совершенно целая, так и оставшаяся в виде браслета, запертого замочком,— сделав на все стороны комплимент, под громовые звуки туша убежал за кулисы, а затем вернулся еще раз раскланяться на вызовы публики и, раскланиваясь, посмотрел на меня своими таинственными азиатскими глазами, причем сказал довольно хорошо по-русски: «Малчик, забели свою двелную цепочку, хе-хе...» — на чем моя надежда получить сто рублей и закончилась.

...долгое время я никак не мог понять, каким образом японцу удалось снять мою цепочку, и даже считал японца волшебником...

Однако впоследствии мне объяснили, что японец просто-напросто обладал способностью сильно раздувать свою мускулатуру, а потом как бы выпускать из нее воздух,

так что все веревки и цепи легко спадали с его как бы похудевшего тела. Когда я надевал на его руки дверную цепочку, он расширил свои запястья, а потом сузил их и легко вынул из цепочки свои гибкие кисти, даже не подумав ломать замок или тем более открывать его отмычкой.

И до сих пор я иногда в своем воображении, гуляя по Переделкину, слышу крик японской цапли — цапли Хокусая:

— Лаз! Два! Тли!

Спички.

В то время, когда я еще не достиг четырехлетнего возраста, керосин назывался петролем и фирма Нобеля развозила его по домам в жестянках на небольших тележках, запряженных крошечными шотландскими лошадками пони, в соломенных шляпках со специально вырезанными круглыми дырками, откуда торчали коричневые ушки маленьких лошадок, нежно-розовые внутри. Именно в это время однажды я стоял в пустой кухне рядом с нобелевской жестянкой петроля, круглое отверстие которой было закрыто хорошенькой блестящей крышечкой.

...«сладко пахнет белый керосин»...

Дело было далеко после полудня — «послеобеда»,— кухня уже была прибрана и вымыта и пахла нагретой газетной бумагой, которой всегда после готовки застилали плиту с еще горячими чугунными конфорками. Просяной веник стоял в углу на куче сора. Деревянный крашеный пол и толстый подоконник горели на солнце янтарным блеском, а на подоконнике лежала коробка спичек с канареечно-желтой этикеткой с медалями и краями, оклеенными синей бумагой, что в сочетании с черно-коричневыми шершавыми боковыми терками для зажигания называлось «спички Лапшина».

Я их сразу заметил своими маленькими острыми глазками. Спички уже давно притягивали меня к себе. С некоторого времени притягивала меня к себе также и жестянка с петролем. Спички Лапшина и керосин Нобеля имели между собою некую таинственную связь, которую я никак не мог разгадать.

Дело в том, что недавно я слышал, как папа говорил маме, что ребенка ни в коем случае нельзя пускать одного в кухню, где он «может бросить спичку в керосин, который тотчас загорится и наделает пожара».

Меня это крайне удивило: как это так — «бросит спичку в керосин, который тотчас загорится»?

Хотя я был мал и носил еще платье, как девочка, но, однако, не настолько глуп, чтобы не понимать, что если зажженную спичку бросить в керосин, то керосин загорится. Это само собой разумелось. Однако ведь папа не сказал *зажженную* спичку. Значит, он знал про спички то, чего я и не подозревал: оказывается, достаточно бросить незажженную, простую, сухую спичку с бархатной головкой, как керосин сам собой воспламенится.

Это была для меня новость!

Мой ум никак не мог себе представить возникновение огня от прикосновения сухой, целенькой, незажженной спички с мокрым керосином. Мне очень трудно было в это поверить. Однако папа лучше меня знает. Неужели же может произойти такое чудо? Теперь меня неудержимо тянуло в кухню, где был керосин и были спички.

И вот канареечно-желтая коробочка Лапшина у меня в руках. В кухне — никого. Во всей квартире такая тишина, что слышны пружинные удары маятника стенных часов в столовой.

...яркий свет предзакатного солнца...

Я снял хорошенькую крышечку с короткого горлышка жестянки Нобеля. Понюхал. Ощутил знакомый приторный запах белого петроля. Неужели же сейчас произойдет чудо возникновения пожара из ничего? Нет, этого не может быть. Папа ошибался. Я вытянул из коробки спичку и опустил ее через горлышко в бидон с керосином. Хотя я и не верил в возможность возникновения огня, я все же из предосторожности отошел на несколько шагов назад и спрятался в угол, где стоял веник немногим ниже меня ростом. Однако — как я и предполагал — ничего не произошло: огонь не вспыхнул. Но ведь не мог же папа ошибиться? Он ясно сказал: вспыхнет керосин и наделает пожар. «Наверное, попалась испорченная спичка»,— подумал я и со всеми возможными предосторожностями бросил в бидон вторую спичку. Опять ничего. Странно. Или папа ошибся, или вторая спичка тоже оказалась негод-

ной. Я бросил третью спичку, четвертую, пятую. Как загипнотизированный я бросал в бидон спичку за спичкой, ощущая горькое разочарование в мудрости Всемогущего Папы и в то же время наслаждаясь собственной правотой. В коробке осталось всего лишь две или три спички, когда я услышал бегущие шаги и тревожный шорох маминой юбки.

Через миг она уже прижимала меня к себе.

— Ты с ума сошел, ты с ума сошел! — бормотала она, стараясь вырвать из моих сжатых пальчиков коробку спичек.

— Я же предупреждал! — послышался за спиной мамы гневный голос папы.

Они оба, и папа и мама, были в пенсне, и папа тряс бородой, что как бы усиливало их общий гнев.

Разумеется, я стал реветь на всю квартиру, и брыкаться, и заикаться от слез, будучи не в силах объяснить им, что я вовсе не так глуп, как они себе представляли.

...Действительно, несмотря на свои три года — дурак бы я был бросать в керосин *зажженные* спички! Я только хотел опровергнуть утверждение папы, что если бросить в керосин спичку, то наделаешь пожара. Он же не сказал при этом — *зажженную* спичку!

Клады.

Прочитавши «Тараса Бульбу», мы решили по примеру запорожцев закопать клад. Время было самое подходящее: тихий, жаркий сентябрь, начало учебного года, по календарю осень, а все вокруг как летом, ни одного желтого листика; дни еще длинные; после гимназии, после обеда все еще продолжается знойный день, и время тянется нескончаемо долго, и необходимо что-нибудь предпринять.

Обшарив пустые, уже заколоченные на зиму дачи, мы по колено в бурьяне, осыпавшем наши суконные черные штаны желтым порошком своего позднего цветения, взобрались на глинистый обрыв и выкопали перочинными ножами небольшую нишу.

Несколько дней мы таскали туда все, что попадалось под руку. Конечно, клад должен состоять из золота и драгоценных камней, да где их взять?

Я, правда, нашел у тети на туалетном столе в коробочке с деньгами отломанную от какой-то брошки ювелирную

муху, по моим представлениям сделанную из чистого золота и драгоценных камней, может быть даже бриллиантов, двух микроскопических бриллиантиков, вставленных в ее головку в виде глаз.

Драгоценная муха не имела никакого вида и была очень маленькой, но мы завернули ее в несколько слоев бумаги, запихнули в спичечную коробку, и в таком виде муха пошла в дело как главная драгоценность нашего клада.

Потом мы решили, что пусть это будет пещера контрабандистов, и натаскали туда все, что попало под руки из той дряни, которая нашлась у нас в кладовках и на чердаке, даже сломанный турецкий кинжал и заржавленный кремневый пистолет.

Нам представлялись кипы контрабандного табака, тюки шелковых восточных тканей и прочее. За неимением всего этого мы сложились по четыре копейки и купили в мелочной лавочке Коротынского две сигары в мягкой упаковке, самого низшего сорта — три копейки пара. На остальные деньги мы взяли немного халвы, рожков и пряников (ржаных, на патоке), что должно было представлять продовольственные запасы контрабандистов. У нас имелась также бутылка пресной воды, для какой надобности — мы и сами не знали, может быть на случай осады. Мы заделали нашу пещеру кусками глины и замаскировали бурьяном.

По нескольку раз в день мы ходили наведаться: не открыл ли кто-нибудь наш клад? Нет, все было в порядке.

А дни тянулись жаркие, скучные, и мы потели на уроках, в своей зимней, суконной форме — я в гимназии, а мой друг в реальном училище,— и подоконники в наших классах были одинаково раскалены солнцем, жгучим как летом, и меловая пыль на классной доске была тоже горячей от солнца.

Мы с Женькой Дубастым не находили себе места, решительно не знали, что с собой делать, и это томление продолжалось до тех пор, пока мы не придумали открыть наш клад и покурить «контрабандные» сигары.

Мы открыли наш клад, достали сигары, спички, сели в бурьян лицом к морю, к грустному, голубому, пустынному сентябрьскому морю со светлыми дорожками штиля и дымом парохода на синеющем горизонте, и запалили свои сигары. Мы делали друг перед другом вид, будто нам очень нравится вдыхать сухой, колониально-пряный дым

тлеющего табачного листа и чувствовать на языке его как бы наждачный вкус. Женька Дубастый даже пытался пускать дым через ноздри, причем его невинно-голубые круглые глаза налились слезами и он стал кашлять, приговаривая:

— А знаешь, здорово вкусно курить сигары. Настоящая гавана!

Потом у него изо рта потекли слюни. У меня кружилась голова, и я вдруг как бы стал ощущать высоту обрыва, на котором мы сидели, и пропасть под нашими ногами, где глубоко внизу слышалось стеклянное хлюпанье тихого моря в извилинах и трещинах прибрежных скал, и звон гальки под ногами рыбака, несущего на плече красные весла.

Мы с трудом выбрались из бурьяна и, полупьяные, ощущая тошноту, поплелись по нашей Отраде, где вдруг перед нами предстал Женькин отец в котелке, с золотой цепочкой поперек жилета, с бамбуковой тростью в руке.

— А ну дыхни,— сказал он Женьке ужасающим голосом.

Женька дыхнул и заплакал.

— Ты, подлец, курил,— сказал Женькин папа и, взяв Женьку Дубастого за ухо, повел домой.

Когда они удалялись, по их фигурам скользили тени акаций, уже сплошь увешанных пучками мелких черных стручков.

Вот за ними закрылась железная калитка, и я услышал рыдающий голос Женьки:

— Что ж вы деретесь, папа? Я больше не буду! Папочка, отпустите мое ухо!..

Кусочек фосфора.

Кусочек твердого красного фосфора, который подарил мне один товарищ по гимназии, имел форму и размер мандариновой дольки, и я, завернув его в бумажку, носил в кармане, с нетерпением ожидая конца уроков, с тем чтобы как следует заняться своим подарком, исследуя его свойства в спокойной домашней обстановке.

Так как было известно, что красный фосфор в сухом виде не светится, то дома я произвел несколько несложных опытов: подставлял фосфор под кран, мочил в блюдце, а затем мазал мокрым фосфором пальцы. Эффект

получался всегда один и тот же: любой предмет, намазанный мокрым фосфором, начинал в темноте светиться. Таинственно светилась моя пятерня — все растопыренные пальцы, светилась вода в блюдечке, и даже струя из-под крана в темной ванной комнате слегка светилась, омывая кусочек фосфора, который я подставлял под кран.

Я завернул фосфор в бумажку, спрятал в карман и, посвистывая сквозь передние зубы, отправился на улицу.

Кое-кто из мальчиков уже слонялся по полянке, швыряя камешки в воробьев или играя в «шкатуля», то есть ставили ракушниковый строительный камень стоймя, сверху на него клали камень поменьше и, отойдя шагов на десять, бросали в него кусками кирпича — кто первый собьет верхний камень.

До сих пор не имею понятия, откуда произошло это странное слово «шкатуль», кто его изобрел?

Игра в «шкатуля» была самая скучная из всех наших игр, и ею занимались так себе, от нечего делать, пока на полянке не соберется «вся голота» и можно будет предпринять что-нибудь действительно интересное.

Я сразу заметил, что Надьки Заря-Заряницкой еще не было на полянке; наверное, сидела дома и учила уроки.

Необходимо объяснить, что такое полянка. У нас в Отраде полянками назывались еще не застроенные участки, поросшие сорными травами, кустиками одичавшей сирени или перистыми «уксусными» деревцами. Каждая полянка примыкала к глухим ракушниковым стенам старых или новых домов — брандмауерам.

Тут же я и начал свою интригу против Надьки Заря-Заряницкой, с которой постоянно находился в сложных враждебно-любовных отношениях. Мы соперничали с ней решительно во всех областях нашей уличной жизни: кто быстрее бегает, кто выше прыгает, кто лучше прячется во время игры в «дыр-дыра», громче свистит сквозь передние зубы, умеет незаметней подставлять ножку, скорей всех отгадает загадку и произносит трудную скороговорку вроде «на траве дрова, на дворе трава» и т. д.,— а главное, кто кому покорится и признает над собой его власть.

Надька Заря-Заряницкая слыла царицей среди мальчишек, а другие девочки по сравнению с ней ничего не стоили.

Все признавали ее превосходство, один только я по свойству своего характера не желал с этим примириться, хотя она во всех отношениях превосходила меня, даже в

возрасте: мы были однолетки, родились в одном месяце, но Надька родилась ровно на одиннадцать дней раньше, и тут уж ничего не поделаешь, это было непоправимо: *она была старше*. В любой миг Надька могла окинуть меня презрительным взглядом и сказать:

— Молчи, я тебя старше!

В то время, когда нам было по одиннадцати лет, это казалось ей громадным преимуществом.

Иногда мы с ней даже дрались, потом показывали друг другу большой палец, что обозначало ссору навсегда, но скоро с застенчивой улыбкой показывали друг другу через плечо согнутый мизинчик в знак мира и вечной дружбы.

Воспользовавшись отсутствием на полянке Надьки, я сделал все возможное, чтобы перетянуть на свою сторону всех ее сторонников — мальчиков и девчонок. Я повел их в подвал дома Фесенко и показал им в кромешной темноте дровяных сараев свои растопыренные руки со светящимися пальцами и лицо со светящимися бровями, носом и ушами. Мальчики и девочки были так поражены этим необъяснимым явлением, что сразу же стали моими сторонниками и признали меня главным, тем более что в ответ на все их просьбы и даже мольбы открыть секрет моего свечения я сказал, что я сделался обладателем многих тайн знаменитой Елены Блаватской, как известно, причастной к потустороннему миру призраков и духов. Я намекнул, что во сне ко мне часто является сама Елена Блаватская и что она сделала меня волшебником, в знак чего мое лицо и руки стали во тьме светиться. Я также дал понять, что те из мальчиков и девчонок, которые перейдут на мою сторону, могут рассчитывать, что со временем я их всех посвящу в тайны Елены Блаватской и они тоже обретут свойство светиться в темноте и даже, может быть, сделаются волшебниками.

Я не скупился на обещания.

Они поклялись мне в верности, подняв над головой два пальца в знак присяги.

...До сих пор не могу понять, почему ни одному из них не пришла в голову простая мысль, что это вовсе не чудо, а обыкновенная химия. Знали же они, что существу-

ет на свете вещество фосфор, обладающее свойством светиться в темноте, наконец, видели же они светляков и море, фосфоресцирующее летом! И все же они поверили в волшебное свойство моего свечения и в то, что я знаю какую-то тайну Елены Блаватской.

Их души жаждали необъяснимого...

...Когда мы вылезли из темного подвала, то увидели на полянке Надьку Заря-Заряницкую, которая, прыгая на одной ноге, бросала в стенку мяч, ловко его ловила, затем несколько раз заставляла со звоном ударяться об землю, а потом опять бросала в старый ракушниковый брандмауер, изрезанный различными надписями и рисунками.

Увидев меня, окруженного ее бывшими верноподданными, она нахмурилась, как разгневанная королева, ее золотистые прямые брови, всегда напоминавшие мне пшеничные колосья, сердито сошлись, и, с силой ударив мяч об землю, так что он подскочил вверх до второго этажа, крикнула:

— Ко мне, моя верная дружина!

— Она уже не твоя, а моя,— сказал я насмешливо,— только что они в подвале Фесенко дали мне вечную клятву верности и присягнули двумя пальцами.

— Вы ему присягнули? — строго спросила Надька.

— Присягнули,— ответили ее бывшие верноподданные.

И тут же Надька узнала неприятную новость, что ко мне во сне являлась Елена Блаватская и открыла все свои тайны, в том числе и способность светиться в темноте.

— Он вам врет,— сказала Надька.

— А вот и не врет, потому что мы сами видели, как он светится.

Я посмотрел на Надьку с нескрываемым торжеством и, сложив руки на груди крестом, оскорбительно захохотал ей в лицо.

— Может быть, не веришь? — спросил я.

— Не верю,— ответила она,— потому что ты известный брехунишка.

— Клянусь! — гордо возразил я.

— А чем докажешь? — спросила она.

— Пойдем в подвал к Фесенкам, сама увидишь.

— Будешь светиться? — подозрительно спросила Надька.

— Буду светиться,— ответил я.

— Пойдем!

— Пойдем.

Мы спустились в подвал, пошли ощупью по темному коридору, причем я хорошенько наслюнил себе пальцы, нос и уши и украдкой потер их кусочком фосфора.

Я остановился, внезапно повернулся к Надьке светящимся лицом и поднял вверх растопыренные светящиеся пальцы.

— Теперь ты убедилась? — спросил я.

Надька стояла передо мной, потеряв от изумления дар речи.

...я слышал в темноте, как бьется ее сердце...

— Ты что, на самом деле волшебник? — наконец спросила она.

— А то нет! — ответил я.

Мы выбрались из подвала наверх, и я был поражен яркостью мира, синевшего, зеленевшего, желтевшего, сверкавшего вокруг нас так сильно, что даже стало больно глазам.

Надька стояла передо мной высокая, стройная, длинноногая, с поцарапанными коленками, с прямым красивым носиком с легкой горбинкой, чуть-чуть позолоченным веснушками, с прозрачными голубыми глазами, с тугими локонами, по два с каждой стороны, между которыми жарко горели удлиненные раковины ее небольших мальчишеских ушей. Вообще, в ней было что-то грубо-мальчишеское и вместе с тем нежное, девичье.

...Мы стояли рядом, вечные соперники и враги, влюбленные друг в друга, и я чувствовал себя победителем...

Она смотрела на меня с суеверным ужасом, точно я впрямь был волшебником, посвященным в тайны Елены Блаватской.

— А ты меня примешь в свою компанию? — спросила Надька робким голосом.— Я хочу, чтобы ты посвятил меня в тайны Блаватской.

Я немножко поломался, а потом сказал:

— Эти тайны я могу открыть только тому, кто поклянется навсегда стать моим послушным рабом.

— Мне не надо всех тайн,— ответила она, глядя на меня своими чудными аквамариновыми глазами с жесткими рыжеватыми ресницами, что делало ее чем-то неулови-

мо похожей на англичанку,— мне только хочется узнать, как тебе удается светиться в темноте.

— Чего захотела! Светиться в темноте — это самая главная тайна.

— Ну так открой мне эту тайну. Я тебя очень прошу,— сказала Надька голосом, полным почти женского, пежного кокетства.

Я посмотрел на нее и понял: она вся с ног до головы охвачена таким страстным, непобедимым любопытством, что мне теперь ничего не стоит превратить ее в свою послушную рабу.

— Хорошо,— сказал я,— пусть будет так. Но ты должна признать себя моей рабой.

Надька немного поколебалась.

— А без этих глупостей нельзя? — спросила она.

— Нельзя! — отрезал я.

— Хорошо,— сказала она тихо,— но если я стану твоей рабой, тогда ты мне откроешь тайну?

— Открою,— сказал я.

— Ну так считай, что с этой минуты я твоя раба. Идет?

— Э, нет,— сказал я.— Это не так-то просто. Сперва ты должна исполнить ритуал посвящения в мои рабыни; в присутствии всей голоты ты должна стать передо мной на колени, наклонить голову до земли, а я в знак своего владычества поставлю тебе на голову ногу и произнесу: «Отныне ты моя раба, а я твой господин», и тогда я открою тебе тайну свечения человека впотьмах, завещанную мне Еленой Блаватской.

— И ты даешь честное благородное слово, что тогда ты откроешь тайну свечения? — спросила Надька, дрожа от нетерпения.

Она готова была на все.

— Честное благородное, святой истинный крест, чтоб мне не сойти с этого места! — сказал я с некоторым завыванием.

Надя решительно тряхнула всеми своими четырьмя английскими локонами и стала передо мной на одно колено, немного подумала и решительно стала на другое.

— Ну-ну,— сказал я,— теперь склоняйся до земли.

Надя повела плечами и с некоторым раздражением положила свою голову на сухую, рыжую землю пустыря, поросшего пасленом, на котором уже созревали мутно-черные ягоды.

Вокруг нас стояла толпа мальчиков и девочек, которые молча смотрели на унижение передо мной Надьки Заря-Заряницкой.

...она была в матроске с синим воротником, в короткой плиссированной юбке. Приподняв голову с земли, она смотрела на меня прелестными, умоляющими глазами...

— Может быть, не надо, чтобы ты ставил ногу на мою голову, я уже и так достаточно унижена,— почти жалобно промолвила она.

— Как угодно,— сурово сказал я,— но тогда ты никогда не узнаешь тайну свечения человеческого тела.

— Ну, черт с тобой, ставь ногу на голову, мне не жалко,— сказала Надька, и я увидел, как из ее глаз выползли две слезинки.

Я поставил ногу в потертом башмаке на Надькину голову и некоторое время простоял так, скрестив на груди руки.

— Теперь ты моя раба! — торжественно сказал я.

Надька встала и сбила с колен пыль.

— А теперь ты должен открыть мне тайну,— сказала она.— Открывай сейчас же.

— Пожалуйста,— с ехидной улыбкой ответил я.— Вот эта тайна.

При этом я вынул из кармана кусочек фосфора.

— Что это? — спросила Надька.

— Фосфор,— холодно ответил я.

— Так это был всего лишь фосфор! — воскликнула она, побледнев от негодования.

— А ты что думала? Может быть, ты вообразила, что это на самом деле какая-то тайна Елены Блаватской? Вот дура! И ты поверила?

Мальчики и девочки вокруг нас захохотали. Это было уже слишком.

— Жалкий врунишка, обманщик! — закричала Надька и, как кошка, бросилась на меня.

Но я успел увернуться и пустился наутек вокруг полянки, слыша за собой Надькино дыхание и топот ее длинных голенастых ног в мальчишеских сандалиях.

Она бегала гораздо лучше меня, и я понял, что мне не удастся уйти. Тогда я решился прибегнуть к приему, который всегда в подобных случаях применял младший помощник Ника Картера, японец Тен-Итси. Я должен был

вдруг остановиться перед бегущей девочкой и стать на четвереньки, с тем чтобы она со всего маху налетела на меня и шлепнулась на землю.

Однако я не рассчитал расстояния между нами: я стоял как дурак на четвереньках, а Надька успела замедлить бег. Затем она бросилась на меня, села верхом и так отколотила своими крепкими кулаками, что у меня потекла из носу кровь, и я приплелся домой весь в пыли, проливая слезы и юшку, которая текла из моего носа, а следом за мной неслись торжествующие крики Надьки:

— Теперь будешь знать, как обманывать людей, брехунишка!

Я успел показать ей через плечо большой палец, она ответила тем же.

Впрочем, через два дня мы снова встретились на полянке, где вокруг кола на веревке ходила коза, и смущенно протянули друг другу согнутые мизинчики, что означало вечный мир.

А вечером я закатал рукав гимназической куртки, и написал чернилами на своей руке буквы Н. З.-З. (Надя Заря-Заряницкая), и нарисовал сердце, пронзенное стрелой,— и долго ждал, пока высохнет.

На другой день я подарил Надьке половину своего фосфора, и она подобно мне обрела дар светиться в темноте.

Выстрел с крыши.

Теперь никак не могу вспомнить, каким образом у меня в руках очутилось это ружье. Оно было более настоящее, чем монтекристо, и менее настоящее, чем мелкокалиберный винчестер для спортивной стрельбы.

Я думаю, его привез с собой один приезжий мальчик. Мы провели с ним неразлучно два или три дня, пока он гостил у своих родственников у нас в Отраде.

В памяти моей ничего не сохранилось, кроме того, что у этого странно-безликого мальчика было ружье и мы полезли на чердак нового, только что выстроенного четырехэтажного дома и там примостились возле круглого слухового окна, откуда дул тот особый небесный ветер, который гонит над городом облака и посвистывает в ушах настойчиво и заунывно, вызывая необъяснимую душевную тревогу.

Мы немного постреляли в голубей, которые на своих коралловых лапках ходили по краю новой черепичной крыши, но ни одного не подбили, и у нас остался всего один патрон.

Из слухового окна были видны не только все четыре улицы Отрады с их полянками и белым кителем знакомого городового, стоящего на перекрестке в тени акации, но также внутренность всех дворов с их пристройками, мелкой кудрявой травкой, с протоптанными стежками, развешанным бельем, но также полоса моря над крышами домов, а с другой стороны часть Французского бульвара с изредка проезжающими экипажами и мачтами недавно проложенной линии электрического трамвая.

Отсюда казалось, до Французского бульвара рукой подать, и когда мы увидели бегущий новенький бельгийский вагончик трамвая, под дугой которого как бы катилась по поющей медной проволоке сапфировая искра, нам вдруг пришла в голову мысль выстрелить в трамвай.

Эта безумная мысль овладела нами не сразу. Сначала она влетела в слуховое окно как еле уловимое, отдаленное дыхание чумы, на один миг погасившее наш разум, но сейчас же здравый смысл победил, и мы, высказав друг другу тайную мысль выстрелить в трамвай, тут же ее с негодованием отвергли как глупую, а главное, преступную.

...но мы были одни на чердаке, никто нас не видел, свидетели отсутствовали, небесный ветер посвистывал в слуховом окне и до косого отрезка Французского бульвара, видимого нам, с рядом новеньких железных трамвайных столбов на фоне глухого, белого, оштукатуренного каменного забора юнкерского училища, из-за которого с равными промежутками раздавались звуки учебной стрельбы в подземном тире, до пробегавших вагончиков трамвая, казалось, рукой подать. Стекла трамвайных вагончиков жарко, зеркально вспыхивали на солнце, и за ними можно было рассмотреть фигурки сидящих в профиль пассажиров. Солнце блестело, эластично скользя туда и назад по новой медной проволоке под кронштейнами трамвайных столбов...

...Новый порыв безумия охватил нас.

— Стрельнем? — спросил я.

— Стрельнем,— ответил он, но теперь я решительно не могу вспомнить лица этого мальчика.

Безусловно, он был тогда рядом со мной и в то же время его как бы не было вовсе. Рядом со мной находилось безликое существо, не имеющее формы.

...провал памяти...

— Давай я стрельну,— торопливо сказал я.

— Давай,— ответил он.

Я разломил о колено ружье и вставил в маслянистую дырочку казенной части патрон более длинный, чем у монтекристо, со свинцовой конической пулькой. Затем, щелкнув, я выправил ружье, высунул ствол в слуховое окно, нацелился на косой отрезок видимой части Французского бульвара и взвел курок. Как раз в это время прокатился вагончик трамвая, исчезнув из глаз, прежде чем я успел посадить его на мушку.

Пришлось ждать следующего трамвая — минут пять,— и в течение этих бесконечных пяти минут мое сумасшествие не только не прошло, но еще более усилилось. Ничего не соображая, я нетерпеливо водил мушкой по короткому, косому отрезку Французского бульвара, каждый миг ожидая внезапного появления трамвая. Мое нетерпение дошло до высшей точки. Здравые мысли отсутствовали. Воля вышла из-под контроля разума. Одно безумное желание владело мною: выстрелить в бегущий вагончик.

Едва он появился, новенький, желто-красный, нарядный, с гербом города Одессы на боку, я повел за ним черный вороненый ствол, посадил его на мушку, выстрелил и в тот же миг понял весь ужас совершенного мною поступка. В отчаянии я бросил ружье в угол чердака, и мы вместе с моим безликим товарищем бросились наутек по черной лестнице, благополучно выбрались на улицу, там разбежались в разные стороны, и больше я уже никогда в жизни его не видел, даже забыл, как его звали и какое у него было лицо.

Только очутившись один, я понял, что очень может быть — я не только прострелил в вагоне трамвая окно, но также ранил кого-нибудь из пассажиров или даже убил наповал.

Сделав равнодушное лицо, я не торопясь прошел мимо знакомого городового, с которым вежливо поздоровался, сняв фуражку. Как ни в чем не бывало я свернул за угол и, когда почувствовал спиной, что городовой меня уже не

видит, бросился бежать к морю, как будто бы оно одно могло спасти меня от ужаса моего поступка. Пока я бежал по тенистым улицам Отрады, а потом по переулкам, ведущим к обрывам, мне все время казалось, что где-то за моей спиной, на Французском бульваре, против забора юнкерского училища, окруженный толпой, стоит вагон трамвая, и из него через переднюю площадку выносят труп человека с простреленным черепом, и кровь льется на рельсы, и толпа молчаливо смотрит поверх деревьев и крыш на далекое слуховое окно нового четырехэтажного дома, откуда был произведен неизвестным негодяем роковой выстрел.

Я живо представил себе, как сыщики взбираются на чердак, находят ружье, изучают через увеличительное стекло отпечатки моих пальцев, как затем полицейская собака Треф нюхает мои следы и стремглав бежит вниз по черной лестнице, волоча за собой на натянутом поводке сыщика в темных очках.

Я притаился в расселине знакомой мне прибрежной скалы, скрючился, и под моими ногами то поднималась, то опускалась светло-зеленая морская вода с кружевом качающейся пены. Я прислушивался, не раздается ли на спуске, ведущем из Отрады к берегу, дыхание полицейской собаки, напавшей на мой след.

...но все было тихо...

Подождав до вечера, все время испытывая мучительное искушение пробраться по пыльному безлюдному Юнкерскому переулку на Французский бульвар и хотя бы издали увидеть кровь на рельсах, которую уже, вероятно, успели посыпать песком, меня, как убийцу, неодолимо тянуло к месту преступления, но все же я был настолько благоразумен, что заставил себя не поддаться этому опасному искушению и не выдать себя неосторожным появлением на Французском бульваре против юнкерского училища, где — наверняка — сыщики уже устроили засаду и ждали, чтобы преступник сам попался в собственную ловушку.

Я вернулся домой к вечернему чаю, когда уже все сидели за столом; замешкавшись в передней, я прислушался к разговору. Наверное, они обсуждают ужасное происшествие на Французском бульваре.

Но нет!

Разговор шел о мирных вещах. Странно. Мне стоило больших усилий воли хладнокровно — как ни в чем не бывало — сесть на свое место и намазать хлеб маслом.

— Что-то ты сегодня бледный,— сказала тетя, мельком взглянув на меня.— С тобой ничего не случилось?

— Ровно ничего особенного,— сказал я с наигранным равнодушием.

...Ночью меня мучили кошмарные сны, в которых я был неопознанным убийцей разных людей: то это была дама в шляпке с вуалью, и кровь текла из ее простреленного виска, то это был вагоновожатый с окровавленным лицом, то это был священник с красным пятном на рясе против самого сердца, и все это происходило возле каменной стены юнкерского училища, смягчавшей зловещие звуки учебной стрельбы боевыми патронами в подземном тире.

Иногда мне чудилось, что на лестнице слышатся шаги полиции и вот-вот в передней раздастся резкий звук электрического звонка...

Рано утром я пробрался в переднюю и вытащил из-под двери «Одесский листок». Я развернул его и с бьющимся сердцем стал искать отдел происшествий, который, по моим представлениям, должен был начинаться так:

«Кошмарное убийство в трамвае. Вчера днем неизвестный злоумышленник произвел с крыши близлежащего дома выстрел в вагон электрического трамвая. Пуля разбила стекло и убила наповал студента третьего курса Н... Розыски преступника продолжаются».

Но нет!

Ничего подобного в отделе происшествий не было. Это показалось мне хитростью полиции, не желавшей раньше времени спугнуть убийцу.

Осунувшийся, бледный, я побрел в гимназию, но по дороге неодолимая сила заставила меня свернуть на Французский бульвар. Ничто не говорило о том, что вчера здесь произошло злодейское убийство. Весело пробегали новенькие вагончики электрического трамвая. Сияло солнце. Я посмотрел в ту сторону, где возвышался дом, откуда я стрелял. Он был еле виден в зелени садов, и до него было никак не меньше полуверсты. И лишь тогда мне впервые пришла в голову догадка, что моя почти игрушечная пуль-

ка просто не могла долететь до цели и бессильно упала где-нибудь в саду, хотя бы, например, в саду известного профессора истории Стороженко.

С той поры у меня в душе иногда начинает звучать мучительная струна и я боюсь посмотреть на себя в зеркало, чтобы не увидеть на своем лбу каинову печать неопознанного убийцы... Раскольникова с его опрокинутым лицом.

...а может быть, мне это все вообще только приснилось?

Слон Ямбо.

«Меня уже с пеленок все пупсиком зовут. Когда я был ребенок, я был ужасный плут. Пупсик, мой милый пупсик»— и тому подобный вздор.

В этот год в моде был «Пупсик», песенка из оперетки того же названия.

Мотив из «Пупсика» доносился из Александровского парка, где его исполнял военный духовой оркестр под управлением знаменитого Чернецкого — со вставным стеклянным глазом, в парадном мундире одного из стрелковых полков «железной дивизии», расквартированной в нашем городе.

Этот же мотивчик исполнял возле открытого ресторана на Николаевском бульваре между памятником дюку де Ришелье и павильоном фуникулера другой оркестр под управлением еще более знаменитого маэстро Давингофа, который дирижировал, сидя верхом на жирной цирковой кобыле, все время вертевшей крупом и размахивающей хвостом в такт «Пупсику», причем сам маэстро Давингоф в длинном полотняном сюртуке, в белых перчатках, с нафабренными усами цвета ваксы, со шпорами на коротких сапожках, время от времени привстав в седле, раскланивался со своими поклонницами, местными дамами, высоко поднимая над лысой головой благородного проходимца свой серебристо-белый шелковый цилиндр. Вместо дирижерской палочки у него в руке была ветка туберозы, так что старомодный Чернецкий со своим вставным глазом не шел ни в какое сравнение с маэстро Давингофом, шикарным ультрасовременным дирижером, почти футуристом, хотя мотивчик из «Пупсика» был один и тот же.

«Пупсик» насвистывали студенты и гимназисты, фланируя под шатрами одуряюще-цветущей белой акации; звуки «Пупсика» с криком вырывались из граммофонных труб; «Пупсика» играли в фойе иллюзионов механические пианолы с как бы сами собой бегущими клавишами...

...Все это я должен объяснить для того, чтобы было понятно, почему именно на мотив «Пупсика» одесская улица стала петь совсем другие слова, относящиеся к событию, которое вдруг в один прекрасный день потрясло город.

Вот эти слова:

«В зверинце Лорбербаума Ямбо́ сошел с ума. Говорили очень странно, что виновата в том весна. Ямбо́, мой бедный Ямбо́...» и т. д.

Эти жалкие куплеты отражали трагедию, случившуюся вскоре после пасхи на Куликовом поле, где уже все карусели и пасхальные балаганы были разобраны, кроме цирка шапито Лорбербаума, возле которого среди пустынной площади в виде приманки стоял на цепи слон Ямбо. Впрочем, у нас слово Ямбо́ произносили с ударением на первой гласной: Ямбо. И вот этот слон неожиданно сошел с ума и стал беситься, испуская зловещие трубные звуки, каждый миг готовый сорваться с цепи и ринуться по улицам города, ломая все на своем пути.

Куликово поле вдруг стало опасным местом, и лишь немногие смельчаки решались приблизиться к балагану Лорбербаума, где бушевал обезумевший слон. Они рассказывали разные небылицы, мгновенно облетавшие город.

Лично я ничего не видел. Почти ничего. Может быть, самую малость, да и то издали: на фоне затоптанной пустынной площади горой поднимался серый силуэт слона с веерами растопыренных ушей, с опущенным хоботом, качающимся с угрожающим, маниакальным постоянством, как маятник. Вероятно, это был короткий период депрессии, когда Ямбо, изнуренный порывами бессильной ярости, впадал в тихое безумие и, тоскливо озираясь по сторонам, переминался всей своей громадной тушей на одном месте, оставляя на черной земле Куликова поля, покрытого шелухою подсолнечных и кабачковых семечек, отпечатки своих круглых подошв и месяцеобразных пальцев.

Эти тихие минуты были еще страшнее припадков буйства, когда слон приседал на хвост, пытаясь разорвать короткую цепь, прикованную к его передней ноге, крутился волчком и, подняв к небу хобот, издавал воинственные

трубные звуки, заставлявшие всех вокруг дрожать от страха.

Люди обходили стороной Куликово поле, опасаясь, что слон наконец разорвет цепь и начнет все вокруг крошить и убивать своими короткими, наполовину спиленными бивнями.

В течение целой недели город занимался исключительно слоном.

Ходили слухи, делались различные предположения. В газетах каждый день появлялись врачебные бюллетени о состоянии здоровья слона. Оно то ухудшалось, то улучшалось. Печатались интервью с городскими общественными деятелями и популярными врачами, которые в большинстве считали, что слон Ямбо сошел с ума на эротической почве, испытывая тоску по своей подруге слонихе Эмме, оставшейся в Гамбурге у Гагенбека, так как скряга Лорбербаум не захотел купить их вместе.

«Сын Африки тоскует по своей возлюбленной»,— гласили заголовки копеечной газеты «Одесская почта»,— «Сильна как смерть!», «Верните бедному Ямбо его законную половину», «О, если бы люди умели так горячо любить!», «Жители нашего города ежедневно подвергаются смертельной опасности: куда смотрит городская управа?» — и тому подобное.

Странное, любовное волнение охватило меня. Оно было тем более непонятно, что в то время я не был ни в кого влюблен. Влюбленность, загоревшаяся во мне как лихорадка, была беспредметна. Волны необъяснимой страсти бушевали вокруг меня и во мне, приводя меня в состояние почти невменяемости. Можно было подумать, что в меня вселилась душа Ямбо. Мои нервы были натянуты. Меня мучила бессонница, перемежающаяся с короткими любовными сновидениями. Я вертелся в постели, то и дело переворачивая нагревшуюся подушку, а утром вставал разбитый, с синяками под глазами. Я долго рассматривал себя в зеркало. На меня смотрели черные остановившиеся глаза. С отвращением выдавливал я на подбородке пунцовые прыщи, которые тетя со скользящей усмешкой называла «бутон д'амурами». Я усердно занимался своей внешностью. Я упросил папу заказать мне диагоналевые брюки со штрипками и, надевая их, чувствовал себя франтом. Я достал у одного товарища палочку фиксатуара, обернутую в серебряную бумажку, и натирал волосы, отчего они становились сальными, и когда я делил их гребнем и драл

щеткой, стараясь устроить себе шикарный прямой пробор, как у английского спортсмена, то жесткие, еще почти детские волосы не слушались и торчали во все стороны сальными вихрами, распространяя жирный цветочный запах фиксатуара.

Я повесил на верхнюю пуговицу своей гимназической куртки жетон в виде крошечной теннисной ракетки на короткой цепочке, что было в ту пору очень модно, и, подняв тулью своей фуражки на прусский манер, шлялся по знойному городу, мучительно пустынному и тихому после шумной пасхальной недели.

Суконные штрипки моих брюк то и дело сползали под каблуки, и мне приходилось часто останавливаться, чтобы привести их в порядок.

Мальчишки с Новорыбной преследовали меня насмешками.

...Розовое солнце садилось за вокзалом, и прилегающие к вокзалу улицы казались особенно пустынными, порочно-тихими, манящими. Я ходил по ним, волоча в пыли плохо пригнанные штрипки, и прислушивался к тому, что происходит на Куликовом поле.

...ходили слухи, будто ночью у Ямбо был такой припадок ярости, что пришлось вызвать пожарную команду из Бульварного участка, которая из четырех брандспойтов поливала сбесившегося слона до тех пор, пока он не успокоился.

На следующий день припадок бешенства повторился с новой силой. Слон разорвал цепь, и его с трудом удалось снова заковать.

Положение с каждым часом становилось все более трагическим.

Городская управа заседала непрерывно, как революционный конвент: она требовала, чтобы Лорбербаум убирался из города вместе со своим сумасшедшим слоном или согласился его уничтожить.

Лорбербаум упрямился, ссылаясь на большие убытки, но в конце концов вынужден был согласиться, чтобы Ямбо отравили: другого выхода не было. В один миг распространились все подробности предстоящего уничтожения слона. Его решили отравить цианистым кали, положенным в пирожные, до которых Ямбо был большой охотник. Их было сто штук, купленных на счет городской управы в

известной кондитерской Либмана,— два железных противня, сплошь уложенных пирожными наполеон с желтым кремом. Пирожные привез на извозчике представитель городской врачебной управы в белом халате и форменной фуражке.

Я этого не видел, но живо представил себе, как извозчик подъезжает к балагану Лорбербаума и как служители вносят пирожные в балаган, и там специальная врачебная комиссия совместно с представителями городской управы и чиновниками канцелярии градоначальника с величайшими предосторожностями, надев черные гуттаперчевые перчатки, при помощи пинцетов начиняют пирожные кристалликами цианистого кали, а затем с еще большими предосторожностями несут сотню отравленных пирожных и подают слону, который берет их с противня хоботом и проворно отправляет одно за другим в маленький, недоразвитый рот, похожий на кувшинчик; при этом глаза животного, окруженные серыми морщинами толстой кожи, свирепо сверкают неистребимой ненавистью ко всему человечеству, так бессердечно разлучившему его с подругой, изредка слон испускает могучие трубные звуки и старается разорвать проклятую цепь, к которой приклепано кольцо на его морщинистой ноге.

Съев все пирожные, слон на некоторое время успокоился, и представители властей отошли в сторону для того, чтобы издали наблюдать агонию животного, а затем по всей форме констатировать его смерть, скрепив акт подписями и большой городской печатью.

...О, как живо нарисовало мое воображение эту картину, которая неподвижно стояла передо мной навязчивым, неустранимым видением трудно вообразимой агонии и последних содроганий слона...

Я стонал в полусне, и подушка под моей щекой пылала. Тошнота подступала к сердцу. Я чувствовал себя отравленным цианистым кали. Поминутно в полусне я терял сознание. Мне казалось, что я умираю. Я встал с постели, и первое, что я сделал — это схватил «Одесский листок», уверенный, что прочту о смерти слона.

Ничего подобного!

Слон, съевший все пирожные, начиненные цианистым кали, оказывается, до сих пор жив-живехонек и, по-види-

мому, не собирается умирать. Яд не подействовал на него. Слон стал лишь еще более буйным. Его страстные трубные призывы всю ночь будили жителей подозрительных привокзальных улиц, вселяя ужас.

Газеты называли это чудом или, во всяком случае, «необъяснимым нонсенсом».

Слон продолжал бушевать, и очевидцы говорили, что у него глаза налиты кровью, а из ротика бьет мутная пена.

Город чувствовал себя как во время осады.

Некоторые магазины на всякий случай прекратили торговлю и заперли свои двери и витрины железными шторами. Детей не выпускали на улицу. Сборы в театре оперетты, где шел «Пупсик», упали. Участились кражи. Положение казалось безвыходным.

Но как всегда бывает в безвыходных положениях, в дело вмешалась армия. Генерал-губернатор позвонил по телефону командующему военным округом, и на рассвете, поднятый по тревоге, на Куликовом поле появился взвод солдатиков — чудо-богатырей,— молодцов из модлинского полка в надетых набекрень бескозырках, обнажавших треть стриженных под ноль, белобрысых солдатских голов; они были в скатках через плечо, с подсумками, в которых тяжело лежали пачки боевых патронов.

С Куликова поля донесся до самых отдаленных кварталов города залп из трехлинейных винтовок Мосина, как будто бы над городом с треском разодрали крепкую парусину,— и все было кончено.

Когда вместе с толпой любопытных я робко приблизился к краю Куликова поля, то увидел возле зверинца Лорбербаума лишь вздувшийся горой кусок брезента, покрывавшего то, что еще так недавно было живым, страдающим слоном Ямбо.

...Он был навсегда излечен от своей неразумной страсти...

Город успокоился. Отцвели и осыпались как бы сухими мотыльками розовые и белые грозди душистой акации. Любовный чад рассеялся. И я стал опять хорошо спать и видеть легкие, счастливые сны, которые навевал на меня мой ангел-хранитель, чья маленькая овальная иконка болталась на железной решетке в изголовье кровати, над прохладной подушкой со свежей наволочкой.

Паноптикум.

Главной притягательной силой этого паноптикума, длинного дощатого балагана с парусиновой крышей, построенного на Куликовом поле, было особое, секретное отделение, куда посетителей пускали за дополнительную плату — пять копеек.

Хотя детям и гимназистам вход в это таинственное отделение, занавешенное ситцевой гардиной, был запрещен, но дама, сидевшая при входе за маленьким столиком и собиравшая в блюдечко пятаки, смотрела на это сквозь пальцы, и некоторые подростки, мои товарищи, уже побывали за ситцевой занавеской, но от них нельзя было ничего добиться, они странно молчали, всем своим видом и скользящими, загадочными улыбками давали понять, что они увидели нечто очень соблазнительное, даже, может быть, порочное.

На все вопросы они отвечали:

— Пойдешь — увидишь.

Моя фантазия, подогретая молчаливыми, многообещающими улыбками, распалилась, и я решил пожертвовать частью своих скудных сбережений.

Мне представлялись соблазнительные картины, и я жаждал увидеть тайны любви, о которых лишь смутно догадывался.

Я не рискнул идти один и взял с собой Мишку Галия, или, как мы его называли, Галика, уличного мальчика, внука малофонтанского рыбака.

Галик гордо заявил, что заплатит сам за себя, и, вынув из-за пазухи, показал мне громадный расплющенный пятак, побывавший уже на рельсах под вагоном конки. Мы сначала побродили по балагану, без особого интереса рассматривая общеизвестные восковые фигуры в стеклянных ящиках, бледно освещенные дневным, «балаганным» светом, монотонно проникающим сквозь парусиновую крышу: убийство французского президента Сади Карно, бородатого господина с орденской лентой под фраком, с пятнами крови на пикейном жилете; египетскую царицу Клеопатру, время от времени прижимающую своей механической рукой к восковой нарумяненной груди маленькую извивающуюся гадючку; сиамских близнецов, девочек До-

дику и Родику, сросшихся друг с другом грудными клетками. У них были волнистые волосы и стеклянные глаза...

...Мы приближались к задернутой ситцевой занавеске, возле которой под надписью «Только для взрослых» сидела за шатким столиком вполне живая и все же как бы восковая дама со стеклянными глазами, в кружевной шляпке и кружевных митенках на желтых руках. Мы бросили на блюдечко свои кровные пятаки, и дама, хотя и покосилась через механически поднятый лорнет на расплющенный пятак, все же сделала нам таинственный знак, обозначавший, что мы можем войти в запретную комнату...

Чувствуя друг перед другом какую-то неловкость, мы некоторое время переминались перед цветной, цыганской занавеской, словно собирались совершить нечто постыдное, но в конце концов любопытство победило и мы пролезли в запретное отделение, неловко шаркая башмаками по опилкам.

Что же мы увидели?

Дощатая комната была уставлена стеллажами и стеклянными ящиками, в которых помещались восковые подобия различных конечностей человеческого тела, пораженных прыщами, сыпью, гнойными язвами различных накожных болезней. На нас смотрели восковые лица с проваленными носами и губами, раздутыми от страшных фиолетовых волдырей волчанки. С ужасом мы рассматривали женскую грудь, покрытую серо-розовой сыпью, глаза с гноящимися веками. Мы видели круглые язвы, гнойно-желтые в середине и вулканическо-багровые по твердым краям. Страшные лишаи покрывали мужские и женские головы. Нас пугали бледные, неестественно головастые младенцы со вспухшими животами, пораженные болезнью еще в утробе матери.

Разница между тем, что мы втайне мечтали увидеть, и тем, что увидели, была так разительна, что мы, едва держась на ногах, поплелись вон из этой комнаты, запутались в ситцевой занавеске, насилу выпутались из нее и побежали к выходу мимо умирающего президента, прекрасной египетской царицы Клеопатры с черной змейкой возле нарумяненной груди и слышали за собой назидательный шепот дамы в кружевных митенках:

— Теперь вы поняли, мальчики, что это совсем не то, о чем вы думали!..

Герои русско-японской войны.

Утром на первый день пасхи моя бабушка — папина мама — полезла в свой сундучок и, вынув из свернутого чулка, подарила мне потертый двугривенный: сумма в моем тогдашнем представлении восьмилетнего ученика приготовительного класса — баснословная.

Вспыхнув от радости, я сейчас же ринулся на улицу, с тем чтобы сразу же начать делать покупки.

Напрасно тетя, нагнувшись над пролетом парадной лестницы, кричала мне вслед:

— Куда ты помчался? Сегодня же первый день пасхи — все заперто.

Но я сделал вид, что не слышу.

Зажатый в потном кулаке двугривенный жег мою руку, и я испытывал неукротимое желание как можно скорее его потратить, хотя и сам отлично знал, что на первый день пасхи все заперто.

Я надеялся на чудо: а вдруг где-нибудь что-нибудь да продается!

Я обошел все известные мне мелочные лавочки — они были наглухо заперты. Город казался вымершим. Обыватели отдыхали после пасхальной заутрени в церкви, а затем длительного сидения дома или в гостях за пасхальным столом, украшенным гиацинтами, куличами, пасхами и запеченными окороками, из розового мяса и сала которых выглядывала круглая перламутровая кость.

На пустынных, чисто выметенных улицах не было даже мальчиков: они катали в глубине дворов и пустырей крашеные пасхальные яйца. Одна надежда была на Куликово поле, куда выходили окна нашей квартиры. Куликово поле было уже застроено дощатыми балаганами, каруселями, перекидками, будками со сладостями и рундуками квасников.

Напрасные надежды.

Весь этот праздничный, балаганный городок, построенный во время страстной недели из свежего теса и брезента, разукрашенный разноцветными громадными картинами с изображением диких зверей, жонглеров и клоунов, был еще более мертв, безлюден, чем окружавший его настоящий город. Как бы усиливая его мертвенность, посередине

Куликова поля возвышалась выбеленная мелом мачта, на которой завтра, на второй день пасхи — не позже и не раньше,— ровно в полдень будет поднят бело-сине-красный торговый флаг Российской империи в знак того, что ярмарка открыта. В тот же миг все вокруг закрутится, завертится, загремят шарманки каруселей, затрезвонят небольшие медные колокола, зазывающие публику в балаганы, послышатся резкие выкрики клоунов и торговцев квасом, несметная толпа празднично разодетых горожан степенно двинется вдоль лавочек и будок, высоко в небо полетит оторвавшийся от своей нитки первый воздушный шарик — «красный, как клюква»...

Вот тогда-то и можно будет быстро, с толком и удовольствием потратить бабушкин двугривенный.

Но все это лишь завтра, ровно в полдень! А до этого времени ничего не оставалось как бродить по мертвому балаганному городу Куликова поля, не встречая на своем пути ни одной открытой будки.

...А между тем пасхальное небо — прохладное и ветреное — сияло над головой. По его чистому лазурному полю как бы наперегонки с колокольным звоном неслись круглые облака, чуть ли не задевая яркие золотые кресты и синие большие купола Афонских подворий, скопившихся против вокзала и пожарной каланчи Александровского участка, где у выхода расхаживал парадно одетый городовой в белых нитяных перчатках, натянутых на его толстые лапы...

Я несколько раз прошелся мимо открытых церковных дверей, откуда тянуло ладаном, слышались пасхальные песнопения и пылали золотые костры свечей, озаряя белоснежные и розовые праздничные ризы священников. Единственное место, где чем-то торговали, были церкви: там продавали просфорки и свечи. На миг мне даже пришла в голову глупейшая мысль купить на свой двугривенный четыре пятикопеечных свечи: все-таки какая-никакая, а покупка!

Я уже готов был войти в церковь, как вдруг увидел на паперти среди приличных пасхальных нищих знакомого мне седовласого слепца, на груди которого висела табличка с надписью церковнославянскими буквами:

«Герой Плевны».

Он был городской знаменитостью, один из славных воинов генерала Гурко. Он был почти так же известен в городе, как другой инвалид, еще более седовласый, очень старый, почти столетний дед, матрос — герой Севастополя, сподвижник адмирала Нахимова. Проходя мимо этих героев, было принято снимать шапки. Я тоже с уважением снимал свою новую гимназическую фуражку номером больше чем надо, сидящую на моих еще совсем детских красных ушах и заставляющую потеть мою остриженную под машинку голову приготовишки.

На этот раз, не успев еще снять фуражки с большим серебряным гербом в виде двух скрещенных веточек, я заметил возле героя Плевны разложенные у его ног на церковных ступенях синие литографические, отпечатанные на глянцевой бумаге портреты героев русско-японской войны.

Чудо-богатырь славного генерала Гурко продавал портреты героев Чемульпо, Порт-Артура, Ляояна... Каждый портрет стоил две копейки, и я их сразу купил десять штук, бросив мой двугривенный в деревянную чашку, которую держал в своих древних руках седой солдат.

Портреты эти очень мне нравились, и генералы, зернисто отпечатанные в известном заведении Фесенко, вызывали патриотические чувства своими черными лохматыми маньчжурскими папахами, шашками, Георгиевскими крестами. Меня восхищали длинная раздвоенная борода знаменитого адмирала Макарова, треуголка адмирала Скрыдлова, его пенсне и мундир, на котором так ярко и отчетливо блестели два ряда орденов и медалей, так что в самом слове «Скрыдлов» как бы уже слышалось их тяжелое позванивание и трение друг о друга.

Я ненавидел затесавшегося сюда генерала Стесселя, предателя, сдавшего врагу крепость Порт-Артур, тем более что, выбирая наскоро портреты, я каким-то образом взял два портрета этого подлеца, о котором у нас в доме всегда говорили с величайшим презрением.

...Сначала я хотел разорвать оба портрета Стесселя, но пожалел деньги и оставил так...

На одной из картонок я увидел знаменитого героя русско-японской войны, разведчика, рядового Рябова, известного тем, что он пробрался в китайской одежде в тыл японцев, где был пойман и расстрелян.

Японцы расстреляли его со всеми воинскими почестями.

...Рядовой Рябов, в китайской одежде, босой, стоял на коленях возле рокового столба и осенял себя крестным знамением. Я с ужасом и восхищением рассматривал его пальцы, сложенные щепоткой, и глаза, белые как у слепого. Перед ним стоял взвод японских солдат в белых гетрах, наставив свои винтовки системы Арисака в раскрытую грудь героя, на которой виднелся нательный крест. Фальшивая коса лежала тут же рядом. Рядовой Рябов бесстрашно смотрел в глаза смерти.

Я много раз уже раньше видел этот рисунок в газетах и журналах, но каждый раз слезы умиления и гордости закипали на моих глазах...

Вдоволь налюбовавшись подвигом рядового Рябова, я спрятал картинки во внутренний карман своей гимназической куртки, где хранился ученический билет и популярная записная книжка «Товарищ», убеждая себя, что сделал отличную покупку, но в глубине души меня уже грыз червь раскаяния. А поднимаясь по лестнице домой, я понял, что слишком поторопился с покупками и так глупо потратил свой двугривенный. А стоило мне только подождать до завтра, и я мог бы себе накупить на Куликовом поле множество замечательных вещей: длинную леденцовую палочку, обернутую полосатой бумажкой с махрами, дурбан — особый музыкальный инструмент в виде маленькой, сделанной из стали греческой буквы «омега», который надо было сунуть в рот, сжать зубами и дергать пальцем за тонкий стальной крючок, так что получалось густое разнотонное металлическое гудение, незаменимое для тайного утомительного гудения в классе на последнем уроке... Я мог бы покататься на карусели, побывать в балагане, где на маленькой спене кукольного театра показывали гибель броненосца «Петропавловск». Мог, наконец, полакомиться жаренным в сахаре миндалем и съесть костяной ложечкой из толстого, как лампадка, стаканчика по крайней мере две порции сахарного мороженого, наложенного большой горкой, а на самом деле пустого внутри.

...Ах, да что там говорить!..

Меня уже не радовало яркое солнце, бившее в окно и освещавшее красиво убранный пасхальный стол, и колокольный звон, так радостно плывущий над городом вперегонку с белоснежными редкими весенними облаками.

Иллюзион.

В юнкерском училище, где два раза в неделю мой папа преподавал русский язык и географию, была назначена демонстрация нового изобретения — живой фотографии братьев Люмьер. До этих пор съемки живой фотографии производились за границей, а у нас их показывали в иллюзионах. Теперь же, оказывается, и у нас в России открыли секрет живой фотографии. Разумеется, этим прежде всего, как полагается, заинтересовалось военное ведомство, с тем чтобы по мере возможности применить это изобретение для своих целей.

По этой причине предполагающаяся демонстрация живой фотографии в юнкерском училище имела в некотором роде секретный характер и посторонние не допускались.

Папа обратился с просьбой к начальнику училища, и генерал разрешил папе привести с собой меня, однако с тем условием, чтобы я ни в коем случае не разглашал результата демонстрации.

Папа строго потребовал от меня соблюдения этого условия, и я побожился ничего не разглашать.

...И вот наступил день, когда мы с папой, поднявшись по холодной парадной лестнице юнкерского училища, где в нише стоял гипсовый бюст государя императора, а невдалеке от него сидел на стуле дежурный трубач со своей медной трубой, очутились в громадном сводчатом коридоре, служившем одновременно и церковью, и столовой, и гимнастическим залом, и театром, где на маленькой сцене раза два в год юнкера-любители, загримированные, переодетые, в накладных бородах, усах и париках, разыгрывали разные водевили вроде «Аз и Ферт» «Жених из долгового отделения», «Медведь» и «Предложение» Чехова и прочее, а также устраивались дивертисменты, где те же юнкера декламировали популярные стихи и монологи из «Чтеца-декламатора», например «Сумасшедший» Апухтина, начинавшийся обыкновенно с того, что юнкер-трагик, опираясь на спинку перевернутого перед ним стула, начинал фальшивым, дрожащим баритоном:

«Садитесь, я вам рад. Откиньте всякий страх и можете держать себя свободно, я разрешаю вам. Вы знаете, на днях я королем был избран всенародно...»

Или же другой юнкер, но уже не трагик, а комик, развязным жирным голосом души общества произносил из того же «Чтеца-декламатора»:

«Солнце село за горою. Возвращался с поля скот. А хозяин на коровок любовался у ворот. Колокольчик за плотиной прозвенел, и в тот же миг, глядь, сосед его въезжает в двор на дрожках беговых. К гостю бросился хозяин:— Петр Семеныч! Вот не ждал!.. Я иду встречать скотину, а господь мне вас послал...» — что неизбежно вызывало в публике взрыв здорового хохота.

Или:

«Смотри, свинья какая с поля идет,— заметил Коле Саша,— она, пожалуй, будет, Коля, еще жирней, чем наш папаша».— Но Коля молвил: «Саша, Саша! К чему сболтнул ты эту фразу? *Таких свиней,* как наш папаша, я не видал еще ни разу!»

Нечего говорить, что тут уж юнкера-зрители валились от хохота с длинных скамеек, а у полковника, инспектора классов, колыхался живот, сотрясая хрупкий стул, поставленный впереди, рядом с креслом генерала — начальника училища, прятавшего улыбку под нафабренными немецкими усами.

Теперь на месте сцены был натянут большой полотняный экран, что придавало всей атмосфере военно-учебного заведения с его запахами солдатского сукна, вареной капусты и светильного газа, с его двумя часовыми-юнкерами возле знамени в темном чехле и дневальным за столиком возле входа нечто весьма таинственное, многообещающее.

Помещение уже было переполнено юнкерами, занимавшими ряды длинных скамеек, впереди на стульях разместилось начальство, а сзади на специально для этого случая изготовленной деревянной подставке возвышался сложный проекционный аппарат: два медных колеса с намотанной на них перфорированной, легко воспламеняющейся целлулоидной лентой и еще более сложный осветительный прибор вроде спиртово-калильной лампы, распространяющий острый запах эфира; иногда этот прибор издавал пронзительный зудящий звук. Вокруг суетились операторы, с усилиями стараясь наладить свой механизм.

Это им долго не удавалось. Начальство выражало нетерпение. Инспектор классов несколько раз вставал со своего стула и подходил к аппарату, проявляя беспокойство и строго отдавая различные приказания на случай, если вдруг возникнет пожар.

...Вообще в основном все боялись пожара, который, без сомнения, может вдруг охватить здание училища...

Мы с папой, как люди штатские, сидели сбоку на стульях, несколько позади начальства, но впереди юнкеров. Это наше полупривилегированное положение хотя и льстило моему детскому самолюбию, но все же оставляло известный неприятный осадок.

Наконец механизм был приведен в порядок и в помещении погасили газовые рожки. Белый луч осветил экран, на котором появились громадные силуэты что-то делающих рук с растопыренными пальцами, стриженых голов, носов, наконец промелькнула тень целлулоидной ленты с четкими квадратными отверстиями перфорации; тень ленты завилась, завинтилась как стружка; тени рук взяли ее за край и что-то с ней сделали, по-видимому, не без труда всунули в щелкнувший аппарат. Кто-то стал крутить ручку барабана, раздалось мерное металлическое стрекотание, и на освещенном экране появилось громадное фотографическое изображение хорошо знакомой всем нам Шестой станции большефонтанской железной дороги. Волшебство заключалось в том, что это фотографическое изображение было живое. Через полотно узкоколейки пробежала собака с хвостом как бублик; по ту сторону полотна шевелилась листва акаций и среди листвы виднелись белые солдатские палатки: летний лагерь модлинского полка; несколько человек на перроне, повернувшись к нам лицом, с любопытством, размахивая руками, что-то рассматривали — вероятно, синематографический аппарат, которым их снимали; затем вдали показались клубы пара, вылетающего из головастой трубы паровичка-кукушки, замелькали открытые летние вагончики с парусиновыми занавесками; поезд остановился, и на перрон стали выпрыгивать офицеры в белых летних кителях; замелькали фуражки в белых чехлах и блестящие шевровые сапоги, некоторые со шпорами; прошли дамы в кружевных платьях, с кружевными зонтиками...

...все это было не заграничное, не парижское, а свое, русское, хорошо знакомое, одесское, даже будка с зельтерской водой, из которой с любопытством выглядывала черноглазая продавщица в прическе а-ля исполнительница цыганских романсов Вяльцева. Я чувствовал прилив патриотизма, гордость за успехи родного, отечественного синематографа и в то же время сожаление, что в то время, когда происходила съемка, меня не было на Шестой станции и я не мог увидеть самого себя — маленького гимназистика на живой фотографии...

Чудо продолжалось минуты три, четыре — и вдруг все кончилось. Зажегся газ.

— Господа, сеанс окончен! — провозгласил чей-то торжествующий военный голос.

И я снова очутился в будничном, несколько сумрачном, несмотря на газовое освещение, мире юнкерского училища.

Начались восклицания, общее восхищение.

Кто-то кого-то узнал на экране, кто-то узнал самого себя и божился, что это был именно он, юнкер, подошедший к киоску с зельтерской водой и выпивший стакан шипучей воды с сиропом ром-ваниль.

...Так впервые в жизни я увидел чудо, и день этот не могу забыть до сих пор...

История с кошками и старым генералом.

Квартира отставного генерала помещалась в первом этаже нового дома товарищества квартировладельцев, но старуха генеральша называла это не первым этажом, а рэ-дё-шоссе. Она говорила:

— Мы живем в рэ-дё-шоссе.

Половина генеральских окон выходила на Пироговскую улицу, на длинный каменный забор военного госпиталя, помнившего еще великого военного хирурга Пирогова, а половина — во двор, куда так же выходила небольшая открытая бетонная терраса генеральского рэ-дё-шоссе.

На этой террасе генеральша варила варенье, а генерал сидел в бархатном кресле и читал черносотенную газету «Русская речь». Впрочем, он не любил сидеть на одном месте и часто, надев свою фуражку времен Турецкой кампании с огромным кожаным козырьком и довольно-таки

поношенные штиблеты на резинках, снабженные большими старомодными шпорами, которые производили громкий царапающий звон, выходил на нашу, тогда еще довольно тихую, зеленую, провинциальную улицу, где мы даже один раз с моим двоюродным братом Сашей ловили лягушек.

На улице генерал появлялся в пугающе зеленых очках, кожа его морщинистой шеи выглядывала из воротничка кителя, напоминая багровую кожу на горле индюка, крашеные усы, переходящие в седые, сизые александровские бакенбарды, длинная летняя шинель с георгиевской ленточкой в петлице, красные генеральские лампасы и зловещая, шаркающая походка внушали штатским прохожим почтение, а городовые и нижние чины испытывали трепет.

Генерала вечно пожирала жажда административной деятельности, и он чувствовал себя как бы комендантом завоеванного неприятельского города, населенного одними турками — нехристями и басурманами, с которыми нечего церемониться.

Он громким, крикливым голосом делал замечания проходящим дамам, в шляпках которых замечал торчащие длинные булавки; он кричал на дворника, плохо подметавшего улицу; он грозил своим костыльком с резиновым наконечником извозчику, едущему в нарушение правил посередине мостовой; он требовал от местных домовладельцев, чтобы они во избежание бешенства домашних животных выставляли против своих владений плошки с водой; он вырывал изо рта курящих гимназистов папиросы и тут же затаптывал их своими штиблетами; он набил морду военному фельдшеру, шедшему под руку с модисточкой, за то, что фельдшер не стал ему во фронт; он воевал с велосипедистами, а когда расплодились автомобили, то и с автомобилистами, требуя, чтобы их чертовы машины перестали вонять бензином на всю Пироговскую.

В особенности доставалось от него детям, игравшим против его рэ-дё-шоссе в классы. Он почему-то терпеть не мог этой игры, а детские чертежи и рисунки, сделанные на асфальте мелом, приводили его в ярость. Однажды он надрал уши моему брату Женьке за то, что тот нарисовал углем на стене дома пароход с дымом и рулевым колесом.

Словом, генерал был всеобщим бедствием и на него нельзя было найти управу. Он превратил жизнь нашего кооперативного дома и даже всей Пироговской улицы, начиная от Французского бульвара и кончая зданием

штаба Одесского военного округа возле Куликова поля, в зону постоянных скандалов, оскорблений и опасностей, подстерегавших жителей на каждом шагу. Генерал даже придирался к робким местным гимназистам из гимназии Белен де Балло, известной своими строгими нравами. Он кричал гимназистке, стуча по тротуару палкой:

— Убери свои патлы, паскуда!..

Положение было безвыходное. И все же в один прекрасный день и на нашего генерала нашлась управа.

Как-то ночью весь дом был разбужен отчаянным кошачьим концертом. Два или три кота из числа тех одичавших, невоспитанных, ободранных котов, которыми так славились черепичные крыши нашего города, сидя на генеральской террасе, кричали омерзительными голосами. Несколько раз в течение ночи генерал и генеральша выбегали на террасу и прогоняли котов. Но едва они укладывались в постель, коты снова начинали возню и раздирающе мяукали хором. Ночь была испорчена. Но следующая ночь оказалась не лучше. Можно было подумать, что не только все коты и кошки с Пироговской улицы, но даже множество этих животных из прилегающих переулков и даже из Ботанического сада и дачи Вальтука по совершенно непонятной, прямо-таки загадочной причине устремились на террасу генеральского рэ-дё-шоссе и учинили там вакханалию...

...Вальпургиеву ночь — как выразилась тетя...

Разнузданные, потерявшие всякий стыд и совесть коты и помятые малофонтанские кошки, крикливые, как торговки с Новорыбной улицы, кучами валялись под генеральскими окнами, оглашая тишину ночи раздирающим мяуканьем. Животные катались по террасе, прыгали, царапались в балконные двери. Клочья кошачьего меха и какой-то подозрительной ваты летали в воздухе. Генерал и генеральша выбегали среди ночи и воевали с кошками, бросая в них пустыми цветочными вазонами, кухонными скалками, щетками, тряпками. Но это не помогало. Коты и кошки буквально сбесились. Испуская страшные проклятия, в одних подштанниках, генерал выстрелил из своего боевого револьвера, но старый, заржавевший смит-и-вессон сорок четвертого калибра дал подряд пять осечек,

и генерал изо всех сил запустил им в котов, однако вальпургиева ночь не прекратилась. Доведенный до отчаяния, генерал ездил жаловаться одесскому градоначальнику, подавал прошение в городскую управу, обращался в общество покровительства животным и даже в бактериологическую станцию, полагая, что он стал жертвой какой-то странной, еще не исследованной эпидемии безумия среди домашних животных.

Никто не понимал, что же такое происходит. Все были взволнованы, озабочены.

...Только мой братец Женька и его компания как ни в чем не бывало прохаживались под окнами генерала, и по их губам с заедами от дынь скользили странные, блуждающие улыбки...

Но вот в один прекрасный день тетя полезла в свою домашнюю аптечку и обнаружила исчезновение всех запасов валерьянки. Она поймала в коридоре Женьку и взяла его за плечи.

— Что, тетечка? — спросил маленький Женька, глядя на тетю своими святыми шоколадными глазками.

— Это ты взял валерьянку? — спросила тетя.

— Да, тетечка,— ответил Женька скромно.

— Я так и думала! — воскликнула тетя, и вдруг ее губы сморщились, и она стала хохотать.

Я думаю, не нужно объяснять, что Женькина компания, отлично знавшая пристрастие кошек к валерьянке, устроила всю эту кутерьму, каждый вечер разбрасывая на генеральской террасе вату, смоченную валерьянкой.

Не помню уже, чем все это кончилось и куда потом девался генерал. Кажется, он мирно дожил до революции и в первые ее годы умер от старости, и его похороны прошли незаметно — без военного оркестра, архиерейских певчих, артиллерийского салюта и прочей чепухи.

Бадер, Уточкин, Макдональд...

Между красивым белым зданием третьей гимназии и Александровским парком находился большой городской пустырь, половину которого занимал обнесенный со всех сторон высоким дощатым забором так называемый «циклодром», то есть особое эллипсообразное деревянное сооружение — трек, где происходили велосипедные и мотоциклетные гонки. Это было, пожалуй, самое популярное

зрелище в городе. Тысячи обывателей изо всех классов общества заполняли циклодром в дни великих гандикапов, и Успенская улица, ведущая из глубины города к этому ристалищу, была покрыта клубами пыли от проезжающих извозчиков, карет и даже автомобилей, тех первых механических экипажей, похожих на извозчичьи дрожки, но без лошади, с маленьким красным радиатором, медными фонарями впереди и сигнальным рожком с гуттаперчевой грушей вроде тех гуттаперчевых груш, которые употреблялись для клизм.

Пыль поднимали также пешеходы, идущие на циклодром из рабочих окраин и слободок, целыми семьями со стариками и детьми, неся кошелки с закуской и бутылки пресной воды.

Кумиром циклодрома был Уточкин, великий гонщик на короткие дистанции, безусловный и постоянный чемпион мира, которого народ любовно называл Сережа Уточкин и обожал как одного из самых великих своих сограждан.

Почему-то в наше время Уточкин считается только знаменитым авиатором, пионером русской авиации. Однако это не совсем верно. Уточкин был вообще прирожденный спортсмен во всех областях; он был не только авиатором, но также яхтсменом, конькобежцем, пловцом, прыгуном с высоты в море, ныряльщиком, стрелком из пистолета, бегуном, даже, кажется, боксером и неоднократно поднимался на воздушном шаре, один раз даже со своим сыном-гимназистом, что у всех нас, мальчиков, вызвало ужасную зависть.

Однако во всех областях спорта он никогда не достигал совершенства и мог считаться скорее талантливым и бесстрашным дилетантом, чем настоящим профессионалом.

Единственный вид спорта, в котором он был действительно гениален,— это велосипедные гонки. Велосипед был его стихией. Не было в мире равного ему на треке. Лучшие велосипедисты мира пытались состязаться с ним, но никогда ни одному не удалось обставить нашего Сережу.

Богатые люди занимали лучшие места в первых рядах, против ровной дорожки у самого финиша, обозначенного толстой белой чертой. Люди менее денежные обычно занимали места возле старта. Остальные наполняли деревянные трибуны, чем выше, тем дешевле. А самые неи-

мущие — мальчики, мастеровые, заводские рабочие, рыбаки — покупали входные билеты и сами себе отыскивали ненумерованные места где бог пошлет, чаще всего на самой верхотуре с боков, над крутыми, почти отвесными решетчатыми виражами трека, сколоченными из реек лучшего корабельного леса, что делало их несколько похожими на палубу яхты.

Помню день великого состязания между тремя лучшими гонщиками мира: Бадером, Уточкиным и Макдональдом.

Три имени — Бадер, Уточкин и Макдональд — овладели умами, и уже ни о чем другом в нашем городе, казалось, никто не мог думать.

«...Бадер, Уточкин, Макдональд... Бадер, Уточкин, Макдональд... Бадер, Уточкин, Макдональд... Бадер, Уточкин, Макдональд...» — только и слышалось в толпе, это звучало маниакально, как три карты Германна: «Тройка, семерка, туз»...

С большими трудностями мы достали с моим другом Борей Д. двадцать копеек на входные билеты и, полузадавленные праздничной толпой, протиснулись на самый верх, где нам удалось занять места на последней скамейке, а так как оттуда сидя ничего не было видно, то мы встали на скамейку во весь рост, поддерживая друг друга, и тогда поверх бушующего моря кепок, картузов, соломенных шляп-панам и различных форменных фуражек нам удалось кое-что увидеть. Во всяком случае, мы видели небольшую часть трека, который, наверное, с большой высоты, например, из гондолы воздушного шара, напоминал овальную бельевую корзину. Под нами хорошо просматривалась добрая половина крутого виража, по которому со стрельбой и дымом моторов почти параллельно земле, как бы лежа, проносились мотоциклеты, так называемые «лидеры», за которыми как прилипшие следовали велосипеды гонщиков на дальние дистанции. Они должны были сделать десять, двадцать, даже тридцать кругов. Мы узнавали марки мотоциклов: «Вандерер», «Дион-бутон», «Индиана»...

...в особенности «Индиана». Американский мотоциклет «Индиана» был выставлен в витрине автомобильного магазина на Ришельевской улице. Среди скучных, старомодных витрин с пожелтевшей от солнца галантереей

витрина с «Индианой» представлялась чем-то как бы появившимся из будущего. Мотоцикл «Индиана», весь ярко-красный, лакированный, с намеками на те формы, которые сейчас называются обтекаемыми, весь устремленный вперед, конструктивно целесообразный, как бы летящий среди сверкающих в витрине запасных частей, вызывал в нас восторг, преклонение перед техническим гением человека, способного создать такую превосходную машину...

И конечно, красная голова индианки с перьями, воткнутыми в ее смоляные волосы, развевающиеся на ветру: вся — движение, вся — полет, вся устремленная в будущее...

Созерцанием мотоциклетов ограничивался наш интерес к состязаниям на дальние дистанции с лидером. Мы ждали появления на треке Бадера, Уточкина, Макдональда, матч между которыми на звание чемпиона мира явился главной приманкой и шел последним номером программы. Мы напрягали зрение, надеясь увидеть в открытую дверь сарая, откуда обычно выезжали гонщики, Сережу Уточкина.

Достаточно было сказать: «Сегодня я видел Сережу Уточкина», чтобы стать на некоторое время героем дня.

Среди пестрой кучи гонщиков, стартеров с флажками, судей в котелках и цилиндрах, репортеров, толпившихся на зеленом лугу циклодрома, мы старались увидеть знакомую фигуру Уточкина — невысокого, страшно широкого в плечах, короткошеего, приземистого, слегка кривоногого, с прямым английским пробором на рыжей, гладко причесанной, как бы несколько кубической голове — нечто вроде циркового эксцентрика в своем клетчатом американском пиджаке и желтых ботинках на толстой подошве фасона «Вэра». Мы услышали, как за забором, где скопилась несметная толпа безбилетных зевак, раздаются крики: «Гип-гип-ура!» — и поняли, что это приветствуют приехавшего в экипаже Уточкина. Через минуту весь циклодром уже ревел: «Гип-гип-ур-р-ра!»

Это появился на зеленом лугу Уточкин. Однако мы не могли выделить в толпе его характерную фигуру.

Мы предчувствовали, что именно сегодня к нам снизойдет величайшее счастье: мы увидим Уточкина рядом

с собой, услышим его заикающийся голос и он пройдет так близко от нас, что зацепит меня и Борю своими обнаженными руками атлета, усыпанными веснушками.

Мы не ошиблись, и вот как оправдалось наше предчувствие.

...сделавши несколько пробных кругов на своих легких изящных гоночных машинах с низко поставленными рулями и высоко поднятыми седлами, отчего головы гонщиков были опущены совсем низко, могучие спины круто согнуты, а зады подняты.

Циклодром бурно приветствовал появление Бадера — Уточкина — Макдональда, трех величайших велосипедистов XX века, так не похожих и вместе с тем так похожих друг на друга своими короткими штанишками, разноцветными фуфайками и волосатыми ногами, работающими как рычаги какой-то машины, пущенной полным ходом.

Бадер — добродушный, несколько полный, розовый немец с небольшой плешью, по-видимому, любитель хорошего мюнхенского пива, и «картофельн залад» — картофельного салата.

Затем — наш Сережа Уточкин с бодливым, несколько выгнутым низким лбом с веснушками.

И наконец, сухой англичанин Макдональд, с как бы вырезанным из дерева узким лицом и горбатым носом Шерлока Холмса над выставленным вперед волевым подбородком.

Сделав несколько кругов, чемпионы выстроились на старте, и каждого поддерживал за седло ассистент. Раздался звонок стартового колокола, духовой оркестр грянул вальс, ветер пробежал по трехцветным флагам на белых флагштоках и Бадер — Уточкин — Макдональд понеслись по треку.

Им предстояло пройти три круга.

На первом круге вперед вырвался Макдональд, самый опасный соперник Уточкина, он обогнал нашего Сережу по крайней мере на два колеса, и когда гонщики взлетели высоко на вираж, несясь почти параллельно земле, то впереди был Макдональд, немного ниже Макдональда и на колесо отставая от него, работая атлетическими, короткими ногами, мчался Уточкин, а немец Бадер потерял темп и отстал от них почти на четыре велосипедных

корпуса, опустив к рулю красное лицо, по которому уже струился пот...

Тот факт, что Макдональд занял вдруг бровку и уверенно шел первым, поверг нас в отчаяние.

— Уточкин, Уточкин! — кричали мы с Борей, едва не падая от волнения со скамейки.

А вокруг нас кричала и неистовствовала толпа рабочего люда:

— Уточкин, Уточкин!.. Давай жми, не посрами матушку-Россию! Утри нос англичанину!

Но англичанин уверенно шел впереди, и казалось, никакая сила в мире не догонит его. Несмотря на все свои усилия, Уточкину не только не удалось хоть сколько-нибудь приблизиться к Макдональду, но даже наоборот: расстояние между ними как будто стало заметно для глаза увеличиваться.

Циклодром весь как один человек ахнул от горя. Некоторые даже не стесняясь плакали. Военный оркестр сбился с такта — музыканты перестали смотреть в ноты, прикрепленные к их трубам.

Однако великие знатоки велосипедного спорта были спокойны. С хронометрами в руках они следили за Уточкиным, понимая, что Сережа хитрит, делая вид, что выжимает из своего велосипеда все, на что он способен. А на самом деле нарочно немножко отстает, с тем чтобы на последнем круге сделать свой знаменитый рывок, и перед самым финишем обойти Макдональда, и своей широкой грудью разорвать бумажную ленту.

Примерно так и получилось.

В конце второго круга, сделав головокружительный вираж и взлетев выше Макдональда аршина на два, Уточкин стал круто спускаться на прямую. Теперь он и Макдональд шли руль в руль, и английский чемпион стал чуть заметно сдавать, в то время как Уточкин все прибавлял и прибавлял ходу.

Циклодром ревел.

Но тут до этого времени как бы незаметный Бадер, ехавший сзади, вдруг рванул вперед и обошел обоих своих соперников по крайней мере на полтора колеса.

Циклодром замер, а потом застонал.

Мой друг Боря, обладавший уравновешенным, даже несколько флегматичным характером и крепкими нервами — даже немного фаталист,— стоял на скамье, скрестив-

ши руки на груди, изо всех сил сжав зубы, чтобы не застонать, и ноги у него дрожали, а у меня — мальчика более слабонервного — по щекам уже текли слезы, и мне было жалко и себя, и Борю, и Уточкина, и нашу родину Россию, и гривенники, потраченные на входной билет.

Затем все три гонщика — Бадер, Уточкин и Макдональд — ушли из поля нашего зрения и снова появились лишь на середине третьего круга, стремительно опускаясь с виража на последнюю прямую, в конце которой на ветру покачивалась трехцветная провисшая лента финиша.

Порядок гонщиков изменился: впереди, изо всех сил шинкуя своими белыми толстыми ногами, мчался немец Бадер, и его светлые волосы развевались на ветру; за ним еле поспевал Уточкин, а грозный англичанин Макдональд отстал на четыре машины и уже, как видно, не имел никаких шансов финишировать не только первым, но даже вторым.

Пролетая под нами, Уточкин опять сделал свой непостижимый рывок и в мгновение ока оказался на полколеса впереди Бадера.

Рев циклодрома заглушал победные звуки оркестра.

— Уточкин, браво! Жми, Сережа! Ура, Уточкин! — неслось со всех сторон, и вдруг среди этого общего гама рядом с нами раздался почти детский, визгливый жлобский голос с сильным пересыпским акцентом:

— Держи фасон, рыжий!

А надо вам сказать, что Уточкин хотя, в общем, был человек довольно добродушный, но, как все рыжие и заики, обладал повышенной чувствительностью ко всякого рода намекам и приходил в бешенство, даже в исступление, если его называли заикой или рыжим. Непонятно, каким образом до его слуха среди общего гама донеслось слово «рыжий», но только — помнится — вдруг произошло нечто невообразимое. Уточкин оглянулся, сбавил ход, подъехал к обочине и, прислонившись к столбу вместе со своим велосипедом, стал отвязывать ступни ног, намертво привязанные ремнями к педалям. Затем, не обращая внимания на свой упавший велосипед, мерным, но стремительным шагом, согнув по-бычьи голову, пошел напрямик прямо сквозь толпу, шагая через скамейки трибун, мягко расталкивая зрителей голыми локтями, кратчайшим путем к тому месту, откуда раздался крик: «Рыжий!»

Уточкин шагал вверх прямо на нас, и лицо его с широким выгнутым лбом, осыпанным веснушками, было ужасно.

Оттолкнув меня и Борю, он безошибочно отыскал в толпе мальчишку, который крикнул «рыжий», и взял его обеими руками за плечи. Мальчик затрясся, скрючился, слезы брызнули из его глаз и потекли по пестрому лицу с выгоревшими глазами и облупленным носом.

— Дяденька,— взмолился он,— я больше не буду.

Но Уточкин был неумолим.

— Э...то т...ты, байстрюк, з...закричал м...мне р...р...рыжий?

После этих слов Уточкин поднял пересыпского мальчика выше своей кубической головы.

— И ч...чтоб я т...тебя здесь больше н...никогда не видел! Т...тебе н...не м...м...место н...на порядочном ган... ган...ган...ган...гандикапе, — с усилием выговорил Уточкин трудное слово «гандикап» и осторожно выбросил пересыпского мальчика через забор, где пересыпский мальчик удачно сел в мусорную кучу, поросшую пасленом с его мутно-черными ягодами, густо покрытыми августовской пылью, а Уточкин тем же путем возвратился на трек, сел на велосипед, предварительно прислонив его к столбу, и привязал свои ноги к педалям.

...Ввиду этого исключительного происшествия судьи остановили гонки и, посовещавшись, прибавили еще три круга, и Уточкин, обойдя сначала Макдональда, а потом опередив на четверть колеса Бадера, финишировал первым и под овации циклодрома и звуки марша сделал круг почета с куском трехцветной ленты, прилипшей к его атлетической груди, а проезжая мимо того места, где мы стояли с Борей, посмотрел вверх и погрозил пальцем.

Эрнест Витолло.

Папа Юрки Козлова, маленького мальчика, совсем недавно поселившегося в Отраде, был интеллигентный пьяница, бодрый, бородатый, курносый старичок в котелке, модном жакете и золотом пенсне, которое то и дело соскальзывало с его неудобного носика и повисало на черной шелковой ленте.

Юркин папа ездил на извозчике куда-то на хорошую службу, может быть даже в банк, и часто возвращался

вечером домой, слегка спотыкаясь и как бы валясь вперед, с кожаным саквояжем в руках. Проходя мимо нас, он всегда весьма добродушно с нами раскланивался, несколько юмористически приподнимая котелок на белоснежной шелковой подкладке с золотыми буквами, и весело говорил в нос:

— Вот, детки, запасся на вечер пивцом Санценбахера.

Мама Юрки Козлова была гораздо моложе своего старенького мужа и считалась у нас в Отряде шикарной дамой. Она часто ссорилась со своим мужем, и в открытые двери их балкона долетал до нас ее презрительный голос:

— Вы старый, выживший из ума идиот, половая тряпка, и я вас презираю, Кокю!

Что такое значило это загадочное слово «кокю» — мы не знали.

Время от времени мадам Козлова, красивая, намазанная, в боа из страусовых перьев, в большой парижской шляпе с золотой кольчатой сумочкой в руке, благоухая французскими духами, садилась на извозчика и возвращалась домой уже поздно вечером, когда старик Козлов с тлеющей сигарой в руке на отлете, в одном пикейном жилете спал в гостиной на диване, с блаженной улыбкой на курносом лице.

Брошенный на произвол судьбы маленький Юрка Козлов, миловидный, как мать, и смешной, как отец, превратился в настоящего уличного мальчишку, знал многое из того, о чем другие мальчики лишь смутно догадывались, и, случалось, царапал ножом на ракушниковой стене непристойные слова, а также делал всякие неприличные жесты, вероятно сам плохо соображая, что он делает, мне кажется, он делал это бессознательно, а в общем, был добрый, уживчивый мальчик.

И вот однажды, когда мы с Юркой играли в тёпки на возилки и я уже собирался сесть верхом на проигравшего Юрку, с тем чтобы он отвез меня от тёпки до меты, на поляне появился Юркин папа, веселый, курносый, под хмельком, и предложил своей московской скороговоркой повезти нас с Юркой на полет воздушного шара.

Об этом я и мечтать не смел!

Обычно я видел воздушный шар уже в полете высоко над городом, или над морем, или в небе между домами, и следил за ним до тех пор, пока он не скрывался в облаках, за крышами.

В те времена многие увлекались этим видом спорта, а также устраивали полеты воздушного шара с коммерческой целью. Появилось множество бродячих аэронавтов, которые разъезжали по городам, где имелись газовые заводы для того, чтобы можно было на месте наполнять оболочку своего воздушного шара светильным газом. Обычно они ездили на поезде в третьем классе, а оболочку, сетку и гондолу, проще говоря, особую ивовую плетеную корзину, отправляли багажом малой скоростью. Их развелось такое множество, что они уже почти не делали сборов, тем более что большинство зрителей наблюдали полет шара бесплатно: ведь небо было общее, так сказать, божье, а покупать билеты лишь для того, чтобы присутствовать при наполнении оболочки светильным газом и видеть «старт» — на это охотников уже почти не находилось. Аэронавты прогорали. Для того чтобы привлечь зрителей, приходилось прибегать к разным цирковым трюкам: один воздухоплаватель поднимался на трапеции, другой обещал, если позволит погода, прыгнуть с парашютом, третий объявлял, что полетит вместе с женой и маленькими детьми.

...Сегодняшний аэронавт выпустил громадную печатную афишу, где говорилось, что он взлетит, сидя верхом на велосипеде...

Несмотря на это, когда мы с Юркой и его папой с шиком подъехали на извозчике с дутыми шинами, то оказалось, публики совсем мало. В дощатой будке жена аэронавта с напудренными щеками продавала билеты, и по ее удрученному виду было заметно, что сбор совсем плохой, не хватит даже на оплату светильного газа.

Юркин папа с благоухающей сигарой во рту открыл портмоне, полное бумажных, серебряных и даже золотых денег, и взял три билета первого ряда, каждый билет по семьдесят пять копеек.

Я никогда не видел столько денег у одного человека!

Я понял, что Юркин папа очень богат, и понял также, на что намекали у нас в Отраде, когда говорили:

— Мадам Козлова — красавица; она вышла за господина Козлова, Юркиного папу, старичка и пьяницу, из интересу.

При входе на пустырь, где были вбиты в землю деревянные скамейки для зрителей, стоял пожарный в медной каске, который попросил Юркиного папу погасить сигару: курить строжайше запрещалось во избежание взрыва газа.

И тут я увидел нечто запомнившееся мне на всю жизнь гораздо больше, чем сам полет воздушного шара: Юркин папа вынул изо рта сигару, но не бросил ее на землю и не затоптал ногами, а бережно спрятал в особую серебряную штуку, состоящую из двух створок, где можно было сохранить недокуренную сигару, защелкнул створки, как портмоне.

Юркин папа, сутулясь, спрятал машинку с погашенной сигарой в боковой карман своего бархатного пиджака, откуда торчал кончик шелкового лилового платочка, и я понял смысл того, что молодая красавица вышла замуж за старичка «из интересу».

Мы уселись в первом ряду на нищенскую, дощатую, даже не обструганную скамейку, настолько высокую, что мои и Юркины ноги не доставали до земли; мы стали смотреть на резиновую кишку, которая, как змея, выползала из-под ворот газового завода, все время пошевеливаясь от напора светильного газа, который тек по ней в шелковую, прорезиненную оболочку воздушного шара, пока еще бесформенно распластанную на земле и покрытую сеткой с тяжеленькими мешочками песка по ее краям. Вокруг шевелящейся оболочки ходил сам аэронавт в пиджаке с поднятым воротником, накинутом на плечи, и внимательно осматривал латки, прилепленные резиновым клеем к прохудившимся частям оболочки. Напускание газа тянулось томительно долго и нудно, по крайней мере часа два, и мы решительно не знали, что нам делать, и ерзали на неудобной скамейке, болтая ногами. Зрелище напускания в оболочку газа не представляло никакого интереса.

Наконец оболочка постепенно вспухла, надулась, поднялась и заполнила все пространство стартовой площадки, сделавшись грушеподобной и легкой, покачиваясь под сеткой на фоне старой ракушниковой стены газового завода, посеревшей от времени, и акаций, растущих вокруг пустыря.

...это была малознакомая часть города, где-то в конце Софиевской, за городской библиотекой, где улица как бы висела над портом, и отсюда открывался неожиданно новый, прекрасный вид на Пересыпь, Жевахову гору, Дофиновку и поля за Дофиновкой, а подо мною внизу виднелись черепичные и железные крыши, покрытые, как мухами, людьми, желающими бесплатно наблюдать за полетом. Людей на крышах и на деревьях было несметное множество, в то время как на стартовой площадке платных зрителей можно было счесть по пальцам, и это отражалось на мрачном, худом лице аэронавта, делавшего последние приготовления к полету.

Теперь шар уже заметно округлился, увеличился в объеме, и для того, чтобы он не улетел, несколько пожарных держали его корзину с якорем и гайдропом, то есть длинной веревкой, за которую можно было бы подтянуть шар в момент его посадки на землю.

Ветер с залива, видневшегося как на ладони, все сильнее и сильнее раскачивал громадную тушу воздушного шара, надувавшегося так сильно, что под натянувшимися ячейками сетки он казался как бы стеганым.

...Аэронавт скинул с себя пиджак, вылез из штанов и оказался в полинявшем лиловом трико, как уличный акробат. Он обошел круг зрителей с высоко поднятой для приветствия худой рукой, а затем начал прощаться с женой, вышедшей к нему из будки. В одной руке она бережно держала проволочную зеленую кассу с выручкой, а другой обняла мужа. Они театрально поцеловались, хотя на стареющем, некрасивом лице жены со следами нищенской жизни выразилось настоящее, неподдельное беспокойство, даже горе. Аэронавт вскарабкался на облезлый велосипед, привязанный на длинной веревке к корзине шара.

— Отпустить стропы! — скомандовал он пожарным, удерживающим шар.

Шар не торопясь поплыл сначала в одну сторону, поднимаясь и волоча за собой велосипед с аэронавтом, повисшим в воздухе, затем вернулся, поболтался над нами и, подхваченный воздушным течением, начал быстро и плавно уходить в чистое осеннее небо, еще более яркое от лимонно-желтой листвы акаций, оставшихся внизу. Маленькая фигурка аэронавта в балаганном трико делала руками прощальные жесты и посылала воздушные поцелуи уходящей вниз земле. Потом он перелез с велосипеда

на висящую рядом трапецию и сделал на ней несколько акробатических номеров уже над заливом, куда бриз плавно, почти незаметно уносил уменьшающийся воздушный шар с его якорем, гайдропом и мешочками балласта. Затем аэронавт перелез в корзину, и старт был закончен.

...мы следили за шаром, который уносило вдаль, в открытое море, где он стал снижаться и наконец сел на воду, и как мы узнали на другой день из газет, все обошлось благополучно: его подобрали портовые катера, но оболочка потонула...

Мы ехали домой с Юркой и Юркиным папой на извозчике, и Юркин папа докуривал свою сигару, и его курносое лицо в пенсне напоминало лицо Эмиля Золя, а перед моими глазами стояла картина прощания аэронавта со своей некрасивой, измученной женой, одной рукой обнимавшей голую шею мужа, а другой прижимавшей к груди зеленую проволочную кассу с жалкой выручкой.

И вокруг них кисло пахло светильным газом.

...Бутылка.

...оказалось, что, замерзая при температуре ниже нуля и превращаясь в твердое тело, лед, вода расширяется. Я даже где-то прочел, что если герметически закупоренный сосуд, до самых краев наполненный водой, заморозить, то вода в момент своего превращения в лед разорвет сосуд, из какого бы крепкого металла он ни был сделан. То есть, собственно, разорвет сосуд уже не вода, а сделавшийся там лед. Но это не важно. Важно, что сосуд разорвет...

Так у меня родилась идея сделать стреляющую бутылку. Дело простое: берется бутылка, наливается до самых краев водой, крепко забивается хорошей пробкой, выставляется на мороз — и через некоторое время она выстрелит пробкой, как из пистолета, а если пробка окажется слишком неподатливой, то сама бутылка со страшным грохотом разорвется, как граната.

Тоже неплохо!

Я достал бутылку из-под хлебного кваса, наполнил ее до самого верха водой, заткнул пробкой и для верности еще хорошенько пристукнул пробку малахитовым пресспапье с папиного стола.

На дворе был мороз, но еще недостаточно сильный для исполнения моего замысла. Однако я рассчитывал, что к ночи температура понизится. Закат пылал, предвещая трескучий мороз. Вечерняя вьюга намела сугроб перед флигельком, где жила старушка Языкова, внучка известного поэта, друга Пушкина.

Когда стемнело, я прокрался во двор и установил свою бутылку, как орудие, нацелив его в окошко старушки Языковой, где по ледяным узорам изнутри дробились разноцветные огоньки лампадок перед домашним иконостасом. Я рассчитывал — пробка вылетит и попадет прямо в окно старушки Языковой.

Лично я ничего не имел против старушки Языковой. Я даже ее любил. Она частенько зазывала меня к себе и угощала халвой и очень вкусным вареньем. Однажды она, узнав, что я сочиняю стихи, подарила мне как будущему поэту на память об ее дедушке Языкове маленькую серебряную кофейную ложечку с выгравированной буквой «Я».

Но меня так увлекло желание произвести выстрел из бутылки, что я даже не подумал о том, что могу разбить старушкино окно и до смерти напугать старушку, которая так мирно и одиноко жила — во всем черном, как монашка,— среди своих гарднеровских и поповских чашек, портретов, дагерротипов, икон и лампадок.

«...Язы́ков, кто тебе внушил твое посланье удалое? Как ты шалишь, и как ты мил»...

Ночью мне снились взрывы бомб, и я видел в своих сновидениях, как пробка с треском и звоном разбивает окно старушки Языковой. Среди ночи я проснулся и подошел босиком по холодному полу к окну, чтобы удостовериться, усилился ли мороз. Замерзшее окно искрилось от ярких январских звезд, и я успокоился: мороз на дворе стоял трескучий.

Утром, закутанный в желтый верблюжий башлык, который щекотал ворсом мои губы, по дороге в гимназию я с замиранием сердца подошел к сугробу с бутылкой, направленной в оконце старушки Языковой. Бутылка ле-

жала на своем месте. Из ее горлышка высовывался ледяной стержень замерзшей воды, а пробка валялась рядом в снегу. Ни выстрела, ни взрыва, по-видимому, не произошло. Превращаясь в лед, вода просто бесшумно выдавила пробку, а сама бутылка, набитая льдом, слегка треснула по диагонали.

Вот и все...

С души у меня свалился камень, и я впервые пожалел одинокую добрую старушку. А она, бедненькая, наверное, даже и не подозревала, какая беда готовилась ей ночью, и спокойно, грустно, одиноко пила свой утренний кофей с пенками из поповской ультрамариновой, местами золоченной чашки, расписанной яркими цветами, из которой, быть может, некогда кушал ее знаменитый дедушка.

Футбол.

Забыл имя и фамилию этого великовозрастного гимназиста седьмого класса — кажется, это был старший брат Юрки, — но хорошо помню его наружность: долговязый, узкогрудый, с воспаленными глазами, всегда смотрящими куда-то мимо, вкось, и его слюнявый рот, нагло и в то же время блудливо улыбающийся. Он ходил большей частью без пояса, что строго запрещалось. Когда его спрашивали, где его пояс, он дурашливым голосом отвечал, что забыл его вчера вечером в... Он спокойно произносил то уличное, солдатское слово, от которого мы все заливались до корней волос густым румянцем стыда.

Все внушало в нем страх и отвращение, в особенности фиолетовые прыщи на шее и небольшая серо-розовая сыпь по лбу.

Однажды этот старший гимназист остановил меня на большой перемене в коридоре, по которому я осторожно нес из буфета стакан чая, накрытый плюшкой. Как бы равнодушно глядя мимо меня в окно, он сказал:

— Пссс, хочешь записаться в футбольную команду?

— А что? — спросил я.

— В нашей гимназии,— сказал он,— решено организовать футбольную команду! Имеешь понятие, что такое футбол?

Я ответил, что имею, хотя представление мое было весьма смутно: футбол появился лет двадцать или три-

дцать назад в Англии и только сейчас начинал входить у нас в моду. Я знал о нем лишь то, что бьют ногами по большому кожаному мячу и существуют особые футбольные команды, как, например, в нашем городе команда ОБАК, то есть Одесского Британского атлетического клуба, составленная из англичан, проживающих в нашем городе. До меня доходили слухи, что там есть какие-то знаменитые игроки Джекобс и Бейт. В особенности прославился Бейт изобретенным им ударом пяткой по мячу через голову, так что этот удар получил название «бейт».

«Он дал знаменитого бейта!»

Некоторые мои товарищи даже побывали на футбольном поле англичан, где-то за Малым Фонтаном, и собственными глазами видели, как быстро бегает Джекобс и как громадный, тяжелый Бейт «дает мяча сзади через голову».

Микроб футбола уже носился в воздухе, и я почувствовал страстное желание сделаться футболистом и давать через голову «бейта».

Заметив мое волнение, семиклассник сказал:

— Внесешь полтинник, и я тебя включу в команду.

— У меня нет,— сказал я.

— Принесешь завтра. Я подожду. Скажи родителям, что футбол укрепляет здоровье. На такое дело они дадут.

Семиклассник оказался прав. Папа, который любил поговорку «в здоровом теле здоровый дух» и даже иногда произносил ее по-латыни, выдал мне полтинник, выразив при этом лишь опасение, чтобы спорт не слишком отвлек меня от гимназических занятий. Я побожился, что на занятиях футбол не отразится, и на другой день вручил полновесный, серебряный полтинник с выпуклым профилем государя императора семикласснику, который деловито сунул его во внутренний боковой карман, где уже позвякивали другие полтинники, собранные в младших классах. При этом семиклассник вынул лист бумаги и к длинному ряду фамилий приписал мою, заметив, что деньги пойдут на покупку кожаного мяча.

— Теперь жди,— сказал он,— скоро я приобрету мяч и тогда вызову всех вас на тренировку.

Я ждал вызова на тренировку довольно долго, но все-таки дождался.

— Придешь сегодня ровно в пять часов на Михайловскую площадь, рядом с циклодромом, против Третьей

гимназии. И не забудь захватить с собой футбольный костюм.

Я не имел понятия, что из себя представляет футбольный костюм, но у меня не хватило духу в этом сознаться.

— Тетечка! — закричал я, едва переступив порог квартиры.— Умоляю! Я сегодня иду на футбольную тренировку, и мне обязательно нужен футбольный костюм. Тетечка!

Так как ни я, ни тем более тетя понятия не имели, что такое футбольный костюм, то тетя, обладавшая большим вкусом и практической сметкой, быстро придумала, как меня одеть для элегантной английской игры с таким расчетом, чтобы это было красиво, практично и имело спортивный вид.

Ботинки и брюки остаются прежние, решили мы с тетей, а вместо нижней сорочки и куртки надевается полосатая матросская фуфайка — тельняшка,— имевшаяся в моем гардеробе. Подтяжки были отменены как не имевшие спортивного вида, а вместо них тетя приспособила свой старый широкий пояс из черной резиновой ленты с декадентской двустворчатой пряжкой, который носили дамы при кофточке и гладкой длинной суконной юбке. Этот пояс, соответственным образом ушитый, должен был поддерживать мои брюки.

Осмотрев себя в зеркало, я нашел, что имею весьма спортивный вид: сразу заметно, что я футболист.

В таком виде я и появился на площадке между Третьей гимназией и циклодромом, откуда слышалась пальба и треск тренирующихся мотоциклистов.

Игра в футбол уже началась. Во всяком случае, тучи пыли, пронизанные послеобеденным солнцем, висели в несколько слоев над площадью и слепили глаза, так что я никак не мог сообразить, что это делается и в чем заключается игра.

Мимо меня туда и назад бегали, лупя ногами большой кожаный мяч, старшеклассники в цветных особых рубашках — как я потом узнал — футболках, коротких штанах, еле закрывающих колени, и в вязаных чулках над особыми футбольными башмаками с твердыми круглыми носками и подошвами на шипах. По-видимому, это и был настоящий футбольный костюм.

Некоторые младшеклассники бегали за мячом в своей обычной гимназической форме, и их черные суконные брюки были до колен покрыты пылью.

Один лишь я стоял посреди поля, чихая от пыли и жмурясь на склоняющееся осеннее солнце, от которого в глазах плавали синие тени.

С трудом я нашел среди этой кутерьмы своего семиклассника и спросил, что же мне делать.

Он косо посмотрел на мой странный костюм и пустил в сторону длинную струю плевка.

— Ты что, шансонетка? — спросил он с похабной улыбочкой.

Затем он сказал, что пока я буду крайним хавбеком, а потом посмотрим, и чтобы я в следующий раз приходил в футбольной форме, а то меня не допустят до игры.

Я хотел расспросить его, в чем заключается игра, что такое хавбек и куда надо бить мяч, но он уже отбежал от меня вихляющей рысью, со старой фуражкой на затылке, со свистком в слюнявом рту: оказывается, как я впоследствии узнал, он был рефери, то есть, как теперь говорят, судья, и часто свистел в свой металлический разнотонный свисток, то и дело останавливая игру и делая футболистам непонятные мне замечания.

Иногда возле меня катился мяч, и тогда все вокруг кричали хором:

— Бей! Чего ж ты не бьешь! Мазила!

Но так как я решительно не понимал, куда надо бить, и чувствовал себя как бы связанным в своем несуразном костюме, то все мое двухчасовое пребывание на пустыре в клубах жаркой пыли превратилось в подлинную пытку.

Несколько раз, впрочем, мне удалось ударить по твердому, как камень, мячу, но мяч под общий смех отлетал куда-то в сторону, и носок моего ботинка лопнул по шву. Раза два на меня налетали футболисты и сбивали с ног, так что я весь вывалялся в пыли и мои черные штаны казались от пыли бархатными, а полосатая тельняшка пропотела под мышками и даже на спине.

На другой день, получив от папы решительный отказ купить мне футбольный костюм, с настоящими футбольными бутсами и настоящими футбольными чулками, поверх которых иногда привязывались еще специальные щитки — шингардты,— что все вместе стоило бешеных денег — рублей восемь! — я поймал на большой перемене

семиклассника и попросил его вычеркнуть меня из списка футбольной команды и вернуть мой полтинник.

Из списка семиклассник меня тут же вычеркнул, послюнив анилиновый карандаш, оставивший на его губах лиловые пятна, а полтинник, косо глядя мимо меня куда-то вдаль воспаленными узкими глазами, обещал вернуть на днях.

Сказав это, он удалился своей развинченной походкой, без пояса, который он опять где-то вчера забыл. Нечего и говорить, что своего полтинника я так никогда и не получил, а от первой моей игры в футбол на всю жизнь сохранилось впечатление густых, многослойных клубов сентябрьской пыли, сквозь которые горело над крышами Французского бульвара жаркое, лучистое, нестерпимо оранжевое солнце.

Мы тогда еще не знали, что в футбол надо играть на зеленом лугу; даже английские футболисты из клуба ОБАК играли где-то в районе Малого Фонтана на пыльной площадке, лишенной растительности. В нашем городе вообще плохо росла трава и уже в конце весны выгорала.

Больше всего в этой игре мне понравилось, как надувают толстый кожаный мяч. Его надували велосипедной помпой, и упругие звуки надувания волновали меня. А потом надутый мяч, который крепко пах хорошей английской кожей, зашнуровывали тонким ремешком, как ботинок, и он особенно звенел от удара ногой.

А в общем, футболиста из меня не вышло.

Соперник.

Все было хорошо, но как только на улице появлялся Стасик Сологуб, все делалось плохо. Девочки переставали обращать на нас внимание, игра в перебежку между стволами акаций сама собой прекращалась и центром внимания делался Стасик. Он обычно выезжал из своего переулка на новеньком велосипеде марки «Дукс», ценой в сто десять рублей, и сперва несколько раз проезжал перед нами, снисходительно улыбаясь девочкам, которые млели при виде его молодцеватой посадки, его диагоналевых брюк со штрипками, работы хорошего портного, его твердого белоснежного воротничка с отогнутыми уголками и форменной фуражки с лакированным ремешком, который

он для большего фасона натягивал на свой красивый подбородок. Он был старше нас всех, уже настоящий молодой человек, восьмиклассник с довольно заметными бачками, с едва-едва прорастающими усиками, которые так шли к его смугловато-оливковому лицу и синим глазам доброго красавца.

Как только он слезал со своего звенящего велосипеда и небрежно прислонял его к стволу дерева, все мы, мальчики, как бы переставали существовать в глазах девочек. Девочки так и льнули к Стасику. А он как ни в чем не бывало вынимал из серебряного портсигара папироску, вставлял в алый ротик, зажигал и пускал голубые кольца дыма из ноздрей своего римского носа, под бровями, сросшимися на переносице, как у одного из героев «Кво вадис» Сенкевича, некоего красавца Виниция.

Явный успех Стасика у наших девочек причинял мне страдания, так как в это время я был тайно влюблен в кудрявую итальянку Джульетту с черновиноградными глазами, жившую рядом с нами в доме Фесенко.

Джульетта не была лучше всех наших девочек, но она была итальянка, дочь агента пароходного общества «Ллойд Триестино», да еще к тому же носила божественное имя Джульетта, так что не влюбиться в нее с первого взгляда было выше моих сил. Она была года на два старше меня и относилась ко мне хотя и чуть-чуть свысока, но вполне дружески, примерно так, как к своему младшему брату Петрику. Однако в моих глазах это почему-то представлялось чуть ли не влюбленностью.

Во всяком случае, на вопрос гимназических товарищей, почему я такой кислый, я имел обыкновение загадочно отвечать с подавленным вздохом:

— Ах, не будем об этом говорить... Ее зовут Джульетта — и больше ни звука!..

Глядя на Стасика, Джульетта то вспыхивала, как роза, то белела, как лилия.

Надо отдать Стасику справедливость: он очень мало интересовался девочками, в том числе и Джулькой. Больше всего его занимала его собственная внешность, ремешок на породистом подбородке, подрастающие усики, напоминающие пока черные реснички, а главным образом езда на велосипеде, на котором он без устали объезжал все четыре улицы Отрады, такие тихие и такие тенистые.

К нам, мальчикам, он относился довольно хорошо и даже изредка позволял прокатиться на своем «Дуксе» с педальным тормозом.

И все же, видя, как «моя» Джульетта нежно смотрит на Стасика, я бесился от ревности. Мою душонку охватывала жажда самого ужасного мщения. Мои чувства разделял мальчик-гимназист по кличке Здрайка — не помню его фамилии. Это именно Здрайке пришла в голову мысль, как отомстить Стасику и сбить с него фасон.

Прежде всего для этого, как всегда, требовались деньги. Мы сложились со Здрайкой и приобрели в мелочной лавочке Коротынского предметы, необходимые для выполнения нашего адского плана. Были куплены: коробка шикарных папирос «Зефир» фабрики «Лаферм» и за три копейки шутиха. Мы высыпали из одной папиросы табак и вместо него насыпали в гильзу порох из шутихи, а сверху, чтобы не было ничего заметно, заделали гильзу табаком.

На другой день, сгорая от нетерпения и страха, мы дождались, когда наконец на своем «Дуксе» приехал Стасик, а потом Здрайка протянул ему голубую коробочку «Зефира» и неестественно правдоподобным голосом сказал:

— Угощайся.

— Мерси,— ответил прекрасно воспитанный и вежливый Стасик.

Тогда я ловко вынул из коробочки набитую порохом папиросу — на вид такую невинную — и подал ее Стасику.

Стасик еще раз сказал «мерси» — на этот раз уже мне,— сунул папироску в рот, сел на велосипед, закурил от спички, которую ему предупредительно сунул Здрайка, и, в третий раз сказав «мерси», оттолкнулся от акации, заработал педалями и, ловко выпуская из ноздрей длинные ленты дыма, помчался по улице; как раз в тот момент, когда он поворачивал с Отрадной на Морскую, из его папиросы с треском вырвался язык разноцветного, преимущественно зеленого, пламени и посыпался золотой дождь.

Мы со Здрайкой похолодели. Мы были уверены, что Стасик сию минуту свалится с велосипеда, уткнувшись в мостовую обгоревшим лицом. Мы уже пожалели о своей выдумке, поняли всю ее мерзость. Позднее раскаяние охватило нас. Мы готовы были броситься к нашему врагу на помощь. Но чем мы могли ему помочь?

К нашему удивлению, Стасик не только не свалился с велосипеда, но, выплюнув дымящийся мундштук папиросы, продолжал как ни в чем не бывало крутить ногами, затем скрылся из глаз и вскоре подъехал к нам с другой стороны, щегольски сложив на груди свои аристократические руки в белоснежных манжетах с серебряными запонками.

Бежать? Эта мысль одновременно пришла и мне и Здрайке. Но так же одновременно мы поняли, что этим постыдным бегством мы бы навсегда потеряли уважение девочек. Мы решили драться со Стасиком до последнего дыхания.

Однако Стасик, по-видимому, и не думал о мести. Доехав до ближайшей акации, он притормозил велосипед и, не слезая с седла, облокотился о серый, потрескавшийся вдоль ствол дерева, увешанного душистыми гроздьями белых цветов. Он милостиво нам улыбнулся и полез в карман за платком, чтобы вытереть копоть, покрывавшую его римский нос. Других изъянов от нашего взрыва он не получил.

...Его небольшой полупрозрачный батистовый носовой платочек имел на уголке вышитую гладью маленькую графскую корону...

Жалко было пачкать такой платок!

Тогда к Стасику подбежала «моя» Джульетта с красной ленточкой в черных кудрявых волосах и, заалев как маков цвет, послюнила свой кружевной платочек и, приподнявшись на носках, вытерла римский нос Стасика.

— Мерси,— сказал Стасик, закуривая папиросу из серебряного портсигара с золотыми монограммами, а затем в виде благодарности посадил итальяночку на раму своего «Дукса» и сделал с ней по Отраде два или даже три круга.

У меня — да не только у меня одного, но и у нас у всех, мальчиков и девочек,— сложилось такое впечатление, что во время этой поездки при бледном свете большой зеркальной луны, уже успевшей подняться из моря, Стасик и Джулька целовались.

Роковое клеймо.

Приближалось столетие со дня окончания Отечественной войны 1812 года и победы России над дванадесятью язы́ками. «Языками» назывались народы, а «дванадесять» значило, что их было двадцать, а не двенадцать, как думали люди, не знавшие церковнославянского языка.

Сто лет назад русские войска победили великого Наполеона, занявшего было первопрестольную Москву, и лютой зимой изгнали из пределов нашего отечества дванадесять языков — союзников Наполеона,— а сам Наполеон, позорно бросив остатки своей разгромленной, голодной, замерзающей армии, на легких саночках укатил по Смоленскому шоссе обратно в Париж.

В нашем городе готовились патриотические вечера, спектакли, концерты, лекции, военный парад на Куликовом поле.

Нечто подобное было уже три года назад, когда праздновалась победа над шведами под Полтавой и на Куликовом поле был установлен громадный, сделанный из дерева бюст Петра Великого в треуголке. Мимо него под звуки преображенского марша прошла стрелковая «железная бригада» и модлинский полк, а затем, расходясь по казармам, солдаты пели молодецкую песню: «Дело было под Полтавой, дело славное, друзья, мы дралися там со шведом под знаменами Петра».

Звуки этой песни, где также говорилось, что «наш великий император — память вечная ему! — сам командовал войсками, сам и пушки заряжал», грозно и четко, с присвистом разносились по городу, вселяя гордость за нашу непобедимую отчизну.

Не помню, был ли у нас тогда в гимназии какой-нибудь торжественный вечер, посвященный этому событию. Вероятнее всего — нет, так как празднование происходило летом, когда гимназия была распущена на каникулы.

Теперь же, зимой, предстояло торжественное литературно-художественное утро, посвященное победе над Наполеоном; директор произнесет вступительную речь, учитель истории прочтет реферат о великом всемирно-историческом значении событий 1812 года, хор гимназистов исполнит национальный гимн, а также известную патриотическую песню: «Раздайтесь, напевы победы. Пусть рус-

ское сердце вздрогнёт. Припомним, как бились деды в великий Двенадцатый год».

Больше всего меня волновало, что предполагаются выступления наиболее одаренных гимназистов-декламаторов, которые прочтут подходящие к случаю стихотворения. Я был очень высокого мнения о своих артистических способностях, в особенности после того, как в подвале дома Женьки Дубастого, где мы устроили театр, я с гневными жестами и завываниями прочитал единственный хорошо мне известный монолог Чацкого из «Горе от ума», причем, дойдя до конца и злобно выкрикнув знаменитую фразу: «Карету мне, карету!» — затопал ногами и ринулся за сцену, зацепившись за веревку от занавеса, так что занавес сорвался с проволоки, накрыл меня и я потом из него еле выпутался и целую неделю говорил шепотом, так как надорвал себе голосовые связки.

Теперь я ни минуты не сомневался, что меня включат в программу патриотического утра, и уже заранее предвкушал свой триумф. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что в списке будущих декламаторов моя фамилия отсутствует. Раз десять перечел я коротенький список, напечатанный на пишущей машинке в гимназической канцелярии и прикрепленный кнопками к дверям учительской. Каждый раз отсутствие моей фамилии казалось мне обманом зрения, и я снова и снова перечитывал список.

...увы, моей фамилии не было!..

Я разыскал в коридоре нашего классного наставника, латиниста, поляка Сигизмунда Цезаревича, которому была дана странная, ни на что не похожая, глупейшая кличка Сизик, и дрожащим, подхалимским голосом пожаловался, что меня пропустили в списке выступающих.

Сизик благосклонно выслушал мои жалобы и, погладив белой рукой с тонким обручальным кольцом каштановый ежик волос на голове и острую мушкетерскую бородку, произнес какую-то нравоучительную латинскую поговорку, имевшую тот смысл, что, мол, всяк сверчок знай свой шесток, прибавив уже по-русски, но с польским акцентом, что при моих тихих успехах и громком поведении вряд ли я могу рассчитывать на честь участвовать в патриотическом утре.

Я чуть не заплакал от обиды, но, шаркнув ногами и

отвесив Сизику положенный по гимназическим правилам поклон, поплелся в уборную и заперся там в кабине, вытирая кулаком слезы, уже катившиеся по моим щекам. Затем меня охватила жажда деятельности. Я стал придумывать, как бы помочь горю. В конце концов мне пришла идея сочинить патриотическое стихотворение, и уж тогда наверное мне разрешат выступить на утре.

Дома я принялся за дело, и к вечеру стихотворение было готово.

Оно начиналось так:

...«когда на русскую границу шестисоттысячную рать Наполеон великий двинул и цепью грозною раскинул, не стал уж русский отступать»...

Затем я срифмовал все то немногое, что знал о войне Двенадцатого года, упомянул Кутузова, Багратиона, партизан Дениса Давыдова и Сеславина, деликатно умолчал о захваченной неприятелем Москве — хотя этого, собственно, и не требовалось — и закончил свою оду весьма мажорно и назидательно:

«...Война недолго продолжалась. В России скоро не осталось ни одного врага, и вот — вздохнул свободнее народ. Настали святки. Все ликуют. Несется колокольный звон. Победу русский торжествует. Погиб, погиб Наполеон... Пока в России дух народный огнем пылающим горит, ее никто не победит!»

Это был замечательный афористический конец, и я понимал, что педагогический совет не рискнет отвергнуть столь патриотическое творение.

Постаравшись переписать стихотворение как можно красивее и без орфографических ошибок, я отправился к Сизику, который, прочитав мою рукопись, подозрительно спросил, сам ли я сочинил это стихотворение и не скатал ли я его из какого-нибудь журнала или календаря. Я поклялся, что сочинил сам, и зарделся от авторской гордости!

— Прекрасно,— сказал Сизик, многозначительно наморщив свой лоб мыслителя.— Поздравляю. У тебя есть настоящее патриотическое чувство. Это похвально. Я доложу об этом на педагогическом совете. Ступай и надейся. Dixi,— закончил он этим латинским словом.

Короче говоря, меня включили в список, а в программе даже было написано: «Прочтет стихотворение «1812 год» собственного сочинения».

Литературно-художественное утро, где я читал свое произведение, почти совсем выветрилось из памяти. Помню холодный актовый зал с высокими закругленными окнами, за которыми все время летели облака мелкого, сухого снега и с улицы доносился музыкальный шорох крупных бубенцов на хомутах извозчичьих лошадей, бесшумно волочивших за собой по рыхлому снегу легкие санки.

Помню два громадных, во весь рост портрета масляными красками русских императоров, одного — в то время царствовавшего Николая II в горностаевой мантии, со скипетром и державой в руках и короной на бархатной подушечке, на золоченом столике, и другого — Александра I Благословенного, победителя Наполеона, в черной треуголке с белым плюмажем и длинными, тонкими ногами в высоких, выше колен, ботфортах, с подзорной трубкой в руке, на батальном фоне, под сенью военно-полевого, романтического дуба.

Помню строгие лица директора, инспектора, архиерея, законоучителя в парадной шелковой рясе с отогнутыми руками и какого-то генерала в первом ряду с анненской лентой через плечо, все — с узкими программками в руках, а за ними всех прочих зрителей, рассаженных в строгом порядке, но слившихся для меня в одно многоликое целое.

Перед моим выступлением только что закончилась длинная скучная речь учителя истории, который, сидя за особым столиком, жуя губами, читал ее по изящно переплетенной тетрадке, то и дело откашливаясь, вытирая вспотевший лоб свежевыглаженным носовым платком.

Я чувствовал вокруг себя леденящее молчание полусонных слушателей.

На мне был парадный мундир, подаренный мне старушкой Языковой на память об ее недавно умершем от чахотки единственном, нежно любимом внуке, и я чувствовал себя в этом великоватом и длинноватом мундире покойного мальчика не совсем ловко, хотя в глубине души и представлял себя Пушкиным-лицеистом на экзамене Царскосельского лицея, именно таким, каким он был изображен на знаменитой картине Репина.

С пылким выражением и небольшими заминками, быстро и отчетливо, делая иногда энергичные жесты руками, ледяными от волнения, я отбарабанил свое стихотворение, ничего вокруг не видя, кроме своего отражения в медово-

зеркальном паркете актового зала, а дойдя до знаменитых строчек, на которые возлагал все свои надежды — «пока в России дух народный огнем пылающим горит, ее никто не победит!»,— я выбросил вперед руку со сжатым кулаком и топнул ногой с такой силой, что директор, сидящий передо мной со своей седой львиной гривой, вдруг проснулся и шарахнулся в сторону, как будто бы я его хотел ударить по уху.

Я рассчитывал на бурные аплодисменты, но они оказались совсем жиденькие, а если говорить правду, никто не аплодировал, кроме моего закадычного друга Бори, который хлопал, не жалея ладоней, желая возбудить овацию, но у него из этого ничего не вышло, и я удалился на свое место с вспотевшей шеей, красный как бурак, понимая, что провалился.

К чувству провала понемногу стал примешиваться стыд, что я осмелился выступить публично со своими жалкими, ремесленными стишками, в то время как перед публикой выходили другие участники патриотического утра, серьезные гимназисты, читавшие «Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром...» Лермонтова, «Неман» Тютчева, «Волк на псарне» Крылова и, наконец, чудное стихотворение Майкова: «Ветер гонит от востока с воем снежные метели... дикой песнью злая вьюга заливается в пустыне...»

Ах, каким ничтожным я себя чувствовал в недоброжелательно-холодном белом актовом зале, освещенном голубоватым светом зимнего утра, в особенности когда товарищи, сидящие рядом со мной на поскрипывающих венских стульях, покровительственно шептали мне, желая утешить:

— Главное, не дрейфь! В другой раз выйдет лучше.

Но самое главное, что во мне как-то совсем незаметно рассеялась вся военно-патриотическая бутафория царской России, до сих пор владевшая моим незрелым воображением, и в душе рождалось уже настоящее представление о войне.

Дома я долго стоял перед окном и смотрел на мелкий снег, который со вчерашнего дня продолжала нести вьюга откуда-то из просторов нашего необъятного отечества, с востока, из-за Урала, из Сибири, с Байкала...

...«Ветер гонит от востока с воем снежные метели,— повторял я все время про себя, безостановочно, монотонно,— дикой песнью злая вьюга заливается в пустыне...»

Тучи мелкого снега все время неслись и неслись в утомительно белом небе... Я упивался тоской этой дивной стихотворной музыки.

И еще в моей душе звучали чудные, страшные в своей пророческой силе тютчевские строки: «...несметно было их число — и в этом бесконечном строе едва ль десятое чело клеймо минуло роковое»...

Я смотрел, все смотрел, смотрел до синевы в глазах с четвертого этажа нового кооперативного дома, куда мы недавно переехали, на непрерывно стригущий снег и чувствовал ужас от чего-то незаметно надвигающегося на нашу землю, на всех нас, на папу, тетю, Женю, меня, и я молил бога, в которого тогда еще так наивно, по-детски верил, чтобы мое «чело клеймо минуло роковое».

И он услышал меня.

Лотерея-аллегри.

Папа с раздражением говорил, что все эти лотереи-аллегри — одно сплошное жульничество, жалкая игра в филантропию, глупейшие затеи богатых дам, которые бесятся с жиру, а когда ему доказывали, что это делается в пользу вдов и сирот, кипятился и называл это пародией на благотворительность и что для того, чтобы сделать доброе дело и помочь своим ближним, вовсе не надо нанимать шикарное помещение Биржи, вывешивать национальные флаги и устраивать там настоящий балаган, рассчитанный на самые низменные инстинкты невежественной черни: надежду выиграть за двугривенный вещь, которая стоит сто рублей. Папа был убежденный толстовец, хотя вегетарианства тоже не признавал.

Чем больше он кипятился, не жалея красок, чтобы описать омерзительное, безнравственное зрелище лотереи-аллегри, тем больше мне хотелось туда попасть,— авось я выиграю за двухгривенный сто рублей! — и я так горячо умолял папочку повести меня в Биржу на лотерею-аллегри, что папа наконец согласился.

Я подозревал, что в глубине души папе самому хотелось побывать на лотерее-аллегри, попробовать счастья и, может быть, выиграть за двадцать копеек какую-нибудь

дорогую вещь: рояль или корову. Но, разумеется, он это тщательно скрывал, и при упоминании о лотерее-аллегри у него на лице появлялась брезгливая улыбка.

Здание городской Биржи считалось одной из достопримечательностей города и стояло в ряду других достопримечательностей: памятника дюку де Ришелье, пушки с английского фрегата «Тигр», установленной против городской думы, городского театра, знаменитой лестницы, ведущей с Николаевского бульвара в порт, и фуникулера рядом с этой лестницей.

Биржа являлась довольно бездарным подражанием венецианскому Дворцу дожей —с витыми колонками посреди гигантских окон, с цветными витражами, желтыми кирпичными стенами, гранитным фундаментом и мраморной лестницей, которая прямо с улицы вела в колоссальные двухэтажные мраморные сени.

Обледеневшие тротуары возле Биржи были посыпаны желтым песком, на выбеленных флагштоках развевались на морском морозном ветру яркие трехцветные флаги, внизу у мраморных столиков лестницы мерзли городовые в белых перчатках из чертовой кожи и многочисленные извозчики. В ожидании седоков они ходили вокруг своих заиндевевших косматых лошадок и согревались, хлопая себя рукавицами по плечам, по бокам и даже накрест, доставая до спины. На углу горели дрова уличного костра, возле которого грелись извозчики, городовые и сыщики в партикулярном платье.

Мы с папой поднялись по белой зашарканной мраморной лестнице и очутились в двусветном зале, казавшемся при блеске буднего зимнего дня скучным, как большой вокзал. Пол был на четверть аршина засыпан опилками, скрадывавшими звуки шагов; люди почему-то разговаривали шепотом, как в церкви. Вообще все это совсем не походило на праздничный, бальный зал, как я себе представлял. По углам стояли киоски, где продавались лотерейные билеты, а рядом с ними возвышались выставки выигрышей, расставленных на красных, кумачовых полках, идущих широкими лестницами от пола до самого лепного потолка, так что, например, расставленные на самой верхней полке самовары, гармоники и балалайки казались совсем маленькими, игрушечными.

Снимать верхнюю одежду здесь не полагалось, и посетители толпились возле выставки выигрышей в зимних пальто и глубоких калошах, сняв лишь шапки из уважения к благотворительной цели этого предприятия.

Мы с папой долго стояли, рассматривая выигрыши, как бы решая, какую бы вещь подороже нам выиграть. Хорошо было бы, например, выиграть большие стоячие часы с боем и медным маятником, который ходил в своем стеклянном ящике, как полная луна, или нарядную лампу на высокой мраморной колонке, с кружевным абажуром, похожим на дамский нарядный чепчик,— превосходную лампу, которая так украсит нашу скромную квартиру. Я высказал папе мысль насчет выигрыша лампы на зеленой, как морская вода, «айвазовской» мраморной колонке, но папа отверг мое предложение, фыркнув в ответ нечто презрительное насчет моего мещанского вкуса. Со своей стороны, папа высказал мнение, что недурно было бы выиграть дубовый книжный шкаф, стоявший в стороне на особом помосте. Тут же мы заметили целый столовый гарнитур из светло-зеленого, крашеного дерева с декадентским, довольно уродливым буфетом и чрезмерно высокими и даже на вид неудобными стульями, при виде которых папа, будучи убежденным классиком, реалистом в искусстве, презрительно хмыкнул; я же про себя подумал, что не худо было бы выиграть также эту декадентскую зеленую мебель и заменить ею наш скучный буфет рыночной работы и венские потертые стулья с плетеными сиденьями, кое-где уже дырявыми.

Чего здесь только не было, на этой лотерее-аллегри! Ковры, кузнецовские столовые сервизы, хрустальные графины, шелковые драпри, ящики с ножами, вилками и ложками белого металла Фраже, музыкальные инструменты, в том числе также на отдельном помосте кабинетный рояль розового дерева — верх роскоши, которую только я мог вообразить. Не говорю уже о картинах, написанных масляными красками, в золоченых рамах, о серебряных подносах и кустарных вологодских вышивках и кружевах.

Общее внимание привлекала не очень красивая и даже не очень большая, а так себе, средняя, китайская ваза с драконами — августейший дар вдовствующей императрицы Марии Федоровны. С благоговением и тайной надеждой выиграть августейший дар проходили посетители мимо

фарфоровой вазы, которую охранял городовой в парадной форме, время от времени монотонно повторяя:

— Господа, прошу вас, держитесь осторожно, это вам не что-нибудь!

Было еще множество разных дорогих вещей. Огромная говорящая кукла Нелли со всем приданым в нарядной коробке, несколько велосипедов, садовые разноцветные зонтики, плетеная дачная мебель,— всего не запомнишь! И все это говорило моему воображению о существовании какой-то богатой, шикарной жизни, по сравнению с которой наша жизнь казалась совсем бедной, почти нищенской.

Разыгрывалась также корова, но ее в зале не было: только крупная печатная надпись гласила, что под номером таким-то разыгрывается корова Зорька симментальской породы и кто ее выиграет, если захочет, может получить вместо нее сто рублей наличными деньгами.

— Недурно было бы выиграть также и корову,— проговорил папа с улыбкой,— но, разумеется, не брать ее, а получить сто рублей.

Заметив мой взгляд, папа перевел все это в шутку, прибавив, что все это одно сплошное надувательство.

Однако наступало время приступить к самой игре. Папа еще дома твердо заявил, что выигрышных билетов покупать ни в коем случае не будем, а только посмотрим и уйдем домой. Но тут оказалась одна загвоздка. Входные билеты, которые папа приобрел в кассе по рублю с человека, давали право на каждого человека получить бесплатно пять билетов лотереи-аллегри. Не упустить же такой возможности!

Мы с папой подошли к шестигранному стеклянному ящику, где пересыпались свернутые в трубки билеты, и дама-патронесса в боа из птичьих перьев на морщинистой шее покрутила шестигранник, и мы с папой через особое окошечко в этом шестиграннике вытащили каждый по пять трубочек. Мы отошли в сторону и затаив дыхание, чтобы «не спугнуть счастья», стали разворачивать билетики, снимая с них тугие аптекарские резиночки.

Я развернул первый билет и увидел на нем большую круглую печать благотворительного общества.

— Папочка! — закричал я в восторге на всю лотерею-аллегри.— Смотри! У меня печать! Я выиграл!

Папа надел пенсне, посмотрел на мой билетик с круглой лиловой печатью и коротко сказал:

— Аллегри.

— А что такое аллегри? — спросил я, чуя недоброе.

— Аллегри значит, что билет не выиграл. Пустой. Можешь его выбросить.

Мне было жалко выбрасывать билет с такой внушительной печатью, но все же я его выбросил на пол, покрытый опилками, где уже валялось множество таких же билетиков-аллегри. Но, конечно, резиночку от билета спрятал в карман: пригодится.

Мы стали с папой поспешно развертывать наши билетики. Все они оказались аллегри, и только на последнем развернутом мною рядом с круглой лиловой печатью было чисто напечатано черной краской какое-то длинное, шестизначное число.

Я почувствовал, что сердце у меня сжалось от радости и надежды, как будто бы я вытаскиваю из моря попавшего на крючок бычка.

— Молодец, вот теперь ты действительно выиграл,— сказал папа, и мы быстро пошли получать выигрыш.

Франтоватый молодой человек с усиками взял мой билетик, порылся в каких-то списках и торжественно объявил:

— Номер шесть, шесть, шесть, восемьсот семьдесят два — хрустальный стакан баккара для минеральной воды.

С этими словами он полез под прилавок и вручил мне небольшой сверточек с наклеенным на нем большим номером 666872.

— Поздравляю вас с выигрышем, — сказал молодой человек.

Я поспешно развернул, разрывая от нетерпения, хрустящую оберточную бумагу и увидел небольшой плоский, граненный по краям стеклянный стаканчик из числа тех, какие употребляются на курортах для питья минеральной воды.

Сначала я почувствовал такое разочарование, что готов был заплакать: так много надежд — и такой жалкий результат. Впрочем, нет, стаканчик-то ведь был не простой, а хрустальный, баккара.

— Папочка, что такое баккара? — спросил я.

— Это особым образом приготовленное стекло с небольшой примесью серебра,— ответил папа.

Папины слова привели меня в восторг: хрусталь, баккара, примесь серебра! Не у каждого мальчика есть такой драгоценный стаканчик. Небось он дорогой: рублей сто стоит в магазине!

— А вообще-то Баккара — это город во Франции, где изготовляют стеклянные предметы вроде этого стаканчика,— сказал папа.

— Ура! — закричал я в восторге оттого, что мой стаканчик имеет такое шикарное происхождение.

...Итак, наша программа была выполнена, и пришло время отправляться домой. Но как покинуть зал, наполненный столь драгоценными выигрышами!..

— Папочка, папа, — умоляюще сказал я, дергая папу за рукав драпового пальто,— давай еще купим хоть по одному билетику!

Я был уверен, что папа проявит непреклонность, но он, несколько помявшись и подергав шеей, сказал, что так и быть, кутить так уж кутить, купим еще на рубль пяток билетов, авось нам повезет.

На папином лице играл румянец, и я готов был поклясться, что в глубине души папа такой же азартный человек, как и я, только скрывает.

Пять билетиков, все как один, оказались аллегри, и мы их бросили на опилки.

Свет померк в моих глазах.

— Эх, была не была!— вдруг воскликнул папа.— Рискнем еще один разок — и баста.

Папа заплатил рубль, и я вытащил из стеклянного шестигранника пять бумажных трубочек. Один из билетиков оказался с номером 003224.

— Выигрыш номер ноль, ноль, три, двести двадцать четыре,— провозгласил молодой человек и заглянул в списки: — Десять фунтов пиленого сахара завода Бродского.— И выложил на прилавок довольно большой синий пакет.

В первый миг этот выигрыш показался нам с папой грандиозным. Десять фунтов сахара. Четверть пуда. Целое состояние! Да еще плюс стакан баккара с примесью серебра, ценою по крайней мере в пять рублей. Я попытался уговорить папу купить еще пять билетов, чтобы выиграть что-нибудь действительно очень дорогое: корову,

столовый гарнитур, китайскую вазу — августейший подарок вдовствующей императрицы.

Но на этот раз папа наотрез отказался.

— Мы, брат, и так проигрались в пух и прах,— сказал он, и мы вышли на улицу, где уже заметно вечерело.

...Мороз, как говорится, крепчал...

Костры на углах были охвачены густым дымом, сквозь который еле виднелись раскаленные докрасна полосатые трескучие дрова. Папа имел вид проигравшегося картежника, которому уже море по колено. На вопрос одного из извозчиков, не желает ли господин прокатиться на резвой, папа бесшабашно согласился, даже не слишком торгуясь, за сорок копеек, хотя обычно конец на извозчике стоил самое большее тридцать; мы уселись в тесные саночки, устланные в ногах пахучим зимним сеном, положили туда пакет пиленого сахара Бродского, извозчик, обернувшись с облучка, застегнул нас жиденькой, траченной молью суконной полстью, скупо обшитой узкой полоской медвежьего меха, и мы поехали по середине до ледяного блеска накатанной снежной улицы, ныряя с горки на горку, причем извозчик, от которого сладковато попахивало на морозе водочкой, то и дело поворачивал к нам с облучка свое бородатое лицо с красным носом деда-мороза и приговаривал:

— С горки на горку, барин дает на водку...

Папа отмалчивался на эти намеки, подсчитывая в уме убытки: четыре рубля билеты да сорок копеек извозчик — итого четыре сорок, а выигрыши стоили всего-навсего, по папиным подсчетам, один рубль шестьдесят копеек: рубль двадцать — десять фунтов пиленого сахара да сорок копеек стаканчик баккара.

— Откуда ты знаешь, что баккара стоит всего сорок копеек? — спросил я папу.— В нем же, наверное, одного серебра на три рубля, не меньше?

— На донышке стакана этикетка с ценой: сорок копеек,— с грустью ответил папа.

...а над невысокими домами, в бледно-розовом морозном небе, среди столбов голубого, синего и лилового дыма, поднимающихся из труб, перед нами уже начинала светиться полная луна, холодная и яркая, как серебряный полтинник.

Примечание.

Я наврал, описывая, как в самый решающий момент финиша Уточкин прервал гонку и покинул трек для того, чтобы наказать пересыпского мальчишку, крикнувшего сверху:

— Рыжий!

На самом деле это произошло уже после финиша, когда Уточкин пришел первым и делал круг почета. Так что судьям не надо было назначать дополнительного времени.

Я поддался искушению драматизировать свой рассказ и отклонился от истины. Все же остальное более или менее соответствует истине. Приношу читателям свои извинения.

Шестигранный брикет.

...Каждый год поздней осенью папа отправлялся на станцию Одесса-Товарная закупать на всю зиму дрова. Это было, конечно, тогда, когда мы еще жили в доме с печами.

Как я ни просился, папа никогда не брал меня с собой. Он говорил, что я еще слишком мал, а по дороге на станцию Одесса-Товарная «очень сильное движение», что представляет для маленького мальчика большую опасность.

Поездка за дровами казалась мне далеким путешествием в неизвестную, почти таинственную, сказочную страну, носящую название Станция Одесса-Товарная: с одной стороны, это несомненно была Одесса, хорошо знакомый мне город, в котором я родился и жил на Базарной улице, но, с другой стороны, это была также и Станция, то есть нечто связанное с железнодорожным сообщением, с паровозами, вагонами, стрелками, мигающими семафорами, носильщиками и обер-кондукторами, у которых на кожаном поясе висели два кожаных футляра, откуда высовывались деревянные грушевидные рукоятки сигнальных флажков — красного и зеленого,— а так как станция называлась Товарной, то к этому примешивалось представление о множестве каких-то самых разнообразных товаров в виде мешков, ящиков, рогожных тюков, окантованных железными полосами.

Населяли эту страну не похожие на нас люди, которые, между прочим, торговали дровами.

Откуда эти дрова берутся, где они хранятся, как их

покупают, взвешивают, грузят, как их, наконец, доставляют на наш двор к дровяному сараю? Все эти вопросы тревожили меня, вызывая такое любопытство, что я, обливаясь слезами, умолял:

— Ну папочка! Ну что тебе стоит! Ну пожалуйста! Ну я тебя очень прошу, возьми меня с собой за дровами на станцию Одесса-Товарная. Даю слово, что буду себя хорошо вести и слушаться.

Но отец упрямо повторял все одну и ту же фразу о «сильном движении», так что я, в конце концов, стал представлять себе длинную мощеную улицу, по которой вскачь несутся ломовики, обгоняя друг друга, сшибая с ног пешеходов и разбивая вдребезги легковых извозчиков, везущих на станцию Одесса-Товарная покупателей дров.

...Все это было ужасно!..

Но вот однажды, когда я немного подрос,— уже после смерти мамы,— однажды папа взял меня с собой за дровами.

Мы долго ехали на извозчике по окраинам города, мимо совсем маленьких одноэтажных домиков, выбеленных мелом, как деревенские хаты-мазанки, по широким, нескончаемо длинным, плохо вымощенным улицам, покрытым холодной ноябрьской пылью и кое-где сеном, упавшим с проезжавших здесь возов. В кузницах, мимо которых мы проезжали, в открытых дверях, как в черных пещерах, горел оранжевый огонь, светилось малиновым цветом раскаленное железо, слышался звон молота по наковальне и визгливое ржание лошадей, которых подковывали кузнецы в брезентовых фартуках.

Во всем этом не было ничего особенно интересного, а сильного движения я и вовсе не заметил.

Приближаясь к Одессе-Товарной, я увидел все чаще и чаще попадающиеся склады овса и сена, а потом я увидел склад с длинной живописной вывеской, целой картиной, где были разными красками написаны зимний лес, симметричные ели с черными стволами, покрытые белым снегом, а в лесу по дороге во весь дух мчится тройка борзых лошадей, запряженная в треугольные розвальни, нагруженные какими-то странными угольно-бурыми шестигранниками, из которых один выпал из несущихся дровней и отчетливо чернел на взбитом бело-голубом снегу дороги.

На облучке нарисованных дровней сидел ямщик в красном кушаке, изо всей мочи стегавший свою тройку, а на фоне густого, как синька, ясного неба, среди елей было написано печатными, газетными буквами:

«Торговля углем и брикетами».

...ага, значит, эти бурые шестигранники есть не что иное, как брикеты. Но что такое брикеты? На мой вопрос папа объяснил, что брикеты — это топливо; они прессуются из угольной и торфяной пыли, а затем продаются в виде шестигранников. Не знаю почему, но мое воображение сильно затронул зимний пейзаж с черным брикетом, лежащим на белом снегу.

Покупка дров не представила особенного интереса, и всю обратную дорогу, которую мы совершили все на том же извозчике, но только очень нудно и медленно, сопровождая возы с купленными дубовыми дровами, я все время думал о брикетах, которые так красиво прессуют из каменноугольной и торфяной пыли в виде шестигранников. Для меня существование такого рода топлива было ново. Самое же главное заключалось в том, что я уже когда-то слышал слово «брикет», но где, когда, при каких обстоятельствах — никак не мог припомнить. Несомненно, я уже когда-то испытал чувство, похожее на удивление, при виде этого красивого странного предмета — черного шестигранника. Его цвет и форма уже когда-то запечатлелись в моем восприимчивом детском мозгу. Я это наверное знал.

...но где, когда, при каких обстоятельствах?..

Когда возы с дровами въехали во двор, и дрова со звонким, сухим стуком посыпались возле сарая, и в очень холодном, почти зимнем воздухе запахло их ядреным кисловатым запахом, и они запрыгали друг по другу, покрытые красивыми серебристыми лишаями, как бы предсказывающими близкую зиму и полет легких снежинок из темных декабрьских туч, меня осенило.

Брикеты были связаны каким-то образом с покойным папиным братом Мишей, дядей Мишей, человеком странной судьбы; он окончил физико-математический факультет Новороссийского университета по математическому отделению с золотой медалью, защитив диссертацию — вычисление орбиты кометы не помню какого-то года,— но

при университете не остался, а по непонятным соображениям пошел на военную службу в артиллерийскую бригаду, расквартированную в городе Николаеве. Кажется, у него была идея нести в темную, затхлую военную среду свет знания и пробудить в захолустном офицерстве чувства добрые, чуть ли даже не какие-то революционные идеи.

Может, это были очень далекие отзвуки декабристского движения на юге России, в так называемой тогда Новороссии. Впрочем, не уверен.

Все это кончилось тем, что дядя Миша, желая спасти падшее создание, что было вполне в духе того времени, женился на малограмотной николаевской девице, вышел из военной службы, заболел неизлечимой душевной болезнью, бросил жену и в одном сюртуке, с узелком в руке появился в нашем доме, когда мне было всего года три и еще была жива мама.

Прекрасно помню, как дядю Мишу положили в городскую больницу и мы с мамой и папой ходили его навещать в громадную, унылую, многолюдную палату, где он лежал под серым больничным одеялом, от которого пахло карболкой, и я видел, как вошел неряшливый служитель в солдатских сапогах и поставил перед дядей Мишей на табурет жестяную тарелку, на которой лежали две плоские рисовые котлеты, политые черносливовым соусом, и как дядя Миша испачкал себе бороду этим соусом и вдруг заплакал, а потом стал целовать мамины руки и просить прощения за то, что причиняет столько беспокойства.

Убежав из больницы в одном больничном халате и бязевом исподнем белье, неожиданно он явился к нам и, рыдая, попросился жить с нами. Ему устроили постель в гостиной, между фикусом и пианино, в том пространстве, где обычно на рождество ставили елку, и он — худой как скелет, пергаментно-желтый, с поредевшими усами,— тяжело дыша, смотрел на маму достоевскими глазами, полными муки и благодарности, и снова целовал ей руку, пачкая ее яичным желтком, а мама, еле сдерживая слезы, приветливо ему улыбалась своими слегка раскосыми глазами, говоря, что скоро он выздоровеет, все будет прекрасно, и под звуки ее нежного голоса он вдруг засыпал или впадал в беспамятство и начинал храпеть на всю квартиру, и этот сухой, утробный храп приводил меня в ужас, и я прятался за маму, изо всех сил держась ручонками за ее юбку.

Иногда дяде Мише делалось лучше, лежа в постели, он читал или заводил со мной игру, состоящую в том, что

я должен был пробежать близко мимо него, а он должен был меня поймать, тогда он пытался приподняться и протягивал ко мне костлявые руки; иногда ему удавалось меня поймать, и он начинал меня щекотать, и я готов был умереть от этой холодной щекотки умирающего сумасшедшего, от взгляда его неестественно расширенных зрачков глубоко запавших, уже наполовину мертвых глаз, от его веселого, громкого хохота, леденящего мне душу.

Я вырывался из его цепких рук, и убегал в столовую, и прятался за бабушкиной ширмой.

Иногда у дяди Миши начинался припадок буйного помешательства, и папа с трудом привязывал его полотенцем к кровати.

Пришлось взять сиделку. На ее руках однажды ночью дядя Миша с предсмертным хрипом и скончался, и я увидел его только утром, умытого, причесанного, в крахмальной сорочке и в черном сюртуке, с костлявыми бесцветными руками, сжимавшими высоко на груди образок, с хрящеватым носом и выпукло закрытыми глазами, и лицо его было прекрасно, как у великомученика.

Помню дядю Мишу в гробу, полную гостиную друзей, знакомых и родственников, лиловые бархатные камилавки и сизые траурные ризы духовенства, панихиду, облака ладана, хор семинарских певчих, и потом все это рассеялось, улетучилось, гостиная стала прежней пустынной гостиной с фикусом, пианино, бархатными креслами, но уже без дяди Миши, без его кровати, без гроба, который я видел тогда впервые в жизни.

Через некоторое время приехала из Николаева жена дяди Миши — «эта женщина»,— но в комнаты она не вошла, смирно сидела на кухне, заплаканная, в деревенском платке на голове, и, морща губы, пила чай из блюдечка, держа его на трех пальцах руки с киевским печатным колечком. Жена дяди Миши пробыла у нас часа два, благодарила маму за уход за дядей Мишей и оставила нам гостипец: жирную ощипанную курицу, которую привезла с собой в корзинке, покрытой «хусткой» — полотенцем. Больше я ее никогда не видел, и мне было странно, что она приходится мне тетей, но эта женщина с добрым крестьянским лицом почему-то произвела на меня еще более тягостное впечатление, чем смерть дяди Миши, не вызвавшая у меня ни страха, ни ужаса, так как я еще был очень мал и не понимал значения смерти.

От дяди Миши у нас в квартире осталась связка его литографированной диссертации «Вычисление орбиты кометы такого-то года», где было много непонятных для меня чертежей, углов и кривых линий с маленькими изображениями хвостатой звезды в ее различных фазах. Диссертация эта пропала после смерти мамы во время наших неоднократных переездов с квартиры на квартиру.

Остался после дяди Миши также черный прессованный шестигранник, который он принес в своем узелке на память о батарее, в которой служил младшим офицером.

...Как выяснилось потом, это был шестигранник прессованного черного артиллерийского пороха — брикет,— который употреблялся в армии до тех пор, пока не был изобретен бездымный порох, похожий на желтые сухие макароны...

Но я этого тогда не понимал, а запомнил лишь название — «брикет». Это слово теперь вдруг всплыло в моей памяти, когда я увидел вывеску с тройкой и дровнями, нагруженными шестигранными брикетами. Для меня это было *топливо.*

Брикет дяди Миши хранился вместе с прочими ненужными вещами в папином комоде, о котором я еще расскажу подробно — каков он был на вид и что в нем хранилось.

Если, конечно, не забуду.

Так вот оно что! Оказывается, у нас в доме есть превосходный брикет, топливо, которым почему-то никто не пользуется. Надо было употребить его в дело. Я был охвачен нетерпением поскорее вернуться домой со двора и посмотреть, как будет гореть брикет дяди Миши в кухонной плите.

Остальное ясно само собой.

Вытащив черный шестигранник из папиного комода, который папа забыл запереть на ключ, я вбежал в кухню, и не успела кухарка и глазом моргнуть, как я отодвинул кастрюлю с борщом и бросил брикет в конфорку.

Порох взорвался не слишком сильно, но все же весь обед погиб и сноп разноцветного дымного огня полыхнул из плиты почти до потолка. Ни я, ни кухарка, по счастливой случайности, не пострадали.

Стоит ли описывать ту страшную взбучку, которую я получил от папы и от тети... Я клялся, что ничего пло-

хого не хотел сделать, я пытался объяснить, что был введен в заблуждение сходством двух понятий — шестигранный брикет артиллерийского пороха и шестигранный брикет прессованного угля, увиденного мною на красивой вывеске топливного склада по дороге на станцию Одесса-Товарная. Увы, никто мне не верил, и моя репутация невозможного мальчишки, который «когда-нибудь погубит нас всех», укоренилась за мной еще прочнее.

...Впоследствии, когда я уже вырос, я пытался объяснить историю с брикетом дяди Миши папе и тете. Но и тогда они мне не поверили. Они считали, что я это сделал нарочно. А теперь, когда ни папы, ни тети давно уже нет на свете, мне не перед кем оправдываться.

Да и кто мне поверит?

Маленькая диссертация о квартирантах.

Об одном квартиранте я уже рассказал, о путешественнике Яковлеве. Но были и другие квартиранты. В то время была широко распространена среди небогатых семейств сдача в своей квартире внаем отдельных комнат. Это называлось «держать от себя жильцов». Если о какой-нибудь семье говорили «они держат жильцов», то это звучало всегда несколько пренебрежительно. Для того чтобы сводить концы с концами, мы тоже нередко были принуждены сдавать жильцам комнату или даже две. Таким образом, рядом с постоянным, устойчивым бытом нашей семьи почти всегда протекала чья-то жизнь: то это был какой-нибудь студент, то путешественник, то молодой холостяк — кандидат на судебные должности, то молодожены, еще не успевшие обзавестись собственной квартирой.

Иметь хорошего жильца было большим подспорьем в нашем скромном бюджете. Один раз у нас даже жил на всем готовом мой товарищ по гимназии Боря Д., у которого недавно умерла мать, а отец учительствовал в пригородном селе.

...Я уже упоминал в этой книге о Боре Д. Это с ним мы ходили на Бадера — Уточкина — Макдональда...

Наши жильцы представляли из себя пестрое сборище разнохарактерных типов, и большинство из них я уже забыл. Остались в памяти лишь несколько.

После смерти бабушки — папиной мамы — освободи-

лась комната, и, произведя известное внутреннее переселение, мы умудрились освободить две хороших смежных комнаты, которые наняли новобрачные: молодой, только что окончивший Военно-медицинскую академию врач из местного военного госпиталя со своей молоденькой, хорошенькой, пухленькой женой-блондинкой, которая в отсутствие мужа сидела дома и решительно не знала, что ей делать.

Когда кто-нибудь из нас — Женя или я — поднимал шум возле их комнаты, тетя говорила, понизив голос, и, по своему обыкновению, юмористически морща губы:

— Мальчики, не шумите. Вы беспокоите жильцов. У них медовый месяц.

Это был действительно классический пример медового месяца. Больше мне уже ничего подобного в жизни не встречалось. Все у наших молодоженов было новенькое, с иголочки, наверное, и сами они были как бы тоже только что сделанные хорошим мастером из лучшего материала: она — бело-розовая, с ямочками на щеках и на ручках, с волосами, уложенными в красивую прическу, во всем нарядном, с бантиками, прошивочками, кружевцами, в ажурных чулках и башмачках на французских каблуках.

Пока он был на службе, она скучала и ждала его, сидя на балконе в воздушном пеньюаре с рюшами и воланами, ела из коробки шоколадные конфеты «от Абрикосова» и читала книжку, раздирая ее страницы черепаховой рогулькой, вынутой из прически. Ротик ее был как вишенка, глаза голубые, на фарфоровой щечке возле глаза небольшая мушка, вырезанная маникюрными ножничками из черного пластыря.

Он являлся из госпиталя тоже весь с иголочки: новенькая летняя шинель, новенькая фуражка с лиловым бархатным околышем, новенькая шашка на серебряном ремешке через плечо, пропущенном под новенький серебряный погон, блестящие штиблеты с длинными носами и маленькими шпорами. Он был белобрысый, такой белобрысый, какими бывают белорусские деревенские ребята. Его белобрысые усики были закручены на концах в тоненький шнурочек.

Едва он появлялся, как она бросалась в переднюю, обнимая его за шею обнажившейся из-под кружевного рукава рукой с ямочкой на локте и толстым обручальным кольцом на безымянном пальчике с наманикюренным ноготком.

И потом они все время ворковали у себя, обедали, и после обеда он кормил ее шоколадными конфетами, вынимая их из коробки жестяными щипчиками, и, по-видимому, они целовались, а вечером она наряжалась в модное платье со шлейфом, надевала новенькую шляпу всю в перьях, ротонду, и они отправлялись на извозчике в оперетку и возвращались, когда мы с Женькой уже спали, и, по-видимому, еще некоторое время ворковали и он кормил ее шоколадными конфетами.

Они брали у нас обеды и, кажется, были недовольны нашими котлетами, голубцами, борщом и клюквенным киселем с молоком. Вероятно, им казалась эта еда слишком простой, ничтожной, недостойной восторгов их медового месяца, их непомерного счастья под громадным двуспальным шелковым одеялом, недостойной их пуховых подушек и маленькой, трогательно-крошечной кружевной подушечки, так называемой «думки», их ночных халатов и вышитых ночных туфель без задников, обшитых лебяжьим пухом.

Думаю, их постоянно раздражала наша непрестанная ребячья возня, стуки, крики, хохот, посвистывание паровой игрушечной машины.

Они платили за свои две комнаты рублей тридцать, что почти окупало всю нашу квартиру. Как-то тетя сказала, что молодожены живут не по средствам: каждый день шоколадные конфеты, оперетка, иллюзионы — все это стоило недешево, а жалованье молодого военного врача пустяковое.

В конце концов через год наши молодожены съехали от нас и поселились в другом доме, уже в одной комнате, подешевле.

...а лет через пять-шесть, уже во время первой мировой войны, я как-то встретил бывшего молодожена на Французском бульваре у белой стены юнкерского училища, переименованного к тому времени в военное. Он куда-то озабоченно шел вдоль этой хорошо знакомой мне каменной стены, за которой по-прежнему слышались винтовочные и пулеметные учебные выстрелы в подземном тире. Он был все в той же некогда щегольской офицерской шинели серебристого сукна, которое уже порядочно пообносилось и пожелтело, фуражка, некогда такая новенькая и нарядная, теперь сплюснулась, как блин, и бархатный ее околыш вылинял, усики были те же, но потеряли свой

шелковистый блеск и скорее напоминали белизну пеньки, хотя и были, видимо, по привычке завинчены на концах. На лице его легло несколько почти незаметных морщинок, и оно было скучным, пыльного цвета, как-то мелочно-озабоченным. И мне стало ужасно жалко его погасшего счастья, которое когда-то ему и ей казалось вечным, неиссякаемым.

Я поздоровался с ним, он равнодушно приложил руку к тусклому козырьку, а левой рукой придержал плоскую тулью фуражки, и на этой пожелтевшей руке блеснуло толстое, все такое же блестящее, но как-то блеснувшее ни к селу ни к городу обручальное кольцо.

...А мимо нас по Французскому бульвару шла рота юнкеров ускоренного выпуска, с заломленными бескозырками; печатая шаг по шоссе, они лихо, с присвистом пели: «У моей соседки синие глаза. У моей сосе-едки си-ни-е глаза. С голубы-ым отливом, точно бирюза. Не хочу я, ма-ама, штатского любить, а хочу я, ма-ама, за военным быть»...

— Левой, левой, левой, левой...

Еще запомнились другого рода жильцы: две средних лет неприятные дамы в поношенных черных шляпках с вуалетками, в старых ботинках и обе — в пенсне. Одна в пенсне с черным ободком, другая в пенсне стальном. У нас отдавалась за пятнадцать рублей одна комната, и они эту комнату, не торгуясь и не осматривая, как-то без всякого интереса наняли и тут же поставили на подоконник два своих саквояжа из числа тех, с какими тогда ходили акушерки.

Дня два дамы сидели у себя в комнате, почти не показываясь, варили себе чай на медицинской спиртовке, ели чайную колбасу с франзолями.

На третий день к папе пришел дворник и попросил, чтобы новые жилички предъявили свои виды на жительство для прописки. Папа застегнул сюртук на все пуговицы, что делал всегда, если был смущен, и постучал в дверь жиличек.

Ему долго не отпирали, и в комнате слышалась какая-то поспешная возня. Наконец щелкнул ключ и дверь отворилась. Перед папой стояла одна из жиличек, та, которая носила пенсне в черной оправе. Она была в батисто-

вой кофточке, подпоясанной широким ременным поясом, и в длинной потертой суконной юбке, обшитой по подолу так называемой «лентой-щеточкой», из-под которой выглядывали поношенные ботинки со скошенными каблуками. Жгуче-черные волосы на ее голове были гладко причесаны, отчего голова казалась слишком маленькой, а на затылке был тяжелый узел. Черный шнурок пенсне, по-мужски заложенный за большое ухо, делал ее еще более сердитой и неприятной.

— Что вам угодно? — холодно спросила она.

Папа, смущаясь, попросил у жиличек паспорта, необходимые для прописки в участке. Это была обычная формальность, но жиличка почему-то вспыхнула и, вынув изо рта дымящуюся папироску, посмотрела на папу обозленно-ироническим взглядом, который можно было истолковать примерно следующим образом: «Вы требуете для полиции паспорт, а еще считаете себя интеллигентным человеком, гражданином так называемого конституционного государства».

Но вместо этих слов она сухо заявила, что сейчас при них нет документов, удостоверяющих личность, но на днях они их представят.

Другая жиличка в это время лежала на кровати, укрывшись старым шотландским пледом, и, отвернувшись к стене, читала какую-то брошюру в декадентской обложке с социал-демократическим названием.

Папа извинился, и жиличка довольно громко закрыла за ним дверь, дважды щелкнув ключом. На другой день обе жилички куда-то ушли со своими чемоданчиками. Ночью вдруг раздался звонок и в дверях передней появились дворник, городовой и околоточный надзиратель. Они прошли мимо папы, стоявшего в одном белье и накинутом на плечи летнем пальто, и быстро, сноровисто открыли дверь в комнату жиличек, оказавшуюся незапертой.

Комната была пуста.

На столе лежала толстая оберточная бумага из-под чайной колбасы, несколько кусков сахара; герметическая заслонка печки была отвинчена, и в глубине виднелся ворох сожженных бумаг, и пепел их кое-где шевелился на полу, выдутый из печи ветром. Постели были аккуратно застланы.

Околотный опытным взглядом окинул комнату и с досадой сказал:

— Опоздали! Птички улетели. А вас, господин,— строго обратился он к папе,— я бы попросил впредь не манкировать инструкциями о прописке всех прибывающих в вашу квартиру лиц. Честь имею.

С этими словами околоточный удалился, а следом за ним и другие представители власти, и я слышал, как кто-то из них на лестнице довольно громко сказал:

— Прохлопали.

Утром, когда прибирали комнату скрывшихся жиличек, я увидел на подоконнике забытую ими медицинскую спиртовку, на которой они, видимо, варили себе чай, а на полу нашел маленький, складненький патрон от браунинга, закатившийся под кровать.

...Было еще много у нас разных жильцов, да всех не упомнишь...

Обморок.

Я вышел из нашей комнаты под самой крышей, со скошенным потолком и двумя окнами, из которых открывался вид на поля, фруктовые деревья, огород и разнообразные хозяйственные постройки этой немецкой экономии в Бессарабии, на высоком берегу Черного моря, где мы обычно с папой и маленьким Женечкой проводили лето, и по довольно крутой деревянной лестнице радостно сбежал вниз, всей душой чувствуя прелесть чересчур сильного ослепительного зноя июльского утра — не раннего, но и не позднего, а где-то между восемью и девятью часами, когда солнце еще не над головой, но уже обжигает, и бьет сквозь листву шелковиц прямо в глаза, и зажигает все вокруг белым ослепительным светом, в особенности дорожки, посыпанные мелкими зеленоватыми лиманными ракушками, превратившимися уже почти в песок, серебристо-перламутровый, как сухая рыбья чешуя.

Не знаю, для чего я вышел из нашей комнаты, где было еще довольно прохладно. У меня не было никакой определенной цели, но, спустившись вниз, я почему-то деловито обошел вокруг дома, постоял возле цистерны, крикнул в ее открытое устье и услышал в ответ эхо своего голоса, усиленного и как бы умноженного сухой пустотой цистерны, покрытой под землей цементом. Давно уже не было дождя, и цистерна была пустая. Меня обрадовал звук моего голоса, вернувшегося из подземного путешествия.

Потом я пробежался по аллее под созревающими абрикосами, уже довольно крупными, но все еще зелеными, твердыми и на ощупь суконными. При этом я испытывал радость от прикосновения моих босых ног, их загрубевших подошв, к уже сильно нагретому песку из толченых лиманных ракушек.

А в это время, показываясь то там, то здесь из-за шелковиц, из-за сиреневых кустов, давно уже отцветших, из-за серебристого лоха — дикой маслины,— над краем уже раскаленного обрыва, поросшего серебристой сухой, как все в это странное утро, полынью, горела серебряная полоса моря, яркого до рези в глазах.

Я уже подходил с другой стороны к дому и уже взялся за нагретые перила деревянной лестницы, как вдруг мне показалось, что яркий солнечный свет, ослепив меня, стал со страшной быстротой убывать, превращаясь из серебряного в кроваво-красный, а потом в ярко-черный, звон хлынул в мои уши, и, как мне потом рассказал папа, я с широко раскрытыми глазами, которые уже ничего не видели, с бледным лицом, в бессознательном состоянии както автоматически поднялся по ступеням крутой лестницы до самого верха, и тут папа взял меня на руки и внес в нашу прохладную комнату, но ничего этого я уже не сознавал — *не знал*, а только вдруг темнота стала отступать от меня, уступая место сиянию дня, и все, как бы навсегда утраченное, стало возвращаться ко мне.

...беленая комната с окнами в мир, на подоконниках крабы для коллекции—телесно-розовые, с багровыми, словно надутыми клешнями, высушенные на солнце и даже на вид легкие, почти невесомые,— и морские коньки в банке с формалином, деревянный ящичек с акварельными красками рядом со стаканом бурой воды, где я мыл кисточки, и лист александрийской бумаги, где так похоже были мною нарисованы акварелью огурцы и редиска; и ночная бабочка «мертвая голова», заснувшая в углу потолка, и зеленые решетчатые, совсем итальянские жалюзи, и весь этот прекрасный мир, полный красок и звуков, и осторожная рука отца с вросшим в кожу обручальным кольцом, прикладывающая к моему лбу мокрое полотенце, и маленький испуганный Женька, и мой собственный голос, говоривший:

— А что? Разве со мной что-то случилось? Ничего, не беспокойтесь. Наверное, это был только обморок.

Я чувствовал себя прекрасно, весело и, полежав минут пять с компрессом на лбу, как ни в чем не бывало побежал купаться в море, и больше в течение многих лет со мной ничего подобного не случалось, но в моей жизни уже произошло что-то очень важное — я это чувствовал,— что-то непоправимо изменилось:

...моя душа ненадолго рассталась с моим телом и побывала где-то, откуда чаще всего не бывает возврата...

Деревянный солдатик.

Это было неимоверно давно; трудно себе вообразить, когда это было!

Я шел с мамой за руку по той части нашей улицы, которая была мне уже известна,— небольшой отрезок городского пространства, начиная от дома, где мы жили, до ближайшего угла, а дальше как бы в тумане начинался уже другой, еще не вполне познанный мир, отделенный пространством, которое не могло осилить мое воображение; там были места, известные мне только по названиям: Александровский парк, циклодром, Ланжерон, море, Французский бульвар — то пугающее место, где, издавая тонкие свистки, с механическим стуком и дрожью ходила паровая машина, так называемая трамбовка, укатывающая своей огромной тяжестью засыпанное щебенкой шоссе Французского бульвара.

Однажды я увидел эту зеленую паровую трамбовку, окутанную паром, с машинистом, который под полотняным тентом сидел сзади. Дым валил из паровозной трубы трамбовки, и какая-то медная треугольная штучка, состоявшая из двух шариков, быстро крутилась над зеленой тушей котла.

...потом я узнал, что эти штучки, кажется, называются эксцентрики... А может быть, как-то иначе...

...Машина эта вызывала во мне ужас, так как от нее во все стороны шарахались собаки, а извозчичьи лошади с визгливым ржанием вставали на дыбы, и здания содрогались от ее злобного, торопливого стука.

Часть улицы от наших глубоких, как туннель, полукруглых ворот до угла представлялась мне очень большой, широкой, и мои маленькие зоркие глазки видели ее во всех подробностях, особенно тех, которые, в соответствии с мо-

им маленьким ростом трехлетнего ребенка, находились внизу: хорошо пригнанные друг к другу круглые булыжники мостовой, гранитные бруски обочины, чугунные канализационные решетки для стока дождевой воды и застрявшие в них какие-то тряпки, тротуар, сложенный из трех рядов синеватых плиток лавы, по которым было так удобно и твердо ступать моим новым туфелькам с перемычками и помпонами, нижние части древесных стволов, обложенных вокруг чугунными составными решетками, и кое-где прикованные к этим решеткам на цепочках ванночки с водой для собак, чтобы они не бесились от жажды.

Мама водила меня гулять на улицу, и во время этих прогулок мы неизменно встречали нищего уродца с крошечными, совсем детскими ножками, но туловищем взрослого человека, с какой-то как бы выструганной деревянной головой и несгибающейся красной деревянной шеей; он всегда поджидал прохожих, протягивая им деревянную чашку. Он стоял недалеко от хорошо знакомого мне почтового ящика, ярко-желтого, с изображением на нем белого письма с пятью сургучными печатями и двух скрещенных почтовых рожков.

Почтовый ящик казался мне громадным и всегда вызывал вопрос: каким образом опущенные в него письма попадают в другие города?

Я представлял, что от почтового ящика устроена в стенах домов труба прямоугольного сечения и по этому железному коридору каким-то образом движутся письма и доходят по назначению.

Я всегда останавливался возле почтового ящика и, задрав голову, любовался им, в то время как мама, в шляпе с орлиным пером, в темной вуали, вынимала из своего муарового мешочка письмо и, приподняв рукой в лайковой перчатке особую крышку, опускала в таинственную щель узкий конверт с большой синей маркой: письмо своей маме, а моей бабушке, в город Екатеринослав.

Затем мама вынимала из портмоне копейку и клала ее в деревянную чашку карлика-уродца, и я с сочувствием и душевной болью видел его кроваво-красные вывернутые веки и маленький провалившийся нос с раздутыми ноздрями.

Однажды недалеко от почтового ящика я увидел у стены дома на камнях плоский, как бы сделанный из полированного палисандрового дерева орех конского каштa-

на и тут же подобрал его и положил в карманчик своего матросского пальтишка как величайшую драгоценность. Я впервые в жизни видел орех конского каштана.

По-видимому, это место возле почтового ящика обладало волшебным свойством находок, так как вскоре я увидел на том же месте довольно крупного, почти нового деревянного солдатика, какими-то подробностями своего деревянного лица и стесанного затылка напоминавшего карлика-уродца.

Я был поражен этой разноцветной игрушкой, лежащей на камнях: у нее не было хозяина, она была сама по себе, она *никому не принадлежала,* хотя я уже понимал, что вещь не может быть ничьей; наверное, она кому-нибудь принадлежала и у нее был хозяин, какой-нибудь незнакомый мне мальчик, но он потерял ее, и теперь игрушка была *ничья.*

Я осмотрелся по сторонам. На улице никого не было. Неодолимая сила влекла меня к этой ничьей вещи. Я вопросительно посмотрел снизу вверх на маму и подергал ее за юбку.

— Можно? — спросил я.

Она снисходительно и нежно улыбнулась под своей густой вуалью.

— Бери, если тебе так хочется. Но ведь у него сломалось ружье.

Действительно. В первый момент я не заметил, что ружье, которое солдат держал на плече, сломано. Кроме того, деревянный кружок, на котором стояли плотно сомкнутые солдатские ноги, был со щербинкой. Значит, солдатика просто кто-то выбросил как сломанную вещь и он без своего хозяина стал *ничьим.* Но и таким он продолжал мне нравиться. Я протянул руку и взял солдата. Чудо совершилось. Он опять перестал быть ничьим. Он приобрел хозяина. Я стал его владельцем, он теперь был мой. Я был его хозяином. Я положил его в карманчик рядом с орехом конского каштана и почувствовал себя богачом: я был обладателем двух прекрасных вещей — каштана, созданного Природой, и солдатика, сделанного Человеком.

Предвкушая, как я приду домой и буду играть с солдатиком, я весело, звонко топал по лавовым плиткам рядом с мамой и размышлял над впервые открывшейся мне истиной, что все вещи кому-нибудь принадлежат.

Тут же меня поразило другое соображение, что ведь есть вещи, которые как будто никому не принадлежат. Они как бы ничьи.

— Мама,— спросил я,— а чьи воробьи?

— Воробьи божии,— подумав, ответила мама с улыбкой.

— А чей я?

— А ты — мой.

«Верно»,— подумал я. Я — мамин. И папин. И может быть, бабушкин и дедушкин. Это было ясно.

— А чей солдатик? — спросил я.

— Теперь он твой,— ответила мама.

— А чей он был раньше?

— Не знаю.

— А чей я был раньше?

Мама, как мне показалось, с удивлением посмотрела на меня сквозь густую черную вуаль, делавшую ее лицо чужим.

— Раньше тебя совсем не было,— сказала она.

— И тогда я был ничей?

— Когда тогда?

— Когда меня совсем не было?

Мама подумала и грустно, как мне показалось, ответила:

— Да, тогда тебя совсем не было.

— И я был ничей?

— Наверно, тогда ты был ничей,— ответила мама.— Божий.

...теперь я думаю, что тогда мама сама не могла поверить, что меня когда-то вообще не было...

С этого дня я понял, что, кроме вещей, у которых есть хозяин, есть вещи без хозяина, ничьи. Или, по крайней мере, когда-то бывшие ничьи. Эта мысль так сильно поразила меня в то невероятно отдаленное время, что я до сих пор не понимаю: чей же я?

Чей же я солдатик?

И вот мне приснился вещий сон:

Ящик.

Посреди комнаты, в которой я спал, я увидел на полу большой четырехугольный ящик, сделанный из крепкого

толстого дерева, выкрашенный коричневой краской под дуб или, быть может, оклеенный коричневыми бумажными обоями под дуб, как иногда оклеивали потайные двери, ведущие из одной комнаты в другую.

Присутствие этого большого ящика в комнате, где я спал вместе с папой и мамой, ничуть меня не удивляло, но оставляло на душе странный осадок беспокойства, тем более тягостного, что, несмотря на толщину досок и непроницаемость этого коричневого — под дуб — ящика, я видел все, что в нем делалось и кто там был.

В нем сидели в неудобных позах моя мама и моя двоюродная сестра Леля, по моему понятию, почти взрослая девушка, которой уже недавно исполнилось одиннадцать лет; она почти никогда к нам не приходила в гости, потому что у нее был костный туберкулез ноги и большей частью она лежала в постели — добрая, кроткая, худенькая, с прозрачным, немного хрящеватым и острым носиком, неприбранными белокурыми волосами, вся какая-то парафиновая, как принцесса.

Однажды я был у них в гостях и видел, как она перебиралась со своей постели в кресло и как она при этом прыгала на здоровой ноге, в то время как больная нога, согнутая в колене, бессильно висела, выглядывая из-под длинной ночной рубашки.

Теперь она сидела вместе с моей мамой в ящике, где им обеим было трудно расположиться, так как ящик хотя и был большой — какой-то «железнодорожный»,— но все же недостаточно просторный для двоих.

Они обе сидели в нем скрючившись: им не хватало воздуха; а я ничем не мог помочь их явным мучениям.

Мама и Леля все время делали попытки выбраться из ящика в комнату, освещенную красным желатиновым ночником. Сверху ящика была крышка, которую они обе пытались поднять руками, но крышка не поддавалась, потому что она была на очень тугой круглой дверной пружине и прихлопывала маму и Лелю, как только они приоткрывали ее руками или головой.

Отчасти это давало мне представление о каком-то капкане или мышеловке с плотно захлопнувшейся дверцей.

Мама и Леля продолжали возиться в ящике, причем мешали друг другу. Мне было ясно, что одновременно им не удастся вылезти из ящика, а надо было вылезать по очереди. А они этого не понимали или не хотели. Они сделали отчаянное усилие, крышка ящика приоткрылась —

и моя мама, вдруг разогнувшись во весь рост, в белой ночной кофте, простоволосая, наконец подняла головой крышку и вылезла из ящика в комнату, где я спал вместе с папой и мамой, сделала глубокий вздох облегчения и улыбнулась, вся какая-то просветленная, со странно округлившимся животом под нижней юбкой с тесемками сзади. Леля полезла из ящика вслед за мамой и уже было вылезла совсем, уже готова была так же, как и мама, просветленно улыбнуться, но не успела — и крышка придавила ее скрюченную ногу, и Леля испустила стон нестерпимой боли, даже не стон, а продолжительный, леденящий душу вой. Все же ей удалось, обдирая ногу, выкарабкаться из тесного ящика на волю, и она, слабо улыбнувшись, обняла мою маму.

...Так они обе стояли, глубоко и радостно дыша, но в то же время Лелин вой продолжался как бы сам по себе...

Тут я проснулся и увидел знакомые обои над комодом, где горел хорошо мне знакомый керосиновый ночничок с красным маленьким желатиновым абажурчиком в форме перевернутого ведерка. Но ставни на окнах, вероятно, забыли с вечера закрыть, и теперь за окнами светилась невероятно яркая лунная ночь и вся Базарная улица за окном была зеленой, с очень черными тенями голых деревьев и телеграфных столбов. Длинная железная оцинкованная крыша фабрики напротив была посеребрена лунным светом, и откуда-то оттуда, с улицы, слышался леденящий вой. Выла собака.

Ящика посредине комнаты уже не было, а возле меня стояла только что проснувшаяся моя мама — уже настоящая, а не приснившаяся, которая крестила меня, и успокаивала, и запирала ставни, закладывая их железными задвижками.

Вой собаки еще некоторое время продолжался, но потом постепенно стих.

Я уснул и снова увидел свою маму, но уже не в ночной кофте, не простоволосую, и милую, и теплую, а даму в шляпе с густой черной вуалью, в пенсне, строгом черном костюме — узкие рукава с буфами на плечах,— в одной руке она держала нечто вроде черного флага, который — я уже знал это — по-французски называется ле драпо, а в другой руке дождевой, тоже черный, полуприкры-

тый зонтик, называвшийся по-французски ле или ля параплюи, и она опиралась на этот полуоткрытый параплюи со спицами как на палку и шла по железной крыше магазина Пурица на Ришельевской улице, среди мрачных облаков, каждым своим шагом производя железный грохот, похожий на звук опускаемых магазинных железных рифленых штор; она шла, на каждом шагу проваливаясь по колено сквозь крышу, и снова все шла и шла по крыше, высоко держа в поднятой руке черный ле драпо и как бы преодолевая какую-то тяготевшую над ней мрачную силу города с зеленой чугунной решеткой костела и магазинами золотых вещей и безделушек; она шла все быстрее, быстрее, быстрее, проваливаясь по колено сквозь железную крышу, и быстрота ее движения постепенно превращалась в стремительно быстрое окончание моего сна, в самом конце которого уже виднелся просвет: проглянуло солнце,— и я услышал шорох орехов конского каштана, которыми был наполнен ящик ночного столика. Каштанов было так много, что я их уже набирал в деревянный совок, как в бакалейном магазине, и рылся в них руками, перекатывая их и восхищаясь их красотой...

...И тогда уже я по-настоящему проснулся, и увидел яркий солнечный свет в окнах с открытыми ставнями, и сквозь синюю сетку своей кроватки увидел маму в ее кровати вместе с моим бородатым папой, которого я так любил, а папина кровать была пуста...

Папа и мама смотрели на меня, их маленького сыночка, веселыми глазами, но я не посмел рассказать им свой вещий сон, а затаил его в самой сокровенной глубине души.

Вскоре умерла моя мама, родив братика Женечку, а затем умерла и Леля от туберкулеза́ ноги.

И все это правда.

Монетка.

Наконец наступило 16 января, день моего рождения, который я каждый год ждал с таким нетерпением и такими надеждами.

Кроме подарков, этот день сулил мне еще одну радость: я мог не идти в гимназию и валяться в постели сколько захочу.

Я проснулся, когда в доме еще все спали, и при слабом, предрассветном свете, как бы делавшем вокруг меня все предметы еще более темными, чем ночью, прежде всего осмотрел плетеное сиденье стула возле моей кровати. Я надеялся, что на нем, как всегда, уже с вечера положены для меня подарки.

Подарков не было.

Я осторожно вылез из-под одеяла и на цыпочках — теплыми босыми ногами по холодному полу — отправился на разведку в столовую. Я надеялся, что подарки стоят на буфете или на обеденном столе. Пройдя мимо тетиной комнаты и прислушавшись к доносившемуся из-за дверей дыханию спящей тети, я вернулся обратно в нашу комнату, где предутренним храпом храпел папа и чмокал во сне губами Женька.

На подоконниках, куда из щелей закрытых ставней уже проникал мутно-голубой свет зимнего утра, подарков тоже не было.

Странно!

«Не может быть, чтобы они забыли,— подумал я про папу и про тетю.— Наверное, они решили приготовить для меня какой-нибудь особенный сюрприз». Однако это предположение не успокоило меня, а, наоборот, еще больше встревожило. «Неужели,— думал я,— на этот раз они решили оставить меня без подарков? Невероятно! Но кто их знает? От них всего можно ожидать. Может быть, папа, который вообще имеет оригинальный характер и не признает показной стороны многих обычных семейных событий, как, например, дня ангела, новоселья и тому подобного, если и принимал в них участие, то лишь для того, чтобы не обижать окружающих и не навязывать своих личных взглядов; так вот — очень может быть, папа, будучи человеком глубоко верующим, даже к церковным праздникам и государственным торжествам относился в душе неодобрительно, хотя и не высказывал этого вслух и исполнял все, что полагалось исполнять верующему русскому православному человеку,— думал я,— так неужели папа вдруг решил, что празднование дня рождения не больше чем предрассудок, который пора отменить. И вот отменил! Правда, Лев Толстой,— продолжал размышлять я,— имеет на папу известное влияние, но ведь папа человек добрый и не захочет обижать своего сына... Хотя от него всего можно ожидать!»

Полный сомнений, я улегся под одеяло, угрелся и решил ждать, что будет дальше. Я уже начал рисовать в воображении ужасную картину отмены дня моего рождения со всеми вытекающими из этого неприятными последствиями, но скоро, окончательно угревшись, заснул сладким сном, а когда проснулся, то по тишине, царившей в квартире, понял, что все уже ушли: папа и тетя на уроки, прихватив с собой Женьку, для того чтобы отвести его в детский сад госпожи Цакни, куда его водили ежедневно до поступления в гимназию.

Из кухни слышалось, как кухарка рубит секачкой мясо на котлеты.

Меня же не разбудили, значит, день моего рождения все же не отменен, и это меня немного обнадежило. «Если даже и отменен, то все-таки не полностью: в гимназию можно не идти — и то хорошо»,— подумал я, открывая глаза.

В комнате уже было гораздо светлее, чем раньше, однако утренний свет с трудом пробивался сквозь окна, густо занесенные ночной вьюгой. По-видимому, метель продолжалась, потому что в печах гудело и стекла окон звенели, как будто бы с улицы кто-то в них то и дело бросал полными пригоршнями сухой январский снег.

Я любил этот голубой зимний свет в пустой и тихой квартире поздним утром. Я посмотрел на плетеное сиденье стула, надеясь, что все обошлось и подарки уже на месте. Стул был пуст. Я заглянул в столовую. Там тоже ничего для меня не было. Я опять вернулся в постель и угрелся под одеялом. В печке с герметически завинченной двойной чугунной круглой дверцей постреливали дубовые дрова.

Было довольно уютно, но мучительно скучно.

Уж лучше бы я пошел в гимназию, где меня бы как именинника щипали за уши, хотя, в общем-то, я не был именинником, а рожденником, но мои товарищи не вдавались в такие подробности.

Я опять стал размышлять насчет подарков. Мне пришла мысль, что, может быть, папа положил подарок под мою подушку, что иногда практиковалось в нашем семействе. Это показалось мне вполне вероятным, так как спросонья мне даже один раз показалось, что к моей постели на цыпочках подошел папа уже в сюртуке и осторожно поцеловал меня, пощекотав мокрой после умывания бородой,— поздравил с днем рождения. Может быть, он поло-

жил подарок под подушку? Я засунул руку под подушку и сразу же почувствовал, что там лежит что-то совсем небольшое, похожее на ощупь на маленький мешочек. Я пощупал этот плоский мешочек, и мои пальцы ощутили металлический запор с двумя шариками. Кошелек!

Я проворно вытащил из-под подушки руку, в которой был действительно зажат небольшой, весьма неказистый замшевый кошелечек. Я открыл его, заглянул внутрь и в голубых сумерках позднего утра увидел монетку — двугривенный.

В первую минуту я почувствовал нечто вроде того, что меня обворовали.

Вот так подарок! Нечего сказать: маленькое дешевенькое портмоне — и в нем двадцать копеек! Такого ничтожного, даже оскорбительного подарка мне еще никогда не дарили ко дню рождения. Неужели это намек на мои двойки, которые я принес домой во второй четверти? Или, может быть, папа решил раз и навсегда покончить с дорогими подарками и подарил мне кошелек с серебряной монеткой не как ценность, а просто на память, как «сувенир» — любимое выражение тети.

Мне сразу стало скучно и ужасно жалко своих несбывшихся надежд на коньки «нурмис» с носами острыми, как у броненосца.

Я вяло оделся, умылся и, спрятав в карман кошелек, поплелся в столовую пить чай, который принесла кухарка, поздравившая меня с днем рождения, и подала к чаю небольшой, специально испеченный ради моего дня рождения сдобный кренделек, посыпанный миндалем и сахарной пудрой, как будто бы его замела метель. Запивая крендель чаем с молоком, я от нечего делать достал из кармана кошелек и вынул из него двугривенный. Уже в то время, как моя рука несла монету, мне показалось, что монета что-то больно тяжеленькая для двугривенного. Я посмотрел и не поверил своим глазам: у меня на ладони лежала ярко-желтая золотая монета — пять рублей. Я не мог ошибиться. В столовой было достаточно светло, чтобы можно было отличить серебро от золота. Я подошел к окну, где было еще светлее, и осторожно бросил монетку на подоконник. Она издала ни с чем не сравнимый, полновесный звон золота, завертелась и с музыкальным звуком остановилась, упав плашмя.

Да! Это были самые настоящие золотые пять рублей!

Мне стало совестно, что я заподозрил папу в намерении отменить день моего рождения. Я был уверен, что папа меня любит, несмотря даже на плохие отметки в четверти. Я знал, что папа считает безнравственным дарить детям деньги, которые развращают человека. Он часто высказывал эту мысль. Он даже говорил, что все зло мира происходит от денег. И тем не менее он подарил мне деньги — целых пять золотых рублей. И это уже не впервые.

Совсем недавно, в день моего ангела 6 июля, он подарил мне три рубля — прекрасную зеленую бумажку, гладкую, еще ни разу не согнутую,— вынув ее из книги, где он между листов хранил свои ассигнации. Мы жили возле Будак, на даче у немца-колониста, над морем. Вокруг была прекрасная степная и морская природа, но не было игрушечных магазинов, и папа впервые поступил против своих принципов — подарил мне три рубля.

О, как ясно помню я это незабываемое солнечное утро, когда я, держа в руках кредитку, обошел всю немецкую экономию, желая поделиться с кем-нибудь своим счастьем. Но, как назло, вокруг не было ни одной живой души. Все были на море и купались. Я пошел на скотный двор, где в углу стоял дилижанс без лошадей, привозивший и отвозивший дачников в Аккерман или из Аккермана. Я влез на козлы дилижанса и, сидя на клеенчатой, нагретой утренним солнцем подушке, долго рассматривал три рубля, восхищаясь отличной бумагой с водяными знаками, видными на просвет, четкой мелкой печатью и с ювелирной тонкостью оттиснутыми вокруг цифры «три» радужно-разноцветными сетками — чудом гравировального искусства. Одно лишь сознание того, что в моих руках находится билет государственного банка с выгравированным факсимиле подписи кассира, придавало мне в собственных глазах какое-то особое значение, как именинника и человека, некими таинственными узами связанного отныне с Самим Государством — Российской империей.

К этому сознанию примешивалось ни с чем не сравнимое чувство именинника, которое бывает лишь один раз в году, когда ангел-хранитель как бы прикасается к душе, обнимает ее своими незримыми, прохладными ангельскими крыльями, а потом уносится вверх на небо и еще долго потом нежно, любовно смотрит на именинника с высоты.

...Одно было не совсем приятно — то, что 6 июля был день ангела не только Валентина, но также и Сысоя. Так и в календаре было написано: Сысоя и Валентина. И мне было не особенно приятно, что меня и какого-то Сысоя охраняет один и тот же ангел. Впрочем, может быть, у Сысоя был свой собственный ангел-хранитель. Так или иначе, но это слегка омрачало мои именины...

Сидя на горячих козлах дилижанса с трехрублевым билетом государственного казначейства в руках, рядом с полузавядшим венком из васильков и пшеничных колосьев, кем-то забытым на сиденье дилижанса, я смотрел в знакомое, почти бесцветное от зноя июльское небо с двумя белоснежными облачками, ища глазами своего ангела, и временами мне даже казалось, что я его вижу: его или покровителя Сысоя.

...Не помню уже, на что я потратил свои именинные три рубля.

Теперь же, в морозное январское утро, в моем замшевом кошельке болталась тяжелая золотая монетка, и каждую минуту я открывал кошелек и заглядывал в его недра, желая убедиться, что золото осталось золотом, не исчезло, не превратилось в серебро двугривенного. Я клал пятирублевую монетку на ладонь и любовался ее блеском, желтым, ярким, свойственным одному лишь золоту. И я владел этим золотом! Я был готов любоваться этим тяжелым кружочком, этим своим сокровищем бесконечно; однако сила и власть, заключенные в золоте, уже овладели мною, моей бессмертной, свободной душой. Папа был прав, что деньги развращают. Я уже был развращен.

Быстро надев шинель, калоши, фуражку, а поверх фуражки повязав еще желтый верблюжий башлык, обшитый по швам коричневой тесьмой, несмотря на ужасную метель и пургу, я отправился в город, для того чтобы испробовать на деле могущественную силу золота.

Вскоре в заиндевевшем башлыке я вернулся из города обратно и, выскочив из санок, положил в руку извозчика два пятиалтынных. Он попросил прибавить на водку, и я дал ему еще гривенник. На пуговице моей шинели висел пакет с покупками: лобзик для выпиливания и дрель для просверливания дырочек, несколько пачек тоненьких пилочек для лобзика; под мышкой у меня были два листа

тонкой фанеры, свернутой в трубу, перевязанную шпагатом.

Мне казалось — прошла целая вечность после моего ухода за покупками, а на самом деле прошло часа полтора, не больше. В доме еще было по-утреннему пусто и чисто. Похвастившись перед кухаркой своими покупками, я пообещал ей выпилить красивую узорчатую полочку для кухни и сейчас же принялся за дело.

Однако выпилить лобзиком изящные узоры оказалось мне не под силу: тонкие пилочки лопались, винты лобзика плохо закручивались, дрель с трудом просверливала в фанере необходимые дырочки, да и сама фанера была твердая, неровная; видно, продавец в лесном складе на привокзальном базаре здорово меня надул. Я поранил палец и забросил все свои материалы и принадлежности для выпиливания древнерусских национальных узоров из фанеры в чулан, где они, наверное, пролежали бы до сих пор, если бы дом в Отраде, где мы тогда жили, не был снесен с лица земли немецкой фугаской в 1941 году. Там торчали лишь остатки обгорелого дуба, который некогда так красиво рос перед нашим балконом. О маленьком флигельке старушки Языковой я уж и не говорю. От него осталось одно лишь смутное воспоминание.

Меня утешало, что покупки стоили сравнительно не очень дорого. Осталась сдача рубля два с чем-то. Сдача звенела в кошельке, но это уже было совсем не то, что целенькая, еще не истраченная золотая полновесная монетка, чудный звон которой я впервые услышал в то раннее утро, когда бросил ее на замерзший подоконник, освещенный голубым светом занесенного снегом окна.

...Ну, а потом все было как полагается: торт, дымящийся шоколад в нарядных именинных чашках, бисквиты, похожие формой своей на хлястики гимназических шинелей; гости, среди которых особенно выделялась сидящая рядом со мной Надя Заря-Заряницкая с длинными английскими локонами и прелестным прямым носиком, осыпанным золотистыми, почти незаметными веснушечками, которые совсем ее не портили, а, наоборот, украшали.

А золотой монетки все-таки было ужасно жалко... Как я поторопился с ней разделаться!..

...Столовая ложка.

Бабушка — папина мама,— по имени Павла Павловна, имела обыкновение в дни нашего рождения и в дни ангела дарить нам, Женьке и мне, столовую серебряную ложку. Старушка появлялась из-за своей ширмы, подходила к имениннику, целовала его в лоб сморщенными губами и, произнеся какое-то поздравление вроде напутствия своим неразборчивым, шамкающим вятским говорком, вручала столовую ложку. Именинник весь день пользовался за столом этой ложкой, а вечером бабушка незаметно выкрадывала ее из буфета, относила к себе за ширму и куда-то прятала, а при следующем семейном торжестве снова выносила ее утром из-за своей ширмы и опять дарила имениннику.

Это было известно всем, но все делали вид, будто никто ничего не заметил, а именинник пользовался ею весь день до тех пор, пока вечером бабушка не выкрадывала ее из буфета.

Однажды мы с Женькой, заинтересованные, куда она прячет эту именинную ложку, перерыли за ширмой все бабушкины вещи и обнаружили ложку за кроватью, под ковриком.

Всякий раз, даря ложку, бабушка присоединяла к своим поздравлениям еще и наставления, как надо обращаться с ложкой, как надо ее беречь и чистить толченым мелом и следить, чтобы ее не стащила прислуга. Тогда, говорила она, к тому времени, когда мы вырастем и женимся, у нас уже будет у каждого по дюжине серебряных ложек.

Бедная бабушка!

Одна-единственная серебряная ложка осталась у нее от того времени, когда она была попадьей, женой вятского соборного протоиерея — моего дедушки Василия Алексеевича,— была полновластной хозяйкой большого деревянного дома, мать большой семьи, в которой мой папа, и дядя Миша, и дядя Николай Васильевич были такими же детьми, как теперь мы с Женькой.

Среди духовного общества Вятки она, вероятно, занимала далеко не последнее место, все-таки матушка, супруга соборного протоиерея, лица заметного в иерархии местного губернского духовенства.

Отца протоиерея — мужа моей бабушки, отца моего папы, а моего дедушку — я никогда не видел, так как он умер в Вятке задолго до моего рождения. У папы хранилась семейная фотография, где посередине своего семейства сидел строгий священник с хрящеватым носом, огромной бородой и глазами Салтыкова-Щедрина, портрет которого я видел в одной из книг нашего небольшого книжного шкафа, а рядом с ним сидела моя бабушка, его жена — Павла Павловна, попадья, небольшая женщина в черном шелковом платье с кринолином, гладко причесанная на прямой пробор, с маленьким круглым старообразным личиком, напоминающим белую просфорку, но властными сухими ручками, чинно сложенными на коленях. Рядом со своей маленькой попадьей дедушка выглядел громадным, подавляюще-величественным со своим большим наперсным крестом на муаровой рясе. Однако бабушка не казалась рядом с ним подавленной или ничтожной. Наоборот. В ее маленькой фигурке было нечто очень самостоятельное, независимое, волевое, даже деспотическое, и очень возможно, мой дедушка, соборный протоиерей, был под башмаком у своей попадьи.

По-видимому, семья вятского соборного протоиерея держалась на могущественных старозаветных принципах почтения к родителям, на принципах православной веры со всею ее церковностью, любви и обожания своей матери-родины России и даже своего государя императора, самодержца всея Руси.

Мне было трудно представить себе быт семьи моих вятских бабушки и дедушки, трудно было вообразить папу в моем тогдашнем возрасте, еще труднее было вообразить Вятку, такую далекую от всего нашего южного, степного, морского, отчасти украинского — «малороссийского», как тогда принято было говорить,— всего того, что окружало меня в детстве.

О папином детстве в Вятке я составил себе представление по отрывистым, случайным воспоминаниям, которым иногда предавался папа. Иногда он рассказывал, что в детстве, зимой, они — все три брата — вместе со своим отцом, моим дедушкой, протоиереем, парились в домашней бане, хлестали друг друга березовыми вениками, а потом, напарившись до малиновой красноты, выбегали в чем мать родила прямо на мороз, и валялись в снежных сугробах, и возвращались обратно в крепко натопленную баньку, где обливались напоследок студеной водой, вытирались и уже

потом одевались в свежее белье, предварительно отдохнув на еловой лавке в предбаннике. И ничего. Никогда не простужались, говорил папа.

В Вятке папа воспитывался в спартанском духе с северорусским оттенком. Одна из любимых папиных поговорок была:

— Держи голову в холоде, брюхо в голоде, а ноги в тепле.

Папа рассказывал, как у них в доме в Вятке жарким летом сохраняли молоко от скисания: клали в кувшин с молоком живую лягушку — и молоко всегда было свежим, прохладным и не скисало даже во время грозы, когда считалось, что от грома молоко непременно киснет.

Я живо представлял бревенчатый городской вятский дом с усадьбой, где жила семья протоиерея,— погреб, баню, хотя настоящую русскую баню с кирпичной печкой, полками, предбанником, березовыми вениками никогда не видел. У нас в Одессе были «бани Исаковича» с номерами, куда папа водил нас, детей, купаться в том случае, если квартира была без ванны.

Помню эти «бани Исаковича» — семейные номера,— куда мы ездили сначала на конке, а впоследствии на электрическом трамвае, уже вечером, когда в городе горели фонари, отражаясь в мокрой мостовой.

Коридор, тусклый от пара, и какие-то мутные, особые, «банные» зеркала с дешевыми, неровными, как бы жестяными стеклами. Мокрые половики. Номерной босиком, в русской рубахе, с ключом от «номера» в руках, и коптящая керосиновая лампочка на стене, и полумрак, в котором неизвестно почему мне чудилось что-то греховное.

Папа намыливал меня и Женьку мочалкой, а сам, худой и голый, намыливал себе шею и голову, а потом мы терли друг другу спины распаренной мочалкой, так вкусно пахнущей хорошим аптекарским магазином Леммэ, где она была папой куплена.

...Потом отдыхали на клеенчатых кушетках...

Папа нам рассказывал, что недалеко от их дома в Вятке была еврейская синагога и в пятницу вечером, когда закон запрещал евреям всякую работу, папу и его братьев нанимали как «гоев», то есть *не*евреев, тушить свечи, что

тоже считалось работой, и за это платили им по две копейки. Тушение свечей в еврейской синагоге я тоже представлял довольно ясно, и меня удивляло и даже смешило, что русские мальчики, семинаристы, дети соборного протоиерея, тушат свечи в синагоге, где на черных скамейках сидят евреи в своих полосатых талесах, с какими-то черными коробочками, привязанными ремешками ко лбу.

Но папа говорил, что тут нет ничего смешного, потому что всякая вера угодна богу и всякую веру следует уважать.

Я представлял себе вятского дедушку в его золотых или серебряных несгибающихся ризах, в епитрахили и прочем облачении иерея — как он стоит на амвоне собора, окруженный лилово-меловыми облаками росного ладана, освещенный свечами и лампадками, прекрасный, могущественный, с громадной окладистой бородой и грозными глазами обличителя и сатирика.

Дедушка умер, его вакансию в соборе занял другой протоиерей, бабушка осталась бедной вдовицей, ее сыновья-семинаристы по каким-то причинам, а вернее всего, вследствие веяния времени не захотели продолжать свою духовную карьеру: папа и дядя Миша поступили в Новороссийский университет, который избрали по причине теплого климата и баснословно дешевой жизни на юге России. Папа взял с собой свою маму, и она с тех пор постоянно жила при нем на его иждивении, так что когда мы с Женькой родились, бабушка уже давно жила в столовой за какой-то некрасивой коричневой ширмой, обтянутой коричневым, «вдовьим» коленкором.

Она уже и тогда была очень стара.

Тихая, незаметная, бесполезная, она скромно влачила свою жалкую жизнь вдовицы на иждивении своего среднего сына Петруши, моего папы. Она не делала попыток играть какую-нибудь роль в нашей семье, сначала при маме, а потом, после ее смерти, при тете, маминой сестре. Она была как бы осколком какого-то совсем другого, давно уже исчезнувшего мира дореформенной провинциальной жизни северной России. Она не жила, а вернее, существовала, очень медленно доживая свои годы, всегда одинаково старая, неслышно ходившая, распространяя вокруг себя запах старой шерстяной юбки и дряхлого тела — старушечий, вдовий запах. У нее было маленькое скуластое личико с беспумно жевавшими губами, сплошь покрытое глубокими клетчатыми морщинами. На ее голо-

ве, на лысой макушке, всегда была черная вязаная нитяная нашлепка, похожая рисунком своим на паутинку. У нее был носик пуговкой. Чем-то она напоминала старую-престарую китаянку.

Она сделалась как бы неодушевленной принадлежностью нашего дома.

Переезжая с квартиры на квартиру, ее брали с собой, как самовар, как фикус...

Для нее никогда на находилось отдельной комнаты, она всегда помещалась со своей простой железной кроватью, сундучком и ковриком за ширмой в столовой, что, при всей бабушкиной тихости, незаметности, все же не могло нас всех не стеснять и даже, если говорить правду, раздражать; раздражало ее бормотанье и вятский говор — «ч» вместо «ц»: «красавича», «черковь», «чиркуль» и тому подобное; раздражали ее исконно русские «давеча», «вечор», «намедни», «сени», «студеный», «сказывала»...

С годами она становилась мелочно-скупой, пересчитывала при гостях сахар в сахарнице, следила за столом, кто сколько взял, поглядывала, как, что и сколько съедает кухарка, уличая ее в том, что она:

— Так и уписывает за обе щеки, так и уписывает!..

Мы все относились к ней равнодушно, терпели ее.

Мы с Женькой иногда передразнивали ее чуждую для нас вятскую скороговорку.

...Тетя как бы не замечала ее вовсе...

Один только папа нежно любил ее, свою маму, и свято исполнял сыновний долг перед этой никому не нужной старушкой, некогда родившей его на свет божий.

Бабушка умерла однажды рано утром, когда мы все еще спали, на руках у папы. Она как бы просто заснула и уже больше никогда не просыпалась.

Папа закрыл ей глаза, положив на опущенные веки медные пятачки, подвязал чистой салфеткой челюсть, чтобы она не отваливалась. Это было как раз в то время, когда у бабушки впервые была своя отдельная комната. Но жила она в ней все равно за ширмой. Мы с Женькой умылись, оделись, и папа с красными от слез глазами привел нас в холодную бабушкину комнату, где, уже обряженная в свое лучшее платье, она спокойно лежала на своей вдовьей постели. Как ее перекладывали в гроб, не помню. Помню

лишь, что гроб был недорогой, коричневый. Помню белый, слишком нарядный для бабушки катафалк, стоявший у наших ворот, и лошадей в черных попонах с вырезанными кругами для глаз.

Папа не взял нас на похороны. Он шел за гробом один. В этот день он пропустил свои уроки.

Вернувшись с кладбища, он сказал:

— Похоронил вашу бабушку, мою мать. Ее могила недалеко от вашей мамы. Когда придет и мой час, пусть меня положат между моей женой и моей матерью, между двух женщин, которых я любил больше всего на свете.

Бабушкину комнату проветрили, вымыли, привели в порядок и отдали под жильцов.

...а столовую серебряную ложку, которую нашли у бабушки под ковриком, вычистили мелом с нашатырем и присоединили к другим серебряным ложкам в ящике буфета.

Небольшие уличные происшествия.

У нас в Отраде часто происходили погони за убежавшей обезьяной или улетевшим попугаем. Эти маленькие происшествия вносили в нашу жизнь еще больше разнообразия и как бы заменяли нам путешествия в заморские страны, приближали нас к персонажам Жюля Верна или Луи Жаколио.

В один миг Отрада с ее четырьмя милыми, глухими улицами, обсаженными белыми акациями, сквозь перистые листья которых так романтично просвечивало слегка зеленоватое приморское небо, с ее дачами, с ее яркими газонами и клумбами огненных канн превращалась в какое-то Вальпараисо.

Во всяком случае, нам так казалось.

Выбравшийся из клетки попугай, хохлатый какаду или многоцветный, как флаг какой-нибудь южноамериканской республики, жако, разучившийся в своей большой куполообразной клетке летать, вдруг по случайности оказывался на воле. Пролезши в дверцу, которую забыли запереть, он сначала неуклюже ковылял по комнате, потом вскакивал на подоконник, оттуда неуклюже взлетал в открытую форточку и, почуяв волю, бросался наутек, неловко размахивая крыльями, отвыкшими от полета. Он медлен-

но, с усилием летал невысоко над мостовой, продираясь сквозь виноградно-зеленую листву акаций и время от времени издавал какие-то глупые, каркающие, иностранные междометия.

Его пленная душа не сразу могла привыкнуть к свободе, но все его существо уже ликовало, и он, изо всех сил гребя воздух своими короткими крыльями, пытался как можно дальше удрать от своей осточертевшей клетки, от медного кольца, в котором он висел вниз головой, не зная, что с собой делать, красивый, бесполезный, с горбатым коротким клювом, твердым, как маникюрные щипцы, с замшевыми полуопущенными веками на круглых глазах, не радуясь ни свежей воде в стаканчике, ни жареным семечкам в кормушке...

Теперь, вырвавшись на волю, он чувствовал, что все дороги открыты для него, и кое-где среди ветвей акаций ему уже не раз заманчиво показывалось море и дикие скалы Малого Фонтана. Стоило ему лишь подняться повыше, оглядеться по сторонам, посильнее взмахнуть крыльями — и тогда поминай как звали!

...вот оно уже перед ним — Вальпараисо...

Не тут-то было. Уже вся улица бежала за ним с криками:

— Держи его! Лови! Хватай!

Впереди всех бежала, шумя своей нижней накрахмаленной юбкой, в кружевном фартучке и кокетливой наколке горничная капитана дальнего плавания добровольного флота, у которого в гостиной жил попугай.

Именно эта самая горничная забыла запереть дверцу клетки и теперь как главная виновница происшествия с испуганными карими украинскими глазками мчалась за попугаем, крича:

— Попка, попка! Слышишь, что тебе говорят? Вертайся сейчас же домой в свою клетку!

За горничной, придерживая рукой шашку, которую все называли не иначе как селедкой, поспешал наш постоянный постовой городовой с рыжими усами и невинными голубыми глазами, смотревшими из-под административно насупленных бровей, по фамилии Зельцер, так как происходил из немцев-колонистов деревни Кляйн Либентел, или попросту Малая Акаржа под Одессой.

Для того чтобы напугать птицу, городовой Зельцер уже собирался свистеть в свой роговой свисток с горошиной внутри.

За городовым бежала вся наша компания, «голо́та». А уже за голотой — все остальные любители уличных происшествий.

Попугая было довольно трудно настичь, и, очень возможно, он так бы и улетел неизвестно куда. Но помогли воробьи, скворцы и местные кошки. Завидев диковинную птицу, они включились в погоню.

Кошки карабкались на деревья, в листве которых путался попугай, а воробьи и скворцы налетали на него сверху и с ненавистью, которую всегда испытывают животные к красивому иностранцу, клевали его в голову и подняли вокруг несчастного попугая страшный крик и писк. Разноцветные перья летели во все стороны. Попугай заметался, не зная, куда деваться, и тут же наиболее ловкая и злая кошка, зловеще мяукая, достала его лапой и вырвала из хвоста красное перо.

— Ко-ко-ко-ко,— жалобно сказал попугай на своем иностранном языке и свалился на тротуар, где его тут же сцапал городовой Зельцер, а затем с вежливой улыбкой вручил горничной, которая завернула насмерть испуганную птицу в фартук, помчалась, поднимая своими юбками ветер, домой и водворила попугая в клетку.

Попугай был очень рад, что снова очутился в знакомой, спокойной обстановке, и теперь уже безрассудный порыв к свободе, вероятно, казался ему величайшей глупостью. Во всяком случае, он с удовольствием напился свежей водички из стаканчика, пощелкал жареных семечек, а потом покачался вверх ногами в своем медном кольце, немного напоминая акробата на трапеции под куполом цирка, причем то и дело приговаривал с удовольствием:

— Ко-ко-ко... Ко-ко-ко...

Бегство маленькой обезьянки Дези, принадлежавшей Джульетте Арнери, о которой я уже упоминал в этой книге, происходило примерно так.

Когда я присоединился к толпе, то Дези, с оборванной цепочкой на ошейнике, кривлялась на верхушке самой старой из всех наших акаций и бросала вниз охапки сорванной листвы. Джулька молитвенно простирала к ней

руки, пытаясь своей кокетливой улыбкой на смуглом итальянском личике заманить Дези вниз, на землю.

Все семейство Арнери стояло рядом с Джулькой — папа Арнери в сдвинутой набекрень фетровой шляпе-борсалино, мама Арнери в черном кружевном платке, накинутом на красиво седеющие волосы, такие же кудрявые, как и у Джульки, и братья Арнери, мои друзья Рафка и маленький Петрик со своим трехколесным велосипедом, а также старшая сестра Нелли, неописуемая красавица с раскрытым кружевным зонтиком на плече.

Так как обезьяна не желала добровольно спуститься с акации на тротуар, то позвали дворника, который принес лестницу. Но едва он приставил ее к стволу акации, Дези, как гимнаст, перебралась на другое дерево и, оскалившись, издала злобный трескучий звук раздавливаемого ореха. Едва дворник прикоснулся к лестнице, желая переставить ее к другому дереву, Дези перелетела на уличный фонарь, скрючилась, поискала у себя немного в голове, а затем побежала по верхушке каменного забора и все с той же акробатической точностью продолжала перебираться по карнизам, водосточным трубам и балконам довольно высокого кирпичного дома Фесенко, пока не перебралась на крышу и оттуда бросила на преследователей презрительный взгляд своих полузакрытых глаз с лазурными веками.

...глаза клоуна...

— Дези! Дези! Дезинька! — нежнейшим голосом звала Джулька.

Если бы Дези была человеком, то она, несомненно, немедленно спустилась с крыши в руки своей хозяйки, потому что Джулька была неотразима своим телесно-розовым ротиком и смугло-румяными щечками.

Но Дези была обезьяна и ничего этого не понимала. Наоборот, она даже как будто оскорбилась от Джулькиных притязаний, повернулась спиной к Джульке, задрала хвост, чем и показала ей свое презрение.

В это время подъехал на велосипеде Стасик Сологуб, прислонился вместе со своей машиной к дереву, подумал, посоображал, а затем сошел с велосипеда и мужественно полез по пожарной лестнице на крышу, вызвав всеобщее восхищение, но не долез, потому что зацепился за какой-то костыль и порвал свои узкие диагоналевые брюки со

штрипками, так что все увидели его подштанники. Смущенный Стасик спрыгнул на землю и умчался домой на своем велосипеде под бурное улюлюканье всей нашей голоты.

С обезьяной возились долго.

Она перебиралась с крыши на крышу. Еще немного — и она бы спрыгнула в приморский сад дачи Налбандовых, а оттуда вниз с обрыва, и тогда ищи свищи!

...но тут появился Мишка Галий, он же просто Галик...

Галик подошел своей цепкой черноморской походочкой к толпе, посмотрел вверх на обезьяну зорко прищуренными глазами шкипера, а затем сказал Джульке, что поймать Дези — плевое дело, надо лишь иметь восемь копеек. Семейство Арнери, посовещавшись, вручило Галику восемь копеек, и, подмигнув Джульке, Галик не торопясь удалился все той же своей знаменитой походочкой.

Он был в бобриковых лиловых штанах, откуда торчали его пыльные босые ноги.

Толпа видела, как в перспективе улицы Мишка Галий, звякнув дверным колокольчиком и нажав щеколду, вошел в бакалейную лавочку Коротынского и вскоре вышел оттуда, прижимая к груди фунт винограда, завернутого в грубую, дешевую, толстую бумагу. Не отвечая на вопросы, он сноровисто полез, перебирая босыми маленькими ногами по перекладинам пожарной лестницы, достиг уровня крыши и показал обезьяне гронку винограда, вынутую из фунтика. Обезьяна издала свой щелкающий звук, в два прыжка на трех длинных руках приблизилась к Мишке Галику и протянула к винограду человеческую коричневую ручку.

Однако Галик винограда обезьяне не дал, а медленно начал спускаться вниз, держа перед мордой зверька соблазнительную полупрозрачную кисть, насквозь пронизанную солнцем.

Таким образом Мишка Галик, а за ним и обезьяна благополучно спустились на улицу, где Мишка молниеносным движением схватил Дези за хвост и, не обращая внимания на сердитые крики обезьяны, норовившей его укусить, подал Джульке животное; затем, сказав всего лишь одну фразу: «А виноград пойдет мне за работу!» — Галик удалился, окруженный голотой, кричавшей:

— Мишка! Галик! Не будь жадным! Дай хотя бы одну гронку на всех!

...но Мишка Галий был неумолим...

Драгоценные окаменелости.

Один мальчик принес кусок окаменевшего дерева и толстую пластинку антрацита с отпечатками на его зеркальной поверхности листиков папоротника, росшего, как сказал мальчик и подтвердил учитель истории, много сот тысяч, а может быть, и миллионов лет тому назад.

Весь класс столпился возле парты, где лежали окаменелости, с любопытством рассматривая их. Мальчики брали в руки тяжелые окаменелости, произнося различные междометия вроде:

— Ого-го!

Или:

— Уй-юй-юй!

Или:

— Ай-яй-яй!

Но в общем миллионолетние камни не слишком заинтересовали класс, и мальчики вскоре разошлись по своим партам.

На меня окаменелости произвели потрясающее впечатление. Воображение представило мне картину древовидных папоротников и каких-то других чудовищных растений, среди которых бродили ихтиозавры с длинными и крошечными головками на фоне воспаленно-розового заката, и все это происходило на земле миллионы лет тому назад. Я так живо видел неправдоподобные ветки допотопных папоротников с мелкими овальными листочками на пирамидальных концах. Впоследствии эти листочки отпечатались на пластах каменного угля, который, как я уже знал, получился из стволов деревьев, пролежавших в земле невообразимо продолжительное время — миллионы миллионов лет.

Страшно подумать!

Мне захотелось иметь эти окаменелости, захотелось мучительно, страстно. Я понимал, что они представляют огромную ценность и мальчик — их обладатель — ни за какие блага мира не захочет с ними расстаться.

Каково же было мое удивление, когда на мою просьбу дать мне хотя бы самый маленький кусочек окаменелого дерева и самую крошечную частицу допотопного антрацита с хотя бы одним отпечатком овального листика мальчик сказал:

— Да забирай их все, если хочешь!

— Даром? — спросил я.

— Конечно. Мне уже надоело таскать их в ранце,— ответил он.

— Честное благородное? — спросил я.

— А что! Мне папа привезет их из Донецкого бассейна сколько угодно, хоть два пуда!

Папа мальчика был обер-кондуктор на железной дороге.

Не веря своему счастью, я поскорее запихнул окаменелости в ранец и не без труда притащил их домой, они оказались страшно тяжелыми.

Моя душа ликовала; я сделался обладателем драгоценных окаменелостей, изображение которых я видел до сих пор только в учебнике. А уж раз они попали в «Природоведение», то, значит, им цены нет. Я представлял себе, какой восторг вызовут мои окаменелости у домашних и как станет завидовать Женька. Мне было немного жаль мальчика, так легкомысленно подарившего мне окаменелости: бедняга, наверное, и не подозревал, какие это драгоценные вещи.

Однако ни на улице, ни во дворе, ни дома мое приобретение не произвело никакого впечатления. Мальчики и девочки просто не поняли, чем, собственно говоря, я хвастаюсь. Дома тетя поморщилась и сказала, что я опять натаскал в дом всякой дряни.

Женька оскорбительно хихикал.

А папа, придя вечером с уроков, осмотрел мои приобретения и сказал, что подобные окаменелости довольно часто попадаются в каменноугольных шахтах и рудниках и это лишний раз подтверждает, что жизнь на нашей планете существует уже многие и многие миллионы лет.

...Он сказал, что на пластах каменного угля нередко попадаются отпечатки не только растений, но также раковин, моллюсков и позвоночных животных. Он говорил об этом как о вещах самых обыкновенных. И я предста-

вил себе на пластинке каменного угля отпечатки скелета допотопной ящерицы со все уменьшающимися позвоночками хвоста...

Я был подавлен.

Но в глубине души я не поверил папе, что мои окаменелости не представляют ничего особенного. Я был не в силах расстаться с мыслью, что у меня в руках находятся драгоценности, которые охотно за громадные деньги приобретет любой музей.

Ведь собирают же они, думал я, черепки глиняной посуды и наконечники стрел, которым всего-навсего несколько тысяч лет. А у меня окаменелости многомиллионной давности. В особенности меня восхищал обломок окаменелого дерева, с виду кусок обыкновенного полена, а тяжелое, как свинец, и невероятно твердое — никакими способами не отколешь от него ни одной щепочки: все волокна его, сохраняя свой вид и свою структуру, превратились в кремень.

Нет, папа, наверное, ошибся!

Такие вещи, я уверен, встречаются в природе чрезвычайно редко, гораздо реже, чем золото и бриллианты.

Нечего и говорить, что на другой день рано утром я бережно завернул свои окаменелости в «Одесский листок» и вместо гимназии отправился в археологический музей.

Эта идея пришла мне вдруг среди ночи и показалась одним из самых легких способов быстро обогатиться.

Кассирша при входе в археологический музей потребовала, чтобы я приобрел входной билет, но я с достоинством ответил, что я не простой, обыкновенный посетитель, а пришел по важному делу и желаю видеть заведующего музеем.

Ко мне вышел толстячок в сюртуке, с университетским значком на груди и спросил, что мне угодно.

Я молча развернул окаменелости и с плохо скрытым торжеством поднес их к лицу толстяка.

— Видите? — спросил я.

— Ну, вижу,— ответил толстяк.— Так что же ты от меня хочешь?

— Купите для вашего музея,— сказал я и, заметив на его лице неопределенно-удивленное и вместе с тем довольно веселое выражение, прибавил не совсем уверенно: — Им несколько миллионов лет. Пять рублей за оба дадите?

Толстячок взял из моих рук окаменелости, повернул меня к себе спиной и, открыв мой ранец, засунул туда сверток с окаменелостями и застегнул ремешки крышки ранца. Затем он подвел меня к громадной входной двери с ярко начищенными медными ручками и сказал:

— И чтоб я тебя больше не видел.

— Дяденька,— неожиданно для себя сказал я тоненьким, нищенским голосом,— тогда хоть пустите меня бесплатно в ваш музей.

— Это можно,— охотно согласился толстячок и провел меня по скользким, неизмеримо громадным паркетным полам безлюдного, холодного музея, где в витринах виднелись черепки и кости, медные позеленевшие скифские украшения, глиняные светильники, кремневые наконечники стрел и все то, что так сильно действует на воображение посетителя в археологических музеях. Я проходил мимо амфор вышиной в мой рост, где древние греки хранили пшеницу и вино; мимо лакированного ящика, имевшего смягченные очертания человеческого тела, и я знал, что там внутри лежит, спеленатая черными смоляными бинтами, древнеегипетская мумия — всё, что осталось от египетской царицы или царя, фараона. Всюду меня преследовали знаки непостижимо далекого прошлого, а за высокими музейными окнами с ярко начищенными медными шпингалетами, от которых пахло самоварной мазью, виднелась панорама нашего порта, карантинная гавань, эстакады, заново выстроенные после того, как их сожгли во время революции 1905 года, и по которым теперь, стукаясь друг в друга тарелками буферов, туда и назад катались красные товарные вагоны, груженные бессарабской пшеницей, и нежно посвистывал маневренный паровичок, пуская в небо облачка пара, и лебедки пароходов, стоящих у причалов, издавали свои привычные звуки:

...тирли-тирли-тирли-тирли...

...кажется, уже давно описанные у какого-то знаменитого писателя, кажется у Чехова... А белоснежный корпус портового маяка, имевший форму несколько удлиненного колокола, хрустально отражался в волнах, и яхта с надутыми парусами, дав сильный крен, красиво огибала маяк, оставляя за собой пенистый след, и зелено-голу-

бое зеркало акватории бороздили черные чумазые буксирные катера, и все вместе это было так прекрасно, что я готов был писать об этом стихи, да только не умел.

Попрощавшись с добрым толстяком, я вышел на улицу и, пройдя мимо глиняных амфор, стоящих под древнегреческим портиком музея, побрел по Пушкинской улице по направлению к вокзалу и Куликову полю.

Меня угнетало чувство вины перед папой и гимназией, так как я прогулял занятия.

Мне было жарко в шинели на вате под зимним приветливым южным солнышком, плечи давили ремни ранца, где вместе с книгами лежали мои страшно тяжелые окаменелости.

Я вынул их из ранца, положил на тротуар возле ствола старого пятнистого платана и, вздохнув с облегчением, отправился домой, размышляя о времени — какое оно непомерно огромное, миллионы миллионов лет, и какой я по сравнению с этим бесконечным временем маленький, не больше круглого листочка допотопного папоротника, отпечатавшегося на пласте каменного угля, который в свой черед когда-то в незапамятные времена был живым деревом.

...и может быть, когда-нибудь кто-нибудь откроет в глубине вечности каменноугольный пласт тысячелетия с отпечатками моих позвонков и рядом кусок окаменелого дуба, того самого, что рос тогда в Отраде под нашим балконом...

Афонский лимон в графине.

Уже не помню, каким образом попал к нам этот пузатый графин тонкого дешевого стекла, с довольно узким горлом, наглухо забитым пробкой. В графине находился лимон-великан, занимая почти всю обширную внутренность графина, наполненного какой-то бесцветной жидкостью, как предполагали — водкой.

Я никогда в жизни не видывал таких громадных, удивительно красивых лимонов с косо обрезанной веточкой и двумя зелеными листиками.

Трудно, даже совсем невозможно было понять, каким образом удалось пропихнуть лимон в узкое горлышко графина. Может быть, сначала графин был сделан без дна,

а после того, как лимон положили в графин, как-нибудь приварили дно? Я самым тщательным образом исследовал графин и убедился, что дно составляет одно целое со всем сосудом.

Было что-то волшебное в этом графине с лимоном, что-то из тысячи и одной ночи, из пещеры Аладдина, тем более, как я теперь припоминаю, эту редкость сделали на Афоне и продал его афонский монах, разносчик душистых кипарисовых крестиков, лубочных картинок, серебряных цепочек и оливкового масла в узких, как палка, рифленых бутылках.

Кажется, монах пришел со своим мешком на русский пароход РОПиТа (Русского общества пароходства и торговли), грузившийся в Константинополе, а капитан купил графин с лимоном в подарок своему сыну, гимназисту нашей гимназии, затем чудесный лимон перешел в собственность другого гимназиста и наконец каким-то образом очутился в руках у моего брата Жени, ходившего уже в приготовительный класс.

Если мне не изменяет память, Женька выиграл графин в тёпки или обменял его на две марки — суданскую и бразильскую.

Графин долго стоял у нас на верху буфета, вызывая общее изумление: каким образом удалось протолкнуть лимон в такое узкое горлышко графина?

...Когда луч солнца проникал сквозь листья старого ветвистого дуба, росшего перед домом, и касался верхушки буфета, графин с лимоном вдруг загорался ярким желто-зеленым пламенем, освещая всю комнату, как волшебная лампа Аладдина, натертая песком, и тогда наши скромные комнаты с бумажными обоями — или, как тогда называли, *шпалерами* — превращались в склад драгоценностей. Ночью при зеленом свете луны, проникавшем в щели ставней, сквозь сон — или, вернее, во сне — я видел темную, длинную, узкую, таинственную фигуру афонского монаха в черной скуфейке, в кожаном поясе, который, неслышно ступая, проносил по комнатам как священный сосуд, графин со светящимся лимоном...

Но все же каким образом лимон влез в графин? Мы с Женькой ломали над решением этого вопроса голову, и в конце концов пришли к заключению, что лучше всего разбить графин и исследовать лимон — не поддельный ли он?

Мы потащили графин с лимоном в кухню и над мусорным ведром безжалостно тюкнули его секачкой: Женька

держал графин, а я тюкнул. Графин раскололся, жидкость вылилась, распространяя головокружительный спиртуозно-лимонный дух, и у нас в руках оказался лимон. Он был не так велик, как нам казалось, когда мы смотрели на него сквозь выпуклое, как бы увеличительное стекло графина, но все же гораздо крупнее обыкновенных лимонов.

Мы разрезали его на части и обнаружили, что это не подделка, а самый настоящий лимон с косточками, внутренними перегородками и кислый на вкус. Он был несколько бледнее обыкновенного лимона, но это объяснялось тем, что он долго пролежал в водке.

Мы выбросили его в помойное ведро, так и не раскрыв тайны.

И совершенно напрасно, так как на другой день один мальчик в гимназии — тот самый сын капитана, первый владелец графина,— объяснил нам, что монахи на Афоне выводят особый сорт лимонов-великанов, причем всовывают в графины завязь лимонного плода, когда он еще величиной с фасоль, потом лимоны созревают в графинах, и тогда монахи отрезают веточку, на которой рос лимон, наливают графины водкой, закупоривают хорошей пробкой и пускают в продажу вместе с прочими афонскими сувенирами, которые охотно раскупают русские паломники на пристанях Константинополя.

...мы лишились загадочного графина, который некоторое время так волновал мое воображение и так волшебно озарял нашу квартиру днем и в особенности в лунные ночи, когда взрослые храпят, а дети под крылом своих ангелов-хранителей видят сказочные сны...

Патроны, брошенные в костер.

Я вышел из дому, пошел по хорошо знакомой улице, которая на этот раз показалась мне слишком пустынной и какой-то безрадостной. Я шел к моему товарищу Смирнову, тихому заике, с которым до сих пор никогда не дружил и относился к нему вполне безразлично.

Каким образом оказалось, что мы вдруг стали друзьями, мне было неизвестно, да я об этом и не думал и не старался объяснить, как нечто само собою разумеющееся.

Смирнов жил на соседней улице, называющейся Ясной, в скучном кирпичном доме, и едва я появился возле ворот, как он выглянул в окно и сейчас же вышел ко мне на улицу в зимней шинели и фуражке с гимназическим

гербом, показавшимся мне гораздо больше обычного, и в этом я увидел какое-то тревожное предзнаменование, особенно в безукоризненно серебряном траурном цвете скрещенных пальмовых веточек.

У Смирнова было серое лицо, такое же скучное и благонравное, как его фамилия, как бы лишенная звукового богатства. Заикание делало его застенчивым, излишне молчаливым. Я поймал себя на том, что подружился с ним из корыстных побуждений: его отец был преподавателем в нашей гимназии, а я был очень плохим учеником и отец Смирнова мог оказаться мне полезным на педагогическом совете, когда начнется обсуждение моих успехов, поведения и встанет вопрос о моем исключении из гимназии.

...мысль, что я подружился со Смирновым по расчету, мучила мою совесть, и этим тайным мучениям соответствовало все окружающее: серая, неопределенная погода, небо, покрытое излишне низкими тучами, голые деревья, а главное, пустота и безлюдье обычно таких радостных улиц нашей Отрады с их чудесными названиями: Отрадная, Уютная, Ясная, Морская. На асфальтовых тротуарах этих улиц обычно несколько мальчиков подгоняли кнутиками свои кубари, называвшиеся у нас «дзыги», и несколько девочек играли в серсо, бросая деревянными рапирами с перекладинами пестрые, почти невесомые кружки.

Теперь же ничего подобного не было, как поздней холодной осенью, хотя, я думаю, был лишь конец сентября.

Смирнов поднял воротник своей шинели и неуверенной улыбкой дал мне понять, что все в порядке. Дело заключалось в том, что у Смирнова имелась коробка с патронами для монтекристо, и он обещал сегодня вынести ее из дому. Он вынул из кармана шинели круглую картонную коробочку зеленого охотничьего цвета с черным австрийским орлом на крышке, таким же двуглавым, как наш российский. Он дал ее мне, и я потряс коробочку возле уха, желая узнать, много ли там патронов, и услышал тарахтение патронов, которых, судя по звуку, было в коробке не так-то много, вернее, даже совсем мало. Но это меня не огорчило: ведь ружья монтекристо у нас все равно не было.

По печальным улицам мы пошли рядом по направлению к обрывам и по знакомой, но несколько изменившейся к худшему дорожке, спустились вниз, туда, где между подошвой обрывов и морем простиралось излюбленное нами пространство со следами давних оползней и мусорными

кучами, поросшими бурьяном, дурманом с его зелеными колючими коробочками и дудочками цветов нездорового белого цвета, а также пасленом.

Тут мы увидели как раз то, что нам было нужно: затухающий костер, слегка дымившийся, стлавшийся по бурьяну беловатым дымом. Я подбросил в костер сухого бурьяна, и он стал со слабым треском разгораться, но разгорелся не слишком сильно — казалось, его душат низкие тучи, длинными рядами идущие одна за другой откуда-то из-за пасмурного морского горизонта над пенистыми волнами бесшумного и какого-то неприятно-бескрасочного прибоя. Костер понемногу разгорался. Теперь уже можно было бросать в него патроны.

Смирнов, неловко ворочая языком и заикаясь, стал уговаривать меня не делать этого. Но я сумел красноречиво доказать ему, что это будет очень интересно, а главное, поучительно. Почему-то я очень торопился с этим делом и приводил множество доказательств и доводов, из которых самый сильный был тот, что больше уже никогда в жизни нам не представится такой подходящий случай.

Смирнов согласился.

Я открыл коробочку. Там катались три или четыре довольно длинных патрона.

Я бросил их в костер, и мы со Смирновым побежали прочь от костра, каждый миг ожидая услышать за собой грохот взрыва. Но позади нас все было тихо, однако эта тишина казалась нам недоброй, чреватой ужасными последствиями.

Мы, конечно, понимали, что патроны от монтекристо не могут взорваться с особенной силой, но мы боялись, что из костра начнут вылетать пульки и попадут нам в спину или в голову и, может быть, даже убьют. Мы спрятались в яму, поросшую пасленом, прижались к земле, наблюдая издали, как будут рваться в костре патроны.

...патроны так долго не рвались, что мы уже перестали надеяться...

А пасмурный день вокруг нас и молчаливое море становились все темнее, зловещее. Именно тогда и стали рваться патроны. Они рвались со слабым, но каким-то несвойственным им раскатистым слитным потрескиванием, вернее, протяженным во времени и пространстве рокотом,

и от этого грозного рокота и обступившей нас темноты я проснулся и увидел в окнах тягостную темноту пасмурного майского утра и небо, сплошь обложенное грозовыми тучами, среди которых изредка проскакивали сиреневые молнии, и вслед за ними продолжительно ворчал слабый гром, как будто бы по крыше над моей головой проезжали биндюги, везущие листовое железо, а в квартире еще все спали и в комнатах было темным-темно с легким оттенком цветущей в соседних садах густо-лиловой сирени...

...а мальчика Смирнова вообще не существовало в природе, он был просто моим сном, хотя уверенность в подлинности существования его и его отца-учителя иногда волнует меня до сих пор. Нет, все-таки, кажется, он существовал...

Таяние льда.

...Учителя у нас в гимназии носили форму: длинные синие сюртуки с золочеными пуговицами министерства народного просвещения, в синих бархатных петлицах белели серебряные звездочки, обозначавшие чин. Преподаватели были чиновники. У статских советников звездочки были похожи на сильно увеличенные снежинки.

Один или два учителя позволяли себе являться в гимназию в пиджаках, с маленькими щегольскими ромбовидными университетскими значками на груди. Впрочем, их пиджаки были тоже с золочеными пуговицами и звездочками на бархатных петличках, так что это, собственно, были не пиджаки, а скорее форменные тужурки. Обычно эти вольнодумцы в форменных тужурках были молодые люди, недавно окончившие университет и еще не выбросившие из головы либеральные идеи. Их скоро приводили в христианский вид, а они через короткое время уже появлялись в длинных синих форменных сюртуках с синими жилетами, из-под которых выпячивалась треугольником белоснежная скорлупа крахмальных манишек.

Учительский синий цвет был темно-синий, с некоторыми незначительными отклонениями: у одних сукно было более синее, у других менее синее.

Однако учитель, преподаватель физики и географии, отличался от других педагогов слишком светлым тоном

своего форменного сюртука, как будто бы и синего, но, по существу, почти голубого, бледного.

Сукно этого голубого форменного сюртука отличалось своей тонкостью, дороговизной, форменные пуговицы на его фоне не так резко выделялись, казались не ярко-золотыми, а скорее бледно-лимонными, в особенности маленькие пуговички на жилете и на обшлагах рукавов, где они как бы сливались с бледным золотом запонок на круглых, хорошо накрахмаленных манжетах, издававших мягкое тарахтение, когда Акацапов — так звали учителя физики и географии — вытаскивал из заднего кармана своего сюртука квадратик хорошо выглаженного и вчетверо сложенного тонкого батистового платка с меткой, распространявшего при встряхивании приятный запах цветочного одеколона — тоже как бы бледно-золотистого, если только запах может иметь цвет.

Акацапов был довольно стройный худенький мужчина с узкой спиной и узкой жиденькой бородкой, всегда аккуратно подстриженной, бледно-золотистого (какого-то *золотушного)* оттенка, который очень шел к его бледно-голубым жуликоватым глазам.

...Про него ходили слухи, что он выгодно женился на богатой вдове-купчихе и, кроме того, берет взятки с состоятельных учеников...

Он производил впечатление полного невежды, путал названия рек и стран, развязно и неопределенно водя длинной указкой по истертой, дырявой географической карте, а физику преподавал слово в слово по толстому учебнику Краевича, что дало повод создать такую поговорку: «Мы с Круевичем сувместно».

Именно таким образом Акацапов произносил эти слова. Вообще, вместо букв «а» и «о» Борис Алексеевич Акацапов довольно часто произносил букву «у». Например: геуметрия или вудурод.

Мы прозвали его Бурис.

Впрочем, Бурис был характера покладистого и даже самым заядлым двоечникам ставил тройки, произнося при этом:

— Мы с Круевичем сувместно решили тебе поставить тройку с минусом.

Как педагог он был совершенно бездарен и каждый урок с большим трудом дотягивал до спасительного звонка, то и дело вытирая свой высокий, но узкий лоб платочком.

В особенности не удавались ему физические опыты: колбы лопались, пробирки выскальзывали из пальцев и вдребезги разбивались, заливая серной кислотой журнал, спиртовая лампочка не хотела зажигаться, а тлеющая щепочка, опущенная в банку с кислородом, долго не хотела вспыхивать звездой и ярко светиться, что строго предписывалось ей Краевичем.

Самый простой опыт не получался у Акацапова.

Желая, например, доказать факт воздушного давления, он — в точном соответствии с рекомендацией физики Краевича и помещенного в ней гравированного рисунка — наливал из графина до краев стакан и покрывал его квадратиком бумаги. По идее, если перевернуть стакан кверху дном, то вода не выльется, так как на бумажный квадратик будет давить столб воздуха и бумага удержит воду в стакане, не даст ей вылиться.

...дрожащей рукой с тонким обручальным кольцом бледного золота, погромыхивая манжетами с золотушными запонками, наш Бурис наливал всклянь стакан, принесенный с собой из физического кабинета, затем покрывал его четвертушкой почтовой бумаги и, неуверенным голосом проговорив, что столб воздуха силой своего давления удержит в сосуде воду, поворачивал стакан дном кверху, причем бумажка немедленно отползала в сторону и вода одним махом выливалась на крахмальную манишку, лацканы сюртука и текла по хорошо, по-семейному вытюженным брюкам на щегольские ботинки Буриса. Боясь потерять свой авторитет, Бурис снова начинал поединок с действительностью, не хотевшей подчиняться законам природы, предписанным физикой Краевича, но вода снова под веселый смех всего класса выливалась на паркет. Акацапов попадал в безвыходное положение, пытался отмучиваться, и лишь звонок, возвещавший об окончании урока, выручал его.

...справедливость требует заметить, что не все опыты проваливались у Буриса. Был один опыт, который всегда ему блестяще удавался. Опыт назывался: превращение жидкого тела в твердое и наоборот. Это был коронный номер Буриса, триумф физики Краевича...

В этот день Акацапов обычно был в веселом настроении и бодрой походкой, приподнято улыбаясь голубыми

глазами, входил в класс в сопровождении служителя в по-солдатски твердом стоячем воротнике, который, скрипя сапогами, почтительно нес за Акацаповым блюдечко с куском льда.

— Как вам, вероятно, известно,— торжественно, но несколько игриво произносил Бурис,— а если неизвестно, то можете почерпнуть это из физики Круевича, при температуре ниже нуля по Реомюру жидкое тело — вода — начинает замерзать и превращается в твердое тело, так называемый лед. И наоборот. При температуре выше нуля по Реомюру твердое тело, так называемый лед, начинает таять и постепенно превращается в жидкое тело, называемое водой. В этом вы можете легко убедиться, проделав опыт, о котором подробно говорится у Круевича на такой-то странице, смотри рисунок номер такой-то. Итак. Внимание. И перестаньте шуметь. Мы берем кусок твердого тела — льда — и помещаем его в комнату, нагретую до температуры выше нуля, например в этот класс, где, как вы видите, термометр показывает температуру выше нуля... Дежурный по классу, какую температуру показывает в данный момент термометр?

— Шестнадцать градусов по Реомюру выше нуля! — хором прокричал класс вслед за дежурным, который, став на цыпочки, смотрел на стеклянную трубочку комнатного градусника.

— Заметим это себе,— многозначительно произнес Акацапов,— и поставим блюдечко с твердым телом на видное место, чтобы все могли наблюдать опыт превращения твердого тела в жидкое. Григорий,— обращался Бурис к служителю,— поставь блюдечко с твердым телом на кафедру.

После того как Григорий в своем черном форменном мундире с одним рядом медных пуговиц, как у гоголевского Городничего, с величайшей осторожностью и почтением устанавливал блюдечко с куском сосульки, отбитой им с водосточной трубы, на самом видном месте кафедры, а затем, скрипя сапогами, на цыпочках удалялся из класса, Акацапов начинал урок, время от времени открывая свои золотые часы, и, сверяясь с ними, поглядывал на блюдечко, куда уже с сосульки натекло довольно много воды.

К концу урока в блюдечке уже, кроме воды, ничего не было, никакого твердого тела, и Бурис, с торжеством захлопнув крышку часов, провозглашал опыт удавшимся. На этот раз звонок, возвестивший конец урока, звучал

как бы в знак триумфа Акацапова «сувместно с Круевичем». Класс разражался непозволительными в стенах казенного учебного заведения аплодисментами, под плеск которых и выкрики «ура!» наш Бурис упругой походкой с журналом под мышкой удалялся из класса, двусмысленно сияя своими голубенькими глазами.

...меня одолевали разные неразрешимые вопросы. Ну, хорошо, думал я, при температуре сто градусов выше нуля вода кипит и превращается в пар, то есть в газообразное состояние. Но ведь при дальнейшем повышении температуры газ, наверное, превращается еще во что-то другое, а затем это другое превращается во что-то новое? Но что представляет собою это новое? И до каких пор будут совершаться эти превращения?

Ворочаясь ночью на горячей подушке, я никак не мог заснуть, представляя бесконечный ряд этих непостижимых моему рассудку вечных, постоянных, неостановимых никакими человеческими усилиями превращений одного в другое.

Меня и сейчас иногда мучают эти вопросы...

Самодельная тележка.

Теперь, вспоминая это баснословно отдаленное время, прежде всего я почему-то представляю себе — отчетливо вижу во всех подробностях — громадную крону какого-то дерева, массу мерцающих листьев, висящих надо мной как туча, качаясь от сухого степного ветра и отбрасывая вокруг меня пыльные многослойные живые тени, в то время как жгучее полуденное солнце, ослеплявшее все вокруг, белое и тоже как бы пыльное, делавшее больно глазам, заставляло серебряно блестеть воду в мутной реке, называвшейся Бугом, и дряхлое мельничное колесо, заросшее зеленой тиной, выливавшее все время добела раскаленные струи воды, падавшей в темный, почти черный волшебный омут, вселявший в мою душу ужас.

...это была какая-то часть бывшей Российской империи, степной юг, Новороссия, уже сопредельная с Крымом, Черным морем, Бессарабией, городом Аккерманом, откуда, как мне казалось, тянуло, как из открытой духовки, раскаленным турецким воздухом.

...Где-то недалеко был город Николаев, село Трихаты — станция, откуда мы приехали сюда,— и порт, откуда мы должны будем через некоторое время уехать на пароходе домой в Одессу.

Время разбило мои воспоминания, как мраморную могильную плиту, лишило их связи и последовательности, но вместе с тем сохранило их подробности, неистребимые никакими силами, как вызолоченные буквы, составлявшие имя некогда жившего на земле человека:

...подобие разбитой жизни. Но разбитой не морально, а физически «на куски» вследствие вечно действующего закона уничтожения и созидания. А впрочем, может быть, это более походило на византийскую мозаику, которую много лет спустя увидел я в Киеве и Константинополе, где люди, вещи, ангелы, святые и весь смугло-золотой мерцающий фон, на котором они изображены, представляли собою набор искусно выложенных кубиков, наколотых из смальты, особой, стекловидной массы всевозможных цветов: ляпис-лазури, кармина, сахарно-белого мрамора, ярко-зеленой медянки, хрома и многих других...

...Может быть, из подобия наколотых кубиков какой-то светящейся смальты была выложена тяжелая разноцветная доска моей жизни со всеми ее живописными подробностями, сначала кем-то превращенная в отдельные разноцветные стекловидные кубики, потом собранная в одну картину и в конце концов раздробленная временем — потерявшая форму, но не потерявшая цвета,— с тем чтобы снова быть превращенной в одно-единое, прекрасное целое...

...Может быть: Разбитая жизнь? Смальта?..

Непомерно огромная по сравнению со мной крона упомянутого дерева — не явора ли? — его морщинистый ствол и развилка толстых сучьев были тогда подробностью какой-то большой мозаичной картины, теперь уже разбитой на части, но ждущей того времени, когда чьей-то волшебной силой она опять соединится в одно прекрасное, единое целое.

Как сейчас вижу над головой массу древесной листвы с кусочками облака, просвечивающего сквозь эту массу белизной колотого сахара, и кое-где крупинки небесной ляпис-лазури.

Босоногие деревенские мальчишки полезли на это дерево и принесли гнездо с маленькими толстенькими птенчиками — сорокопутиками, от названия птицы сорокопут. Но я воспринял это название как «сорокопуд», от слова «пуд»; и маленькие круглые птенчики представлялись мне сорокопудиками, уложенными в гнездо, как тяжеленькие фунтовые гирьки, которые незадолго до этого увидел я впервые в прохладной деревенской бакалейной лавке с медными чашками весов и запахами дегтя, керосина, патоки, ржаных пряников, сыромятной кожи, какой-то сбруи, хомутов и земляного пола, политого теплой речной водой из чайника в виде восьмерок.

Кажется, деревенские мальчики пришли к моему папе продавать гнездо с птенцами для моей забавы, но папа не стал покупать птенцов-сорокопудиков, а дал мальчикам две копейки — семишник, с тем чтобы они отнесли гнездо на прежнее место, так как отец и мать сорокопудиков, большие сорокопуды, с криком отчаяния летали над нашими головами, желая спасти своих детей.

...в то лето я впервые видел поле, степь и коров с телятами, из которых один пятнистый теленок стоял, широко расставив ноги и упруго отвернув в сторону хвост, из-под которого била мутно-красная струя, растекаясь по сухим степным растениям, и человек в пропотевшем коломянковом картузе и пыльных, потрескавшихся сапогах, приехавший на бегунках, от которых одуряюще пахло колесной мазью, раскаленной клеенкой и лошадиным потом, посмотрел на теленка и сказал, что это —

«кровавый понос»,—

и я помню, как меня испугали, даже потрясли эти слова, сказанные грубым мужским голосом...

Я не помню уже, где мы там жили, помню только белые раскаленные и потрескавшиеся тропинки среди сухой степи, и как больно они кусали мои босые пятки, и как я боялся наступить на коровьи лепешки, сухие сверху и мокрые внутри.

Мы ходили иногда в гости куда-то к «соседям», которые не были приезжие на лето, как мы — мама, папа и я,— а жили здесь всегда в доме под зеленой железной

крышей, окруженном уже отцветшей сиренью и пирамидальными тополями. У них всегда было много гостей, и перед домом я помню сухую глинистую землю и на ней клумбу с белыми звездами табака и лилово-красной ночной красавицей, цветочки которой днем плотно скручивались, как зонтички.

...Здесь, в гостях, я однажды оскандалился: войдя в столовую и увидя стол, накрытый к ужину, и тарелку с нарезанными кружками свежей чайной колбасы, я выбежал на террасу, где сидели гости, и с восторгом закричал, подбегая к маме:

— Мамочка, пойдем скорее, там у них есть чайная колбаса!

Все дружно рассмеялись, а мама залилась краской, сконфузилась — я ее никогда не видел такой смущенной, со слезами на глазах — и довольно сердито, хотя и стараясь улыбнуться, сказала:

— Можно подумать, что ты никогда не видел чайной колбасы.

Колбасу-то я, конечно, видел, но мне ее никогда не давали, считая вредной, а давали мне главным образом яйца всмятку и овсянку «геркулес», которую мама варила на керосинке. А я любил больше всего на свете чайную колбасу.

Там же, в столовой, где на тарелке лежали сочные кружки чайной колбасы и уже багрово горели свечи, в сумерках я увидел на подоконнике крупные бледно-желтые яблоки и схватил одно из них, желая откусить кусочек, но яблоки оказались вовсе не яблоками, а маленькими высушенными тыквочками, оставленными на семена.

Это опять вызвало смех гостей и смущение мамы, сказавшей мне:

— Ты совсем не умеешь вести себя в обществе.

Тогда же я узнал, что эти сухие карликовые тыквочки называются «таракуцки»...

В эти же летние дни в самом начале моей жизни я убедился в могуществе моего папы.

В могуществе мамы я убедился еще прежде, в один из первых в моей жизни долгих зимних вечеров, когда

зажженная керосиновая лампа отражалась в замерзшем стекле еще не закрытого ставнями окна, а мама сидела за столом, и, как я понял позже, подрубала новую наволочку, и в ее пальцах блестела иголка, которой она так ловко наискось прокалывала материю, а за иглой тянулась крепкая, тонкая, очень белая нитка номер сорок, и мама печально пела вполголоса песню: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан, не входи, родимая, попусту в изъян»...

Эта песня неприятно волновала меня непонятным словом «изьян», которое в моем воображении превращалось в слово «обезьян», так что рядом с красным сарафаном по его следам шла на своих четырех руках, с красиво загнутым хвостом обезьяна, стараясь лизнуть подол красного сарафана.

— Мамочка, почему обезьяна? — спрашивал я.

— Какая обезьяна? Откуда ты взял обезьяну?

— Ну, не обезьяна, а обезьян? — канючил я.— Это для обезьяна шила матушка красный сарафан?

Мама объяснила мне, что вовсе не «обезьян», а «изъян», но так как я никак не мог понять, что такое изъян, то мама перестала подталкивать ушко иголки блестящим наперстком, закрыла ставни на задвижку и решила отвлечь меня от непонятного «изъяна», поиграв со мной в тележку.

...маленькая, совсем кукольная тележка, запряженная крошечным осликом, недавно была куплена мне в подарок и еще не успела надоесть. Мама поставила передо мной тележку с осликом и стала рассказывать про нее целую длинную историю.

Мама обладала поразительной способностью рассказывать всякие истории и сказки собственного сочинения; обычно я был околдован ее выдумками, полными юмора и забавных подробностей, и тотчас переставал капризничать, переносясь в мир маминых выдумок.

Но сейчас картина красного сарафана, так противоестественно связанного с четвероруким и тоже, вероятно, ярко-красным обезьяном, следующим по пятам за сарафаном, пересилила волшебство маминого рассказа про тележку и ослика, про их житье-бытье и про их приключения в Италии, и я еще пуще раскапризничался, стал придираться к каждому маминому слову, упрямо повторяя, что тележка все равно ненастоящая и ослик тоже ненастоящий, потому что если бы они были настоящие, то в тележке ле-

жала бы трава, а ослик ел бы эту травку, а так все это одни выдумки, сплошной обман, может быть даже изъян.

— Ага,— говорил я маме,— ты не можешь сделать так, чтобы в тележке была травка! Ага!

Мама пригорюнилась, чувствуя, что я припер ее к стенке.

Действительно: где же достать травку ночью, зимой, в комнате с натопленной печью и наглухо закрытыми ставнями? Надо быть волшебником, волшебницей! Я-то знал, что моя мама просто мама, а не волшебница.

И я капризничал еще больше, требуя от мамы невозможного: достать для тележки траву.

Вдруг среди капризов я заметил, как у мамы блеснули карие глаза и чуть дрогнули губы скрытой улыбкой.

— Хорошо,— сказала она,— если тебе так хочется травки, будь по-твоему. Будет тебе травка. Мы ее сейчас поищем и, может быть, найдем.

Мама пошла к комоду, порылась в нем, и вдруг я увидел в ее руках горсть чего-то зеленого. Неужели трава? Невозможно! Невероятно! Но мама уже кладет это зеленое, травоподобное в тележку и нежно прижимает мою голову к своей теплой груди.

— Ну, теперь ты доволен?

Я, конечно, понимал, что это не настоящая трава, даже не сено.

Это сухой, крашенный ярко-зеленой краской мох, которым обычно принято было у нас украшать ватный валик, положенный между двумя оконными рамами зимой. Иногда на этот ватный валик еще ставили стаканчики с серной кислотой — тогда стекла не замерзали.

Стало быть, это не трава, а крашеный мох. Но все равно — чудо. Мне понятно: тележка не настоящая, а игрушечная, ослик не настоящий, а игрушечный, так пусть же и трава будет игрушечная. И это — подлинное чудо, а мама — волшебница.

...стенные часы хрипят, щелкают и пружинно бьют восемь раз, после чего мои глаза закатываются, я не в силах поднять отяжелевшую голову и уже не помню, не сознаю, как мама раздевает меня и укладывает в постельку, и, сладко засыпая, всем своим существом я чувствую всемогущество моей дорогой, любимой мамочки-волшебницы.

Так я уверовал во всемогущество мамы...

Но папа все еще не казался мне всемогущим до тех пор, пока я наконец не убедился, что и он, как и мама, волшебник.

Это случилось именно в те знойные дни, под непомерно громадной, какой-то мглистой кроной явора, о которых я вдруг вспомнил сегодня среди бесконечно длинной переделкинской зимы.

...Тогда я стоял возле папы, едва доставая головой до его колена, и масса движущейся вверху листвы бросала на нас многослойные, волнообразные тени. Недавно впервые в жизни я увидел в степи арбу, и мое воображение было поражено видом этой очень длинной телеги с боками, похожими на две деревянные лестницы.

Мне вдруг ужасно захотелось иметь такую телегу-арбу — хотя бы ее маленькое игрушечное подобие, и я, теребя отца за брюки, требовал, чтобы он сделал мне такую игрушечную арбу. А так как возле нас в это время бегал, высунув язык, дворовый песик Рудько, то мне пришло в голову, что недурно было бы запрячь в маленькую арбу собаку Рудько, с тем чтобы он повозил ее по дорожке. Я не верил в способность папы построить для меня арбу. Я тогда не знал, что он, так же как и мама, всемогущ. Тем не менее, стоя возле его ног, я канючил, требуя немедленно маленькую арбу. К моему удивлению, папа быстро согласился, сверкнув стеклами пенсне, и тряхнул темной гривой своих семинарских волос, мокрых и немного курчавых после купания в Буге.

— Хорошо,— сказал он,— не горюй: будет тебе сейчас великолепнейшая арба.

С этими словами папа поднял валявшийся возле сарая кусок дерева, принес из кухни нож, которым обычно рубили мясо на котлеты, быстро наколол ровных лучин и стал из них связывать арбу, так что очень скоро в его руках появилось весьма красивое подобие маленького кузова арбы.

Папа работал весело, сбросив со вспотевшего носа пенсне, которое висело, раскачиваясь на шнурке. Он был в промокшей на спине полотняной малороссийской рубахе с вышитым воротом, подпоясанной ремешком, совсем не похожий на преподавателя, а скорее на ловкого на все руки мастера, столяра, и я видел, как мама, стоя на глиняном пороге кухни, с улыбкой любуется бородатым папой, его молодецкой рабочей хваткой.

Быстрота, а главное, простота осуществления моего желания несколько обидела меня, и я ворчливо сказал папе:

— А как ты сделаешь колеса?

— Как-нибудь сделаю,— ответил папа, посмеиваясь.

— Но как? — настаивал я.

— Да уж как-нибудь! — ответил папа.

Из его неопределенных ответов я заключил, что папа просто хвастается, будто сможет сделать колеса. А на самом деле не сможет. Мне было непонятно, как и из чего он сделает такие сложные круглые предметы, как колеса. Из чего он их выгнет, каким образом скрепит обод? А спицы? Легко сказать! Нет, ни за что ему не удастся сделать колеса. Мама — волшебница. А папа только притворяется, что может все сделать. Он не волшебник. Он не всемогущий.

— Ну, делай, делай колеса! — сказал я папе, грубо хохоча.— Посмотрим, как ты их сделаешь!

— Посмотрим,— ответил папа, и чудо сотворения колес совершилось на моих глазах с такой быстротой, что я не успел ахнуть.

Папа поискал глазами вокруг, поднял с земли деревянный кругляш, обрезок какого-то не слишком толстого древесного ствола, снял с гвоздя на стене сарая ручную пилу, положил кругляш на чурбан, уперся в него коленом и отрезал пилой четыре кружка с такой быстротой, что только опилки брызнули в глаза.

Я еще не успел сообразить, что эти древесные кружочки и есть колеса, как папа достал откуда-то четыре гвоздика и прибил ими кружки к кузову тележки, так что получились отличные колеса, которые папа покрутил, чтобы они разошлись, а затем покатил арбу по дорожке.

Тут-то я и понял, что мой папа так же, как и моя мама, вполне волшебник и вполне всемогущий. Моему восторгу не было предела, а папа, со стружками и опилками в волосах, поймал Рудько и ловко запряг его в арбу какими-то веревочками, нашедшимися в сарае.

...Мы стояли втроем — мама, папа и я,— такие родные друг другу, такие любящие и любимые, такие всемогущие, и смотрели, как Рудько рванулся вперед по дорожке, катя за собой арбу, как на повороте арба налетела на пень, где сидела бабочка «адмирал», разбилась вдребезги, колеса

покатились в разные стороны. А Рудько, размахивая хвостом, унесся куда-то вдаль, в зелень, волоча за собой остатки арбы.

Зеркало.

Девочку звали Ксения, но я называл ее сокращенно Ксеня, иногда просто Ксенька. Она была на несколько месяцев старше меня, а мне тогда было года три, и меня еще одевали как девочку.

Ее привели к нам две наши мамы — Ксенькина и моя — для того, чтобы мы познакомились, подружились и поиграли вместе.

Ксенька была дочкой наших соседей, живших с нами дверь в дверь через лестничную площадку.

Ее папа был военный врач, грубый человек, подстриженный ежиком. От его рук пахло карболкой, а от военного кителя с погонами и выпускным овальным академическим значком с двуглавым серебряным орлом на груди разило табаком и еще чем-то спиртным, очень возможно, водкой, которую он пил перед обедом, а также горчицей и перцем, запаха которых я не переносил. Я его терпеть не мог и боялся, в особенности когда он шутливо ловил меня и больно прижимал к своей толстой груди, к твердому академическому значку, желая слегка попугать, щелкал возле меня длинным берейторским кнутом, с которым ездил в госпиталь в своем желтом шарабане. Этот берейторский бич тонкого плетения всегда стоял у них в углу столовой. У них к обеду денщик подавал на стол огненный, переперченный борщ с сахарной мозговой костью, а посередине стола стояли соль, перец и графинчик водки.

Ксенькина мама мне тоже не нравилась своим напудренным, накрашенным лицом с начерненными бровями, сильным запахом духов, накладной прической и слишком блестящими, мужскими глазами, куда она, как я узнал позже, впускала для расширения зрачков атропин. Она одевалась шикарно, шумела шелковым платьем, скрипела корсетом — и по сравнению с моей мамой выглядела вызывающе неприличной, тем более что курила папироски, сбрасывая пепел в большую пятнисто-рогатую тропическую раковину на столике с семейным альбомом и лампой под шелковым кружевным абажуром.

Это соседство совсем не подходило к нашей тихой,

некурящей и непьющей семье, однако мы были соседями и это накладывало обязанность быть в дружбе и ходить друг к другу в гости.

...и вот Ксеньку привели со мной играть...

В этом чувствовалось желание наших родителей укрепить соседство двух семейств, живущих рядом. Ксенька мне совсем не нравилась, несмотря на ее жиденькие локончики, аккуратный фартучек, скрещенный на спине, и чисто вымытые крупные уши. У нее было худое, бледное личико, голубые тени под глазами, и я уже был осведомлен, что у нее есть глисты, с которыми идет постоянная, настойчивая борьба. У нее был плаксивый характер, и она меня все время раздражала своими капризами и слезами.

Обе мамы — моя и Ксенькина — объявили, что мы с Ксенькой теперь жених и невеста, и с умилением смотрели, как мы играли.

Игра состояла в том, что мы неудобно сидели на ковре, раскладывали игрушки и рассматривали мою книжку — гармонику с разноцветными картинками.

Иногда мы заползали под диван, и там я с ненавистью смотрел на Ксеньку, представляя, как у нее выводят глистов: ставят чесночную клизму, дают на ложечке варенье, посыпанное каким-то специальным порошком против глистов, а потом сажают на белый фаянсовый горшок, и я представлял себе, как она сидит и дуется с капризным выражением некрасивого личика.

В конце концов пришел денщик и доложил Ксенькиной маме, что кушать подано, барин серчает, и Ксеньку увели, заставив на прощание со мной поцеловаться, как то и полагалось жениху и невесте. Мы послюнили друг другу щеки, а ночью мне приснился сон, что мы с Ксенькой действительно жених и невеста: у нее длинные плакучие волосы, вызывающие во мне какое-то любовное раздражение и в то же время желание поскорее как-нибудь отделаться от непрошеной невесты.

...И тут мне пришло на помощь неизвестно откуда взявшееся волшебное зеркало, обладающее способностью обнажать все скрытые пороки того человека, который в него посмотрится. Я поднес это зеркало к лицу уже став-

шей совсем взрослой Ксении, она посмотрелась в него, и вдруг вся ясная гладь зеркала покрылась как бы черными раковинами, исковеркавшими стекло, до этого чистое, как родниковая вода. Лицо Ксении исказилось. На нем повсюду выступили черные раковинки пороков, и я понял, что уже давно страстно ее ненавижу...

Я проснулся, как всегда, от солнечных лучей, бивших с Базарной улицы в щели ставен, день был прекрасен, но это не могло рассеять моего отвращения к Ксеньке, которое, как это ни странно, я испытываю до сих пор, хотя ее уже, наверное, давно нет на белом свете.

Жизнь на Днестре.

Однажды летом мы жили над Днестром; вокруг были холмы — каменистые предгорья Карпат, — поросшие ползучими травами, низкорослой полынью, бессмертниками — иммортелями — с их лиловыми слюдяными, как бы вылинявшими кладбищенскими цветами. В некоторых местах чернели следы цыганских костров, вокруг которых сухая трава была прожжена угольками, а я подбирал эти угольки, вызывавшие в моем воображении картины цыганского табора, ночевавшего здесь: телеги с парусиновыми халабудами, шатры, цыганок в длинных цветных юбках и цыган с кудлатыми бородами, темно-синими, как ежевика. А так как было широко распространено мнение, что цыгане крадут детей, то, засыпая, я крепко держал руку мамы и заплетающимся языком просил хорошенько меня стеречь и не отдавать цыганам.

На приднестровском склоне, куда дачники ходили любоваться закатом, был сложен очаг: плоский известняковый камень, по бокам торчком два других известняковых камня, а сзади в виде спинки четвертый камень — довольно высокая узкая плита со слюдяными следами маленьких степных улиток и блестками задымленного кварца. Этот очаг мама назвала троном. Отсюда открывался особенно красивый вид на закат, пламеневший над седой от полыни каменистой степью, где в розовой от солнца сухой траве вдруг проползал уж или, стоя над своей норкой как столбик, посвистывал суслик, маленький, симпатичный, повернувшись спиной к предзакатному степному ветру. Отсюда виднелся противоположный берег Днестра — глиняные

обрывы с круглыми черными дырами, откуда вылетали стрижи и кружились над пенистой быстриной Днестра, подмывавшей крутые его берега.

...Когда солнце наконец садилось и спустя некоторое время на небе выступало несколько первых звездочек, мы любовались роскошным зрелищем пароходика, который в это время всегда проходил мимо нас вниз по Днестру, шумя колесами и пуская из огнедышащей трубы целый фейерверк золотого дождя.

Пароходик огибал небольшой остров посередине реки, на котором — я знал — находилось садоводство какого-то немца, куда мы однажды ездили в лодке покупать луковицы гиацинтов, и нашу лодку качало на волнах, поднятых пароходом, и пароход удалялся во тьму звездной ночи, а мама мечтательно провожала его глазами, говоря:

— Какая прелесть пароход!

И я повторял за ней, не без труда произнося:

— Кука прелесть пуруход...

Из чего можно заключить, что мне было в ту пору не более трех лет.

Впечатление от огнедышащего пароходика каким-то образом было связано с событием, происшедшим до или вскоре после моего рождения.

Речь шла о катастрофе на Черном море вблизи Одессы, когда ночью столкнулись два парохода и погибло много людей. Эта катастрофа с человеческими жертвами в течение нескольких лет была темой разговоров, а так как один из пароходов назывался «Колумбия», то до сих пор это слово вызывает во мне тягостное чувство.

Всюду обсуждались обстоятельства суда над виновниками катастрофы. Дело оказалось крайне запутанным, и суд долго не мог доискаться причины происшествия.

В связи с этим мне запомнилось произносимое взрослыми имя Дорошевича, писавшего тогда в «Одесском листке» фельетоны об этом трагическом случае, о суде над капитанами двух погибших пароходов.

Было допрошено множество свидетелей-очевидцев, в

том числе один грек, произнесший с сильным греческим акцентом следующие легендарные слова, объяснившие все дело:

«Сли вапёры без фонори, пассазиры потонули».

По-русски это значило: шли пароходы без фонарей, пассажиры потонули. Слово «пароходы» грек-очевидец произнес на французский лад «вапёр», то есть пароход, а во множественном числе выходило вапёры.

Итак:

«Сли вапёры без фонори, пассазиры потонули».

«Фонори» значило, конечно, фонари.

Это стало чем-то вроде веселой поговорки, которую часто при мне произносили взрослые.

Впоследствии в моем представлении грек-свидетель соединился с другим греком — кондитером Дымбой из чеховской «Свадьбы»...

Живя над Днестром, я впервые увидел много разных интересных вещей: например, аиста на камышовой крыше молдаванской мазанки, которую мы наняли на лето. Аист стоял рядом со своим большим, небрежно сложенным из сучьев гнездом, в котором сидела на яйцах жена аиста — аистиха, а сам аист стоял на одной ноге, а другую прижал к животу, охраняя аистиху. Время от времени аист улетал и приносил в своем длинном клюве еду — маленького ужа или зеленую лягушечку с четырьмя растопыренными лапками.

Аист умел щелкать клювом, и это щелканье напоминало мне резкие деревянные звуки колотушки ночного сторожа, которые я когда-то слышал ночью у бабушки в Екатеринославе.

Папа научился весьма ловко щелкать языком, подражая аисту, и часто, желая позабавить меня и маму, становился против аистиного гнезда, закладывал руки за ремешок своего пояса и, задрав бороду, звонко, чеканно-отчетливо щелкал языком, вызывая аиста на разговор.

Аист начинал отвечать папе, и таким образом они долго переговаривались, а мы с мамой хохотали, и мама сквозь слезы говорила папе:

— Перестань, Пьер, ты нас уморишь. Ты ведешь себя совсем как мальчишка.

Мама называла папу на французский лад Пьером; я думаю, этот «Пьер» пошел у них от «Войны и мира», книги, которая в нашей семье считалась священной.

...На всю жизнь запомнились мне молдаване в сыромятных постолах, меховых жилетах и высоких бараньих шапках, которые они носили, несмотря на летнюю жару...

В Карпатах шли дожди, таяли снега, и тогда Днестр вдруг темнел, раздувался, выходил из берегов, так что каменная дамба против нашей хатки уходила под воду и поверх нее с головокружительной быстротой неслись длинные волны, с которых ветер срывал куски серой пены, покрывавшей весь берег, прибрежные кусты, набивался в камыши, на три четверти затопленные бунтующей водой с черными воронками смертельно опасных водоворотов.

В эти дни в Днестре часто тонули люди, и я со страхом смотрел с галерейки нашей мазанки на зловещие тучи и на массы карусельно несущейся воды.

Через несколько дней дожди в Карпатах проходили и вода в Днестре падала — иногда даже ниже прежнего уровня,— дамба снова появлялась из-под воды, а на песчаных отмелях ходили аисты, выклевывая из полуоткрытых речных ракушек неприятного черного цвета жирных моллюсков.

Я подходил к отмели, покрытой ракушками, и любовался их видом, их дышащими створками, которые то открывались, то закрывались, словно им не хватало воздуха. Меня удивляло, что они живые, что они дышат, что они как бы высовывают языки.

Когда начиналось наводнение и дамба уходила под воду, мы с мамой кричали ей:

— До свиданья, дамба!

Когда же наводнение кончалось, мы приветствовали ее появление из-под воды криками:

— Здравствуй, дамба! Ку-ку, дамба!

Раза два в течение лета папе приходилось уезжать по епархиальным делам на несколько дней в Одессу, до которой, в общем, было хотя и близко, но сообщение было

очень неудобное: с переездом на пароме, с двумя железнодорожными пересадками. Я только знал, что папа должен добираться пешком до какой-то Резины — большого села или даже заштатного городка с лавками и почтой,— потом переправляться на пароме в местечко Сахарна, а оттуда уже как-то попадать на железнодорожную станцию Рыбница, где однажды в окно вагона, когда мы ехали на дачу, я действительно видел огромную, только что пойманную белугу, которую, подцепив крючком за хвост, укладывали на платформу железнодорожных весов, посыпанных крупной солью, и кто-то в восторге крикнул, что в рыбе полтора пуда веса.

Обычно мы ждали возвращения папы с громадным нетерпением, каждый день выходили ему навстречу. Он всегда появлялся неожиданно и всегда в первую минуту был не похож на себя.

Один раз мы с мамой вышли встречать его на дорогу, а в это время поперек Днестра, сносимая течением, плыла с того берега, приближаясь к нам, лодка перевозчика, в которой сидел на корме пассажир весь в черном, с длинными волосами, похожий не то на молодого монаха, не то на псаломщика. Мы сначала не обратили на него внимания, но вдруг мама замахала зонтиком, который несла на плече, и крикнула:

— Пьер! Пьер! Боже мой, я его совсем не узнала!

В лодке оказался мой папа с хорошо мне знакомой дорожной плетеной корзинкой на коленях. Увидя нас, папа, в свою очередь, стал размахивать своей черной широкополой шляпой с выгоревшей лентой. Оказалось, он сошел на предыдущей станции и решил переправиться не на пароме, а на лодке, с тем чтобы пристать к дамбе прямо против нашей мазанки, которая со своим аистом на крыше так красиво стояла на каменистой горе, поросшей полынью.

У папы за эти несколько дней отросла на затылке грива, лицо загорело, черное летнее пальто пропылилось, и мама, целуя его и обнимая, то и дело восклицала:

— Ах, Пьер, посмотри на себя, на кого ты похож! Идем же скорей, тебе надо хорошенько помыться с дороги. У тебя бурая шея.

А я норовил вытащить деревянную затычку и заглянуть в скрипучую корзинку, зная, что там непременно должны быть для меня гостинцы из города; потом папа

сажал меня на пыльное плечо, и мы весело шли по немощеной деревенской дороге домой — папа, мама и я. Казалось, что, кроме нас троих, никого нет на свете.

...как мы тогда любили друг друга!..

В другой раз мы отправились встречать папу, вышли на дорогу и незаметно дошли до Резины, где на окраине после недавних дождей дорога превратилась в непроходимую лужу, обойти которую было невозможно, потому что с обеих сторон дороги тянулись глухие плитняковые заборы. Мы с мамой остановились и вдруг увидели папу в его широкополой шляпе, как у Максима Горького, в пыльном летнем пальто, в пенсне, со знакомой корзинкой в руке; он осторожно пробирался между каменной стеной и жидкими колеями дороги, в которых полосами отражалось небо, он шел, осторожно переставляя ноги, по совсем узенькой кромке сухой земли, задевая одним плечом известняковые камни забора, оставлявшие на рукаве пыльные следы. Он шел, не замечая нас, с доброй улыбкой, предвкушая встречу с нами, испытывая блаженство возвращения к жене и сыну.

Мы с мамой затаили дыхание и долго любовались не замечавшим нас папой.

...самое удивительное было то, что лет через шестьдесят пять после того, когда в мире и во мне все так изменилось, когда уже давным-давно не было на белом свете ни мамы, ни папы, а только осталась легкая, нежная, грустная память о них, я вдруг попал в Резину и сразу же узнал то место, где папа пробирался по обочине дороги, задевая плечом камни забора.

Здесь до такой степени ничего не изменилось — даже зеркальные полосы блестели в густой черной грязи дороги,— что я бы не удивился, если бы вдруг увидел молодого папу в его выгоревшей широкополой шляпе, с корзинкой в руке, бородатого, пыльного, доброго, осторожно переставлявшего ноги, пробирающегося домой — ко мне и к маме.

Я вышел из автомобиля, потрогал рукой неизменившиеся известняковые камни забора, сорвал сухую серебряную былинку, растущую под самым забором, и, чуть не плача от непонятного горя, вернулся в машину и попросил, чтобы повернули обратно вдоль Днестра в Сахарну,

а оттуда в Оргеев, где во время первой мировой войны, во время керенщины, меня чуть не расстреляли корниловцы, а потом в Кишинев, памятный мне с лета 1917 года по знакомству в нем с Котовским.

В это время, пока машина разворачивалась, над узкой улицей, над двумя каменными плитняковыми заборами, раскинув крылья и опустив вниз голенастые ноги, как бы висел знакомый аист, с удивлением рассматривая меня — такого старого и не похожего на того маленького мальчика с круглым лицом и узкими монгольскими глазками...

Тут же я вспомнил еще нечто давным-давно забытое из нашей тогдашней жизни на Днестре.

У нас был знакомый местный арендатор, который ходил в брезентовом пылевике и мужицких сапогах. Почему-то он иногда заходил к нам и пил у нас чай. У него было странное имя:

«Кисель Пейсахович Гробокопатель, посессор».

Так было напечатано на большой визитной карточке, которую он вручил маме и папе при первом своем посещении.

И еще.

Здесь впервые я увидел, как мальчику драли уши. До сих пор не могу забыть это ужасное зрелище.

Возле хатки в этом прелестном приднестровском краю, которую так же, как и мы, нанимала на лето семья неких Месснеров, я увидел в огороде мадам Месснер, которая что-то делала со своим сыном, маленьким кадетиком в широких черных штанах и холщовой летней рубахе с синими твердыми погонами. Мальчик был гораздо старше меня, и я его воспринимал почти как взрослого. Тем страшнее было то, что я увидел. Сначала мне показалось, что они — мадам Месснер и ее сын-кадет — играют в какую-то странную игру. Потом я подумал, что мадам Месснер умывает своего сына двумя губками, которые она держит в обеих руках, и я даже заметил, как по красным щекам кадетика и по носу течет вода.

Это меня удивило.

Однако приблизившись к плетню, вдоль которого росли светящиеся против солнца розовые и красные мальвы, я увидел, что госпожа Месснер дерет уши своему сыну. До этого времени я только слышал, что иногда злые взрослые дерут детям уши, но никогда ничего подобного не

видел и, откровенно говоря, не вполне этому верил, думая, что так говорится лишь для того, чтобы припугнуть детей и заставить их быть послушными.

И вот теперь передо мной открылась ужасная правда: большому мальчику на моих глазах драли уши.

Мадам Месснер, крепко вцепившись опытными руками в ушные раковины своего родного сына, драла их взад-вперед, причем мне даже послышалось, как трещат их хрящи. Уши кадета были распухшие, пунцово-красные, цветом своим напоминая чашечки цветущих мальв, возле которых все это происходило.

Мадам Месснер, коренастая белокурая немка в маленьком пенсне, дрожащем на ее пористом напудренном носике, в шелковой блузке, скрипевшей на ее толстой спине и туго затянутой в талии, в накрахмаленном фартуке — она до этого пекла на керосинке Грец свой штрудель с яблоками,— со злыми водянисто-голубоватыми глазами и двойным розовым подбородком, действовала своими пухлыми руками как рычагами, с неотвратимой настойчивостью драла распухшие уши мальчика, пунцовое лицо которого обливалось слезами и было искажено болью.

Чудный светящийся мир, сиявший вокруг меня в это приднестровское росистое утро, вдруг померк; я едва не потерял сознание; мама подхватила меня на руки, прижала к себе и с побледневшим от негодования лицом унесла подальше от безобразной сцены.

Я долго не мог этого забыть.

Иногда в Одессе я встречал на улице уже взрослого кадета Месснера, мы с ним раскланивались, причем я всегда, не отрываясь, смотрел на раковины его несколько оттопыренных ушей...

...Последний раз я встретился с ним во время первой мировой войны. Я ехал, сидя на зарядном ящике своей трехдюймовки, а он — навстречу нашей батарее верхом на лошади, в длинной кавалерийской шинели, гусарской фуражке, с кожаным походным портсигаром через плечо, со стеком в руке в замшевой офицерской перчатке. Дело было под Минском лютой зимой, в дремучем еловом лесу, среди деревьев, утопавших в сугробах, за которыми садилось красное льдистое солнце, и где-то недалеко била ар-

тиллерия, пахло дымом солдатских костров, сложенных из елового лапушняка.

Месснер — уже красивый молодой человек с усиками — не узнал меня и проехал мимо, поглаживая свою лошадь по шее. Я посмотрел ему вслед. Раковины его ушей, красных на морозе, ярко светились против заходившего солнца, охваченного ледяным нимбом...

Я вдруг вспомнил жизнь на Днестре, папу, маму, черный след цыганского костра среди каменистой земли, поросшей полынью, вспомнил угольки костра и аиста, как бы висящего над нами на своих раскинутых черно-белых крыльях, с повисшими голенастыми ногами.

Мандолина.

Я узнал, что один гимназист из нашего класса отличный музыкант и даже один раз выступал на гимназическом литературно-музыкальном утреннике, исполнив на своей мандолине, которую принес в сером байковом мешке, затянутом шелковым шнурком, несколько русских патриотических пьес, из которых больше всего понравилась вариация на тему известной песни «Слышу пенье жаворонка, слышу трели соловья; это русская сторонка, это родина моя!».

Сам директор и дамы-патронессы в белых атласных платьях, скроенных вроде русских сарафанов, с бело-сине-красными ленточками розеток Союза русского народа, аплодировали юному мандолинисту, и это решило дело: я дал себе клятву приобрести мандолину и научиться играть на ней разные концертные пьески и бальные танцы вроде падекатра или хиаваты.

Нечего и говорить, что моя просьба купить мне мандолину не вызвала в нашей семье никакого сочувствия. Как и следовало ожидать, тетя юмористически наморщила губы и довольно ядовито высмеяла мою новую беспочвенную фантазию. Женька тактично промолчал, но в его светло-карих глазах я уловил зеркальный блеск взбесившей меня насмешки, а папа даже не на шутку рассердился и, постучав указательным пальцем по обеденному столу, назвал меня лентяем и двоечником, который, вместо того чтобы исправить свои отметки, собирается заняться игрой на таком пошлом мещанском инструменте,

как мандолина, из чего, сказал он, все равно ничего путного не выйдет: только зря будут выброшены деньги на покупку инструмента и на плату какому-то проходимцу, объявлявшему в газете, что обучает игре на мандолине за пятнадцать уроков по пятьдесят копеек урок.

Но, хорошо зная папин характер, я не отступил и продолжал настаивать на покупке мандолины, давая честное благородное слово исправить все двойки и впредь старательно и добросовестно готовить уроки.

С жаром доказывал я папе необходимость для меня музыкального образования, которое так облагораживает человека. Я знал, что папа придерживался именно такого же мнения и сам очень любил музыку. Я сумел убедить его в серьезности моих намерений, после чего папа сдался и мы поехали на новом электрическом трамвае бельгийского общества в город, где за четыре с полтиной была куплена превосходная итальянская мандолина с черепаховым медиатором, заложенным в сдвоенных струнах инструмента. Медиатор стоил отдельно сорок копеек.

Я заметил, что, расплачиваясь за мандолину и медиатор, папа с расстроенным видом заглянул в свой кошелек, но, взяв себя в руки, бодро мне улыбнулся и сказал:

— Надеюсь, что ты серьезно отнесешься к своим занятиям музыкой. Помни,— со вздохом прибавил он,— что твоя покойная мамочка очень любила музыку, была чудесная пианистка и так мечтала, чтобы ее дети стали музыкантами.

— Честное благородное слово! — с жаром воскликнул я.

— Дай-то бог,— сказал папа.

По дороге домой в трамвае я нежно прижимал к себе мандолину, любуясь ни с чем не сравнимой, совершенной формой ее легкого, емкого корпуса, прочно склеенного из полосок палисандрового дерева, ее выпуклым затылком, красиво суживающимся к грифу, всеми подробностями ее механизма, перламутровыми кружочками на грифе, металлическими делениями, но не такими, как на градуснике, а неравномерно отстающими черточка от черточки — наверху редко, чем ниже, тем чаще, в чем была некая загадочная закономерность.

Мне тут же, в трамвае, хотелось заложить ногу за ногу, а на колено положить мандолину, согнуться и, как заправский мандолинист, ловким движением медиатора

извлечь из попарно протянутых металлических струн волнистое, красивое тремоло. Но я сдержался, скромно поглядывая на пассажиров, несомненно восхищенных моей новой, до блеска отполированной мандолиной.

...все это предвещало много радостей, а в самом недалеком будущем — когда через пятнадцать уроков я научусь играть на мандолине,— может быть, даже славу...

Я горел от нетерпения поскорее начать ходить на уроки к учителю игры на мандолине и каждую свободную минуту садился посреди комнаты на стул, закладывал ногу за ногу и, сгорбившись над мандолиной, пытался извлечь из ее струн твердое, ровное тремоло.

Это казалось мне так просто!

Однако медиатор скользил у меня в пальцах, и его расширенный конец упруго гнулся, заставляя металлические струны издавать звуки громкие и совсем не музыкальные. Даже не звуки, а скорее нестройное звяканье.

Тетя зажимала уши мизинцами и запиралась у себя в комнате, Женька делал вид, что не обращает на меня ни малейшего внимания.

Затем я стал посещать учителя игры на мандолине — молодого человека в диагоналевых синих, очень узких брюках, в форменной тужурке почтово-телеграфного ведомства поверх русской косоворотки, с длинными белокурыми сальными волосами, заложенными за уши. От него пахло табаком, и большую часть урока он набивал гильзы Катыка легким золотистым табаком Асмолова и рассказывал мне свои любовные приключения, почесывая ногтем мизинца угреватый нос.

Я оказался настолько неспособен к игре на мандолине, что даже не выучился играть простую гамму.

Дело кончилось тем, что я постепенно перестал ходить на музыкальные уроки, а вместо этого одиноко шлялся с мандолиной под мышкой по городу, лишь бы только не идти к учителю в его аккуратную, но очень тесную комнату в полуподвале, набитую всякими дешевыми, никому не нужными базарными безделушками. Эту комнатку учитель игры на мандолине нанимал в квартире еврейского портного, где всегда стоял особый, устойчивый запах фар-

ширированной рыбы, коленкора, детских пеленок и где вечно стояла подавляющая душу тишина, нарушаемая рубленым стуком маятника и нескончаемо длинными трелями канарейки.

Деньги же, которые мне давали для уплаты за уроки, я тратил на зельтерскую воду с зеленым сиропом «свежее сено» или «ром-ваниль», на рахат-лукум, баклаву и прочие восточные сладости, на приторно-сахарные, как бы лакированные рожки и копру кокосовых орехов...

Я чувствовал себя последним подлецом и, возвращаясь домой, осторожно клал мандолину на черный гардеробный шкаф в нашей комнате, где висел папин новый сюртук и наши новые форменные костюмы. В конце концов, я возненавидел мандолину, не оправдавшую моих надежд и превратившуюся в постоянную улику.

К счастью для меня, папа как-то рассеянно отнесся к моему охлаждению к музыке, махнул рукой и перестал давать полтинники на учителя.

...с тех пор мандолина несколько лет лежала на шкафу в сером байковом мешке, который сшила для нее тетя. Мандолина покрывалась пылью и напоминала о себе лишь тихими музыкальными аккордами, откликаясь на любой, самый легкий звук, доносившийся до нее и проникавший сквозь байковый мешок: стук входной двери, звонок, шаги по коридору, шум воды из уборной, цоканье лошадиных подков на улице, дребезжанье извозчичьей пролетки, певучий голос точильщика или паяльщика, как бы где-то вдалеке прошедшего военного оркестра, водянистый, удручающе грустный звон великопостного колокола, собачий лай, даже шорох мыши, катавшей кусочки сахара за буфетом, даже ночной шелест и потрескивание отклеивающихся обоев...

Странно, что никто, кроме меня, не замечал этих вздохов мандолины, доносившихся со шкафа как укоры совести. Эти вздохи вселяли в меня необъяснимый страх. Я боялся оставаться один в пустой квартире наедине с мандолиной, ловившей каждый мой вздох, следившей со

шкафа за каждым моим шагом, как бы музыкально повторявшей все мои самые сокровенные мысли.

Иногда среди ночи я просыпался от прилива необъяснимой тоски, и тотчас на шкафу просыпалась мандолина, начиная еле слышно звенеть всеми своими струнами, сдвоенными, как железнодорожные рельсы. Меня начинала мучить бессонница. Подушка жгла щеку. Мандолина вкрадчивым звоном отзывалась на папин храп, на Женькино сладкое чмоканье и всхлипывание во сне.

Мандолина лежала на шкафу возле самой стены, я ее не мог видеть с кровати, даже если в комнату сквозь ставни пробивался лунный свет поздней осени, но все же я ее как бы ясно видел, лежащую в сером мешке на своем круто выдающемся затылке вверх плоским, срезанным лицом с открытым, мягко очерченным овалом рта, как у греческой трагической маски.

Но, главное, я как бы видел всю ее глубокую пустоту, где накапливались и резонировали самые разнообразные звуки не только нашей квартиры, нашей улицы, нашего города, нашей империи, но и всего земного шара, его прошлого, настоящего, будущего — зловещий, еле слышный струнный хор, хорал военных приготовлений, скопления военных частей, музыку парадов и свиданий монархов, церковных песнопений, колоколов, молебнов, потайной ход подводных лодок, гул чумы и надвигающейся войны, бой под Сморгонью, дуновение смерти, от которой не было спасения моей беззащитной, еще почти детской душе.

Мандолина истерзала меня тысячами ночных страхов, муками моего созревания, и я в конце концов, прижав ее к груди, как вор, на цыпочках вышел из квартиры, сбежал по лестнице, причем мандолина сопровождала каждый мой шаг укоризненными аккордами, отправился в город и, испытав множество унижений в разных магазинчиках и лавчонках старья, наконец продал мандолину за смехотворную цену — за восемьдесят копеек, из которых один двугривенный потом оказался фальшивым, грубо сделанным из олова местными неумелыми фальшивомонетчиками, ютящимися где-то в трущобах Молдаванки или в катакомбах.

Не помню уже, на какие нужды потратил я нечестно приобретенные деньги: может быть, даже проиграл их на чердаке дома Мирошниченко в двадцать одно Жорке Собецкому, а может быть, на что-нибудь другое.

Не знаю, не знаю, не помню...

Проклятая мандолина, обещавшая мне так много высокого восторга и ничего не давшая, кроме томительных музыкальных вздохов, пустых созвучий...

Перед пасхой.

Все наши квартиранты имели различные странности и причуды.

Например, один из последних — кандидат на судебные должности — держал в клетке какую-то птицу, скворца или дрозда, уже теперь не помню. Кажется, скворца. Впрочем, может быть, и дрозда.

Он поселился у нас уже на Пироговской улице, когда мы переехали в новый кооперативный дом квартировладельцев.

Жилец поселился у нас в то время, когда я уже был на фронте в качестве вольноопределяющегося — артиллериста.

Перед пасхой я выпросился в двухнедельный отпуск и, не предупредив папу, желая сделать ему сюрприз, неожиданно прикатил с позиций под Сморгонью, где было тогда затишье, на побывку домой, в родной отчий дом.

Тетя уже не жила с нами, а уехала в Полтаву к родственникам, считая мое и Женино воспитание законченным и долг свой перед своей сестрой, нашей покойной мамой, исполненным.

Она жаждала личной жизни и личного счастья.

...Когда утром прямо с вокзала я вошел в квартиру в своей боевой артиллерийской шинели, с черным ранцем за плечами, с кинжалом-бебутом на поясе, дома никого не было, одна лишь новая, еще неизвестная мне «прислуга за всё» производила предпасхальную генеральную уборку. Распахнутые окна были уже начисто вымыты, протерты, и весеннее небо как бы качалось на петлях в мокрых рамах.

По всей просторной новой четырехкомнатной квартире с электрической арматурой и батареями пароводяного отопления гуляли апрельские сквозняки и солнце лежало ярко-желтыми восковыми квадратами на новеньком натертом паркете.

Отпирая мне дверь, новая прислуга держала в руке пустую клетку. Так как мы никогда не водили птиц, то я понял, что эта проволочная клетка принадлежит новому жильцу, поселившемуся в бывшей тетиной комнате, о чем мне папа писал в действующую армию.

По испуганному лицу новой прислуги текли слезы, и я узнал, что произошло несчастье: пока она чистила клетку, дрозд выскочил за дверцу, посидел на шкафу, посмотрел туда-сюда, а потом махнул в открытое настежь окно — и поминай как звали!

Новая прислуга сказала, что квартирант не дай бог как рассердится, потому что очень привык к дрозду и каждый день собственноручно меняет ему воду и засыпает конопляного семени, а дотрагиваться до клетки никому не разрешает.

Я еще не успел насладиться свободой и чистотой нашей квартиры со всеми признаками наступающей пасхи: зеленой горкой взошедшего кресс-салата, узкими вазонами с зацветающими гиацинтами, тарелкой с только что выкрашенными пасхальными яйцами, закрепленными в уксусе и до зеркального блеска натертыми сливочным маслом,— пунцовыми, алыми, зелеными, лиловыми, в каждом из которых отражалось окно, в то время как опустошенные пакетики из-под краски для яиц еще лежали в кухне на подоконнике и на каждом таком пакетике было изображение цветного яйца, из которого вылупляется желтый цыпленок.

...и в столовой на пианино — только что полученный пасхальный номер «Лукоморья» с глянцевой обложкой, на которой был во много красок напечатан букет ярких тюльпанов, что придавало дому еще более пасхальный вид...

Не успел я еще всем этим насладиться, как раздался резкий электрический звонок и в дверях появился наш новый жилец — довольно молодой простецкий малый в распахнутом партикулярном пальто, в форменной фуражке судебного ведомства, в кашне, либерально обмотанном вокруг крепкой розовой шеи с индюшечьим кадыком.

Отстранив помертвевшую прислугу и не обратив на меня никакого внимания, кандидат на судебные должности вошел, весело посвистывая, в свою, то есть в бывшую тетину, комнату и вдруг там сразу замолк.

Наступила тягостная пауза, после чего квартирант уже

без пальто появился на пороге бывшей тетиной комнаты, причем —

...«лик его был ужасен»...

— Фрося,— почти неслышным голосом, с легким украинским акцентом спросил он,— где дрозд?

Фрося закрыла лицо фартуком и зарыдала.

— Я спрашиваю, где дрозд? — еще тише выговорил жилец.

Фрося продолжала рыдать.

Жилец еще раз посмотрел на открытую клетку, потом на распахнутое окно, на соседнюю крышу, над которой простиралось чистое пасхальное небо с трепещущими в нем жаворонками, бог весть как залетевшими с поля в город, а затем, сделав трагическое лицо, полное решимости, если потребуется, совершить убийство, сказал:

— Чтоб птица была!

Он закутал свою шею кашне, накинул пальто на плечи, нахлобучил фуражку, вышел гремящими шагами на лестничную клетку, изо всех сил захлопнул за собой дверь и уже после этого закричал с лестницы еще раз страшным голосом, потрясшим весь дом:

— Чтоб птица была!

А я стоял в передней, улыбался, потешаясь над бессильной яростью этого молодого человека — будущего судебного крючка,— не нюхавшего пороха, окопавшегося в тылу и не имеющего никакого понятия, что такое стрельба немецкой тяжелой артиллерии по нашим блиндажам.

...и каким же надо быть шпаком и неврастеником, чтобы требовать улетевшую на волю птицу. Улетит, брат, не поймаешь. Ищи, свищи...

Вскоре я ехал в пустом вагоне на фронт под Сморгонь, и в белорусских лесах блестели озера талой воды.

«Чем дальше от юга и моря, тем сердце спокойней и проще; тем в сердце спокойней и проще, и сердце полно тишиной; в открытые окна вагона дышали весенние рощи, дышали весенние рощи прохладой и мокрой землей. Бежали лесные болота, и в них серебристые звезды дрожали от свежего ветра весеннею дрожью своей. И светлые пятна из окон бежали по шелку бересты, белеющей скромно и тонко сквозь кружево хвойных ветвей... Бродило предчувствие счастья апрельским, ликующим хмелем; бродило,

горело и пело весенние песни в крови. Заря занималась сквозь слезы, туманы ползли по ущельям, и пели в садах станционных, в росистых садах соловьи...»

Рождение братика.

Когда няня привела меня с прогулки, раздела и я вошел в гостиную, то было уже почти темно, а мама и еще одна женщина сидели рядом в креслах возле столика, покрытого бархатной скатертью, и рассматривали какую-то книгу.

Эта книга не была толстым, хорошо мне знакомым альбомом с медными пружинными застежками и толстыми лаково-белыми картонными страницами с золотым обрезом, в которые были вставлены семейные фотографии.

Альбом этот всегда находился рядом с керосиновой лампой на высокой ножке, с красивым бронзовым резервуаром и матовым абажуром в виде полураскрытого тюльпана, откуда высовывалась верхушка лампового стекла, над которой всегда колебался нагретый воздух.

С наступлением темноты эту лампу, уже зажженную, приносили из кухни, где заправлялись все прочие керосиновые лампы нашей квартиры, и тогда небольшая гостиная со старой мягкой мебелью делалась в моих глазах как-то по-вечернему уютной, почти сказочной, чему способствовала тень фикуса с его овальными листьями, вдруг четко, но мягко появлявшаяся на потертых, слегка золоченых обоях.

На этот раз было уже довольно темно, а зажженную лампу все еще не приносили.

Женщину, сидевшую рядом с мамой, я узнал сначала по черной шерстяной материи ее одежды, пропитанной приятным запахом ладана и лампадного масла, а также по белому цвету пухлого лица, окруженного краем накрахмаленной косынки, выглядывающей из-под черного монашеского платка.

Это была пожилая сестра милосердия из Стурдзовской евангелической общины, и она имела какое-то не совсем понятное мне, близкое отношение к нашей семье, в особенности ко мне: я слышал, как взрослые говорили про нее, что она меня принимала.

Но что значит принимала, я не понимал, а только чувствовал в этом какую-то необъяснимую, темную тайну. Я неясно понимал, что не всегда жил на свете: сначала

меня совсем не было, я не существовал, а если и уже существовал, то был в каком-то таинственном месте, ни живой, ни мертвый, и Акилина Афанасьевна, как звали сестру из Стурдзовской общины, каким-то образом оттуда выручала меня, крошечного ребеночка,— принимала в свои пухлые теплые руки, как бы вытертые, по далекому сходству с ее именем, приторно-сладким глицерином, который я однажды лизнул с пробочки маминого флакона.

Акилина Афанасьевна считалась у нас в семье как бы дальней родственницей и появлялась иногда по большим праздникам.

Однажды мы с мамой ходили ее навестить в Стурдзовскую общину — нерусское здание, построенное из какого-то крепкого дикого камня, с часами над входной дверью,— и я помню темный узкий коридор, в холодных сумерках которого перед иконой горела цветная лампада, подвешенная на трех цепочках.

...Во всю длину коридора лежала ковровая дорожка, делавшая наши шаги неслышными...

Мама не успела меня схватить за руку, как я уже отцепил цепочку с гвоздика и лампадка тяжело, со стуком упала на пол, погасла, зачадила, лампадное масло потекло по ковровой дорожке, и самое ужасное было то, что в тот же миг в глубине коридора показалась фигура настоятельницы общины в черной царственной мантии, с высоким посохом в руке, с грозным выражением бледного худого лица с высоко поднятыми, густыми, как усы, бровями.

Я так испугался — в особенности меня испугали ее резные кипарисовые четки, висящие на руке,— что едва не потерял сознание, а она приблизилась ко мне и легко, но довольно чувствительно шлепнула меня по рукам, проговорив сквозь сжатые губы:

— Скверный шалун.

Я уже сейчас не помню, как меня увели из общины, где я так оскандалился, но с тех пор у меня почему-то появилась уверенность, что Акилина Афанасьевна принимала меня именно отсюда, из этого сумрачного коридора с узкими готическими окнами, с чадящей на ковровой дорожке лампадкой и черной фигурой настоятельницы, простершей ко мне свой высокий посох, и в моей душе всегда жила благодарность к Акилине Афанасьевне за то,

что она приняла меня и вынесла меня отсюда на своих мягких пухлых руках на свет божий, в мир, где горело солнце, трепетала листва, прыгали воробьи и по небу над длинной железной крышей когановского приюта бежали веселые облака, гонимые ланжероновским ветром.

Теперь в темной гостиной я увидел маму и Акилину Афанасьевну с ее кожаным акушерским саквояжем на коленях. Я заметил на столике открытую книгу, такой книги у нас не было: наверное, ее принесла с собой Акилина Афанасьевна. Хотя было довольно темно, но я заметил, что это книга с картинками, и тотчас влез на мамины колени, с тем чтобы посмотреть картинки. Мне было неудобно сидеть на маминых коленях, так как меня подпирал ее очень потолстевший за последнее время живот, на что я, впрочем, не обратил особого внимания. Я тянулся к открытой книге, желая рассмотреть рисунок, совсем неразборчивый и непонятный в потемках. Этот рисунок казался мне странным, необычным, так как я не находил в нем изображения знакомых предметов — людей, деревьев, животных, домов, то есть всего того, что обыкновенно бывает в книгах и называется картинками.

Я увидел рисунок, изображавший нечто похожее на несколько скрюченный огурец с подогнутой крупной головой и, как мне показалось, сонно закрытым детским глазом.

— Что это такое? — спросил я маму.

— Это не для детей,— ответила мама.

— Да, но все-таки что это такое? — настаивал я.

— В темноте не разберешь,— улыбаясь, сказала Акилина Афанасьевна, желая все это повернуть в шутку.

Тогда я стал требовать, чтобы принесли лампу. Лампу принесли, но книга тем временем исчезла. Ее куда-то от меня спрятали. Исчезла картинка, вызвавшая в моей душе беспокойство.

Утром я почувствовал, что в доме что-то неладно: мама не вставала с постели, папа ходил по комнатам и, как видно, не собирался ехать на уроки. В гостиной снова появилась Акилина Афанасьевна со своим саквояжем.

Меня напоили чаем с молоком, одели тепло, как для длительной прогулки, в пальто и гамаши, и мама, поцеловав меня сухими губами в лоб, сказала, что кухарка отведет меня на целый день в гости к одним знакомым,

которые живут за циклодромом, недалеко от Ланжерона, против пустыря, где впоследствии разбили новую часть Александровского парка, а тогда там рос бурый осенний бурьян, доходя до самого обрыва, как бы повисшего над бушующим грязным морем, и шквалистый штормовой ветер гнул в одну сторону и заставлял трепаться сухие кусты перекати-поля и будяков и нес в лицо холодную пыль, смешанную с пухом репейника.

Мне было холодно в моем осеннем пальтишке, из которого я немного вырос, и в тонких шерстяных гамашах.

Ежась, я вошел в незнакомую мне квартиру, где меня уже ждали. Выбежали две девочки, вышла с ласковой улыбкой их мама, затем я увидел их папу — полковника с бакенбардами, в мундире офицера пограничной стражи.

Он качался в качалке и милостиво потрепал меня по щеке своей костлявой рукой, напомнившей мне руку покойного екатеринославского дедушки, маминого папы, того самого, который некогда подарил мне Лимончика.

У моих новых знакомых была просторная, богатая квартира с теплой застекленной террасой, полной тропических растений и клеток с канарейками, там стоял длинный обеденный стол и вокруг него дачные плетеные стулья.

Девочки были старше меня — высокие, худенькие, вежливые, приветливые. Они развлекали меня, как воспитанные хозяйки развлекают не очень интересного гостя: меня поили какао с рогаликами, показывали картонный игрушечный театр, рисовали вместе со мной на особом матовом стекле разные предметы, и во всем их милом, деликатном поведении сквозило непонятное сочувствие, грусть, даже тревога.

Их мама курила очень тонкие папироски, сбрасывая сиреневый пепел в перламутровую раковину, время от времени подзывала меня к себе и гладила мои стриженые, жесткие на макушках волосы...

(Не забывайте, что у меня было две макушки, я был «счастливчик».)

...Причем выражение ее лица делалось сочувственно-грустным и вместе с тем полным скрытого любопытства.

Наша кухарка давно уже ушла, и я слышал, как мать девочек сказала ей, чтобы обо мне не беспокоились: если дело затянется, то я буду ночевать у них в гостиной на стульях.

Но что же могло затянуться?..

Тревога охватила мою душу. Я чувствовал все усиливающееся беспокойство, к которому почему-то примешивалось представление о саквояже Акилины Афанасьевны и картинке в книге, смысла которой я не мог разгадать, хотя мне казалось, что загадка моего пребывания в чужом доме заключается именно в этой неразгаданной картинке, в этом как бы скрюченном тельце с большой сонной головой, опущенной вниз, в этой странной личинке, которую мне вчера не хотели показывать при свете принесенной лампы.

...кажется, ее звали не Акилиной Афанасьевной, а Савишной. Да, именно так. Но это не имеет значения, как не имело бы значения, если бы ее звали не Акилиной, а Гликерией...

У девочек была бонна, и она водила нас гулять на Ланжерон, где высокий прибой обрушивался на скалы и взбаламученное море кое-где просвечивало резкой зеленью октябрьского шторма.

Мне по-прежнему было холодно, и бонна подняла мне воротник с маленькими вышитыми якорями и закутала мою шею гарусной шалью, отчего я почувствовал себя еще более сиротливо.

Под темными тучами, низко бегущими одна за другой над Ланжероном, возле обрыва в сухом бурьяне лежали производившие учение солдаты, как я узнал от бонны — рота «искрового» телеграфа. Они запускали в небо полотняный, так называемый змейковый аэростат, и он, треща под напором шквалистого ветра, уходил по косой линии все выше и выше к черным тучам на тонком стальном тросе, разматывающемся, скользящем с большой железной катушки, который постепенно выпускали солдаты с зелеными погонами, лежащие в репейнике. Рядом с ними в репейнике стояли полированные деревянные ящики электрических батарей, соединенных черным проводом со змейковым аэростатом, откуда время от времени, как мне казалось, выскакивали маленькие синие молнии — искры электрических разрядов искрового телеграфа.

Бонна объяснила нам, что солдаты посылают электрические телеграфные сигналы на миноносец, нырявший в штормовых волнах против Ланжерона. Я видел на мос-

тике миноносца маленькую фигурку матроса, который, как мельница, махал двумя сигнальными флажками.

Во всем этом было что-то новое, зловеще-военное, какое-то темное предзнаменование, и я, спрятав ручки в рукава своего короткого пальтишка, чувствовал себя совсем сиротой.

Я провел у знакомых целый день, завтракал, обедал и ужинал, причем, помню, меня поразило богатство ужина: солдат-денщик в зеленых пограничных погонах и в белых нитяных перчатках подал блюдо жареных куриных котлет с зеленым горошком, а на столе на фаянсовой дощечке стоял большой кусок слезящегося швейцарского сыра с крупными дырками.

Наступил вечер. Стемнело. С Ланжерона дул ветер.

Уже давно зажгли лампы. В аквариуме уснули золотые рыбки, повисшие как загипнотизированные среди водорослей, осыпанных бисером воздушных пузырьков.

Странный день, проведенный у чужих людей, впечатление от змейкового аэростата с его цветными, полотняными плоскостями, который косо уходил вверх, в тучи, искры, выскакивающие из антенны, гул штормового моря и качающегося бурьяна утомили мой мозг, глаза мои сами собой закрывались, я стал капризничать, и мама девочек наконец велела укладывать меня спать на составленные стулья в гостиной, среди араукарий, бронзовых статуэток и больших картин в золотых рамах, из которых одна особенно восхищала и в то же время пугала своей красотой: черноглазая неаполитанка с поднятым бубном.

Я ужаснулся от мысли, что мне придется спать — как сироте! — в чужом доме и ночью на меня будет смотреть своими черными глазами итальянка в красном корсете.

Но в это время пришла наша кухарка, возбужденная, веселая, и сказала мне:

— Ну, слава богу, теперь у тебя есть братик, пойдем поскорее домой к мамочке, она за тебя беспокоится.

Поверх пальто она закутала меня принесенным серым оренбургским платком, от которого, как мне казалось всегда, исходил теплый, домашний, несколько кухонный запах екатеринославской бабушки, и вскоре я, еле держась на ногах, со слипшимися глазами — с ланжероновским репейником в вязаных гамашах,— очутился дома, в нашей маленькой трехкомнатной квартире, небывало ярко и весело освещенной лампами и свечами.

Прежде чем увидеть только что появившегося на белый свет своего братика — во что я все-таки никак не мог поверить,— я почувствовал крепкий запах распаренного липового дерева и облитых кипятком пеленок. Затем я увидел на кресле в гостиной раскрытый саквояж Акилины Саввишны и наконец ее самое, мелькавшую в дверях спальной со своей накрахмаленной косынкой и белыми, пухлыми, сладко-глицериновыми руками, обнаженными по локоть.

Было сразу заметно, что она тут главное лицо, распорядительница.

...мелькнул взволнованный папа в распахнутом сюртуке...

Я увидел липовое корыто, поставленное на две кухонные табуретки. По-видимому, недавно корыто ошпарили кипятком, потому что в воздухе сильно и приятно пахло душистым древесным запахом. Дно корыта было устлано сложенными в несколько раз бумазейными пеленками, а на пеленках лежал совсем крошечный длинненький ребеночек с еще красным тельцем и животиком, перевязанным марлей.

Акилина Саввишна осторожно поливала ребенка из кружки теплой водицей и нежно терла его кукольные ручки и ножки своими нежными ладонями, как бы предназначенными самой природой для купанья новорожденных детей.

...Я увидел черные, слипшиеся на лбу волосики моего неизвестно откуда взявшегося братика, его кисло зажмуренные глазки...

Акилина Саввишна держала ребенка спиной вверх на своей просторной ладони над корытом, а папа, не боясь облить водой свой новый сюртук с шелковыми лацканами и крахмальные манжеты, поливал его из кувшина, и вода лилась по нежному тельцу нового ребенка, согнутому, как очищенная раковая шейка. Из крошечного ротика ребенка выскакивали пузыри и беззвучно лопались. Я увидел, как Акилина Саввишна вытерла руками ребенка, а затем, положив его спинкой на стол, крепко запеленала, так,

что он стал твердой неподвижной куклой без рук, и только крошечное сморщенное личико, красное и потное, виднелось из пеленок, окутывающих головку.

Несколько раз ребеночек, не раскрывая глаз с набухшими веками, издал ротиком довольно громкий крик:

— Кува, кува, кува!

И тогда мама, лежавшая на кровати, по-девичьи разметав по подушке свои смоляные волосы, с нежным усилием улыбнулась искусанными губами и проговорила почти совсем пропавшим голосом:

— Ах ты мой маленький кувасик.

С тех пор моего братика долгое время называли Кувасиком.

Когда же Акилина Саввишна положила спеленатого ребенка рядом с мамой, приложив его личико к ее надутой, влажной, с кораллово-коричневым соском и каплей молока на нем груди, мама с усилием протянула ко мне ослабевшую смуглую руку, погладила меня по голове с двумя макушками и, с трудом шевеля губами, сказала:

— Поцелуй своего братика.

...и я осторожно, как будто к иконе, приложился губами к круглому личику «кувасика», испытывая одновременно и невыразимую нежность к этому чудесному произведению природы, и непонятную боль какого-то темного предчувствия, пронзившего мне сердце.

В верхних слоях атмосферы...

Все-таки сначала мы сделали попытку проникнуть на ипподром Российского общества рысистого коннозаводства — или как оно там называлось, не помню! — бесплатно, через забор, причем Боря чуть не порвал свою новенькую летнюю шинель на шелковой подкладке, но получили от прибежавшего сторожа по шеям, после чего оставалось только купить входные билеты, за которые без особого удовольствия заплатил Боря: у меня в кармане не было ни копья, а у Бори всегда водились деньжата.

В этот день на ипподроме бегового общества были объявлены не бега, как обычно, а полеты на аэроплане «фарман» знаменитого борца Ивана Заикина — сильнейшего соперника великого Поддубного. Заикин сделался на некоторое время авиатором. Заикин был наш кумир,

и некоторые считали, что по технике он даже выше Поддубного.

Авиатором Заикин сделался в силу моды того времени. Каждый известный спортсмен должен был быть авиатором. Это создавало вокруг его имени шум и необходимую рекламу.

На полеты мы пошли с Борей не столько ради Ивана Заикина, сколько для того, чтобы увидеть знаменитого писателя Куприна, который, приехав из столицы в Одессу, по слухам, должен был совершить полет вместе с Заикиным.

Особенно хотелось увидеть Куприна моему другу Боре, уже успевшему прочитать «Гранатовый браслет», «Поединок» и «Штабс-капитана Рыбникова».

Людей на ипподроме оказалось не слишком много, все больше простой народ — по входным билетам, как и мы. На трибуне виднелись несколько богатых дам в громадных шляпах, жаждущих посмотреть знаменитого писателя, и десятка два студентов и щеголеватых офицеров, пришедших ради «волжского богатыря» Заикина, ну и, конечно, для того, чтобы полюбоваться полетом.

Дул довольно сильный ветер, и публика боялась, что полет отменят по случаю неблагоприятных метеорологических данных, как это случалось в то время, на заре авиации, довольно часто.

Уличные мальчики сидели на акациях за ипподромом и выражали крайнее беспокойство: отменят полет или не отменят? Однако вскоре далеко за конюшнями открылись широкие ворота дощатого ангара и несколько солдат местного гарнизона в бескозырках вывели на беговую дорожку желтый биплан на толстых резиновых колесах. В то же время откуда-то появились и медленно прошли мимо трибун Куприн и Заикин.

...Волжский богатырь был в желтом кожаном пальто, в кожаном шлеме, в черных кожаных перчатках с большими раструбами; его пшеничные, по-борцовски закрученные вверх усы придавали его крестьянскому красивому лицу выражение решимости и бесстрашия, в то время как его друг, знаменитый писатель, толстячок с несколько татарским круглым лицом и узкими зеленоватыми глазами, шел рядом с борцом-авиатором в так называемой

шведской куртке — черной, кожаной, короткой,— из-под которой торчали какие-то газеты. По ипподрому сейчас же распространился слух, что ввиду того, что в высших слоях атмосферы, куда Заикин намеревался поднять свой летательный аппарат, царит ужасно низкая температура, Куприн решил утеплить свою шведскую куртку, напихав под нее десятка два номеров газеты «Одесские новости», в качестве специального корреспондента которой должен был совершить вместе с Заикиным рекордный полет на высоту по крайней мере трехсот метров, что казалось нам с Борей настоящим чудом авиации, чем-то почти невероятным...

— Ваня, не простудись! — кричали поклонники Заикина с деревьев и из-за забора.

— Александр Иванович,— слышались взволнованные голоса с трибун,— поберегите себя для русской литературы!

Раскланиваясь с публикой на все стороны, Заикин и Куприн остановились на краю беговой дорожки, куда солдатики, держа летательный аппарат за несущие поверхности, уже подкатили «фарман». Механик-француз, привезший авиационный мотор «Гном» из Иси ле Мулино под Парижем, осматривал со всех сторон биплан, пробовал крепление распорок, прочность тонких стальных тросов, проверял подвижность руля высоты, и публика с завистью разглядывала его клетчатую спортивную каскетку наимоднейшего парижского покроя, его макс-линдеровские усики и коричневые кожаные краги на кривоватых ногах.

Заикин, слегка покачав аэроплан, отчего он как бы весь зазвенел, как музыкальный инструмент, ловко вскарабкался на свое сиденье, а Куприн, кряхтя, заполз ему за спину и уселся там под латунным бензиновым баком, в котором, как в самоваре, отражалось холодное солнце этого незабвенного ветреного дня.

Публика начала аплодировать, и Заикин в ответ встал и помахал своей большой перчаткой с рыцарским раструбом, а Куприн приподнял на коротко остриженной голове с челкой маленькую кепочку с пуговкой, а затем надел эту кепочку козырьком назад.

— Контакт! — гаркнул француз-механик.

— Есть контакт,— ответил цирковым тенором волжский богатырь и повернул червячок-кнопку механизма зажигания.

Два солдата под руководством француза с усилием крутнули несколько раз деревянный лакированный пропеллер, мотор «Гном» чихнул и вдруг с грозным жужжанием завертелся, разбрасывая вокруг капли касторового масла, которым был смазан.

Пыль поднялась облаком.

Мы с Борей, надвинув свои гимназические фуражки козырьками на нос, неподвижно стояли друг возле друга, очарованные зрелищем последних мгновений перед тем, как аэроплан побежит вперед, оторвется от земли и достигнет рекордной высоты в триста метров, навеки прославив покорителей воздушной стихии и силы земного притяжения, великого борца среднего веса Ивана Заикина и знаменитого писателя Куприна.

— Ты чувствуешь, что мы присутствуем при историческом событии? — сквозь крупные передние зубы проговорил Боря, крепко сжимая мою руку.

— Спрашиваешь! — прошептал я в ответ, и слезы восторга повисли у меня на ресницах.

...нет, что и говорить, момент был незабываемый: два безумно храбрых человека, два кумира, презирая опасность, не обращая внимания на довольно свежий дофиновский ветер, рискуют подняться над ипподромом и, достигнув верхних слоев атмосферы, где, быть может, их ждут непредвиденные опасности, покажут всему миру, на что способен неустрашимый русский человек!..

Солдаты, державшие аэроплан за хвост, топая сапогами, отбежали в сторону, на них налетела туча пыли, ветер сорвал с их стриженых голов фуражки, «фарман» побежал и под громкое «ура» публики оторвался от беговой дорожки, сделал крутой вираж в воздухе и, обогнув четверть круга, мягко упал на Второе еврейское кладбище, известное, между прочим, тем, что там имелся мраморный памятник с золотой надписью под шестиугольным щитом царя Давида:

«Здесь покоится Лазарь Соломонович Вайнштok, корректный игрок в картах».

...Трибуны ахнули... Немедленно к месту катастрофы напрямик поперек ипподрома помчалась, издавая свои хорошо знакомые тревожные гудки, карета «скорой помощи», запряженная парой вороных лошадей, а следом за каретой «скорой помощи» поскакали несколько извозчиков и собственных выездов, в которых стояли взволнованные люди: француз-механик, полицмейстер, несколько студентов-белоподкладочников с биноклями и заплаканная дама в боа из страусовых перьев...

...Мы с Борей с ужасом всматривались в даль, где среди мраморных надгробных памятников Второго еврейского кладбища возвышались два легких крыла севшего набок биплана. Несмотря на самые мрачные наши предчувствия, все обошлось благополучно.

Сначала весело промчалась назад пустая карета «скорой помощи», а за нею неторопясь следовал извозчичий экипаж, в котором, откинувшись на подушки, довольно смущенно сидели целые и невредимые волжский богатырь Иван Заикин и знаменитый писатель в своей шведской куртке, набитой газетами, для того чтобы не простудиться в верхних слоях атмосферы.

Семена.

За луковицами гиацинтов и тюльпанов, а также за рассадой и семенами цветов тетя ходила в садоводство Веркмейстера.

Иногда ранней весной меня внезапно одолевало чувство, трудно определимое словами,— нечто вроде жажды принять участие в таинственном явлении произрастания семян, в превращении мертвого зерна в живое зеленое растение.

Более точно не могу выразить это чувство.

Это чувство охватывало все мое существо, овладевало всеми моими помыслами и желаниями. Тогда, раздобыв гривенник, я отправлялся в садоводство Веркмейстера на Пироговской улице, против массивного белого здания штаба Одесского военного округа. За глухим каменным забором садоводства на цветочной плантации уже начинались весенние работы: два садовника-немца в картузах и зеленых фартуках откапывали превосходными заграничными лопатами кроны присыпанных на зиму штамбовых роз,

распрямляли их согнутые в дугу тонкие стволы и прикрепляли к ним оловянные ленточки с выбитыми на них названиями сортов.

Кучи хорошо унавоженного, перепревшего и просеянного сквозь сито чернозема голубовато дымились на солнце; в большую кадку текла из крана вода, кое-где валялись дорогие плоские лейки, или, как они назывались в нашем городе, поливальницы, а также совки синей вороненой стали, купленные, несомненно, в магазинах железных инструментов и двутавровых балок «Братья Раухвергер»,— верный признак того, что садоводство Веркмейстера было поставлено на широкую ногу и пользовалось лишь самым лучшим английским садовым инвентарем.

Семена продавались в глубине участка в маленьком домике, называвшемся конторой.

Сжимая в кулаке гривенник, я входил в маленькую беленую комнатку, где сам Веркмейстер в фуражке и вязаном жилете лично продавал семена, вынимая пакетики из узких ящичков, которые выдвигались из шкафа во всю стену, на манер клапанов фисгармонии.

На прилавке стояли аптекарские весы и фаянсовые банки с развесными семенами, отчего магазин напоминал аптеку.

Веркмейстер с головой Иоганна Себастьяна Баха не торопясь выдвигал узкие ящички, выкладывая на прилавок перед покупателем конвертики с цветной картинкой, изображающей цветок, гораздо более красивый, яркий, хрестоматийно достоверный, чем в природе: анютины глазки, петуния, ночная красавица, резеда, махровая гвоздика, львиный зев, настурция... Все они были пока заключены в мертвых семенах, иногда мелких, как соринки, так что трудно было поверить, что из них вообще может что-нибудь вырасти.

В одной этой комнате в деревянном шкафу с маленькими узкими ящичками помещалось столько будущих цветущих растений, что они могли бы превратить весь наш Причерноморский край в Эдем.

...и это казалось мне настоящим волшебством...

Я долго выбирал семена, перебирая пакетики, в которых, шурша, пересыпались микроскопические зародыши растений, и, в конце концов налюбовавшись цветными картинками, останавливался на вьющихся бобах.

Веркмейстер с величайшей тщательностью отвешивал мне унцию крупных бобов и заворачивал в папиросную бумагу, скрепляя пакетик аптекарской резинкой.

Бобы были большие, тяжелые, и на унцию их выходило штук пять, но зато они стоили дешево — всего шесть копеек, а на остальные деньги Веркмейстер позволял мне набрать в газетную бумагу хорошей садовой земли, он также давал обстоятельные наставления о том, как надо сажать бобы.

Дома я немедленно высыпал рыхлую черную влажную землю в плошку и закапывал в нее свои большие плоские бобы — твердые и мертвые, как ланжероновские камешки шоколадного цвета, мягко, до глянца обточенные прибоем.

Все вокруг начинало зеленеть.

На кухне зеленела горка, приготовленная для пасхального стола,— пирамидка из щепочек, обтянутая сукном; на это сукно намазывали, как икру, липкие семена кресс-салата, поливали три раза в день, и они вдруг начинали произрастать, выпуская из себя сначала бесцветные червячки первых ростков; затем горка зеленела, как хорошо ухоженный газон, и во всей своей красе и свежести наполняла кухню острым растительным запахом, как бы ждала того дня, когда ее окружат крашеными пасхальными яйцами.

На Французском бульваре на голых конских каштанах надувались и готовы были треснуть громадные почки, как бы густо смазанные столярным клеем.

На кладбище вокруг маминой могилы с мраморной плитой и белым мраморным крестом из сухих прошлогодних листьев, устилавших землю, прокалывая эти полуистлевшие листья, вылезали из земли яркие иглы молодой травы.

Все растения вокруг собирались воскреснуть после зимней смерти.

И я почти не отходил от плошки с посаженными бобами.

...на моих глазах совершалось воскрешение мертвых семян, их таинственное, но совершенно наглядное превращение в зеленое растение. Я видел, как сначала из неподвижных бобов вылезали маленькие бесцветные ростки, как потом эти ростки толстели, наливались соками жизни, согнувшись, впивались в землю, уходили в ее глубь и там

начинали укореняться, в то время как бобы все еще продолжали оставаться неподвижными, лишенными признаков жизни...

Но это лишь так казалось. Я чувствовал, что в них уже начала развиваться энергия жизнедеятельности. До этого мне приходилось рассматривать в микроскоп тонкий срез древесного листа с увеличенными в сто раз клетками с их прозрачной протоплазмой, зернами хлорофилла и крахмала, похожего на маленькие рубчатые ракушечки.

Глядя одним глазом в микроскоп на этот удивительный внутренний мир растения, недоступный маломощному, невооруженному человеческому зрению, я не видел, но чувствовал в растительной клетке какое-то вечное незаметное движение, накопление неизвестно откуда взявшихся жизненных сил. Эти незримые силы, эта неукротимая энергия, казалось, была способна сокрушить любую преграду:

...я же видел не раз, как стебель какого-нибудь на вид слабого сорнякового растения вспучивал асфальт, пробивал, проламывал его и выходил наружу, на свет божий, на солнце. Я же видел целые деревья, выросшие на старых церковных колокольнях, обрушив штукатурку и сделав трещины в обнажившейся старинной кирпичной кладке...

В то время я уже знал, что эта сила создается вследствие превращения света в механическую энергию и это непостижимое моему еще слабому разуму превращение называется фотосинтез.

Фотосинтез! — как будто бы это могло что-нибудь объяснить.

И пока на кухне все ярче и все гуще зеленела пасхальная горка, пока тетя поливала на балконе из небольшой поливальницы рассаду душистого табака и петунии, высаженную в плоский сосновый ящик, я не спускал глаз с моей глиняной плошки, где, как на маленьком круглом кладбище, в сырой веркмейстерской земле были похоронены мои все еще мертвые бобы.

Почти на моих глазах совершалось чудо их воскрешения. Солнечный весенний свет, превращенный в механическую энергию, вдруг повернул мои бобы, поставил их на

ребро, поднял над землей, они раскололись на две дольки, раскрылись, как гробы, затем каждая мясистая долька еще раз повернулась и стала сочно-зеленой, превратившись в листик, и эти два парных листика поднялись на одной зеленой ножке, как бы сделавшись маленьким распятием, а моя плошка представилась мне земляной Голгофой, где одновременно произошло чудо смерти, воскрешения и вознесения вверх. Крученый стебель растения все с новыми и новыми парными листьями, а потом с красными сережками бутонов бобовых цветов полз, вился вверх по натянутой бечевке...

...а весеннее солнце так раскалило толстый деревянный подоконник, что он покрылся пузырями масляной краски...

Небольшой черный пудель.

Все было прекрасно в то воскресное утро, все радовало меня, даже то, что мы вышли черным ходом, через двор, который мне очень нравился тем, что там зеленела травка возле каменного забора, отделявшего от нас какие-то загадочные закоулки нашего квартала, какие-то «зады», где всегда находилась поленница дубовых дров, а рядом стоял флигелек, где жил один довольно большой мальчик, Витя Ильин, старше меня года на три, уже умевший превосходно рисовать карандашом на толстой, крупнозернистой рисовальной бумаге броненосцы, крейсера и миноносцы русского военного флота со стремительно выставленными вперед наподобие кончиков ножей носами, андреевскими флагами над башнями и названиями, написанными славянскими буквами:

...«Ретвизан», «Орел», «Стремительный», «Аврора»...

Витя Ильин обещал научить меня тушевать рисунок специальной бумажной растушевкой и стирать резинкой «слон», а также надувать на липке пузырек воздуха, который с треском лопался, если его раздавить... Я надеялся, что встречу Витю во дворе, но он сидел дома под окном за столом и, низко наклонясь стриженой головой над листом рисовальной бумаги, что-то делал — вероятно, тушевал броненосец или снимал липкой лишние тени волны, разрезаемой, как плугом, острым носом военного корабля.

Впрочем, это не слишком меня огорчило, так как день

был ярок, прекрасен, а впереди предстояла поездка с папой на конке в Аркадию, и я уже предвкушал, как будет визжать на крутых прибрежных поворотах тормоз и как морские волны будут вкрадчиво подбираться к нашим ботинкам — папиным и моим. Может быть, думал я, мы с папой даже выпьем в будке в Аркадии зельтерскую воду с красным или желтым сиропом, чудную шипучую воду, которая будет шибать в нос и щипать язык.

Для того чтобы выйти на нашу Базарную улицу, следовало пройти под каменными сводами, в конце которых как бы в подзорную трубу виднелась резная арка ворот, а за нею до рези в глазах яркая и по-воскресному пустынная улица — центр моего тогдашнего мира.

Мне было года три, и я шел рядом с папой, не держа его за руку и даже отваживаясь иногда опередить его, чувствуя себя при этом как-то особенно молодцевато — самостоятельным, независимым и от этого еще более счастливым.

Опередив папу, я выбежал из ворот и в сияющей перспективе Базарной улицы заметил фигуру приближающегося человека. Еще никогда в жизни я не видел такого красивого господина — щеголя в летнем люфовом шлеме с двумя козырьками (один спереди, другой сзади), так называемый «здравствуй — прощай», что уже это одно само по себе привело меня в восхищение, так как я впервые в жизни увидел такой красивый оригинальный головной убор. На господине была надета черная крылатка морского покроя, застегнутая на груди цепочкой с двумя пряжками в виде львиных голов. В руках у господина была бамбуковая тросточка, что в соединении с его острой черной бородкой, такими же острыми черными усиками и наимоднейшим черепаховым пенсне на шелковой ленте, заложенной за ухо, до глубины души потрясло меня своей красотой, и я тут же мысленно пожелал, когда вырасту, сделаться таким же красавцем.

Эх, да что говорить!

...Даже мой дорогой, любимый, родненький папа, которого я до этой минуты считал самым красивым человеком на свете, вдруг показался мне слишком будничным и — прости мне, боже! — бедноватым человеком...

Рядом с красивым господином бежал его сравнительно небольшой черный пудель, быть может еще более красивый, чем его господин. Он был подстрижен по тогдашней

моде под льва — с гривой, голой тонкой талией, с помпончиками на ногах и на кончике хвоста, с пушистыми усами и шелковым бантом на шее. Этот пудель, казалось, сбежал со страницы детской книжки, и я остановился как вкопанный перед этим чудом природы, чудом парикмахерского искусства.

— Цюцик, цюцик,— нежно заворковал я.

И вдруг этот пудель ринулся ко мне и положил свои передние лапы с помпонами на мои плечи, разинув глубокую пасть с ярко-красным, как бы движущимся языком и злыми, острыми зубками, и я увидел совсем близко перед своим лицом два черных, как бы стеклянных глаза.

Я оцепенел.

Пудель побарабанил по моим плечам стриженными лапами и громко залаял прямо мне в лицо. Ужас пронзил все мое существо, и я закричал на всю Базарную улицу голосом, оглушившим меня самого и почти разорвавшим мои голосовые связки.

Чудесный воскресный день померк. Я бросился к папе и, продолжая безостановочно орать и визжать, обнял дрожащими ручонками его колени, и хотя пудель был уже далеко, в конце улицы, я продолжал, все продолжал, не останавливаясь, изо всей мочи орать, визжать и снова орать и орал до тех пор, пока совсем не осип, потерял голос и был отнесен на руках домой, к маме.

...вот уже с тех пор прошло семьдесят, а то и больше лет, а моя гортань до сих пор как бы чувствует последствия этого крика: мое горло часто простужается, гортань краснеет, голосовые связки сипнут, и тогда я вижу ясно перед собой, как в подзорную трубу, туннель сводчатых ворот, за которыми по сияющей пустынной Базарной улице конца девятнадцатого начала двадцатого века идет франт в черной разлетайке и рядом с ним бежит, мелко перебирая стриженными ножками, черный пудель, подстриженный под льва, с разинутой адски красной пастью и злыми стеклянными глазами...

Извозчик.

Лошади еще пугались локомотивов, паровых трамбовок и первых автомобилей. Они бесились, разбивали дрожки, убивали седоков, ранили прохожих...

Сбесившаяся лошадь на улице города — это было ужасно...

Сначала я услышал знакомый тоненький свисток трамбовки, которая, по-видимому, уже дошла до перекрестка Базарной улицы и бульвара, и с шумом и стуком накатывала свое переднее широкое и длинное, как отрезок трубы, колесо на щебенку, уже насыпанную ровным слоем во всю ширину нового шоссе.

Вместе со стуком и пыхтением машины я уловил еще какие-то тревожные звуки: режущее ухо визгливое ржание лошади, крики бегущих людей, дробный стук извозчичьих дрожек, заехавших на тротуар, срывающееся цоканье задних подков вставшей на дыбы обезумевшей лошади.

Вслед за побледневшей как полотно мамой в развевающейся юбке и кухаркой с безумными глазами я побежал на наш балкон с жестяным полом, низко повисший над улицей, где происходило что-то ужасное.

Бежал, придерживая шашку, городовой. Два дворника в белых фартуках, с номерными бляхами на груди ловили взбесившуюся лошадь.

Я был такой маленький, что не мог смотреть на улицу поверх перил. Стоя между мамой и кухаркой, разводя в стороны их юбки, я заглянул вниз через красиво выгнутые прутья балконной решетки, и то, что я увидел, на всю жизнь оледенило мою душу:

...взбесившаяся лошадь с безумными скошенными глазами неслась вскачь по улице, волоча за собой дрожки со сломанным колесом, а за дрожками по мостовой волочила свалившегося с козел и запутавшегося в синих вожжах извозчика — мужика в армяке, с разбитым лицом, сломанными зубами, окровавленной рыжей бородой, оставлявшей на камнях мостовой красную полосу, словно намазанную широкой малярной кистью. Кровь отчетливо, как масляная краска, блестела на ярком солнце, и по спеленатому вожжами телу извозчика бежали кружевные тени акаций, а глаза извозчика были открыты, но уже неподвижны и отсвечивали стеклянным глянцем...

...Так впервые в жизни я увидел человека, умершего неестественной смертью. Я до сих пор вижу этого спеленатого вожжами мертвеца в синем ватном армяке, волочащегося по мостовой мимо нашего балкона, мимо сосед-

них домов, мимо угольного склада, возле которого на улице стояли мешки с древесным самоварным углем. У этих мешков верх был сетчатый, чтобы покупатель мог видеть уголь, который он покупает.

Мертвый извозчик вспомнился мне в 1917 году на румынском фронте, когда мы переходили лесную лощину в предгорьях Карпат, на рассвете, а бой уже начался. Было сыро, прохладно, по всей передовой линии уже гремело на десятки верст, за гребнями невысоких гор вспыхивали зарницы неприятельской артиллерии, над линией фронта по воздуху туда и назад низко летали немецкие и наши самолеты — бомбардировщики и наблюдатели-корректировщики. Мы торопились поскорее занять исходную позицию и шли, спотыкаясь о корни деревьев, продираясь сквозь кустарники, и вдруг увидали странную группу неподвижных солдат, сидевших и лежавших вокруг свежей ямы, вырытой снарядом. По-видимому, они шли так же, как и мы, по лощине и немецкий снаряд попал в самую их середину.

...они так и остались на месте, застыв в естественных, а некоторые в неестественных положениях, как восковые куклы, одетые в шинели, спокойные, мирные, и только клочья пробитых шинелей и темные пятна говорили, что здесь произошла мгновенная трагедия...

В особенности запомнился мне один пожилой солдат в новой шинели — может быть, ополченец,— с головой, превращенной в красное месиво, и остатками рыжей бороды, густо окрашенной, как красной краской. Рядом с ним по-хозяйски лежал его хорошо уложенный вещевой мешок, продранный осколками. И в ту же секунду перед моими глазами возникла картина далекого детства, Базарной улицы, во всю длину освещенной щедрым солнцем, и спеленатая вожжами кукла рыжебородого извозчика, которую волокла мимо нас взбесившаяся лошадь, кося во все стороны своими безумными, как бы нарисованными глазами, среди криков погони, общего ужаса, свистков городовых и отдаленного шума работающей паровой трамбовки.

Ядро в цоколе Дюка.

К числу главных достопримечательностей города принадлежало чугунное ядро, вделанное в угол цоколя памятника дюку де Ришелье на Николаевском бульваре против знаменитой одесской лестницы, ведущей из города в порт.

Герцог де Ришелье был представлен на памятнике в строго классическом виде: короткая античная туника, голые ноги в сандалиях, руки с свитком протянуты в сторону моря, по направлению к Константинополю и его проливам, что имело скрытое политическое значение.

Памятник этот сокращенно называется памятник Дюку и даже еще лаконичнее: просто — Дюк.

...«мы вчера встретили его возле Дюка»...

...Ядро, вделанное в цоколь Дюка, имело свою историю,

Во время Севастопольской кампании английский флот решил высадить в Одессе как в ближайшем к осажденному Севастополю порту десант, но нападение англичан было отбито, стопушечный английский фрегат «Тигр» потоплен русской полевой артиллерией против Малого Фонтана, а снятая с него в виде трофея чугунная пушка была поставлена на деревянном лафете на вечные времена как памятник русской славы на том же Николаевском бульваре против изящного здания городской думы работы архитектора Боффо.

Таким образом, гуляя иногда с покойной мамой на Николаевском бульваре под громадными пятнистыми платанами между пушкой и Дюком, проходя мимо бюста Пушкина, я узнал, что наш город, на вид такой разноязычный, мирный и беспечный, некогда переживал бурные дни и над его черепичными крышами летали неприятельские бомбы.

Смутно помню рассказ бабушки — маминой мамы,— слышанный ею, в свою очередь, от ее мамы, то есть моей прабабушки, историю артиллерийского прапорщика Щеголева, отбившего английский десант и потопившего «Тигра».

Дело заключалось в том, что на английском фрегате «Тигр» были дальнобойные морские пушки, а у нас на берегу всего лишь небольшие сухопутные полевые орудия,

так что англичане доставали до нас, а мы до англичан не могли достать. Прапорщик Щеголев предложил смелый план: поставить наши полевые пушечки на плавучие плашкоуты — плоты,— вывести их в море поближе к английскому фрегату на расстояние выстрела и, открыв беглый огонь, потопить его. Прапорщику Щеголеву разрешили для этой цели набрать добровольцев, и он набрал команду отчаянных смельчаков из жителей одесских окраин — Пересыпи, Молдаванки, Дальника. Все это были молодые ремесленники, рабочие, портовые грузчики, наконец, просто одесские босяки — люди отчаянной храбрости и большие русские патриоты. Прапорщик Щеголев с их помощью сколотил плашкоуты, поставил на них свои легкие пушки и ночью вывел в море против Малого Фонтана, сократив расстояние между ними и английским фрегатом до дистанции пушечного выстрела. Едва взошло солнце, начался бой, и прапорщик Щеголев, опередив англичан, несколькими удачными залпами потопил вдесятеро сильнейший фрегат, и английские паровые транспорты, крейсировавшие на горизонте, принуждены были убраться подобру-поздорову. Одесса была спасена.

Бабушка со слов своей мамы рассказывала, что прапорщик Щеголев сразу стал национальным героем и государь повелел произвести его в капитаны.

Но каким образом можно было произвести прапорщика прямо в капитаны? Воинский устав этого не предусматривал. Тогда нашли следующий выход. Весь гарнизон был выстроен на Куликовом поле; командующий военным округом вызвал из рядов прапорщика Щеголева и, вручив ему пакет с приказом и новые погоны, произвел его в подпоручики. Затем, после того как подпоручик Щеголев вернулся в строй, его опять вызвали и произвели таким же образом в поручики, а через короткое время опять вызвали и произвели в штабс-капитаны, а потом и в капитаны. Причем знамена войск были развернуты и гремела военная музыка. Затем войска прошли перед капитаном Щеголевым церемониальным маршем.

Доходя до этого места, бабушка вытирала платочком слезы восторга, и я тоже начинал плакать от гордости за русскую армию и мечтал стать когда-нибудь таким же прапорщиком артиллерии, как Щеголев.

...Прапорщиком-то я стал, но дальше подпоручика не пошел...

...В детстве я обходил вокруг Дюка, с изумлением разглядывая небольшое чугунное ядро, вделанное в цоколь. Я, конечно, понимал, что ядро не само собой застряло в памятнике Дюку: сначала оно отбило угловой кусок гранита из цоколя, а уже потом, может быть через несколько лет после севастопольской войны, его навечно вделали в гранит, с тем, чтобы оно напоминало гражданам города о его героическом прошлом.

Больше всего меня тревожил вопрос: куда девался осколок гранита, отбитый бомбой? Бомба нашлась, а где осколок гранита? Он должен быть где-то здесь, поблизости. Я был уверен, что найду его среди крупного, отборного морского гравия, которым щедро посыпали дорожки Николаевского бульвара и в особенности площадку вокруг Дюка.

Маленький мальчик — я — ходил по скрипучему гравию, не отрывая глаз от гладких морских камешков, каждый миг надеясь увидеть среди них осколок гранита. Мальчик так ясно представлял себе, какой должен быть осколок: удлиненный, с острыми краями, кинжаловидный, розоватый. Мне казалось невероятным, чтобы осколок исчез. Наверное, он где-то тут, поблизости, может быть совсем рядом. Временами мне даже казалось, что я его вижу. Вот он, вот он! Я наклонялся, протягивал руку, но в тот же миг осколок исчезал, а у меня в руке оказывалась горсть гравия.

Я снова и снова продолжал поиски, бегая по дорожкам бульвара в тени вековых платанов, видевших живых Пушкина и Гоголя, среди цветников с винно-красными каннами.

Иногда в поисках осколка я добегал до чугунного бюста кудрявого Пушкина и любовался чугунными щекастыми дельфинами, украшавшими его цоколь; из круглых ртов дельфинов в чугунные раковины дугообразно лились перекрученные струи воды.

Но и здесь не было осколка.

...все это напоминало какой-то живописный сон, где не хватало какой-то самой главной, самой яркой краски или даже какого-то знакомого, но навсегда исчезнувшего из памяти слова, без которого все вокруг, не теряя своей красоты, теряло смысл, лишалось значения...

Мой детский ум никак не мог примириться с мыслью, что бомба попала в цоколь Дюка очень давно, когда ни

меня, ни даже моей мамы еще не было на свете, и осколок давно уже исчез с бульвара. Я не мог смириться с властью времени над жизнью. Впрочем, тогда я даже вряд ли представлял себе, что время существует, и не бился над разрешением вопроса: память уничтожает время или время уничтожает память?

Самое удивительное заключалось в том, что каждый раз, проходя мимо Дюка, я искал глазами осколок. Даже сравнительно недавно, уже будучи стариком и приехав в родной город, я пошел на бульвар и поймал себя на том, что, гуляя вокруг Дюка, искал глазами на земле осколок, и мне казалось, что вот-вот сию минуту я его наконец найду.

...а сколько за эти годы пролетело надо мной и над моим городом бомб, снарядов, ракет, осколков?..

Микроскоп.

В конце концов и его постигла та же участь, что и многие другие ценные вещи, купленные мне папой по моим настойчивым просьбам.

Обычно мое увлечение быстро проходило, я охладевал к дорогому подарку, и дело кончалось тем, что я тайно продавал надоевшую мне вещь за четверть цены. Разумеется, не без чувства некоторого угрызения совести.

Не избежал этой участи и микроскоп, который сначала казался мне чудом оптики, а потом надоел еще быстрее, чем мандолина.

Папа купил мне микроскоп с педагогической целью расширить мое представление об окружающем нас мире.

Микроскоп стоил, по папиным средствам, дороговато — рублей пять, и увеличивал предметы примерно в сто раз. Микроскоп помещался в деревянном лакированном ящичке, запирающемся на два латунных крючка; один вид этого строгого ящичка как бы говорил о причастности находящегося в нем оптического прибора к науке. В течение часа я раз двадцать вынимал микроскоп и любовался его блестящей медной поверхностью, его рабочими винтами, окуляром, а главным образом маленьким круглым зеркальцем, которое так легко и мягко поворачивалось на своей оси, бросая снизу пучок отраженного света на лоток,

где помещались две стеклянные пластинки, между которыми клался исследуемый предмет.

Прежде всего, конечно, я поймал муху, для того чтобы исследовать под микроскопом ее крыло и лапку. Они оказались под микроскопом громадными, грубосетчатыми, мохнатыми, как бы окаймленными радугой и занимали все круглое поле зрения, освещенное пучком лучей, брошенных зеркальцем.

Я ожидал большего!

Я ожидал волшебства, а увидел лишь безобразно увеличенные маленькие изящные предметы. Не больше. Никакого волшебства не было. В конце концов, не все ли равно, какого размера был мушиный глаз? Пусть хоть величиной с раздутый воздушный шар, заключенный в сетчатую оболочку.

Затем я исследовал под микроскопом тончайший шелковисто-золотой волосок, незаметно вырванный мною из локона Нади Заря-Заряницкой. Надя даже не заметила, как я совершил эту кражу.

Я принес Надин волосок домой и положил его между двух узких стеклышек, озарив их волшебным зеркальцем, так легко повернувшимся на своей оси. Я прильнул глазом к окуляру, надеясь увидеть нечто сказочное. Сначала в ярком кружке света все было мутно, размыто. Тогда я подкрутил окуляр по глазам, и вдруг с необычайной резкостью передо мной показалось какое-то золотистое бревно, грубый ствол какого-то растения вроде бамбука с белой луковицей на конце.

...Так это и есть волос Нади Заря-Заряницкой, так бережно принесенный мною в гимназическом билете?..

Неужели же Надины прелестные голубые — почти аквамариновые — глаза, ее рыжеватые ресницы, ее золотистые веснушечки превратились бы под микроскопом в грубые, неестественно громадные, некрасивые предметы величиной со слона?

Кому это нужно?

Я разочаровался в своем микроскопе. Он не открыл мне тайны вещества, материи, на что я так надеялся. Оказалось, что стократное увеличение ничего не дает.

А вот у одного знакомого богатого гимназиста — узнал я — есть микроскоп, увеличивающий в пятьсот раз. Я ви-

дел этот микроскоп, по сравнению с которым мой выглядел нищенски-жалким.

У микроскопа богатого мальчика был особый осветительный прибор — хрустальный гладкий шар, наполненный чистейшей водой. Через этот шар пропускался свет электрической лампочки с зеркальным рефлектором, и луч страшной силы падал на стекло с препаратом.

Богатый мальчик показал мне кровообращение головастика. Я заглянул в окуляр и увидел часть какого-то полупрозрачного тела, пронзенного электрическим лучом из хрустального шара; в нем пунктирно двигались пульсирующие частицы — как мне объяснил богатый мальчик, кровяные шарики, или белковые тельца, или что-то в этом роде.

Вот это был микроскоп так микроскоп!

...с этого дня мой дешевый микроскоп, поставленный на стол рядом с глобусом и кинематографическим проекционным аппаратом, играл лишь бутафорскую роль некоего научного прибора. Это было тогда, когда в меня вселялась душа великого Менделеева и я производил свои ужасные химические опыты...

Потом мой микроскоп постигла печальная судьба мандолины.

Алмазная корона.

Достать проволоку было просто: мотки проволоки всегда лежали в подвале дома для нужд иллюминации в царские дни. Проволоку протягивали перед домом между стволами акаций и вешали на нее шестигранные фонарики с разноцветными стеклами. В середине фонарика зажигалась елочная свечка, и на тротуаре под каждым фонарем качалась многоцветная звезда. Там же, в подвале, рядом со связками фонариков в углу стояли трехцветные флаги, вывешиваемые над воротами в торжественных случаях.

Отрезав кусачками немного мягкой железной проволоки, я принес ее домой и при помощи плоскогубцев сделал из нее нечто вроде небольшой короны, более, впрочем, похожей на корзиночку, чем на корону. Но это не имело существенного значения, так как это была еще не корона, а лишь ее остов.

Затем я приступил к приготовлению насыщенного соляного раствора, дела совсем не трудного: в чайный стакан с теплой водой надо было понемножку подсыпать поваренной соли, принесенной из кухни в деревянной банке, и делать это до тех пор, пока соль не перестанет растворяться. Как только соль перестанет растворяться — стало быть, стоп: вода превратилась в насыщенный раствор.

После этого я привязал нитку к верхушке короны и осторожно погрузил ее в стакан с насыщенным раствором так, чтобы она висела, не касаясь дна. А нитку я привязал к карандашу, положенному сверху на стакан, как и полагалось по всем правилам проведения этого увлекательного физического опыта.

Стакан с насыщенным раствором поваренной соли и висящей в нем коронкой следовало как можно осторожнее поставить в какое-нибудь тихое, спокойное местечко и ждать.

Набраться терпения и ждать.

Недели через две-три, а то и через месяц вода насыщенного раствора настолько испарится, что избыточная соль в виде красивых кристаллов осядет на проволоке и остов проволочной коронки вдруг — в один какой-то неуловимый миг — превратится как бы в алмазную коронку.

...теоретически все это было очень просто — количество переходило в качество,— но на практике...

На практике этот опыт представлял известные трудности. Главная трудность заключалась в терпении. Требовалось громадное терпение, чтобы не потревожить раньше времени стакан с насыщенным раствором.

Таинство кристаллизации должно было совершаться в полной неподвижности и тишине.

С величайшей осторожностью я влез на стул, поставил стакан с остовом коронки на шкаф и придвинул его к стене. Это место, по моему мнению, было самое тихое во всей нашей квартире. Здесь стакан должен был стоять в полной неподвижности, пока превращение не совершится.

Мне стоило огромных усилий воли не становиться по нескольку раз в день на стул, для того чтобы посмотреть на стакан, таинственно блестевший среди пыли, покрывавшей верхнюю доску шкафа. Я предупредил кухарку, чтобы она ни в коем случае не вытирала пыль со шкафа,

что она с удовольствием исполнила. Я потребовал от всех домашних, чтобы они открывали шкаф с большой осторожностью и ходили мимо него на цыпочках.

Я обещал им чудо кристаллизации.

Самое удивительное, что я нашел в себе силу воли не испортить дело излишней торопливостью. Правда, несколько раз я становился ногами на кровать и оттуда, издали, смотрел на стакан, желая убедиться, что уровень насыщенного раствора понизился. Он действительно постепенно понижался: жидкость явно испарялась, оставляя на стенке стакана мутные круги истекшего времени. Но до стакана я ни разу не дотронулся, сам удивляясь твердости и упорству своего характера.

И судьба вознаградила меня.

В один прекрасный день я влез на стул, заглянул на шкаф и увидел, что кристаллизация совершилась.

В глубине души я сомневался, что опыт может удасться. Сначала я даже не поверил своим глазам, потому что вместо проволочного остова передо мной блестела сказочная корона, как бы унизанная кристаллами горного хрусталя. Она была похожа на беседку в зимнем саду, сверкающую в лучах январского солнца граненными нитями гололедицы. Это впечатление усиливала погода, стоявшая на дворе: морозная, солнечная, безоблачная, со страусовыми перьями оснеженных деревьев перед флигельком старушки Языковой, у которой недавно умер от чахотки внук, молодой человек с тонким большим носом и крупными, выставленными вперед зубами, белеющими под жиденькими усиками. Тогда в замерзших окнах светились разноцветные лампадки и погребальные свечи, и я с ужасом переступил порог тесной гостиной старушки Языковой, наполненной клубами ладана, и увидел серебряный гроб и парафиновое лицо покойника...

Сразу же мне повезло: по дороге в гимназию мне удалось похвастаться соляной коронкой, показав ее сначала Надьке Заря-Заряницкой, которая шла в гимназию в нарядной шубке, с ранцем за спиной, а потом Жорке Мельникову, что, по моему мнению, очень меня возвысило в их глазах.

В гимназии, насквозь пронизанной ледяным ярким солнцем, моя коронка тоже произвела большое впечатление, несмотря на то, что многие мальчики уже сделали

себе подобные коронки, но, по-моему, их коронки были гораздо хуже моей.

Я понес свою коронку в учительскую, показал ее Акацапову, и он одобрил коронку, выразившись примерно так:

— Мы с Круевичем сувместно считаем, что твой опыт с насыщенным соляным раствором уполне удался. Молодец, старайся!

...это был один из самых счастливых дней моей жизни, и я весь светился торжеством и радостью, как созданная мною коронка, попадая в луч солнца, сверкала, как бриллиантовая...

Единственное, что несколько испортило мое настроение, это коронка, которую принес в класс один богатый изобретательный мальчик: его коронка была примерно такая же, как моя, но она была покрыта не белыми, а ярко-синими кристаллами, что придавало ей вид сделанной из чистейших сапфиров. Оказывается, мальчик растворил в воде не поваренную соль, а медный купорос, почему его коронка и получилась такой сверкающе-синей, вызвав общее восхищение.

Сапфировую коронку даже выставили в физическом кабинете для обозрения, а ее создателю Бурис поставил пятерку.

Я чуть не плакал от обиды и решил во что бы то ни стало сделать коронку еще более сверкающую и синюю, но не смог этого сделать потому, что, во-первых, у меня не было денег на покупку медного купороса, а во-вторых, я не знал, где он продается.

Но все же — согласитесь! — моя коронка была тоже ничего себе.

Каждый раз, когда я читаю «Бориса Годунова» и дохожу до того места, где Марина говорит своей горничной: «Алмазный мой венец» — я вижу черный шкаф и на нем стакан с насыщенным раствором поваренной соли, а в этом растворе блестит уже совсем готовая коронка...

...И траурно оснеженные деревья перед домиком старушки Языковой, где сквозь замерзшие окошки видны огоньки лампадок и погребальных свечей.

Трамбовка.

Паровая трамбовка — зеленая, окутанная паром,— которая ездила туда и назад, трамбуя Французский бульвар уже дальше юнкерского училища, дальше Пироговской улицы, где-то между дачей Вальтука и ботаническим садом, привлекала мальчиков не только зрелищем своего механического движения, своей шумной работы, своей могучей силы, заставлявшей содрогаться стекла в домах и беситься лошадей, но также и потому, что в тех загородных районах, где она трамбовала шоссе, всегда недалеко от нее были насыпаны пирамидальные кучи щебенки — материала, из которого делалось шоссе.

Эту щебенку привозили издалека — с Урала, с Кавказа, из Донецкого бассейна, из Сибири,— и она представляла собой выработанную пустую породу из разных рудников и шахт.

На первый взгляд кучи щебенки казались однообразно-серыми, скучными, как всякий битый камень. Но в яркие осенние дни, присмотревшись своими зоркими пытливыми глазами, я однажды обнаружил, что каждый камень щебенки имеет свой особый, неповторимый цвет, свою особую структуру.

Иные из них горели яркой киноварью, иные отливали ляпис-лазурью, другие зеленели медянкой, и всюду между ними блестели грани разноцветных гранитов со вкрапленными в них слюдяными блестками и ярко-синими или темно-красным точками.

...под свист пара и тяжелый чугунный гул махового колеса — вернее, диска — трамбовки я копался в кучах щебня, открывая для себя все новые и новые красоты минералов, предназначенных для покрытия Большефонтанного шоссе...

Эти камни казались мне драгоценными, в особенности небольшие тяжелые металлически-желтые куски, так ярко блестевшие в лучах сухого сентябрьского солнца, что я всерьез принимал их за самородки золота.

Здесь были также самородки чистого серебра. Хотя такового в природе, кажется, не существует. Но я распоряжался законами природы по своему усмотрению.

Я набивал кусками щебенки ранец и карманы своих черных суконных гимназических брюк, а потом, пристро-

ившись на выгоревшей траве ботанического, давно уже запущенного сада, под кустом жимолости или дикого орешника с поджаренными осенним солнцем, но еще зелеными листьями, кое-где стянутыми шелковинками паутины, рассматривал свои богатства, будучи совершенно уверен в том, что я держу в руках самородное золото, серебро, горный хрусталь, яшму, сердолики, яхонты, сапфиры...

Как чудесно было сидеть под жарким сентябрьским черноморским солнцем в своем зимнем гимназическом костюме, пропотевшем под мышками и под воротом, чувствовать накаленную солнцем кожу пояса, горячую мельхиоровую его пряжку, то и дело вытирать вспотевший под козырьком фуражки лоб, с которого еще не сошел летний загар, и перебирать — перекладывать с места на место — угловатые куски минералов, любуясь их драгоценным, металлическим и золотисто-слюдяным блеском.

В общем-то, я, конечно, понимал, что это вовсе не драгоценные камни, а пустая порода, выработка, годная лишь для того, чтобы мостить шоссейные дороги, а настоящие драгоценные камни — золото, серебро, алмазы — остались там, в далеких краях невообразимо огромной и богатой Российской империи, в руках добытчиков, золотоискателей и миллионеров — промышленников, горнозаводчиков...

...Но кто его знает? — быть может, в кучах щебенки остались невыработанные драгоценности. Бывают же на свете чудеса!..

Я, например, был почти уверен, что мне повезло и один из камней есть не что иное, как самородок золота: так жарко, драгоценно блестел он на солнце.

Кажется, попался мне также и небольшой кусочек густо-синего сапфира, вкрапленного в малиновый зернистый гранит, а что касается крупного прозрачного кристалла, то я не сомневался, что это горный хрусталь.

В конце концов я уверовал, что мне повезло, и чувствовал себя счастливцем, которому привалило богатство.

У меня был заветный гривенник, накопленный из денег, которые давали мне на покупку свечки, отправляя меня каждое воскресенье в церковь. На радостях по дороге домой я купил в бакалейной лавочке полфунта самой дешевой серой халвы, сделанной на желтом кунжутном масле, и наелся ею до тошноты, так что на некоторое время потерял всякий интерес к своим камням.

Но вечером, когда папа вернулся с заседания педагогического совета, камни снова заманчиво засветились при

свете керосиновой лампы. Я вывалил перед папой на письменный стол, окруженный с трех сторон деревянными перильцами-балясинками, на его слегка траченное молью зеленое сукно со старыми чернильными пятнами свои камни и стал допытываться, драгоценны ли они или нет.

Папа надел пенсне и стал рассматривать мою щебенку.

Он брал камни один за другим и подносил их к стеклам пенсне, а затем откладывал в сторону, педантично произнося:

— Гранит. Диолит. Базальт. Полевой шпат. Кварц. Опять полевой шпат. Боксит. Еще полевой шпат. Сланец. Сурмяный блеск. Цинковая обманка.

...Я слушал эти названия, все еще надеясь, что они обозначают нечто драгоценное...

Но у папы было такое равнодушное выражение лица, что надежды мои на обогащение таяли с каждой минутой.

— А это разве не самородок золота? — спросил я, когда очередь дошла до сверкающего при свете настольной лампы под зеленым абажуром желтого минерала.

Папа усмехнулся.

— Должен тебя огорчить,— сказал он,— это обыкновенный медный колчедан.

— А почему же он блестит, как самородок чистого золота?

— Потому-то и блестит, что не золото,— ответил папа,— настоящее самородное золото тусклого, матового оттенка и мало похоже на то золото, которое мы привыкли видеть в витринах ювелирных магазинов. Кроме того, если бы это было настоящее золото, то оно было бы неизмеримо тяжелее. А это обыкновенный медный колчедан. Словом, как говорит мудрая русская пословица, не все то золото, что блестит,— назидательно закончил по своему обыкновению папа и улыбнулся педагогической улыбкой.

Остался последний шанс: горный хрусталь.

Я показал папе крупный друз прозрачного минерала, в гранях которого отражался вечер в нашей квартире с папиной зеленой лампой.

— А это, скажешь, не горный хрусталь? — спросил я с надеждой.

— Должен тебя разочаровать,— ответил папа, едва удостоив взглядом минерал в моей руке.— Это отнюдь не

горный хрусталь, а самый обыкновенный кварц, повсеместно распространенная горная порода.

Я был подавлен. Мои сокровища на глазах превратились в кучу камней, не имевших никакой ценности. Они вдруг потускнели, потеряли силу своих металлических оттенков, сделались неуклюжими, серыми, как та дешевая халва на вонючем кунжутном масле, отвратительный вкус которой я все время ощущал на языке и на гортани.

...ну что ж: рухнула еще одна иллюзия. Значит, такова жизнь...

Я молча забрал с папиного стола камни, отнес их в кухню и бросил в мусорное ведро, причем они как-то скучно, глухо, вульгарно застучали. Когда же я вернулся в нашу общую комнату — спальню и кабинет,— папа, согнув спину в домашнем люстриновом пиджаке, уже исправлял красно-синим карандашом ученические тетрадки, беря их одну за другой из стопки.

Горела лампа под прозрачным зеленым абажуром, освещая папин письменный стол, называвшийся у нас почему-то конторкой. На этой конторке всегда находился письменный малахитовый прибор: доска с желобком, на которой стояли две стеклянные кубические чернильницы, два медных подсвечника с медными ручками на малахитовых подставках, медный нож для разрезания книг с малахитовым черенком, медная чашечка на малахитовой подставке для кнопок и марок, медный прибор на малахитовой же подставке, куда затыкалась между двух пластинок коробка спичек, и малахитовое пресс-папье. Была еще малахитовая ручка, но она давно уже сломалась. Это было наследство, доставшееся папе от его папы. Я слышал историю этого старинного малахитового прибора, в свою очередь полученного моим вятским дедушкой от своего отца, моего прадедушки.

Малахитовый прибор был куплен в Екатеринбурге, на Урале, где добывалось много малахита. В свое время прибор этот был очень красив и ярок, но с течением времени потускнел, и местами камень отбился, а медные части подсвечников, закапанных стеарином, позеленели.

Он не имел вида.

Но иногда, под большие праздники, папа его собственноручно чистил и мыл, и после этого он вдруг преображался: нарядно блестела медь, а малахитовые доски и под-

ставки светились такой яркой прозрачной зеленью в прожилках и зигзагах, как зеленые черноморские волны, написанные Айвазовским.

И меня не удивляло, что эта фамильная вещь считалась почти драгоценной.

...Прыжок смерти.

Из непомерно больших афиш, расклеенных по городу, стало известно, что ежедневно на циклодроме после нескольких мотоциклетных заездов с лидерами на длинную дистанцию состоится прыжок смерти неустрашимого Дацарилла, всемирно известного покорителя силы земного притяжения,—

...или нечто подобное...

Полгорода успело уже побывать на циклодроме и собственными глазами увидеть прыжок смерти, а у нас с Борькой не было денег на билеты, и нам удалось их раздобыть лишь перед прощальным выступлением и бенефисом Дацарилла, когда билеты стоили вдвое.

Было объявлено, что в этот день Дацарилл совершит свой прыжок смерти не в воду, а в огонь, то есть в пылающий керосин, налитый на поверхность воды.

— Не может быть,— сказал Боря, скептически сжав губы, между которыми блестели два больших передних зуба, делавших его лицо неумолимым, и надвинул на лоб фуражку,— тут явное мошенничество.

Он по обыкновению покрутил перед своим маленьким носиком длинными музыкальными пальцами, как бы давая понять, что предстоит какой-то жульнический шахермахер.

Боря был большой знаток и истолкователь конан-дойлевского Шерлока Холмса. У него был нюх на разного рода мошенничества и преступления.

— Будем следить в оба,— сказал я.

— Я уверен, что они бросят в огонь человекоподобную куклу,— заметил Боря.

— Вполне возможно,— согласился я.

Циклодром был переполнен. Только что кончился никому не интересный гандикап, и мотоциклист Ефимов, сделав круг почета на своем стреляющем «вандерере» и

навоняв бензиновым чадом на весь циклодром, скрылся в дверях сарая.

Посередине циклодрома на зеленом газоне возвышалась вбитая в землю мачта высотой по крайней мере с трехэтажный дом. На верхушке мачты была устроена небольшая дощатая площадка без перил, а по сторонам ее на ветру развевались два национальных флага, что придавало предстоящему зрелищу нечто торжественное.

Перед основанием мачты среди зеленой травы лужайки была выкопана небольшая квадратная яма глубиной не более сажени, наполненная водой, а рядом на холме черной сырой земли лежал бидон с керосином, а может быть даже с бензином.

На мачте снизу до самого верха были прибиты деревянные перекладины, что делало ее отчасти похожей на градусник с делениями. По этим перекладинам неустрашимый Дацарилл должен был подняться на верхушку мачты, на шаткую площадку, откуда ему предстояло броситься головой вниз в яму, наполненную водой с пылающим на ней керосином или бензином.

Администрация прыжка смерти разрешила публике подходить к столбу и к яме, с тем чтобы все желающие могли убедиться, что никакого жульничества нет.

Мне с Борисом тоже удалось пробиться сквозь толпу к яме. Мы потрогали руками столб, выбеленный еще не успевшим высохнуть мелом, измерить длину и ширину ямы с водой — оказалось, три на три шага,— а я, кроме того, работая локтями, добрался до бидона и убедился, что все правильно: бидон издавал запах керосина.

Мы с Борисом постояли, задрав головы вверх, возле столба, рассматривая маленькую дощатую площадку с флагами, которая, казалось, летала, падая на невероятной высоте среди несущихся ей навстречу румяных предвечерних облаков, особенно выпуклых и легких на фоне обморочно-яркого приморского неба.

Прыгать вниз головой с такой высоты в небольшую (а глядя сверху, совсем маленькую) ямку — это действительно было смертельно опасно: ничтожное отклонение от линии полета — и наверняка не попадешь в яму и убьешься, а если даже попадешь, не промахнешься, то можно сгореть в керосиновом пламени, а если не сгоришь в керосиновом пламени, то, не успев «сгруппироваться», риску-

ешь врезаться головой в дно ямы, предварительно поломав себе вытянутые вперед руки, а затем и шейные позвонки.

...Нам стало очевидно, что если все это не какое-нибудь жульничество, то рядом с нами незримо стояла смерть, готовая вырвать душу из распростертого на траве тела промахнувшегося Дацарилла...

Мы заняли свои стоячие места позади задних скамеек, переполненных более состоятельными, чем мы, зрителями, и как завороженные не могли отвести глаз от белого столба с площадкой наверху.

В сущности, весь этот прыжок смерти должен был длиться не более пяти минут, считая, что подъем на вершину столба займет от силы три минуты, приготовление к прыжку одну минуту, зажигание керосина — мгновение, и самый прыжок — несколько секунд.

Однако этот аттракцион совершался по всем правилам цирковых традиций, с намеренной замедленностью, до последней степени взвинчивающей нервы зрителей, с тем чтобы в конце концов вызвать взрыв восторга и бурную овацию.

Сначала духовой военный оркестр долго играл грустный вальс «Лесная сказка», и звуки медных инструментов, а также глухие мягкие удары турецкого барабана и медных тарелок улетали во все стороны, отражаясь вдалеке от белых красивых стен Третьей гимназии, от каменных нештукатуренных стен епархиального училища, от гранитной Александровской колонны, чья бронзовая верхушка виднелась над деревьями Александровского парка, как бы соперничая с верхушкой белого столба, откуда будет совершен прыжок смерти.

Публика с нетерпением ждала появления таинственного Дацарилла. А он все не появлялся и не появлялся, и неизвестно было, когда и откуда он появится.

Некоторые из публики считали, что он подъедет к цикл одрому на автомобиле вместе с красавицей женой, которая будет провожать его до самого рокового столба.

Другие утверждали, что он уже давно приехал и ждет выхода в раздевалке для гонщиков, играя в домино с администратором аттракциона.

Оркестр перестал играть, переиграв весь свой репертуар.

Наступила продолжительная тишина.

Мы с Борей вытянули вспотевшие под крахмальными воротничками шеи.

Дацарилл не появлялся.

Поползли слухи, что он заболел и прыжок смерти будет отменен, а публике возвратят деньги. Поднялся ропот. Народ вовсе не желал получать обратно деньги. Народ жаждал зрелища, которое могло кончиться трагически. Стыдно признаться, но мы с Борей в самой глубине наших помертвевших душ жаждали, чтобы Дацарилл промахнулся, и в нашем воображении уже стояла картина мертвого тела, распростертого на ярко-зеленой траве, возле ямы с пылающим керосином.

Пауза слишком затянулась, и администратор в котелке и с крашеными усами дал знак оркестру сыграть еще что-нибудь. Оркестр неохотно заиграл попурри из оперетки «Веселая вдова».

...Дацарилл не появлялся...

Возле кассы и раздевалки для гонщиков замечалась какая-то растерянная беготня. Несколько раз туда и обратно прошмыгнул главный администратор, он же хозяин всего предприятия,— немолодой еврей в шелковом кашне, из-под которого виднелся воротничок вспотевшей сорочки.

Снова наступила тишина — томительная пауза,— и оркестр заиграл в третий раз, теперь уже порядочно устаревший вальс «На сопках Маньчжурии», показавшийся довольно смешным в наступившем веке пара и электричества.

В публике началось волнение; послышались ядовитые замечания; кто-то грозил, что будет жаловаться в полицию; некоторые визгливыми голосами требовали деньги назад.

Оркестр начал играть в четвертый раз.

Публика заревела.

Главный администратор вышел на середину циклодрома и, приставив к крашеным усам жестяной рупор, дрожащим, но зычным голосом провозгласил, что прыжок состоится ровно через десять минут и что неустрашимый Дацарилл уже прибыл и готовится к выступлению. Публика успокоилась. Оркестр грянул марш тореадора из оперы «Кармен», и под его бодрые звуки на беговую дорожку

циклодрома выехал одноконный экипаж, почему-то называемый в нашем городе штейгер, и провез вокруг циклодрома мимо трибун Дацарилла, закутанного в черный плащ, в черной полумаске. Дацарилл, стоя в экипаже, приветствовал публику мужественным жестом римского гладиатора, в то время как его пожилая жена в шляпке, съехавшей на затылок, горько рыдала, держа Дацарилла за свободную руку, иногда прижимая ее к губам.

В экипаже ехали также маленькие дети Дацарилла: два мальчика — один в матроске, а другой в форме реального училища — и совсем маленькая девочка с двумя рыжими косичками, спускавшимися из-под кружевной шляпочки в форме горшка. Но на детей никто не обращал внимания.

Объехав под шум аплодисментов и восклицаний циклодром, Дацарилл не без труда вылез из штейгера, подошел к столбу и попробовал руками, крепко ли он держится.

...Затем началась драматическая сцена прощания Дацарилла с семьей, для описания которой у меня не хватает таланта. Могу только сказать, что сцена прощания была так неподдельно драматична, что многие из публики вытирали слезы, а дамы всхлипывали и отворачивались, несмотря на то, что все прекрасно понимали: вся эта мелодрама — не что иное, как так называемая на цирковом жаргоне «продажа номера»...

Наконец, измотав нервы чувствительной южной публике, Дацарилл стал медленно подниматься вверх по столбу, останавливаясь на каждой перекладине, чтобы перевести дух и бросить взгляд вниз, на врачебную комиссию от городской управы, которая должна была присутствовать при опасном номере.

Боря заметил, что из-под полумаски Дацарилла текут струйки пота и, доползая до усов, окрашиваются в чернильно-лиловый цвет.

Нет, совсем не таким представляли мы себе Дацарилла, изображенного на афише стройным, атлетически сложенным молодцом с мрачными бодлеровскими глазами.

Оркестр смолк, и музыканты стали выливать из своих инструментов слюни.

Наступила такая тишина, что стали слышны свистки паровиков и звуки грузовых лебедок, долетающие из порта.

Теперь Дацарилл, вскарабкавшись на самый верх, стоял на шатком помосте между двух национальных флагов, и ветер трепал его черный плащ. На фоне летящих облаков он казался тощим и маленьким, почти карликом. Некоторое время он нерешительно стоял, глядя вниз, где из бидона уже наливали керосин в яму с водой.

Одно время мне с Борей даже показалось, что Дацарилл чувствует головокружение и собирается спуститься вниз, на землю.

— Дрейфун,— презрительно процедил Боря сквозь зубы.

— Тогда деньги назад,— сказал я.

В это время Дацарилл решительно снял с себя плащ, бросил его вниз, и он плавно, как черный орел, раскинувший крылья, опустился на газон, ставший при этом как бы еще ярче, зеленее до рези в глазах.

Публика зашумела, послышались аплодисменты. Маленький Дацарилл стоял на помосте в черном, несколько великоватом для него трико с большим белым черепом с двумя скрещенными костями на впалой груди.

— Зажигайте керосин! — слабым голосом крикнул сверху вниз Дацарилл и прибавил, повернувшись в сторону духового оркестра: — Давайте дробь!

Над ямой вспыхнуло красно-черное пламя керосина, и одновременно с этим раздалась мелкая барабанная дробь, от которой мурашки побежали по моей спине.

Дацарилл еще раз посмотрел вниз, покачал головой, зажмурился, поднял вверх сцепленные руки и ринулся в бездну.

Совершилось это так стремительно, что я и Боря очнулись лишь после того, как пожарные стали заливать огонь из брандспойта, а Дацарилла не без труда вытащили за худые руки из ямы живого, невредимого, но дрожащего от холода и мокрого, как мышь. Черное великоватое трико облепило его тщедушную фигуру с волосатыми ногами, маска съехала на сторону, и в таком виде под звуки туша Дацарилл проехал, стоя в штейгере, одной рукой обнимая жену, а другой неумело посылая во все стороны воздушные поцелуи. Мне с Борей показалось, что он плачет, а с усов текла на подбородок черная краска.

— Молодец,— пробормотал Боря.— Молодец, что не промахнулся!

Боря был строг, но справедлив.

И все же мы были разочарованы: не такого мы мечтали увидеть Дацарилла и уже жалели, что потратили деньги на входные билеты, тем более что все обошлось так благополучно!

Я бы навсегда забыл эту историю, если бы лет через тридцать, а то и все сорок я не сидел однажды в Москве, в артистическом кружке, ужиная вместе со своими друзьями куплетистом С.-С. и режиссером Г. Зал был переполнен артистами, музыкантами, администраторами, поэтами, драматургами, которые собирались здесь обычно к часу ночи, после спектаклей.

Среди веселого, беспорядочного разговора куплетист С.-С. вдруг посмотрел в дальний угол подвальчика, где за столиком сидел, окутанный облаком табачного дыма, маленький неряшливый старичок с лиловыми мешками под глазами и пил пиво.

— Обратите внимание на того человека,— сказал С.-С.,— на вид как будто ничего особенного. А на самом деле это легендарная личность. Герой. Это именно он, будучи антрепренером известного в свое время Дацарилла, прыгнул с мачты в яму с горящим керосином вместо Дацарилла, который неожиданно запил и не только не мог прыгать, но даже встать с кровати, а его антрепренер, чтобы не возвращать публике деньги, выполнил сам его смертельный номер, не имея ни малейшего опыта в этом деле.

Влезая на столб, он произнес историческую фразу:

...— лучше умру, чем верну публике деньги...

Я посмотрел на старого антрепренера: в нем действительно не было ничего особенного. Но все же, согласитесь, он совершил героический поступок, не желая разориться и пустить по миру свою семью — жену и троих детей, двух мальчиков и одну девочку.

Тетрадь с картинками.

Может быть, самая огромная, невознаградимая утрата в моей жизни — это исчезновение тетради, в которую мама наклеивала для меня картинки. Мне было тогда, на-

верное, года два, но я прекрасно помню гуммиарабик в треугольном флаконе с оловянной крышечкой, из которой высовывалась рукоятка кисточки, покрытая затвердевшими белыми потеками гуммиарабика.

Мама вынимала эту плоскую кисточку из треугольного флакона, намазывала обратную сторону картинки клеем, а затем прикладывала картинку к чистому листу самодельной тетради, крепко сшитой белыми нитками, завязанными узелком.

Мама поглаживала лакированную поверхность разноцветной штампованной картинки своей милой, теплой ладонью с фруктовым запахом гуммиарабика.

Тетрадка была сшита из отличной канцелярской бумаги, которую откуда-то приносил папа.

Прежде чем я увидел настоящую, цветущую на кусте гроздь сирени, я уже познакомился с ее изображением — таким ярким, нарядным, точным, выпуклым и неподвижным.

Прежде чем я увидел живую кошку, я уже видел картинку — изображение образцовой красавицы кошечки с зеркальными глазами и голубым бантом на белой шейке.

...Я увидел ангела со звездой на голове и белыми перистыми крыльями за спиной — чудное, неземное существо с локонами, как у хорошенькой девочки, и чистеньким белым лбом умного мальчика, облаченного в бледно-голубые одежды, из-под которых виднелись чистенькие босые телесные ножки...

Я увидел трубочиста в цилиндре, с лестничкой за плечом, стоящего на крыше рядом с какой-то немецкой кирпичной трубой, из которой шел новогодний дым. Я увидел корзинку с яблоками; павлина, распустившего хвост; кружевной веер во всю страницу и котильонные звезды и ордена на ярких лентах.

Все эти изображения поражали меня своей красотой, законченностью, рельефностью. Но в то же время их неподвижность и немота пугали меня, отталкивали.

Я перелистывал тетрадь, испытывая неудовлетворенность их преувеличенным, нереальным реализмом, как будто бы ел во сне что-то вкусное, но не насыщавшее меня.

Чего-то не хватало.

Мама внимательными глазами посмотрела на меня и поняла, чего мне не хватает.

Она принесла папину чернильницу, деревянную ручку со стальным калено-синим пером марки «коссодо» и под

каждой картинкой стала прилежно писать своим мелким женским почерком объяснения картинок, неторопливо и нежно повторяя их мне на ушко, как бы сообщая какую-то приятную тайну:

...«Вот маленький пушистый котенок, потерявший свою маму и оставшийся один на улице под холодным дождем. Он весь вымок, проголодался, и стоял, дрожа в чужой подворотне, и жалобно мяукал. Дети увидели его, пожалели, принесли домой, высушили, напоили из блюдечка теплым молочком, а потом расчесали его нежную шерстку, распушили хвостик и надели на шейку голубой шелковый бант. Котенок повеселел, его глазки заблестели, и он стал облизывать мордочку розовым язычком, а потом зажмурился и замурлыкал: мур-р... мур-р... Мур...р...р...р. Дети были очень рады, уложили котенка спать на мягкую подушку, а на другой день отнесли его кошке-маме, которая жалобно мяукала в подворотне, зовя своего пропавшего котенка. Вот этот котенок. Не правда ли, какой он хорошенький?..»

Или:

...«Кто этот черный господин в высоком цилиндре и с лестницей за плечом? Это трубочист. Он залез на крышу для того, чтобы почистить трубу, а потом бросить в нее шоколадную бомбу в серебряной бумаге. Бомба полетит вниз по трубе и попадет прямо в чулок, повешенный на спинку кровати спящего мальчика. Мальчик проснется утром, и — о радость! — оказывается, в чулке — шоколадная бомба в серебряной бумажке. Вот какой добрый, хороший трубочист, несмотря на то, что он снаружи черный-пречерный, весь в саже. Зато душа у него добрая и светлая»...

...«Обрати внимание на этот испанский кружевной веер. Он вчера весь вечер провел на балу в руках у красивой дамы, которая обмахивалась им во время танцев и после танцев. Дама устала, и веер тоже устал. Но зато оба — дама и веер — придя домой, сразу же заснули сладким сном: дама в своей роскошной опочивальне, а веер в передней на подзеркальнике — как был, так и остался раскрытый, потому что ленивая красавица не успела его сложить, ей так хотелось спать! А теперь отгадай загадку: ветер дует — не иду я, а иду я — ветер дует, и тогда, когда иду я, ветер дует от меня... Что это такое? — спросила мама, зага-

дочно мерцая глазами, и так как я не в силах был ответить на этот вопрос, а мама молча любовалась приклеенным к белой странице ажурным, кружевным бальным веером с серебряными пластинками, то, некоторое время помолчав, мама приложила ладонь к моей щечке и шепнула мне на ухо ответ на загадку: — Веер!..»

Каждый вечер мама наклеивала в тетрадку новые картинки и подписывала их, так что в конце концов получилась как бы самодельная книжка для рассмотрения и чтения.

Я очень полюбил эту книжку-тетрадку, потому что, как я уже значительно позже понял, в ней удивительно гармонично сочеталось изобразительное с повествовательным, без чего не может существовать подлинное искусство.

...Эта тетрадка, некогда такая новенькая, прочно сшитая льняными нитками, старела у меня на глазах: выцветали чернила, появлялись пятна от пролитого молока, отпечатки пальцев, размазанные кляксы, с картинок медленно сходил литографический глянец, некоторые из картинок отклеивались, бумага желтела, но, каждый раз прикасаясь к этой тетрадке, я испытывал прекрасное, грустное чувство любви к моей сначала живой, а потом так рано умершей маме, которая с детства не только приучила меня любоваться миром, формами и красками окружавших меня предметов, но также дала им вторую жизнь, соединив их со словом, наполнив внутренним — подчас тайным — содержанием, движением мысли, как бы окунула их в бескопечную и безначальную стихию повествования...

После смерти мамы тетрадка хранилась у нас в семье в папином комоде, о котором я еще, наверное, кое-что расскажу, до самой революции, а потом, после смерти папы, куда-то девалась вместе с комодом.

Куда?.. Ума не приложу!..

Но до сегодняшнего дня, когда я все это пишу уже старческой рукой, глядя на замерзшие окна, за которыми в наплывах льда зеленеет и синеет январский переделкинский пейзаж, залитый хрустально-белым светом морозного

солнца, мамина тетрадка так поразительно отчетливо, во всех подробностях живет в моей памяти, все еще продолжающей уничтожать Время.

...Помню даже ту отличную министерскую бумагу, из которой тетрадка была сшита, бумагу Дитятковского товарищества, с водяными знаками, если посмотреть на свет. Эти водяные знаки всегда меня удивляли: как они делаются? Откуда берутся?

Иногда мне кажется, что я бы не мог жить без памяти об этой тетрадке, без кошечки с голубым бантом, без пирамидальной грозди сине-лиловой сирени с желтыми тычинками, без моего ангела-хранителя с серебряной звездой над хорошенькой головкой с локонами, как у девочки.

Однажды — давным-давно — мне самому захотелось создать нечто подобное этой тетради. Мама дала мне лист министерской бумаги с водяными знаками, карандаш, и я, разложив по столу локти, при свете висячей керосиновой лампы под белым абажуром, сквозь который язычок пламени еле просвечивал, как маленькая зубчатая коронка малинового цвета, при пружинном звоне столовых часов, медленно пробивших восемь раз, уже засыпая, нарисовал нечто закутанное с двумя вишенками посередине, что представлялось мне густым, таинственно-сказочным лесом, которого я еще никогда в жизни не видел, и я с трудом нацарапал печатными кривыми буквами надпись:

...«какой хороший этот лес и как прекрасно в этой дали»...

Разумеется, «хорошый» и «етай», но какое это имело значение, если именно в этот миг, быть может, началась моя жизнь поэта, тем более что мое первое произведение тоже навсегда исчезло вместе с заветной маминой тетрадкой?

Тетипы поклонники.

После смерти мамы у нас в доме вместе с маминой сестрой тетей Лилей появилась и тетина чайная чашка, сразу же обратившая на себя мое внимание, так как до этого времени у нас в доме не было чашек: пили чай из стаканов.

Тетя очень дорожила своей чашкой, пользовалась ею лишь в торжественных случаях, собственноручно ее мыла

в полоскательнице, с величайшей осторожностью вытирала чистым сухим полотенцем, боясь, чтобы не треснул тончайший, полупрозрачный севрский фарфор, и время от времени напоминала нам — Женьке и мне,— что это очень редкая, драгоценная, старинная чашка.

Тетя всегда брала с собой эту чашку в дорогу, укладывая ее в ярко-желтую фанерную шляпную коробку с крепким ремнем, застегивающимся поверх крышки.

Однажды, когда мы с тетей возвращались в вагоне второго класса после побывки у бабушки из Екатеринослава в Одессу, тетя вынула чашку, налила в нее для меня из бутылки, завернутой в вату, сладкий чай с лимоном и, предупредив, чтобы я не сломал чашку, с непонятной для меня мечтательно-грустно-юмористической улыбкой — то ли в шутку, то ли всерьез — сказала, что эту чашку некогда подарил ей князь Жевахов, ее бывший поклонник и даже жених.

Я попросил тетю рассказать подробности, но она не захотела. Меня взволновала мысль, что если бы тетя тогда вышла замуж за своего жениха князя Жевахова, то теперь была бы княгиней!

Меня также волновало слово «поклонник», услышанное впервые.

— А что такое поклонник? — спросил я.

— Вырастешь — узнаешь,— ответила тетя со своим мелким смешком.

— Это полковник? — настаивал я.

— Не всегда,— уклончиво ответила тетя, весело наморщив губы.

— Но все-таки что это такое — поклонник? Это человек?

— Поклонник — это жених,— сказала тетя, чтобы отвязаться, и прибавила: — Чем болтать, лучшей пей чай, пока он еще не совсем остыл. И не разбей чашку.

Я стал пить чай, наливая его из чашки с китайским рисунком в драгоценно-потертое блюдечко, и мне казалось, что я держу в руках величайшую музейную редкость.

Вагон пружинило, покачивало, из окна в купе бил столб пыльного солнечного света, а за окном простирались плоские просторы Новороссийского края, поля, степи, изредка скифские курганы и покосившиеся каменные бабы.

Иногда столб солнечного света перемещался, начинал поворачиваться, переходя с полосатого тикового диванного

чехла на пуговичках на потолок с вентилятором, потом переползал на стрекочущий фонарь, куда ночью обер-кондуктор вставлял толстую стеариновую свечу. Передвижение столба солнечного света значило, что рельсы поворачивают, дорога делала дугу; тогда, выглянув в окно, можно было увидеть впереди туловище паровика с быстро крутящимися колесами, свистящими поршнями и дымом над головастой трубой. А сзади загибался, как хвост ящерицы, конец поезда с уменьшающимися звеньями вагонов — синих, зеленых и желтых.

Но ничто не могло отвлечь меня от тетиных слов, поразивших меня до глубины души, так как слово «Жевахов» было мне хорошо знакомо: между Пересыпью и Дофиновкой, по дороге на Куяльницкий лиман, куда надо было ехать на настоящем поезде, а не на совсем игрушечном, дачном, как на Большой Фонтан, мимо нас проплывал довольно высокий холм, называвшийся Жевахова гора, в честь какого-то князя Жевахова, владевшего этой горой, заросшей бурьяном.

...Жевахова гора принадлежала к достопримечательностям города...

Теперь же вдруг оказалось, владелец знаменитой горы, князь Жевахов, был не более не менее как тетин поклонник, жених. Мне что-то не совсем верилось этому.

— А Жевахова гора того самого князя Жевахова, вашего поклонника? — спросил я.

— Представь себе,— ответила тетя.

— Почему же вы с ним не женились? — спросил я.

— Он был очень стар,— ответила тетя,— и я ему отказала.

— А чашку все-таки взяли? — спросил я.

— А чашку взяла,— засмеялась тетя.— На память.

Я живо представил себе драматическую картину: владелец горы, несметно богатый князь Жевахов, старик со слезами на морщинистых щеках, стоит на коленях перед моей тетей, протягивает ей драгоценную севрскую чашку и делает предложение, а тетя ему отказывает, хотя и берет чашку на память.

Кроме жеваховской чашки, тетя привезла в нашу квартиру еще музыкальный ящик вроде органчика и золотые часики в виде открывающегося шарика, висящего на плетеной золотой ленточке.

Тетя очень дорожила и гордилась этими вещами, так как оказалось, что они получены ею как призы на каких-то балах в Нижнеднепровске под Екатеринославом, когда тетя еще до переезда к нам учительствовала в тех краях в селе Каменском. Часики тетя всегда носила у себя за поясом, иногда давала их нам потрогать и даже открывала их, показывая эмалевый циферблат и золотые стрелки, а музыкальный ящик позволяла заводить когда угодно, и первое время я без устали вертел тугую ручку, заставляя крутиться тонкий стальной диск с целой сетью продолговато-поперечных скважинок, которые цеплялись за шипы стального гребешка, что производило звонкие музыкальные звуки — ноты,— в целом составлявшие как бы несколько затрудненно, по складам выполненный отчетливый мотивчик какой-нибудь польки-мазурки или вальса.

Стальных пластинок было полдюжины, и я их ставил по очереди. Больше всего мне нравился мотив украинской народной песни, слова которой под стальные звуки шарманки напевала тетя:

«...Ой за гаем, гаем, гаем зелененьким, там орала дивчинонька волыком чорненьким. Орала, орала, не стала гукаты, тай наняла козаченка на скрипочке граты. Козаченко грае, бровами моргае, а чорт его батька знае, чого вин моргае: чи на мои волы, а чи на коровы, чи на мое биле лице, чи на чорни бровы?..»

Тетя получила эти призы — золотые часики и музыкальный ящик «аристон» — за красоту, о чем она сама сообщила мне однажды, со свойственной ей иронической улыбкой, причем как бы в подтверждение этого сделала, подобрав юбку, несколько изящных танцевальных па и пропела не без кокетства куплеты из оперетки «Гейша»: «За красу я получила первый приз, все мужчины исполняют мой каприз» — и т. д.

Мне было трудно этому поверить, так как, на мой детский взгляд, тетя была уже далеко не молода и совсем не красива, хотя и симпатична.

Может быть, ее красоте мешало небольшое утолщение на конце носа — небольшая розовая клубничка,— свой нос она в детстве так сильно расквасила, катаясь на качелях, что след остался на всю жизнь. Я думаю, это утолщение на краю носа придавало тете что-то неповторимое, одной лишь ей свойственное, прелестное. При насморке или когда тетя плакала, конец ее носа довольно сильно краснел. В остальном же тетя Лиля была хороша собой, голубоглаза,

и, как я это понял впоследствии, у нее была стройная, легкая фигура и красивые ноги, маленькие и всегда хорошо обутые.

Ей не было и тридцати, когда она приехала к нам заменить покойную маму. Тогда я еще не понимал, что она совершила подвиг, в цвете лет отказавшись от личной жизни, от свободы, независимости ради того, чтобы воспитать нас — меня и крошечного Женьку, детей ее любимой старшей сестры, которой она однажды дала слово в случае ее смерти заменить нам мать.

...Она была моей крестной матерью, некогда специально приезжала из своего Каменского крестить меня, первенца своей сестры, и весело рассказывала, как я намочил ее розовую муаровую юбку, как невозможно было вывести пятна — и юбка пропала. Крестным отцом был один из тетиных поклонников, приват-доцент Попруженко, которому я тоже умудрился намочить парадные брюки и часть сюртука, но с них эти пятна вывелись...

Тетя заменила нам мать, поступила учительницей в епархиальное училище и сделалась хозяйкой нашего дома.

Маленького Женечку, который с самого раннего, грудного возраста рос у нее на руках, она любила страстной нежной, истинно материнской любовью.

Казалось, было бы совершенно естественно, чтобы папа в конце концов на ней женился. Но, видимо, папа принадлежал к редкому типу мужчин-однолюбов. Других женщин, кроме мамы, для него не существовало. После ее смерти он дал себе слово навсегда остаться — и остался! — вдовцом. Мне даже временами казалось, что к любой женщине он чувствует какую-то странную, с трудом скрываемую неприязнь.

Возможно, тут сыграло роль происхождение папы из духовной среды. Ведь все-таки папа, будучи семинаристом, готовился стать священником, хотя потом и пошел по светской дороге, окончив после семинарии университет и сделавшись преподавателем средних учебных заведений.

...Я думаю, «духовное» крепко сидело в нем...

По всему своему образу жизни и взглядам на нее он был скорее священник, чем лицо светское. Скорее иерей,

чем надворный советник. Священникам же не позволялось иметь вторую жену, даже если первая умерла. В таких случаях священник чаще всего уходил в монахи. В папе стало заметно проявляться нечто монашеское, строгое, целомудренное, неприступное для любого мирского соблазна, кроме театра, который папа очень любил, конечно театра серьезного, где ставились классические пьесы Гоголя, Островского, Шекспира. В особенности он любил трагедии Шекспира.

Хотя тетя материально была вполне независима, так как была учительницей в младших классах епархиального училища, совмещая это с должностью делопроизводителя, и несла все расходы по дому наравне с папой, но все же ее положение, по взглядам окружавшего нас обывательского мещанского общества, было несколько двусмысленно: живет под одной крышей с вдовцом, ведет хозяйство, воспитывает его детей...

Что-то неладно!

Однако ни папа, ни тетя не обращали внимания на сплетни и намеки, делавшиеся у них за спиной. Они были выше этого, в чем и проявлялась их подлинная *интеллигентность*.

И все же — теперь я понимаю! — тете у нас жилось не очень легко. После своей свободной жизни в Каменском, после нижнеднепровских балов с призами за красоту, с поклонниками из числа видных горных инженеров, путейцев, политехников, заводчиков, помещиков, что тетя легко совмещала со своим учительством, дававшим ей независимость, жизнь в доме вдовца, воспитание двух мальчишек, ведение чужого хозяйства, несомненно, ее тяготили, не могли не тяготить. В сущности, то был отказ от личной жизни.

Впрочем, от поклонников тетя окончательно не отказалась. Время от времени у нас в доме появлялся кто-нибудь из тетиных поклонников, что, как мне казалось, несколько раздражало папу, не привыкшего к гостям. Но он старался не подавать виду.

С появлением у нас тети мы уже не могли поместиться в нашей дешевой, старомодно и скромно обставленной квартире на Базарной улице, рядом со Стурдзовской общиной, почти на углу Французского бульвара. Тете была необходима отдельная комната, поэтому мы переехали на другую квартиру, просторную и для нас дороговатую, в

шикарном доме Аудерского на Маразлиевской, одной из лучших улиц города.

Старая мягкая мебель была продана, куплена новая, под черное дерево, обитая золотистым шелком. Это сделало нашу гостиную хоть и более красивой, чем прежняя, но не такой уютной, мягкой, с западающими пружинами кресел, как при маме.

Комнат было много, и лишние мы сдавали жильцам, чтобы, как говорила тетя, сводить концы с концами.

...с тех пор, сколько я себя помню, мы постоянно переезжали с квартиры на квартиру, ища наиболее удобную и подешевле...

...А бабушка — папина мама — всегда переезжала с нами, сидя на платформе рядом с фикусом, и по-прежнему жила в столовой за ширмой, тихая, никому не нужная, всеми забытая, нежно и почтительно любимая лишь одним папой.

Тетя хорошо одевалась, душилась духами, носила модные шляпы, вызывавшие у папы иронические улыбки. Даже в епархиальное училище на уроки тетя надевала синее шелковое платье с кружевами на шее и на рукавах. В противоположность покойной маме, всегда гладко причесывавшей свои черные, как воронье крыло, волосы, тетя — светлая шатенка, почти блондинка — устраивала себе модные прически с валиком впереди а ля Вяльцева, знаменитая исполнительница цыганских романсов.

Тетя часто садилась на вертящуюся табуретку с плетеным сиденьем, открывала крышку пианино и с блеском, со щегольством начинала играть один за другим вальсы Шопена, причем ее тонкие пальцы так и летали туда и назад вдоль пожелтевших клавишей, сверкая кольцами с маленькими, но настоящими разноцветными драгоценными камешками.

...кажется, она даже втайне от нас курила, так как я однажды обнаружил в ее комнате тоненькую дамскую папироску и легкий запах табачного дыма...

Тетины поклонники — «женихи» — появлялись не слишком часто, но я их всех хорошо запомнил. Вероятно, тетя им всем отказывала, так как после одного-двух визитов они больше уже не появлялись.

По моему мнению, не считая, конечно, старого князя Жевахова, которого я продолжал представлять себе стоящим на коленях перед тетей с чашкой в руке стариком с лицом художника Айвазовского,— самый значительный тетин поклонник был остзейский барон фон Гельмерсен, вдовец и красавец.

Как-то тетя объявила, что в воскресенье у нас будет обедать один ее старый знакомый, который придет со своим сыном, воспитанником кадетского корпуса, и, зная, что между кадетами и гимназистами существует извечная вражда, тетя строго приказала мне и Женьке вести себя прилично и вежливо по отношению к сыну фон Гельмерсена. Мы пообещали не драться с кадетом, но при этом скорчили такие рожи, что тетя погрозила нам мизинцем.

Накануне визита фон Гельмерсена тетя сделала кой-какие покупки: коробку сардинок, полфунта очень дорогой московской копченой колбасы в серебряной бумаге, швейцарского сыру со слезой и две длинные бутылки пива Санценбахер с фарфоровыми пробочками на проволочных конструкциях.

Увидев пиво, папа покраснел от негодования, даже, собственно, не только покраснел, но и побелел; побелели его скулы; он был убежденным трезвенником и ни под каким видом не разрешал держать в доме спиртные напитки.

— Зачем вы купили эту гадость! — сказал он, дергая шеей и поправляя пенсне.— Я выброшу их в помойное ведро.

На что тетя хладнокровно ответила, что фон Гельмерсен привык пить за обедом пиво; он ее гость, а по отношению к гостям надо быть предупредительным.

Сардинки и швейцарский сыр вызвали на папином лице брезгливое выражение.

(У нас в доме никогда за обедом не водилось никаких закусок; начинали прямо с супа.)

На балконе стояла жестяная формочка с апельсиновым желе, которое тетя собственноручно приготовила для своего поклонника.

Фон Гельмерсен оказался весьма респектабельным господином — высоким, усатым, в клетчатом жакете английского фасона, в высоком крахмальном воротничке, подпиравшем его сизые щеки, и в остроносых штиблетах с серыми суконными гетрами. Помнится, на его пальце было два обручальных кольца, а на черной шелковой ленточке

болтался монокль — вещь, которую я впервые в жизни видел.

Войдя в переднюю, он снял с рук замшевые перчатки, бросил их в шляпу и поставил в угол прямую, как он сам, крепкую трость из палисандрового дерева с набалдашником пожелтевшей, надтреснутой слоновой кости. Из-за его высокой фигуры выглянул маленький белобрысый кадетик и шаркнул сапогами, от которых по всей передней распространился запах казенной ваксы.

Фон Гельмерсен был вдовцом и по воскресеньям ходил по гостям вместе со своим сыном.

...Что связывало его с нашей тетей, где они познакомились? Это осталось для меня навсегда тайной...

Визит фон Гельмерсена сохранился в моей памяти как скучно проведенное, пропащее воскресенье. Пока после обеда барон, заложив ногу за ногу, пил пиво, курил свою сигару и с довольно заметным немецким акцентом вел светский разговор с тетей и папой, который не выносил табачного запаха и отгонял ладонью от своего носа красивый дорогой светло-голубой сигарный дым, мы с Женькой повели кадета на улицу поиграть. Хорошо еще, что на улице никого не было из мальчишек, в особенности Мишки Галия, а то досталось бы и нам и кадету: задразнили бы.

Сын фон Гельмерсена оказался на редкость скучным мальчиком и очень мало разговаривал, потому что все время вынимал из карманов штанов куски хлеба, которые натаскал во время обеда, и набивал ими рот, так что его красные щеки все время были раздуты и слова с трудом пролезали сквозь его маленький ротик.

В общем, он был мальчик смирный, но смертельно нам надоел, так как испортил нам все воскресенье.

Фон Гельмерсен просидел у нас до вечера, прямой как палка, потертый, с сигарой во рту, с мешками под глазами, лысоватый. Что нашла в нем тетя, до сих пор не могу понять. Вероятно, тот самый фон Гельмерсен был не более чем какое-то волнующее воспоминание прошлого, может быть, того золотого времени, когда совсем молоденькая тетя, генеральская дочь, независимая, веселая барышня, проводила летние каникулы на Рижском взморье, о чем она иногда рассказывала не без удовольствия.

...Если бы она вышла тогда за фон Гельмерсена, то была бы баронесса. Вот это был бы номер!..

Больше фон Гельмерсен со своим кадетиком у нас не появлялся. Для чего он приходил — неизвестно. Может быть, опять свататься? По-видимому, тетя по своему обыкновению ему опять отказала.

Помню, как папа в своем парадном сюртуке на шелковой подкладке после ухода фон Гельмерсена, морщась, проветривал комнаты от сигарного дыма и собственноручно брезгливо унес в кухню длинные бутылки из-под санценбахеровского пива: в них вместо пива были сотоподобные крупные перепонки остатков пива, так называемые загогулины, весьма занимавшие мое воображение вопросом: как это происходит? откуда они берутся?

Остальные тетины поклонники не представляли ничего интересного. Они появлялись на короткое время, вселяли в тетину душу надежду на какое-то личное счастье и потом навсегда исчезали, отвергнутые тетей.

...Был, например, как это ни странно, приказчик Мухин, плотный красавец, шикарно одетый, с шелковым галстуком цвета павлиньего пера, с бриллиантовым перстнем на мизинце. Он был не приказчиком в обыкновенном галантерейном магазине где-нибудь на Ришельевской улице, меряющим желтым деревянным аршином с металлическими кончиками кружева или какую-нибудь стеклярусную отделку. В иерархии приказчиков он занимал высшее место — был, что называется, правой рукой хозяина крупной фирмы, в магазине на Дерибасовской бывал редко, а большей частью ездил за товаром в Москву, которую называл первопрестольной, и в Санкт-Петербург, который называл Питер, а иногда ездил даже в Париж. У него были изысканно-скромные манеры человека, знающего себе цену, безукоризненный пробор, красиво подбритые виски, чистое, отчетливое произношение. На самом кончике его красивого русского носа была небольшая зарубочка, как бы мушка на конце ружейного ствола, что до известной степени подходило к его фамилии — Мухин, Мушкин... Когда он смотрел на собеседника своими красивыми крестьянскими глазами, то как бы прицеливался, наводя в самый центр невидимой мишени мушку своего носа. От него пахло французскими духами — словом, он был отличный эк-

земпляр еще довольно молодого состоятельного мужчины с положением.

Несмотря на его несомненное превосходство перед нашей семьей в материальном отношении, он все же воспринимался нами как человек низшего сорта. Причиной этого был его язык, обороты его речи, от которых так и разило чем-то галантерейным. Он употреблял такие слова, как «сударь», «сударыня», «не извольте беспокоиться», «точно так», «особа»; он часто присоединял к слову частичку «с»: всенепременно-с, почту-с за честь-с, отнюдь нет-с и тому подобное, это настолько было не в духе нашей семьи и тети, что Мухин быстро получил отказ, хотя один раз даже возил тетю, надевшую беличью ротонду и капор, на извозчике в оперетку.

...как-то незаметно промелькнул щеголеватый студент-белоподкладочник в фуражке прусского образца, в мундире и узких диагоналевых брюках, который в день «Белой ромашки» сопровождал тетю собирать на улицах пожертвования в пользу туберкулезных больных. Нарядно одетая тетя, держа в руке синий бархатный щит с наколотыми на него целлулоидными значками в виде цветка белой ромашки, грациозно подбегала, шумя шелковой юбкой, к прохожим и, проговорив с обворожительной улыбкой: «Надеюсь, вы не откажете...» — прикалывала на лацкан мужчины или на каракулевую кофточку дамы белый цветок с желтой серединкой, а в это время студент подставлял гремящую деньгами кружку-копилку с сургучной печатью на замке, и в щель падали гривенники, двугривенные, полтинники, а иногда даже, если тетя была особенно обворожительна, полновесные серебряные рубли. В конце дня, перед тем как идти в городскую управу сдавать выручку, тетя пригласила студента к нам выпить чаю, и я мог попробовать на вес наполненную пожертвованиями кружку и подержать в руке синий бархатный щит.

В управе оказалось, что тетя набрала больше всех пожертвований, и ей была вынесена публичная благодарность, но папа не одобрил всего этого, назвав «недостойной игрой в благотворительность».

Быть может, ему просто не понравился излишне щеголеватый студент, который, впрочем, больше у нас не появлялся...

...наверное, его постигла участь всех других поклонников тети: получил отказ.

Был еще преподаватель духовного училища, уроженец Умани со странной фамилией Кривда — украинец в вышитой рубашке под форменным учительским пиджаком, человек с тыквообразной головой, едва прикрытой несколькими аккуратно разложенными волосками; он пил у нас чай, макая шевченковские усы в блюдце, очень веселился и все время порывался рассказать по-украински что-нибудь смешное, причем ласково и сладко, как толстый кот, посматривал на тетю.

Один из его анекдотов я запомнил.

Однажды хохол заспорил с турком, чей бог лучше. Спорили долго и ни до чего не могли договориться. Тем часом набежала черная-пречерная хмара, началась гроза и как вдарит молния, а з нею гром!.. «Це наш бог бьет вашего бога»,— сказал турок, а хохол-казак ему меланхолично отвечает: «Так ему и надо: нехай с дурнем не связывается».

Слово «связывается» Кривда произносил как «звьязувается».

Одно время в поклонники тети записался троюродный брат папы, приехавший из Вятки, некто Иван Иванович Творожков, так же, как и папа, учившийся после окончания духовной семинарии в Новороссийском университете; он благополучно поступил на медицинский факультет и уже дошел до четвертого курса. Он был беден и, по-видимому, искал невесту с приданым, хотя бы маленьким, для того чтобы иметь возможность окончить университет. Он говорил как настоящий вятич, «лапшеед». Половину слов трудно было разобрать, точно и впрямь его язык запутался в лапше, так же, как и у бабушки, папиной мамы. Он то и дело очень по-провинциальному потирал потные руки, ни к селу ни к городу начинал как-то застенчиво, по-китайски смеяться — хи-хи-хи,— чай хлебал с блюдечка, держа его перед собой на трех пальцах, обязательно вприкуску, зажав между передними зубами крошечный кусочек сахара. Вместе с тем было известно, что он необыкновенно талантлив и считался на факультете одним из самых блестящих студентов.

Разумеется, из его сватовства ничего не вышло, и он как-то сконфуженно удалился в своем потертом пальто, бородатый, добрый, смущенный, с умным простонародным

лицом Пирогова, в кепке с пуговичкой и в старых, хлюпающих галошах.

Года через три он вдруг появился у нас, уже будучи прозектором по кафедре анатомии, прилично одетый, и представил нам свою жену — совсем не молодую поповскую дочку, на которой он женился по расчету, из-за приданого в три тысячи рублей.

Он был явно смущен, и на его лице типичного русского ученого-самородка было написано столько грустной доброты, что нам всем стало его жалко, тем более что его жена, женщина серой провинциальной внешности, одетая в шелковое коричневое платье, вела себя очень стесненно, неуклюже, громко сморкалась в платок, который вынимала из рукава своего платья, а когда в конце обеда подали на сладкое вишневый компот, то она выплевывала вишневые косточки в горсть, и в это время ее лицо делалось каким-то утиным. Они иногда посещали нас по-родственному, а однажды пришли под Новый год к яблочному пирогу с запеченным в нем на счастье гривенником и принесли две бутылки донского игристого шампанского с засмоленными пробками, привязанными веревочками.

...тогда я впервые в жизни попробовал донское игристое, и оно мне, признаться, очень понравилось...

Последний тетин поклонник появился уже в начале первой мировой войны. Это был миссионер нашей губернской епархии. Несмотря на такую странную романтическую профессию, которая в моем представлении была связана со смертельно опасной, подвижнической жизнью на каких-нибудь коралловых островах или в джунглях девственных лесов, кишащих ядовитыми змеями, мухами цеце, дикими зверями, вопреки моему представлению миссионера в виде подвижника в грубом монашеском рубище, с пылающим, неугасимым пламенем веры в глазах, просвещающим дикарей, наш одесский епархиальный миссионер, выходец из Калуги, ведущий борьбу на религиозных диспутах с раскольниками и разными сектантами, имел самую ординарную внешность, был мал ростом, мелок, тщедушен, носил старый пиджачок, брюки, вздутые на коленях, и довольно забавно тряс своей козлиной бородкой, уж никак не напоминая духовное лицо.

Приезжая из Калуги после каникул, он долго пил у нас чай, рассказывая о никому не интересных калужских новостях.

Разумеется, никаких шансов покорить сердце тети у него не было, тем более что он оказался тайным алкоголиком, и я однажды видел его совершенно пьяным, сидящим у нас на ступенях парадной лестницы.

По-видимому, он плелся к нам с визитом, но не доплелся, присел на ступеньку перевести дух да так и заснул, распространяя вокруг себя запах самогона; водка тогда уже была по случаю войны запрещена.

Через некоторое время тетя уехала от нас в Полтаву, где жил ее двоюродный брат, богатый помещик и земский деятель Евгений Петрович Ганько, тоже бывший, вероятно, некогда тетиным поклонником, и стала вести его хозяйство, заменив свою умершую двоюродную сестру Зинаиду Петровну Ганько.

...Хорошо помню этого самого Евгения Петровича. Он был большой барин, сибарит, бонвиван, любил путешествовать по разным экзотическим странам и несколько раз, возвращаясь на пароходе добровольного флота из Китая, Гонконга, Египта или Индии, проездом через Одессу в Полтаву неизменно наносил нам семейный визит, привозя в подарок разные диковинные сувениры: японские лакированные пеналы, страусовые яйца и перья, циновки, плетенные из тончайшей египетской соломы, портсигары, украшенные изображением священного жука-скарабея, и прочее. У него было могучее, хотя и довольно тучное от неумеренной жизни телосложение, ноги, разбитые подагрой, так что ему приходилось носить какую-то особенную бархатную обувь вроде шлепанцев, и великолепная голова с римским носом, на котором как-то особенно внушительно, сановно сидело золотое пенсне, весьма соответствующее его сенаторским бакенбардам и просторной пиджачной паре от лучшего лондонского портного, источавшей тонкий запах специальных мужских аткинсоновских духов...

К началу войны Евгений Петрович одряхлел, почти уже не мог ходить и по целым дням сидел у себя в Полтаве в удобном кирпичном особняке, построенном в украинском стиле, окруженном тенистым полтавским садом, в вольте-

ровском кресле, с ногами, закутанными фланелью, и перелистывал старые комплекты французского журнала «Ревю де Дю Монд» или занимался своими марками, и я слышал, что он был великий филателист и владел бесценными коллекциями, из которых одна была единственной на весь мир — коллекция полтавской уездной земской почты.

Тетя стала вести его хозяйство.

Так кончилась жизнь тети у нас в доме.

...тетя умерла в Полтаве в 1942 году при немцах, незадолго до этого похоронив Евгения Петровича и оставшись совсем одна, больная, старая, нищая, переселенная в какой-то полуразрушенный флигелек. Будучи русской патриоткой, она не могла перенести унижения иноземного нашествия на родную землю, на ту землю, где некогда Петр разбил шведов...

Соседи нашли ее однажды утром мертвой рядом со своей постелью на полу. По-видимому, она полезла под кровать за туфлями, и тут ангел смерти вынул ее нежную, добрую и такую несчастливую душу.

О, как ясно вижу я зимнее темное полтавское утро, хлопанье зениток, шум немецких танков на улице, тучи над развалинами некогда прекрасного украинского города с белыми стенами домиков, зелеными железными крышами и пирамидальными тополями и лежащую на полу ничком маленькую, высохшую старушку с седыми волосами, разметанными по вытертому коврику.

Детское представление о смерти.

В течение нескольких лет, в детстве, меня преследовал зловещий сон, приснившийся мне всего один раз, но потом долго не выходивший из памяти: как бы снился наяву, мучая своим странным содержанием.

...этот сон был изображением моей смерти...

Мне кажется, что у каждого человека в детстве — раньше или позже — всегда внезапно наступает миг, когда он со всей очевидностью начинает понимать, что он смертен и ему непременно когда-нибудь предстоит

умереть, перестать существовать, жить,— мысль, к которой невозможно привыкнуть.

Мой сон состоял в том, что я бегал по нашей столовой вокруг не покрытого скатертью круглого ясеневого — а может быть, и елового,— желтого обеденного стола, а за мной гналось чудовище, но не живое, а сделанное из такого же ясеневого желтого дерева, как стол и как буфет. Впрочем, буфет был не ясеневый, а светлого дуба и был замечателен тем, что на его дверцах не было традиционных деревянных украшений в виде фруктов или зайцев, а только два деревянных кружка, вследствие чего буфет напоминал вятское лицо старушки — бабушки, папиной мамы, с ее круглыми глазами.

Чудовище, которое за мной гналось, представляло из себя бессмысленное деревянное сооружение — мебель! — не то стул с непомерно высокой лестницеобразной спинкой, не то выросший до потолка буфет с круглыми деревянными бабушкиными глазами.

Самое ужасное, пугающее, заключалось в том, что, хотя чудовище было деревянное и стучало по полу деревянными ножками — как лошадь стучит копытами,— оно в то же время было разумное существо, старающееся меня догнать и схватить,— и тогда я погиб!

Я боялся оглянуться, задыхался, и временами мне казалось, что за мной вокруг стола уже гонится, стуча костями, пожелтевший скелет с черной грудной костью, откуда расходятся сухие белые ребра.

Вместе с тем я чувствовал, что я уже не я, а этот самый скелет с черной грудной костью, который гонится за мной и хочет меня умертвить каким-то одним коротким движением. Я и скелет были одним и тем же предметом или даже не предметом, а существом, так что получалось:

...я гонюсь сам за собой для того, чтобы причинить себе смерть, уничтожить свое сознание...

Для этого стоило только повернуть какую-то штучку в виде электрического эбонитового выключателя, вделанную в мою грудную кость и одновременно с этим вделанную в стенку возле двери,— и тогда для меня сразу наступит смерть.

Странное заключалось в том, что в то время у нас еще не было электрического освещения и я еще нигде не видел

выключателя, хотя готов поклясться, что в этом детском сне участвовал выключатель, вделанный в мою грудную кость на грудобрюшной преграде,— черный эбонитовый выключатель, как бы появившийся чудесным образом из недалекого будущего, может быть, даже из Екатеринослава, где уже имелось электрическое освещение.

Впрочем, в этом не было бы ничего странного, если бы можно было поверить, что время движется не только в одну сторону — вперед,— но и в другую — обратно.

А почему бы нет? Может быть, это именно так и есть. Ведь время — вещь еще не вполне исследованная.

...Я бежал как сумасшедший вокруг стола, все убыстряя и убыстряя свой бег; я чувствовал за собою лошадиный стук высокого стула, меня все время ловили сбоку, желая пощекотать, какие-то руки, вроде того как иногда в веселую минуту ловили меня, сидя за столом, папа и мама, когда я норовил пробежать мимо них. Но среди этих добрых рук я чувствовал прикосновение сухих, холодных рук умирающего, уже умершего — на диване в гостиной дяди Миши с сумасшедшими глазами и редкой бородкой великомученика, и я испытывал леденящий душу страх смерти, невыносимый ужас, и чтобы избавиться от него, сам убивал себя, повернув на своей грудной клетке щелкнувший выключатель, который в тот же миг погасил мою жизнь, и со всех сторон в меня хлынула тьма, лишенная звуков, немая, непоправимая, и уничтожила меня навсегда.

Проснувшись утром, я уже был не тот маленький веселый мальчик — полуживотное, получеловек,— я уже стал полностью человеком, навсегда отравленным неистребимой мыслью, верным знанием того, что я смертен и уже ничто не спасет меня от уничтожения.

Человеческий мозг.

...Об Иване Ивановиче Творожкове пошла молва как о выдающемся молодом ученом физиологе. Я думаю, он был сделан из того же теста, что Сеченов, Павлов, Мечников, Менделеев... Папа тоже, по-моему, принадлежал к этой породе, но он пошел по другой дороге — стал ординарным педагогом среднеучебных заведений, не мог себя отдать только науке.

Творожков — тоже уроженец Вятки — как-то очень подходил к папе: их беседы всегда имели возвышенный

научный характер, ничего общего не имеющий с пустой обывательской болтовней.

Они касались непонятных для меня университетских, научных вопросов, иногда спорили, кипятились, и тогда папа начинал торопливо и неразборчиво говорить, так же как и Творожков, по-вятски произнося вместо «ц» — «ч».

Исследуя в своей университетской лаборатории человеческий мозг, изучая его функции, его механизм как центр психической деятельности человека, соединяя теорию ученого с практикой врача-психиатра, Творожков создал свою особую теорию наследственности, сущности которой я не понимал, а лишь догадывался, что эта теория состоит в утверждении передачи из рода в род изъянов в веществе головного мозга, влекущих за собой наследственные особенности личности, а также психические заболевания, сумасшествие, преждевременную смерть.

...Временами мне казалось, что Творожков выбрал нашу семью для научных наблюдений, которые должны были подтвердить его теорию наследственности...

Дедушка — папин папа,— вятский протоиерей Василий Алексеевич, умер сравнительно рано — лет пятидесяти от роду. От какой болезни он умер, я не знал. Говорилось туманно — от горячки. Папин брат, мой дядя Миша, о котором я уже упоминал, умер тридцати лет от сумасшествия. Старший брат папы, дядя Коля, умер лет сорока от прогрессивного паралича, и, говорят, когда его увозили в больницу, он вскакивал с носилок, страшный, бородатый, в длинной рубахе, и, хохоча на всю улицу, пел сам себе «со святыми упокой» и дирижировал воображаемым хором.

Он был статский советник, окончил Московскую духовную академию и преподавал в Одесской семинарии. У него было несколько орденов, которые он любил надевать.

Из трех братьев оставался в живых лишь мой папа, обладавший отличным здоровьем, умеренностью и уравновешенным характером. Впрочем, в редких случаях он был склонен к вспыльчивости.

Мне кажется, что Творожков исподтишка наблюдал за нами, а иногда, как бы вскользь, осторожно задавал какие-нибудь якобы невинные вопросы вроде тех наводящих, прозрачных вопросов, которые обычно задают врачи-психиатры своим пациентам, заподозренным в душевной болезни, и ища ее признаков.

В конце концов, кажется, это превратилось у доктора Творожкова в манию; может быть, принадлежа к одной из ветвей нашего вятского рода, он сам постепенно начинал сходить с ума.

Во всяком случае, однажды я поймал на себе его мягкий, изучающий взгляд, от которого мне стало холодно.

...неужели он считал, что сочинять стихи есть признак душевной болезни?..

Однажды он поймал меня за руку, положил свои ловкие, холодные, докторские пальцы на пульс, вынул часы, долго слушал и наконец произнес:

— Так-так-так-так-с, отлично, отлично.— А затем спросил: — Как у тебя с памятью?

— Хорошо,— ответил я.

— Это прекрасно,— сказал он одобрительно.— А какие тебе снятся сны?

Я был в затруднении: мне снилось множество различных снов — черно-белых и цветных, в том числе и эротические, так что я молча покраснел.

— Так-так-так-так,— сказал доктор Творожков.— Головокружения бывают? Раздражаешься?

Он смотрел в мои глаза и, казалось, видел меня насквозь: я действительно был вспыльчивый мальчик, почти уже юноша. Затем он все теми же докторскими руками пощупал у меня железки за ушами, а потом, с ловкостью фокусника вынув из бокового кармана черный медицинский молоточек, постучал у меня под коленом — моя нога гальванически подпрыгнула.

— Так-так-так,— с удовлетворением сказал Творожков.— Сердце дает себя чувствовать?

— Иногда,— сказал я, не желая разочаровать Ивана Ивановича.

— Так-так... Половое созревание... Нервозность...— произнес Творожков и некоторое время смотрел на мой лоб, и мне казалось, что он сейчас вскроет мою черепную коробку, чтобы посмотреть, имеются ли в моем мозгу наследственные изъяны.

Мне показалось, что он маньяк.

Он настойчиво советовал папе регулярно принимать йод и сам его принимал, вынимая из жилетного кармана

пузырек и накапывая в рюмку с молоком густую черно-коричневую жидкость, от которой молоко в рюмке делалось зловеще розоватым. Он боялся склероза и у всех находил признаки раннего склероза.

Однажды он пригласил меня в свою лабораторию посмотреть, как он препарирует человеческий мозг.

С чувством скрытого страха я отправился в университетскую клинику.

Университетские корпуса — громадные, массивные, трехэтажные, с крупными высокими окнами, сильно выступавшими карнизами и громадными вылощенными входными дверями с пудовыми медными ручками — находились в разных местах города — по факультетам — и придавали улицам, на которых были расположены, особо внушительный, академический, несколько казенный характер.

Обычно казенные здания были выкрашены в особый, желтый чиновничий цвет. Здания же университета были выкрашены в бледно-зеленый цвет, что производило такое впечатление, будто даже и среди бела дня они освещены газовыми фонарями.

От них даже как бы пахло светильным газом.

Они были окружены железными решетками, и перед их могучими фасадами и корпусами росли старые акации, платаны и каштаны с лапчатыми листами, быть может, еще времен Пирогова и Мечникова.

Вечером в их окнах виднелся зеленый свет газовых горелок.

Медицинский факультет находился дальше всех других факультетов от центра города, если не ошибаюсь, где-то в конце Херсонской, где город уже приобрел несколько провинциальный характер и откуда между домами виднелись Пересыпь, Жевахова гора и кусочек моря.

Лаборатория помещалась в небольшом флигеле в глубине тенистого двора, уложенного большими бетонными плитами, а еще дальше виднелся другой флигель, который сразу же как-то насторожил меня, вселив в мою душу темное подозрение. И не напрасно: впоследствии я узнал, что это мертвецкая, или, как студенты говорили,— «трупарня», где они вскрывали трупы.

Иван Иванович повел меня в комнату, обставленную старыми ясеневыми шкафами с лабораторной посудой и различными приборами.

Посередине помещался цинковый стол с микроскопом и какой-то машинкой, похожей на только что начавшие входить в обиход в гастрономических магазинах машинки для быстрой резки ветчины на очень тонкие ломтики.

Творожков был в холщовом халате. Он вынул из шкафа цилиндрический стеклянный сосуд, покрытый сверху стеклянной плиткой, поставил его на стол и вынул оттуда предмет, похожий на свежеочищенный грецкий орех, но только величиной с кочан цветной капусты и даже на вид довольно тяжелый; он был как бы вылеплен из почти белого, чуть-чуть желтоватого воска, и его глубокие извилины сразу как бы сказали мне, что это человеческий мозг. Самого человека уже нет, он умер, его череп расколот долотом, тело закопано в землю, а мозг, еще на вид совсем свежий, сохранившийся в банке с формалином, попал в руки доктора Творожкова в черных гуттаперчевых перчатках.

Творожков положил мозг в машинку и стал резать его на тончайшие пластинки, брал их пинцетом одну за другой, рассматривая на свет. Он показал мне на каждой из пластинок небольшое пятнышко, которое как бы тянулось через все тело мозга,— может быть, след кровоизлияния. Иван Иванович сказал, что таким образом прослеживается направление червоточины, принесшей в конце концов смерть человеку.

...Он сделал препарат и положил его под микроскоп...

Но я уже не мог заставить себя посмотреть в окуляр микроскопа. Меня мутило. Мне хотелось скорее на свежий воздух, под зелень акаций и каштанов. Меня сводил с ума запах формалина и трупный запашок незаметно разлагающегося мозга.

Меня ужасала мысль, что в этом восковом слитке высокоорганизованной и такой непрочной материи может каким-то образом отражаться, жить, существовать все окружающее человека — весь мир, вся вселенная, весь я — и солнце, и луна, и море, и облака, и Пушкин, и Чайковский, и Надька Заря-Заряницкая, и горе, и радость, и то необъяснимое горькое чувство вечной, безответной любви, которое я уже с недавних пор носил в себе и знал, что буду носить всю жизнь в своей душе, казавшейся мне до сих пор бессмертной, в то время как она была всего лишь непрочной материей, извилинами мозга с отпечатками окружающего меня бытия.

И мне трудно было с этим примириться, но ничего не поделаешь, надо!

По горло в песке.

Когда мне был год или два, папа и мама, для того чтобы предохранить меня от рахита, летом отправлялись со мной на Куяльницкий лиман или на Ланжерон принимать песочные ванны.

Папа выкапывал в песке неглубокую ямку в соответствии с размерами моего тельца, а так как песок внизу был еще сыроват, то некоторое время приходилось ждать, пока он высушится и нагреется под палящим июльским солнцем; мама раздевала меня догола и усаживала в теплую, сухую ямку, как в песчаное гнездышко.

Я рассматривал свои круглые упитанные ручки с нежной кремово-розовой кожей, и мне доставляло радость, растопырив пальчики, хлопать ладошками по горячему песку, набирать его в горсти и с бездумным хохотом разбрасывать вокруг себя, любуясь его алмазным блеском.

Затем папа, подгребая раскаленный песок, засыпал меня по горло так, что я чувствовал песок подбородком, а некоторые песчинки щекотали мне губы. Я пытался выпростать из плотной песчаной кучи свои руки и ноги, с трудом преодолевая его вес, но папа снова нагребал на меня горку песка, так что в конце концов из горячей, тяжелой кучи выглядывала только моя голова, обращенная лицом к воде.

У меня не было сил бороться с тяжестью целебного песка, который давил на меня со всех сторон, не давая возможности пошевелиться. Солнце жгло нещадно.

Мама раскрыла зонтик и воткнула его ручкой в песок. Теперь я сидел по горло в песке, под тенью большого багистового зонтика, а папа и мама любовались мною, вернее моей круглой черноволосой головкой с двумя макушками.

Моя голова едва возвышалась над уровнем моря, над полосой прибрежного песка, смешанного с обточенными челночками перламутровых раковин — остатки мидий — и лентами сухих водорослей. Поле моего зрения было настолько сокращено, что я видел лишь самую ничтожную часть моря, то тут, то там мигавшего ослепительно-белыми звездами солнечных отражений.

Горизонт был совсем близок — рукой подать! — но он сливался с сияющим небом, и невозможно было понять,

где небо, а где вода: они смешивались в одно струящееся зеркальное марево.

Краски вокруг меня были настолько яркими, что глаза уставали от них, и я видел все как бы выгоревшим от полуденного солнца, обесцвеченным, размытым. Зато запахи и звуки приобрели особенную ясность, отчетливость, силу.

...запах расплавленной смолы, которую варили где-то за моей спиной, для того чтобы засмолить дно рассохшейся шаланды, и запах самого костра, йодистый запах — гниющих водорослей, мидий, рыбьей чешуи — смешивались со звуками плотничьего фуганка, с шарканьем снимавшего длинные кудрявые стружки с сосновой тесины, и я понимал, что это — где-то за моей спиной — плотники строят новую шаланду. К этим звукам примешивались пронзительно-визгливые крики чаек, а также удары весел проплывающей недалеко мимо меня лодки с небольшим железным якорем — кошкой — на носу и возгласы купальщиц, болтающих ногами в мелкой воде.

Иногда я видел папу в полотняной блузе с ременным поясом, который нагибался, разыскивая плоские камешки — особые ланжероновские камешки, накаленные солнцем,— и, размахнувшись мальчишеским движением, ловко пускал их рикошетом, и они, подпрыгивая по морщинам мелкой воды, уносились из поля моего зрения, производя все убыстряющееся шлепанье, вызывающее в воображении нечто вроде изгиба тела ящерицы, позвонков ее хвоста, которую я недавно видел на скале, поросшей дерезой с сиротски лиловыми цветочками.

Где-то вдалеке басом прогудел пароход.

Ручьи пота текли по моему лицу, и я не мог их вытереть. Распаренное тело, сжатое со всех сторон песком, изнемогало от сладостной спеленатости. Наконец мама посмотрела на часики, и я понял, что сейчас меня вынут из песка. Полусонного, мама извлекла меня из горячей кучи, вытерла полотенцем мое сырое тельце, надела на меня пикейное платьице и соломенную шляпку, а папа выкопал из мокрого прибрежного песка бутылку молока, с приятным звуком открыл пробку и дал мне попить прямо из горлышка.

Потом папа взял меня на руки и понес в гору, а мама шла сзади и щекотала пальцами мою сырую горячую

шейку и время от времени целовала мои ушки — то одно, то другое попеременно,— а я молчаливо улыбался этой материнской ласке, доставлявшей мне неописуемое наслаждение.

...Так мы возвращались домой на Базарную...

Когда мы поднялись в гору по пологому ланжероновскому спуску, то папа поставил меня на тротуар, и дальше до самого дома я уже шел самостоятельно, держась одной рукой за папу, а другой за маму и помаленьку топая своими башмачками по плиткам лавы.

Мы все трое — мама, папа и я — были в соломенных шляпах разных фасонов...

Паломничество в Киев.

Однажды, приехав к бабушке в Екатеринослав на побывку, я нашел большие перемены. Бабушка и все ее многочисленные дочери, сестры моей недавно умершей мамы, стало быть, мои тетки — тетя Наташа, тетя Маргарита, тетя Нина, тетя Клёня,— жили уже в большой, даже огромной богатой квартире со множеством хорошо обставленных, высоких, светлых комнат с паркетными полами, коврами, зеркалами и тропическими растениями — роскошь, которую никак не могли себе позволить бабушка, получавшая пенсию, и ее многочисленные незамужние дочери, служащие в разных учреждениях: в Контроле, в земской управе, на Екатерининской железной дороге и еще где-то.

Такая резкая перемена в жизни бабушки объяснялась тем, что одна из ее дочерей — мамина сестра,— тетя Нина, считавшаяся в семье редкой красавицей, вдруг вышла замуж за инженера-путейца с высоким служебным положением и громадным, как выразилась бабушка, «министерским окладом».

И все волшебно переменилось.

Тетя Нина и впрямь была красавица: тонкая, высокая, стройная, светловолосая, но не банальная, а с какими-то особыми аристократическими чертами лица, носом с небольшой горбинкой и царственной осанкой, но при этом со светлыми глазами доброй, но строгой феи.

Судьба, как видно, обделила всех остальных сестер

как бы нарочно для того, чтобы все самое лучшее, привлекательное отдать тете Нине.

У нас долго хранилась фотография-открытка, где все мои тети были сняты во весь рост, в профиль, расставленные одна за другой в затылок по росту, в пальто и шляпках, с муфтами, в модных юбках со шлейфами, и тетя Нина была среди них самая заметная, самая красивая, самая высокая.

...считалось, правда, что у нее «холодная красота», в которой чувствовалось что-то недоступное...

Возможно, именно это и покорило такого завидного жениха, как Иван Максимович с его «министерским жалованьем» и великолепной внешностью, не уступавшей внешности тети Нины: высокий, выхоленный, с хорошо подстриженной бородкой и усами, с ежиком волос над высоким мраморным лбом, в форменной путейской тужурке с поперечными генеральскими погонами, в заграничных штиблетах, с ледяными голубыми глазами красавца-эгоиста.

В барской семикомнатной квартире, где бабушка уже не была полновластной хозяйкой, а скорее играла роль хотя и уважаемой, но бедной родственницы, что я сразу заметил с чуткостью и наблюдательностью быстро растущего мальчика и что причинило мне душевную боль, не проходящую и до сих пор,— так вот в этой семикомнатной барской квартире Ивана Максимовича я чувствовал себя как-то нерадостно.

Полноватая бабушка с короной своих белых, седых волос и двойным подбородком, как у императрицы Екатерины II, светская провинциальная дама, генеральша, всегда добродушно и весело царившая в своем доме, теперь отошла на второй план по сравнению с Иваном Максимовичем, ставшим истинным хозяином дома, повелителем семьи.

Порядок строго подчинялся Ивану Максимовичу, привыкшему жить на петербургский манер: завтрак в два, обед в семь — уже при лампе,— ужин в одиннадцать. Впрочем, ужинали всегда без Ивана Максимовича. Ежедневно вечером он уезжал в клуб, где играл в винт, и возвращался уже поздней ночью, в час или два, о чем извещал его очень короткий, хозяйский звонок, от которого все в доме просыпались.

Звонок был электрический.

Вообще говоря, по сравнению с Одессой Екатеринослав в техническом отношении был городом более передовым: электрические звонки, телефоны, электрическое освещение в домах и на улице, даже электрический трамвай, нарядные открытые вагончики которого бегали вверх и вниз по главному бульвару города, рассыпая синие электрические искры и наполняя все вокруг звоном и виолончельными звуками проводов. Это объяснялось близостью Екатеринослава к Донецкому бассейну с его сказочными богатствами: каменноугольными шахтами, рудниками, чугунолитейными и вагоностроительными заводами, иностранными концессиями, банками, всяческими торгово-промышленными предприятиями с главным центром в Екатеринославе, который из обыкновенного губернского города вдруг превратился чуть ли не в Клондайк, где можно было загребать золото лопатами.

В квартире Ивана Максимовича тоже, разумеется, было электрическое освещение и телефонный аппарат, стоящий в кабинете хозяина на зеленом сукне министерского письменного стола.

Ничто уже не напоминало скромный быт, заведенный при покойном дедушке, когда вечер наступал рано и небольшие комнаты провинциальной квартиры отставного генерала освещались керосиновыми лампами или парафиновыми свечами в закапанных медных подсвечниках.

...свечи покупались в бакалейной лавочке в виде четвериков или пятериков, завернутых в толстую синюю «свечную» бумагу...

Теперь комнаты были залиты безжизненным электрическим светом, к которому я никак не мог привыкнуть.

Иногда в доме раздавался телефонный звонок, и я слышал, как Иван Максимович в своем кабинете разговаривал по телефону, строго отдавая какие-то служебные распоряжения.

Длинный стол накрывался в столовой на десять или двенадцать, как говорила бабушка, кувертов, блестели серебряные вилки и ложки, не такие, как у нас в Одессе, ветхозаветные, а в стиле модерн, с фигурными ручками; хрустальные подставки для ножей и вилок и солонки сверкали радужными вспышками, и посредине стола находилось узкое блюдо с великолепно разделанной астраханской

селедкой, покрытой кружочками лука, похожего на цыганские серьги, и фарфоровая саксонская дощечка с куском швейцарского сыра, покрытого стеклянным колпаком, который в начале обеда Иван Максимович собственноручно снимал и резал сыр специальным месяцеобразным ножиком с острыми зубцами на утолщенном конце, как бы совершая некий обряд начала обеда, причем его безукоризненно накрахмаленные манжеты с золотыми запонками издавали респектабельный звук, весьма родственный звуку развертываемой туго накрахмаленной салфетки, закладываемой за борт жилета.

В этот раз мы приехали к бабушке в Екатеринослав втроем: папа, Женя и я. Папа давно уже мечтал посетить Киев, поклониться его святыням, побывать в пещерах. Теперь мы втроем предприняли это паломничество. Папа хотел прокатиться вверх по Днепру на пароходе до Киева, что можно было сделать лишь из Екатеринослава, так как ниже еще существовали знаменитые днепровские пороги, мешавшие сквозному судоходству.

Погостив некоторое время у бабушки, мы собирались проехать от Екатеринослава до Киева на пароходе, пожить немного в Киеве, а затем тем же путем вернуться в Екатеринослав, а оттуда уже на поезде — домой в Одессу.

Так все и произошло.

Поездка вышла на редкость удачной, и папа был очень рад, что ему удалось показать нам величие русской природы, древнейший русский город — источник православной веры,— наконец, великую реку Днепр, так чудно воспетую Гоголем.

Пароход шел по широкой реке, навстречу попадались буксиры, тащившие за собою длинные караваны больших крытых барж, так называемых «берлин».

...«В широком русле близ соснового леса река свои воды несла. Но тягостный путь был назначен судьбою, и много страдала она. Порою по ней проходили громады, по десять берлин за собою таща; порою была вся запружена лесом, которому нет и конца.— Скажи же, зачем ты свой путь совершаешь? Зачем твои воды несут корабли? Зачем не вступаешь в борьбу с человеком? Скажи мне, поведай стремленья свои. И тихо на это река отвечала: — Путем трудовым я иду и в море безбрежном за жизнь трудовую награду найду!..»

Временами вся река была сплошь покрыта плотами, что делало ее похожей на бесконечную движущуюся бревенчатую деревенскую улицу с избушками плотовщиков, дымящимися кострами и развешанным бельем.

В иных местах на перекатах босой матрос мерил глубину реки, опуская в воду шест с делениями и выкрикивая непонятные для меня цифры:

— Восемь! Десять! Шесть! Четыре! Опять четыре! Еще раз четыре! Семь!

А капитан в белом кителе то и дело через особую переговорную трубку отдавал со своего мостика куда-то вниз, в машинное отделение, команду, и колеса парохода то бурно взбивали мутную зеленовато-кофейную днепровскую воду своими красными плицами, то вдруг совсем останавливались, даже начинали очень медленно двигаться в обратную сторону, и тогда пароход бесшумно, как бы затаив дыхание, скользил над отмелью, просвечивающей сквозь тонкий слой рябой воды, коричневатой с примесью сильно разбавленной синьки.

Меня поражало, что, когда пароход проходил под низким мостом, его мачта и труба отгибались назад, и это зрелище вызывало тем большее удивление, что густой пароходный дым каким-то образом по-прежнему продолжал выходить из как бы сломанной трубы, хотя казалось, что он вот-вот вырвется из нижней части трубы и покроет палубу клубами каменноугольной сажи.

Но вот мост оставался позади, мачта и труба медленно выпрямлялись, принимая прежнее положение, и снова вокруг был широкий речной простор: один берег высокий, обрывистый, другой низкий, луговой, далеко видный,— в небе яркое солнце и летние русские облака, белоснежные сверху и подсиненные снизу, и шум пароходной машины, шлепанье по воде плиц, мужественный голос капитана, направленный в медную переговорную трубку, его крахмальный китель и жесткие боцманские украинские усы.

Впервые я ощущал, как велика, необъятна наша родина, всего лишь ничтожно малую часть которой я увидел: Екатеринослав, новороссийские степи, Днепр с берлинами и плотами, железные косорешетчатые мосты, иногда на берегах захолустные городки, деревни с камышовыми или соломенными крышами, чисто выбеленные хатки, их приветливые окошечки, широко обведенные синькой, глиняные горшки и поливенные глечики на кольях плетней, подсолнечники, похожие на святых с желтым сиянием над их

темными круглыми ликами, телесно-розовые, винно-красные, алые, желтые цветы мальв вдоль плетней, вишневые садочки, уже обрызганные кровинками поспевших ягод, длиннорогие белые волы — как все это было для меня ново, как волновало скрытое до сих пор чувство родины, ее необъятности, потому что ведь где-то — я знал — были пространства Центральной России, финские хладные скалы, стены недвижного Китая, были еще Архангельск, Уральский хребет, Сибирь, Северный Ледовитый океан, Саянские горы, озеро Байкал, Владивосток, куда на поезде надо было ехать чуть ли не две недели.

...особенно врезалось мне в память раннее утро, когда папа разбудил нас, велел поскорее одеваться и идти вверх на палубу. На палубе, еще сырой от ночной росы, собрались пассажиры и смотрели на левый, высокий берег Днепра, где над холмом виднелся высокий деревянный крест. Папа снял свою соломенную шляпу и сказал голосом, в котором дрожала какая-то глухая струна:

— Дети, снимите шляпы, поклонитесь и запомните на всю жизнь: это крест над могилой великого народного поэта Тараса Шевченко.

Мы с Женей сняли свои летние картузы и долго смотрели вслед удаляющемуся кресту, верхняя часть которого уже была освещена телесно-розовыми лучами восходящего солнца.

Некоторые пассажиры крестились, некоторые шептали вслед уплывающему вдаль кресту:

— Вечная память... вечная память...

Некоторые стояли с низко опущенной головой, а капитан, сняв фуражку, потянул за проволоку, и длинный, густой пароходный гудок траурно заколебал утренний воздух, и еще долго звук его отдавался в высоких обрывах правого берега и, ослабевая, бежал по днепровской воде.

Мою душу охватил восторг: впервые в жизни я понял, всем своим существом ощутил, что такое настоящая слава поэта, отвергнутого государством, но зато признанного народом, поставившим над его скромной могилой высокий крест, озаренный утренним солнцем и видимый отовсюду всему миру...

...Это было одно из самых сильных впечатлений моего детства, уже в то время переходящего в раннюю юность...

Киев тоже навсегда остался в моем сердце таким, каким я увидел его в то лето.

Сначала мы заметили на высоком берегу белые многоярусные колокольни с золотыми шлемами Киево-Печерской лавры. Они тихо и задумчиво, как монахи-воины, вышли к нам навстречу из кипени садов, и уже больше никогда в жизни я не видел такой красоты, говорящей моему воображению о Древней Руси, о ее богатырях, о пирах князя Владимира Красное Солнышко, о подвигах Руслана, о том сказочном мире русской истории, откуда вышли некогда и мои предки да, в конечном счете, и я сам, как это ни странно и даже жутко вообразить.

Папа снял шляпу, оставившую на его высоком лбу коралловый рубец, скинул пенсне и, вытирая носовым платком глаза, сказал нам, что мы приближаемся к Киеву, и назвал его с нежной улыбкой, как родного, как своего прапращура:

— Дедушка Киев.

Прежде чем пароход причалил к деревянной пристани, мы увидели на очень высоком берегу, среди каштанов уже городского сада Владимирской горки, памятник крестителю Руси князю Владимиру и его фигуру, поднявшую над Подолом, над рекой, над синими заднепровскими далями стройный чугунный крест, который, впрочем, произвел на меня менее сильное впечатление, чем деревянный крест над могилой Тараса Шевченко.

Несколько дней, проведенных нами в Киеве, оставили в моей памяти представление как бы о некоем паломничестве по святым местам, что вполне соответствовало давней мечте папы.

Наше паломничество, несмотря на всю свою утомительность, несмотря на страшную июльскую жару, бесконечное хождение из конца в конец по раскаленному большому каменному городу среди грохота ломовиков и дробного щелканья пролеток по булыжной мостовой, где варился асфальт, распространяя вокруг мутно-синие облака удушливого чада, несмотря на строительные леса во многих местах, преграждавшие дорогу,— Киев бурно богател и строился, и мы с удивлением провинциалов задирали головы вверх, считая этажи новых, кирпичных домов, нередко восьми- и даже десятиэтажных,— несмотря на все это, паломничество наше произвело на меня неизгладимое впечатление, с новой силой пробудив в моей душе религиозное чувство, которое стало по мере моего возмужания

заметно ослабевать. Впрочем, это уже не было то возвышенное, чистое, наивно-детское чувство веры во что-то прекрасное, вечное, божественное, спасительное, а скорее действовало на воображение своей грубой, пышной и таинственной церковностью, почти оперного зрелища с его хорами, огнями, золотыми декорациями царских врат и хоругвями, лиловыми, какими-то грозовыми облаками росного ладана и парчовыми одеждами священнослужителей. А не то тихое, щемящее течение великопостной всенощной в маленькой церковке с узкими окнами, за которыми так грустно и вместе с тем так любовно синеет весенний вечер со слезинкой первой звезды.

В киевских соборах с византийским великолепием их мерцающих мозаик непрерывно шли службы, пелись молебны у серебряных рак (гробов) с мощами святых; соборы были переполнены толпами богомольцев, собравшихся сюда со всех концов России, для того чтобы приложиться к высохшей, куриной лапке угодника и поставить красную или зеленую свечу у Варвары-великомученицы, или святителя Николая, или какой-то усекновенной, мироточивой главы, откуда действительно капало душистое масло.

Свечи пылали золотыми кострами у каждой иконы, украшенной ризами, усыпанными рубинами, сапфирами, изумрудами, алмазами, крупным и мелким жемчугом, к которым так не шли многочисленные аляповатые искусственные цветы из папиросной бумаги.

Здесь впервые я увидел разноцветные церковные свечи — зеленые или красные,— перевитые тонкими ленточками сусального золота. Мы покупали эти свечи и, подходя на цыпочках вслед за папой, истово крестясь, зажигали их льняные необожженные фитили от других свечей и ставили перед серебряными раками угодников и перед древними иконами, вделанными в ярко позолоченный иконостас.

Мы отстояли, наверное, четыре или пять молебнов, и папа подал две просфоры — одну за здравие, а другую за упокой. Высокий черный монах в железных очках, стоявший за конторкой, подал папе чернильницу и ручку с пером, и папа своим бисерным почерком аккуратно написал на подрумяненных подовых корочках просфорок, похожих на маленькие одноглавые древние-предревние церковки, сделанные из белого крутого теста, сначала о здравии:

...Елизаветы, Марии, Маргариты, Наталии, Клеопатры, Нины, Ивана, Петра, Валентина, Евгения...

А потом, с покрасневшими грустными глазами, так же аккуратно макая перо в чернильницу, написал длинный столбик имен за упокой усопших рабов божьих:

...Евгении, Алексея, Павлы, Михаила, Иоанна, Василия и еще множества незнакомых для меня людей, которых уже не было в живых на белом свете, а остались только черные букашки букв.

После литургии мы получили обратно свои просфорки с треугольными выемками-оспинками от вынутых частиц, и папа завязал эти пропахшие ладаном и мятой просфорки в чистый носовой платок.

...мы остановились в какой-то особенной, монастырской гостинице, где монах приносил нам каждое утро большой графин рыжего монастырского удивительно вкусного кваса, где коридоры были тихи и безлюдны, а кровати в нашем номере, или даже, кажется, «келье», застланы серыми байковыми одеялами, и перед иконой горела лампадка, а платить надо было, по словам монаха-послушника с русыми кудрями и конопатым носом

— сколько вам будет по средствам,—

и папа платил в день семьдесят пять копеек за нас троих, хотя мог бы ничего не платить...

В четыре часа утра нас будили мощные звуки монастырского колокола, призывающего к ранней обедне, и в окно заглядывали ветки пирамидальных тополей, и виднелся мощеный двор, по которому по разным направлениям не спеша двигались черные фигуры монахов, виднелись также выбеленные одноэтажные флигели со свежевыкрашенными зелеными крышами, и во всем этом была для меня острая новизна, необъяснимая, грустная прелесть.

Разумеется, папа повез нас в знаменитые Киевские пещеры, где в толпе простонародья с тонкими свечками в руках мы спустились в бесконечно длинный, глубокий, очень узкий сухой подземный коридор с естественно закругленными глиняными сводами, где время от времени в стенах (всегда как-то пугающе внезапно) открывались ниши, в которых стояли гробы с мощами угодников, завернутых в красные канаусовые саваны, под которыми угадывались части окостеневшего человеческого тела: руки, высоко сложенные на груди, ступни ног, круглая голова с острым выступом носа, слегка приподнятая на кумачовой подушке.

Монах-проводник со свечой останавливался возле каждой ниши и заученно пояснял столпившимся вокруг него паломникам — мужикам в сапогах и лаптях и бабам в черных платочках, с котомками за спиной — краткую историю угодника.

Больше всего меня поразил гроб с медной таблицей, где было выгравировано, что здесь похоронен «летописец Нестор».

Мне всегда казалось, что летописец Нестор, о котором мы проходили в истории, это личность скорее легендарная, чем на самом деле существовавшая, выдуманная историками специально для нас, мальчиков. И вдруг передо мной оказался его большой дубовый гроб во всей своей подлинности: стоило лишь взломать крышку — и можно было собственными глазами увидеть высохшее тело или, во всяком случае, скелет с громадной сухою белой бородой самого летописца Нестора — его подлинные кости, его подлинную бороду! — моего прапрапрапращура, давно уже превратившегося в легенду и вдруг появившегося из невероятной глубины веков как вполне материальное доказательство своего существования и существования того дивного, сказочно-древнего, но подлинного мира первобытной Руси, откуда мы все произошли, чувство, так удивительно переданное Пушкиным в его Пимене.

...Недаром многих лет свидетель господь меня поставил и книжному искусству вразумил... Да ведают потомки православных... Еще одно, последнее сказанье...

Через несколько дней, переполненные впечатлениями, нагруженные сувенирами Киево-Печерской лавры — цветными бумажными иконками, отпечатанными в заведении Фесенко, лубочным изданием печерского патерика, кипарисовыми четками, печатными колечками святой Варвары-великомученицы, бутылочками со святой водой, зелеными и красными свечками, нательными крестиками из синей финифти на серебряных цепочках, стереоскопом, через который можно было рассматривать разноцветные открытки с видами Киева и Печерской лавры, деревянными ложками с ручками, вырезанными в виде кисти руки с пальцами, сложенными как для крестного знамения, и тому подобным,— мы возвращались вниз по Днепру в Екатеринослав, и вдруг я с новой силой понял, что, в сущности, бабушкиного дома уже не существует, а есть барская

квартира Ивана Максимовича, который мне с первого взгляда не понравился, а теперь я его почему-то просто невзлюбил без всяких видимых причин.

Впрочем, хотя и не было прямых причин, был бессознательно ненавистный мне тип богатого, властного, чиновного человека — даже, как говорили, красавца мужчины,— по сравнению с которым мой папа выглядел совсем незаметным, серым, малосостоятельным.

Мне даже стало казаться, что красавица тетя Нина вышла замуж за Ивана Максимовича по расчету, для того чтобы поддержать большую, почти бедную семью, живущую на пенсию и на ничтожное жалованье служащих теток.

Я даже выдумал, что бедная тетя Нина «принесла себя в жертву».

Между тем вряд ли это была правда. Иван Максимович был хороший, положительный муж, и, как я теперь понимаю, тетя Нина очень любила его. А почему бы, в самом деле, им было и не любить друг друга? Они были вполне подходящая пара — он красивый путейский инженер, начальник вагонного отдела Екатерининской железной дороги, она дочь отставного генерала, «ее превосходительство», как писалось перед ее именем на конвертах, красавица с лазурными жилками на мраморных висках, с узкими аристократическими руками и совсем еще не старая, лет тридцати, не больше...

Граммофонные иголки.

Иван Максимович, как говорила бабушка, обожал Нину, покупал ей парижские наряды, драгоценные кольца и брал с собой в служебные командировки в Санкт-Петербург, куда они отправлялись курьерским поездом в купе первого класса с синими сетками для багажа и двумя спальными местами в длинном пульмановском вагоне с начищенным до солнечного блеска медным вензелем императрицы Екатерины II, в честь которой была названа железная дорога.

Но именно купе с двумя спальными бархатными диванами, и электрическое освещение в вагоне, и название «пульман», и то, что путешествие ничего не стоило, так как Иван Максимович имел право на бесплатные билеты и даже имел собственный вагон, в котором объезжал свою

железнодорожную линию,— все это возбуждало во мне странную детскую ненависть к Ивану Максимовичу, все раздражало меня в нем, даже щеточка светло-золотых волос над лбом.

В особенности же раздражала одна странность, вернее мания, Ивана Максимовича: он был любитель птиц, которых без разбору покупал в большом количестве и держал в особой просторной комнате, рядом со своим кабинетом.

Однажды я заглянул в эту комнату и был поражен ее видом: она была наполнена множеством разных птиц от простых уличных воробьев и ворон до бразильских попугаев и крошечных колибри. Все эти птицы беспорядочно летали, бегали, кричали, клевали корм, ссорились, дрались, брызгались водой. Пух и перья кружились по комнате; отличные дорогие обои были загажены и порваны; паркетный пол покрыт известковыми кляксами — испражнениями птиц,— шелухой корма, вымочен водой; больная взъерошенная цапля стояла в углу, как будто ее наказали; пара бирюзовых попугайчиков-неразлучников с маниакальным постоянством делала круги, ни на миг не отделяясь друг от друга; дурным голосом кричал какаду; тяжелый воздух был наполнен невыносимой вонью, распространявшейся по всей богатой квартире.

...бабушка прошла мимо меня в своих мягких домашних шлепанцах, зажав ноздри пальцами, и на ее добром пухлом лице выражались одновременно и гадливость и покорность судьбе...

С этого времени я еще сильнее возненавидел Ивана Максимовича, заставившего и бабушку, и всех моих теть, и свою красавицу жену Нину переносить все последствия его глупейшей мании: малейший намек на то, что птицы изгадили большую хорошую комнату, провоняли дом и по ночам будят всех своими разнообразными криками, шипеньем, воплями, приводил Ивана Максимовича в молчаливое, холодное бешенство, и щеточка желтых волос над его мраморным лбом делалась как бы еще жестче и непреклоннее.

Даже красавица Нина боялась поднять голос против птиц и покорно исполняла роль любящей жены, и я жалел ее — такую красивую и такую несчастную.

Вероятно, Иван Максимович чувствовал мою неприязнь и отвечал мне тем же: иногда я ловил на себе слишком внимательный и недобрый взгляд его голубых глаз.

Это не могло не кончиться скандалом.

В кабинете Ивана Максимовича стоял граммофон — вещь по тому времени редкая. Граммофон этот был дорогой, заграничный, не похожий на те сравнительно дешевые рыночные граммофоны с размалеванной широкой трубой, напоминающей какой-то фантастически увеличенный цветок вроде петунии. Труба граммофона Ивана Максимовича была длинная, узкая, никелированная и держалась на специальной, довольно сложной подставке, а сам ящик был из тяжелого красного дерева, и на нем виднелась марка всемирно известной граммофонной фирмы «Голос моего хозяина» с изображением легавой собаки, заглядывающей в трубу граммофона, думая, что там сидит ее хозяин.

Иногда Иван Максимович педантично заводил свой граммофон, и тогда квартира наполнялась звуками шаляпинского баса, собиновского тенора или цыганским, удалым голосом знаменитой Вяльцевой, певшей:

...«Гай да тройка, снег пушистый, ночь морозная кругом, светит месяц серебристый, мчится парочка вдвоем...»

Эту парочку вдвоем я представлял себе в виде Ивана Максимовича и тети Нины.

Разумеется, прикасаться к граммофону строжайше запрещалось, так же как и входить без разрешения в кабинет, где на шкафу стояла модель паровоза.

Нечего и говорить, что постоянно запертая дверь кабинета притягивала меня как магнит. Однажды, улучив удобную минуту, я вошел туда без спросу и, думая, что Ивана Максимовича нету дома, стал осторожно хозяйничать в его кабинете. Сначала я покрутил рубчатую рукоятку большого настольного телефона и послушал, как звенит телефонный звонок, но снять тяжелую эбонитовую трубку с высокой никелированной вилки не решался. Затем я полюбовался фабричной маркой на черной коробке телефонного аппарата: две скрещенные молнии в золоченом ромбе. После этого я полез на шкаф и потрогал модель паровоза. К граммофону я не решался прикоснуться, боясь сломать мембрану, где в слюдяном кружке с восковой капелькой в центре была как бы заключена тайна рождения человеческого голоса, снятого с шипящей вращающей-

ся черно-блестящей пластинки острой иголочкой, слегка напоминающей сапожный гвоздик.

Признаться, один раз я потрогал пальцем иголку, вставленную в мембрану, и уловил шуршание слюды, в десять раз усилившей звук прикосновения шершавой кожи моего пальца к острию иголки.

Новые, еще не игранные иголки хранились в жестяной коробочке, уложенные в конвертики из черной бумаги. На коробочке было изображение все той же легавой собаки, слушающей доносящийся из трубы граммофона «голос ее хозяина».

А уже отработанные, притупившиеся иголки были целой горкой насыпаны в медную пепельницу, и мне захотелось убедиться, насколько притупились их острия. Я протянул руку к пепельнице, как вдруг совсем близко от своего лица увидел жесткий ежик и ледяные глаза Ивана Максимовича, грозно смотревшего на меня из-под сдвинутых прямых бровей.

— Не смей трогать мои вещи! — сказал Иван Максимович и крепко схватил мою руку в запястье.

Я попытался вырваться, но пальцы Ивана Максимовича были как железные. Он повернул кисть моей руки и довольно чувствительно хлопнул по ней своей тяжелой рукой с тонким модным обручальным кольцом.

Меня еще никогда никто из посторонних взрослых не шлепал. Я почувствовал такую ярость, что чуть не задохнулся. Кровь бросилась мне в лицо, застучала в висках. Я вырвался из цепких пальцев Ивана Максимовича и, с ненавистью глядя на его плоский, как щетка, ежик, на его холеные золотистые усы и бородавку на щеке, на его ненавистный, ровный, как доска, лоб и скошенный затылок, даже не закричал, а заорал так, что сразу же осип:

— Вы не имеете права драться, дурак!

Услышавши это слово, Иван Максимович, в свою очередь, побагровел, и неизвестно, чем бы кончилось это столкновение, если бы не вбежала, переваливаясь, как утка, бабушка и не уволокла меня из кабинета Ивана Максимовича в свою комнату, где так уютно пахло чистоплотной, доброй старушкой. Бабушка сделала все возможное, чтобы успокоить меня. Она гладила меня по голове, целовала мою вспотевшую шею, наконец, велела кухарке принести клубничного варенья и сбегать в лавочку за сифоном зельтерской воды. Бабушка знала, что больше всего на свете я

люблю ледяную шипучую воду со свежим, только что сваренным клубничным вареньем.

Обливаясь злобными слезами и пуская пузыри, я пил из стакана бурлящую розовую смесь, покрытую легким слоем вкусной пены, выделявшей углекислый газ со свинцовым привкусом, так приятно шибавший в нос. Я пил божественный напиток, вытирая ладонью слезы, но моя злоба на Ивана Максимовича долго не проходила, и мне было горько и стыдно, что бабушка не сделала Ивану Максимовичу выговора, не выгнала его из дому.

Не посмела!

Бедная моя, бедная бабушка, попавшая в зависимость от этого подлого человека. Еще хорошо, что не было дома папы. Можно себе представить его трясущиеся губы, прыгающую бородку и напряженные вятские скулы, если бы он узнал, что его сына ударили. Он мог бы сделать что-нибудь ужасное.

Вечером за обедом, нарезая швейцарский сыр с большими слезящимися дырами, Иван Максимович с деланным добродушием как бы вскользь рассказал о нашей стычке, представив дело так, что всего лишь слегка хлопнул по моей руке, опасаясь, чтобы я нечаянно себя не поранил граммофонными иголками.

Всем стало неловко, а тетя Нина даже покраснела. Однако Иван Максимович промолчал, что я назвал его дураком, хотя я понимал, что он мне этого никогда в жизни не простит, так же точно как и я никогда в жизни не прощу ему, что он посмел меня ударить.

На первый взгляд эта история кончилась мирно и была забыта. Но лишь на первый взгляд. Для меня с тех пор Екатеринослав и бабушкин дом потеряли всякую прелесть. Возненавидев Ивана Максимовича, я уже не мог наслаждаться жизнью в Екатеринославе с его жужжащими вагончиками электрического трамвая, с его тенистым старинным потемкинским садом, где на столетних пнях сидели, сложив крылья, большие бабочки «адмиралы»; с Историческим музеем, возле которого вкривь и вкось стояли скифские каменные бабы с плоскоовальными, таинственно улыбающимися лицами; с обрывом над Днепром, где позади дома стояла, как бы повиснув над кудрявой зеленой пропастью, романтичная деревянная беседка, куда я уже несколько раз бегал на свидание с одной соседской девочкой в соломенной шляпке с голубым бантом,— забыл уже, как ее звали...; с далекими багровыми, зловещими отсветами в

черном летнем небе, когда за Чечелевкой из доменной печи лили чугун; с ночными звонками Ивана Максимовича, возвращавшегося из клуба; с электрическим освещением и телефоном; с бегущим звуком колотушки ночного сторожа; с небольшими веревочными сетками вроде вуалеток, пропитанных гвоздичным маслом, которые екатеринославцы надевали поверх шляп в виде предохранения от злых днепровских комаров...

...теперь для меня от этой восхитительной жизни ничего не осталось. Она была в один миг разрушена грубостью Ивана Максимовича, а потом разбита временем, как древняя мозаичная картина, обнаруженная археологами при раскопках какого-то древнего византийского храма.

И лишь через многое множество лет, теперь, уже глубоким стариком, глядя в окно на туман, съедающий снег среди сосен, елей и берез Подмосковья, я, быть может, делаю отчаянные попытки хоть кое-как сложить осколки своей разбитой временем жизни в одну целую картину...

Беспроволочный телеграф.

И вот я опять спускаюсь в глубины своей памяти, как бы переходя из слоя в слой времени. Папа явился поздно, когда я уже лежал в кроватке, закрыв глаза и делая вид, что сплю. Мама ожидала папу в столовой, облокотясь на круглый обеденный стол, и читала книгу, и я чувствовал, что она с трудом скрывает нетерпение, прислушиваясь к шагам на лестнице. Я знал, что папа пошел в «Императорское Российское техническое общество», где два раза в неделю вечером он преподавал русский язык и географию в особой, так называемой «школе десятников», где учились десятники, то есть старшие рабочие, руководители артелей, или, говоря по-теперешнему, прорабы.

Но сегодня папа пошел не на урок. Сегодня в помещении «Императорского Российского технического общества» должен был состояться в присутствии ученых, педагогов и представителей городских властей опыт передачи телеграфной депеши без проволоки.

Я был очень маленький, но уже знал, что телеграммы каким-то образом идут по проводам, по проволоке. Я всюду видел столбы с фарфоровыми изоляторами и протянутую между ними медную телеграфную проволоку. Мне

очень нравились эти проволоки: то опускаясь, то поднимаясь, они бежали в окне вагона, когда нам случалось ехать в Екатеринослав к бабушке. Я не отрывал от них глаз, желая увидеть, как по ним бежит телеграмма: заклеенная в виде конвертика бумажка, на которой были налеплены ленточки с печатными буковками депеши.

Мне никогда не удавалось уловить таинственный миг, когда депеша скользила по проволоке между столбами, проплывающими в окне вагона.

Слова «телеграмма» и «депеша» заключали в себе нечто пугающее, траурное, причастное к смерти. Мне казалось, что в них непременно кто-то извещает кого-то о смерти близкого родственника, как в той телеграмме, которую некогда почтальон с черной сумочкой на поясе принес к нам в дом и в которой сообщалось о смерти дедушки от удара. Эта телеграмма, несомненно, сначала летела каким-то образом по проводам из Екатеринослава в Одессу над полями и холмами, пока не попала сначала в зловещечерную сумочку почтальона, а потом в дрожащие, белые пальцы мамы.

Так или иначе я твердо знал, что телеграммы до сих пор шли по проволоке. Теперь же произошло нечто крайне меня удивившее: оказывается, появился беспроволочный телеграф и теперь телеграммы будут идти без проволоки.

А в таком случае, как?

Это было настолько невероятно, что я даже думал: а не подшутил ли папа надо мною и мамой, об'явив, что идет смотреть беспроволочный телеграф, а на самом деле поехал на уроки и привезет мне каких-нибудь гостинцев: шоколадную бомбу в серебряной бумаге или маленькое лубяное ведерко шоколадной халвы фабрики Дуварджоглу.

Это иногда бывало...

В столовой пробило девять — время для меня глубоко ночное. Мама зевнула и, закинув руки за голову, сладко потянулась, хрустя корсетом.

Я продолжал притворяться, что сплю, и в конце концов, вероятно, заснул бы па самом деле. Но как раз в это время в передней послышалось шуршание проволоки и дзинькнул колокольчик на спиральной пружинке.

Мама бросилась в переднюю, и я сразу же услышал перебивающие друг друга, оживленные голоса моих родителей, а через минуту папа уже стоял возле моей кроватки,

наклонив ко мне свое родное, доброе лицо. Заметив, что я не сплю, он спросил:

— А ты почему бодрствуешь?

— Он в самом деле беспроволочный? — спросил я.

Мои родители засмеялись, и мама сказала папе:

— Нет, Пьер, я все-таки никак не могу поверить: неужели не было совсем никакой проволоки?

— Вообрази себе! — ответил папа.— Никакой!

И они оба — папа и мама — стали, перебивая друг друга, разговаривать. Мама все никак не могла поверить, чтобы телеграмма могла идти без провода, а папа говорил, что собственными глазами видел это, и рассказывал, в чем состоит опыт.

Так как однажды папа взял меня с собою в школу десятников, где мне подарили множество обрезков рисовальной бумаги, то я имел представление о том помещении, где производился, по словам папы, опыт беспроволочного телеграфа.

Я представлял себе длинные казенные коридоры, както темновато освещенные газовыми горелками, я даже чувствовал кислый запах светильного газа, я видел классы, в которых учились десятники, и мне казалось странным, что эти взрослые, иногда усатые и бородатые люди сидят, как дети, за школьными партами и крупными буквами пишут на грифельных досках слова, которые им диктует папа.

Опыт, о котором так оживленно рассказал папа, заключался в том, что в одном из самых дальних классов в конце коридора установили небольшую тумбочку с телеграфным аппаратом, а другую тумбочку с другим телеграфным аппаратом поставили в противоположном конце коридора и эти два телеграфных аппарата ничем между собою не соединялись, между ними не было проволоки.

— Но, может быть,— сказал я,— они куда-нибудь проволоку спрятали?

Папа и мама рассмеялись, и папа продолжал рассказывать, как телеграфист отстукал на одном аппарате депешу и как эта депеша в тот же миг сама собой отстукалась на другом аппарате в конце коридора.

— Без проводов? — воскликнула мама, всплеснув руками.

— Без проводов! — гордо ответил папа с таким видом, как будто бы это он сам изобрел беспроволочный телеграф.

...я живо вообразил оба телеграфных аппарата с медными колесами, на которых были намотаны бумажные ленты, представил себе электрические батареи Лекланше, питающие телеграфные аппараты, представил себе двух телеграфистов — одного передающего депешу, а другого принимающего эту депешу в виде ряда точек и тире на длинной бумажной ленте, представил себе комиссию, состоящую из строгих господ в сюртуках и мундирах, и среди них моего папу; они смотрят во все глаза, чтобы не было какого-нибудь мошенничества, и не могут поверить, что телеграмма пришла сама собой, без проволоки... Тогда они начинают тщательно искать проволоку: не спрятали ли ее куда-нибудь под пол, под обои и незаметно соединили между собой оба телеграфных аппарата. Но нет! Проволока явно отсутствует, а для большей убедительности тумбочки поставлены на особые стеклянные ножки.

Папа все это рассказывает маме. Мамино лицо порозовело от возбуждения, от гордости за русскую науку, за морского инженера Попова, который впервые в мире открыл принцип беспроволочного аппарата.

Тогда это казалось чудом.

Папа и мама пили в столовой чай, не уставая восхищаться новым изобретением, величием современной науки, беспредельной мощью человеческого разума, гением русского народа, и я все время слышал фамилию Попова. Я был взволнован не меньше папы и мамы и все никак не мог наглядно представить себе телеграмму, которая сама собой, без проволоки, прямо по воздуху несется из Екатеринослава в Одессу над степями, курганами и нивами Новороссии, а в окне вагона — ни одной проволоки!

...поддавшись волнению мамы и папы, я чувствовал, что в мире произошло событие, которое каким-то образом изменит всю нашу жизнь. «Теперь все пойдет по-другому!» — думал я. Но проснувшись утром, как всегда от солнечного луча, пробивавшегося в щель ставни, я увидел хорошо мне знакомую комнату, в которой ничего не изменилось: по-прежнему стояли у стены две мои лошадки Лимончик и Кудлатка — Лимончик на колесиках, а Кудлатка на качалке,— по-прежнему в углу стоял мамин туалетный столик, обитый веселеньким ситцем, по-прежнему в столовой темнели коричневые ширмы, за которыми тихо,

неслышно жила бабушка — папина мама,— по-прежнему за окнами была видна Базарная улица с телеграфными столбами, белыми баночками изоляторов и сетью телеграфных проводов...

И тем не менее я с ужасом чувствовал, что в беспредельном пространстве мира все время идут и идут — без проволоки, а сами по себе,— идут и идут какие-то траурные депеши.

Вечеринка.

Вижу в передней большой поднос, тесно уставленный чайными стаканами. Каждый стакан на четверть налит густой, как смола, заваркой. Тут же в углу кипит самовар, из всех своих отверстий выпуская струи и клубы пара, от которого зеркало на стене ничего уже не отражает, так как его стекло покрыто матовой пеленой пара. Скоро из этого самовара дольются крутым кипятком стаканы, и они станут янтарно-красного цвета, и вокруг распространится запах чая. Еще я вижу аппетитные франзоли, много нарезанной чайной колбасы с белыми пятнышками сала — чудесной, обожаемой мною, свежей, душистой, влажной чайной колбасы, с которой так приятно сдирается прозрачная кожица. Вижу я также в стеклянном блюдечке ошпаренный кипятком ярко-желтый лимон и возле него специальную роговую пилочку. И еще я вижу сливочное масло в фаянсовой масленке и горку ярко-белого, яркого до синевы наколотого сияющего сахара-рафинада.

На нашей маленькой стенной вешалке навешано множество тяжелых драповых пальто и черных крылаток, но крючков не хватает, и горы пальто навалены на подзеркальный столик, на табуреты, на стулья, даже на кресла в гостиной. Среди мужских пальто попадаются бархатные дамские салопы, ротонды, клетчатые шотландские накидки, капоры и каракулевые шапочки пирожком. На полу — ряды мелких и глубоких резиновых калош на свекольно-красной суконной подкладке с медными буковками.

Из столовой слышится говор гостей, женский смех, басовитые, как мне кажется — «бородатые» звуки оживленной мужской речи, среди которых я узнаю родные голоса мамы и папы.

Кухарка в новой, еще ни разу не стиранной кофточке с оборками, в новом коленкоровом фартуке наскоро укладывает меня в постельку, крестит и шепотом внушает, чтобы я спал, потому что у нее много дела — подавать чай, выносить окурки.

В столовой курят, и в нашем «некурящем доме» табачный дым как-то особенно волнует меня.

Я знаю, что в столовой, где вокруг стола сидят гости и о чем-то горячо спорят, перебивая друг друга, через некоторое время начнут играть на пианино. Во всяком случае, еще не обожженные свечи в подвижных пианинных подсвечниках по обеим сторонам нотной подставки уже приготовлены; кипа нот лежит на крышке инструмента рядом с деревянной пирамидкой метронома.

Этот прибор, чем-то отдаленно напоминавший гробик, всегда казался мне волшебным: стоило повернуть маленький медный крючок и отнять переднюю хрупкую, как бы сделанную из какого-то «музыкального дерева» дощечку крышечки, как сразу же обнаруживался весь простой механизм метронома — маятник, перевернутый низом кверху, где на конце его узенькой металлической линеечки находился треугольный грузик, дающий размах маятнику. Надо было лишь качнуть грузик — и маятник приходил в движение, отсчитывая время четким металлическим пощелкиванием — словно бы контролировал его течение.

Грузик метронома можно было передвигать по насечкам шкалы — вверх и вниз. Когда грузик находился на самой высшей точке, размах маятника был очень широким, томительно медленным, как бы движущимся туда и назад с большой неохотой, и между пощелкиванием метронома ложились неестественно длинные отрезки времени.

Чем ниже спускался грузик вниз по шкале, тем быстрее размахивался маятник, а когда грузик доходил до самого низа, до последней насечки, то стрелка метронома качалась с тревожной быстротой, как пульс человека, у которого температура сорок.

...с того дня, как я познакомился с метрономом, время как бы навсегда потеряло для меня свое плавное однообразие, незаметное, неощутимое движение, и я стал ощущать то его стремительную, лихорадочную быстроту, то мучительную замедленность — в зависимости от состояния своего организма или мыслей, одолевавших меня. Когда

я заболевал инфлюэнцей или горячкой и, как папа выражался, «горел», то во мне как бы начиналось щелканье двух метрономов — одного с чрезвычайно замедленным размахом, другого с бешено-поспешным щелканьем, и тогда весь мой организм дрожал, как музыкальный инструмент, на котором с двумя скоростями играют хроматические гаммы, и это было мучительно, как всякая потеря точного ощущения времени, его обычной меры...

...значит, время имело много мер и, очень возможно, могло двигаться вперед и назад,— то из прошлого в будущее, то из будущего в прошлое... А может быть, времени и вовсе не было, а был лишь какой-то измеритель того, чего вовсе не существовало, со странным, щелкающим названием — «метроном»...

Лежа в кроватке, я таращил слипающиеся глаза и делал усилия, чтобы не заснуть и услышать музыку. Я знал, что сейчас перед разложенными нотами зажгут девственно-белые свечи, послышится визг круглой табуретки, может быть, снимут переднюю дощечку с метронома, и я представлял себе, как мама ударит своими растянутыми длинными пальцами по клавишам и начнется музыка, потому что эта вечеринка, эта «сходка» была также и музыкальной.

До глубокой ночи — я знал и представлял себе это — в столовой будут о чем-то спорить и будет звучать уже не доходящая до моего сознания музыка.

...музыка, музыка, музыка...

Так бывало у нас всегда, когда в передней кипел ключом самовар, светился желтый, даже на вид кислый лимон и по зеркалу струились волны пара.

Но ни разу, как я ни таращил глаза, мне не удавалось победить приступ глубокого детского сна без сновидений. Я проваливался как в яму, а когда открывал глаза, то уже было утро, в квартире все было прибрано, и только огарки свечей и пианинные подсвечники, покрытые потеками бирюзово-позеленевшего стеарина, да еще не вполне изгнанный запах папиросного дыма говорили, что вечеринка была, были споры, была музыка, но только

я ничего этого не слышал, а маленький стоячий гробик уже закрытого на крючок метронома так невинно желтел в луче солнечного света.

В раннем детстве, когда еще была жива мама и в доме у нас собирались на вечеринки папины и мамины друзья, и зажигались перед нотами свечи, и щелкал метроном, и из-под маминых бегущих по клавишам пальцев до полуночи лилась бурная, каменистая река музыки, и с восторгом произносились имена Глинки, Чайковского, Рубинштейна,— я спал крепким сном и ничего не слышал.

Я не слышал музыки, но она сама проникала в меня каким-то таинственным образом и всегда, всю мою жизнь, ничем не выказывая себя, жила в каждой клеточке моего мозга, и теперь, когда я слышу музыку, я знаю, что уже слышал ее некогда, при маме, в то время, когда перед раскрытыми нотами, испещренными таинственными муравьиными знаками, горели свечи или когда я сам сгорал от простуды и, теряя сознание, слышал щелканье метронома, в одно и то же время и растянуто-длительное и бешено-быстрое, как мой горячечный пульс, как время, которое не поддается измерению, как споры марксистов и народников, гремевшие за чайным столом, как третий сон Веры Павловны из «Что делать?» Чернышевского, как «Времена года» Чайковского, как бравурные звуки Рубинштейна...

«Мы ребята грузди!»

Еще при жизни мамы была сделана попытка водить меня в детский сад, что по тем временам считалось большой новинкой. На весь город был, кажется, один-единственный детский сад, где какие-то пожилые дамы воспитывали маленьких детей по фребелевской системе.

В чем заключалась эта система — не знаю, но знаю только, что мама почему-то придавала ей большое значение, так как предполагалось, что она воспитает во мне волю к труду и вообще сделает из меня образцового ребенка.

К тому времени на меня уже стали надевать штанишки и мне доставляло большое удовольствие на глазах у всех ехать в городском омнибусе — так называемой трамкарете — в детский сад, помещавшийся, если мне не изменяет память, где-то недалеко от Дюка, на Николаевском бульваре, рядом с Воронцовским дворцом и его полукруг-

лой колоннадой, как бы повисшей над портом, над пароходами и мачтами парусников, над волноломом, брекватером, Пересыпью с ее белыми бензиновыми цистернами и Жеваховой горой, всегда почему-то туманной и загадочной.

...Трамкаретой называлось некое сооружение вроде дилижанса, с передними очень маленькими, а задними очень большими — прямо-таки громадными — колесами; самый звук этого сооружения по гранитной мостовой вызывал грохот, вполне соответствующий слову «трамка» — как сокращенно называли трамкарету с кучером на высоких козлах, с чугунным тормозом и парой крупных костлявых вороных кляч с лакированными шорами на глазах. Клячи выбивали подковами искры из гранитной мостовой Екатерининской улицы.

В детском саду мы сидели, одетые в специальные фартучки, на маленьких неудобных стульчиках перед низеньким столом и по фребелевской системе лепили из глины различные плоды: вишни, груши, яблоки и в особенности грибы, которые потом раскрашивали эмалевыми красками: ярко-красной, белой, коричневой, зеленой.

Кроме этих неуклюжих фруктов и не менее неуклюжих грибов, которых мы наделали великое множество, мы также плели из ленточек лакированной разноцветной бумаги коврики и корзиночки, что должно было привить нам трудовые навыки.

Мы водили какие-то затейливые хороводы, сопровождающиеся хлопаньем в ладоши и притоптываниями, а также разучивали французские песенки и бесхитростные стишки вроде: «Ля бопн апорт ля лямп, ля п'тит муш турн отур, ля флям атир ля муш, повр петит муш!»

Что значило по-русски: «Няня принесла лампу, маленькая мушка кружилась над ней, пламя убило мушку, бедная маленькая мушка!»

А то мы разучивали и такого рода французскую считалку: «Эн, дё, труа — аллон дан лё буа; катр, сепк, сиз — кейир дё ля сериз; сет, юит, нёф — дан мон панье нёф»...

Что обозначало по-русски: «Раз, два, три — пойдем в лес; четыре, пять, шесть — собирать вишни; семь, восемь, девять — в мою новую корзинку» — и так далее, что казалось мне по многим причинам большой чепухой: я еще

никогда не видел леса, особенно такого, в котором росли бы вишни и прочие несообразности, не вызывавшие во мне ни малейшего доверия к пожилым дамам и фребелевской системе.

Папа, кажется, тоже слегка подсмеивался над затеей отдать меня в детский сад и называл моих воспитательниц в детском саду с непередаваемой иронией:

— Эти фребелички!

Однако меня продолжали возить на трамке, и я усердно лепил шарики из глины, раскрашивая их разными красками, а также повторял по-французски как попугай:

— Эн, дё, труа — аллон дан лё буа...

Я легко мог превратиться в идиотика, если бы главной фребеличке не пришла в голову мысль — для нашего дальнейшего художественного развития устроить большой публичный спектакль с участием всех мальчиков и девочек детского сада.

Дело сразу поставили на широкую ногу: сняли помещение какого-то средней руки клуба или танцкласса и пригласили в качестве режиссера бывшего артиста, а ныне содержателя театральной школы некоего Завадского, который принадлежал к числу знаменитостей нашего города вроде сумасшедшего Мариашеса или бывшего борца Фосса, о котором с ужасом слушал я рассказы взрослых как о личности колоссальной толщины и огромного, сказочного аппетита.

Рассказывали, что Фосс приходил в ресторан, где его еще не знали, заказывал там сразу четыре порции борща, пять порций котлет, восемь порций пломбира, все это мгновенно пожирал с хлебом и горчицей и деловито, быстро исчезал из ресторана, не заплативши ни копейки.

Внезапное появление Фосса в какой-нибудь кондитерской или колбасной вызывало у владельцев ужас как стихийное бедствие, а все остальные съестные лавки в окружности на две версты срочно запирались, и хозяева их с трепетом ожидали, когда нашествие Фосса кончится.

Вскоре Фоссу пришлось перекочевать в провинцию, где его еще не знали, и там — говорит легенда — в одной тираспольской кондитерской он съел целый противень свежих, еще теплых пирожных эклер — штук пятьдесят, а затем как ни в чем не бывало, устрашающе громадный, слоноподобный, с одышкой, отправился на железнодорожную станцию, где съел в буфете все пирожки с мясом, приготовленные к приходу пассажирского поезда.

Полиция ничего не могла поделать с Фоссом, так как денег у него все равно никогда не было, он был беден, как церковная крыса, а посадить его в кутузку не имело смысла в силу его гомерического, болезненного аппетита, который мог разорить любой полицейский участок.

Одним словом, это была эпоха, которую можно было охарактеризовать одной фразой:

...«а потом пришел Фосс и все съел»...

Но я отвлекся.

Итак: «Грузди, мы ребята дружны, пойдем на войну!»

В отличие от других артистов-бродяг того времени, Завадский был коренной житель нашего города, отчасти даже его достопримечательность. Его часто можно было встретить на бульваре или в Александровском парке, даже иногда на нашей скромной Базарной улице. Он всегда поражал меня своим необыкновенным артистическим видом: крылатка, широкополая шляпа с загнутыми по-итальянски полями, из-под которых ниспадали на плечи космы серочерных волос. Под его трагическими глазами и на иссиня-бритом лице лежали мрачные тени.

Некогда он играл в нашем драматическом Сибиряковском театре и считался замечательным артистом, одно время даже — говорит легенда — кумиром публики.

Я был совсем крошечным ребенком, когда увидел его впервые в театре на детском утреннике, где он играл роль Кощея Бессмертного — страшно злого, нехорошего старика, который в последнем действии корчился перед добрым молодцем Иваном-царевичем, державшим в кулаке утиное яйцо, в котором заключалась жизнь Кощея Бессмертного: стоило разбить яйцо — и Кощей должен был тут же умереть; Иван-царевич все сильнее и сильнее сжимал в своем богатырском кулаке яйцо, заставлял Кощея Бессмертного все мучительнее и мучительнее корчиться, извиваться, хвататься костлявыми руками за ствол картонного дуба, пока наконец добрый молодец Иван-царевич, вдоволь натешившись над Кощеем и помучив публику, не разбивал вдребезги яйцо о дощатый пол сцены, и в тот же миг Кощей Бессмертный с воплем грохнулся на пол и испустил дух ко всеобщей радости детей, наполнявших

театр, ну а Иван-царевич освободил красну девицу и женился на ней, вызвав бурные аплодисменты и крики радости.

...Программа утреннего публичного спектакля нашего детского сада состояла из нескольких сценок, которые мы должны были разыграть на французском языке, а также большого феерического представления с музыкой и песнями под названием «Война грибов»...

Спектакль, которого я ожидал с таким нетерпением, от которого ожидал столько восторгов и славы, разочаровал меня до слез. Я представлял себе сверкающий зал вроде городского театра, залитую огнями сцену с красивыми декорациями, аплодисментами в мою честь и прочее.

Однако спектакль шел при дневном свете, сцена была грязноватая, какая-то неприбранная, с сором по углам, а за уныло повисшими кулисами время от времени шныряли крысы, потревоженные спектаклем. В зрительном зале, наполовину пустом, на простых венских стульях, поставленных рядами, сидели мамы, папы, дедушки, бабушки, гувернантки и прислуга, одетые по-домашнему, вполне затрапезно.

Среди всего этого темноватого, беспорядочно загроможденного мира то здесь, то там возникала величественная фигура Завадского в крылатке, с простертой вперед рукой, на которой блестел перстень с большим искусственным бриллиантом, так называемым «стразом». Он умело и ловко распоряжался ходом спектакля, начавшегося как-то незаметно для меня. Сначала шли маленькие сценки на французском языке и среди них сценка с моим участием. Моя роль заключалась в том, что я прихожу в часовую мастерскую для починки моих испортившихся часов. Хозяйка часовой мастерской, роль которой играла одна из наших фребеличек, произносила длинный монолог на французском языке, смысл которого заключался в том, что с часами надо обращаться бережно, после чего она сначала осматривала, а потом чинила мои часы и отдавала их мне; я прикладывал их к уху, якобы с восхищением говоря по-французски:

— Тик-так, тик-так, тик-так...

Затем якобы нечаянно я ронял часы на пол, и они сно-

ва портились, а фребеличка подбирала их, снова починяла, произнося при этом разные французские слова, и снова разражалась на французском же языке монологом на тему, что с часами следует обращаться крайне бережно; после чего, сказав по-французски «мерси, мадам», я удалялся за сцену.

Моя роль представлялась мне очень длинной, содержательной, драматичной, чрезвычайно выигрышной, и я предчувствовал триумф. Перед самым моим выходом на сцену передо мной появилась фигура в крылатке и сунула мне в руку бутафорские часы, состоящие из одних лишь крышек и пустые внутри.

— Ты, мальчик, главное, не мельтешись,— сказал Завадский густым голосом, затем взял меня за плечи и, равнодушно пробормотав: «Ну, с богом», вытолкнул на сцену.

В зале сидела мама, но я не увидел не только ее, но и вообще никого из зрителей в отдельности: все слилось в нечто единое, слитное, серое, состоящее из людей и пустых стульев, плохо освещенное дневным светом из окон, выходивших куда-то во двор.

Я собрал все свои силы, чтобы не торопиться, не «мельтешить», но вместо этого, боязливо оглянувшись по сторонам, вдруг как-то странно и глупо разъярился, одним духом выпалил свои «тик-так, тик-так», и, не дав выговорить фребеличке ни одного слова, изо всех сил швырнул бутафорские часы о дощатый пол сцены так, что они подпрыгнули и раскололись на две створки, как мидия, и полетели в зрительный зал.

Затем я почему-то сердито затопал ногами, закричал как попугай «мерси, мадам», сделал неправдоподобно театральный гневный жест и бросился за кулисы, пробыв на сцене никак не больше десяти секунд, хотя мне и показалось, что я пробыл там часа два, произнес на французском языке блестящий монолог и потряс публику, шваркнув часы об пол с такой страстью, что зрительный зал разразился бурей аплодисментов, а на самом деле в публике послышались лишь легкие смешки и вздох моей мамы.

Помнится, я даже собирался выходить раскланиваться, но Завадский успел одним махом перехватить меня, отбросить за кулисы и тем же самым движением могучей руки вытолкнуть на сцену двух нарядных, хорошеньких девочек в розовых чулках с куклами, которые должны были сыграть забавную сценку на французском языке, и я, уткнувшись в какое-то бутафорское тряпье, с горечью

слышал, как публика аплодировала нарядным девочкам, забавно тараторившим по-французски. Тогда я понял, что мой дебют провалился.

Я возлагал большие надежды на «Войну грибов», так как одна из фребеличек заверила меня, что я буду играть одну из главных ролей, хотя и без слов, но зато с песней и красивым выходом на авансцену.

Пока шли маленькие сценки, всех нас — участников «Войны грибов» — стали под руководством Завадского одевать в особые красивые театральные костюмы. Собственно, в красивые костюмы грибов одевали мальчиков, исполнявших роли боровиков, подберезовиков, волнушек, сыроежек и прочих персонажей «со словами», на нас же, бессловесных груздей, надели нечто вроде ранцев в виде неказистых грибков, склеенных из гофрированной цветной папиросной бумаги, набитой ватой. Мы, исполнители роли груздей, были несколько разочарованы, но Завадский, подлетевший к нам в своей крылатке как летучая мышь, объяснил нам, что мы, грузди, являемся главными действующими лицами всего представления. Остальные грибы под разными предлогами отказались идти на войну, защищать батюшку царя, а мы, грузди — лихие молодцы, не стали отлынивать от военной службы, а охотно пошли на войну, являя себя, таким образом, патриотами, достойными всяческих похвал.

Хотя доводы Завадского были достаточно убедительны, но все же мы, грузди, испытали чувство горькой неудовлетворенности, в особенности когда началось представление и посредине сцены сидел на троне богато одетый царь-боровик в бархатной шляпе, а перед ним проходили по одному другие богато одетые грибы, в том числе неслыханной красоты мухомор; каждый из этих нарядных, богатых грибов отказывался от военной службы.

Наконец Завадский вытолкнул нас, груздей, на сцену, и мы на вопрос царя-боровика, согласны ли идти на войну, жиденькими голосками старательно пропели давно уже прорепетированную песенку:

— Мы ребята грузди, мы ребята дружны, пойдем на войну!

После чего продефилировали, топая башмаками, мимо царя-боровика, и спектакль кончился.

Я готов был плакать — кажется, даже и плакал! — от унижения.

Но мама в вуали и шляпе с орлиным пером, ведя меня

за руку домой по серой сухой каменной осенней улице, утешала меня, уверяя, что я играл на сцене лучше всех.

Я ей поверил и немного повеселел, но в глубине души осталась какая-то муть и горечь сознания, что я не более чем простой некрасивый груздь, обреченный воевать за батюшку царя-боровика, в то время как другие, более богатые, красивые грибы будут сидеть у себя в лесу в безопасности, а мы, ребята грузди, будем умирать на войне.

...серый, холодный, сухой день, каменный город, и по спуску, ведущему в порт, несутся вскачь порожние «биндюги», а навстречу им тяжело поднимаются другие «биндюги», нагруженные раздутыми ящиками, набитыми апельсинами, и в холодном воздухе поздней осени слышится чудесный, уже вполне зимний, рождественский апельсиновый и мандариновый запах...

Александровский парк.

Громадная клумба штамбовых роз — розариум,— затем удивительно ровный, свежий, яркий, хорошо подстриженный газон вокруг розариума, в отдалении старинная кирпичная стена — остатки какой-то крепости, кажется турецкой,— длинная стена со сквозными арками, в пролете которых виднеется море, резко-белый портовый маяк, выпуклое крыло яхты. Крепкий черноморский ветер — бриз,— а иногда и теплый, усыпляющий штиль. Широкие дорожки, посыпанные толстым слоем чистого, чудесно отшлифованного прибоями морского гравия, который привозит из Дофиновки на специальной барже буксирный катер.

В Дофиновке этого гравия видимо-невидимо. Но главное не гравий, а его глубокий, влажный, неторопливый скрип под колесами маленьких дрожек для катания детей. Дрожки запряжены двумя вонючими козликами с наглыми глазами — зрачки как финиковые косточки — и длинными ноздрями, придающими животным выражение злости и высокомерия.

Козлов вел старик с кожаным кошельком на груди и кнутом в старческой коричневой руке. Кнут был для красоты, так как старые козлы вели себя послушно и шли, скрипя по гравию, изредка позванивая бубенчиками своей сбруи.

Бубенчики напоминали глаза козлов, так как вырезы в бубенчиках напоминали финикообразные зрачки стоячих

козлиных глаз, а также узкие щели их высокомерных ноздрей.

В соединении с запахом раскаленной лакированной кожи дрожек, в соединении с красными штамбовыми розами, газонами и морем за арками кирпичной стены все это вместе врывалось в мою детскую душу восторгом познания мира со всей его красотой, со всеми его радостями и надеждами, но прежде всего надеждой покататься на козликах.

...катание на козликах в Александровском парке было высшим счастьем моего детства...

Это счастье никогда не давалось легко. Нужно было выпрашивать у мамы или у няни три копейки — стоимость одной поездки на козликах вокруг овального газона. Хозяин козликов всегда был окружен детьми и няньками, у которых дети со слезами на глазах вымаливали счастье проехаться на маленьких дрожках с двумя парными сиденьями одно против другого. Сиденья эти были в тиковых полосатых чехлах на пуговицах, как в железнодорожных вагонах второго класса, и как-то особенно подходили к слову «парк», так же как слово «гравий» подходило и соединялось со скрипом колес и вообще со всем этим радостным событием катания на козликах.

Почему-то няньки, матери и бонны не сразу соглашались на катание; дети долго, с унижением их упрашивали и обычно в конце концов усаживались на дрожки — по двое на каждом сиденье друг против друга,— девочки в батистовых шляпках, с локонами, в ленточках и мальчики в матросках, с зареванными лицами, на которых сквозь слезы уже сияли улыбки счастья.

Бесконечным казался предстоящий путь на дрожках вокруг яркого газона, огороженного низкими железными дужками и ровно постриженным барапетом из миртового кустарника: козлики шли шагом, позванивая бубенчиками и время от времени роняя из-под задранных пегих хвостов в скрипучий гравий черные маслинки; няньки, мамы и бонны шли по сторонам дрожек, придерживая детей с таким испуганным видом, будто малейшая неосторожность может кончиться катастрофой. Неисчерпаемо длинным казался круг газона со штамбовыми розами посередине, казалось, ему не будет конца и края.

Увы, это лишь так казалось!

...Все короче и короче становился наш путь к тому месту, откуда началось путешествие. Старик хозяин вел своих козлов неторопливо, но неумолимо, и если бы на его плече лежал не кнут с длинным кленовым кнутовищем, а коса, то он мог бы вполне сойти за Хроноса, неуклонно ведущего человека к смерти. Изображение этого бога времени Хроноса я видел на обложке «Нивы», которую выписывали у нас в семье, и он всегда пугал меня своей длиннейшей седой бородой, сбитой на сторону, своими развевающимися одеждами, косой за плечами и песочными часами в костлявой руке...

Александровский парк состоял не только из хорошо подстриженных влажных газонов, штамбовых роз, дорожек, усыпанных гравием, миртовых парапетов, стриженых узорчатых туй с туманно-голубыми смолистыми шишечками. В нем были также запущенные аллеи, дремучие закоулки, даже в одном месте в зарослях бурьяна сочился скудный ручеек, через который был перекинут дугообразный пешеходный мостик с перилами из неочищенных кленовых сучьев.

В этих глухих местах хорошо было играть в англо-бурскую войну, известную по картинам все той же «Нивы».

Буры были в широкополых шляпах, бородатые, увешанные патронташами, с винтовками в руках; англичане — не помню уже какие, кажется, в крагах, во френчах, в тропических шлемах, некоторые с трубками в зубах.

Буров я любил, англичан ненавидел. Почему? Неизвестно. Вернее всего потому, что буры были простые трудящиеся, небогатые люди, любящие свою африканскую страну Трансвааль, а богатые и жестокие англичане хотели захватить у них их землю и превратить ее в свою колонию, а буров — в рабов — или что-то в этом роде.

Мальчики Александровского парка как-то само собой разделились на две партии. Одна была за буров, другая за англичан. Я заметил, что на стороне англичан были чаще всего мальчики — офицерские дети, которых иногда водили в парк гулять вместо нянек или бонн солдаты-денщики. За буров были мы, дети штатских родителей.

Но, боже мой, какая вражда, какая ненависть царила между нами — «бурами» и ими — «англичанами»! Они были отлично вооружены, у некоторых имелись даже отцовские старые шашки с темляками и заржавевшие сол-

датские штыки времен сравнительно недавней русско-турецкой войны. Мы были вооружены игрушечными ружьями с деревянными прикладами, выкрашенными линючей канареечно-желтой краской, с жестяными стволами, а также духовыми деревянными пистолетами рыночной работы, стрелявшими пробкой на веревочке.

В сущности, между ними и нами, между «англичанами» и «бурами», сражений не было. Были взаимные угрозы и воинственные выкрики. Офицерские дети облюбовали себе небольшую горку, усыпанную скользкими сосновыми иголками, где по всем правилам военного искусства строили фортификации — небольшие земляные крепости, над которыми морской ветер колебал маленькие флажки, сделанные из обрезков орденских лент. Оттуда раздавалась военная команда и мальчик-комендант грозил нам издали настоящей саблей. Мы же, бедные, обездоленные, но безумно храбрые «буры», изгнанные проклятыми «англичанами» со своей земли, перешли к партизанской войне и воображали, что вместе с мулами, нагруженными ящиками с динамитом и пулеметами, скрываемся под мостиком среди бурьяна и болиголо́ва, ожидая подходящего мига, чтобы взорвать мост и напасть из засады на «англичан».

Откровенно говоря, мы даже не знали, где происходит эта самая англо-бурская война: где-то в африканской пустыне, в какой-то стране Трансвааль, а может быть, где-то в другом месте.

...Александровский парк, его глухая, безлюдная часть, был нашим Трансваалем...

Мы, «буры», не успели взорвать мост. «Англичане» напали на нас врасплох. «Буры» бежали. Один лишь я попал в плен, и меня привели на горку к английскому коменданту.

— Проклятый бур, теперь ты будешь расстрелян! — сказал комендант, обнажая саблю.

«Англичане» привязали меня скакалкой к небольшой южной сосне, от которой так жарко и так приятно пахло терпентином. Моя матроска приклеилась к тонкому чешуйчатому стволу, покрытому тягучими слезами смолы.

— Завяжите этому подлецу буру глаза,— сказал комендант, но я сделал отстраняющее движение всем своим телом, давая понять, что хочу умереть с открытыми глазами.

«Англичане» нацелились на меня из захваченных у нас ружей с канареечно-желтыми липучими прикладами. Но я собрал всю силу своей воли и бесстрашно, как и подобает истинному буру, смотрел прямо перед собой широко раскрытыми жестокими глазами и видел вдалеке море, ярко синеющее в арках старинной кирпичной стены с ее верхушкой, поросшей бурьяном, зеленый газон со штамбовыми розами и двух пегих козлов, которые под водительством самого бога времени Хроноса медленно, названивая бубенчиками, везли дрожки с нарядными детьми, и я слышал глубокий скрип влажного гравия, и мне было ничуть не страшно, потому что тогда я еще был бессмертен.

...мама смотрела на меня издали и смеялась...

Они не могли меня убить, потому что, захватив наши ружья, «англичане» не успели захватить наши пистоны, которые мы успели надежно спрятать в бурьяне под мостом, где в тени стояли наши воображаемые мулы, нагруженные воображаемыми ящиками с динамитом...

Гибель «Петропавловска».

Русско-японская война связана с черными, мохнатыми «маньчжурскими» папахами порт-артурских солдат, вернувшихся из японского плена на родину. Их привезли в наш город на пароходах добровольного флота.

Помню балаган на Куликовом поле, где на пасхальной неделе показывали «Гибель «Петропавловска». Помню печальный, за душу хватающий военный марш «Тоска по родине», который исполнял духовой оркестр на дощатом помосте возле высокого, выбеленного известкой флагштока с бело-сине-красным полотнищем русского торгового национального флага.

Звуки марша «Тоска по родине», как бы временами прерываемые одышкой турецкого барабана, и впрямь вызывали в моей душе томительную тоску по родине, по военному ее поражению, по Цусиме, по сдаче Порт-Артура... Я страдал за унижение России, которую до того времени считал самой великой и самой непобедимой державой в мире.

В звуках медных труб и змеиных фиоритурах флейты мне слышались чуждые русскому уху японские или китай-

ские слова, прилетевшие откуда-то из-за сопок Маньчжурии: чумиза, гаолян, шимоза, ляо-ян, чемульпо...

От этих слов в моем воображении возникали картины кровопролитных сражений с маленькими желтолицыми японцами в белых гетрах среди глинистых сопок и разрушенных фанз и кумирен.

В балагане было несколько рядов скамеек — неотесанных узких досок, приколоченных гвоздями к сосновым столбикам, вбитым в землю. На них было больно и неудобно сидеть, и ноги мои не доставали до земли, покрытой шелухой жареных подсолнечных и кабачковых семечек. Мутный свет проникал сквозь холщовую крышу, и две керосиновые лампы с рефлекторами висели по бокам маленькой сцены, освещая занавес.

Занавес, закручиваясь, поднялся, открылась сцена кукольного театра, и я увидел Порт-Артур: его набережную, фанзы, вдалеке желтые сопки с маленькими русскими батареями, а главное — рейд, поразивший меня своей живостью, непрерывным движением катящихся океанских волн, то и дело вскипающих белой пеной, что в первую минуту показалось мне необъяснимым театральным фокусом. Я не мог понять, каким образом удалось устроить эти длинные круглые волны с барашками пены, то появляющейся на гребне, то скатывающейся вниз, исчезая в океанской пучине. Однако вскоре движение этих волн, как бы выкрашенных зелено-синей масляной краской, показалось мне подозрительно однообразным, механическим, и я вдруг понял, каким образом они устроены: порт-артурская бухта состояла из ряда длинных валиков сине-черно-зеленого океанского цвета с барашками пены, сделанными из папье-маше. Укрепленные рядом друг с другом, они составляли как бы поверхность взволнованной бухты, а благодаря закулисному механизму, который заставлял их вращаться вокруг своих осей, на поверхности этого крашеного моря то там, то здесь появлялись барашки пены, исчезали и вновь появлялись, создавая впечатление беспрерывно катящихся волн. Однако их слишком симметричное чередование давало понять, что это не настоящее море, а всего лишь театральная иллюзия, что не мешало мне с восхищением смотреть на эту живую картину, тем более что порт-артурская набережная так живо и увлекательно пестрела движущимися механическими фигурками китайцев с длинными косами, китаянок на маленьких спеленатых ножках, рикш, везущих бегом, как на шарнирах, легкие двуколки

с важными седоками — англичанами в пробковых тропических шлемах или русских офицеров в гвардейских фуражках или черных папахах. Тут же шла уличная торговля с лотков.

...проехали в ландо красивые гейши, обмахиваясь овальными шелковыми веерами...

Грузчики-кули тащили на спинах ящики и тюки. Возле парапета набережной качались на волнах джонки с камышовыми парусами. А на рейде между двух крутящихся морских валов стоял громадный длинный русский броненосец «Петропавловск», грозно повернув в открытое море свои башенные орудия, а на мачте виднелось белое полотнище андреевского флага с двумя косо перекрещенными голубыми полосками, что делало его похожим на конверт.

В моей душе шевельнулось горячее чувство восторга, хотя я еще тогда не знал, что это необъяснимое чувство называется патриотизмом.

Тем ужаснее было то, что произошло в следующий миг: раздался довольно сильный пиротехнический взрыв — бенгальская вспышка посередине «Петропавловска»,— фонтан золотого дождя, после чего длинный корпус броненосца раскололся пополам, нос и корма поднялись, и в таком виде корабль стал медленно опускаться в морскую пучину между двух крутящихся пенистых валов.

...«Петропавловск» тонул все быстрее, быстрее, и вскоре над гребнями искусственных волн осталась лишь одна мачта с андреевским флагом...

Но вот исчез и андреевский флаг под звуки марша «Тоска по родине», который беспрерывно исполняла балаганная шарманка.

Исчезли в пучине все матросы, офицеры, гордость и надежда русского флота адмирал Макаров, а также знаменитый художник Верещагин — о чем я уже заранее был осведомлен тетей, водившей меня в балаган.

Слезы катились по тетиным напудренным щекам, и она все время вытирала нос комочком маленького кружевного платка, тонко пахнущего французскими духами «кёр дё Жаннет», и почему-то это еще больше усиливало мое горе при виде гибели «Петропавловска».

«Петропавловск» взорвали японцы. А может быть, он напоролся на мину. Точно никто не знал.

А в это время на сопках вокруг Порт-Артура уже стреляли наши батареи, и в жестяно-голубом маньчжурском небе то там, то здесь вспыхивали черные, зловещие звезды взрывов японских шимоз; по набережной, шипя и стреляя, прыгали дымящиеся шутихи, крутился волчком, рассыпая вокруг золотые искры, фейерверк «солнце»; и под звуки все той же «Тоски по родине» скрученный в трубку занавес развернулся и упал, закрыв маленькую сцену, наполненную пороховым дымом фейерверка.

...когда мы вышли с тетей из балагана, за вокзалом догорел весенний закат, в воздухе пахло пылью, не успевшей еще осесть после дневного гулянья, и Куликово поле опустело. Это был последний, седьмой день пасхальной недели, конец ярмарки. Флаг уже был спущен, и выбеленный известью флагшток одиноко, голо торчал посреди Куликова поля. Рядом стоял околоточный надзиратель, сердито свистя в свой свисток, давая знать, что ярмарка закрыта. Некоторые балаганы уже начали разбирать, и возле них валялись оторванные тесины. А военный оркестр доигрывал последние такты марша «Тоска по родине», из которых я знал последние два стиха, слышанные мною от порт-артурских солдат, шлявшихся по улицам города: «Я отправляюсь в дальний путь, жена и дети дома ждуть»...

...И горе сжимало мое сердце...

Землетрясение.

Среди ночи я внезапно проснулся. Меня разбудил быстрый, бегущий звук, который сначала я принял за стук швейной машинки в столовой. Значит, подумал я, там за обеденным столом сидит мама и что-то строчит, сноровисто, быстро крутя никелированное колесо ручной швейной машинки, чугунное тело которой представлялось мне статуэткой египетской кошки на деревянном лакированном пьедестале с металлической плиткой.

(Впрочем, я еще тогда не знал, что существует Древний Египет с его статуэтками и странными фигурами людей, повернутых в профиль.)

Была глубокая ночь, и меня испугало, что мама слишком быстро шьет в этот ночной час что-то на ручной швейной машинке Зингера.

Я приподнял с подушки отяжелевшую от сна голову и огляделся.

Все вокруг было тихо и мирно, освещенное красным желатиновым ночником, который, как мне показалось, дрожал на комоде мелкой дрожью. Но мама и папа спали на своих тонких железных кроватях с медными шарами, не чувствуя озноба, который как бы уже охватил весь дом, а может быть, даже всю улицу.

Значит, это вовсе не мама строчила ночью на машинке. Тогда кто же? Неужели бабушка, жившая за коричневой ширмой в столовой? Но тогда бы в столовой был свет и он бы проникал в комнату, где мы спали, сквозь дверные щели или сквозь замочную скважину.

Однако в столовой было темно.

Озноб продолжался.

Теперь это был озноб мебели — буфета, стульев, стола. Это уже строчила не швейная машинка, а висячая столовая лампа с белым абажуром быстро и отрывисто звенела всеми своими составными частями: ламповым стеклом, неплотно вставленным в медную розетку, горелкой, цепью, на которой она висела на потолке над столом.

В мире происходило что-то странное и страшное.

Я заплакал и, просунув свою пухлую ручку сквозь сетку кроватки, на спинке которой мелко дрожал образок моего ангела-хранителя Валентина, разбудил маму, схватив ее за щеку.

— Что с тобой, мальчик? — спросила мама шепотом, чтобы не разбудить папу, похрапывавшего рядом с мамой на своей кровати.— Почему ты проснулся?

— Я боюсь,— сказал я.

— Чего же ты боишься?

— Там, в столовой, кто-то шьет на машинке,— шепотом проговорил я, боясь, что тот, кто шил, может меня услышать.— Кто-то шьет на машинке, и дрожит лампа.

Мама прислушалась, но странные бегущие звуки уже прекратились. В квартире царствовала мирная ночная тишина.

— Тебе померещилось,— сказала мама.— Спи, маленький, успокойся, Христос с тобой.

Она перекрестила меня, поцеловала, поправила одеяльце и подвернула его под мои ноги.

Я успокоился и, положив под щеку обе ладони ковшиком, заснул, но скоро опять проснулся все от того же дребезжащего, бегущего звука. Я не успел захныкать, как звук прекратился, хотя мне и казалось, что еще некоторое время вся комната с кроватями на колесиках, комодом и сухими обоями, скупо освещенными красным ночником, продолжала почти неощутимо дрожать, и мне почудилось, что за закрытыми ставнями неосязаемо дрожит не только наша длинная Базарная улица, но также и весь наш громадный город, границ которого я еще в ту пору не представлял.

...Дрожала вся природа...

И тут же я заснул с тревожным чувством какой-то непонятной, благополучно миновавшей опасности. Это чувство не покидало меня и утром, когда проснулись папа и мама, и, сидя вместе с ними за столом на своем высоком стуле, я ел пшеничную кашу и пил кипяченое молоко, окуная в него горбушку белого хлеба — так называемого арнаута,— к которой прилипала молочная пенка.

— Он у нас ужасный фантазер,— сказала мама папе, рассказывая о моих ночных страхах.

— Я не фантазер,— ответил я,— а я слышал, как ночью кто-то шил на швейной машинке и дрожала лампа.

Мама и папа засмеялись, а папа поерошил мои черные, жесткие, как у японочка, волосы, взял под мышку стопку тетрадей, накрепко перевязанных шпагатом, и отправился на урок в епархиальное училище.

...Ах, как хорошо помню я эту стопку тетрадок с голубыми обложками и вылезающими из них алыми промокашками, испятнанными чернильными кляксами. Так как эти тетради были сделаны из бумаги, а бумага — как мне уже было известно из разговоров взрослых — мерилась на дести, то кипа этих тетрадок представлялась мне дестью... Папа их исправлял по вечерам при свете лампы под зеленым абажуром, и абажур слегка дрожал при этом...

Несмотря на то, что папа и мама не верили, что я слышал ночью дрожание, похожее на стук швейной машинки, и были убеждены, что все это мне приснилось, я *наверня-*

ка знал, что это было на самом деле и в этом заключалась какая-то еще неизвестная мне тайна земли, на которой мы жили.

И я оказался прав. Я не был фантазером.

Вечером, вернувшись домой, папа развернул газету «Одесский листок», поводил по ней вдоль и поперек и по диагонали носом и вдруг весело воскликнул:

— Посмотри, Женя, а Валюшка-то наш оказался прав!

И папа прочел заметку о том, что прошлой ночью сейсмическая станция обсерватории отметила в нашем городе небольшие подземные толчки — следствие отдаленного землетрясения, эпицентр которого расположен на малоазиатском берегу Черного моря, в Турции, где разрушено несколько селений.

«Землетрясение это имело тектонический характер и не представило для нашего города серьезной опасности, если не считать небольших оползней берега в районе Среднего Фонтана, где несколько дач дали легкие трещины».

Этими словами заканчивалась газетная заметка, прочитанная папой.

Папа весело посмотрел на меня.

— А ты, оказывается, у нас умник! — сказал он, но мамино лицо стало печальным.

— У нашего мальчика слишком чувствительная душа,— сказала она,— боюсь, ему будет трудно в жизни.

Но я не понимал тогда беспокойства мамы. Я торжествовал потому, что никто в ту ночь не почувствовал дрожания предметов в комнате с темными обоями, подкрашенными красноватым светом ползающего по комоду ночника, а я почувствовал, и проснулся, и слышал как бы торопливый безумный стук швейной машинки.

Только я тогда еще не знал, как называется таинственная, неподвластная человеку сила, которая способна заставить дрожать лампы, ночники, дома, двери, турецкие деревни с развалившимися черепичными крышами и которая, может быть, способна уничтожить одним мановением целые города, государства, народы.

Теперь же я узнал от папы, что она — эта таинственная сила — называется мрачным словом «землетрясение», таким же мрачным, страшным, как другие подобные слова: война, чума, голод, мор... о которых я еще тогда, в то далекое счастливое время детства, ничего не знал.

Рыбий жир.

Мы жили в большом доходном доме Гольденгорна, на Канатной улице, во втором этаже — или, как любила выражаться тетя, в «бельэтаже», и наши окна выходили на Куликово поле, над которым ветер постоянно нес тучи пыли.

Почти против нашего дома находилось большое железнодорожное депо, из широких ворот которого выезжали маленькие, почти игрушечные паровозики большефонтанской железной дороги. С утра до вечера мимо нас, сотрясая окна, проезжали дачные поезда. Вероятно, поэтому наша большая квартира со всеми удобствами в «бельэтаже» стоила так дешево.

Из наших окон я видел революцию 1905 года: перебежку дружинников в старых драповых пальто, с браунингами в руках, видел казачьи разъезды 6-го Донского полка, наконец, однажды видел черную, как туча, толпу черносотенцев, пересекавших Куликово поле по диагонали от Привокзальной площади до угла Пироговской, где стоял дом Гольденгорна.

Когда толпа в страшном молчании приблизилась к нашему дому, я увидел литографический портрет государя императора с голубой лентой через плечо в тонком золоченом багете. Его несли два сердитых старика в купеческих поддевках.

В следующий миг толпа смешалась, завыла и хлынула к углу дома Гольденгорна; там в полуподвале помещалась бакалейная лавочка, где мы всегда покупали керосин, сахар, макароны, подсолнечное масло. Лавочка принадлежала еврею Когану. В окна полуподвала полетели камни; в одну минуту лавочка была разгромлена, и потом еще долго вокруг нее на тротуаре блестели осколки стекла и валялись разные бакалейные товары: рассыпанный чай, лужи керосина, раздавленные коробки папиросных гильз, пачки махорки «Тройка» и табака «Бр. Асмоловых», карамель «Бр. Крахмальниковых» в цветных бумажных обертках...

Среди мертвой улицы, на фоне сухой зимней пыли, клубящейся над Куликовым полем, это было ужасно.

Никто не позволял себе прикасаться к бакалейным товарам, рассыпанным, разбросанным по всей улице. Даже босяки со слободки — Романовки,— горьковские типы в дырявых рубахах, злые как черти, с красными от холода босыми ногами, проходя мимо разгромленной лавочки, старались держаться подальше от соблазнительных вещей, которые так легко и безопасно можно было бы присвоить.

Даже уличные мальчики с Новорыбной хотя из любопытства и проникали в разгромленную лавочку сквозь сорванные с петель двери, но никто из них не взял ни одной конфеты, не отщипнул ни одного кусочка от глыбы дешевой белой халвы, облитой вонючим кунжутным маслом, валявшейся под разломанным прилавком рядом с медными чашками помятых весов.

Сквозь выбитые стекла полуподвальных окон дул пыльный, холодный ноябрьский ветер, и в разгромленной лавочке среди хаоса и обломков кружились залетевшие сюда с улицы сухие стручки акаций и рваные листья конского каштана.

Я тоже, замирая от страха, спускался по щербатым ступеням и ходил по лавочке Когана, и под ногами у меня хрустел рис, орехи, битая посуда.

К счастью, Коган вместе со всем своим семейством, с женой в черной шляпке и кружевных перчатках с отрезанными пальцами, митенках, и четверо рыжих детей с веснушчатыми щеками и бледно-сиреневыми от страха губами, два мальчика в белых носках и две девочки в маленьких кружевных шляпках, и старуха бабушка с крючковатым носом и трясущейся головой — успели спрятаться в квартире у жильцов-христиан, где на подоконниках лицом к Куликову полю были расставлены иконы и зажженные лампадки, охранявшие христианские квартиры от вторжения погромщиков.

Я увидел на полу лавочки среди разбросанных медных денег выручки суконный котелок господина Когана, затоптанный и сплющенный сапогами громил из «Союза русского народа».

...Мир вокруг меня в эти минуты был страшен...

Он продолжал оставаться страшным и потом, особенно в тот день, когда папа подъезжал к дому на извозчике, придерживая у себя в ногах железную складную детскую кровать, купленную для Жени, так как он уже вырос из своей старой, совсем маленькой кроватки... И вдруг навстречу извозчику из-за угла Пироговской выскочил красный автомобиль, или, как тогда принято было говорить, «самодвижущийся экипаж»; извозчичья лошадь шарахнулась в сторону, встала на дыбы; дрожки заехали на тротуар, стукнулись о чугунную тумбу у ворот; папа вместе с Женькиной кроватью вывалился из дрожек, зацепился за

подножку, и некоторое время его волокло по тротуару, а он пытался одной рукой удержать падающую на него железную кровать, а другой уперся в плиты тротуара, и я, игравший в то время возле дома, видел, как кожа сдирается с папиной окровавленной ладони и на лбу сочится ссадина.

А красный автомобиль с медным закрученным сигнальным рожком и шофером в шубе, вывернутой собачьим мехом наружу, в специальных страшных автомобильных очках, закрывавших его грозное лицо на манер полумаски, извергая из себя клубы вонючего бензинового чада и как бы стреляя вокруг себя вспышками мотора, ехал по мостовой, прыгая по выбоинам и приводя в ужас и ярость прохожих, грозивших ему вслед палками и кулаками с криками:

— Когда это безобразие кончится? Куда смотрит полиция! Пора запретить этим вонючкам появляться на городских улицах, пугать лошадей и калечить обывателей!

Тогда в нашем городе было всего три или четыре автомобиля, и они воспринимались обществом как дьявольское наваждение, как исчадие ада, чуть ли не как первые признаки светопреставления, второго пришествия.

...К счастью, всё обошлось благополучно и папа отделался лишь небольшими ссадинами, а также испугом, от которого дрожало и подергивалось побелевшее лицо с всклокоченной бородой...

Не могу описать, как мне было жалко папу, когда он с помощью дворника втаскивал сложенную детскую железную кровать по мраморной лестнице на наш «бельэтаж».

Еще более сильное чувство такого же рода я испытал впоследствии, когда мы некоторое время жили в доме Гладковского сиротского приюта у одного знакомого папиного священника, ожидая, когда будет готова наша квартира в Обществе квартировладельцев на Пироговской улице.

Гладковский сиротский приют был окружен высоким, глухим каменным забором, и ночью во дворе спускали с цепи злую собаку.

Папа задержался на педагогическом совете и вернулся

домой поздно, когда собака была уже спущена. Стояла необыкновенно яркая, холодная ночь с резкими тенями уже голых деревьев, как бы нарисованных углем на белых стенах приютского флигеля во всех своих подробностях, с каждым самым маленьким сучком. Папа вошел в калитку, и вдруг на него покатилась черной тенью цепная собака, налетела, сбила с ног и стала кусаться.

Прибежавший дворник с трудом отогнал собаку и привязал ее на цепь. Папа вошел в разодранном пальто, окровавленный, и сейчас же тетя стала его раздевать, разрезая ножницами рукав окровавленной сорочки, а папа полулежал в кресле, и я видел на его белом теле глубокие сине-красные следы собачьих зубов и раны, сочащиеся кровью.

Перед образом горела гранатовая приютская лампадка, за окнами сияла голубая лунная ночь, огонь свечи колебался, бросая на стены громадные движущиеся тени, а в эмалированном тазу с обрывками ваты и марли качалась кроваво-розовая вода, и я, рыдая, обнимал папины колени, с ужасом и отчаянием повторяя:

— Папочка, папочка, милый, дорогой папочка.— И мое сердце готово было разорваться от любви к этому самому родному, близкому и любимому мною человеку.

Мне казалось, что папа сию минуту на моих глазах умрет или сбесится, потому что, может быть, собака была бешеная.

Женя стоял рядом со мной на коленях возле папы и мелко-мелко крестился, и слезы текли из его настороженных янтарных глаз.

Однако все прошло гораздо быстрее, чем можно было представить. Через какие-нибудь полчаса, с залитыми черным йодом ранами, перевязанными стерильными бинтами, от которых так целебно и успокоительно пахло аптекарским магазином, умытый, с расчесанными мокрыми волосами, в свежем белье и домашнем пиджаке, папа уже пил чай и даже улыбался.

Это происшествие нанесло мне такую глубокую душевную рану, что я до сих пор чувствую какую-то безумную, ни с чем не сравнимую сердечную боль, едва только вспомню лунную ноябрьскую ночь, резко-черную тень бегущей собаки, колеблющуюся багровую тень свечи в малознакомой, чужой комнате и стерильные бинты на голой папиной руке. И мне приходит на ум мысль — темная догадка,— что же должен был впоследствии испытывать папа

в течение двух лет, пока я был на фронте, ожидая моих писем, которые я так редко и неохотно писал в то время, как папе, наверное, каждую минуту казалось, что меня убивает пуля или снаряд и я — его сын, его плоть и кровь,— падаю, окровавленный, на землю...

...Примерно в одну из этих лунных ночей пришло известие, что в Киеве убит Столыпин, и эти два события — собака, покусавшая папу, и убитый выстрелом из браунинга в печень, в киевском театре на глазах государя императора Столыпин, шталмейстер в расшитом мундире — слились в какое-то трудно объяснимое представление о темной чужой комнате и гранатном свете приютской лампады...

Возле дома Гольденгорна располагались зады штаба Одесского военного круга — высокая каменная стена, за которой как бы скрывались все военные тайны, и эта стена выходила на глухой пустырь, заросший сорняками. Здесь было даже днем жутко, а ночью думалось, что на пустыре совершаются какие-то преступные, опасные дела и по-разбойничьи свищет зимний ветер.

Однажды мы узнали, что на этом пустыре застрелился солдат, стоявший на часах возле задних, постоянно запертых ворот штаба, рядом с полосатой будкой, где висел желтый дубленый постовой тулуп.

Я видел место, где застрелился часовой: там была ямка, продавленная в земле его затылком, наполненная красно-бурой жидкостью, еще не успевшей высохнуть. Он застрелился так, как обычно в то время стрелялись солдаты и юнкера: сняв сапог, для того чтобы можно было пальцем босой ноги нажать спусковой крючок винтовки, вставленной дулом в рот.

Мне долго потом снился этот солдат с остриженной под машинку русой головой с удлиненным затылком, его босая нога с как бы восковым большим пальцем и белые глаза под пшеничными бровями, полные предсмертной тоски.

...там же в гнилом бурьяне я нашел однажды старый, почерневший пятак, как бы покрытый лишаями, о чем я, кажется, где-то и когда-то уже писал. Этот пятак, казалось мне, хранил на себе следы темных пороков...

Вечера были черные, страшные. Ходили слухи об убийствах, грабежах, налетах на квартиры. Говорили о каких-то «черных вóронах», нападающих на прохожих. «Черные вороны» чудились за каждым углом, на каждом пустыре — незастроенном участке города. Иногда папа вечером ходил через Куликово поле на вокзал за столичными газетами. Я умолял его не ходить, боясь, что его убьют «черные вороны». Но он, бесстрашно посмеиваясь, уходил в непроглядную ночь и скоро возвращался. Мы узнавали его длинный звонок, но все же спрашивали через дверь, не снимая цепочки:

— Кто там?

И всегда получали в ответ:

— Черные вороны с орехами.

Это был папа, который, кроме петербургских газет, торчащих из кармана его зимнего пальто, приносил какие-нибудь гостинцы, чаще всего каленые, еще горячие орехи-фундук в бумажном мешочке или сладкие, очень тонкие сушки из кондитерской Амбатьелло. Сушки всегда были в легком мешке из очень тонкой бумаги. Такой мешок хорошо было надуть и потом хлопнуть. Он очень громко стрелял.

Раньше у нас в городе не водились дверные цепочки. Теперь они были в каждой квартире. В этом тоже я ощущал нечто зловещее.

...Однако не все было зловеще и страшно в эту осень и зиму вокруг дома Гольденгорна против Куликова поля...

Пришла зима, выпал снег, побелело Куликово поле. Ударили морозы. За вокзалом среди лазурных столбов паровозного пара по вечерам горела ледяная заря, и так ясно, отчетливо в морозном воздухе звучали паровозные свистки, и так бледно, прекрасно горели звезды вокзальных электрических фонарей, зеленые и рубиновые огоньки семафоров.

После рождества, Нового года и крещенья, когда по домам ходили церковные причты и священник Ботанической церкви в лиловой бархатной твердой камилавке, расширяющейся кверху, из-под которой на плечи ниспадали каштановые, хорошо расчесанные кудри, окуная метелочку в серебряную чашу со святой водой — чашу вроде суповой вазы,— которую ему подставлял дьякон, наотмашь кропил направо и налево, обходя все комнаты на-

шей квартиры, включая и кухню, где окропленная кухарка истово крестилась, ловила батюшкину руку и целовала ее на лету...

...масленица — это маленькие чугунные сковородочки на плите и шипенье расплавленного масла, которым кухарка смазывает эти дымящиеся раскаленные сковородочки при помощи пучка связанных перьев или же просто куриным крылышком...

На окнах белели как бы цинковые кристаллические узоры крещенского мороза. На балконах, остывая, дымились на морозе миски с клюквенным киселем, таким ярким, как будто бы не заходящее за вокзалом январское солнце, а сам кисель источал этот ни с чем не сравнимый прозрачный густой клюквенный свет уходящей зимы.

А потом пришла масленица, в кухне пекли блины. Непрозрачный, непроницаемый чад горелого коровьего масла наполнял всю квартиру.

...Першило в горле... на глаза навертывались слезы...

Масленицу у нас справляли не каждый год, а от случая к случаю. В этот год из Санкт-Петербурга приехал мой двоюродный брат, сын папиного покойного брата Николая Васильевича, попросту Вася, студент-выпускник Военно-медицинской академии, «без пяти минут военный врач»,— веселый, остроумный, всегда оживленный молодой мужчина с черными усиками, в пенсне с черной лентой, заложенной за ухо. В нем было что-то мило-французское, умело смешанное с русским, военно-студенческим и вместе с тем столичным, питерским. Васина мать, вдова папиного покойного брата дяди Коли, моя тетя, была швейцарской француженкой из Вёве, жила в гувернантках в каком-то богатом русском семействе в Крыму, где познакомилась и вышла замуж за дядю Колю,— случай весьма банальный. Она перешла в православие, ее звали Зинаидой Эммануиловной, она быстро ассимилировалась в России — хотя на всю жизнь сохранила свой живой, кипучий, хозяйственный французский характер,— но так и не научилась правильно говорить по-русски, произнося, например, вместо помидоры — помадори, сильно грассируя, что при ее шляпке, рыжеватых шиньонах,

пружинном заграничном пенсне и клетчатой шотландской тальме очень веселило торговок на старом базаре, куда Зинаида Эммануиловна ежедневно лично отправлялась за провизией, не доверяя кухарке и усердно торгуясь на ломаном русско-украинском языке, что делала не по скупости, а по своей швейцарской обстоятельности и привычке к разумному расходованию денег.

Она была прекрасная жена, умелая хозяйка, нежная разумная мать, нарожала кучу русских детей и благоговела перед своим русским супругом, статским советником, преподавателем в духовной семинарии, носившим несколько раздвоенную сановную бороду, сквозь которую на шее просвечивала красная эмаль и золото ордена святого Станислава, курившим толстые папиросы и довольно основательно выпивавшим, никогда не терявшим при этом своего достоинства.

Вася был ее старший сын, Саша — младший. Была еще старшая дочь красавица Надя, вышедшая замуж за петербургского военного врача-рентгенолога, и еще одна дочь Зина, тоже красавица с ярким лицом и соболиными бровями. А младшая дочь Леля одиннадцати лет умерла от костного туберкулеза.

Свое вдовство Зинаида Эммануиловна переносила с деятельной заботой о содержании детей, в постоянных хлопотах об увеличении пенсии и какой-то «эмеритуры» — слово, которое она повторяла на французский лад, так же как и другое слово — «консистория». Эти оба слова она произносила с таким страхом, уважением и надеждой, как будто бы это был, по крайней мере, сенат или государственный совет. Оно и понятно: от консистории в какой-то мере зависела и пенсия и эмеритура, то есть единственные средства существования семьи.

...однажды из Петербурга через Одессу на Дальний Восток проезжала красавица Надя со своим мужем, военным врачом, и новорожденной дочкой Аллочкой. Помню черную папаху Надиного мужа, помню маленькую девочку в нарядных кружевных пеленках и помню, как мы ездили их провожать в порт, откуда они должны были ехать на пароходе добровольного флота «Тамбов» во Владивосток, а оттуда в Хабаровск. Военный оркестр играл «На сопках Маньчжурии» и «Тоску по родине», и я видел тесную каюту с круглым иллюминатором, набитую дорогими петер-

бургскими чемоданами и шляпными коробками, и среди этого всего беспорядка — маленькую девочку в пеленках. Они уезжали на русско-японскую войну... И было так грустно и страшно... И небо было такое серое...

Вася появился в своей военно-медицинской офицерской шинели, но еще с погонами нижнего чина, хотя уже с офицерской шашкой на узком серебряном ремне через плечо. Он повесил шинель и шашку на вешалку, а фуражку поставил на подзеркальник и весело оправлял свой зеленый сюртук с двумя рядами серебряных «военно-медицинских» пуговиц, удивительно ловко сидевший на его стройной фигуре с тонкой талией. Он сразу же распространил вокруг себя запах бриллиантина, парикмахерской и сыроватого предвесенне-морозного воздуха. От блинного чада, валившего из кухни, на Васиных красивых веселых черных глазах в черных ободках пенсне навернулись слезы, и он с иронической улыбкой вытирал их хорошо наглаженным носовым платком, вынутым из заднего кармана сюртука.

С Васей пришли и остальные наши «двоюродные» во главе с милейшей Зинаидой Эммануиловной в ее клетчатой потертой ротонде с треугольным капюшоном, придававшей ей нечто иностранное, швейцарское.

...Швейцарское всегда незримо присутствовало за ее спиной: Женевское озеро, зубчатые снежные горы «Дан дю Миди», крылатые паруса, Шильонский замок...

Гости наполняли веселыми восклицаниями все комнаты нашей квартиры, потонувшей в клубах горького блинного чада.

Героем дня был Вася, отправлявшийся на днях в Хабаровск на открывшуюся вакансию военного врача-лекаря, так что, в сущности, он уже был офицером: в Хабаровске его должны были произвести в первый офицерский чин. Японская война уже кончилась, но Дальний Восток, куда уехала Надя с мужем и теперь уезжал Вася, все еще казался театром военных действий, что усиливало общий интерес и любовь к Васе.

Маленький Женька не отходил от Васи, держа его своей пухлой ручкой за обшлаг военного сюртука, и та-

щил к пианино, упрашивая: «Вася, лягай кеквок!» — что обозначало: «Вася, играй кекуок!»

Вася покрутил плетеное сиденье, визгнувшее на железном винте, сел за пианино, поправил пенсне, щегольским жестом откинул в стороны фалды мундирного сюртука с погонами Военно-медицинской академии и нажал на педаль ногой в узких диагоналевых брюках с красным кантом; он поднял руки, собираясь ударить по клавишам, но вдруг раздумал и повернул к нам, обступившим его мальчикам — Женьке, Саше и ко мне,— лицо с бровями, черными как пиявки, сдвинутыми над переносицей, прищипленной машинкой своего столичного пенсне.

— А вы, эфиопы, уже пили рыбий жир? — зловеще спросил он.

Я и Саша похолодели, так как надеялись, что в общей масленичной суете рыбий жир, который мы ненавидели до рвоты, как-нибудь пронесет мимо. Что касается Женьки, то он, как это ни странно, очень любил рыбий жир и пил его с удовольствием, после чего даже облизывался.

— Ну нет, мои молодые пациенты, вы у меня не отвертитесь от рыбьего жира. Этот номер не пройдет!

Мы покорно уселись рядом на стулья, понимая, что отвертеться от рыбьего жира не удастся. Вася принес из кухни бутылку с тошнотворно-желтой жидкостью, достал из буфета серебряную столовую ложку, один лишь блеск которой вызывал отвращение не менее сильное, чем вид самого рыбьего жира, вынул пробку, обернутую промасленной бумагой, налил прозрачно-тяжелую омерзительную жидкость в ложку, заблестевшую в его опытных руках еще более тошнотворно, подошел ко мне, стиснул меня коленями, чтобы я не улизнул, велел открыть рот и заставил выпить полную ложку рыбьего жира; то же самое с грубым проворством военного хирурга он проделал с Сашей, у которого даже уши побелели от омерзения, а Женька с явным удовольствием выпил рыбий жир и облизнулся.

И лишь после этого Вася, дав нам на закуску по кусочку черного солдатского хлеба с селедкой, уселся за пианино и весело отбарабанил кекуок, матчиш, а также весьма популярную после русско-японской войны «Китаянку».

«...был, бедняжка, ранен тяжко и к японцам в плен попал. Там влюбился он в смуглянку — кита-кита-кита-кита-китаянку...» — и т. д.

Это сразу внесло в дом бесшабашное веселье. Люди двигались в чаду как тени, глаза слезились; на столе соблазнительно виднелась закуска к блинам: тертый швейцарский сыр, мисочка расплавленного коровьего масла, другая миска со сметаной, разделанная селедка с перламутровыми распластанными щечками, красная икра и очень соленая багровая кета из реки Амур, появившаяся в продаже после войны. Красная икра и кета стоили очень дешево, заменяя в небогатых домах черную паюсную икру и семгу, которую мы никогда не покупали: не по карману!

Зато папа купил копчушек в лубяном плетеном коробке. Это были соблазнительно-золотистые копченые рыбки, главная прелесть которых заключалась в том, что их надо было, прежде чем подавать на тарелке к столу, облить спиртом и поджечь; когда спирт догорал желтовато-голубым пламенем, шкурка с рыбок снималась очень легко — сама собой! — и папа очень ловко проделывал эту операцию, обнажая душисто-продымленную плоть рыбьего суховатого мясца, такого вкусного, что от него трудно было оторваться, как от семечек.

Таким образом, к блинному чаду примешивался волшебный запах горящего спирта и теплый запах самих копчушек, что в соединении с «Китаянкой» и посеревшим, заметно осевшим снегом Куликова поля, видного в окна, именно и составляло сущность праздника под названием масленица.

Когда же из кухни в столовую вносились высокие стопки дымящихся блинов, каждый из которых как бы представлял лунную поверхность с кратерами, и Васе — в виде исключения — папа наливал из специального гостевого графинчика граненую рюмку водки, а Вася опрокидывал ее со столичным военно-медицинским шиком в свой румяный под черными усиками рот, и мы все начинали накручивать на свои вилки ажурные блины, макая их попеременно то в расплавленное масло, то в прохладную сметану, и мазать их крупной красной икрой, шарики которой так вкусно лопались на зубах, источая клейкую жидкость зародышей кеты, а зимние окна постепенно синели, неуловимо предвещая чем-то грядущую весну, и зажигали лампу, и папа виртуозно обдирал копчушки, то становилось на душе хорошо и весело и радовало, что две двоюродные семьи живут так дружно, хотя и в противоположных концах города, так любят друг друга, и это чувст-

во охватывало наши души, и тетя от всей души целовалась с француженкой Зинаидой Эммануиловной, которая настолько обрусела, что даже привыкла к блинам, от которых на ее темных усиках белели следы сметаны, и она говорила резким голосом ученого скворца комплименты тетиным блинам:

— Кароши блины! Ах! Очень кароши! Настоящие, как у нас говорят, крэп дентель! Кружевные!

Вася снова садился за пианино и, повизгивая немазаным винтом табурета, с огоньком и восклицаниями, посматривая на тетю, играл «Ой-ра».

— Ой-ра! Ой-ра!

...мне в душу закрадывалось подозрение, что Вася тоже был поклонником тети...

«Был, бедняжка, ранен тяжко и к японцам в плен попал!»

Падающие звезды.

В темную, безлунную августовскую ночь мы иногда шли к обрывам и, хотя там была вбита в землю скамеечка, предпочитали рассаживаться прямо на теплой, еще не успевшей остыть степной земле, поросшей ромашкой, полынью, чебрецом и многими другими душистыми травами. С обрыва открывалось темное море, на черном горизонте которого слабо светилась не то звезда, не то огонек на мачте невидимого парохода, уходящего за край траурной полосы между водой и небом.

Самое привлекательное в этих непроглядно-черных теплых ночах — перед началом нового учебного года — было то, что, всмотревшись в окружающую тьму, глаз обнаруживал множество источников таинственного свечения: то в кусте дикой маслины, озаряя своим янтарно-зеленым безжизненным светом всего лишь какую-нибудь ничтожно малую часть серебристо-суконного листика, вдруг появлялась капелька светлячка; то где-то неизмеримо далеко в степи, за скифским курганом, еле различимым на фоне неба, можно было рассмотреть искру цыганского костра; то внизу на песчаный берег у подошвы обрыва набегала длинная ночная волна, окаймляя берег светящейся кружевной пеной,— это фосфорилось море.

В черном небе среди довольно крупных, хорошо нам знакомых созвездий Северного полушария и раздвоенного

рукава — как бы небесной дельты — Млечного Пути светились миллиарды звезд, наполняя небо серебристым песком, пылью, фосфорическим дымом, при свете которых степь и море хотя и оставались темными, но все-таки таинственно мерцали, и воздух был напоен тончайшим эфирным свечением, в котором вдруг проносилась летучая мышь, похожая на дубль-ве (w), или трепещущие ночные бабочки, как бы сеющие вокруг себя серую пыльцу, или двигались силуэты пограничников, совершающих свой ночной обход, и степь вокруг была наполнена хрустальным звоном сверчков.

Мы ложились на теплые травы лицом вверх и закладывали руки за голову — папа, Женя и я. И еще несколько мальчиков и девочек из немецкой экономии.

Теперь мы видели только одно громадное звездное небо, его траурную черноту и на ней — созвездия и отдельные звезды, которые папа называл по именам, как своих хороших знакомых:

...Большая Медведица, Малая Медведица, Полярная звезда, Сатурн, Юпитер, низко склоняющийся к морскому горизонту, Венера — странная звезда, дважды появляющаяся на небосклоне — утром и вечером, почему ее и называют то утренней звездой, то Веспером, то есть вечерней, а некогда, как нам сказал папа, запрокинув голову и смотря в звездное небо, считалось, что это не одна звезда, а две разных.

...не знаю, но почему-то это меня очень волновало, и мне казалось, что у меня две души — одна радостная, утренняя, а другая сумрачная — Веспер...

Мы лежали лицом к небу, нас обдувал теплый ночной ветерок, в котором смешивались запахи моря и степи, и временами мне казалось, что я не лежу на земле и смотрю вверх, а наоборот — вишу в пространстве лицом вниз, и в неизмеримой глубине подо мною раскинулось мировое пространство без начала и без конца — во всем своем августовском великолепии.

Казалось, я уже больше не принадлежу земле, ее материкам, океанам, странам и границам между этими странами, вдоль которых расставлены пушки, крепости и пограничные кордоны вроде нашего Будакского погранично-

го поста у высокого обрывистого берега, вдоль которого ходят пограничные патрули, и народы говорят на разных языках, и враждуют между собою, и ведут войны, и по морям и океанам ходят дредноуты, в глубине скользят тени подводных лодок — субмарин,— а есть надо всеми только одно общее звездное небо и одна всемирная душа — моя душа, и падающие звезды, или, как их называл папа:

...метеоры, болиды, метеориты...

В середине августа их — этих падающих звезд — было особенно много, и они одна за другой внезапно возникали в глубине угольно-черной небесной бездны и чиркали как спички, оставляя за собой фосфорическую царапину, быстро исчезающую среди небесной черноты.

Метеоры летали часто, легко и по разным направлениям, но не пересекаясь, а всегда примерно из одного самого темного участка неба.

И всегда неожиданно, без всякого порядка...

Иногда метеор напоминал алмазик стекольщика, оставлявший почти слышимый след на черном стекле Вселенной, или, как папа говорил, космоса.

Мы знали, что, пока звезда катится, надо шеппуть ей желание сердца и оно непременно исполнится.

В середине августа, подстерегая внезапное появление новой падающей звезды, на краю земли между Днестровским лиманом с его старой турецкой крепостью и дельтой Дуная, в Буджакской степи, я шептал заветное свое желание.

Но падающих звезд было так много, а желания мои были так разнообразны и противоречивы, что я до сих пор не знаю, исполнились ли они в конце концов или не исполнились...

«Ломай замок!»

До сих пор не знаю, не могу понять, хотела ли эта девочка подбить меня на кражу со взломом или в ее словах таился какой-то другой смысл — жгучий, волнующий...

Не помню, как ее звали.

Ей было лет одиннадцать, и она принадлежала к числу тех уличных девочек, которые вечно таскаются за мальчиками, предпочитая их обществу своих подруг. Ни-

кто из нас не знал — да и не интересовался,— откуда она появилась у нас в Отраде. Босая, очень коротко остриженная, в стираном-перестираном ситцевом платье с пуговками на спине, из которого она настолько выросла, что виднелись ее колени, покрытые синяками и царапинами, она плелась в некотором отдалении от мальчиков, напоминая приблудившуюся кошку.

Мальчики ее отгоняли, но она не отставала и все время канючила:

— Чего вы меня не принимаете в компанию? Что я вам сделала? Хочете, я вас поведу в сарай к мадам Васютинской, там в соломе родилось шесть штук котят и все полосатые, святой истинный крест, пусть меня бог накажет, если не полосатые.

— Иди ты знаешь куда со своими котятами! Чего пристала к людям? Иди к своим девчонкам и не морочь нам головы. Гэть отсюда! — говорили мальчики грубыми голосами.

— Пожалеете! — зловеще-скорбно отвечала она, но не уходила, а, лишь немного постояв на месте на одной ноге, как цапля, издали плелась за мальчиками.

Неизвестно почему, но она вызывала к себе презрение. Я тоже презирал ее и не упускал случая, чтобы не крикнуть ей:

— Чего прилипла? Иди откуда пришла, а то получишь по шеям!

При этом я невольно смотрел на ее тонкую, не очень хорошо вымытую шейку и уши, выглядывающие из неровно обстриженных волос. Наверное, ее стригла дома ножницами мать — прачка или дворничиха.

Однажды после гимназии я, как любила ядовито выражаться тетя, валандался без дела по улице, ища себе компанию, но в этот знойный, послеобеденный час улица была пустынна: все другие мальчики, вероятно, сидели по домам и готовили уроки. Несмотря на конец сентября, ничто не напоминало осени. Можно было подумать, что томительно продолжается сильно затянувшееся южное лето и не предвидится ему конца.

Я чувствовал себя одиноким, каким-то бездумно-опустошенным. Между тем уже довольно долго за мной бесшумно шла неизвестно откуда появившаяся знакомая босая девочка — забыл ее имя,— и я вдруг услышал за спиной ее монотонный таинственный шепот:

— Мальчик, хочете, я вас поведу на одну пустую

заколоченную дачу? Оттуда уже перебрались жильцы, садовник пошел в монопольку, и нас там с вами никто не увидит... Хочете, мальчик?

...Теперь она уже шла рядом со мной, со странным выражением, без улыбки, заглядывая мне в лицо. Мы были с ней одни, вдвоем среди этого знойного, пустынного, послеобеденного мира Отрады, и я вдруг стал испытывать к ней, кроме укоренившегося презрения, еще нечто странно-волнующее, почти любовное.

Я был Хома Брут, она — мертвая панночка...

— Пошла вон,— сказал я скорее по привычке,— чего ты за мной ходишь?

Она не обратила на мои слова внимания и, уже касаясь своим худым плечиком моего плеча, продолжала монотонно бормотать:

— Пойдемте со мной, вы не пожалеете, оттуда уже все дачники перебрались, комнаты стоят пустые, садовник пошел в монопольку за шкаликом, и нас там никто не увидит. Хочете?

Я почувствовал необъяснимое волнение и, ничего не отвечая, продолжал идти следом за девочкой, которая уже опередила меня, перебирая босыми ногами по горячему тротуару. Изредка она оборачивалась, глядя ничего не выражающими, пустыми глазами, светящимися на худом лице, неподвижном, как маска.

Пройдя сквозь безлюдную Отраду под сенью пыльных акаций, уже отягощенных гроздьями поспевших черных стручков, среди мелких листиков, еще почти не тронутых осенней желтизной, мы очутились на террасе пустой заколоченной дачи на краю обрыва, за которым голубело пустынное сентябрьское море, охваченное штилем. Мы стали заглядывать в окна, забитые накрест досками, рассматривая пустые дачные комнаты с частью оставленной на зиму мебели и разными забытыми мелочами вроде вазы для цветов, подсвечника, кухонной ступки, жестяной коробки из-под чая... В углу на беленом потолке сидела, сложив треугольником крылья, большая серая ночная бабочка «мертвая голова», а паук уже успел заткать другой угол паутиной, по которой каталась как ртутный шарик блестка солнечного луча, проникшего сквозь забитое досками, пыльное стекло.

...Вокруг царило страшное безлюдье.

На дверях висел железный замок. Девочка подошла ко мне совсем близко, почти вплотную. Я чувствовал на лице ее дыхание, попахивающее чесноком. Я видел близко ее малокровные губы с заедами в углах рта. Заеды были похожи на присохшую желтую малину. Под мочками ушей на шее виднелись мутные потеки: наверное, она недавно ела дыню, и концы дынной скибки касались ее ушей. Ее глаза с напряженно стоячими зрачками смотрели на меня в упор, мне показалось, что она подбивает меня на кражу.

— Ломай замок! — повелительно сказала девочка и поворовски оглянулась.

В этот миг калитка скрипнула, и мы услышали голос садовника, вернувшегося из монопольки:

— Чего вы здесь лазаете по чужим дачам? А ну, гэть видселя!

И он, стоя на месте, затопал сапогами, делая вид, что гоняется за нами.

В ту же минуту девочку как ветром сдуло, только через забор перелетело ее розовое платье.

Я побежал с пылающими ушами мимо ухмыляющегося садовника и слегка получил по шее добродушной рукой. Больше я эту девочку уже никогда не встречал.

Фани Марковна.

Была Малая Арнаутская улица, казавшаяся мне тогда ужасно далекой, а на самом деле находилась она совсем близко. Попадая на эту улицу, мы сразу погружались в мир еврейской нищеты со всеми ее сумбурными красками и приторными запахами. Мы входили в деревянную застекленную галерею, окружающую двор. Тут маме приходилось то и дело наклонять голову, чтобы орлиное перо на ее шляпе не сломалось, наткнувшись на какое-нибудь препятствие: веревку с развешанными на ней бебехами или перекладину, поддерживающую покосившиеся дощатые стены источенной жучками галереи с немытыми стеклами, половина из которых была разбита.

В галерею выходило множество окон и дверей, большей частью распахнутых, и там во тьме гнездились целые семейства евреев — ремесленников, портных, сапожников, модисток, жестянщиков, лудильщиков,— так что из

каждой двери неслись звуки молотков, лязганье громадных портновских ножниц, треск раздираемого коленкора, визг немазаных ножных швейных машин и резкие кухонные запахи, смешанные с чадом множества керосинок «Грец» с их слюдяными окошечками, светящимися во тьме квартир, как сцены маленьких театров, где разыгрывалась феерия волнистых языков коптящего пламени — пожар какого-то города.

Мы входили в закопченную, почти черную дверь Фани Марковны, задернутую ситцевой занавеской, и мама наклонялась и прикрывала узкой рукой в лайковой перчатке перо на своей шляпе.

Фани Марковна встречала нас приветливой улыбкой на худом, малокровном лице, покрытом черными точечками угрей. Ее улыбка обнаруживала отсутствие бокового зуба. Если бы не этот дефект и не дряблая кожа на шее, Фани Марковна вполне подходила к моему понятию — дама: на ней был жакет примерно такой же, как у мамы, и такая же юбка со шлейфом, обшитым щеточкой, но только более поношенные. Фани Марковна отличалась от мамы прической. Мамины блестящие смоляные волосы были всегда гладко зачесаны назад и закручены на затылке узлом, полным шпилек, а у Фани Марковны была модная прическа с накладным валиком над преждевременно морщинистым низким лбом, производившая впечатление рыжеватого парика. Впрочем, кажется, это был действительно парик.

Из потемок вырисовывался темный комод тараканьего цвета, покрытый гарусной салфеткой, и на нем в белых гипсовых вазочках букеты бумажных роз, отраженные в зеркале без рамы, но на толстой ясеневой подкладке.

Мама вручала Фани Марковне бумажный сверток с материей, предназначенной для шитья к весеннему сезону легкой шерстяной накидки. Фани Марковна разворачивала материю и выходила с ней в галерею, чтобы лучше ее рассмотреть, а мама садилась на гнутый венский стул черного еврейского цвета и привлекала меня к себе, целуя мою шею, причем я чувствовал, как надулся ее живот.

Затем возвращалась Фани Марковна и одобряла качество материи и мамин вкус. Материю она осторожно клала на круглый стол, покрытый бархатной скатертью с кистями.

Фани Марковна уводила маму за ширму для примерки прежде заказанных нижней юбки из шуршащего сиреневого канауса и корсета на китовом усе, а я долго сидел посреди комнаты на освободившемся стуле, то разглядывая узорную чугунную педаль ножной швейной машины, то глядя, как над бамбуковой ширмой вдруг на миг появляется мамина голая рука или голова Фани Марковны с булавками во рту и верхней губой, как бы опушенной темными ресничками усов. Именно от этого потрескавшегося клеенчатого сантиметра с серыми и розовыми цифрами и распространился — как мне казалось — тот общий для всей Малой Арнаутской улицы запах людской скученности и бедноты, как бы пропитавший золотушный воздух. Все это внушало мне в одно и то же время и отвращение и мучительную жалость к бедным людям, принужденным жить так скученно и некрасиво среди биндюгов, двухколесных тачек с задранными ручками, лавочек, где продавался вонючий керосин — петроль,— сливовое повидло в бочках, древесный уголь, называющийся «деревянный», и ржавые селедки в кадочках, и маслины, и брынза в стеклянных банках с мутно-молочной водой и желтыми соцветиями укропа, и халва, похожая на глыбы оконной замазки.

...и я ерзал на черном венском стуле, с нетерпением ожидая мига, когда примерка кончится и, сопровождаемые сладкими улыбками и сдержанными поклонами Фани Марковны, мы с мамой наконец пойдем домой, подальше от этого грустного, несправедливого, ужасного мира Малой Арнаутской улицы.

Мама на улице.

Я уставал идти по улице, держа маму за палец в лайковой перчатке, и просился на ручки, на что мама — помнится мне — всегда говорила одно и то же:

— Как не стыдно! Такой большой, хороший бутузик, а ходить до сих пор как следует не научился.

Она меня ласково называла «китайчонком», а иногда Ли Хунчангом.

И я продолжал шаркать своими туфельками по гранитной мостовой, когда мы со всеми предосторожностями переходили на другую сторону против уже знакомой мне аптеки с двумя громадными стеклянными графинами, на-

полненными один лиловой, а другой зеленой жидкостью, ярко светящейся, как бы сквозь увеличительное стекло, в больших окнах, где виднелись черные полки с белыми фаянсовыми банками, помеченными зловещими надписями, которые я не умел прочитать.

На улице мама была совсем не такая, как дома. Дома она была мягкая, гибкая, теплая, большей частью без корсета, обыкновенная мамочка. На улице же она была строгая, даже немного неприятная дама в мушино-черной вуали на лице, в платье со шлейфом, который она поддерживала сбоку рукой, на которой висел черный муаровый мешочек, обшитый блестками, в котором лежала деревянная желто-лакированная пулька — патрон с мигренином, открывавшийся с писком, как деревянная писанка, а внутри деревянной пульки оказывался вроде бы парафиновый карандаш мигренина: если потереть им лоб и щеки, то сильно холодило и пахло камфорой.

...Мама страдала мигренями...

Мигрени представлялись мне как сильные удары всеми пальцами по басовым бемолям пианино с нажатыми педалями.

В пенсне, рисовавшемся под вуалью, с густыми бровями, приподнятыми к вискам, с орлиным пером на шляпе, мама временами казалась мне совсем чужой женщиной, не мамой, а «сударыней», как обращались к ней в лавках или на улице, если кто-нибудь из встречных случайно задевал ее на узком тротуаре локтем:

— Простите, сударыня.

А мама в ответ гордо кивала головой в знак извинения и не оборачиваясь проходила мимо, таща меня за руку и произнося:

...какие все-таки невежи. Совсем разучились прилично ходить по улице...

Карлики.

Карлики была фамилия. Говорилось:

— Надо зайти к Карликам за тесьмой для юбки.

Карлики совсем не были карликами, а обыкновенными пожилыми людьми — мужем и женой, мадам Карлик и месье Карлик. У них мама покупала приклад, необходи-

мый для шитья своих платьев у модистки Фани Марковны, а для меня цветные карандаши, резинки, липки, а также переводные картинки и просто разноцветные картинки, целыми листами висевшие на бельевых защипках над ящиком прилавка с потертыми, почти матовыми стеклами, огражденными сверху от локтей покупателей медными прутьями.

В магазине никогда не бывало обоих Карликов. Торговали по очереди: то мадам Карлик, то сам Карлик. Они оба хорошо знали маму и меня как своих «постоянных покупателей».

Кажется, мама впервые посетила магазин Карликов вскоре после того, как вышла замуж за папу и купила там лист канвы и два мотка красной и черной шерсти для того, чтобы вышить крестиками украинский орнамент на папиной рубахе, что имело особенное значение, так как папа окончил Новороссийский университет по историко-филологическому факультету с серебряной медалью за работу о византийском влиянии на народное искусство юга Украины, или, как тогда говорили, Новороссии...

...будучи студентом последнего курса, папа летом пешком исходил множество украинских сел и деревень с тетрадкой, куда — со свойственным ему педантизмом — срисовывал красным и синим карандашом народные орнаменты и вышивки на рубахах и рушниках — полотенцах.

Я живо представляю себе, как мама нашла эти тетрадки и в виде сюрприза тайно вышила красной и черной шерстью крестиками полотняную летнюю рубаху для папы. Сколько помню свое детство, в нем всегда присутствовала полотняная папина рубаха с маминой вышивкой на вороте и рукавах. Эта рубаха казалась неизносимой, и после множества стирок и глаженья крестики ее вышивки не теряли своей яркости; как видно, Карлики продавали хороший товар.

Кроме этой рубахи, помню серую холщовую наволочку, которую надевали на подушку, отправляясь куда-нибудь в дальнюю дорогу. Эта дорожная наволочка была тоже вышита шерстью, но уже в другом духе, чем папина рубаха. Здесь мама дала волю своей фантазии и уже без всяких византийских орнаментов не только черной и красной, но также зеленой, голубой, синей шерстью вы-

шила гладью замечательно красивый букет, где без труда можно было узнать розы, гвоздики и фиалки. Помню костяные пуговички, на которые застегивалась наволочка, слегка пожелтевшие от времени, но все же неизносимопрочные. Уверен, что их покупали тоже у Карликов, так же как и перламутровые пуговички для моих сорочек, продававшиеся дюжинами, пришитыми к зеркально-блестящим картонкам, так ярко светившимся под матовым стеклом в глубине прилавка, рядом с катушками белых и черных льняных ниток номер сорок и черными матовыми конвертиками, откуда виднелся ряд блестящих ушек иголок, а в овальной прорези — их тесно прижатые друг к другу стальные стерженьки, напоминающие трубы микроскопического органа.

...крючки, кнопки, гуммиарабик, кисточки для акварельных красок и сами эти краски — кружочки, приклеенные к картонной палитре, или в деревянных ящиках, все это покупалось у Карликов, причем всегда сам Карлик или мадам Карлик в виде премии с любезной улыбкой вручали мне какую-нибудь приятную вещицу: синее стальное перо с курчавой головой Пушкина посередине, резинку с белым слоном или что-нибудь подобное, умилявшее тем, что это бесплатно.

Я очень любил, когда мама брала меня с собой в магазин Карликов за покупками. Должен прибавить, что сам Карлик всегда был в котелке, отчасти напоминая этим старьевщика, так как все старьевщики нашего города носили котелки и назывались не старьевщиками, а «старовещиками»...

Аптека.

В ней обращало на себя мое внимание большое количество кружек для сбора пожертвований разных благотворительных обществ. Они были прибиты вокруг кассы и стояли также на самой кассе. Их было, пожалуй, даже больше, чем на церковной паперти или на конторке церковного старосты. Не говоря уже о кружках Красного Креста, распространенных повсеместно, обращали на себя внимание кружка еврейского благотворительного общества с голубой шестиконечной звездой царя Давида, кружка призрения сирот ведомства императрицы Марии Федо-

ровны с птицей пеликаном, осеняющим своими опущенными крыльями гнездо, откуда во все стороны тянулись разинутые клювы голодных птенцов, в особенности же кружка общества спасения на водах в виде белоснежной шлюпки с красным дном и эмблемой общества — двумя скрещенными якорями на фоне спасательного круга.

Все эти жестяные кружки были опечатаны сургучными печатями и заперты на висячие замочки.

Получая сдачу, покупатели аптеки иногда опускали в щели благотворительных кружек медные или даже серебряные деньги: ведь обычно человек шел в аптеку не от хорошей жизни; чаще всего в аптеку приводило горе, беда, смертельная опасность... В аптеке человек делался суеверным, и он, как бы желая умилостивить судьбу, сулящую, быть может, смерть, бросал монеты в благотворительные кружки, подобно тому как первобытные люди приносили жертвы, желая умилостивить темные силы, управляющие миром.

Покупая фенацетин от головной боли, мама всегда опускала сдачу в кружки и даже при этом, должно быть по привычке, мелко крестилась, как в церкви, и лицо у нее под вуалью делалось суеверно-испуганным, она как бы предчувствовала свою близкую смерть.

Золотой двуглавый орел над вывеской аптеки придавал ей нечто государственное, как будто бы ей была свыше вручена власть над здоровьем и жизнью всех людей, живших поблизости, как бы тяготеющих именно к этой аптеке.

Со страхом я заглядывал через прилавок, ставши на цыпочки, в открытую дверь заднего отделения аптеки, где приготовлялись лекарства, из пузырька в пузырек наливались через стеклянные воронки разные жидкости, в толстых фарфоровых чашках растирались фарфоровыми пестиками какие-то мази, катались на стеклянной доске пилюли, посыпанные зеленым порошком, что-то взвешивалось на миниатюрных аптекарских весах с роговыми чашечками и зелеными шнурками, пылало почти невидимое при дневном свете спиртовое пламя, и пахло йодистыми и ртутными испарениями, наклеивались шлейфоподобные ярлыки рецептов с двуглавыми орлами, вселяющие в мою детскую душу величайшее почтение, даже страх.

...Особенно пугали меня кислородные подушки, которые иногда при мне выносил из задней комнаты сам про-

визор для какого-нибудь помертвевшего от горя покупателя с блуждающими глазами и дрожащими губами, который, делая неверные движения пальцами, бросал на каучуковый кружок с присосками перед окошечком кассы рубли и полтинники, а потом, взяв две объемистые кислородные подушки, неумело обхватив их невесомые туши с гуттаперчевыми аппаратами и черными трубками для вдыхания кислорода — респираторами,— выбегал с ними на улицу, и прохожие поспешно уступали ему дорогу, как ангелу смерти, и меня охватывал ужас при мысли, что подушки не поспеют к умирающему больному, делающему последние глотательные движения губами и горлом, и я даже слышал его сухое хриплое дыхание, в котором мне чудилось какое-то темное, ужасное предчувствие, пророчество...

Утопленница.

Поразительный случай произошел со мной в раннем детстве, еще при жизни мамы.

Долгое время в нашей семье хранилась как курьез довольно большая, захватанная пальцами визитная карточка, напечатанная в провинциальной типографии прописными буквами, гласившая:

«Кисель Пейсахович Гробокопатель, посессор».

Посессор значило арендатор.

Эту визитную карточку показывали тем, кто не хотел верить, что существует человек с таким анекдотическим именем.

Мы познакомились с ним, когда проводили лето на берегу Днестра возле местечка Резина, недалеко от станции Рыбница.

Смутно представляется мне фигура человека в холщовом пылевике, в белом просалившемся картузе, в мужицких сапогах, арендовавшего не только несколько виноградников возле Сахарны, но также державшего мелочную лавочку, куда мы иногда наведывались с мамой; у него же обычно нанимали лошадей до Рыбницы, когда в августе уезжали обратно в Одессу к началу учебного года.

Помню, это был деятельный, услужливый, немного суетливый человек с испуганными глазами и доброй, несколько приторной улыбкой.

Не знаю, по каким делам, но он часто навещал нас в белой мазаной хатке, где мы жили высоко над стреми-

тельно-быстрым Днестром. Кажется, он был арендатором нескольких домиков, которые сдавал на лето дачникам, приезжавшим сюда из Одессы и Кишинева. Он был источником всех местечковых новостей, и каждый год зимой, ближе к весне, мы получали от него по почте открытку, в которой он напоминал о своем существовании и просил не забывать, что если мы соберемся летом прожить на Днестре, то он пришлет за нами на станцию бричку.

И вот однажды вечером, когда в комнатах уже горели сумрачные лампы, освещающие цветы на обоях, а за окнами шумел зимний, предвесенний дождь, всегда особенно печальный в городе, и по нашей Базарной улице текли пенистые потоки, низвергаясь водопадами сквозь решетки городской канализационной сети, вделанные в гранитные обочины мостовой, на лестнице, через стенку, послышались шаги поднимающегося человека, и почему-то я сразу почувствовал, что это идет к нам Кисель Пейсахович Гробокопатель и несет какую-то недобрую, даже ужасную весть.

...в передней зазвенел на пружине колокольчик...

Послышался голос мамы, открывавшей дверь, потом голос папы и, прежде чем я добежал до передней и увидел Кисель Пейсаховича в потемневшем от дождя брезентовом пальто с капюшоном на спине, я *уже знал,* что утонула Маруся.

Эта Маруся была одна из батрачек на винограднике, арендуемом Кисель Пейсаховичем, и я видел ее всего два или три раза и всегда именно в то время, когда она вместе с другими девчатами сбегала вниз к Днестру купаться.

Почему-то она особенно запомнилась своими карими, каштановыми глазами, веселой молдаванской улыбкой и громким, но музыкальным, приятным голосом, который долетал с берега, когда девчата раздевались, а затем в длинных нижних рубахах с шумом бросались в стремительные струи Днестра с чернильно-черными воронками водоворотов, и рубахи девчат шлепали по воде, надувались пузырями и неслись вниз по течению вдоль берега, покрытого слоем камышовых щепок, выброшенных сюда во время разлива откуда-то сверху, может быть с самых отрогов Карпат.

— Утонула Маруся? — дрожа от страха, закричал я.

Этот порыв ясновидения испугал маму, и она, побледнев сама, стала меня успокаивать, говорить, что я фантазирую, но Кисель Пейсахович среди множества новостей, привезенных им с берегов Днестра, уже сидя за чаем, подтвердил, что в прошлом году, после того как мы уехали, батрачка Мария действительно утонула, купаясь в Днестре, необычайно раздувшемся после летних ливней в Карпатах. Она попала в водоворот, ветер облепил ее прелестную головку вздувшейся пузырем рубахой, и она задохнулась в бурной воде, утонула, ее понесло вниз по течению, затащило на середину Днестра, и потом ее тело два дня искали баграми, пока наконец не нашли за десять верст от Резины.

С тех пор я вижу вздувшиеся, темные, как свинец, струи Днестра, несущего белую утопленницу с лицом, облепленным тонкой сорочкой, все дальше, и дальше, и дальше, мимо глинистых обрывов, как бы светящуюся сквозь сердитую воду посиневшей от ярости реки.

И так эта мертвая красавица всю мою жизнь, ни на минуту не останавливаясь, проплывала и до сих пор проплывает в моих сновидениях — прекрасная и пугающая, как гоголевская утопленница, с разметавшимися волосами, с которых ручьями течет речная вода...

...и когда в 1944 году ранней весной наш штурмовик летел в ущелье Днестра мимо глинистых обрывов, откуда из дыр вылетали стаи потревоженных стрижей, и мы бросали бомбы на немецкие обозы, и вокруг нас рвались красные звезды вражеских зениток, в весеннем тумане подо мной стремительно неслись черные струи вздувшегося Днестра, и мне казалось, что я вижу сквозь воду белое прекрасное тело уплывающей куда-то красавицы с разметавшимися волосами... и над нами тяжело пролетели аисты, возвращающиеся из чужих краев в родную Молдавию...

Волшебный рог Оберона.

Тогда еще по базарам и ярмаркам странствовали со своими лубяными коробами, обернутыми в домотканую холстину, продавцы дешевых народных песенников и книжек, так называемые офени.

Едва я научился читать по складам, как тут же моя бабушка — папина мама — пошла на привоз и купила мне у офени две копеечные лубочные книжки.

...я думаю, старушка не представляла себе, что в городе есть книжные магазины...

Одна из этих книжек как-то совсем улетучилась из моей памяти, будто бы ее и вовсе никогда не было, хотя я знаю наверное, что она была и что на ее обложке даже была какая-то прекрасная цветная картинка.

Другая же книжка называлась:

«Волшебный рог Оберона» — и на ее обертке было напечатано яркими липкими красками изображение не то короля, не то какого-то рыцаря, не то волшебника верхом на богато разубранной лошади, в дикой чаще сказочного леса:

...Всадник поднес к своему алому рту, к своей каштановой бороде закрученный охотничий рог на золотой цепочке, и, мне казалось, я слышу его медный раскатистый голос, наполнивший чудной своей музыкой не только нарисованный лес с зелеными папоротниками и белыми ландышами, но также всю нашу Базарную улицу.

Я понемногу читал эту книжку, складывая буквы в слоги, а слоги в слова, но ее содержание произвело на меня гораздо меньшее впечатление, чем картинка на обложке. Сейчас я уже совершенно не помню, что было напечатано в книжке сероватым шрифтом на плохой бумаге. Но на всю жизнь в памяти моей остался заголовок:

«Волшебный рог Оберона».

И яркая картинка обложки, как бы сразу заменившая мне все искусство мира, о котором тогда я еще не имел ни малейшего понятия.

К этому примешивалось не менее сильное чувство обладания: ведь книжка принадлежала мне, была моей *собственностью,* и я прятал ее у себя под подушкой, чувствуя во сне литографический запах, смешанный с затхлым, старческим, шерстяным запахом маленькой древней вятской попадьи, моей родной бабушки — мамы моего папы, которая, сама того не ведая, подарила мне слова:

«Волшебный рог Оберона».

...быть может, разбудившие во мне поэта.

Слабительное.

— Он горит! — сказал с дрожью в голосе папа, потрогав мою голову.— Женя,— обратился он к маме, — посмотри, он пылает!

Мама подошла к моей кроватке и, просунув сквозь гарусную сетку руку, приложила прохладную ладонь к моему лбу, а потом перевернула ладонь и приложила ее обратной стороной к моей щечке, потом к шейке.

— Пьер,— сказала мама,— бога ради, скорее градусник!

Начались поиски градусника, и я слышал, как с визгом открывались ящики маминого комода, а потом звонко щелкнул особенный замок верхнего ящика папиного комода.

Я лежал с закрытыми глазами, и сквозь мои веки проникал кровавый свет лампы, принесенной из столовой с папиной конторки. Папа подошел ко мне с градусником в руке. Я открыл глаза. Градусник сверкнул зигзагом, как молния, и громыхнули папины крахмальные манжеты — это папа стряхнул термометр. Потом он сунул его мне под мышку, и на миг я почувствовал скользкий ледяной холодок еще не нагревшегося стекла, как будто бы мне под мышку сунули сосульку. У меня открылось плечо, и папа бережно натянул на него край душного одеяла.

Мне было тошно. Я горел. Я испытывал мучительное чувство, уже знакомое мне прежде. Это чувство, вернее телесное ощущение, состояло в том, что кисти моих маленьких рук, как бы наливаясь свинцом, начинают все расти, расти и расти, превращаются в громадные, пудовые гири и в то же время все уменьшаются, уменьшаются, уменьшаются, делаясь крошечными, как булавочная головка, и эта одновременная борьба во мне чего-то неимоверно громадного, постоянно распухающего, тяжелого с чем-то микроскопически-крошечным и все время уменьшающимся наполняла мою душу, мое помраченное сознание непередаваемой тоской, страхом, беспамятством, и мне все время представлялся нескончаемо длинный коридор, где по направлению ко мне откуда-то издали с четким стуком твердых каблуков торопятся чьи-то шаги и все никак не могут добежать до меня, одновременно и двигаясь и стоя на одном месте, что угнетало все мое существо так же мучительно, как и борьба пуда с булавочной головкой.

Я не почувствовал, как у меня из-под мышки выскольз-

нула стекляшка термометра, но услышал два голоса — папы и мамы, слившиеся с бегущими по бесконечному коридору неподвижными шагами.

...мир вокруг меня не имел ни начала, ни конца... он был бесконечен...

Темный ртутный стерженек наполнил все плоское тело градусника, гладко-обтекаемый кончик которого — ртутная пулька — зловеще сверкал до рези в глазах зеркальной белизной живого серебра.

— Боже мой! Пьер! У него сорок и две десятых! — сказала мама.

— Женечка, я теряю голову,— сказал папа.

— Скорее за доктором!

— Да, да.

— На извозчике... к Линтвареву.

— Он горит. Он горит.

Я горел и уже перестал понимать время, слившееся для меня при свете лампы, заставленной открытой книгой, с бесконечно бегущими по коридору зловещими шагами, которые вдруг закончились появлением знаменитого детского врача Линтварева, его белых рук с обручальным кольцом, его растопыренных пальцев, приложенных к белым кафелям жарко натопленной печки, его золотых часов, вдруг со звоном раскрывшихся, как твердые крылья жука, собирающегося лететь, в то время как сам он — великий детский врач Линтварев,— крепко держа пальцами мое запястье, считал пульс.

...его грозные брови, еще более грозные глаза, увеличенные стеклами очков, и запах йодоформа, исходивший от его очень длинного сюртука...

Я уже не помню исчезновения доктора Линтварева, оставившего в маминых руках рецепт, который он, по-видимому, выписал за папиной конторкой в столовой.

Помню только, как суетливо накидывала на себя бурнус и повязывалась платком разбуженная кухарка, которую послали в аптеку, в ту самую аптеку против магазина Карликов...

А время то неслось, то останавливалось, то совсем исчезало, и я проваливался в неподвижную пустоту и летел

куда-то вверх и в то же время вниз, уже ничего не понимая, кроме ужаса этого безостановочного полета.

Потом я вдруг так страшно вспотел, что пот захлюпал у меня под мышками, волосы взмокли, рубашонка прилипла к телу, одеяло сползло на пол, и я ощутил отрадное дуновение прохлады.

Температура упала так же неожиданно и быстро, как и вскочила.

Я лежал блаженно ослабевший и смотрел на папу и маму, которые рассматривали возле лампы нарядную коробочку, обклеенную золотой бумажкой, принесенную из аптеки кухаркой. От коробочки тянулся длинный шлейф бумажного рецепта с двуглавым орлом и латинскими словами, написанными каллиграфическим почерком провизора.

— Я уже выздоровел,— сказал я слабым голосом.— Я уже потею.

Папа подошел ко мне и ощупал все мое мокрое, прохладное тельце. Он сунул мне под мышку термометр. Я терпеливо выдержал пятнадцать минут, пока папа не вынул термометр и не поднес его к лампе.

— У него тридцать шесть и шесть,— сказал он маме.

— Какое счастье! — воскликнула мама.

Она подбежала ко мне, стала меня целовать, переодевать, и вскоре я уже лежал во всем сухом и прохладном, наслаждаясь радостью своего внезапного выздоровления.

...не знаю почему, но в детстве и в юности у меня без всяких видимых причин вдруг вскакивала температура до сорока, даже до сорока одного, а потом так же быстро, внезапно падала до нормальной, и таким образом, проболев несколько часов и напугав всех домашних, я снова делался здоровым и свежим как огурчик...

— Все-таки, Пьер, ему надо дать порошки,— сказала мама.

— Зачем? — спросил папа.

— Потому что это прописал сам Линтварев,— ответила мама, произнося слово «Линтварев» как имя какого-то божества.

Линтварев и считался божеством. Он был страшно дорогой и модный детский врач, считавшийся всемогущим.

— Ах, этот Линтварев! — воскликнул папа, в котором вдруг заговорило все его толстовское неверие в докторов.— Доктора только людей морят,— пробормотал папа.

— Пьер, ты крайний нигилист! — воскликнула мама.— Надо что-нибудь одно: или верить доктору, или не верить!

— В медицину я верю,— упрямо сказал папа,— а докторам не верю. В особенности во всяких Линтваревых. Взял за визит пять рублей и прописал ребенку какую-то чепуху, а ребенок выздоровел сам по себе, без всяких лекарств. Природа победила! — прибавил папа торжественно.— Впрочем,— сказал он,— если хочешь, можешь дать ребенку порошок. Надеюсь, от него вреда не будет.

Мама принесла стакан кипяченой воды из самовара и открыла коробочку с порошками, но тут папа, надев пенсне, стал читать рецепт, и вдруг лицо его побагровело.

— Каломель! — закричал он в негодовании.

— Ну и что же? — спросила мама.

— Это сильнейшее и опаснейшее слабительное, почти яд,— ответил папа.— Я не позволю, чтобы моему ребенку давали отраву.

— Пьер, опомнись! — воскликнула мама.— Но ведь это прописал сам Линтварев! Он великий специалист по детским болезням!

Но папа продолжал кипятиться:

— Какой он там специалист. Он просто грубый коновал... Ему бы лечить коров, а не маленьких детей. Нет, ты только подумай: он прописал нашему ребенку лошадиную дозу каломели.

— Ну все-таки...— сказала мама.— Я дам ему всего один порошок.

— Ни за что! Ни полпорошка! — закричал папа.— Я не позволю травить ядом нашего сына. В печку его, в печку!

И не успела мама произнести «ах!», как папа в развевающемся сюртуке с порошками в руке очутился возле печки, с поразительной быстротой отвинтил медный запор герметической заслонки, откинул ее в сторону и, весь озаренный жаром раскаленных дубовых дров, яростно бросил в трескучий огонь нарядную аптекарскую коробочку, которая в один миг вместе со всеми линтваревскими порошками превратилась в черный комок пепла, улетевшего в трубу.

Затем папа закрыл двойную чугунную заслонку, завинтил медный винт и, сразу успокоившись, виновато подошел к маме:

— Извини, Женечка, но — ей-богу! — я был прав.

Не знаю, что ответила мама, так как я уже сладко спал, положив по своему обыкновению руки ковшиком под щеку.

Папин завтрак.

Повязавшись белым фартуком, мама жарила на кухне котлеты. На глазах у меня плоские розовые сырые котлеты, слепленные из рубленого мяса, вспухали, покрывались коричневой корочкой, и когда мама, желая проверить степень их готовности, надкалывала их вилкой, из них с шипеньем брызгал горячий говяжий сок, наполняя кухню до того аппетитным запахом, что у меня слюнки текли. Мама была мастерица жарить котлеты и жарила их сама, особенно в тех случаях, когда они предназначались на завтрак папе.

Два раза в неделю папа давал уроки в юнкерском училище, и мама посылала ему туда завтраки с моей бонной, а попросту говоря, няней — белокурой рижской немочкой по имени Амалия, которую некоторые наши гости игриво называли:

— Амалия и так далее...

Что заставляло Амалию краснеть, а маму — грозить остряку средним пальцем с маленьким обручальным кольцом.

...Мама раскладывала на столе твердо накрахмаленную салфетку с нашей семейной меткой гладью и заботливо, словно совершая некий важный и приятный ритуал, заворачивала в нее пухлые, еще горячие котлеты, вложенные между ломтями белого хлеба, так называемого «арнаута», который быстро пропитывался котлетным соком — вкусной коричневой подливкой...

Салфетка завязывалась сверху узелком, и Амалия брала папин завтрак в руки, уже одетая в тальму и шляпку, в то время как мама надевала на меня пальтишко, причем я все время не попадал вывернутыми руками в рукава, а потом, вытащив мои пухлые кулачки наружу, мама застегивала у меня на горле тугой крючок и на всякий случай надевала на мои ноги суконные — на резине — ботики. «Амалия и так далее» на всякий случай брала свернутый

зонтик, и мы отправлялись по Французскому бульвару, еще называвшемуся тогда Среднефонтанской дорогой, в юнкерское училище, стараясь не опоздать к большой перемене, которую возвещали звуки трубы, слышные далеко вокруг большого казенного, по-военному мрачного здания юнкерского училища, выкрашенного в казарменный желтый цвет, всегда наводивший на мою душу уныние и еще какое-то сложное чувство нелюбви ко всему военному.

Тогда еще перед юнкерским училищем не было ни сквера, как стало позднее, ни стадиона, как теперь, а был громадный, заваленный мусором и поросший почерневшим бурьяном пустырь, вернее овраг, над которым жесткий ветер поздней осени или очень ранней весны нес облака холодной пыли и с такой силой бил в лицо, что мы с Амалией принуждены были время от времени поворачиваться спиной и идти задом наперед, причем Амалия с трудом удерживала рукой в кружевной перчатке свою рижскую шляпку, готовую всякий миг улететь в серое от пылевых смерчей небо, где ныряли и кувыркались бумажные змеи, запущенные мальчишками с Новорыбной улицы.

...раздувались и трещали накрахмаленные юбки Амалии...

Часто в эти дни в мой глаз попадала соринка, песчинка, натирала мне веко, и потом ее долго удаляли разными способами: то мама, вывернув мне веко, осторожно вылизывала ее языком и я чувствовал на лице мамино влажное, теплое дыхание, то Амалия наливала чайный стакан кипяченой водой — доверху, всклянь,— и я опускал в него изо всех сил вытаращенный глаз и держал его в воде до тех пор, пока песчинка или соринка сама собой не вымывалась из глаза.

И — боже мой! — какое я тогда испытывал наслаждение после адских мук, причиненных моему нежному глазу острой, граненой песчинкой с юнкерского пустыря.

...это еще были остатки Одессы пушкинских времен, «Я жил тогда в Одессе пыльной...»

Мы проникали в юнкерское училище с парадного хода с тяжелой дверью и поднимались по мраморной лестнице в два марша мимо белого гипсового бюста царствующего императора Николая II, поставленного на мраморную полочку, приделанную к белой стене. На гипсовую голову

императора с косым пробором постепенно оседала пыль, так что его макушка была несколько темнее бородки и щек под неподвижно-лучистыми августейшими глазами, что придавало облику императора странное выражение запущенности, обреченности.

...в 1917 году, в день Февральской революции в Одессе произошли сильные оползни как раз в районе Отрады и Малого Фонтана, где не было повреждено ни одного дома, кроме массивного здания юнкерского училища, переименованного в то время в военное училище: глубокая трещина прошла через капитальную стену фасада и расколола бюст государя императора, что было воспринято как зловещее предзнаменование конца трехсотлетней династии Романовых.

Я сам видел тогда этот треснувший бюст, еле державшийся на своей расколотой полочке...

Но во время моего детства царский бюст был еще цел, и мы с Амалией проходили мимо него по красной ковровой дорожке лестницы с почтением и некоторым страхом, видя в Николае II нечто вроде земного божества.

На верху лестницы были еще одни двери, стеклянные, а за ними сидел на табуретке дневальный юнкер в белой, будничной косоворотке, с голубыми, будничными погонами. Он докладывал о нашем появлении дежурному офицеру, и нас впускали в приемную, где Амалию оставляли сидеть и дожидаться, а для меня как для маленького мальчика, сына преподавателя, делали исключение и разрешали пройти в очень широкий коридор, где дежурный трубач уже трубил отбой. Начиналась большая перемена, и, окруженный юнкерами, из класса выходил оживленный папа с указкой в руке и свернутой географической картой под мышкой. Я приближался к нему, протягивал завтрак в салфетке, а он, в новом сюртучке, разительно отличаясь от всего военного своим мирным, штатским видом, принимал из моих рук приготовленный мамой завтрак, затем поднимал меня и целовал, щекоча мое лицо своими усами и бородой.

Юнкера со штыками в кожаных ножнах, привешенных сзади к поясу с ярко начищенной орленой бляхой, щекотали меня, делали мне козу и бодали своими крепкими щетинистыми головами, а я отбивался от них и хохотал так

громко и заразительно в этом огромном угрюмом военном коридоре-зале, что даже полковник в парадной форме с эполетами и орденом на тугой шее, инспектор классов, проходя строевым шагом мимо вдруг окаменевших юнкеров и поводя своими длинными стреловидными усами, снисходительно улыбнулся сквозь золотое пенсне, ущипнувшее его толстую переносицу. Он как бы хотя и не одобрял, но и не запрещал игру своих юнкеров с ребенком, принесшим сюда домашние котлеты своему штатскому папе.

Пока папа, устроившись перед подоконником, с благоговением ел приготовленный милыми маминими руками еще теплый завтрак, стараясь не уронить ни одной крошки, я со страхом рассматривал окружающие меня предметы: развешанные по стенам какие-то военные таблицы и мишени, учебную винтовку на специальном станке, наконец, особенно поражавшую и пугавшую меня полевую трехдюймовую пушку на зеленых колесах, подоткнутых деревянными треугольниками, чтобы пушка не скользила по паркету. Рядом с ней находился набор настоящих артиллерийских снарядов, угрюмо отливавших гладко выточенной сталью, блестевших медью боевых головок и центрующих поясков, как мне объяснил один из усатых юнкеров с плоско-щетинистой головой.

В соединении с устойчивыми военными, казарменными запахами натертых мастикой полов, армейского сукна, ваксы, кожи, щей, гречневой каши, светильного газа и оружейного масла все это угнетало меня предчувствием какой-то отдаленной, но неизбежной беды, подстерегающей всех нас, штатских людей, мирно и тихо живущих на свете за пределами этого казенного, военного здания.

Я заметил, что другие преподаватели, военные, завтракая на ходу булками с колбасой, не без зависти смотрели на моего папу, евшего такие вкусные домашние котлеты, постелив на широкий подоконник безукоризненно белую, туго накрахмаленную салфетку, свисающую вниз одним углом с нашей меткой гладью.

...но вот раздавался надтреснутый, трагический вопль медной трубы, возвещавший конец большой перемены.

Забрав с собой салфетку, с чувством хорошо выполненного долга мы с Амалией, раскрасневшейся после игривых разговоров с дежурным офицером, выходили на пустырь,

где нас подхватывал сухой жесткий ветер, задиравший крахмальные юбки Амалии и крутящий вокруг нас бурые облака пыли, такие мрачные под пасмурным небом поздней осени или же очень ранней южнорусской весны...

Постное масло.

В квартире никого не было. Я остался один. Кто не испытывал в детстве чудесного чувства безграничной свободы и вместе с тем страха, когда его ненадолго оставляли в пустой квартире среди непривычной, ошеломляющей тишины, шумящей в ушах как водопад, изредка нарушаемой таинственным потрескиванием мебели или звуком упавшей в кухне из крана звонкой капли?

Я ходил по тихим, пустым комнатам среди мебели и разных других вещей, чувствуя себя полным хозяином: что хочу, то и сделаю!

...захочу — подставлю стул и полезу на верхнюю полку буфета, где стоят туго завязанные бумагой банки варенья, присланные бабушкой из Екатеринослава; захочу — попытаюсь открыть верхний ящик папиного комода; захочу — понюхаю в тетиной комнате духи, вынув стеклянно-матовую пробку причудливого флакона; захочу — открою крышку пианино и одним пальчиком выстукаю «Чижика»; захочу — пойду в кухню и осмотрю там все полки и ящики, в которых всегда можно найти множество интересных предметов, а то загляну в таинственный сундучок кухарки и узнаю, что она там прячет...

Дело было в послеобеденное время, и уже довольно низкое, но все еще яркое солнце по диагонали пронизывало всю нашу квартиру своим желтым светом.

В кухне было особенно солнечно, тепло и тихо. Я еще не решил, что мне предпринять, как вдруг взгляд мой остановился на чайном стакане на подоконнике рядом с куском недоеденного хлеба. Стакан был наполовину недопит, и чай в нем, пронизанный солнечными лучами, светился, как янтарь. Он уже, по-видимому, успел остыть, а я ужасно любил остывший сладкий чай, который всегда напоминал мне поездки по железной дороге в Екатеринослав к бабушке, потому что тетя поила меня в вагоне таким за-

ранее приготовленным сладким чаем, наливая его из специальной бутылки в свою жеваховскую чашку.

У меня потекли слюнки, и, несмотря на то что мне было строго-настрого приказано не ходить в кухню и ничего там не трогать, я взял в руки стакан, показавшийся мне слишком тяжелым, и, предвкушая наслаждение, с жадной торопливостью выпил его до дна и в ту же секунду понял, что произошла ужасная ошибка: вместо чая в стакане оказалось подсолнечное масло и я вместо сладкого, холодного, душистого чая залпом проглотил жирную жидкость, чувствуя на языке ее какой-то пресный и вместе с тем своеобразно-пахучий вкус.

Вся полость моего рта, зубы, язык, гортань были покрыты пленкой растительного жира. Меня едва не стошнило. Я выронил стакан, он разбился. Я бросился к кухонному крану и пытался прополоскать рот, но рот не прополаскивался, не так-то было легко избавиться от налета подсолнечного масла. Мой подбородок, щеки, руки, даже почему-то уши были покрыты подсолнечным маслом. Я стал мылить руки стирочным, кухонным, так называемым «казанским мылом» — серым с синими прожилками, но мыло плохо мылилось и постное масло не смывалось.

В это время в кухню вошла вернувшаяся из города тетя, ведя за ручку маленького Женю. Еще не переступив порога кухни, она сказала:

— Я же говорила, что этого скверного мальчишку нельзя оставлять в квартире одного. Он выпил подсолнечное масло. Когда-нибудь он напьется уксусной эссенции, и тогда придется вызывать карету «скорой помощи». У тебя,— сказала она, обращаясь уже прямо ко мне,— глаза завидущие и руки загребущие: что ни увидят, то и хватают. Ох, ты у меня когда-нибудь докрутишься!

— Ах, тетя, вы ничего не понимаете! — с тоской сказал я.

А Женька захохотал...

Стоило ли им объяснять мою ошибку? Все равно они бы не поверили.

Мерцание рождественских снегов.

В доме одного мальчика я увидел рождественскую елку, поразившую меня тем, что она стояла на как бы настоящем

сугробе мерцающего снега и ее ветви были так же покрыты как бы самым настоящим мерцающим снегом.

Дело оказалось очень простым: елку обложили обыкновенной ватой, посыпанной сверху борной кислотой. Пластиночки борной кислоты блестели, как поверхность снега, прихваченная рождественским морозцем, с кристалликами крупных снежинок.

Освещенный елочными свечами, этот искусственный парчово-белый снег вспыхивал разноцветными огоньками и был несказанно прекрасен.

Пожираемый завистью, я решил на следующий год устроить у нас на елке такой же снег. Разумеется, я тут же забыл о своем решении и вспомнил о нем лишь в сочельник, когда елка уже стояла в гостиной, воткнутая в деревянный крест, который тут же вырубил топором и связал, провертев в середине коловоротом дырку, дворник Петр, мастер на все руки.

...крепко смерзшиеся ветви елки, постепенно согреваясь в натопленной комнате, распускались красивой сквозной темно-зеленой пирамидой и наполняли воздух особым смолистым, лесным, рождественским запахом — каким-то крепким, очень русским...

На столе уже были разложены прошлогодние елочные украшения — тончайшие, почти невесомые стеклянные шары, бумажные цепи, золоченые и серебряные орехи, подсвечники на пружинных защипках, пачки разноцветных парафиновых свечек, мотки серебряной канители, мигающие при свете вечерней лампы, облитые белым сахаром, ржаные звездообразные пряники с цветными гарусными петельками и множество других украшений и картонажей, вызывавших в душе острое ощущение наступающего праздника.

Я тотчас забрал с буфета сдачу, оставленную кухаркой после базара, и побежал в аптеку за гигроскопической ватой, и купил ее на все деньги — несколько синих бумажных свертков, перевязанных накрест тонким, очень крепким аптекарским шпагатом, припечатанным на месте скрещения бумажным кружком со знаком Красного Креста.

Борную кислоту я решил не покупать, так как у нас в доме она всегда водилась для полоскания горла в случае ангины или инфлюэнцы.

Когда я вернулся домой с ватой, уборка елки была во всем разгаре и тетя, стоя на скамеечке, поставленной на стул, забрасывала на верхние ветки веревочку с гирляндой бумажных флажков разных наций, из которых мне особенно запомнился флажок Сиама с белым слоном на алом поле.

Я принялся вместе со всеми — с тетей, маленьким Женькой и папой — украшать елку, ничего им не говоря о блестящем снеге, который решил устроить сам в виде приятного рождественского сюрприза.

Когда елку наконец нарядили сверху донизу, было уже поздно, все валились с ног от усталости, а Женька даже заснул на полу под нижними ветками с шуршащей бумажной цепью, провисшей до паркета. Тетя взяла его на руки, и мы все отправились спать, но рано утром, когда лапчатозамерзшие стекла окон еще с трудом пропускали синий рассветный свет, я пробрался босиком по холодному полу в гостиную к темной, почти не различимой в утренних сумерках, мерцающей стеклянными шарами и серебряной канителью елке и приступил к делу.

Я обложил крест, в который была воткнута елка, пластами гигроскопической ваты, расстелил ее в виде снежной пелены на полу под елкой, а на ветки набросал белоснежные клочья, как у Пушкина:

«...Пришла, рассыпалась; клоками повисла на суках дубов...»

Полюбовавшись на устроенные мною пушкинские клоки и великолепный ковер, я отправился за борной кислотой, которая всегда хранилась в буфете на нижней полке. Но борной кислоты там не оказалось. Я потихоньку обшарил всю еще спящую квартиру, побывал в кухне, где заспанная кухарка уже совала пучок подожженных лучин в тесное горло самовара, откуда валил зеленоватый дым, заглянул в чулан.

Борной кислоты нигде не было; вероятно, ее уже всю истратили на полосканья, а новой не успели купить.

Что делать?

Тут я заметил в кухонном коридоре на подоконнике коробку с нафталином, и меня осенила мысль, что, в сущ-

ности, нафталин мало чем отличается от борной кислоты: такой же белый, пластинчатый, блестящий, морозно-мерцающий, даже, может быть, еще больше похож на снежную пелену, чем борная кислота. Торопясь украсить елочный снег мерцающим порошком, я пошлепал в гостиную и густо посыпал гигроскопическую вату нафталином.

Уже рассвело, и в гостиную заглядывала сквозь обледеневшие окна розовая заря, при свете которой вата, посыпанная пластинками нафталина, волшебно сверкала, вспыхивая разноцветными огоньками, ничем не уступая сверканию настоящих рождественских снегов, озаренных ранним ярко-ледяным солнцем.

Полюбовавшись на дело рук своих, я пробрался в нашу комнату, тихонько влез под одеяло, притворился сладко спящим и с нетерпением стал ждать того мига, когда все встанут, выйдут в гостиную и вдруг увидят елку, сверкающую снегом.

...Мне не пришлось слишком долго ждать...

...Я услышал, как проснулся рядом с моей кроватью папа и стал одеваться, все время производя носом какие-то странные звуки. Приоткрыв глаза, я увидел, что папа принюхивается к чему-то, с недоумением поворачивая во все стороны голову. Потом он вышел из комнаты; послышались его шаги в коридоре: он направлялся в гостиную, куда вело его на редкость тонкое обоняние. Папа всегда раньше всех распознавал самые отдаленные, слабые запахи. Он первый замечал, например, что где-то начинает коптить лампа.

Через некоторое время я услышал его сердитое бормотанье, к которому вскоре присоединился полный возмущения звонкий голос тети, вышедшей из своей комнаты. Очевидно, тетя и папа стояли возле елки.

— Ну, ты наделал! — сказал проснувшийся Женька, глядя на меня своими шоколадными зеркальными глазками из-за прутьев кроватки.

Однако я не обратил внимания на его странное замечание. Мне даже показалось, что тетя и папа восхищаются в гостиной елкой, ее блистательным снежным убором. Я стал быстро одеваться, ожидая похвал моей изобретательности и художественному вкусу, но я не успел зашнуровать первого ботинка, как вошел багровый от гнева папа и закричал высоким петушиным голосом:

— Это ты сделал подобное свинство? Молчи! Можешь не отвечать! Это бог наказал нас за то, что мы так плохо тебя воспитываем. Ну, объясни мне, как тебе могла прийти в голову идиотская мысль высыпать на елку два фунта нафталина? Ты понимаешь, что ты наделал? Ты провонял всю квартиру, ты отравил воздух, теперь нам нечем дышать, я задыхаюсь от этой вонищи! Ты испортил нам весь праздник!

Я начал объяснять ему свой блестящий замысел, привел в доказательство стихи Пушкина насчет великолепных ковров, но папа заревел на всю квартиру:

— Не смей кощунствовать, упоминая имя Пушкина! И скажи спасибо, что в силу своих убеждений я не могу тебя выдрать как сидорову козу.

При сих словах папа крепко схватил меня за плечи, выставил вперед нижнюю челюсть и стал трясти, повторяя:

— Я тебе покажу Пушкина!

И тряс до тех пор, пока я не понял своей глупости и не залился горькими слезами раскаяния, на чем все дело и кончилось.

...но елка, которая у нас устраивалась для гостей на третий день праздника, была наполовину испорчена, так как в доме стоял тяжелый, совсем не рождественский запах нафталина. Этот запах никак не мог выветриться до самой пасхи, так что и пасха была отчасти испорчена...

Окончательно запах нафталина выветрился только летом.

Ватрушки с изюмом.

Лет до двадцати или даже больше, до самой гражданской войны, даже до смерти папы, мне никогда не приходила в голову мысль, что я уже когда-то был на Кавказе. Я был уверен, что никогда не был на Кавказе и если имел о нем какое-то яркое представление, то лишь потому, что читал Лермонтова, вселившего в мое воображение видение голубоватых гор с облачками над их вершинами.

И вдруг в один прекрасный день совершенно неожиданно я вспомнил, что когда-то — баснословно давно — я уже побывал на Кавказе.

Множество раз слышал я слово «Ессентуки», и оно вызывало в моем воображении всего лишь бутылку мине-

ральной воды— я очень хорошо видел эту бутылку во всех подробностях, с горами и черным орлом на этикетке,— но лишь один раз при слове «Ессентуки» передо мной возникла не вполне законченная, но очень яркая — как в волшебном фонаре,— неподвижная, строго ограниченная во времени и пространстве картина широкой тенистой аллеи, усыпанной желтым песком, на котором лежали лиловые кружевные тени каких-то еще тогда не известных мне деревьев и решетчатых скамеек под ними. Где-то в отдалении угадывались бледно-зеленые, голубоватые от летнего воздуха долины, за ними сиреневые пологие холмы, голубые горы и редкие легкие облачка в горном небе.

Туда и обратно по аллее ходили дамы, и господа, и офицеры в белоснежных крахмальных сюртуках с двумя рядами золоченых пуговиц и фуражках в белых чехлах.

...изредка мимо нас катили в кресле какого-нибудь немощного старика с ногами, покрытыми шотландским пледом, и меня пугала смертная белизна его безжизненного лица и беззубого рта...

Бегали, высунув языки, породистые собаки в ошейниках. Где-то стоял, как зеленый столб дыма, пирамидальный тополь, похожий на те тополя, которые впоследствии я видел так красиво нарисованные Лермонтовым и воспроизведенные в его сочинениях. И все это вместе называлось воды.

Папа, мама и я, оказывается, некогда все вместе «ездили на воды». Мне, наверное, тогда было года два, и я помню посередине аллеи большую, выкрашенную желтой масляной краской будку, называвшуюся киоском, где на две стороны продавалась зельтерская вода с сиропом, пирожные и ватрушки.

Ватрушки я увидел первый раз в жизни именно на Кавказе, в Ессентуках, посередине аллеи, казавшейся мне без начала и конца, как вечность.

Что лежало на откинутых прилавках будки, казавшейся мне громадной, я не мог видеть, стоя на песке. Но когда папа в своей войлочной курортной осетинской шляпе и в малороссийской вышитой рубахе поднял меня за локти и посадил себе на горячее плечо, я прежде всего увидел ватрушки, поразившие меня своим аппетитным видом.

С тех пор многое в мире изменилось, но ватрушки не изменились. Они лишь стали ровно настолько меньше, на-

сколько я стал больше. Тогда же они мне, крошечному мальчику с узкими китайскими глазками, представлялись громадными.

Помню их пухлые, бубликообразные края и середину, заполненную даже на вид сочным, сладким, с темными изюминками творогом, обмазанным сверху еще чем-то сладким, прозрачно-желтым, лаковым, что вызывало во мне особенно сильное вожделение.

Я протянул руки к ватрушке.

Папа, смеясь, достал из портмоне две копейки с темноватым двуглавым орлом — так называемый «семишник»,— бросил монету на цинковый прилавок, наклонил меня, и я схватил ватрушку.

До сих пор чувствую сочный, сдобный вкус этой первой в моей жизни ватрушки, в которую я вгрызался своими еще молочными зубками. Кажется, мама под своим кружевным зонтиком была недовольна, что папа купил мне ватрушку. Помню также, но смутно, как у меня потом заболел живот, начался понос, как папа и мама боялись, что это «кровавый понос», но все обошлось благополучно, а на горизонте по-прежнему голубели холмы, а за холмами горы, а за горами еще горы, а на переднем плане стоял стройный лермонтовский тополь с кудряво очерченным контуром.

Деревянное масло для лампадки.

Иногда в субботу вечером, после всенощной, мы ходили с папой за деревянным маслом для лампадки, которая всегда горела в нашей комнате перед иконой Спасителя как неугасимая память по покойной маме.

Хождение за деревянным маслом почему-то связано для меня с темными, очень туманными вечерами поздней осени или совсем ранней весны. Чаще всего это происходило в канун какого-нибудь двунадесятого праздника, когда в конце длинной всенощной священник, подставляя к губам подходящих к нему прихожан крест, мазал кисточкой их лбы особым, священным душистым маслом, так называемым «миром», от которого и произошло слово «мирономазание».

...Помню, как папа, выходя из церкви, растирал масло по своему высокому лбу, который от этого казался еще более скульптурным и благоухающим...

Мы шли с папой по вечерней улице, умиротворенные тихими, как бы приглушенными звуками церковного хора, стройными аккордами голосов, постепенно затихающих в сумерках отдаленных углов и закоулков храма, где кротко светились две или три разноцветных лампадки перед совсем темными иконами с неразличимыми во тьме ликами угодников и великомучеников. Мы продолжали растирать на лбах миро, распространявшее в туманном воздухе бальзамический запах казанлыкского розового масла, одна капля которого, как говорили, ценилась на вес золота.

Я любил смотреть на папин лоб, лоснившийся от растертого масла, на его кроткие глаза за стеклами пенсне, на его влажную от вечерней сырости бороду.

Мы входили в лавку церковных принадлежностей, находящуюся в здании Афонского подворья, где в особой гостинице жили паломники по святым местам, дожидавшиеся парохода «Русского общества пароходства и торговли», который раз или два раза в месяц совершал рейсы в Афон и Яффу, откуда уже было рукой подать до Иерусалима с Голгофой, Гефсиманским садом и всеми его прочими святынями, в которые я тогда так глубоко веровал.

Папа говорил, что Гоголь тоже некогда совершил паломничество в Иерусалим и возвращался оттуда вместе с паломниками через Одессу, на пароходе или же на парусник — уже не помню. Было только известно, что в это время в Одессу ждали чуму и Гоголь просидел в одесском карантине чуть ли не целый месяц.

Я отчетливо представлял себе сумасшедшего Гоголя в развевающейся крылатке, с длинным птичьим носом на борту парусника, огибающего наш белый портовый маяк, а потом сидящего в мрачном здании одесского карантина. О чем он там думал, измученный темным язычеством православия?

Магазин церковных принадлежностей, куда надо было подняться по нескольким чугунным узорчатым ступеням, совсем не походил на обыкновенное торговое предприятие. Скорее он напоминал тихий церковный придел, где возле большой новой иконы горела неугасимая лампада. Прилавки поражали своей опрятностью, и трудно было поверить, что в них хранятся не священные предметы, а товары, которые можно купить за деньги: киевские и афонские крестики, кипарисовые ложки с черенком, вырезанным в виде кисти человеческой руки с пальцами, сложенными для крестного знамения.

Монах-продавец, высокий, рыжебородый, с конопатым от оспы лицом, со впалой грудью и узкой, рыбьей спиной, с лживо-низким поклоном неслышными шагами входил и выходил из как бы тоже кипарисовых дверей с ярко начищенными медными ручками и вырезанными крестами и наконец вынес папе узкую бутылочку с афонским деревянным маслом, то есть с оливковым маслом, но добытым не из мякоти олив, а выжатым из их твердых косточек. Такое масло не давало копоти и было прозрачно как слеза.

...этим маслом, налитым в блюдечко, папа растирал меня своей большой доброй ладонью, когда я заболевал простудой...

Папа с некоторым благоговением платил деньги в подставленную ковшиком руку монаха и прятал бутылочку во внутренний боковой карман своего демисезонного пальто, уже пропитавшегося влагой тумана.

Иногда, кроме деревянного масла, он покупал для нашей лампадки новый пробковый поплавок с жестяной серединкой, куда в дырочку обычно вставлялся маленький вощеный фитилек. Фитильки эти продавались тут же, и раза два в год папа покупал коробочку таких фитильков, в которых, как мне тогда казалось, было тоже нечто священное, божественное.

Дома папа с благоговением доливал в лампадку деревянного масла, осторожно менял пальцами старый, выгоревший фитилек на новый, после чего лампадка, вставленная перед образом Спасителя в свое круглое гнездо, горела особенно ясно и по-субботнему весело, как бы чувствуя, что завтра воскресенье и не надо идти в гимназию.

...тень от засохшей пальмовой ветки, сложенной, как китайский пластинчатый веер, за образом, в его застекленной коробке, мягко и красиво ложилась на обои и на потолок комнаты, где стояли три железные кровати — папина, моя и Женькина, всегда напоминая мне «Ветку Палестины» Лермонтова.

«Прозрачный сумрак, луч лампады, кивот и крест, символ святой... Всё полно мира и отрады вокруг тебя и над тобой»...

Если это все лишь куски разбитой временем на части картины моей жизни, то, может быть, рог Оберона обладает волшебной силой не только вызывать эльфов, но также соединять разъединенные и разбросанные в беспорядке осколки в единое целое, прекрасное, как византийская мозаика?

Как знать?

Парафиновый гусь.

Тетя купила для своего любимца Жени на Дерибасовской улице парафинового гуся.

На Дерибасовской всегда шла бойкая торговля с рук. Вдоль сверкающих витрин дорогих магазинов ходили босяки в рваных портках, предлагая прохожим господам и дамам маленьких вислоухих щенков, которых они выдавали за породистых собак, оказывавшихся через три месяца обыкновенными дворнягами — как их иногда не без некоторой иронии называли, «надворными советниками», что меня очень обижало, так как папа был надворный советник.

Топали на морозе аккуратными лаптями, стоя у дверей гастрономических магазинов, белорусские крестьяне с льняными волосами, на которых еле держалась рваная заячья шапчонка, и предлагали прохожим пучки яркотемно-зеленой травы зубровки, растущей, как говорили, «только в Беловежской пуще»; на этой траве любители настаивали водку; в предрождественские дни какие-то оборванцы торговали особого вида золотым дождем для елок — проволочными витыми стерженьками, обмазанными до половины тяжелым серым веществом вроде цемента, который обладал способностью гореть странным огнем, рассыпающим вокруг себя белые искры, длинные, как вязальные спицы, со вспыхивающими и быстро гаснущими звездочками на концах; эти пунктирные звезды загорались то тут, то там вдоль Дерибасовской улицы: оборванцы зажигали свой товар для привлечения покупателей, и эти звезды, гаснущие в морозном предрождественском воздухе, всегда напоминали мне девочку из сказки Андерсена, замерзшую в сочельник среди веселого детского города с освещенными окнами и шпилями на готических крышах.

Молодые нервные евреи в куцых лапсердаках, подпоясанных веревкой, бегали в толпе с книжками в руках, выкрикивая:

— Что делает жена, когда мужа дома нема, сто пикантных анекдотов или «Живой труп» и «Крейцерова соната» — запрещенные сочинения графа Льва Толстого, за обе книжки всего двадцать копеек, студентам и гимназистам скидка!

Тут же сидела на маленькой скамеечке толстая женщина в теплом шерстяном платке и продавала маленьких парафиновых гусей с ярко-желтыми клювами и лапками, которые, повинуясь мановению ее руки, как бы сами собой плавали перед ней в синей эмалированной миске. Она управляла своими парафиновыми гусями, как волшебница, держа в руке небольшую палочку, оклеенную пестрой бумажкой.

Теперь один из этих парафиновых гусей плавал в полоскательнице с водой у нас в столовой на столе, покрытом клеенкой, при теплом свете висячей лампы; белый абажур отражался и покачивался в воде, где туда и сюда, тревожно поворачиваясь и кружась, плавал парафиновый гусь, повинуясь велению волшебной магнитной палочки, в то время как тетя играла на пианино без перерыва один за другим вальсы Шопена, рассыпая из-под своих бегающих по клавишам пальцев бриллиантовые брызги, неиссякаемые ручьи звуков, наполнявших комнату миндальной горечью весеннего ливня, лепетом мокрых листьев, пеной, бьющей из водосточных труб и скопляющейся возле узких решеток городских канализационных люков.

Я понимал, что парафиновый гусь движется по воде, повинуясь таинственной силе магнита. Воздушно покачиваясь на воде — на самой ее поверхности,— как пустая яичная скорлупа, парафиновый гусь тянулся своим желтым клювом к магнитной палочке, но я не понимал: каким образом может магнит притягивать парафин?

Женя тоже недоумевал: как это получается? Ведь магнит притягивает только железные предметы: кнопки, иголки, булавки, обойные гвоздики и прочую железную или стальную мелочь, которая могла повисать на магните целыми гирляндами. Каким же образом магнит заставляет повиноваться своей воле гуся, сделанного из парафина, вещества, не подвластного магниту?

В конце концов мы решили, что в пустой, почти невесомой полупрозрачной оболочке гуся скрыта тайна, которую во что бы то ни стало необходимо раскрыть.

И мы с Женькой сделали то, что не могли не сделать.

Блудливо переглянувшись, мы оба нажали пальцами на хрупкое тело парафинового гуся. Оно лопнуло по шву и распалось на две половинки, из которых состояло, на две скорлупки, не содержащих в себе ничего, кроме пустоты, или, вернее, воздуха, позволявшего парафиновому гусю так легко держаться на самой поверхности воды.

Мы были удивлены.

Там, где мы мечтали открыть тайну, найти какой-то секрет, оказалась пустота. Мы напрасно сломали это прелестное белоснежное полупрозрачное тело, так горделиво покачивавшееся на воде в полоскательнице.

Но тут нам пришла в голову мысль тщательно исследовать остатки гуся, и мы, разламывая его на мелкие кусочки, обнаружили в половине желтого клюва крошечный железный стерженек. Так вот почему магнит притягивал гуся! Мы открыли его тайну. Но зато мы навсегда утратили самого гуся, и его остатки пришлось выбросить в мусорное ведро.

У нас в руках осталась лишь магнитная палочка, оклеенная бумажкой с магическими знаками, и весь остаток вечера мы заставляли ее поднимать гирлянды иголок, булавок, кнопок. Это было довольно забавно, но никак не могло заменить нам парафинового гуся, который так легко, как кораблик, держался на воде и совсем как живой плыл вперед, повернув свой желтый клюв в сторону волшебной палочки, обладающей тайной притяжения, до сих пор еще, кажется, не вполне объясненной учеными.

Папин комод.

...было два комода: один мамин, другой папин. Мамин комод был обыкновенной вещью рыночной работы и ничего особенного не представлял, кроме того, что именно на нем по ночам горел красный ночничок. Папин же комод был дорогой, старинный, сделанный по особому заказу из лучших сортов цельного палисандрового дерева, и передняя стенка его верхнего ящика, сделанная на особых винтах и механизмах, при нажатии боковой еле заметной кнопки откидывалась, превращаясь в столешницу, оклеенную зеленым сукном и способную заменить конторку. При этом в глубине верхнего ящика обнаруживались частью

потайные, а частью открытые узкие вертикальные ящички, набитые всякой всячиной, особенно привлекавшие меня к папиному комоду...

...Он действительно был красив, этот надежно, прочно отполированный желтовато-красный необыкновенный, очень дорогой комод, подаренный папе моим дедушкой — маминым папой — на свадьбу вместе с пианино, предназначавшимся для мамы как для музыкантши, учившейся после окончания епархиального училища в музыкальной школе — ныне Одесской консерватории.

У папиного комода были крепкие, хорошо врезанные стальные замки, открывавшиеся ключом, не похожим на обычные, рыночные ключи. Ключ от папиного комода был крупный, стальной, с затейливой бородкой и несколько пузатой верхней частью, похожей на греческую букву «омега».

Отпирался и запирался замок на два поворота с музыкальным щелканьем, слышным на всю квартиру. Ключ от комода папа чаще всего носил при себе, но, случалось, забывал по своей рассеянности на столе, и тогда если я оставался дома один, то для меня не было лучшего наслаждения, чем открыть папин комод для того, чтобы, отогнув столешницу, поиграть и полюбоваться вещами, хранящимися в его недрах с незапамятных времен.

...чего только не находил я в папином комоде!..

Например, складной шелковый цилиндр, так называемый «шапокляк» — непременная принадлежность жениха. В сложенном виде он представлял собою как бы одно лишь овальное дно с твердыми загнутыми полями вокруг белой атласной подкладки с золотой маркой шляпного магазина. Папа его никогда не раскрывал и не надевал, а во время венчания с мамой лишь держал в руке в сложенном виде как дань свадебной традиции того времени — обязательно быть в белом галстуке, во фраке, в белых лайковых перчатках, в шелковом черном цилиндре. Фрака у папы никогда не было, и он венчался в чьем-то чужом фраке, а белый шелковый галстук хранился в комоде. Так же, как и шапокляк, свадебный галстук удивительно хорошо сохранился; можно было бы сказать, что они были как новенькие, если бы подкладка шапокляка и галстук

слегка не пожелтели от времени, вызывая у меня всегда горькую мысль, что человеческая жизнь со всеми ее радостями и праздниками, в сущности, так недолговечна и медленное постарение даже самых прочных дорогих вещей, их материальное воплощение, подвержено необратимому процессу медлительного уничтожения или, во всяком случае, превращения во что-то другое — например, в пыль, которую старые поэты любили называть прахом.

Сохранились также папины свадебные перчатки. Они лежали в комоде рядом с маминими длинными, по локоть, белыми лайковыми перчатками. Эти перчатки тоже пожелтели, а главное, как-то ссохлись, пожухли, стали безжизненными, навсегда утратив теплоту рук, которые они некогда, в день венчания, так красиво, гладко облегали. Они даже утратили свой волнующий лайковый запах, уменьшились в объеме, и я с трудом натягивал их на свои детские руки с обкусанными ногтями и цыпками попеременно: то папины короткие, то мамины длинные. Я пытался надеть себе на шею папин галстук, но его резинка потеряла способность растягиваться.

...галстук был мертв...

Тут же в комоде хранились две венчальные свечи моих родителей с обгорелыми фитилями и восковыми слезами, застывшими на свечных стволах, увитых полоской сусального золота, потерявшего свою былую яркость, помертвевшего так же, как и золотая печатная надпись на подкладке папиного шапокляка.

Обычно вдовцы носили на пальце два обручальных кольца — одно свое, другое покойной жены. Но папа не мог этого сделать, так как мамино колечко не налезало на его палец. По-видимому, у мамы была маленькая ручка.

Я иногда вынимал из коробочки мамино обручальное колечко и легко надевал его на мизинец. Я раскрывал шапокляк легким щелчком пальцев по его дну; соскочив с каких-то скрытых стальных пружин, оно вдруг вытягивало за собой с упругим хлопаньем черную шелковую трубу, превращая плоский шапокляк в туго натянутый, блестящий, легкий — почти невесомый — цилиндр, который я надевал на свою коротко остриженную голову. Цилиндр для меня был слишком велик и садился мне на уши. Я надевал мамино обручальное колечко, но папиных перчаток не надевал, так как у них не хватало нескольких паль-

цев, отрезанных для лечебных целей: их надевали на порезанный палец.

Представляя себя женихом, я отправлялся в переднюю, где висело зеркало. Я любовался собой, делая разнообразные выражения лица, но на жениха походил мало, скорее на трубочиста.

Кстати, о трубочистах.

В папином комоде я нашел новогоднюю поздравительную афишку с грубым изображением трубочиста в полной своей традиционной форме: в высоком черном цилиндре, с лесенкой за плечами, с веревкой, свернутой кольцом, на конце которой висела чугунная бомбочка для опускания ее в засорившуюся печную трубу, с куриным крылом за поясом, необходимым для выметания печной сажи.

Этот напечатанный трубочист имел очень нарядный, почти жениховский вид, хотя настоящий живой трубочист, приносивший поздравительную афишку на первый день нового года, значительно уступал своему изображению в красоте, несмотря на цилиндр и куриное крыло за кожаным поясом.

У напечатанного трубочиста было немецкое веселое лицо с закрученными усами, а у нашего живого трубочиста был довольно унылый русский вид, и он сидел на табуретке в кухне, ожидая, когда ему вынесут из комнат традиционный новогодний полтинник.

Афишка была напечатана в немецкой типографии смешанной сине-красно-черной краской и содержала поздравительное стихотворение на двух языках: слева, колонкой, по-немецки, справа по-русски. Не помню уже самого стихотворения; помню, что оно было написано короткими строчками, бойким хореем с глагольными рифмами; в нем проводилась та мысль, что пока люди спокойно спят в своих теплых постелях, трубочисты бодрствуют и с опасностью для жизни чистят печные трубы, тем самым спасая обывателей от пожара вследствие загоревшейся сажи, а все это заканчивалось поздравлением с Новым годом и просьбой не забывать своего друга — трубочиста.

По-видимому, эти традиционные афишки со стихами были завезены к нам из Германии, где еще в средние века существовала гильдия трубочистов; оттуда же к нам перекочевал и традиционный костюм трубочиста, его высокий бюргерский цилиндр, узкие брюки и остроносые ботинки.

Помню, в комоде в узком потайном ящичке хранилась засохшая веточка дикого грушевого дерева с несколькими засохшими недоразвившимися плодами. Папа рассказал мне, что эта веточка была сорвана в Пятигорске возле площадки, где был убит на дуэли Лермонтов. Мама и папа обожали Лермонтова; это была их свадебная поездка на Кавказ, и они сорвали на память о своем медовом месяце и о своем любимом поэте веточку дикой груши с места его гибели; веточка эта со временем ссохлась, стала маленькой, некрасивой, но неразвившиеся ее плоды — две крошечных груши — окаменели, так что время, казалось, не посмело их коснуться.

Рядом с «лермонтовской веточкой», завернутой в папиросную бумагу, сохранилась и другая семейная реликвия — искусственный букетик флердоранжа с восковыми каплеобразными бутонами. Во время венчания один букетик был воткнут под туманно-белой фатой в мамины черные волосы, а другой в лацкан папиного фрака.

Не без труда представлял я венчание мамы и папы где-то под Екатеринославом, в неизвестном мне Новомосковске, в походной полковой церкви, так как в это время дедушка командовал полком, а полк стоял лагерем под Новомосковском и свадьбу папы и мамы сыграли именно там.

В особенности мне трудно было представить своих будущих родителей женихом и невестой и как они стоят посередине походной, палаточной церкви, обмениваются кольцами, а потом при всех целуются.

...там были еще атласные венчальные туфельки мамы, совсем как бы еще новые, да тоже пожелтевшие от времени; но они почему-то не возбуждали во мне интереса...

Зато мамин кружевной веер доставлял мне большое удовольствие своим треском, с которым он раскрывался и закрывался, и я любил обмахиваться им, ощущая легкую струю воздуха, насыщенного еле слышными запахами маминых, не вполне до сих пор выветрившихся духов.

Рядом с этими прелестными, отжившими свою жизнь предметами соседствовали вещи грубые, некрасивые, неинтересные, вроде большой стеклянной кружки Эйсмарха с гуттаперчевой потрескавшейся кишкой, имеющей странный изогнутый эбонитовый наконечник со множеством дырочек, или красной резиновой груши — спринцовки — с желтым от времени костяным наконечником для клизм,

или старые очки с синими стеклами, которые одно время, еще до моего рождения, носил папа, когда у него была какая-то глазная болезнь, и мне страшно было представить — одному в пустой квартире — своего молодого папу с больными глазами, в очках какого-то зловещего, синего, аптекарского цвета.

Еще более трудно было представить себе папу бреющегося бритвой, которая уже очень давно, *до моего рождения*, лежала в своем черном футляре. Со всякими предосторожностями я вынимал ее из футляра и, открыв — даже не открыв, а как бы распахнув,— со страхом рассматривал ее суставчатое тело — стальную рукоятку и вывихнутое зеркальное лезвие, такое острое, что если на него сверху уронить волос, то он на лету рассекался пополам. Бритва меня пугала, и я поскорее задвигал ее в футляр, представляя себе при этом человеческое горло, молниеносно перерезанное от уха до уха каким-то сумасшедшим цирюльником, и потоки — до рези в глазах — алой крови, бьющей из открытой месяцеобразной раны.

Сломанный лорнет, обнаруженный мною среди прочей рухляди, вдруг заменял в моем воображении нежный образ мамы — невесты, девушки, молодой матери, строгим образом мамы — дамы с черным муаровым мешочком на руке.

Но вдруг мама-дама снова превращалась в юную девушку с японским овалом лица, епархиалку, а потом ученицу музыкального училища с шифром на груди, полученным за блестящие способности и успехи в музыке. Этот нагрудный знак — шифр — в виде лиры, выгнутой из медной ленты, прикрепленный к красному муаровому банту, находился тут же в комоде, и его вид всегда вызывал во мне представление об именах Чайковского, Антона Рубинштейна, и где-то, как бы всплывая из таинственных глубин детского сна, слышались мощные, но удивительно гармоничные аккорды, удары маминых растянутых и в то же время крепко согнутых пальцев — от мизинчика до большого — по клавишам и вслед за тем быстро бегущие, ритмично хромающие звуки хроматической гаммы, ее внезапная остановка и еще долго гудящие струны в тишине ошеломленной комнаты, освещенной слабым язычком красного ночника на мамином комоде.

В одном из потайных ящиков лежал тот самый загадочный шестигранник артиллерийского пороха, оставшийся после дяди Миши.

В комоде хранились также две тетради: одна уже знакомая нам, с наклеенными картинками, предназначавшаяся некогда для меня, другая — папина речь на каком-то торжественном заседании по случаю столетия со дня рождения Пушкина, исписанная бисерным педантичным почерком папы, уже слегка порыжевшими от времени чернилами. Семейная легенда гласила, что речь папы произвела большое впечатление своими глубокими мыслями о свободе художника и в то же время о его долге перед народом и государством. За эту речь папа получил большую серебряную памятную медаль, выбитую по случаю юбилея великого поэта. Эта медаль, очень красивая и тяжелая, находилась тут же в папином комоде в особой плоской коробочке. Я открывал эту коробочку, где на бархатной синей подушечке с круглым углублением покоилась пушкинская медаль. Для того чтобы ее достать из углубления, надо было потянуть за шелковую ленточку, кончик которой выглядывал из-под края медали. Я любил держать медаль в руках, разглядывая вдохновенное лицо Пушкина в три четверти с мастерски отчеканенными бакенбардами и прелестным, устремленным вдаль глазом, похожим на опрокинутую заглавную букву А.

...солнце русской поэзии...

Лежали в комоде также другие семейные реликвии; среди них особенно глубокое впечатление производили на меня военные наперсные кресты, которыми в давнее время вместо боевых орденов награждались военные священники. Эти кресты принадлежали моему прадедушке и моему прапрадедушке, существование которого казалось мне просто невероятным. Однако мои прадедушка и прапрадедушка несомненно когда-то существовали, были военными священниками и даже получили боевые награды — медные наперсные кресты: прадедушка за Отечественную войну двенадцатого года на анненской ленте, а прапрадедушка за какую-то русско-турецкую войну, кажется, еще при императрице Екатерине, на владимирской черно-красной ленте. Этот последний крест был от времени почти черен, даже изъеден какими-то раковинами, и я брал его в руки с особым уважением, даже с суеверным страхом, но и с гордостью за своих предков-героев.

У папы тоже были награды, два ордена: один Анны третьей степени, другой Станислава, тоже, кажется, ка-

кой-то небольшой степени. Они лежали в красных коробочках, но папа их никогда не надевал, считая ордена, чины и прочие знаки отличия чепухой, недостойной уважающего себя человека, который должен трудиться на благо общества и государства не ради наград, а бескорыстно.

Я открывал красные коробочки и любовался еще не успевшими постареть, почти новенькими вишнево-красными эмалевыми крестиками с ободками чистого золота и маленькими золотыми двуглавыми орлами между сторонами крестика святого Станислава.

Иногда я пришпиливал ордена к своей гимназической куртке и стоял перед зеркалом в передней, удивляясь, что папа их никогда не носит и презирает. Я на месте папы, наверное, носил бы их всегда. Папа же говорил, что ордена ничего, кроме убытка, человеку не приносят, так как их надо выписывать за свой счет из Санкт-Петербурга или покупать в ювелирном магазине, что стоило еще дороже.

Семейная легенда гласила, что с этими орденами произошел следующий случай, или даже, как его некоторые называли, скандал.

В нашу епархию был назначен новый архиерей, и папа в числе других преподавателей епархиального училища должен был ему представиться.

К тому времени у папы уже были два упомянутых ордена. Однако, не признавая ни чинов, ни орденов, ни мундиров, папа отправился представляться новому архиерею в своем обычном сюртуке, без орденов. Новый архиерей ужасно рассердился, назвав папу нигилистом и даже, кажется, анархистом, устроил ему публичную головомойку, и так как ордена были получены папой по духовному ведомству, то новый архиерей своей властью лишил папу орденов. Самое же любопытное заключалось в том, что, узнавши об этом случае, военное начальство, которое всегда, по старой традиции, было на ножах с духовенством, в течение короткого времени вернуло папе два злосчастных ордена по военному министерству как преподавателю юнкерского училища.

Таким образом начальник юнкерского училища насолил архиерею, которого терпеть не мог.

Говорили, что одно время это происшествие широко обсуждалось в местных педагогических кругах и папа даже снискал себе славу либерала, что, с одной стороны, было приятно, а с другой, не очень. Во всяком случае, в исто-

рии с орденами папа держал себя молодцом, хотя, говорят, мама не очень одобрила его поведение. Но я этого не знаю. Это было до моего рождения.

Примерно в таких же красных коробках хранились в вате наши с Женей золотые крестильные кресты на голубых атласных лентах. Если бы мы были девочками, ленты были бы розовые. Мы этих парадных золотых крестов никогда не носили, а носили на шее на шелковых шнурках распространенные киевские серебряные крестики с синей финифтью.

...Особые чувства вызывала маленькая бронзовая фигурка ребенка с поднятой ножкой, валявшаяся среди поломанных запонок, шпилек, каких-то облаток, разнокалиберных пуговиц в длинной желтой деревянной шкатулке с медными наугольниками, где покойная мама хранила свои перчатки для выхода в театр или в концерт, крошечный театральный бинокль и длинные афишки концертов Антона Рубинштейна.

Бронзовый ребенок был найден под Аккерманом при раскопке скифского кургана, и папа купил его за двадцать копеек у какого-то молдаванского мальчика. Так как на приподнятой ножке бронзового ребенка виднелось сквозное отверстие — дырочка,— можно было предположить, что эта фигурка являлась украшением какого-нибудь скифского предмета и была приделана к его краю — веселая, танцующая фигурка божка вроде амурчика, только без крыльев. По крайней мере, так казалось мне.

Мое воображение было поражено представлением о том древнем времени, когда у берегов Черного моря еще жили какие-то скифы, а главное, что с тех времен уцелел бронзовый ребенок, совсем небольшая статуэтка грубой работы, величиной с мой мизинчик. Личико бронзового ребенка стерлось, как бы смылилось в течение многих тысячелетий, оплыли и смылились раскинутые ручки и танцующие ножки, но столько веселого движения, столько неуклюжей грации было во всем этом изделии скорее кузнечного, чем ювелирного мастерства, что я замирал, рассматривая этого выходца из глубины тех веков, когда по степям будущей Новороссии носились табуны диких длинногривых коней и коренастые всадники с дротиками в руках мчались с гиканьем, почти полностью скрытые в высоких травах, волнующихся, как море, и жарко веющих своими полынными и ковыльными запахами, в то время

как громадное языческое солнце склонялось за край Буджакской степи, заливая все вокруг расплавленной красной медью.

Меня поражала мысль, что, может быть, эти скифы были моими предками.

Я придавал скифскому ребенку разные позы, ставил его на четвереньки, и он как бы ползал передо мной — ребенок и в то же время предок.

Я бросал скифского мальчика в мамину лакированную шкатулку с медными наугольниками, и волшебная картина скифской степи исчезала одновременно с твердым звуком захлопнувшейся выпуклой крышки шкатулки некогда ярко-лимонного, а теперь побледневшего дерева.

...а может быть, бронзовый ребенок был не скифского происхождения, а его сюда завезли вместе с плоской чашей для вина, которую он украшал, а был купидон, завезенный из Древней Греции в наши новороссийские степи, где некогда по всему побережью были построены греческие или генуэзские крепости, от которых теперь остались только развалины, поросшие полынью и будяками...

Продолжая рыться в папином комоде, я не довольствовался всеми реликвиями и драгоценностями, которые там обнаруживал. Мне казалось, что где-то в самых потайных, еще не обнаруженных мною ящичках спрятана какая-то неслыханная драгоценность; я чувствовал ее присутствие, но никак не мог обнаружить.

Вероятно, это был плод моего воображения, потому что в руки мне попадались самые простые, давно уже мертвые вещи: догоревшая до половины, оплывшая сургучная палочка, которую я иногда зажигал, и она пылала дымным пламенем, роняя раскаленные капли цвета бычьей крови, и наполняла квартиру запахом почтовой конторы; пестрые коробочки и пузырьки с выветрившимися, высохшими лекарствами, пробочки, сожженные до черноты, почти уже уничтоженные парами йода; кристаллики перекиси марганца, до сих пор не потерявшие способность с невероятной быстротой окрашивать воду в стакане во все оттенки фиолетового цвета, начиная с очень слабых, почти аквамариновых, и кончая густо-фиолетовыми, а потом ржавыми;

старая папина сберегательная книжка, откуда папа выбрал все свои сбережения во время маминой болезни и смерти; мамина сухая вуаль с мушками, орлиное перо из ее шляпы, множество однообразно-зловещих аптекарских рецептов с двуглавыми орлами на их расширяющихся шлейфах — следы маминой болезни и смерти,— и наконец, множество старых писем, сложенных в пачки, перевязанных шнурками и ленточками; ими были забиты все ящички и углы комода.

Как сейчас вижу множество конвертов с большими синими семикопеечными орлеными марками и штемпелями разных городов России — узеньких, белоснежных, изящных конвертов девятнадцатого века; в них вкладывалось письмо, сложенное по ширине почтовой бумаги втрое.

Это была переписка папы и мамы, когда они еще были женихом и невестой, а также переписка мамы и папы со своими родными, знакомыми, соучениками, товарищами по семинарии и университету, папиными учениками и ученицами, со многими из которых папа не терял связи.

Можно себе представить, сколько в этой переписке заключалось важных мыслей, философских споров, взглядов на жизнь общества и государства, обсуждения различных морально-политических вопросов, горячих споров по поводу романов Тургенева, Толстого, Достоевского и начавшейся идейной борьбы между марксистами и народниками; сколько было в этих письмах задушевных слов и пламенных выражений любви и дружбы; сколько семейных забот и радостных сообщений о появлении на свет новых детей.

По своей нелюбви к чтению, а также потому, что мне с детства было привито священное правило не подслушивать, не подсматривать, не читать чужих писем, я никогда не читал писем, хранившихся в папином комоде... и теперь очень сожалею об этом, потому что в них, быть может, заключалась большая часть духовной жизни не только моих родителей, но и всего тогдашнего русского образованного общества, о чем я уже никогда ничего не узнаю из первоисточника...

Количество писем странно уменьшалось, и однажды — незадолго до первой мировой войны,— придя домой, я застал папу за уничтожением писем. Он стоял возле откры-

того комода и одно за другим перечитывал письма, а затем разрывал их на мелкие кусочки, и клочками порванных писем был усеян весь пол, а папа, не замечая меня, все продолжал и продолжал их бегло прочитывать и автоматическим движением рук разрывать на мелкие части и ронять на пол, причем глаза его были в слезах, и он часто снимал с носа пенсне и протирал его полой сюртука.

Все еще продолжая меня не замечать, он собрал охапку рваной бумаги, клочков конвертов с синими марками и штемпелями, отнес их быстрыми, легкими шагами в кухню и стал бросать в горящую плиту.

Лишь после этого, испачкав сажей свои манжеты, он обернулся и вдруг, заметив меня, улыбнулся какой-то безвольной, жалкой улыбкой, как бы прося у меня за что-то прощения.

И, сам не зная почему, я заплакал.

Я уже писал здесь, что одна книжка, некогда подаренная мне вятской бабушкой — папиной мамой,— называлась «Волшебный рог Оберона», а другая бесследно исчезла из моей памяти, и вдруг только что, сию минуту, более чем через семьдесят лет, я вспомнил ее:

«Спящая красавица».

На яркой лубочной обложке — разноцветная картинка, представляющая замок, заросший розовым шиповником, и среди колючих цветущих ветвей лежит спящая красавица, а над ней наклонился прекрасный юноша в бархатном камзоле и берете с фазаньим пером. Он касается губами румяной щечки сияющей красавицы, и вдруг она просыпается, глядя на мир восхищенными глазами.

...Ах, как долго я спала!..

И все вокруг оживает.

Содержание этой сказки общеизвестно, но тогда я узнал ее впервые. Иногда мне кажется, что это сказка о моей душе: в ранней юности, быть может в детстве, она укололась о веретено злой волшебницы и заснула. И спала до тех пор, пока кто-то не пробрался к ней сквозь колючую, непроходимую чащу шиповника и не коснулся ее губами.

И моя душа проснулась...

...в половине второго утра разбудили меня соловьи. Полно спать, подымайся, пора. Ты забыл, что рожден для любви. Ты забыл, что над люлькой твоей зеленел упоительный рай, а тебе говорили: убей! Ненавидь! Не люби!

Презирай! И покуда я спал не дыша, без желаний, без чувств и без слов,— как слепая бродила душа по обугленным улицам снов. Как слепая шаталась она, оступаясь на каждом шагу: я была для любви рождена, не могу убивать, не могу! Я проснулся и тихо лежал, на ладони щеку положив. О, как долго, как страшно я спал и как странно, что я еще жив! И как странно, что я не сражен, что над миром царят соловьи и что мир не для смерти рожден, а для счастья, добра и любви... И в слезах я лежал в полусне, и дрожали в лесу янтари, и сквозь сосны тянулись ко мне розоватые пальцы зари...

...она меня поцеловала...

Бомба.

Несмотря на распространившиеся по городу слухи, что анархисты собираются на рождество бросить бомбу в епархиальное училище, мы отправились туда на елку — папа, тетя и я,— а маленького Женю оставили дома с няней.

Рождественскую елку в епархиальном училище стали устраивать сравнительно недавно, так как считалось, что елка — это древнегерманский языческий праздник, не свойственный православному христианству. До этого на рождестве в епархиальном училище устраивали нечто вроде рождественского народного вертепа.

Но теперь решили ввести в обиход рождественского праздника елку, хотя и считали ее немецкой затеей.

Мы решились идти на елку после некоторых колебаний. Тетя считала, что лучше не ходить, папа же решительно заявил, что слухи о бомбе не больше чем фантазия перепуганных обывателей и он не верит, чтобы какой-нибудь — пусть даже самый крайний анархист-социалист — решился бросить бомбу в такое мирное учреждение, как епархиальное училище, да еще на рождество, когда больше половины епархиалок разъехалось на каникулы в приходы своих родителей — уездных или деревенских священников, а в училище остались только сироты, которым некуда ехать на каникулы.

— Но на елке будет присутствовать архиерей,— многозначительно сказала тетя.

— Ну и что же из этого следует? — спросил папа.

— Они захотят его хлопнуть,— сказала тетя.

— Глупости, они архиереев не убивают. Они убивают губернаторов,— сказал папа с такой уверенностью, как будто ему было досконально известно, кого именно убивают анархисты.

Мне расхотелось идти на елку, хотя я с большим нетерпением ждал этого вечера, сулившего мне волнующий рождественский чай из толстых епархиальных кружек в обществе молодых девушек-епархиалочек, среди которых попадались удивительно миловидные, несмотря на плохо скроенную и грубо сшитую форму из голубого шевиота, мужские башмаки на резинках, с белыми ушками, и волосы, спрятанные на затылке в особые сетки какого-то темного, мушиного цвета, прикрепленные к круглым гребешкам, открывавшие гладкие девичьи лобики.

В холодной столовой, куда надо было спускаться парами по железной лестнице, в полуподвале на длинных столах без скатертей рядом с каждой кружкой сладкого чая лежал ситцевый мешочек со сластями, пастилой, крымскими румяными яблоками и мандаринами, шкурки которых при нажиме пальцами так хорошо брызгались мельчайшими капельками душистого эфирного масла...

После некоторых колебаний было решено идти, оставив Женьку дома.

Тетя надела свое лучшее синее шелковое платье, отделанное валансьенскими кружевами, распространявшими нежный запах выветрившихся французских духов и цветущей бузины.

Папа надел парадный сюртук, а я в твердо накрахмаленных манжетах и крахмальном воротничке с отогнутыми уголками, который так волнующе холодил мою хорошо вымытую шею, с носовым платком, опрыснутым цветочным одеколоном, позабыв об опасности, грозившей нам, чувствуя приятное головокружение, нетерпеливо ждал, когда часы в темной столовой, где уже холодно блестел на паркете зеленый лунный свет, музыкально пробьют семь раз.

...ночь была чудная, снежная, в черном небе над трубами домов поднимались прямые столбы дыма, бросая летучие тени на крыши, покрытые шапками пухлого снега; в черном небе играли, переливаясь, рождественские звезды, а месяц был такой ясный, волшебно светящийся, как будто бы сошел со страниц гоголевской «Ночи перед рождеством»...

Вкусно хрустел снег под калошами прохожих, целыми семьями отправлявшихся на елки к знакомым; изредка визжа полозьями, мягко, почти неслышно проносились извозчичьи санки, и в остром морозном воздухе, слегка пощипывающем уши, звенели их как бы стеклянные колокольцы и слышался музыкальный шорох крупных бубенцов, нашитых на хомуты бойких извозчичьих лошадок.

Однако иногда в глубине какого-нибудь темного переулка, ведущего к морю, мне мерещились тени бомбистов, и тогда меня охватывал страх и я жалел, что мы не остались дома.

В этот вечер все было как всегда: сначала ожидание приезда почетных гостей в квартире начальницы училища, высокомерной сановитой дамы, за цвет своего носа и за выпуклую грудь, обтянутую темно-лиловым шелком, получившую прозвище «индюшка».

Мое самолюбие, как всегда, страдало оттого, что в этой роскошной гостиной с мягкими шелковыми креслами, элегантными пуфиками, диванами и торшером в кружевных абажурах, среди именитых гостей, приехавших с опозданием, рядом с архиереем с овальной панагией на груди, осыпанной драгоценными каменьями, особенно ярко блиставшими на черной легкой рясе, рядом с толстым генералом с жирными эполетами и красной анненской лентой через плечо, рядом с дамами в шляпах и боа из страусовых перьев папа и тетя выглядели бедными гостями, которых пригласили сюда по снисходительности ради праздника.

Я то и дело должен был шаркать новыми ботинками с еще не стершимися твердыми каблуками и кланялся на все стороны и даже, подойдя под благословение, поцеловал пухлую руку архиерея, который с деланной лаской посмотрел на меня, на мои жесткие волосы, насаленные фиксатуаром и разобранные на косой пробор, и сказал:

— Надеюсь, что в эти смутные дни из тебя вырастет верный слуга государя и православной церкви.

В ответ на что я еще раз шаркнул ногами по толстому ковру и боком отошел в сторону, чувствуя на губах запах душистого глицеринового мыла.

Начальница пригласила нас всех в большой белый актовый зал, где до самого потолка возвышалась скромно убранная, еще не зажженная елка, вдоль стен стояли в белых передниках и пелеринках епархиалки и зловеще чернели три громадных высоких окна, закругленных вверху. Они выходили в сад епархиального училища, где смутно

поблескивали в месячном свете деревья, превращенные морозцем в некое подобие белых ветвистых кораллов.

Увидев эти три черных окна с неспущенными шторами, начальница покраснела от негодования, причем нос у нее и вправду стал багрово-сизым, как у индюшки. Властным мановением маленькой руки она подозвала к себе дежурную пепиньерку и прошипела в подставленное ухо:

— Разве вы не знаете, что они хотят бросить сюда бомбу? Сейчас же опустите шторы.

Побледневшая, с пылающими ушками, скользя по паркету, как на коньках, пепиньерка бросилась опускать шторы, и белые батистовые воланы с шуршанием своих колечек по проволоке опустились на окна, отделив белый мир холодного актового зала от черного мира, обступившего со всех сторон епархиальное училище.

Начальница, усевшись в кресло между архиереем и генералом, махнула кружевным платочком, и в тот же миг епархиальный сторож с волосами, густо смазанными лампадным маслом, поджег конец порохового шнура; в мгновение ока огонь обежал елку снизу вверх по спирали, и сотни свечек озарили актовый зал костром мерцающего света; холодный воздух сразу нагрелся, грянул хор высоких девичьих голосов, и начался праздничный вечер, заставив всех позабыть о бомбе.

Самая маленькая епархиалочка вышла из рядов и, сцепив руки ладошка в ладошку, громким мальчишеским дискантом отбарабанила традиционное рождественское стихотворение:

...«Снегом улица покрылась; вот уж и сама в гости к нам заторопилась матушка-зима. Вся под белой пеленою елочку несет и, качая головою, песенку поет»...

Теперь уже не помню, как дальше.

И все повторилось как в прошлом году: беготня по слабо освещенным коридорам, заглядываньем в темные, пустые и холодные классы, где замороженные окна таинственно мерцали в месячном свете, потом чай в толстых кружках и ситцевые мешочки с гостинцами, и блаженная неловкость, испытываемая мною, когда я сидел между двух смазливых епархиалочек со вспотевшими подмышка-

ми, и мы брызгались друг в друга, нажимая мандариновые корки, и маленькая бойкая епархиалочка быстро проговорила по окончании чаепития молитву:

«...благодарю тебя создателю, еже сподобил еси нас»... и так далее...

В этот вечер, бегая по чугунным лестницам епархиального училища, я забрался в канцелярию, где тетя по совместительству исполняла также должность письмоводителя, и еще раз полюбовался на письменном столе старинным канцелярским чернильным прибором из обожженной глины, как теперь говорят — керамики, где меня особенно привлекала песочница, из дырочек которой некогда, когда еще не была изобретена промокательная бумага, засыпали исписанный свежими чернилами лист бумаги очень мелким золотистым песком, а потом ссыпали этот песок обратно в песочницу, и лист бумаги оказывался совершенно высушенным.

(Впрочем, иногда исписанную бумагу сушили другим способом, водя им над стеклом горящей лампы.)

Здесь же в ящике валялось несколько очиненных гусиных перьев, какими уже со времен Гоголя никто не пользовался. Расщепленные головки этих ободранных, обкусанных перьев хранили следы черных, как тушь, канцелярских чернил прошлого века, сделанных из чернильных орешков, и это вызывало в моем воображении мир гоголевских чиновников, скрипящих своими гусиными перьями среди ясеневых шкафов со связками старых дел, распространявших вокруг себя какой-то сургучный и в то же время мышиный, архивный запах дореформенных присутственных мест.

...все обошлось благополучно...

...Бомбу не бросили. И, возвращаясь с папой и тетей по морозной улице домой, я украдкой нюхал свою руку, которая после тайного пожатия чьей-то нежной девичьей руки вся пропахла цветочным одеколоном.

А звезды в черном, уже вполне ночном небе разыгрались вовсю, и мороз не на шутку кусался.

Свиное сало.

Семейная легенда гласила, что когда мне было не больше двух лет, я вошел в кухню, где мама собиралась де-

лать хрустики, или, как они теперь называются, хворост, и на жарко растопленной плите в чугунном казанке кипело расплавленное свиное сало.

Неизвестно каким образом мне удалось дотянуться до казанка, опрокинуть его, и кипящее свиное сало вылилось прямо на меня. При этом я так пронзительно завизжал, что вдоль всей нашей Базарной улицы тревожно распахнулись окна, как всегда при каком-нибудь происшествии.

Я кричал безостановочно в течение по крайней мере пяти минут, и мама, потеряв голову, обливала меня водой, посыпала тальком, мазала вазелином и сдирала с меня платьице, покрытое потеками расплавленного свиного сала.

Казалось, для меня уже нет спасения.

Мама и кухарка, видевшие, как полный казанок кипящей жидкости сверху опрокинулся на меня, были уверены, что все кончено. Однако произошло чудо. Каким-то образом все сало вылилось мимо моей головы, одна лишь капля попала на мое тело — на горло,— причинив адскую боль, которая, впрочем, быстро прошла. Но на горле на всю жизнь осталась отметина.

С тех пор как я начал бриться, кожица на этом давнем шраме сдирается от малейшего неосторожного прикосновения бритвы, так что приходится прикладывать ватку или прижигать квасцами.

Когда мама поняла, что я цел и невредим, она поцеловала мое обожженное горло, смазала его вазелином, присыпала рисовой пудрой и со свойственным ей украинским юмором сказала:

— Теперь ты у меня меченый, а бог шельму метит.

Мама приписала мое чудесное спасение двум макушкам на моей голове.

Считалось, что две макушки бывают только у редких счастливчиков. Я не думаю, чтобы моя жизнь сложилась как-то особенно счастливо. Бывали в ней, конечно, и неудачи, но в основном я прожил свою жизнь, как сказал некогда один мой ныне покойный, незабвенный друг, в счастливом дыму.

Во всяком случае, я был несколько раз на волосок от смерти и всегда по счастливой случайности оставался жив: например, во время первой мировой войны, на румынском фронте, в предгорьях Карпат немецкий снаряд разорвался буквально у меня под ногами; меня подбросило вверх, по-

том швырнуло на землю; вокруг лежали пятеро убитых солдат: непромокаемое пальто, бывшее на мне, оказалось разодрано и продырявлено десятком осколков, каска на моей голове во многих местах была поцарапана и вмята, а сам я был целехонек, если не считать небольшого сквозного ранения осколком в верхнюю треть бедра правой ноги, причем даже кость не была задета.

Меня спасли от верной смерти две макушки.

Когда же я находился в лазарете в Одессе, недалеко от Базарной улицы, то я, лежа на балконе в пестрой тени акаций, вспоминал свой поросячий неистовый крик, а также искаженное ужасом мамино лицо, в то время как кипящее сало лилось на меня из казанка, но лишь одна капелька попала на мое горло и оставила на всю жизнь метку, подобную метке на верхней трети моего правого бедра...

Боборыкин.

Иногда к нам на целый день привозили моего двоюродного брата Сашу, сына папиного старшего брата, дяди Николая Васильевича.

Саша был годом старше меня и годом раньше меня стал носить вместо платьица настоящие штанишки, которые как бы сразу, по волшебству, превратили его в мальчика. Я целый год завидовал Саше, его штанишкам, его коротко остриженной под машинку голове, но вот наконец мне стукнуло четыре года, с меня сняли платьице, делавшее меня похожим на девчонку, коротко остригли и надели штанишки.

Теперь у Саши не было основания передо мной задаваться и мы как бы сравнялись в возрасте. Штанишки сблизили нас.

Саша был приветливый, добрый мальчик с нашей фамильной иронической улыбкой. Он не был шалуном, как я, но не был и слишком скромным, скучно-послушным ребенком. Ему было пять, мне четыре. Целый день мы играли, то есть бегали по квартире из комнаты в комнату, с хохотом переворачивали мебель, прыгали кто дальше, брызгались в кухне водой, залезали под диван в гостиной и, наконец, нарисовав себе самоварным углем усы и бородки, устраивали театр: что-то быстро представляли, быстро жестикулируя и бегая друг за другом.

Помню, как мы нарочно разбили градусник и долго возились на полу с ртутной каплей, разбивая ее на множество маленьких блестящих шариков, которые раскатывались, как бисеринки, во все стороны по полу, а мы, ползая по всей комнате, сгоняли их в одну крупную, слегка сплюснутую каплю, и нас безмерно удивляла способность ртути разбиваться на части, не терявшие своей сферической формы, и вновь сливаться в один большой шарик.

Ртуть казалась нам волшебной жидкостью, и когда нам сказали, что это не жидкость, а металл, мы долго не могли этому поверить.

...а я, откровенно говоря, и до сих пор не верю...

Нечего и говорить, что за разбитый градусник нам сильно нагорело, но мы мужественно перенесли нагоняй, чувствуя себя как бы приобщившимися к тайнам науки.

Хорошо помню одну нашу игру, которая называлась «делать Боборыкина». Мы слышали, как взрослые в гостиной, споря о современной литературе, довольно часто произносили это смешное слово «Боборыкин».

Мы с Сашей понятия не имели, что это фамилия известного в то время писателя Боборыкина. Слово «Боборыкин» в силу своей фонетики имело для нас значение звука опрокинутой гнутой венской качалки, стоявшей в нашей гостиной рядом с фикусом.

На этой качалке любил сидеть, покачиваясь, папа и читать книгу или газету. Для взрослых качалка была частью обстановки. Для нас же с Сашей качалка с ее желтым плетеным сиденьем и такой же спинкой, с ее выгнутыми ручками, с ее полозьями, на которых она так легко покачивалась, была в одно и то же время и качелями, и частью какой-то упругой деревянной машины, и лодкой, и даже беседкой, если ее перевернуть вверх полозьями.

Мы любили опрокидывать качалку потертыми полозьями кверху, причем, стукаясь об пол своими упругими буковыми ручками, она несколько раз подпрыгивала, издавая звуки «бо-бо-бо», вследствие чего мы и назвали нашу игру с качалкой «боборыкин».

Игра «боборыкин» заключалась в том, что опрокинутую качалку мы покрывали поверх полозьев ковриком, так что между сиденьем и ковриком образовывался таинственный лаз, через который надо было проползти на живо-

те в полутьме, чихая от пыли, сыпавшейся на нас с ковровой дорожки.

Обычно мы пролезали таким образом один за другим, хохоча и толкаясь, выбравшись на свет божий, катились кубарем по полу, громко крича в каком-то непопятном, неистовом восторге:

— Боборыкин! Боборыкин!

...теперь давно уже и милого Саши нет на свете, и качалка давным-давно исчезла вместе с прочей мебелью моего детства, но до сих пор при виде подобной качалки что-то восклицает в таинственных глубинах моего сознания:

— Боборыкин! Боборыкин!

Неудачное катанье на осле.

Каждое утро, раздвинув желтую бархатную штору и подняв решетчатые жалюзи, мы видели слева теплое октябрьское солнце, только что взошедшее над Средиземным морем. Оно поднялось из моря где-то против итальянской границы и теперь, начав свой дневной обход, висело в мутноватом, золотистом, но совершенно безоблачном небе рядом с растрепанными макушками нескольких старых африканских пальм, росших на Английском променаде,— и море под солнцем сияло металлически-розовым столбом от горизонта до набережной, еще пустынной в этот ранний час.

Обойдя небосвод, но не выходя из поля зрения, солнце садилось справа от нас, если стать лицом к морю, далеко за песчаной косой аэродрома, где время от времени круто поднимались и полого садились пассажирские самолеты с уже освещенными иллюминаторами.

Угрюмо-красное солнце опускалось за мыс Антиб, за его черный силуэт, всегда вызывавший в моем воображении яхту «Бель ами» Мопассана и его самого, усатого, в капитанской фуражке, сумрачно наблюдающего за грядой Приморских Альп, за багровым небом над ежеминутно меняющей свою окраску снежной вершиной Эстерель, откуда обычно приходила на Лазурный берег зима.

Мне запомнился один из таких счастливых, безмятежных дней. Это было совсем недавно, несколько лет назад.

С утра до вечера, пока солнце совершало свой путь от Вентимильи до мыса Антиб, мы ходили по террасам, на которых расположена Ницца, снизу вверх, по ее тенистым,

горизонтально расположенным улицам и по ее другим, крутым вертикальным улицам, начав свою прогулку от набережной с ее роскошными, хотя и несколько старомодными отелями, пальмами, магнолиями, цветными зонтиками открытых кафе — вплоть до самого верха, до той части города, где были во множестве выстроены роскошные белоснежные санатории, где среди горного воздуха, среди вечнозеленых растений, фонтанов, розариумов, безукоризненно чистых и ярких газонов за чугунными оградами незаметно и благопристойно умирали богачи, для спокойствия которых туберкулезные санатории назывались просто отелями, ничем не выдавая своего зловещего назначения.

Мы полюбовались древнеримскими развалинами, посетили музей Матисса, позавтракали на открытой террасе маленького студенческого ресторанчика, а день между тем все еще продолжался и продолжался — нежный золотистый день поздней средиземноморской осени в курортном городе, уже заметно пустовавшем, так как летний сезон кончился, а зимний еще не начался и все подешевело.

Под ногами иногда сухо шелестели опавшие листья диких каштанов.

Мы взобрались по нескольким довольно крутым лестницам на кладбище и не без труда разыскали в этом белом, аккуратно подметенном, чистеньком городке мертвых бронзовый памятник Герцену, приземистая, коренастая фигура которого, его русская борода и длинные волосы, лежащие сзади на воротнике, так не подходили к беломраморным надгробьям с иностранными надписями.

...о, как много произошло событий с того времени, когда тело Герцена привезли из Парижа и похоронили здесь, под высоким черным кипарисом с маленькими коричневыми шишечками... Кипариса этого уже давно нет. На его месте теперь растет другой кипарис, гораздо моложе и зеленее того, первого кипариса. Герцен не дожил до Парижской коммуны, до Ленина, до Октябрьской революции... Мало кто знает в Ницце о Герцене. Мы долго искали его могилу, и если бы не рабочий, поливавший из пластикового тонкого ярко-салатного шланга кусты кладбищенской герани, может быть, мы ее так бы и не нашли. Но рабочий в широких штанах и летней каскетке показал нам дорогу к памятнику и прибавил:

— Я знаю, это был ваш великий революционер, ненавидевший самодержавие и желавший России свободы и независимости. Каждый русский должен гордиться своим Герценом.

Мы постояли в глубокой задумчивости перед бронзовым Герценом и медленно спустились вниз, в итальянскую, нищую часть Ниццы, представляющую разительный контраст с роскошной Ниццей Английского променада, казино, отеля Негреско, приморского сквера, усаженного какими-то диковинными деревьями вроде зонтичных пиний, столетних велингтоний и выложенного цветными фаянсовыми плитками, как громадная ванная комната...

Оркестр только что кончил играть Вагнера, музыканты в морской форме расходились со своими инструментами в футлярах, и в музыкальном открытом павильоне остались только пустые пюпитры, все вместе составлявшие как бы чертеж или даже скелет только что оконченной увертюры — всех ее только что отзвучавших музыкальных фраз.

Красное солнце уже заканчивало свой путь и готово было кануть за мыс Антиб, золотя Английский променад, по которому, мне представлялось, некогда шел своей широкой походкой Маяковский — тень Маяковского,— время от времени вынимая из кармана штанов маленькую записную книжку и вписывая в нее, на минуту остановившись и поставив ногу в толстом башмаке на обочину газона, какие-нибудь строчки вроде:

...«Любить — это значит: в глубь двора вбежать и до ночи грачьей, блестя топором, рубить дрова, силой своей играючи»...

Я так задумался, запутавшись в прямом и обратном движении времени, что не заметил, как мы дошли до середины приморского парка, и тут я вдруг увидел картину, поразившую меня чем-то очень знакомым, но очень давним, давным-давно позабытым.

У обочины тротуара стоял осел, окруженный нарядными, богатыми детьми — мальчиками и девочками в ковбойских джинсах, красивых курточках, полосатых фуфайках, пуловерах коль-рулэ в мини-юбочках, с белыми игрушеч-

пыми пистолетами и механическими куклами на полупроводниках, которые умели не только открывать и закрывать глаза и произносить «папа» и «мама», но даже могли спеть коротенькую английскую песенку про Мери и ее овечку.

Дети по очереди садились на осла и под наблюдением своих бабушек, дедушек или же чопорных бонн в мантиях, как вдовствующие императрицы, совершали небольшую прогулку верхом вокруг парка, где уже загорелись неоновые светильники на концах стеблеобразно выгнутых подставок.

Владелец нарядно разубранного осла— с бубенчиками, колокольчиками и кисточками — то и дело клал деньги в большой кожаный кошелек, повешенный у него через плечо, точно так же как у нас в Александровском парке, в детстве, делал старик — поводырь козликов.

...и тут же я вдруг как бы стал медленно погружаться в глубину времени...

...я вышел погулять и увидел на одной из полянок Отрады осла, окруженного детьми. Оказалось, осла отдавали напрокат: пять копеек за поездку вокруг полянки. Здесь были уже все мои друзья: Женька Дубастый, красавица Надя Заря-Заряницкая, Мишка Галий, Жорка Мельников, по прозвищу Кавунчик, Васька Овсянников, по прозвищу Пончик, Джульетта Арнери, щеголь Стасик Сологуб, младшая сестренка Дубастого Тася, младший брат Стасика Янек, правда не такой шикарный, как его брат Стасик, но тоже ничего себе, наш Женька и не помню уже кто еще.

Старик то и дело открывал свой кожаный кошель и бережно клал в него пятаки. После каждой пробежки он поглаживал осла по серой бархатной морде.

Уже почти вся наша компания успела покататься. Я видел, как Женька Дубастый, заплатив пятак, взгромоздился на осла и лихо промчался по кругу, болтая ногами и делая приветственные жесты в сторону Нади Заря-Заряницкой, которая, повернувшись в профиль, лишь снисходительно посмеивалась. Я предвкушал, как изящно вскочу верхом на осла и промчусь настоящим кавалерийским карьером вокруг полянки, весь собранный, стройный, неустрашимый, и, уж конечно, не буду расслабленно, как мешок, трястись на спине осла, болтая ногами, как Дуба-

стый, а, надвинув козырек своей гимназической фуражки на глаза, как Печорин, даже не взгляну на Надьку Заря-Заряницкую, пусть знает, что мою любовь надо еще заслужить.

Так как у меня не было в кармане ни копья, а осла уже собирались уводить в другое место, я попросил хозяина подождать меня одну минуточку и побежал домой.

— Папа! — закричал я с порога.— Пожалуйста! Дай мне как можно скорее пятачок, а то он уведет осла!

Папа молчал.

— Уже все покатались, один я еще не покатался,— сказал я, переводя дух.

Я не сомневался, что папа очень обрадуется такому счастливому стечению обстоятельств, что в Отраду привели осла, на котором можно покататься, и без разговоров даст мне пятак: ведь я знал, что папа меня очень любит и с удовольствием доставит мне эту радость, тем более что катание на осле имело также несколько спортивный характер, а папа любил повторять, что в здоровом теле здоровый дух.

Но посмотрев на папу, на его недоброжелательно застывшее лицо со строгими глазами, я понял, что он уже просмотрел мой дневник с тремя двойками, который я так неосмотрительно не успел запрятать куда-нибудь подальше.

— Ну, папочка,— сказал я жалобно.

— И после всех этих двоек у тебя еще хватает совести кататься на осле? — спросил папа, и его борода задрожала, что не предвещало ничего хорошего.

— Папочка! — взмолился я.— Даю тебе честное благородное слово, святой истинный крест, что больше у меня никогда в жизни не будет ни одной двойки!

— Нет! — твердо, грубо отрезал папа.

Я не узнавал его. Он был всегда такой добрый.

— Папочка, умоляю тебя,— закричал я,— неужели тебе жалко дать мне пять копеек? Ну, пожалуйста... А то осла уведут, и тогда...

Я представил себе ужасную картину увода осла, и слезы хлынули из моих глаз.

— Нет! — еще более сурово отрезал папа.

— Ну почему же, почему же? — рыдая, спрашивал я, отлично понимая, что во всем виноваты двойки.— Клянусь тебе, я исправлюсь!

— Я сказал,— холодно произнес папа.

...я понял, что все погибло...

Когда папа произносил роковые слова «я сказал», то, значит, уже никакая сила в мире не заставит его переменить свое решение.

Папа был очень добрый человек, я его очень любил, но изредка его охватывало упрямство, упорнее которого я еще никогда и ни у кого не встречал: тогда папа делался как каменный. Я понял, что он ни за что не даст мне пятак, и все мои мечты проскакать на осле мимо Нади Заря-Заряницкой бесповоротно рухнули.

И все же я продолжал рыдать, хватая папу за рукава со зловеще твердыми, какими-то «непреклонными» манжетами.

— Я сказал! — повторил папа.— И ступай от меня прочь, двоечник!

Я продолжал рыдать, клялся и божился, что исправлюсь, пускал из носа пузыри, но ничего не помогало. Папа был неумолим. Недаром его имя было Петр, что значит камень.

Тогда я побежал обратно на полянку, надеясь, что мне удастся уговорить хозяина осла поверить мне в долг. В крайнем случае заложить у него свой гимназический пояс.

Однако я опоздал. Осла уже увели в другое место, а вся наша голота уже играла в перебежки между деревьями.

Посмотрев на мое заплаканное лицо, Надя Заря-Заряницкая, тряхнув своими английскими локонами, с иронией спросила:

— Что, не достал денег?

— Ничего подобного,— сказал я.

— А почему ж ты такой зареванный?

— Просто я упал с лестницы и ушиб колено,— сказал я и с этими словами прошел мимо Нади Заря-Заряницкой с жалкой улыбкой, притворно прихрамывая и делая вид, будто у меня действительно очень болит колено.

Но Надя Заря-Заряницкая мне не поверила.

Потом я долго одиноко бродил, прихрамывая, над морем, над нашим Черным морем, которое, как гласит энциклопедический словарь, есть всего лишь залив Средиземного моря с мысом Антиб, за которым спускалось медно-красное осеннее солнце...

Черный месяц март.

...едва мы дошли до Александровской колонны и мама уселась на скамейку возле розариума, а я побежал вверх по горке и стал взбираться по скользким розовым гранитным ступеням к лабрадоровому полированному цоколю колонны для того, чтобы с высоты взглянуть на море, как погода резко изменилась: солнце скрылось в набежавших тучах, подул северный ветер, море покрылось барашками, Дофиновка потонула в тумане.

Мне сразу расхотелось влезать на цоколь и оттуда, как обычно, лежа на животе, съезжать вниз по скользким гранитным архитектурным деталям вроде толстых перил — не знаю, как они называются.

Я видел, как мама схватилась рукой за шляпу, готовую улететь вместе с вуалью; вихрь холодной пыли ударил мне в лицо. Когда я подбежал к маме, она сидела, как-то сиротливо согнувшись в своем черном демисезонном жакете с перламутровыми пуговицами, и ветер трепал шлейф ее длинной юбки, который она сжимала коленями. На коленях лежал ее муаровый мешочек с запасной парой моих нижних штанишек, аккуратно сложенных вчетверо.

Я уже был большой мальчик, мне шел шестой год, но предусмотрительная мама знала, что во время прогулки со мной всякое может случиться и тогда легко будет заменить мои мокрые штанишки сухими, что уже не раз случалось со мной в Александровском парке.

Со дня рождения моего братика Женечки, прозванного Кувасиком, мама, поглощенная заботами о своем новом ребенке, перестала водить меня гулять. Теперь же, когда Кувасик немного подрос и окреп и его кормила грудью специально нанятая кормилица, мама решила снова водить меня гулять в Александровский парк, чтобы я дышал свежим морским воздухом.

Она выбрала солнечный день, но март оказался коварным месяцем. Погода резко изменилась, а мама была слишком легко одета, без теплой ротонды, в одном костюме.

В парке было пусто и неприветливо, даже знаменитый дуб, огороженный чугунной решеткой, посаженный здесь императором Александром, ветвистый и голый, казался как бы еще больше почерневшим от холодного ветра, и у его подножки сиротливо лежали в пожелтевшей прошлогодней траве желуди.

Я озяб в своем маленьком матросском пальтишке. Мне стало скучно и захотелось вернуться домой, но мама решила немного подождать, надеясь, что погода исправится.

...У нас в черном месяце марте погода менялась по нескольку раз в день...

Однако март оказался коварным месяцем. Пока мама ждала улучшения погоды, я бегал вокруг розариума, где штамбовые розы были еще по-зимнему пригнуты дугой к земле и на их тонких коралловых стволах висели оловянные ленточки с выбитыми названиями сортов.

Черные голые деревья, черная земля, темные тучи, которые низко нес над сердитым морем северный дофиновский ветер,— все это нагоняло уныние, и черная согнутая фигура мамы с орлиным пером, трепещущим на шляпе, ее пепельные губы, серевшие сквозь вуаль, усугубляли в моей душе предчувствие чего-то зловещего, что должно случиться в нашей семье.

Посидев некоторое время на скамейке и не дождавшись улучшения погоды, мама переменила мне мокрые штанишки на сухие, и мы пошли домой, стараясь поворачиваться спиной к острому мартовскому ветру.

Ночью я проснулся оттого, что в доме началась какая-то суета и ставили самовар. Папа, одетый, сидел на стуле возле маминой кровати, держа маму за руку, и, поминутно прикладывая к ее щекам ладонь, говорил:

— Боже мой, Женечка, ты горишь... ты вся горишь...

Он встряхивал термометр, ставил его маме под мышку, через некоторое время вынимал, подносил к глазам, хватался за голову, и снова стряхивал ртуть, и снова всовывал термометр маме под мышку.

Мама лежала, разметавшись на кровати, и папа подсовывал ей под ноги сползающее одеяло. Потом он укрыл маму поверх одеяла своим драповым зимним пальто, но мама продолжала дрожать. Ее бил озноб, и я слышал, как у нее стучат зубы.

...заваривали сухую малину, и свет зеленого абажура папиной лампы, принесенной из столовой в спальню и поставленной на мамин комод, смешивался с красным цветом светящегося в ночном сумраке спальни стакана, наполненного огненно-малиновым чаем. Дымящееся блюдечко дрожало в папиной руке...

Папа подложил маме под спину подушку, и она, сидя в своей ночной рубашке и валясь назад обессиленной го-

ловой, пила с ложечки воспаленными губами пылающую жидкость.

Я засыпал и часто просыпался то разбуженный плачем маленького братика Женечки, то чьими-то осторожно-тревожными шагами, то сухим, раздирающим кашлем мамы, то передвижением по комнате настольной лампы или багрового языка ночной свечи. Однажды я слышал, как часы пробили два раза.

Утром маме стало еще хуже.

В доме все пошло вкривь и вкось. Но все же папа пошел на уроки, хотя и вернулся раньше обычного.

— Женя горит!..— с отчаянием повторял папа как заклинание, не зная, что предпринять.— Женя горит! Женя горит!..

Поздно ночью, когда я уже спал, сестра милосердия, вызванная из Стурдзовской общины, ставила маме банки, и я проснулся в тот самый миг, когда эта сестра в белой наколке на голове, засучив рукава, манипулировала маленьким факелом, пылающим зловещим спиртовым пламенем, бросающим на обои странные летучие тени.

Я видел, как спиртовое пламя вылизывало внутренность круглых стеклянных баночек и потом эти баночки как бы сами собой прилипали к маминой смуглой обнаженной спине, и как они всасывали в себя коричневую плоть маминой спины и боков, полностью заполнявшую круглую пустоту баночек.

Банки усеивали сначала всю мамину спину, потом сестра милосердия отрывала их с пробочным хлопаньем от маминой спины, которая оказалась вся покрыта багровыми кружочками, а мама стонала, и ее переворачивали грудью вверх и ставили банки на грудь и на бока, и странные летучие тени горящего спирта снова метались по обоям, по их потертым коричневым букетам.

Папа надеялся, что после банок маме полегчает, но ей по-прежнему было худо. Она лежала, полузакрыв глаза, с распущенными волосами, укутанная двумя одеялами, а сверху них своей ротондой и папиным пальто.

...из ее сухих, потрескавшихся губ вылетало тяжелое дыхание...

...Ночь сменялась днем, день сменялся вечером, из комнаты в комнату переходили огни свечей и настольных ламп; папа делал маме спиртовой компресс, и я видел,

как мама нежно с усилием улыбнулась папе, как бы желая его подбодрить, и как ее губы почти беззвучно произнесли:

— Не волнуйся, Петр. Я просто остыла на этом коварном мартовском ветру. Кажется, мне уже лучше.

Но ей делалось все хуже и хуже.

В доме появились доктора. Кухарка то и дело бегала в аптеку и приносила оттуда все новые и новые лекарства. Я совсем перестал ощущать время.

...сначала один доктор, потом другой, потом я услышал страшное слово «консилиум»...

Мою кроватку перекатили из спальни в столовую и поставили к стене против коричневой ширмы, за которой жила бабушка. Здесь же на диване, перенесенном из гостиной, пеленали маленького Женечку и промывали его закисшие глазки борной кислотой. Я видел, как его кормилица расстегивала свой корсаж, доставала большую, похожую на вымя грудь и совала Кувасику в его крошечный горестный ротик коралловый сосок, как бы растущий из коричневого кружка грубоватой кожи.

Потом были кем-то чужим произнесены слова:

— Воспаление легких.

Я услышал их из-за двери, оттуда, где на керосинке в медном тазу для варенья все время что-то кипятилось.

Никто в доме, кроме меня, не ложился спать. Не помню уже, обедали мы или не обедали. Кажется, ели урывками на кухне: вся квартира была отдана в распоряжение докторов. На столах и на комодах, даже на стульях — всюду были расставлены какие-то тарелки, стаканы, блюдечки, в которых кисла вата. Все время вносили и выносили тазы. Появилась круглая фаянсовая посудина с ручкой, называвшаяся «подсов». Куда его подсовывали, я мог только догадываться.

Папа не умывался и не переодевался. Он все время был в своем новом сюртуке, который на моих глазах как бы ветшал — мялся, пылился, становился поношенным. Папины манжеты, всегда такие чистые, белые, слегка загрязнились, папины волосы были нечесаны, борода сбилась набок, пенсне все время сваливалось с носа и болталось на шнурке, как маятник, поблескивая стеклами, отражавшими огненное слюдяное окошечко керосинки.

Доктора все время то уезжали, то приезжали, привозя свои докторские саквояжи, в которых слышалось позванивание хирургических инструментов.

С мамой все время что-то делали, но я не знал и не понимал, что именно.

Доктора, сняв сюртуки и засучив рукава, мыли над тазом руки, а папа сливал им из кувшина, обливая при этом свои брюки и ботинки.

Помню вечер, гостиную, превращенную в нечто вроде операционной, где на альбомном столике горела стеариновая свеча в медном подсвечнике с зелеными потеками и на тарелке рядом с пинцетом и скальпелем лежали очень хорошенькие маленькие стеклянные ампулы — вроде крошечных шприцев — с медными донышками и стальными жалами.

...я услышал, что это замораживающее средство со страшным, почти волшебным названием:

хлорэтил...

Молодой доктор поманил меня пальцем и, очевидно, пожалев и желая развлечь, надавил медную кнопку, и хлорэтил брызнул в пламя свечи, причем его мелкие, как роса, капельки вспыхнули туманной радугой и затрещали, напоминая мне мандариновую кожуру, из которой я любил брызгать на елочные свечи.

Эфирный запах распространился в гостиной.

Молодой доктор дал мне шприцик с остатками хлорэтила, и я некоторое время забавлялся, брызгая в пламя свечи, сразу же окружавшееся трескучим радужным ореолом, делавшим нашу гостиную с переставленной мебелью еще более празднично-зловещей.

Впоследствии я узнал, что доктора обнаружили у мамы в грудной или брюшной полости или еще где-то нарыв, который во что бы то ни стало надо было вскрыть и выпустить гной наружу, они делали один прокол за другим, но никак не могли обнаружить гнойник. Маме сделали одиннадцать глубоких хирургических проколов, но гнойника так и не нашли.

...с тех пор слово «одиннадцать» до сих пор имеет для меня зловещий смысл...

Не знаю когда, рано утром или поздно вечером, в дверь спальни внесли две черно-серых кислородных подушки. За ними посылали несколько раз на извозчике, хотя до аптеки было рукой подать.

Папа то и дело открывал свой комод и доставал из него деньги, давая докторам, сестрам милосердия, извозчикам, кухарке — на лекарства, на подушки с кислородом, на их доставку из аптеки.

Я услышал в спальне, куда маму перенесли обратно из гостиной, странное храпение. Я подошел к двери и со страхом посмотрел на маму. Ее хрипящий рот был прижат к черному каучуковому респиратору кислородной подушки, которую с противоположной стороны скатывала в трубу сестра милосердия, как бы выдавливая из кислородной подушки остатки спасительного кислорода, в то время как кухарка вносила в дверь новую туго раздутую кислородную подушку.

Из маминого рта продолжало исходить хрипящее сухое дыхание. Свет лампы на комоде был заставлен томом энциклопедии Брокгауза и Ефрона, и тень лежала на мамином лице, сливаясь с черными распущенными волосами. Я свято верил в целебную силу так безумно дорого стоившего кислорода, темных, почти невесомых подушек, в которых его двое суток подряд днем и ночью возили на извозчиках.

Я был уверен, что мама скоро выздоровеет, тем более что доктора разъехались, держа в руках свои позванивающие саквояжи.

В доме уже не было суеты, и я сам разделся и лег спать, некоторое время все еще слыша доносящееся из спальни в столовую тяжелое дыхание мамы и храпение каучукового респиратора кислородной подушки.

Я проснулся поздно. Ставни в столовой, где я спал, были уже открыты. В окна светило мартовское, предпасхальное солнце. В квартире стояла удивительная, противоестественная тишина. Из кухни в столовую вышла празднично причесанная, одетая в новую кофту кухарка, велела мне вставать, натянула на мои ноги длинные шерстяные чулки и помогла мне застегнуть крючком мои ботинки на пуговицах. Затем она поправила на мне блузочку, недавно сшитую из остатка шерстяной материи от маминой зимней юбки. Я был удивлен, что кухарка не ведет меня в кухню умываться.

Меня тревожила необычайная, какая-то воскресная

тишина в квартире. Кухарка грустно посмотрела на меня, перекрестилась и сказала:

— Бог взял к себе твою мать. Умерла твоя мамочка. Пойдем.

Она взяла меня за руку и ввела в тихую, прибранную спальню, где в изголовье маминой кровати на тумбочке горела лампадка. Мама с закрытыми глазами и гладко причесанной головой, слегка склонившейся набок, с еле заметной неподвижной улыбкой на губах, почерневших от лекарств, лежала на кровати со сложенными на груди руками, и ее лоб маслянисто блестел, отражая кроткий, совершенно неподвижный, удивительно прозрачный язычок горящей лампадки.

Папа стоял рядом с маминой кроватью без пенсне, с утомленными глазами и грустно смотрел на маму. Я подошел к нему, слыша, как твердо стучат по полу еще не сбившиеся каблуки моих новых башмаков.

Папа положил руку на мое плечо и сказал:

— Вот и нет больше у тебя мамочки.

Я смотрел на маму, на ее неподвижное, с закрытыми глазами, немного японское лицо, на сомкнутые черные ресницы с еще не высохшей последней слезинкой, на красную лампадку в ее изголовье, на ее покрытое одеялом до пояса тело, уже как бы не причастное ни к чему земному и в то же время такое обычное, ничем не замечательное, земное, что я хотя и отлично понимал, что мама умерла, все же не мог постичь, что это состояние смерти будет уже присуще маме навсегда.

Я не испытывал ни ужаса, ни горя, моя душа еще не была приготовлена для настоящего, глубокого страдания, я чувствовал лишь, что в нашей семье произошло нечто ужасное, хотя и обыденное.

Помню, как папа, не зная еще, как надо вести себя в эти первые часы бездействия и тишины, сидел, покачиваясь в качалке, устремив глаза куда-то вдаль, туда, где за окнами так непостижимо обычно простиралась и жила своей будничной жизнью наша улица со всем своим тарахтеньем извозчиков, шагами пешеходов, криками старьевщиков, скрипом тачек.

Я понимал, что мама умерла, но еще не вполне понимал, что это навсегда: ведь мама была все еще тут, рядом с нами, наша, со своим смугло-блестящим лбом и едва уловимой, скользящей и в то же время неподвижной кроткой улыбкой.

К тому времени мне уже кто-то из взрослых рассказал — может быть, даже сама мама — про опыты с мертвой лягушкой, которую можно заставить двигать лапками, если воздействовать на ее мускулы электрическим током. Я даже знал, что подобные движения мертвой лягушки называются гальваническими.

Я сел папе на колени и, качаясь вместе с ним в качалке, спросил, нельзя ли как-нибудь оживить маму. Неужели нет такого средства?

С улыбкой, способной перевернуть душу, папа погладил меня ледяной рукой по голове и с глубоким вздохом сказал, что, увы, такого способа нет.

— А электричество? — спросил я, не понимая, какие страшные душевные раны я наношу ему.

— Увы,— ответил папа.

Но я не унимался.

— А почему же мертвые лягушки могут делать гальванические движения? Папочка, пожалуйста! — с жаром сказал я.— Попроси, чтобы у мамочки сделали гальванические движения. Она откроет глаза и снова будет живая.

— Увы,— повторил папа, продолжая гладить мне голову рукой, на которой я чувствовал присутствие обручального кольца.— Если она даже и откроет глаза,— сказал папа,— то совсем ненадолго и не перестанет быть мертвой.

— И теперь она навсегда будет мертвой? — почти с ужасом спросил я, впервые начиная понимать всю непоправимость того, что случилось с мамой.

— К сожалению,— совсем тихо сказал папа,— против смерти электричество бессильно.

Он продолжал неподвижно смотреть куда-то вдаль, по его лицу проходили слабые судороги, и я понял, что он делает усилия, чтобы заплакать, но плакать не мог, и это разрывало ему сердце.

...о, если бы он мог плакать, рыдать!..

...Но он только смотрел вдаль покрасневшими, остановившимися глазами.

Я думал, что мама на своей кровати, и лампадка, и папа в качалке, и Кувасик на руках у кормилицы, и я, и тишина в квартире — все это так и останется навсегда и с этим еще можно как-то примириться, привыкнуть.

Но скоро все изменилось.

Квартиру наполнили разные знакомые и незнакомые люди. Каких-то два семинариста в тужурках, знакомые или даже родственники папы, сидя в гостиной, свесив вниз свои длинные волосы, сочиняли платное похоронное объявление в «Одесский листок». Сначала объявление было большое и длинное, потом в целях экономии его стали сокращать, сокращать, сокращать, как обычно сокращают телеграмму; так что в конце концов на другой день в газете в тоненькой траурной рамке появилось совсем коротенькое, совсем незаметное среди других больших, многословных похоронных объявлений богачей крошечное объявленьице под тонким крестиком, где мама не была даже названа полным именем, а как-то по-сиротски: «Е. И. Катаева».

В кухне все время ставили самовар, пили чай и ели бутерброды с колбасой, приходил гробовщик, снимал мерку, и как-то само собой в этой сутолоке появилась модистка Фани Марковна, которая тут же, обливаясь слезами, стала метать на живую нитку для мамы платье, белое, как для невесты.

Каким образом укладывали маму в гроб и когда этот гроб появился в доме, я не помню, наверное, я уже тогда спал, но, проснувшись на другое утро, я увидел в спальне пустую мамину кровать, застланную марсельским одеялом, и на тумбочке уже не было лампадки, а на мраморной доске остался от нее только масляный кружок. Это меня успокоило. Я подумал, что все уже обошлось, но, пройдя из столовой через пустынную, начисто выметенную, вымытую и прибранную спальню, где в воздухе еще держался эфирный запах хлорэтила и каких-то других лекарств, я переступил порог гостиной, и первое, что я увидел там,— был угол белого гроба и церковный стоячий подсвечник с толстой горящей свечой.

Гроб стоял наискось комнаты на каком-то возвышении, в том углу рядом с фикусом в зеленой кадке, где недавно я уже видел другой гроб, не белый, а коричневый, с умершим дядей Мишей.

Мамин гроб был деревянный, хорошо посеребренный, и вокруг его краев выступали бумажные кружева, что делало его отдаленно похожим на открытую коробку шоколадных конфет.

По углам гроба горели четыре церковных свечи.

Мама лежала в белом, на скорую руку сметанном платье, сложив высоко на груди руки с неизвестно откуда взявшейся маленькой иконкой.

Дверь из передней, где зеркало было закрыто простыней, была настежь открыта на лестницу, пол посыпан ельником, рядом с дверью стояла крышка гроба; мимо нее все время входили и выходили знакомые и незнакомые люди, родственники, соседи, просто любопытные с Базарной улицы. Я затерялся в этой толпе и чувствовал себя одиноким, все еще не вполне понимая, что мама умерла навсегда. Мне все еще казалось, что люди разойдутся, гроб унесут, из глубины квартиры выйдет мама с Кувасиком на руках, улыбнется мне — и жизнь будет продолжаться по-прежнему радостно и дружно.

Потом начались панихиды.

Появились священники, которые надевали в передней через голову свои траурные глазетовые ризы и бархатные лиловые камилавки. Раздался бас дьякона, из-под серебряной крышечки кадила повалил душистый дым росного ладана, душно обволакивая все комнаты нашей маленькой квартиры, все закоулки ее, и сквозь эти пепельно-сиреневые клубы я видел колеблющиеся язычки восковых свечек и как бы смазанный священным маслом, позолоченный лоб мамы с тенью темных ресниц на похудевших и еще более побелевших за ночь щеках.

Это продолжалось два дня, а на третий я увидел в окно, как возле нашего парадного на мостовой остановился высокий белый катафалк на черных колесах и в квартиру вошли так называемые мортусы — в черных узких пальто с большими серебряными пуговицами, в черных адмиральских треуголках, обшитых траурным позументом.

Гроб подняли и понесли вниз по лестнице, причем папа и ближайшие родственники норовили поддерживать его подставленными плечами и поддерживали особенно бережно на поворотах парадной лестницы.

...пел высокими голосами хор певчих в своих синих балахонах с кистями....

В руках у мортусов дымились черные смоляные факелы. Лошади, покрытые белыми сетками, с черными шорами на глазах, отчего они казались слепыми, со страусовыми перьями над головами, стояли смирно, ожидая, ког-

да гроб с моей мамой наконец вдвинут в колесницу и со всех сторон обвесят венками из бумажных и фарфоровых искусственных цветов, украшенных белыми муаровыми лентами с надписями, составленными из крупных печатных букв, вырезанных из золотой, серебряной или черной лакированной бумаги.

Несколько позади катафалка стояли три или четыре старых кареты на тот случай, если по дороге на кладбище кто-нибудь из провожающих устанет и тогда он сможет сесть в карету.

Похоронная процессия двинулась вниз по Базарной улице мимо аптеки, где в окнах зловеще светились графины с разноцветной жидкостью; где-то сбоку проплыл магазин Карликов, на пороге которого стояли, провожая мамин гроб испуганными глазами, мадам Карлик в накладной прическе и сам Карлик, держа в руке свой старый суконный котелок на белой шелковой, сильно порыжевшей подкладке.

Папа вел меня за руку по мостовой за катафалком, и я все время видел два больших черных колеса, медлительно, неотвратимо поворачивающихся по правую и по левую сторону от нас.

Похоронная процессия двигалась утомительно медленно; священник с небольшими равными промежутками взмахивал кадилом, в котором как бы сквозь зубы тлели угли, и в воздухе таяли облака ладана, а погода вокруг стояла холодная, коварная, черная, мартовская.

Скоро я устал, и меня вместе с Сашей посадили в карету со стенами, обитыми старым солдатским сукном. Нам очень нравилось ехать в карете, нюхая ее затхлый воздух.

Потом катафалк, покачиваясь на ухабах, въехал под арку кладбищенских ворот с иконой, украшенной розовыми бумажными цветами. Маму должны были довезти до паперти кладбищенской церкви, куда вела пустынная, безрадостная аллея, внести в церковь, там отпеть ее, а затем отнести к приготовленной уже могиле и похоронить.

Правду сказать, все так измучались, что втайне всем хотелось, чтобы церемония поскорее закончилась и можно было бы вздохнуть свободно.

Однако перед самым выносом знакомый телеграфист принес в своей кожаной сумочке на поясе телеграмму из Екатеринослава, где сообщалось, что две мамины сестры — тетя Наташа и тетя Маргарита — выезжают поез-

дом в Одессу, приедут завтра и умоляют не хоронить без них Женю.

Таким образом похороны оттягивались еще на один мучительно тягостный день.

Мамин гроб выдвинули из катафалка и отнесли на руках в кладбищенскую часовню — вернее, мертвецкую,— выстроенную специально для подобных экстренных случаев, рядом с кладбищенскими воротами. Здесь маму, закрыв крышкой, оставили одну, и мы с папой вернулись на извозчике домой, где было уже все прибрано, вымыто, проветрено и слышалось лишь чмоканье и куваканье маленького Женечки, которого кормила грудью мамка, сидя в гостиной в кресле под фикусом, на том самом месте, где на двух составленных ломберных столах еще совсем недавно стоял гроб с мамой.

...В эту ночь я плохо спал, все время представляя себе маму одну, в закрытом гробу лежащую в часовне, а старая монашка при свете пятикопеечной свечи читает псалтырь, бормоча и проглатывая слова и крестясь, и, послюнив морщинистые пальцы, одну за другой листает ветхие страницы черной книги в кожаном переплете, изъеденном червями...

Мне было жалко маму, и вместе с тем я боялся думать о ней, представляя, как она вдруг сбрасывает крышку гроба, открывает глаза и садится на подушке, набитой стружками. Эти мысли, смешанные с тягостными снами, так измучили меня, что я с трудом встал со своей кровати, которую уже успели перекатить на ее постоянное место между папиной и маминой постелями.

...начался последний день пребывания маминого тела на земле...

Поезд из Екатеринослава опаздывал. Дольше ждать было невозможно. Мы опять поехали с папой на кладбище и по дороге проезжали мимо Чумки, громадного зловещего холма, образовавшегося на том месте, где в какой-то далекий черный год хоронили умерших от чумы в одной братской могиле, заливая трупы кипящей смолой, засыпая негашеной известью и лишь потом забрасывая землей. Вырос громадный земляной холм, почти гора. На ней появилась трава, бурьян, чертополох, и она стала

грозным воспоминанием об ужасном годе, когда по улицам ездили телеги, нагруженные мертвыми телами, и всюду горели костры, на которых сжигали пожитки и постели из вымерших домов, вытаскивая их крючьями и обливая дома карболкой.

Ходили темные слухи, что в Чумке хранятся сказочные богатства — перстни, бриллианты, ожерелья, которые в тот страшный год не решались снимать с покойников и закапывали их в землю вместе со всеми драгоценностями. Предприимчивые дельцы предлагали городской управе большие деньги за то, чтобы им разрешили произвести раскопку Чумки, но им неизменно отказывали, опасаясь, что Черная Смерть вырвется из-под земли и снова начнет тысячами косить жителей города. Проезжая с папой на извозчике мимо Чумки, я представлял себе чуму в нашем городе, на Базарной улице, и закрывал глаза, чтобы не видеть высокий, уже слегка начинающий зеленеть холм, моля бога, чтобы мы скорее проехали мимо и не заразились чумой.

Когда мы вошли в кладбищенскую часовню, уже полную людей, я увидел открытый гроб, заваленный розовыми и лиловыми гиацинтами, и под ними белое платье покойницы мамы. За ночь ее закрытые глаза ввалились, но слегка наклонившаяся к подушке голова по-прежнему однообразно улыбалась, и в углу совсем уже почерневших губ я рассмотрел белую капельку гноя. На лбу у мамы появилась кем-то положенная бумажная полоска с печатной молитвой и какой-то металлической штучкой, и в ней ослепительно вспыхнул магний, пустив вверх белое облачко дыма и навсегда запечатлев гроб, покойницу в белом платье, венки, ленты, ризы священников, папу в изголовье гроба и, может быть, меня рядом с папой.

...а мамины сестры до сих пор еще не приехали из Екатеринослава, и ждать их дольше было невозможно...

Сводящие с ума своими однообразными повторениями похоронные колокола не переставали звонить с колокольни кладбищенской церкви; у меня кружилась голова от их бемолей, бьющих как молоток по вискам; я терял сознание от духоты и гнилостного, сладкого запаха увядающих гиацинтов.

Несколько семинаристов стали медленно закрывать гроб крышкой; вот уже лицо мамы скрылось из глаз; но в эту самую минуту в часовню вбежали мамины сестры — тетя Наташа и тетя Маргарита,— только что приехавшие с опоздавшим поездом из Екатеринослава. Они были в дорожных пальто, в новых траурных шляпках с крепом, с саквояжами в руках — прямо с вокзала.

С окаменевшими лицами они подошли к гробу, и семинаристы снова сняли с него крышку.

— Женя! — в отчаянии закричала тетя Маргарита, увидев мамино склонившееся осунувшееся лицо.

Тетя Маргарита была похожа на маму, в таком же пенсне, такая же чернобровая, но только гораздо моложе, только что кончившая гимназию. Тетя Маргарита стала целовать лоб и руки покойницы мамы.

Тетя же Наташа упала на колени перед гробом, опустила голову, ее шляпка сбилась набок, и слезы полились из ее добрых глаз.

Но кладбищенские колокола продолжали долбить свои бемоли, и гроб снова закрыли крышкой, на этот раз навсегда, хотя я этого все еще не в состоянии был понять: в моем представлении мама все еще была жива, хотя и неподвижна.

Лишь когда я очутился перед глубокой свежей могилой, со дна которой два могильщика выбрасывали вверх последние лопаты глины, и гроб с мамой поставили на краю могилы, и я увидел срез почвы, переходящей сверху вниз от черного слоя сначала к коричневому, а потом к светло-желтому, песчаному, сырому, и рабочий стал забивать молотком гвозди в крышку гроба, и потом стали — не на полотенцах, а, по нашему обычаю, на канатах опускать гроб в глубину суживающейся могилы, и со стен ее побежали струйки сухой глины, перемешанные с какими-то растительными корешками, и опускали до тех пор, пока гроб вдруг не остановился всеми своими четырьмя ножками на дне, и запели певчие, и папа поднял комок глины и каким-то лунатическим движением бросил его вниз, так что он стукнулся о полую высокую крышку маминого гроба, и потом рабочие взялись за лопаты и с непонятной поспешностью стали закидывать гроб землей, так что скоро на месте могилы вырос высокий острый холм, очертаниями своими отдаленно напоминая гроб,— тут только я очнулся от странного сна, в который была

все это время погружена моя душа, и понял со всей ясностью, что только что закопали глубоко в землю мою маму, что я ее уже больше никогда не увижу, и горячие, неудержимые, горькие, обильные, блаженные слезы хлынули из моих глаз, а папа, держа меня за плечи руками, бормотал:

— Вот и все. Вот и нет больше нашей мамочки. Ах, если бы я мог так же плакать, выплакаться, как ты. Но у меня нет слез... Меня наказал бог: я не умею плакать...

Я поднял лицо и высоко над собой увидел его сухие глаза и понял, какую боль, какую муку испытывает он, лишенный способности плакать.

Какая-то женщина, кажется Акилина Саввишна, в черном платке развязала полотенце и вынула из него большое блюдо с белой горкой колева — сладкой рисовой каши, густо посыпанной сахарной пудрой и крестообразно выложенной разноцветными дешевыми мармеладками фабрики братьев Крахмальниковых, и стала оделять кладбищенских нищих, подставлявших руки ковшиком или свои рваные арестантские шапки.

Когда мы вернулись домой, я первый с облегчением взбежал по лестнице на наш второй этаж и стал дергать за проволоку колокольчика. Я был переполнен впечатлениями последних дней и торопился поделиться ими с мамой.

— Мамочка! — возбужденно крикнул я, стучась в запертую дверь ногами.— Мамочка!

Дверь отворилась, и я увидел кормилицу, державшую на руках братика Женечку. Я почувствовал приторный запах пасхальных гиацинтов и вдруг вспомнил, что мама умерла, что ее только что похоронили и уже никогда в жизни не будет у меня мамы.

И я, сразу как-то повзрослевший на несколько лет, не торопясь вошел в нашу опустевшую квартиру.

Гололедица.

Почему-то придавалось особое значение тому, что я родился в гололедицу.

В этом не было ничего особенного. В нашем городе зимой, особенно в январе, весьма часто случаются гололедицы. Так называемые «морские сирены» — туманы — шли с юга на город, погружая его в молочно-серую рых-

лую мглу, и если затем с севера начинал дуть крещенский ветер, то все вокруг обледеневало.

При ярком зимнем солнце или же ночью при блеске звезд это представляло волшебную картину, но ходить по скользким тротуарам было почти невозможно, и акушерка, которая спешила меня принимать, вероятно, несколько раз по дороге падала и шла со своим саквояжем, хватаясь за стены и за стволы акаций, покрытые толстой коркой льда.

Однажды в комплекте старой «Нивы» за год моего рождения я нашел фотографию под заголовком «Небывалая гололедица в Одессе» или что-то в этом роде: полуповаленный телефонный столб, подпертый другим столбом, и перекладина между ними, так что получалось как бы большое печатное А, утонувшее в обледеневшем сугробе.

С телефонного столба висели оборванные провода, обросшие льдом, а впереди по колено в сугробе стояли городовой в башлыке и дворник с деревянной лопатою в руке, в тулупе и белом фартуке с бляхой на груди.

Жмурясь на солнце, они стояли — руки по швам,— позируя неизвестному фотографу-любителю, добровольному корреспонденту «Нивы», вероятно, какому-нибудь студенту или гимназисту, делавшему снимок с большой выдержкой, покрыв свой неуклюжий деревянный фотографический аппарат на треноге и свою голову в башлыке черным покрывалом, что делало его похожим на одноглазого циклопа (его тень вышла на переднем плане фотографии), а позади можно было заметить размытое изображение нашей Базарной улицы с двухэтажными домами и санного извозчика.

...может быть, в это время уже начались роды, и мама кричала на своей кровати, в то время как Акилина Саввишна держала ее руки и время от времени вытирала пот с ее смуглого лба...

Первая любовь.

Была поздняя осень, и в пустынном Александровском парке деревья стояли уже голые, черные, но было еще тепло, и я пришел на свидание без шинели.

Она показалась в конце аллеи, длинной как жизнь, усыпанной мелкими желтыми листьями акаций.

Она тоже была без пальто, в будничной гимназиче-

ской форме, в черном саржевом фартучке со скрещенными на спине бретельками.

На всю жизнь запомнил я ее еще детские башмачки на пуговицах, ее клеенчатую книгоноску с пеналом, на котором виднелось несколько полуоблезших переводных картинок. На среднем пальчике ее правой руки была вдавлинка от ручки и небольшое чернильное пятнышко.

Ей было лет четырнадцать, мне — пятнадцать.

Я назначил ей свидание, хотя никакой надобности в этом не было: мы могли видеться с ней хоть каждый день у нее в доме или в гостях у ее подруг.

...но мне казалось необходимо, чтобы это было свидание; одно лишь слово «свидание» сводило меня с ума и обещало рай...

О, как я боялся, что она не придет! Но она аккуратно явилась ровно в назначенное время, в три часа дня после уроков. В этой ее аккуратности, граничившей с равнодушием, я почувствовал уже тогда что-то безнадежное.

У нее были густые каштановые волосы, носик с веснушечками, маленький упрямый подбородок, карие, уже по-женски влажные глаза с выпуклыми веками и миниатюрная, стройная фигурка, к которой так шло ее будничное, хорошо скроенное темно-зеленое гимназическое платье с узкими рукавами без кружевных манжет. Свою форменную черную касторовую шляпу с салатным бантом и круглым гербом она сняла и держала за резинку вместе с книгоноской, а другой рукой поправляла волосы.

Мы стояли друг против друга одни среди громадного, пугающе-пустынного пространства предвечернего осеннего парка: худой гимназист и маленькая гимназистка, еще почти девочка.

...Я вижу эти две фигурки, стоящие рядом, но не сливающиеся, где-то в страшном отдалении осенней аллеи, как бы не имеющей ни начала, ни конца...

Пахло подсыхающими, только что подстриженными шпалерами вечнозеленого мирта, туями и южной сосной. Розы в розариуме уже были укрыты соломенными чехлами, небо над нами мягко светилось — теплое, чистое, нежное, немного туманное и такое грустное, что я готов был заплакать.

— Я получила вашу секретку,— сказала она без выражения.

Мы пошли рядом и долго молчали, так как я не находил слов для того, чтобы объяснить ей, зачем мне понадобилось назначать ей свидание. Она терпеливо ждала, а я, чувствуя... (дальше зачеркнуто восемнадцать строчек)... и такая безвыходная грусть охватила мою душу, что... (вычеркнуто шесть строк)...

«Полюбить можно раз, только раз всей душой, и любовь эта будет чиста, как лазурное небо на юге весной, как росинка в изгибе листа»...

Я знал, что это любовь на всю жизнь...

Затмение солнца.

Я забрался на чердак пового четырехэтажного дома общества квартировладельцев на Пироговской улице, номер три, куда мы недавно переехали, а затем вылез через люк на крышу, лег там на розовую горячую черепицу и стал дожидаться начала солнечного затмения. Пространство вокруг меня было ограничено черепицей — однообразно повторяющийся рисунок плиток, в желобках которых уже чуть заметно серела летняя пыль, принесенная сюда с Французского бульвара, где, кроме извозчиков и экипажей, довольно часто пробегали автомобили, оставляя за собой облака синего бензинового чада, с громом и звоном мчался электрический трамвай.

Это было через некоторое время после начала первой мировой войны и всеобщей мобилизации, когда в нашем городе все успокоилось и бабушка — мамина мама,— которая так весело проводила у нас лето, играя на пианино вальс Джульетты или марш Фауста, вдруг спешно уехала обратно к себе в Екатеринослав, опасаясь, как бы турецкий флот не стал обстреливать Одессу... в мире воцарилась знойная августовская тишина, такая глубокая и такая зловещая...

И... такая «чреватая»...

Отсюда, с крыши, я ничего не видел, ни бульвара, ни моря, хотя знал, что оно где-то скрытно синеет за дачными садами.

Я знал, что дальше тянутся обрывы, белый маяк и поля поспевающей кукурузы с метелками сухих соцветий и с зелеными, наливающимися кочанчиками, а за ними — чужие страны, и где-то там идущая война, в существование которой мне как-то не верилось.

Вокруг себя я увидел только ограниченное пространство серо-розовой черепицы, ее склоны, обесцвеченное зноем небо и послеполуденное солнце, на которое больно было смотреть невооруженным глазом. Я смотрел на солнце сквозь густо закопченное стекло и видел сквозь дымчатую серо-коричневую поверхность ярко-белый блестящий кружочек солнца.

...странно, что солнце казалось таким маленьким...

Кружочек солнца был такой четкий, точный, вечный, что не верилось в возможность его затмения, тем более предсказанного заранее за сотни лет вперед.

Между тем я отлично понимал, что где-то в мировом пространстве уже несется черный конус холодной лунной тени и где-то он уже коснулся земного шара и приближается ко мне. Я знал, что внизу, во дворе, уже неподвижно стоят люди, приложив к глазам закопченные стеклышки.

Весь город был наполнен людьми с черными стеклышками у глаз, как бы слепыми.

Но я был один, ограниченный пространством черепичной крыши со столбами розовых кирпичных труб.

...В природе наступила тишина, обычно предшествующая солнечному затмению...

Все же я не верил в то, что наступит затмение. Белый, как бы магниевый кружок солнца был по-прежнему безукоризненно геометричен, четок и недосягаем.

Я не отрывал глаз от закопченного стекла, повернутого к солнцу своей бархатисто-черной, с коричневыми подпалинами поверхностью. Это был старый неудавшийся фотографический негатив, закопченный на свечке. На нем еще можно было заметить какие-то неудавшиеся фигуры людей, очертания деревьев, скал, плоскодонок.

Среди этого странного дымчатого мира отчужденно белел резкий кружок солнца.

И вдруг я заметил на его краю сначала какую-то неровность, нарушившую геометрическую законченность небесного тела, потом щербинку, постепенно превратившуюся в пробоину, черную, овальную, как бы сделанную компостерными щипцами, потом ослепительно-белый диск солнца превратился в полумесяц, и я почувствовал на своих волосах дуновение звездного холода.

...тень Лупы промчалась по полям прошлых и будущих сражений... По Добрудже, по Молдавии, по виноградникам Скулян, где некогда жил мой прадедушка капитан Елисей Бачей, где родился мой дед — мамин папа — генерал Иван Елисеевич Бачей, по отрогам Карпат, где я лежал с ногой, простреленной навылет... И где маршевая рота с красным бархатным знаменем... шла...

1969—1972 гг.
Переделкино

КЛАДБИЩЕ В СКУЛЯНАХ

Я умер от холеры на берегу реки Прут, в Скулянах, месте историческом. Моя жена Марья Ивановна хлопотала возле меня вместе с несколькими девушками-цыганками, нашими крепостными.

Будучи по природе и по воспитанию женщиной расчетливой, Марья Ивановна в этом случае не пожалела лучших простынь из тонкого голландского полотна, с крупными метками, собственноручно вышитыми ею гладью. Из этих простынь она смастерила нечто вроде стеганого одеяла, насыпав в него раскаленной пшеницы.

Я чувствовал тяжесть этого покрывала, но мое холодеющее тело уже не ощущало ожогов, из чего я понял, что пришла смерть.

Марья Ивановна, имевшая привычку по всякому пустяку ломать руки и восклицать «о майн гот!», на сей раз проявила особую, молчаливую сдержанность. С педантической энергией она исполнила все предписания военного лекаря, присланного моим другом, командиром прутского полубатальона карантинной стражи, а также советы, вычитанные в домашнем лечебнике, потрепанной книге чуть ли не петровских времен, оставшейся в наследство от моих предков.

Меня раздражал беспорядок, произведенный моей болезнью: подсов, в который мне приходилось поминутно испражняться, фаянсовый кувшин, расписанный цветочками, стоявший на полу посредине комнаты, тазы, лужи воды, едкий дым жженой серы, которым окуривали весь наш обширный барский дом.

Меня бесило, что я сам был причиной беспорядка, которого на старости лет не переносил.

Сознание уплывало от меня, но я еще различал предметы: большой молдавский ковер на стене, на нем саблю, пороховницы, два скрещенных пистолета и мою гордость — дорогую трофейную лядунку из черной лакированной кожи с золотым накладным вензелем императора Наполеона — латинская буква N, окруженная лавровым венком. Эту лядунку я содрал с французского офицера, взятого мною в плен во время Отечественной войны 1812 года под Грубешовом.

Мне бы хотелось перед смертью благословить моих детей, но никого из них не было в Скулянах: три сына, Александр, Яков и самый младший, мой любимец Ваня, учились в Ришельевском лицее в Одессе, старшая дочь Елизавета, недавно окончившая с шифром Смольный институт в Санкт-Петербурге, уже вышла замуж за полтавского предводителя дворянства и жила в Полтаве со своим домом, а младшая, Анастасия, гостила у знакомых в Кишиневе, так что мы с Марьей Ивановной оставались дома одни.

Я посмотрел как бы сквозь туман на свою Марью Ивановну в ее синем домашнем платье, в накрахмаленном чепце, на ее длинное морщинистое лицо с поблекшими голубыми глазами и вспомнил ее той прелестной шестнадцатилетней девушкой, которая ухаживала за мной в то далекое время, когда я лежал у них в старинном домике под красной черепицей в Гамбурге, залечивая свои раны. Тогда я не чаял выжить, но семья пастора Крегера меня выходила. В особенности старалась милая Марихен. Мы полюбили друг друга, и по выздоровлении я увез ее в Молдавию, где она стала моей женой, хозяйкой большого имения.

Я был в семейной жизни человеком строгих правил, и, наверное, Марье Ивановне было не всегда легко со мной ладить, но она стойко переносила мой характер, и теперь, умирая, я вдруг почувствовал к ней жалость и прежнюю любовь, ослабевшую со временем.

Мысли мои стали все больше и больше путаться.

Мне вдруг представилось, что я вижу наяву своего любимого Ванечку таким, каким он был шести или семи лет. Он будто бы стоял у притолоки, белокурый, голубо-

глазый, лицом в мать, в красной шелковой рубашечке, подпоясанной молдавской вышитой тесемкой, и будто слезы текли из его испуганных глаз.

Я захотел благословить это видение, но у меня уже не было мочи поднять руку и сложить окостеневшие пальцы для крестного знамения. Я хотел сказать, что завещаю Ванечке мой сафьяновый портфель, где хранилась тетрадка с неоконченными записками, которые я начал незадолго перед смертью, о турецкой кампании и о достославном походе 1812 года, послужной список, а также коробочку, где под стеклом хранился мой единственный боевой орден Владимира четвертой степени с бантом.

Конечно, я заслужил большего: мне следовал бы Георгиевский крест,— но у меня был несносный характер, я постоянно спорил с начальством, самовольничал, и, естественно, меня обошли.

Георгиевский крестик пролетел мимо...

И даже теперь, лежа на смертном одре, я не мог примириться с этой обидой.

Я надеялся, что Ваня когда-нибудь прочтет мои записки и, может быть, предаст их гласности, и тогда все поймут, что я заслужил более, чем Владимира четвертой степени, хотя и этот орден был очень почетен, но, конечно, Георгиевский крест был куда выше!

Меня тревожило, удастся ли Ване разобрать мой почерк: до старости лет я так и не научился как следует чинить гусиные перья, которыми принято было писать. Я не умел достаточно остро срезать перочинным ножичком кончик пера и умело расщепить его. Для меня, как для военного человека, привыкшего действовать пистолетом и саблей, искусство чинить гусиные перья казалось недостижимым, и мне всегда было удивительно, как это хорошо удавалось, например, Пушкину, умевшему столь быстро, четко, изящно и тонко писать гусиным пером.

Перья наших молдаванских свойских гусей, которые я употреблял для писания своих мемуаров, были худшего сорта, чем те, которые употреблял Пушкин. Может быть, их ему присылал Вяземский из Санкт-Петербурга.

Жаркий, тлетворный ветер пробегал по осоке и тальнику в пойме пограничной реки Прут. Граница по случаю

холеры была закрыта. Шлагбаумы опущены. На мачте кордона развевался зловещий желтый карантинный флаг. Многие жители в страхе покидали Скуляны

Изредка стреляла сигнальная пушка.

Марья Ивановна поднесла к моим губам зеркало. Оно не замутилось, я уже не дышал. Но мои стекленеющие глаза еще видели — или мне казалось, что они видят,— отражение моего мертвенно-бледного лица с отросшими седыми усами, небритым подбородком с сабельным шрамом и висками, зачесанными вперед, по моде достопамятного двенадцатого года.

Подобно любой живой или неживой форме существования, я не имею ни начала, ни конца. Как все в природе, я бесконечен. Мое начало, так же как и мой конец, может быть только условно. Начать себя я могу как угодно: с равным правом с мига моего рождения или с мига смерти любого из моих предков.

Впрочем, даже это неточно, потому что, если разобраться, все живые существа в мире в равной степени и мои предки и мои потомки.

Я существую в так называемом времени, которое так же, как и я сам, бесконечно.

Умерев, я просто соединился с бесконечным миром элементарных частиц, как об этом стало принято считать в науке через сто лет после меня.

Священник опоздал и не успел меня исповедать и причастить. Я уже был то, что называется мертвецом. Но так как смерть оказалась всего лишь одной из форм жизни, то мое существование продолжалось и дальше, только в другом виде.

Мои похороны были поспешны. Могильщики в холерных балахонах наскоро вырыли могилу. Под пение хора и звон погребального колокола меня вынесли из маленькой старинной церкви, сохранившейся со времен прутского похода Петра.

Я лежал, зашитый в холстину, в просмоленном гробу, окруженный облаками росного ладана, который не мог заглушить запаха карболки. Меня опустили в глубь могилы и засыпали негашеной известью. Народу было мало, но командир прутского полубатальона карантинной стражи, полковник Н., явившийся в парадной форме, с киве-

ром на согнутом локте, стоял рядом с моей вдовой, прижимавшей к носу кружевной платок, пропитанный ароматическим уксусом.

Следом за ней полковник бросил на крышку гроба ком сухой земли с пучком полыни, а затем вытер замшевой перчаткой слезы со своих выпуклых глаз в красных прожилках.

Как все пожилые военные, он был несколько сентиментален.

Свято соблюдая православные обычаи, Марья Ивановна положила на могильный холм самое большое блюдо из нашего саксонского сервиза, который некогда было очень хлопотно везти из Гамбурга в Бессарабию, через потревоженные недавней войной европейские земли.

На саксонском блюде была насыпана горка колева, то есть рисовой каши, засыпанной сахарной пудрой и обложенной разноцветными мармеладками.

Черпая серебряной ложкой с нашей фамильной монограммой, Марья Ивановна стала расчетливо оделять колевом кладбищенских нищих, подставлявших свои потертые бараньи шапки.

Время окончательно потеряло надо мной свою власть. Оно потекло в разные стороны, иногда даже в противоположном направлении, в прошлое из будущего, откуда однажды появился родной внук моего сына Вани, то есть мой собственный правнук, гораздо более старший меня по летам. Едва его ноги зашаркали по сухой полыни скулянского кладбища, по изъеденным маленькими улитками, выветрившимся, почерневшим мраморным или известняковым плитам, ушедшим глубоко в землю, как наше бытие — его и мое — соединилось, и уже трудно было понять, кто я и кто он.

Кто правнук и кто прадед?

Я превратился в него, а он в меня, и оба мы стали некоторым единым существом. Наше общее бытие совершалось по новым, еще не открытым, неведомым законам.

Едва машина сошла с асфальтового шоссе и щебенка защелкала по крыльям и стеклам «Волги», давая понять, что мы едем по грейдеру, и как только за нами поднялось облако белой бессарабской пыли, знакомой мне с детства, и с одной стороны вдоль дороги потянулась желтая, созревшая кукуруза с волосатыми початками, а с другой стороны — пойма пограничной реки Прут, поросшая тростником и лесом, сквозь который тускло блестела вода, как я почувствовал сердечное волнение, будто бы после бесконечно долгого отсутствия увидел знакомые места.

Подобное состояние я уже испытал однажды, когда летел низко над дымящейся землей во время Ясско-Кишиневской операции.

Я сидел на заднем сиденье спиной к спине летчика и, прижав к плечу приклад крупнокалиберного пулемета, всматривался в облачное небо ранней весны, где примерно на уровне нашего хвоста летели неровной цепью аисты-черногузы, возвращавшиеся на родину из Египта.

В случае, если бы в поле моего зрения появился вражеский самолет, я должен был стрелять. Перед собой я видел руль нашего штурмовика и опасался, что, когда придется открыть огонь, я могу в него случайно попасть. Перед вылетом я поделился своими опасениями с пилотом, но он, усмехнувшись, сказал:

— Авось не попадете.

Я был военным корреспондентом.

Разогнав стадо баранов, пасшихся на лугу, мы поднялись в воздух. Мы мчались совсем невысоко над охваченной пожарами местностью, которую, сидя спиной к движению, я мог видеть лишь в те мгновения, когда наш штурмовик делал крутой вираж или резко уходил вверх. Тогда я видел сельские дороги, забитые вражескими обозами, людей, бегущих врассыпную, застрявшие в грязи немецкие тяжелые орудия, брошенные грузовики, рассыпанные снаряды, мешки, ящики.

Когда мы круто развернулись над излучиной Прута, беря курс на Яссы, покрытые шапкой дыма, я посмотрел через левое плечо и на миг как бы повис лицом вниз над Скулянами, над их горящими домами и мельницами.

Особенно мне запомнилась ветряная мельница с охваченными огнем вращающимися крыльями.

Посреди огня и дыма белела старинная церковь, каким-то чудом не тронутая пожаром, и вокруг нее кладбище. Тогда я еще не знал, что моя судьба каким-то образом связана с этим местом в юго-западном углу нашего громадного Отечества. Тогда я еще не знал, что именно здесь, на древнем погосте времен Кантемира, похоронен мой прадед.

Я мало интересовался своей родословной, не придавая ей никакого значения, и лишь на старости лет, когда в мои руки попали некоторые бумаги прадеда и деда, чудом уцелевшие после всех превратностей революций и войн, я сначала без особой охоты стал их разбирать, а потом увлекся.

Среди бумаг наибольший интерес представляли записки моих деда и прадеда. Записки деда в подлиннике и записки прадеда в копии, снятой уже гораздо позже одной из многочисленных дочерей деда, то есть моей теткой.

Наверху листа плотной канцелярской бумаги с водяными знаками четким, так называемым бисерным женским почерком было выведено заглавие:

«Воспоминания капитана Елисея Алексеевича Бачея (1783—1848)».

Дальше значилось:

«Разбирая бумаги покойного отца, мы нашли отдельный портфель, в котором были сложены бумаги и документы деда по отцу Елисея Алексеевича Бачея. Среди этих бумаг оказалась небольшая тетрадка старинной желтой бумаги, на первом листе которой рукой нашего отца написано: «Замечания моего отца о некоторых военных действиях, в которых он сам участвовал».

«С большим трудом читается написанное старинным почерком, но чем дальше, тем интереснее и живее становится рассказ, обрывающийся, к сожалению, на 1813 году. Сведения о дальнейших военных подвигах деда в кампании 1813 и 1814 гг. мы знаем из документов и рассказов покойного отца».

Так как это предисловие датировано 1911 годом, то можно предположить, что в преддверии празднования столетия Отечественной войны двенадцатого года семья покойного

дедушки решила предать гласности участие прадеда в этой великой войне, принесшей такую славу России.

Однако никаких документов на этот счет я больше не обнаружил, а рассказов покойного дедушки о своем отце, герое Двенадцатого года, не слышал, так как он умер, когда мне было едва ли два года.

...приходится довольствоваться тем немногим, что сохранилось в заветном сафьяновом портфеле.

Но прежде чем заняться записками прадеда, чего своевременно не сделал его любимый сын Ваня — мой дедушка,— мне захотелось познакомиться с воспоминаниями самого дедушки, находившимися, по-видимому, в том же самом сафьяновом портфеле и попавшими в мои руки в виде нескольких разрозненных тетрадок, исписанных уже не гусиным пером, а стальным, отчего, впрочем, почерк деда не стал разборчивее, чем почерк прадеда.

Я нашел среди упомянутых тетрадок несколько вырванных страниц, написанных другим почерком, более четким: видимо, незадолго до смерти дедушка диктовал это кому-нибудь из своих дочерей, которых, кстати сказать, было не то восемь, не то девять, а на специально оставленных полях собственноручно делал вставки и примечания карандашом, слабой рукой и очень неразборчиво: я потратил много усилий, чтобы прочитать их, разгадывая некоторые слова и отдельные буквы, имевшие вид непривычных для моего теперешнего глаза очертаний, иногда даже напоминающие скорее нотные значки, чем буквы.

Будучи уже сам очень старым человеком, во всяком случае намного старше своего деда и своего прадеда, я купил увеличительное стекло и читал при его помощи. В стеклянных недрах, при свете довольно сильной настольной электрической лампы, микроскопические насекомые дедовских букв вдруг вырастали до огромных размеров и плыли перед глазами, окруженные пылающим ореолом.

«Родился я 23 мая 1835 г. на берегу реки Прут в Бессарабской области (губернии), в м. Скуляны, на границе с Молдавией, ныне Румынией».

На полях карандашом:

«Отец мой капитан Елисей Алексеевич за ранения вышел в отставку 36 лет от роду, происходил из дворян Полтавской губернии, мать — немка из Гамбурга, с которой отец познакомился по взятии Гамбурга от французов в 1814 году, а в 1818 вышел в отставку».

Стало быть, отец моего прадеда, то есть мой прапра-

дед, происходил из дворян Полтавской губернии и, можно предположить, как об этом гласит семейная легенда, был запорожцем, сечевиком, может быть, даже гетманом. После ликвидации Запорожской Сечи он был записан в полтавские дворяне.

Раненый русский офицер, помещенный для лечения на постой в бюргерскую квартиру занятого города, женится на своей сиделке, молоденькой хорошенькой дочке хозяина,— вещь весьма обычная для того времени. Известно, что нечто подобное случилось во время Отечественной войны 1812 года с поэтом Батюшковым, о чем я в юности сложил стихотворение:

«Любезный друг, я жив, и богу известно, как остался жив, простреленный навылет в ногу и лавры брани заслужив. Перетерпев и боль и голод, походов зной, ночлегов холод, я — в Риге. Рок меня занес в гостеприимные покои, и я в бездейственном покое здесь отдыхаю среди роз. Ах, Гнедич, ежели б ты знал: не в битвах, не в походах счастье. Кто жар любви не испытал, не ведал трепет сладострастья, безумец! — жизни тот не знал. Познавши сих восторгов сладость, я пью из полной чаши радость. Прощай, пришли стихи свои, твой стих душе моей чудесен, ты знаешь — богу нежных песен сродни крылатый бог любви. Прощай. Устал марать. Пиши» — так, изливая жар души, из Риги в Петербург далекий влюбленный Батюшков писал. Текли восторженные строки, и «томный жар» в слезах блистал... Меж тем, не зная, что зима готовит горькую разлуку, «она» смотрела через руку на строчки милого письма».

Из этого можно заключить, что Батюшкову удалось избежать, как тогда привыкли выражаться, «цепей Гименея» и благополучно улизнуть от своей немочки, чего нельзя сказать о моем прадеде.

В письмах одной из моих сентиментальных теток, занимавшейся семейной хроникой, написано:

«...у пастора Крегера была дочь Мария 16 лет, которая, ухаживая за молодым раненым офицером, сильно полюбила его. Молодой человек, в свою очередь, тоже не

был равнодушен к Марии. Молодые люди, не желая расставаться друг с другом, испросив разрешения у родителей Марии и получив от них согласие на брак, отправились на лошадях в далекую, неведомую для молодой женщины Россию, в Бессарабию, где находилось имение ее мужа. Мария перешла в православные и больше ни своей семьи, ни своей родины уже никогда не видела».

Воображение живо нарисовало мне это романтическое свадебное путешествие на почтовых из Гамбурга до Скулян, через города Восточной Европы, потревоженной недавним нашествием наполеоновских армий, ночевки на постоялых дворах и так далее...

Название Скуляны — самая фонетика этого слова — возбудило в моем сознании представление о чем-то некогда хорошо мне знакомом, но забытом, как музыкальная фраза, которую иногда бывает трудно восстановить в памяти. Я готов был поручиться, что никогда не бывал в Скулянах. Тем не менее при самом звуке этого слова возникала неясная романтическая картина, с трудом различимая в тумане прошлого.

Но вот однажды, перечитывая Пушкина, я обратил внимание на заключительную фразу повести «Выстрел»:

«Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов и был убит в сражении под Скулянами».

Так вот оно что!

Что же это было за сражение под Скулянами?

Я стал один за другим перелистывать синие томики Пушкина, его заметки, рассказы, письма.

Вот несколько слов из письма Вяземскому:

«Если летом ты поедешь в Одессу, не завернешь ли по дороге в Кишинев? я познакомлю тебя с героями Скулян и Секу, с подвижниками Иордаки, и с гречанкою, которая целовалась с Байроном».

Нетрудно представить молодого опального поэта, увлеченного романтикой Гетерии, борьбы за освобождение Греции, вдыхающего ветер Свободы, пронесшийся над дунайскими княжествами, над живописными холмами и кодрами Молдавии. Его увлекли характеры инсургентов. Кажется, он сам готов был, подобно Байрону, поднять ору-

жие за свободу, в сущности, чуждой ему Греции — только потому, что в те дни Греция была символом свободы.

Пушкин долго не мог забыть молдавские впечатления. Через десять или двенадцать лет после кишиневского изгнания он написал одну из самых своих зрелых и изящных прозаических вещей, повесть о некоем булгарском разбойнике Кирджали, в которой также упоминаются Скуляны:

«Сражение под Скулянами, кажется, никем не описано во всей его трогательной истине. Вообразите себе семьсот человек арнаутов, албанцев, греков, булгар и всякого сброду, не имеющих понятия о военном искусстве и отступающих в виду пятнадцати тысяч турецкой конницы. Этот отряд прижался к берегу Прута и выставил перед собою две маленькие пушечки, найденные в Яссах на дворе господаря и из которых, бывало, палили во время именинных обедов. Турки рады были бы действовать картечью, но не смели без позволения русского начальства: картечь непременно перелетела бы на наш берег. Начальник карантина (ныне уже покойник), сорок лет служивший в военной службе, отроду не слыхивал свиста пуль, но тут бог привел услышать. Несколько их прожужжали мимо его ушей. Старичок ужасно рассердился и разбранил за то майора Охотского пехотного полка, находившегося при карантине. Майор, не зная, что делать, побежал к реке, за которою гарцевали делибаши, и погрозил им пальцем. Делибаши, увидя это, повернулись и ускакали, а за ними и весь турецкий отряд...»

Будучи правнуком своего прадеда, очевидца этих событий, я с особым удовольствием читал «Кирджали», беря на веру все, что написал Пушкин.

Однако в качестве прадеда своего правнука — то есть меня, что, в сущности, по сравнению с вечностью одно и то же,— я не считал картину, написанную Пушкиным, вполне достоверной: вряд ли картечь могла перелететь через очень широкую пойму Прута и вряд ли начальник карантина мог слышать ее жужжание. Сомневаюсь также, чтобы старичок, сорок лет служивший в армии, отроду не слыхивал свиста пуль,— даже если предположить, что они залетали на наш берег. Время было военное, Россия вела

несколько войн; все ее офицеры были люди обстрелянные. Во всяком случае, мой приятель (тот самый, который присутствовал на моем погребении), командир прутского полубатальона карантинной стражи полковник Н., был боевой офицер, дравшийся с турками, а потом и с войсками Наполеона. Во время достопамятного сражения под Скулянами между греческими повстанцами и турками наш карантинный полубатальон был приведен в боевую готовность. Довольно равнодушно к сражению отнеслись жители Скулян на противоположном берегу Прута, и лишь моя супруга Марья Ивановна, бывшая в это время на сносях, так перепугалась, что спряталась в погреб, где у меня были закопаны в песок заветные бутылки «клико», и едва там не родила нашего второго ребенка, Яшу. Я вывел ее из погреба чуть ли не силой и сделал шутливый выговор: она, видимо, забыла, что пережила осаду Гамбурга, слышала грохот французской артиллерии маршала Даву и при этом все время держала себя молодцом.

В остальном Пушкин был верен истории.

Вот в каком живописном, романтическом уголке России родились все мои пятеро детей, от которых продолжался наш род и в конце концов произошел тот старик, который ходил по скулянскому кладбищу, разыскивая мою могильную плиту, но так до сих пор ее не нашел: видно, она очень глубоко ушла в землю и заросла полынью.

Мой младший сын Ваня впоследствии описал свое детство следующим образом:

«Скуляны состоят из двух частей: старые, где церковь православная и село молдавское; новые Скуляны, где почтовая контора, карантин, таможня, кордон пограничной стражи, главная улица с еврейскими лавками и постоялым двором, а затем дома разного чиновного люда».

«В новых Скулянах, на площади, стоял наш дом с громадным двором, посреди которого были сложены 20 или 30 сажен березовых дров, привозимых из заграничного берега Молдавии. При доме находился большой сад с виноградником и фруктовыми деревьями. Против выходного крыльца, внутри двора был земляной погреб, в котором хранилось все молочное, собираемое с коров. По левую сторону ворот стоял громадный амбар — кладовая, в которой по правую сторону от дверей стояли две сорокаве-

дерные бочки наливки — сливянки и вишневки, а сбоку их — трехведерный бочонок заграничного рома для гостей, а по левую — несколько кадок соленого масла; в стеклянной же посуде — фунта два сливочного масла, которое через два дня пополнялось новым, а старое, если оставалось, солилось и клалось в кадку. Тут же стоял мешок крупитчатой муки; на потолке на балках висели окорока, в ящиках лежали колбасы и солтисоны, разная копченая пища. Стоял ящик с вермишелью, макаронами и разными съедобными продуктами».

«На дворе гуляло до сотни разной птицы: кур, гусей, индюков, уток, цесарок, каплунов, которыми заведовала особая крепостная женщина».

«В конюшне стояли 5 лошадей; во дворе было две кухни; господская с лучшей крепостной кухаркой, которая готовила под наблюдением матери, а другая, тоже с крепостной кухаркой,— людская».

Продолжением кладовой был большой амбар, наполненный хлебом в зерне на продажу. Под амбаром был винный погреб для вина на продажу и домашнего обихода. Вино очень хорошее. Тут же в песке выложены были бутылки с разным иностранным вином, а также с донским...»

Воображаю, какие пиры задавал мой прадед, когда к нему наезжали гости из Кишинева и других мест центральной Бессарабии. Тут уж, конечно, из песка выкапывались и старое бургундское, и токайское, и столетний иоганисбергер, и, уж конечно, в большом количестве донское, цимлянское с засмоленными пробками, крепко перевязанными тонким шпагатом, который прадедушка собственноручно надрезал ножичком, после чего пробки вылетали со звуком пистолетного выстрела, и прабабушка затыкала уши мизинцами, восклицая свое неизменное «о майн гот!».

Вполне возможно и даже очень вероятно, что на прадедушкиных обедах бывал и молодой Пушкин, привезенный кем-нибудь из своих друзей, кишиневских чиновников, в пограничные Скуляны для того, чтобы своими глазами увидеть места, где герои Гетерии переходили Прут для того, чтобы сразиться за свободу Греции с ненавистными турками. А быть может, за хлебосольным прадедушкиным столом сидел и сам Александр Ипсиланти — быв-

ший генерал русской службы, потерявший руку при взятии Дрездена в 1813 году, где, кстати сказать, дрался рядом с ним и прадедушка.

...и грибки шампанских пробок летели в потолок...

Можно предположить, что герой Гетерии Александр Ипсиланти и мой прадедушка, несмотря на разницу в чинах, все же могли быть друзьями. Им было что вспомнить за бутылкой донского, а вероятнее всего, за бутылкой вдовы Клико, зарытой особенно глубоко в заветном уголке винного погреба.

...Вижу молодого человека в коротком сюртучке, голубоглазого, смуглолицего, курчавого — Пушкина,— целующего ручку моей прабабушки, царившей за парадным столом в своем праздничном чепце с хорошо разглаженными атласными лентами.

Но это все, конечно, лишь плод моего воображения.

«Во дворе,— писал далее дедушка,— был особенный запасной флигель. Рядом с ним экипажный сарай с дрожками, коляской, бричкой и двумя санями: большими и малыми. В сарае при входе стояла домашней работы деревянная ступа, где толкли пшено. Подле угла того сарая был еще другой сарай, для дров. Под ним ледник, где летом хранился бочонок с пивом, приготовляемым матерью по-немецки. Позади ледника — скотный двор. Возле сада был особый «саж», где откармливались свиньи для зареза».

«На горище (то есть на чердаке) нашего дома висели на толстых бечевах виноградные кисти и разные фрукты, собираемые в саду и хранимые на зиму. Под ними разостланы были большие рядна, на которые падали некоторые фрукты — так называемая падалица. Ключ от горища всегда висел среди прочих ключей на поясе матери».

«Утром каждый день мать с крепостной горничной, а если ей было некогда, то посылала меня или сестру Лизу собирать в особую посуду упавшие фрукты, которые затем поступали в пользу крепостных».

«На горе,— было приписано на полях карандашом рукой дедушки,— от дома с правой стороны стояла большая мельница, куда по приказанию отца водили меня, приучая к опасности».

Вероятно, мой дедушка, маленький Ваня, впервые приведенный на мельницу, испытал такой ужас, что через много-много лет и таинственным путем этот ужас передался по наследству мне, его внуку.

Долго преследовал меня страх ветряной мельницы.

Не могу не привести несколько строк из «Капитанской дочки», которую как раз в это время перечитывал:

«Читатель извинит меня: ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможное презрение к предрассудкам. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония».

Мне очень свойственно находиться в таком состоянии, как бы в миг засыпания, между бодрствованием и сном, что так чудесно назвал Пушкин «первосонием». Впрочем, я бы предпочел назвать его междусонием.

...между жизнью и смертью...

Я всегда испытывал ужас при виде огромных мельничных крыльев, проносящихся в опасной близости над моей головой, как бы желая меня обезглавить, при их зловещем скрипе, их движении силой степного ветра.

Еще больший ужас испытывал я, когда мне в детстве случалось, поднявшись по шаткой лесенке, войти внутрь работающей мельницы, где в сухом сумраке вокруг меня трясся привод, связанный из грубых деревянных брусьев, крутящийся столб со странным, зернистым гулом вращал жернова, из-под которых лился белый ручеек пшеничной муки.

«Мысли гигантов... Мысли гениев», как сказал о работе мельничных жерновов один великий черт.

Хлебная пыль стояла в воздухе и першила в горле. Люди с белыми мешками на спинах, осыпанные с головы до ног мукой, двигались мимо меня как привидения.

Не менее страшной казалась мельница ночью, посреди безлюдной степи, когда ее крылья неподвижно чернели на фоне звездного неба.

Тогда черная коробка мельницы, лишенная души, представлялась мне непомерно огромной, занимающей полнеба, а я рядом с ней — таким маленьким!

Однажды, будучи юношей, шел я глухой ночью через степь между двумя лиманами — Куяльницким и Хаджибеевским, засидевшись в гостях на Куяльницком лимане. Все уже ушли спать, а мы с «ней» одни продолжали сидеть на террасе, облитые теплым светом полуночной июльской луны, и никакая сила в мире не могла заставить меня встать с плетеного кресла, хотя девушка уже несколько раз зевнула, крестя свой маленький кошачий ротик. Наконец я заставил себя встать. Она пошла в комнаты и вернулась с небольшим дорожным пистолетом прошлого века. Наверное, из такого пистолета Дубровский застрелил медведя. Девушка попросила, чтобы я взял его на всякий случай: мало ли что могло случиться со мной ночью в глухой степи. Я сунул холодный пистолет под свою летнюю коломянковую гимназическую куртку на грудь и пошел восвояси.

Уже перешло за полночь. На горизонте сгущалась предутренняя чернота.

...Я был опьянен любовью...

Глухая ночь, далекий лай собак, весь небосклон пропитан лунным светом, и в серебре небес заброшенный ветряк стоит зловещим силуэтом. Беззвучно тень моя по лопухам скользит и как разбойник гонится за мною. Вокруг сверчков хрустальный хор звенит, и жнивье ярко светится росою. В душе растет немая скорбь и жуть. В лучах луны вся степь белее снега. До боли страшно мне. О, если б как-нибудь скорей добраться до ночлега.

Мне показалось, что я слышу за собой чьи-то недобрые шаги. Я выпул пистолет. Синий огонек луны скользнул по его никелированному стволу с ложбинкой.

Через несколько дней началась война 1914 года.

«За мельницей,— писал дедушка слабеющей рукой карандашом на полях своих мемуаров,— в пяти верстах были пять садов виноградных и фруктовых, названных по числу детей: Сашин сад, Яшин сад, Анастасьин сад, Лизин сад и Вапин сад (то есть мой сад!)».

«В моем саду было озеро с проточной водой, куда запускали карасей, окуней и раков для домашнего употреб-

ления, а в саду Анастасии — винодельный завод. Он выделывал вино со всех садов».

«Один случай засел у меня в голове... Проезжая в бричке по моему саду...»

На этом месте запись карандашом обрывается. Доходя до этого места, я всегда начинаю гадать: какой же случай произошел с дедушкой в его саду?

Так как я уже не мог никогда узнать этого, то на всю жизнь у меня осталось ощущение чего-то таинственного. Всякий раз, как мне приходилось войти под сень фруктового сада или в гущу виноградника с вырезными листьями, покрытыми бирюзовыми пятнами купороса, я испытывал и до сих пор испытываю это странное ощущение.

«Готовили у нас два раза: обед и ужин, все заново. Обедали потом под деревьями возле дома, а зимой в комнате».

«Когда отец бывал у себя в кабинете, то ему посылали доложить, что кушанье готово. Мать, сестра и я стояли возле своих приборов за стульями и ожидали отца. При входе своем он крестился на образ, окинув предварительно своим взглядом, все ли в порядке, после чего садился, что обозначало, что нам тоже можно садиться».

«Никто прежде него не смел открыть рта».

«С матерью он говорил по-немецки, а с сестрой и мною по-русски, причем ответы наши должны были быть краткие и ясные, без рассуждений».

«По праздникам он разрешал давать к столу полбутылки шампанского или донского...»

Представляю себе, с каким нетерпением мой дедушка — тогдашний мальчик Ваня — и его сестренка Настя дожидались праздничного обеда, заранее чувствуя на языке морозные иголочки шампанского. Они испытывали то же самое, что впоследствии, лет этак через сто с лишним, испытал однажды и я в парижской Гранд-опера в антракте оперы Дебюсси «Страдания святого Себастиана», когда, пройдя в новых, скользких ботинках через громадное холодное фойе бельэтажа по хорошо натертому, но старому и скрипучему паркету, я попал в буфет, где продавщица в наколке налила мне в плоский бокал немного замороженного шампанского из златогорлой бутылки, и я отошел к громадному высокому окну с закругленным верхом, за которым сиял ночной Париж со множеством свер-

кающих витрин на авеню Гранд-опера и фонарей в стиле XIX века, изливающих современный свет середины XX века всех оттенков голубого, зеленого, лилового, смешанных вместе, и сделал расчетливо маленький, божественно скупой глоток «клико», от которого по моему языку побежали иголочки, в горле защипало, а лиловые фонари площади, наполненной толпой, как бы потекли в моих глазах, меняя тона, и голова закружилась, повторяя движение бегущих вокруг площади автомобилей.

Ах, прадедушка, прадедушка, что ты натворил, разрешая моему дедушке глоток шампанского в праздник...

«Когда мне минуло семь лет, я был отдан к местному дьячку для обучения грамоте. Это продолжалось один год. Затем я вместе с другими детьми благородных семейств поступил к особому молодому учителю. Обучение шло довольно успешно...»

«Не могу не вспомнить: отец был строг, но очень меня любил, приучая меня ко всяким опасностям, например к езде верхом без седла, приказывая кучеру Остапу сажать меня на коня и отпускать. Ездил я далеко за местечко на превосходном коне Овсяннике...»

«...чудный конь, смирный, при нешибкой езде ходил иноходью, что было очень удобно для маленького мальчика».

Как увидит читатель в дальнейшем — если у него хватит терпения дочитать эту книгу,— будучи уже на военной службе во время кавказской кампании, дедушка много внимания обращал на лошадей и много ими занимался среди забот и опасностей походной жизни.

«Зимой при страшной вьюге и метели отец, выходя из кабинета в сени, бывало, крикнет:

— Ваня!

И я моментально, застегнув курточку, в шапке, вылетал в сени. Мать шла за мной».

«Вопрос:

— Здоров ли ты?

Я отвечал:

— Здоров, папочка.

Отворяя дверь во двор и повелительно указывая пальцем, отец командовал своим офицерским голосом:

— Марш!

В одну минуту я бросался в кучу снега и начинал барахтаться».

«Мать моя, стоя в ледяных сенях и подняв сложенные руки, со слезами на глазах восклицала:

— Майн гот! О майн гот! Майн либер зон!

— Ничего,— отвечал отец,— коли выдержит, будет здоров, а не выдержит — похороним. На кладбище много места».

«Затем он командовал:

— Довольно!

...и я вскакивал и становился перед ним как солдатик по команде смирно».

«Вопрос:

— Здоров?

И я отвечал:

— Здоров, папочка!

Хлопая меня по плечу, он говорил:

— Молодец!

И, обращаясь к матери, говорил:

— Бери его. Переодень в сухое».

«Мать хватала меня на руки и уносила в свою душистую комнату, начав переодевать. Прыгая на одной ножке со снятым мокрым чулком, я, бывало, кричал с восторгом:

— Папа сказал мне: молодец!

Мать только отвечала мне: «Гут, гут» — и торопилась натянуть на мои ноги сухие шерстяные чулки домашней работы».

«Радость от похвалы отца была настолько сильна, что я готов был броситься в огонь, если бы он приказал».

«Через два года после поступления к учителю отправили меня в Одессу к моим братьям, которые, окончив Ришельевский лицей, служили в этом городе: старший брат, Александр, в коммерческом суде, а младший, Яков, в государственном банке. У них была квартира из двух комнат — одна была общею нашей спальней, а другая гостиной, где я занимался...»

Здесь рукопись обрывается, а на полях рукой деда карандашом написано:

«В 1844 году после Пасхи мой зять Ковалев, наняв возчика — повозку с будкой,— повез меня учиться в Одессу».

«Первый день поездки был довольно скучен и однообразен. Ровная местность, гладкая степь, не на чем отдохнуть глазу».

«На другой день пейзаж стал более разнообразен, начались горы, деревни, и наконец пошел дождь, ввиду которого мы раньше окончили дневную поездку, остановясь ночевать в одной болгарской деревне. Нам была отведена очень чистая комната. Хозяин дома, занятый выжиманием вина в особо устроенном сарае, производил его довольно чисто».

«Переночевав, мы выехали. День был чудный. Мокрая зелень блестела на солнце. Освеженный ароматный воздух заставлял забывать неудобства нашего путешествия».

«На третий день мы въехали в Кишинев и остановились на постоялом дворе. Оттуда пошли отыскивать поручика Модлинского полка Войтова. Мы застали его в офицерском собрании, где была масса его товарищей — все люди почтенного возраста; между ними ни одного молодого, как мы привыкли видеть в армии теперь».

Я думаю, это были ветераны войны Двенадцатого года.

«Поговорив о том о сем, мы простились и ушли домой. На следующий день после обеда на постоялом дворе выехали. Вечером другого дня остановились в Тирасполе, где ночевали, тоже на постоялом дворе».

«Наутро опять были в дороге...»

«Проезжая мимо Бендер, мы мельком увидели крепость — не грозную твердыню, где в начале XVIII века искал последней опоры разбитый Петром под Полтавой шведский король Карл XII и предатель России, кровавый старик Мазепа, а мирный уголок, где помещался военный госпиталь и склады с разным имуществом».

«Через некоторое время наше путешествие окончилось. В Одессе мы остановились на постоялом дворе в доме Томазини, теперь Бернштейна, на углу Полицейской улицы и Александровского проспекта. Дом этот существует и теперь в том же виде, но третий этаж надстроен. Закусивши, мы пошли в банк к брату Якову...»

Тут карандашные пометки на полях кончаются, и рукопись обрывается несколькими пустыми пожелтевшими страничками.

...Вижу девятилетнего мальчика в курточке, Ваню, моего дедушку, которого везут из Скулян в Одессу поступать в гимназию.

Ваня впервые расстается с отчим домом, с матерью и отцом в армейском капитанском мундире, которые стоят на крыльце, глядя на дорожную повозку с будкой — так называемой халабудой,— увозящую в клубах холодной утренней пыли их младшего сына в новую жизнь.

Мать утирает щеки платком, отец хмурится, бодрится, старается выглядеть молодцом, опирается на палку.

Больше Ваня уже никогда его не увидит.

Что может сравниться с чувством первого расставания с родным домом, с местами, знакомыми с самого раннего детства? Кто знает, быть может, Ваня уже никогда в жизни не проедет по той скучной, плоской равнине вдоль пограничной реки Прут, которая в его детском воображении превращалась в романтическую местность, полную красот и загадок. Сердце его сжимается от недобрых предчувствий, свойственных человеку, впервые покидающему семью. Чаще всего эти дурные предчувствия оказываются ложными. Но кто знает, что будет впереди!

Впрочем, эти черные мысли быстро проходят. Внимание то и дело отвлекается. Маленький Ваня видит вокруг себя незнакомую страну, живописную область Российской империи между двумя реками — Прутом и Днестром. С каждой верстой местность становится все красивее. Невысокие горы, скорее холмы, дальние отроги Карпат, долины, возвышенности, как бы переливающиеся одна в другую, кое-где грабовые и дубовые рощи — по-молдавски «кодры»,— уже покрытые первой зеленью, пасхальное небо с легкими облачками, яркое, но не резкое солнце, аисты-черногузы на камышовых и соломенных крышах чистеньких, даже нарядных молдаванских деревень, мазанки со столбиками навесов — голубые, лиловые, розовые... Первая пыль над дорогой... Первая бабочка... Начинающие зеленеть ореховые деревья.

Иногда на горизонте появляются старинные турецкие крепости — свидетели русской военной славы, свидетели побед и поражений. Тени Петра, Карла XII, Кантемира, турецких полководцев, шведских солдат, Суворова, Потемкина.

Маленький Ваня ехал по полям, где еще до сих пор в земле находили чугунные ядра, заржавленные штыки-багинеты. Вокруг мальчика простирался театр бывших войн... Но, может быть, не только бывших, но и будущих, кто знает? Это бросало тревожную тень на окрестности. Ванино воображение было не в силах проникнуть в будущее. Будущее не просматривается сквозь голубой зеркальный воздух ранней весны, но тень будущего как бы плывет вдоль волнистого горизонта.

Тенистый, весь в зелени, маленький провинциальный Кишинев с одноэтажными городскими домиками, в одном из которых совсем еще недавно жил ссыльный Пушкин... Гарнизонное собрание, где Ваню поразило, что почти все офицеры — люди пожилые, даже старые, как и его отец, ветераны достославного Двенадцатого года, как бы овеянные славой Бородина, Смоленска, Дрездена...

...А там дальше вдруг — резкая полоса ни разу в жизни еще не виданного моря, того самого Черного моря, которое в энциклопедических словарях часто называлось заливом Средиземного...

...И наконец въезд в Одессу, в богатый, шумный, каменный город порто-франко.

Но что такое порто-франко? Не каждый знает.

Вот что об этом пишет одесский летописец Де-Рибас, потомок того самого Де-Рибаса, одного из основателей города в том виде, в каком он существует и ныне:

«Летом 1817 года стали направлять в сторону Куяльницкого лимана большие партии арестантов и вольнонаемных рабочих для прорытия канавы вокруг Одессы от Куяльника до Сухого лимана на протяжении 24-х верст. Канава эта должна была служить чертою, внутри которой все привозимые морем иностранные товары могли быть продаваемы без взимания за них таможенных пошлин. При вывозе этих товаров за черту города для направления внутрь России или транспорта за границу они оплачивались обычным порядком, для чего были устроены особые таможенные заставы (Херсонская и Тираспольская). Множество иностранных судов стояло на рейде, зная о предстоявшем введении в Одессе нового таможенного порядка. Они ожидали сигнала, чтобы поскорее причалить к пристани и выгрузить беспошлинный товар. Наконец раздался этот сигнал — пушечный выстрел...»

«Вся жизнь в Одессе преобразилась, все стало в ней дешево, и самые малоимущие слои населения могли себе позволить роскошь пользоваться заграничными произведениями...»

Вот что такое было порто-франко. Одесса стала чем-то вроде вольного города, и эта райская жизнь продолжалась до 1857 года.

Стало быть, дедушка приехал в Одессу времен порто-франко, и его поразила кипучая жизнь этого богатого европейского портового города, по сравнению с которым Кишинев, не говоря уж о родных Скулянах, казался захолустьем. В особенности поразил дедушку одесский порт с волнорезом и сияюще-белым Воронцовским маяком в форме удлиненного колокола, вокруг которого летали тучи чаек. В порту стояло множество торговых заграничных судов, анатолийских фелюг, бригантин, дубков, легкокрылых яхт, среди которых иногда виднелись черные трубы колесных пароходов, покрывавших вокруг себя воду сажей. Грузчики тащили на спинах тюки товаров и сваливали их в пакгаузы. Иные из грузчиков были полуголые, в турецких фесках. В толпе расхаживали иностранные матросы, шкипера с трубками в зубах.

Иногда к пристани подкатывал блестящий экипаж с каким-нибудь местным негоциантом-итальянцем или греком. Все вокруг кипело портовой жизнью.

А в открытом море, среди сине-зеленых волн с барашками пены, шло — при свежем крепком ветре — несколько военных фрегатов Черноморского флота под всеми своими многоярусными надутыми парусами, с треугольниками кливеров над бушпритами, с андреевскими флагами — косой голубой крест на белом фоне,— с медными пушками, виднеющимися в глубине квадратных люков, называемых портами. И чудная эта картина со всеми своими подробностями показалась мальчику как бы символом славы и могущества России. Слезы восторга навернулись на его голубые глаза.

А когда через несколько лет началась война на Кавказе, восемнадцатилетний юноша, как об этом впоследствии написала сестра моей покойной мамы, тетя Наташа, в своей «Хронике семьи Бачей», немедленно отправился добровольцем, или, как тогда говорили, охотником, на поле брани. Там он, «не считаясь с опасностью для

жизни, с юношеским пылом бросался в самые опасные места боя».

Первые годы военной службы дедушки мне неизвестны, так как тетрадь с их описанием утрачена. Но сохранилось несколько других тетрадей, из которых одна, по-видимому вторая, начинается прямо со средины фразы:

«...командир полка ввиду невозможности доставать продовольствие разрешил получать нам из рот на приварочные деньги (3 копейки в сутки) сухари и пищу, если таковая готовилась. Это нам много помогло, по крайней мере не чувствовалось голода».

По-видимому, это писалось дедушкой уже в старости, в виде мемуаров, которые были так распространены среди отставных генералов, считавших долгом оставить потомкам описание своей военной службы.

Рука у него была еще довольно твердая, чернила не слишком выцвели, и писались мемуары уже не гусиным пером, а стальным, отчетливо.

Все ж мне стоило большого труда разобрать не всегда понятные завитушки, свойственные особенностям его полустаринного почерка. Он, например, писал букву «с» в виде громадной скобки, уходящей глубоко вниз строки, так что я долго не мог привыкнуть к тому, что этот странный знак есть не что иное, как обыкновенная буква «с». Букву «ж» он писал так же точно, как свое загадочное громадное «с», но только с каким-то узелком посередине, так что часто поначалу мне приходилось гадать, какая это буква: «с» или «ж»?

Букву «л» он писал в виде геометрического обозначения угла, или уменьшенного латинского «л».

Удивительно, что я тоже одно время вдруг стал писать эту букву таким же манером: вероятно, во мне начали проявляться дедовские гены, так же точно как некогда, в свою очередь, они перешли к дедушке от прадедушки, в особенности в начертании буквы «Б», стоявшей в начале их фамилии. В этом я убедился, когда получил из молдавского архивного управления фотокопию подписи моего прадедушки на какой-то официальной бумаге того времени, обнаруженной в архиве Скулян: подпись с росчерком. Кроме трудных букв «с», «ж» и «л», в почерке дедушки была еще одна особенность, свойственная также и почерку его отца: часто последние буквы какого-нибудь

слова делались мал мала меньше, совсем крошечные, почти микроскопические. Для того чтобы их прочесть, приходилось прибегать к увеличительному стеклу.

Вся рукопись деда представляется мне теперь как ряд сильно увеличенных, почти огромных прописей, бегущих перед моими глазами как странные призраки букв-великанов.

Волшебная сила увеличительного стекла как бы возвращала их ко мне из непомерно далекого прошлого, принося с собой яркие картины этого прошлого: скалистые горы, сакли, каменистые дороги, горные реки, ущербную луну...

«Денщики всегда пользовались этим и для пропитания себя...»

Значит, дедушка в это время уже имел денщика, то есть был офицером.

Сначала доброволец, охотник, потом совсем молоденький офицер, подпоручик, некогда и я повторил в юности начало дедушкиной, да и прадедушкиной военной карьеры с той лишь разницей, что прадедушка дослужился до капитана, дедушка вышел по старости лет в отставку в чине генерал-майора, а меня застала революция прапорщиком, представленным к производству в подпоручики.

«Утром встав, оглядевшись, проверили людей, некоторых татар не оказалось, вероятно, во время движения они тихонько отстали, но особого вреда нам не сделали... Наскоро пообедали кашицей с салом и пошли в поход на Цхенис-Цхали, куда должен был прийти и отряд из Мингрелии. Там мы остановились, чтобы защищать дорогу к Кутаису, где собрались все к 21 ноября 1855 года».

(Не уверен, что все названия населенных пунктов и фамилии прочитаны мною правильно, особенно на первых страницах записок, так как бумага почти сплошь покрыта ржавыми крапинками, как кукушкино яйцо.)

На правах внука, продолжателя рода, считаю возможным кое-где исправлять стиль дедовых записок, сохраняя все их простодушие, свойственное девятнадцатилетнему субалтерну, прямо с гимназической скамьи попавшему на Кавказ, называвшийся в песнях того времени «гибельный», в армию, ведущую затяжную войну то с горцами, то с турками, послужившую темой для Лермонтова, Пуш-

кина, а потом и Льва Толстого, который примерно в одно время с дедушкой воевал на Кавказе, а потом в осажденном Севастополе.

«Мы, субалтерны роты поручика Равича, подпоручики Беляев и я, заняли одну саклю, где также поместили двух наших верховых коней и денщиков. Посередине сакли развели костер, на котором денщик ротного командира готовил общий обед и чай».

«Спали мы на земляном полу, на соломе, не раздеваясь. Лошади в ногах наших жевали гогий — нечто вроде нашего проса».

«Дня через два была тревога:

— Турки идут!

По тревоге все части с артиллерией и казаками выступили в боевом порядке к реке, вблизи которой на версту расстилалась ровная поляна».

«По разведке всегда оказывалось одно и то же: милиционеры видели за рекою движение турок, поднимали тревогу, после которой турки отступали. И мы возвращались обратно на свои квартиры, где нас ожидали денщики».

«Так было и теперь».

«Проделав хороший моцион, мы с аппетитом обедали, затем начинались шутки, рассказы — словом, все шло своим чередом».

«Подобные ложные тревоги служили некоторым развлечением в нашей обыденной, но тревожной жизни».

«В особенности тревожно было на Рождестве. Пришел Новый год, и мы ждали наступления на нас турок, но они, хотя иногда и появлялись за рекой, но, видя, что мы бодрствуем и готовы к бою, после нескольких пустячных выстрелов опять уходили, давая нам повод полагать, что турки не очень-то хотят боя. Видимо, война кончалась».

Далее дедушка в протокольном стиле повествует о том, как он в одно из спокойных воскресений ходил в местечко на базар, где пил «горячую воду, варенную с медом», закусывая чуреками — «лепешками из толченой гогии»,— а также вместе со своими товарищами младшими офицерами разглядывал толпу имеретинов, приехавших на базар для продажи лошадей местной горской породы.

Среди однообразия бивачной жизни дедушка описал два случая, поразивших его своей дикостью:

«Во время стоянки в Хоши однажды в воскресенье по многолюдному базару проезжал верхом старший полковой священник отец Михаил Мищенко, очень серьезный, пожилой человек, умный и богатый. Навстречу ему попался другой полковой священник, младший, отец Семен Судковский, молодой человек, неизвестно как попавший в духовное звание. Его жизненная дорога была дорогой так называемого у нас «кутилы-мученика». Карты и вино — вот все, что он любил в жизни».

«Поравнявшись с отцом Мищенко, отец Судковский преувеличенно, шутовски-лихо откозырял, но отец Мищенко, видя, что Судковский навеселе, ограничился сухим поклоном и, не останавливаясь, стал продолжать свой путь. Тогда Судковский, вдруг повернувшись назад, ударил лошадь отца Мищенко плеткой и крикнул на нее. Лошадь подскочила. Мищенко, весь бледный, схватился за гриву, но лошадь все несет да несет, потому что Судковский продолжал кричать, скакать рядом и бил ее изо всех сил плетью».

«Весь базар сбежался и гогочет, смотря на такую потеху».

«Проскакав таким образом с версту, Судковский остановился и, смеясь, крикнул:

— А что, отец Мищенко, хорошо ли вашей ж...?»

«Проскакав еще версту, лошадь Мищенко была остановлена солдатами».

«Случай этот не прошел Судковскому благополучно: по поданному отцом Мищенко рапорту Судковский был переведен в Севастопольский полк, но история этого происшествия долго была в памяти нашего полка».

Можно себе представить, какой вид имел отец Мищенко во время своей вынужденной скачки: пожилой священник в порыжелой походной рясе, в стальных очках, с косичкой серо-серебряных волос, выбившейся из-под касторовой шляпы, с наперсным крестом на черно-красной владимирской ленте, коими награждали армейских священников вместо боевых орденов, подпрыгивающий на несущейся карьером взбесившейся лошади, уронив поводья и болтая ногами в сапогах с рыжими голенищами.

Другой случай, описанный дедом, окончился более трагически:

«Командир 10-й роты поручик Бахметьев, богатый помещик Казанской губернии, любящий покутить, устроил на масленицу в местечке кутеж, по окончании которого, севши верхом на своего горячего коня-аджарца, понесся домой в лагерь, беспрерывно хлестая коня плетью. Конь, закусив удила, летел, как стрела из лука. На пути стояло дерево, старая чинара, ветви которой повисли над дорогой. Бахметьев спьяну не разглядел его. Удар со всего лету был роковой. С размозженной головой Бахметьев упал замертво. Коня поймали и привели. Брат покойного подпоручик Бахметьев устроил аукцион имущества брата, и конь этот — серый, длинный, высокий, с лебединою шеей — достался мне».

«Я рад был покупке, сам с денщиком ухаживал за ним. Конь страдал мокрецами, которые завелись по случаю февральских дождей, разведших сырость и мокроту: таков кавказский климат!»

«Все вдруг стали говорить, что перемирие заключено, хотя никаких положительных сведений не имелось».

«Именно в это время наш новый батальонный командир майор Войткевич почему-то вздумал производить учения — ружейные приемы,— на которые выводились все четыре роты, но без офицеров, кроме меня. Только один Войткевич да я присутствовали».

«Батальон становился покоем (то есть в виде буквы «п»), я командовал, а Войткевич смотрел придирчиво, педантично поправлял, по десять раз заставлял делать каждый прием. Он принадлежал к числу тех недоброжелательных, вечно чем-то обиженных, злых, жестоких офицеров-службистов, которых во множестве породила кавказская война».

«Мои товарищи по батальону, офицеры, подшучивали надо мной, что я попал в милость к Войткевичу, хотя, по совести говоря, я этого совсем не искал. Почему выбор Войткевича пал на меня, не знаю. Вероятно, это была одна из его причуд, так как ко всему прочему он был еще и самодур».

«Впрочем, должен сознаться, мне эти ежедневные

упражнения даже нравились: видимо, во мне билась военная жилка, унаследованная мною от покойного отца».

«Кроме того, учения эти как бы сокращали время, и оно тянулось не так мучительно».

Видимо, у дедушки наступил тот момент душевного разочарования в своей службе, который время от времени наступает у военных, в особенности во время затяжной кампании, что, между прочим, не раз испытывал и я на позициях под Сморгонью во время первой мировой войны. Тогда мне под любым предлогом хотелось уйти с батареи и погулять одному среди густых хвойных лесов, постоять на перекрестке дорог, где находилось деревянное распятие с маленькой фигуркой Христа, а также с молотком и клещами, привешенными к перекладинам креста,— тем самым молотком, которым забивали гвозди в руки и ноги распятого, и теми самыми клещами, которыми потом вытаскивали эти гвозди.

Такие придорожные распятия были обычны для тех мест.

Там я задумчиво стоял, проклиная тот час, когда решил отправиться на фронт и принял присягу и теперь был уже навсегда связан с ужасной военной жизнью, и в одиночестве глотал слезы, вспоминая все свои любовные приключения в тылу, и сочинял сентиментальные стишки, посвященные разным девушкам — подругам моей свободной и легкой юности, счастливой жизни в тылу, где мне не угрожала ежеминутная возможность смерти.

«Слякоть еще была, но холода уже не было. Такова здешняя весна. Пасха прошла незаметно. 20 апреля 1856 года получили наконец извещение о заключении мира. На другой день пришли к церкви, выстроились, отслужили молебен, промаршировали и стали на свои позиции. Утром разрядили ружья, почистили их и заговорили о том, что будет с нами дальше. Многие офицеры, особенно помещики, подали в отставку».

Но куда было деваться двадцатилетнему подпоручику, почти мальчику, одному из наследников бессарабского имения, которое мать, потерявшая недавно мужа, продала за гроши и переехала в Одессу, где жила на положении бедной капитанской вдовы на иждивении своего старшего сына Александра.

Дедушке оставалось одно: служба в армии. И он покорился своей судьбе, тем более что и покойный отец его, и дед — неведомый нам Алексей Бачей,— и отец этого неведомого Алексея Бачея — прапрапрадед, по преданию один из запорожских старшин,— все они были военные.

Стал пожизненным военным и молодой кавказский офицер, мой дедушка Иван Елисеевич Бачей, вот уже третий год тянувший, подобно Льву Толстому, кавказскую походную лямку.

«Через неделю получили приказ выступать в Кутаис. Собрались, пошли и через два дня были уже в знакомом городе. Жизнь в нем после долгого застоя кипела. Но, увы, мне не пришлось воспользоваться радостями мирной жизни в удобной городской обстановке. Простояв в Кутаисе два дня, мы получили приказание идти за город, верст двадцать влево, рубить лес и прокладывать дорогу».

«Так после жестокой войны мы были обращены в военнорабочих».

«Что ж делать, мы люди подчиненные, исполняем что приказывают — без прекословия: на то служба».

«Пришли, стали в лесу в палатках, получили от инженеров топоры и пошли крошить!»

«Скучно, грустно, но, проведши целый день на работах, возвращаешься к вечеру сильно уставший, пьешь чай, ужинаешь и засыпаешь».

«Через месяц прорубили дорогу и получили приказание идти за тем же еще несколько назад. Прошли обыкновенным шагом еще верст тридцать и, остановившись под какой-то горой, снова стали рубить лес».

«Помню один ужасный случай во время рубки леса — еще на старом месте. Люди стали сильно болеть. Унтерофицер 6-й роты Гольберг из учебного полка, бывший еврей, а тогда уже православный, выкрест, лежал в сильном пароксизме лихорадки и не вышел на работу, о чем фельдфебель доложил по команде ротному, так что все было по уставу».

«Командир батальона майор Войткевич, проверяя людей, узнал, что Гольберг отсутствует. Поднялся крик, шум. Войткевич тут же приказал привести Гольберга. Его привели больного, едва державшегося на ногах, в жару, в лихорадке, с желтым малярийным лицом и дрожащими ногами.

— Почему не пошел на работу? — крикнул Войткевич.
— Крепко болен,— сказал Гольберг».

«Войткевич прикусил свой рыжеватый, как бы постоянно мокрый ус. Его щека задергалась, глаза сузились. Он размахнулся и несколько раз ударил Гольберга по лицу. Гольберг свалился на землю. Тогда Войткевич стал бить его каблуками по чем попало: по лицу, по груди, по темени. Гольберг сначала кричал, а потом перестал, затих, несмотря на сыпавшиеся удары».

«Уставши бить, Войткевич снял свою боевую смятую фуражку, вытер со лба пот носовым платком, который извлек из заднего кармана походного сюртука, поправил съехавшую за спину кавказскую шапку, отделанную серебром с чернью, отвернулся и приказал убрать Гольберга».

«Гольберга подняли уже мертвым, отнесли в лазарет, где приняли и показали в бумагах умершим от дизентерии».

«Так погиб человек неизвестно за что,— пишет дедушка и прибавляет свою характеристику Гольберга: — Хороший был служака».

Больше у дедушки не нашлось никаких слов. Да и что он мог сказать, обмерший от ужаса, скованный жесточайшей дисциплиной, лишенный права выражать свои чувства и мысли, на всю жизнь морально прикованный к слепо движущейся машине старорежимной николаевской, а потом александровской армии? С юных лет превратившись в нерассуждающего солдата, дедушка даже на старости лет, будучи уже генерал-майором в отставке и пиша на свободе свои мемуары, все-таки избегал по мере возможности высказывать свои мысли и чувства, делать характеристики сослуживцев, предпочитая ограничиваться лишь протокольным изложением фактов и упоминанием фамилий и чинов.

«...прибыл к нам новый батальонный командир, произведенный из капитанов Белостокского полка, майор Войткевич Франц Игнатьевич, поляк, женатый в Одессе».

Дедушка не объясняет, тот ли это Войткевич, который убил Гольберга, или другой, однофамилец. Все же, я думаю, тот.

А между тем есть основание полагать, что слава Войткевича как офицера-зверя была уже широко распространена в армии, так что следовало бы уточнить, о каком Войткевиче идет речь.

Впрочем, Войткевич не представлял исключения, он являлся довольно распространенным типом той эпохи: жестокого по отношению к нижним чинам и грязного интригана по отношению к своим товарищам офицерам, карьериста и хапуги...

«Прекратив рубку леса, пошли мы далее, остановившись на позиции в пятидесяти верстах от г. Сурама. Разбили палатки для стоянки».

«...снова у меня появилась лихорадка: во время пароксизма лежу на бурке и мечусь часа два, иногда три. Потом кое-как поднимусь на ноги, пойду, пошатываясь, и сяду впереди палатки. Сижу, смотрю на прекрасную, но чуждую моему сердцу природу».

«Промучившись неделю, наконец поправился. Вероятно, сухая, открытая местность нашего лагеря помогла мне перенести приступ малярии, этого бича кавказской жизни».

«Через неделю пошли далее по направлению к Сураму. Я ехал на своем коне Дагобере, имея вещи в переметных сумах; кастрюли нес на себе денщик. Опять пошли дожди. Душная сырость Кавказа вызвала вновь у меня лихорадку. До того дошла слабость, что еду и качаюсь в седле между своих переметных сум. Придя в Сурам, стали общим полковым лагерем на совершенно ровном, открытом месте».

«Сурам тогда не представлял ничего хорошего. Несколько домов, выстроенных из местного камня, лишенных какого-либо архитектурного стиля, под зелеными или красными железными крышами. Направо и налево горы, покрытые лесом, менявшим свою окраску в зависимости от погоды: в солнечные дни он был веселый, прозрачный, с черными стволами, просвечивающими сквозь зелень орешника, кизила, шиповника. В дождливые дни, когда туман непроницаемо окутывал вершины и лишь у подошвы горы можно было рассмотреть что-нибудь, лес еле заметно синел, и сырая духота наполняла долины».

Правду сказать, скучно писал мой дедушка.

Однако Пушкин как-то заметил, что есть книги скучные, которые читаются лучше нескучных.

«...чем книга скучнее,— писал Пушкин в своем «Путешествии из Москвы в Петербург»,— тем она предпочтительнее. Книгу занимательную вы проглотите слишком скоро, она слишком врежется в вашу память и воображение; перечесть ее уже невозможно. Книга скучная, напротив, читается с расстановкою, с отдохновением — оставляет вам способность позабыться, мечтать; опомнившись, вы опять за нее принимаетесь, перечитываете места, вами пропущенные без внимания etc. Книга скучная представляет более развлечения. Понятие о скуке весьма относительное. Книга скучная может быть очень хороша; не говорю об книгах ученых, но и об книгах, писанных с целью просто литературною...»

Будем надеяться, что Пушкин прав, и продолжим довольно скучные заметки моего дедушки.

«Позади лагеря шла кремнистая дорога на Боржом, где находилась почтовая контора, в которой наши получали корреспонденцию, идущую из далекой России».

«Вид позиции — ровный, зеленый, со стройными рядами белых палаток — сначала очень мне нравился и вселял в душу нечто вроде военной гордости. Но ее живописное однообразие скоро мне надоело. Лежа на бурке перед палаткой, я думал о своей дальнейшей судьбе, и она меня не слишком радовала: первое, еще совсем детское увлечение боевой жизнью давно прошло, романтика рассеялась, и теперь я смотрел на свое положение более трезво: молодой человек в малых чинах, без средств, на чужой стороне... Не очень-то весело. Но что делать?»

«Такова была моя служба, моя судьба, отчасти повторявшая судьбу моих предков — русских офицеров».

«Когда я поправился, меня вместе с писарем на казенной подводе послали в Боржом получить корреспонденцию для полка».

«Поехали часов в восемь утра. Погода была чудная, но ровность и однообразие дороги среди зеленых гор скоро показались мне скучными».

«В два часа появилось знаменитое Боржомское ущелье. Справа крутой гористый берег, слева далеко внизу — река того же названия. Дорога идет извилинами, попада-

ются большие площадки — на них дома военнорабочих, сады».

«Река так хороша, что невольно — хотя никогда и не видел — сравнил бы ее с Рейном, почему-то пришедшим мне на мысль во всю дорогу — несколько верст — до Боржома».

Дедушка не понимал, почему ему пришла мысль о Рейне. А я понимаю. Наверное, дедушкина мать, моя прабабка, рассказывала своему младшему сыну Ване какие-нибудь легенды о русалках Рейна, а быть может, и пела о чем-нибудь подобном, качая ногой его деревянную молдавскую колыбель-качалку, сделанную крепостным столяром. Не исключено, что в скулянском доме на стенах висели под стеклом в рамках, оклеенных ярко-синими и золотыми бумажками, литографические виды Рейна, раскрашенные от руки акварельными красками: курчаво-зеленые холмы, покрытые виноградниками, кроны романтических суковатых дубов и буков и кое-где на скалах увитые плющом руины средневековых замков, а посередине струящейся реки — челны рыбаков.

...Молоденький офицер в летнем сюртуке с высокой узкой талией, в фуражке в белом полотняном чехле, отчего она казалась несколько великоватой, проезжал вместе с полковым писарем мимо кавказской реки, текущей среди холмов с остатками древних грузинских крепостей, и ему невольно представлялось, что он едет по берегу Рейна и слышит невнятные голоса русалок, поющих что-то на немецком языке...

«В конце пути показались красивые здания, почтовая станция, где я и остановился в качестве военного пассажира. В углу станционного двора поставили нашу казенную повозку, а лошадей отвели под навес, чтобы солнце не так сильно их жгло. Умывшись и почистив от пыли сапоги, пошел я через мост в военный госпиталь навестить некоторых своих товарищей, больных офицеров. Меня окружили. Стали расспрашивать:

— Скоро ли в Россию?

Я отвечал, что еще ничего не известно».

«Из госпиталя прошел я в почтовую контору и, получив корреспонденцию, отправился бродить по городу с

большим великолепным домом в несколько восточном, мавританском вкусе, почти дворцом, великого князя Михаила Николаевича, который виднелся в глубине громадного южного сада, откуда текли то жаркие, то прохладные запахи лавровишни, кедров, кипарисов, грецких орехов, каштанов, чинар, вьющихся роз».

«Очень оживляла город протекающая посередине река, плывущие по ней небольшие лодки и разбитые на берегу палатки купален».

Зеркальные вспышки мокрых весел, шум и крики купальщиков, говор гуляющей публики, смех, восклицания.

«Возвратясь со станции, с аппетитом пообедал и лег отдохнуть в комнате, недавно выбеленной, еще сырой, с невысохшей известкой».

«Жарко, душно, нестерпимо... К вечеру стало прохладнее. Я вышел на крыльцо, и мне было так приятно подышать чистым, бальзамическим горным воздухом».

Ах, как я понимаю моего дедушку, который без фуражки, расстегнув на груди сюртук и сорочку, под которой висел на цепочке золотой крестильный крестик, стоял на крыльце почтовой станции, глядя на снежные вершины гор, за которыми гасли последние лучи заходящего солнца.

Быть может, в эти минуты, сам того не сознавая, дедушка наслаждался свободой, столь редким даром для всякого подневольного, военного человека.

Помню себя восемнадцатилетним вольноопределяющимся на позициях под Сморгонью, куда я попал, подобно дедушке, прямо с гимназической скамьи. Сначала я не понял, что уже больше не принадлежу самому себе. Но скоро, приняв воинскую присягу перед строем своей батареи в деревне Лебедянь, почувствовал себя навсегда связанным с армией, лишенным свободной воли, полностью зависящим не только от своего взводного, но даже от орудийного младшего фейерверкера, не говоря уж о фельдфебеле и командире батареи, имевших право распоряжаться моей жизнью.

Я не смел ни на минуту отлучиться без разрешения от своего орудия, чтобы погулять в одиночестве на воле. Только тогда я полностью оценил свою утраченную свободу. Но было уже поздно: я принял воинскую присягу. Постепенно я втянулся в жизнь батареи, подчинился солдат-

ской дисциплине и даже иногда находил в ней удовольствие.

Но главной радостью для меня в то время являлась возможность по приказу начальства отлучиться с батареи по каким-нибудь делам в обоз первого разряда, или в штаб бригады за письмами, или в околоток, если я вдруг почувствовал себя заболевшим, но тогда в сопровождении кого-нибудь из фейерверкеров, несущего под мышкой специальную «больничную книгу».

Тут я на час, на два вдруг оказывался принадлежащим самому себе. Никто мною не командовал, не распоряжался. Я шел, весело размахивая руками, расстегнув верхний крючок моей длинной артиллерийской шинели с черными выпушками и суконными погонами, на которых толстым слоем коричневой потрескавшейся масляной краски, наложенной сквозь трафарет, был отпечатан номер нашей бригады — 64-й — и две скрещенные пушечки.

Дышалось легко, и утренний морозный воздух мерцал вокруг моего дышащего рта мельчайшими ледяными кристалликами. Густые полесские ели, красиво обложенные пластами толстого голубого снега, как бы стояли по колено в сугробах, и мутно-розовое морозное солнце выходило из-за горизонта, над которым со стрекозиным шумом летел аэроплан-корректировщик.

С какой радостью я получал в бригадной канцелярии, размещенной в фольварке, пачку писем для своей батареи, среди которых находил один или два узких конвертика, надписанных не совсем установившимся, полудетским девичьим почерком.

Я разрывал на ходу конверт на тонкой цветной подкладке и жадно читал, сняв вязаные перчатки, письмо, от которого пахло легкими цветочными духами — ландышем, фиалкой, резедой,— и не было тогда человека счастливее меня на земле, охваченной пожаром всемирной бойни.

...и даже, вернувшись на батарею, явившись взводному фейерверкеру и сбежав по земляным ступеням, обшитым тесовыми досками, глубоко вниз, в темный и тес-

ный наш блиндажик, где всегда остро пахло еловыми и можжевеловыми ветками, я продолжал перечитывать при скупом дневном свете, проникавшем с воли в землянку, милое письмо, а в глазах у меня продолжал еще плавать синий отпечаток утреннего солнца и летящего над горизонтом корректировщика...

Так что я вполне понимаю душевное состояние дедушки, ездившего в Боржом за почтой.

«Утром рано встал, напился чаю из помятого станционного самовара и собрался в обратный путь. Приятно было ехать по великолепному Боржомскому ущелью не торопясь, шагом, любуясь рекой, ставшей как будто еще красивее. Миновав ущелье, поехал рысью и к обеду был уже в лагере, сдал корреспонденцию и возвратился в свою палатку».

«Пошли обычные занятия. Время текло незаметно. В конце сентября я стал чувствовать себя нехорошо: краткость сна, головная боль, отсутствие аппетита. В октябре болезнь усилилась. Полковой врач признал необходимым отправить меня в горийский госпиталь, верстах в тридцати от места нашей стоянки».

Помню свою военную юность. Когда мне становилось невмоготу тянуть солдатскую лямку, когда жизнь начинала казаться беспросветной, а война — величайшей глупостью человечества, тогда меня неизменно спасала какая-нибудь выдуманная или подлинная болезнь, которую я еще больше в себе разжигал. Я кашлял, у меня поднималась температура. Взводный фейерверкер заглядывал мне в разинутый зев и многозначительно пожимал плечами. Он был добрый человек и отправлял меня в бригадный околоток за восемь верст, на станцию Залесье, где, пользуясь хорошим отношением ко мне бригадного лекаря, я и оставался на несколько дней. Там, лежа на нарах, покрытых трухлявой соломой, бок о бок с больными солдатами и слыша слабо доносившуюся издали пальбу наших батарей, я наслаждался безопасностью и бездельем. Околоток был для меня отдыхом, спасением, чем-то вроде украденной свободы.

Несмотря на множество гнездившихся в пазах госпитальной избы крупных белорусских клопов, которых по ночам больные солдаты выжигали спичками, несмотря на необходимость принимать касторку и разевать рот, куда веселый и грубый фельдшер-украинец со странной фамилией Шкуропат, пуская во все стороны свои шутки-прибаутки, залезал специально выструганной щепочкой с тампоном ваты, смазывая мое горло черным, как деготь, жгучим йодом, и я потом целый час отплевывался желтой горько-сладковатой слюной,— все же это была свобода, и, лежа ночью на нарах среди хрипящих и стонущих солдат, в духоте и вони, я предавался поздним сожалениям, что пошел на войну добровольцем, и при свете маленькой керосиновой коптилки перечитывал письма, полученные из тыла.

«Я, — продолжает дедушка,— подал рапорт о болезни. Меня одели, укутали и, положив на двухколесную арбу, повезли с другими больными в горийский госпиталь».

«День был яркий, теплый, даже жаркий, сухой, и кавказская природа, еще почти не тронутая осенним умиранием, окружала меня во всем великолепии своих южных красок, но любоваться природой не пришлось: болезнь крепко меня прихватила».

...Видимо, дедушка получил на турецком фронте, за Батумом, малярию...

«Меня уже стал сильно трясти озноб, не попадал зуб на зуб. Начинался пароксизм. И когда к вечеру мы прибыли в город Гори и поехали по узким улицам среди саклей, окружавших стоящую посередине города скалистую гору с живописными остатками старинной крепости, и громадные колеса нашей арбы на четверть погрузились в каменистую пыль, я уже почти ничего не соображал, и первая ночь в горийском госпитале прошла в кошмарах, не прекратившихся с наступлением утра, и мучительно тянулись еще несколько дней и ночей, проведенных мною в бессознательном состоянии, среди странных видений, где смешивалось прошлое, настоящее и будущее».

Дедушку как бы все время куда-то везла скрипучая арба вечности с двумя громадными колесами, между которыми лежало его обессиленное высохшее тело, а вокруг возникали как бы из пустоты видения отвлеченных понятий, принявших материальные формы, и разных пред-

метов, утративших свою материальность и превратившихся в отвлеченные понятия, терзавшие сознание своей непознаваемостью.

Среди этого хаоса постоянно присутствовала военная треуголка отца времен двенадцатого года, с плюмажем, она же легендарная шляпа Наполеона, явившаяся вдруг из глубины прошлого, каким-то образом олицетворяя разгром великой французской армии, и тяжелая бурка кавказской войны, давившая тело всеми складками своих горных перевалов и тесных дефиле, откуда с визгом вылетали штуцерные пули турецкого сорокатысячного десанта, высадившегося в своих алых фесках на Черноморском побережье Кавказа, и битва на реке Цхенис-Цхали, и поспешное отступление Омер-паши, и внезапные налеты мюридов Шамиля — всем этим были тягостные складки бурки, поминутно сползающие, как горные обвалы, с холодеющего тела. Это было также абстрактным воплощением воинской присяги, боевого крещения, производства в офицеры, любовью к родине и спасением Севастополя, обмененного по мирному договору на Карс.

Жажда, томившая его, являлась в виде узкого грузинского кувшина на плече горийской девушки в чадре, поднимающейся по гористой улице мимо миндальных и ореховых деревьев, мимо кустарника барбариса с чугунно-синими, багровыми листьями, мимо плетеных заборов с висящими на них связками кукурузных початков и стручков красного перца...

Затем этот глиняный кувшин, покрытый потом, оказывался на столе посередине сакли, рядом со стеклянной кружкой, в то время как невдалеке в духане слышалось как бы церковное пение низких мужских голосов, гортанных и печальных, а невыносимая жажда продолжалась бесконечно, и не было силы встать, подойти к холодному кувшину и напиться.

А затем раздавался скрип сухих деревянных ступенек, слышались чьи-то тяжелые, бесконечно длящиеся шаги, и в саклю входил как бы из непомерно далекого будущего человек в странной одежде, с головой, повязанной аджарским башлыком.

Тягостно и вместе с тем вкрадчиво-мягко ступая чувяками, он подходил к столу, долго рассматривал обстановку сакли: восточный ковер на деревянном ложе, скатерть на столе. сундук, покрытый тканой материей, помятый

тульский самовар в углу на комоде рядом с круглым качающимся зеркальцем в траурно-черной раме.

Наконец его взгляд останавливался на кувшине с холодной водой.

Его глаза светились неполным светом, как ущербный, умирающий месяц.

Он наливал из кувшина воду в стеклянную кружку, и струя воды зловеще краснела, превращаясь в вино. Как бы совершая некий таинственный ужасный обряд прощания со своим прошлым, человек не торопясь пил из кружки, и пока он пил, вино превращалось в кровь, и человек вытирал серповидные, мокрые от крови усы рукавом своей странной тужурки.

Это видение длилось мучительно долго и заканчивалось тем, что человек с окровавленными усами бесшумно выходил из сакли и его глаз скупо светился, как ущербный месяц, а сухие деревянные ступени стонали под тягостно-мягкими неслышными шагами, в то время как в духане продолжалось церковное пение, и дедушка понимал, что это панихида по унтер-офицеру Гольбергу, растоптанному каблуками майора Войткевича.

«К ноябрю я стал поправляться. Тут получилось известие о выходе дивизии в Ставропольскую губернию по Дарьяльскому ущелью через город Владикавказ. Слабость мешала мне выписаться из госпиталя, а тут еще уговоры товарища моего Добрянского не торопиться».

«В начале декабря, пропустив полк, мы с Добрянским наконец выписались и поехали в полк, который все еще шел да шел где-то впереди нас, совершая заданный марш в Ставропольскую губернию».

«Проехали мы Дарьяльское ущелье, потом и Душет, в тридцати верстах от Тифлиса. Город маленький, ничем не замечательный, кроме своего названия, мягкого и ласкового,— Душет, сочного, душистого, как груша дюшес. Его военный госпиталь содержится в чистоте и порядке. Здесь много больных и раненых из-под Александрополя, где были жаркие бои с турками».

«Поблизости госпиталя — сад, довольно большой и тенистый. В саду гуляют поправляющиеся раненые. У того забинтована голова, у того рука на перевязи, кто опирается на госпитальную палочку, кто прыгает на костыле,

вытянув вперед замотанную ногу. И все они были рады, что война, слава богу, кончилась и есть надежда скоро попасть домой, в Россию».

Декабрь ничуть не был похож на зиму, а скорее на теплую, мягкую осень с ясным небом и грустным, невысоким, золотистым солнцем, рисующим на дорожках госпитального сада слабые тени еще не вполне пожелтевшей листвы разных деревьев южных пород.

«Мы с Добрянским очень подружились, как это часто бывает между молодыми офицерами-однолетками, пролежавшими рядом в одной палате военного госпиталя. Эта полковая дружба заменяла нам и семью, и сердечные привязанности, которых мы оба по молодости лет еще были лишены».

«Желая подольше насладиться свободой, мы не спешили: ехали в день по одной станции, чтобы на каменистой дороге не пострадала ковка лошадей. Идти я не мог: слабость не дозволяла, а во время моего лежания в госпитале, оказывается, Горбоконь продал моего коня Дагобера, так что приходилось трястись в повозке».

«До станции Хойшаур мы все время ехали вверх. Вид великолепный: направо горы, покрытые снегом, налево глубоко внизу Терек и зеленая долина, где осетины пасут свои стада, сверху напоминающие букашек».

«...со станции ясно видим Казбек, до половины своей покрытый снегом, а остальная, нижняя половина — зеленая».

«Заплатили деньги за топку печи, так как было очень холодно. Напившись чаю и согревшись, легли спать. Вставши утром, пока готовили нам чай, вышли к церкви полюбоваться оттуда Казбеком, снежная вершина которого была розово освещена восходившим солнцем при совершенной тишине вокруг».

«Картина чудная!»

«В 10 часов утра, после чаю, отправились дальше. Теперь дорога пошла все вниз: справа все те же высокие горы, а слева внизу пенистый Терек. С последней станции Карс, где оканчивалось знаменитое Дарьяльское ущелье, поехали мы по ровной дороге до самого Владикавказа».

Мог ли тогда знать дедушка, что лет тридцать или сорок спустя по этому же пути, прыгая по каменистой дороге вдоль бешеного Терека, проедет линейка с осетином

на козлах, в которой среди прочих экскурсантов, сидящих в два ряда спиной друг к другу, будет ехать и одна из его многочисленных дочерей — Евгения Ивановна,— совсем еще юная дама в дорожном шотландском саке и войлочной осетинской шляпе, а рядом с нею ее муж, бородатый педагог из поповичей, в холщовой косоворотке, подпоясанной шелковым витым шнурком с кистями, и в такой же войлочной осетинской шляпе — непременной принадлежности кавказских путешественников того времени. Оба в пенсне, они совершали свое свадебное путешествие по Военно-Грузинской дороге, ошеломленные красотами Кавказа, оглушенные грохотом Терека...

Это были мои будущие отец и мать.

«Приехав во Владикавказ, остановились мы в местной гостинице с внутренней узорно-чугунной лестницей, ведущей во второй этаж, где находились номера».

«С наступлением сумерек, как водится, подавались свечи, но одновременно с их подачей в номере запирались окна и внутренние ставни — предосторожность не лишняя, так как частенько горцы по неистребимой ненависти к своим покорителям — русским — воровски пробирались из своих глухих аулов в город и, заметив где-нибудь в окне огонь, стреляли на всем скаку по огню, зачастую убивая кого-нибудь из бывших в комнате».

«Так мы сидели при свечах в нашем номере с запертыми ставнями и пили чай, обмениваясь невеселыми мыслями о том, что хотя война с турками, слава богу, кончилась сравнительно благополучно, так как русским дипломатам удалось обменять Севастополь на Карс, но мир на Кавказе еще далеко не наступил: то и дело восставали горские племена, собираясь под зеленое знамя пророка, поднятое их неукротимым вождем Шамилем».

...Кто держится прямо, кто смолоду воин, во славу ислама сражаться достоин...

«Получив прогоны, мы поехали дальше. День был пасмурный, но не сильно холодный. Проехавши одну станцию, мы остановились ночевать в отдельном доме местных обывателей, который отвело нам станичное правление».

«Таким образом мы не торопясь подвигались по одной станции в день, так как ночью езда не производилась из опасения все тех же горцев. Впрочем, иногда, в экстренных случаях, когда наряжался особый конвой из казаков с пушкой — так называемая оказия,— мы ехали и ночью. Но это случалось редко».

«Таким манером доехали мы помаленьку до города Ставрополя. Была суббота. Давно не слышанный нами колокольный звон приятно прозвучал в вечернем воздухе и отозвался в сердце, напомнив нам, что мы снова в России».

«Остановились в местной гостинице, где к нам присоединились еще несколько офицеров, отставших от недавно прошедшего здесь нашего полка».

«Первый раз пришлось провести несколько ночей в хорошем здании нам, отвыкшим от подобных удобств за долгое время войны».

«На другой день пошли в комиссариатскую часть интендантства, где к двум часам получили прогоны до м. Медвежьего, места стоянки полка. Другой день мы употребили на покупку необходимого. Затем на третьи сутки выехали не торопясь в путь. Прибыли в местечко Медвежье почти без опоздания, всего лишь на другой день прихода полка. Видно, полк (так же, как и мы) не слишком торопился. Однако командир полка, к которому мы явились, довольно сильно распек нас за долгую езду».

«К счастью, этим дело и кончилось».

«Отвели квартиру довольно далеко от центра местечка. Скучно, грустно было после нескольких недель свободы жить одному с денщиком и тянуть надоевшую полковую лямку. Но приходилось мириться: назвался груздем — полезай в кузов».

Через несколько дней командир полка поехал в местечко Песчаное, где были расквартированы полковой штаб и 1-я карабинерная рота. В отсутствие командира жить стало веселее и свободнее».

«Так шли дни за днями, очень однообразно и уныло. Воскресенье давало некоторое разнообразие: поход в церковь, вид людей обыкновенных, а не солдат».

«Вскоре по ходатайству местного общества нашу полуроту перевели в село Привольное, и меня назначили за старшего, так как более не было субалтернов старше меня».

«Ротный капитан Глоба остался в Медвежьем, где был штаб 2-го батальона. С ним жил брат его Андрей, бывший батальонным адъютантом. В Медвежье приехали поручики Евлашов, Витковский — георгиевский кавалер за бой под Чалосом. Оба поручика вместе ездили в близлежащую деревеньку помещика Маклакова, у которого была хорошенькая дочь. Там они иногда проводили по нескольку дней, а затем возвращались по домам».

Тут в словах дедушки чувствуется некоторая зависть к двум удачливым поручикам, нашедшим в захолустном Медвежьем гостеприимный помещичий дом с хорошенькой дочкой, сведения о существовании которой не могли не волновать воображение холостого подпоручика Бачея, хотя привлекательность помещичьей дочки была известна ему лишь по слухам. Может быть, дедушка даже был влюблен, так как ясно себе представлял все прелести ни разу не виденной им девушки. Чего не сделает пылкое воображение: однажды упомянутая помещичья дочь ему даже приснилась в нарядном платьице с бантиками, с локонами и розовыми пальчиками, которыми она, заливаясь румянцем, открывала кран серебряного самовара, наливая кипяток в стакан с крепкой заваркой, игриво пододвинутый георгиевским кавалером поручиком Витковским.

«Привольное, куда я был переведен со своей полуротою, оказалось селом довольно обширным. Вокруг церкви оно было населено русскими, а вдоль речки, в стороне, жили малороссы из Воронежской губернии, переселенцы. Там отвели мне квартиру в доме богатого старика Лаврентия Максимовича Омельяненко, у которого были жена и дочь-невеста».

«В этой малороссийской части Привольного поселили и моих солдат, которых местные жители разобрали нарасхват. Мужички были зажиточные, и солдатикам жилось хорошо: белый хлеб, пища отменная. Когда же солдаты ходили для хозяев по воду к колодцу или гоняли скот на водопой, то хозяева давали им даже свои кожухи, чтобы служилые не замерзали на морозном степном ветру».

«В конце каждого месяца жителям выдавались квитанции за полученный солдатами провиант. Однако зажиточные мужички почти никогда не предъявляли эти документы ротному командиру к оплате; ротный благода-

рил жителей и в знак благодарности присылал со своим денщиком ведро казенного спирту. Все были довольны».

«Мой старик Лаврентий не пил водки, и я, бывало, зазывал его к себе и готовил чай и пунш, что старик очень любил. В разговорах зимнею порою время летело незаметно».

«За пуншиком вспоминалось все мною прочитанное, память у меня была отличная, и все это я рассказывал деду Лаврентию. Вечера такие повторялись часто. Старик очень меня любил. Я отвечал ему тем же».

«Однажды он пригласил к себе в гости местного священника. Время шло в разговорах, участие в которых принимали только мы трое: хозяин, я и священник. Дочка же хозяина Аня, уже упомянутая мною, в своей вышитой рубахе, с бусами на смуглой шейке, сидела молча в сторонке, потупив глаза, и не пропускала ни одного слова из нашей беседы. Иногда она поднимала свои карие малороссийские глаза, и я ловил ее мимолетный взгляд...»

А вьюга лепила в маленькие окошечки деревенской горницы, отражавшие в неровных стеклах огонек масляной лампочки, повешенной над столом. В трубе завывало. В печке жарко трещали кукурузные стволы и дымился кизяк — весьма распространенное здесь топливо. И казалось, конца не будет этому вечеру в теплой мазанке, конца не будет этой дружеской беседе, этим мимолетным взглядам карих глаз, уже начинавшим вызывать в дедушке какие-то неопределенные надежды, предчувствие любви и счастья, которые, впрочем, по-видимому, так и не сбылись. Во всяком случае, в записках дедушки на этот счет ничего не было сказано. Впрочем, не надо забывать, что бабушка нередко заглядывала через дедушкино плечо в его тетрадку, так что дедушка хотя и на старости лет, но все же писал осторожно, чтобы не получить головомойку от бабушки...

«В следующее воскресенье священник пригласил к себе меня и старика хозяина, состоявшего при церкви в должности ктитора, или церковного старосты, то есть лица уважаемого и по общественному положению почти равного священнику».

«Мы приехали вечером, часов в шесть, когда по зимнему времени было уже совсем темно и в густой синеве снежной ночи светились окошечки сельских х[illegible]

«В довольно чистенькой квартирке нас встретили поп со своей дочерью, девушкой лет восемнадцати, довольно миловидной, обучавшейся в Ставрополе и в этом году только что окончившей обучение».

«Подали чай. Началось угощение».

«Дочка оказалась очень разговорчивой. Вечер прошел приятно. Это знакомство велось всю зиму: то поп у нас, то мы со стариком у него. В хорошую погоду я стал посещать церковь, до которой от моей квартиры было далековато. Служба мне нравилась, ничего себе, но пение оставляло желать лучшего, оно не отличалось стройностью, так как хор состоял наполовину из мужчин, а наполовину из женщин. Но ничего не поделаешь, по необходимости приходилось мириться и с таким пением».

Дело тут, конечно, было не в пении и даже не в религиозных чувствах дедушки, а в смутных воспоминаниях о церкви в Скулянах, и о поповой дочке, аккуратно посещавшей каждую церковную службу, где она, как дочь священнослужителя, стояла близко у клироса.

Надо полагать, дочка попа помаленьку вытеснила из сердца одинокого подпоручика обеих предыдущих дочек — абстрактную дочку помещика Маклакова и дочку квартирного хозяина, старика Омельченко. Однако обо всем этом дедушка в своих записках осторожно умалчивает.

Не без волнения отправлялся дедушка в своей усердно вычищенной походной бекеше, с кавказской шашкой, в хорошо начищенных сапогах в сельскую церковь, предчувствуя, что сейчас увидит поповскую дочку. Он сразу же находил ее в толпе мужиков в праздничных бараньих тулупах и баб в цветных платках и в сапожках с подковками.

На поповой дочке была бархатная шубка с заячьим воротником и модная ставропольская шляпка, накрытая сверху ковровой шалью, завязанной узлом под розовым подбородком с ямочкой. Дедушка покупал пятикопеечную восковую свечку и, подойдя сзади к девушке, осторожно постукивал свечкой по ее плечу с буфом. Это была обычная просьба передать свечку дальше, с тем, чтобы кто-нибудь из стоящих впереди зажег ее и поставил перед иконостасом. Не оборачиваясь, попова дочка брала свечку и ставила ее среди других свечей, пылавших костром. По

движению ее руки дедушка чувствовал, что она знает, кто передал ей свечку.

...Она становилась на колени, крестилась, и дедушка тоже становился рядом с ней по-военному на одно колено, опираясь одной рукой на шашку, а другой мелко, поспешно крестясь, и шепотом говорил в затылок поповой дочки:

— Здравия желаю.

На что она как бы с некоторым испугом отвечала ему:

— Ах, это вы? Какая неожиданность!

У нее было грубоватое, хотя и красивое лицо с черными, как бы мужскими бровями и усиками над верхней губкой.

— Как изволили почивать? — спрашивал шепотом дедушка.— Какие видели сновидения?

— Вы мешаете мне молиться,— отвечала она быстро, вполголоса.— Видела вас во сне.

— Волшебница,— говорил дедушка.

— Нет, нет, я пошутила.

— Обманщица!

— Тссс! — говорила она и начинала прилежно креститься.

После службы они выходили вместе на паперть, и он провожал ее до поповского домика под зеленой крышей — она впереди, как царица, а он несколько позади, придерживая локтем свою шашку, чтобы она не болталась.

Попова дочка была всем хороша — образованна, разговорчива, остра на язык, высока, стройна, и дедушка чуть было в нее не влюбился, да помешали ее мужские брови, усики, а также излишняя развязность в обращении, а вернее всего, еще не пришло время ему по-настоящему полюбить.

А то поповская дочка, чего доброго, стала бы моей бабушкой. Но, благодарение создателю, до этого дело не дошло. Довольно и того, что моим дедушкой впоследствии стал вятский протоиерей, отец моего отца.

С поповой дочкой как-то само собой разладилось.

«В феврале вся наша рота была назначена в Песчанку в караул на неделю в полковой штаб. Накануне прошла 1-я полурота с ротным командиром капитаном Глобою, который по моему приглашению остановился у меня ночевать. Я ему устроил ужин и чай с ромом. В 10 часов легли спать. Ночь прошла незаметно. Утром, закусивши

и напившись чаю, целой ротой выступили, пришли в Песчанку — местечко большое (есть даже лавки с розничными товарами), но все-таки это не местечко, а скорее обыкновенное большое село. Квартиру нам отвели общую, на конце села, так как середина его была, как водится, занята полковым штабом».

Как читатель, наверное, уже заметил, в записках дедушки часто встречаются замечания о течении времени: время текло медленно, время шло незаметно, дни летели, дни тянулись и тому подобное. Как человек военный, подневольный, исправный служака, лишенный воображения, жизнь свою он ощущал как бы пленником быстрого или медленного течения времени и все события этой жизни добросовестно заносил в свой журнал одно за другим по порядку, как подсказывала ему слабеющая на старости лет память, не выделяя важного от неважного. Будучи человеком хотя и начитанным, но неопытным в занятиях беллетристикой, он не покушался на художественность и записывал свои былые впечатления языком протокольным, канцелярским.

Следует сказать, что он писал свои записки не как дневник, а как воспоминания, будучи уже в отставке, незадолго до смерти.

Но для чего он их писал? Ведь не только для препровождения времени. Хотя — как знать? — может быть, и для этого тоже. Вероятнее всего, он писал, как бы исполняя некий долг перед историей, сам того, впрочем, не сознавая.

«Семейственные воспоминания дворянства должны быть историческими воспоминаниями народа,— писал Пушкин в своем «Романе в письмах».— Но каковы семейственные воспоминания у детей коллежского асессора?»

Последнее замечание Пушкина скорее касается не дедушки, столбового дворянина, а меня, разночинца, сына надворного советника по отцовской линии.

«Через два дня по прибытии в Песчанку прислал мне записку прапорщик В., товарищ мой по производству, только что подавший в отставку. В записке своей он писал, что продает коня с седлом за 25 рублей и что мест-

ные мужички, узнав о его отъезде, предлагают ему больше, но он считает, что лучше отдать коня товарищу, чем богатому хохлу».

«Я тотчас пошел к В. и, осмотрев коня, не сказав ни слова, дал деньги. Конь кровный, карабах, стоит гораздо больше: гнедой, не старый, смирный — чего еще надо?»

«Приехав домой, то есть на квартиру, показал я коня денщику, который его одобрил, и мы, укрыв его попоной, полученной в придачу, поставили коня к особой повозке возле лошадей ротного. Купил сена, овса, всего, что нужно. Через два дня конь стал хромать. Я его осмотрел. Оказалось, все дело в том, что конь был давно кован, а мороз ночью сжал подковы. Когда коня расковали, он перестал хромать и весело принялся жевать сено».

Тут дедушке изменяет его эпическая степенность, и он восклицает:

«Конь очень хорош!»

Видимо, лошади были если не страстью, то, во всяком случае, его слабостью, перешедшей по наследству от военных предков, чем и объясняется, что незадолго до смерти, познакомившись впервые со мной, своим двухлетним внуком, он подарил мне славного игрушечного коня — бурого, в яблоках,— Лимончика, о чем я уже, впрочем, недавно писал в своей книге «Разбитая жизнь».

«Через день я был назначен дежурным по караулам. Осмотрев все казармы, вечером, в 9 часов, я был с рапортом у командира полка. Процедура краткая: сказал, что все благополучно, и пошел домой. Так как идти деревней было довольно грязно, то я пошел задами, где было сухо. Верста ходу поздней ночью показалась мне за три. Сельские огоньки в окнах были мне руководителями, по ним я шел как по звездам, спотыкаясь, блуждая со стороны в сторону. Через час, показавшийся мне за два, я пришел таким усталым, что предложенный мне денщиком ротного командира ужин я не принял, а лег спать. Утром рано первая забота — посмотреть коня. Все исправно, конь не хромает...»

«Через день смена, возвращение назад в Привольное. Ротный задержался на несколько часов в штабе. Рота выступила со мною одним».

«Я поехал верхом на своем новом коне, чувствуя полное удовольствие».

Недаром же прадедушка приучал дедушку в Скулянах к верховой езде на неоседланной лошади.

«Через час догнал нас ротный командир Глоба, и уже до самого Привольного шли под его командованием. В Привольном распустили по домам 2-ю полуроту, а сам Глоба в 2 часа дня пошел с 1-й полуротой далее, в Медвежье, где солдаты явились на свои квартиры».

«Прибыв в Привольное, я со своим денщиком Иваном стал хлопотать, чтобы купить кибитку, так как холода все продолжались. Вместе с тем я стал обучать верхового коня к запряжке, ходить в хомуте и возить сани или телегу. При посредстве старика Лаврентия купил я маленькую повозку, колеса достали особо, оковав их в местной кузнице при посредстве все того же старого хозяина.

«Съездил в Медвежье, купил там новый хомут с вожжами и чересседельником. Возвратившись, стал сам вместе с денщиком Иваном и стариком Лаврентием красить повозку и сделанную к ней кибитку черной краской. Вышло довольно хорошо: не кибитка, а карета, да и только!»

«После месячного ежедневного обучения конь стал ходить в запряжке смело и успешно. Все это радовало и доставляло мне удовольствие».

По-видимому, кроме военной жилки, в дедушке билась еще хозяйственная жилка, унаследованная от матери.

«Да, чуть не забыл!..» — восклицает дедушка, вспомнив вдруг какую-то забытую им подробность.

«По выезде из Гори я с Добрянским заехали в Георгиевск, попутный город, с тем, чтобы из местного госпиталя получить дальнейшие прогоны. Приехав в субботу после обеда, мы заняли отдельную квартиру у местного торговца — русского купчика — и стали ожидать понедельника, чтобы идти в госпиталь за прогонами. По неимении каких-либо знакомых воскресенье мы провели скучно и томительно».

«В понедельник часов в десять пошли мы в госпиталь получать путевые деньги, на что пришлось употребить часа два. За это время мы тут же в госпитале познакомились с местным смотрителем провиантского магазина;

фамилию его теперь уже не упомню. Он пригласил нас вечером к себе на чай, будучи женатым человеком и имея хозяйство».

«Знакомство было приятно, так как внесло в нашу жизнь некоторое разнообразие».

«Вечером, часов в шесть, мы вместе с Добрянским отправились. Хозяин уже ожидал нас. Познакомились с его молодой женой, очень приветливой и разговорчивой дамой, довольно начитанной и не стесняющейся говорить о разных вещах — даже о литературе! — что меня, признаться, приятно поразило».

Видно, дедушка был о дамах не весьма высокого мнения.

«Через час мы с хозяином и еще одним его знакомым сели за преферанс по четверть копейки, а молодая барынька присаживалась то к одному, то к другому из гостей, ни на минуту не прерывая свой начатый разговор на литературные темы. Около двенадцати сели ужинать. Ужин прошел довольно приятно. Милые хозяева были очень гостеприимны. Часа в два ночи мы распростились с ними душевно, благодарные судьбе за столь приятное знакомство, с тем чтобы утром продолжать свой путь. Мне больше так и не привелось с ними увидеться».

«Спасибо им за гостеприимный прием!»

Дедушка не мог удержаться, чтобы не вставить это ничем не замечательное дорожное событие в свои мемуары. Видимо, эту маленькую радость походной жизни он сохранил в своем сердце на всю жизнь до старости.

Может быть, в лице любезной хозяйки, хорошенькой говорливой дамочки со склонностью к литературе, перед молодым подпоручиком возникло еще одно искушение, в то время когда он, подобно Печорину, вел жизнь странствующего офицера, бессознательно стремясь к встрече с еще не известной ему молодой женщиной, которой суждено было стать моей будущей бабушкой.

Сделав в своих записках это несущественное отступление, дедушка возвратился к прерванному описанию своей жизни в Привольном.

«Спустя неделю после возвращения из Песчанки мне встретилась надобность побывать в Медвежьем. Этот день мне хорошо запомнился, так как я впервые собрался ехать на своем Султане — так звали моего нового коня. Должность кучера исполнял мой денщик Иван. Позавтракавши, собрались ехать».

«При тихой погоде, при небольшом морозце дорога была очень приятна: впервые на собственной запряжке, хотя и не слишком шикарной, но своей!»

«Ах, как все в это утро было хорошо!»

«Заехав к капитану Глобе и оставив у него коня с повозкой, я с Иваном отправились на базар, который находился тут же, вблизи квартиры. Купив что было нужно, мы с Иваном вернулись домой к вечеру. Напившись чаю и поужинав довольно сытно, лег спать. Ротный пришел поздно, где-то был в гостях».

«Утром, проснувшись и умывшись, напился я с ротным и братом его Андреем чаю и собрался в дорогу».

«По-прежнему стояла отличная, хотя и морозная погода. Ехали спеша и к заходу солнца достигли своего Привольного. Встреча с хозяином была радушна. Напившись чаю с привезенным ромом, хорошо поужинав, в десятом часу улеглись спать».

«Наступила масленица 1857 года. Привольное зашумело и заголосило из конца в конец разными песнями. Каждый день с утра до позднего вечера по домам местных жителей шло угощение. В четверг устроил прием хозяин мой Лаврентий. Накануне шли приготовления всего варенного. Спирт через ротного я выписал из Медвежьего. Этот напиток хозяин придержал под конец».

«Гости были по всему дому: у меня в комнате преимущественно молодые бабы. Когда подали уже огонь, хозяин велел своему сыну наливать спирту».

«Это была картина!»

«Кому только ни поднесется рюмка со спиртом, тот или та, выпив залпом, сразу же валились под стол как подстреленные. Угостив и уложив таким образом своих гостей, мой старик, глубоко вздохнув, сказал мне:

— Вот, панынку, теперь никто не скажет, что старый Лаврентий плохо угостил. Угостил добре и под стол уложил».

«Старик Лаврентий не спал всю ночь, обходя лежавших на полу, и в качестве добросовестного хозяина охранял их сон. Много баб свалилось у меня в комнате. Смотря на них, старик качал головою и говорил ласково:

— Вот скаженные бабы, не нашли себе другого места, как только в комнате у моего панычка».

Придерживаясь своего несколько эпически-беспристрастного стиля, дедушка не счел нужным больше останавливаться на подробностях этой сельской карнавальной ночи, и я не знаю, как он отнесся к присутствию местных молодых красавиц, спящих у него в комнате.

Я думаю, дедушка сознательно сократил эту сцену, так как имел обыкновение по мере написания прочитывать свои мемуары бабушке, что передалось по наследству и мне.

«Чуть свет гости стали просыпаться, бабы стряхивали со своих юбок солому, поправляли на голове гребни, на шеях мониста. Благодаря старика Лаврентия за угощение, они просили рюмочку спирту опохмелиться и, выпив, с поклонами расходились по домам».

«Казалось, наступил длительный мир. Но это только так казалось».

В дедушкиных записках после этого имеется не вполне понятная фраза:

«Конец терпенью настал!»

Но чьему терпению, по какому поводу, что случилось? Не ясно. Можно догадываться, что какие-то горские племена нарушили мир. Снова в лесах и горах зашевелился Шамиль. Но удивительно, что об этом дедушка пишет с явным удовольствием: наконец, дескать, кончилось наше бездействие.

Впрочем, может быть, я не так понял его восклицание.

«Войска свободные есть. Возможность достаточная. Переправу решено совершить в лодках. Орудия были поставлены на высоком берегу для прикрытия переправы. В какие-нибудь три часа переправа совершилась. Пластунов и казаков послали за версту вперед. Затем построили в боевой порядок три полка с артиллерией и двинулись в Адагулак по ровной и безлесной местности. Лес был вер-

стах в четырех вправо и влево, а впереди начинался с реки Адагуш и тянулся верст на двадцать».

«Шли не спеша, зная, что к вечеру дойдем до места назначения. На полпути сделали привал. Солнце жгло очень сильно».

«Наш полк составлял арьергард. Обоз всего отряда шел впереди нашего полка. Брестцы составили левый, а крымцы — правый фас. Стоя на привале, мы успокоились, видя, что все благополучно и вокруг тихо. Идучи с привала на привал, мы уже не так сторожились. К заходу солнца пришли в Адагулак, где назначено было строить Нижнеадагушское укрепление на один батальон с четырьмя орудиями и провиантским складом».

Видно, кавказская война продолжалась.

«На другой день начальство занялось разбивкой лагеря для каждой части. Пластунов и по 96 человек штуцерных с каждого полка послали за протекающую впереди речку, за которой тотчас стоял штаб отряда с полковником Бабичем. Правую сторону заняли крымцы, левую брестцы. Артиллерию поставили между полками. В тот же день инженеры разбили позицию укрепления, которое следовало нам строить. На следующий же день приступили к его постройке, для чего было вызвано от каждого пехотного полка по тысяче человек».

«Все вокруг закипело. Заблестели на солнце топоры и лопаты. Всюду виднелись солдатские мундиры и рубахи. Заскрипели повозки. Задымились костры. Выросли землянки, покрытые дерном».

«...он настроит дымных келий по уступам гор; в глубине твоих ущелий загремит топор...»

«С начала наших работ стали появляться горцы. Было видно простым глазом, как на опушке стоявшего впереди леса устраивались горские батареи из крепостных пушек, положенных на особо насыпанный вал».

«Как только батареи были готовы, горцы открыли по нам артиллерийский огонь. Наши батареи отвечали. Сначала наши солдаты, отвыкшие от ядер, уходили с работы и строились. Но скоро привыкли. Стрельба шла, а работы продолжались. То тут, то там ядра со свистом пролетали над головой и, ударившись в зеленую траву, поднимали

черные фонтаны земли. Из наших и горских пушек вылетали клубы порохового дыма. От канонады звенело в ушах...»

«Наступила Пасха».

«На первый день Пасхи работы шли как обычно, а в это время горцы, думая, что мы гуляем, открыли сильнейшую канонаду. Однако, увидев, что мы в ту же минуту стали отвечать, замолчали. Спустя часа два повторили, но по-прежнему успеха не имели».

Так происходило закрепление отвоеванных у горцев земель.

«27 апреля мы решили устроить через протекающую впереди реку постоянный мост, с тем чтобы через него можно было перевозить пушки, которые до сих пор при надобности шли вброд. Приступили к работам. Сперва все шло спокойно, только крики и шум засевших в лесу горцев показывали, что враг не дремлет. На эти крики и шум стали со всех сторон сбегаться к лесу горцы, и когда их набралось довольно — подняли стрельбу из пушек и винтовок. Наши люди стали в ружье, артиллерия открыла огонь картечью, пули с визгом полетели через узенькую, как ручей, реку, и горцы были отогнаны, после чего работы по сооружению моста продолжались».

«На другой день переправа была готова, стали строить передовые укрепления на четыре орудия прикрытия. Укрепление состояло из высоко насыпанного бруствера с глубокой канавой; бока закрыты до самой реки плетневым забором».

«С устройством моста почти ежедневно горцы собирались толпами, делали наблюдения и каждый раз были отбрасываемы. Ночью каждый полк высылал команду в 50 человек, при офицере, которая, усиливая дневную цепь, держала караул всю ночь до восхода солнца. Провести ночь на этом дежурстве стоило немало: вой шакалов, крики горцев в лесу, подозрительные шорохи, далекое ржанье коней, случайный выстрел... Все это приносило немало тревоги. Спать не приходилось. Бодрствуешь всю ночь, присматриваясь, прислушиваясь к малейшему ночному звуку...»

«Пройдет ночь — и слава богу!»

«А то, бывало, приезжают какие-то лазутчики — не один, не два, а целый десяток и более. Тут немедленно

надо давать знать в штаб отряда. Приезжает начальник штаба, а если что-нибудь важное, то и сам начальник отряда».

«Несколько раз, будучи в ночном карауле, приходилось мне видеть его. Иногда при перестрелках он, бывало, подавал команду:

— Стать в ружье! Подойти ближе!»

«И, окруженный моими солдатиками, продолжал под пулями выслушивать донесения пластунов и вести переговоры с перебежчиками — разным сбродом, не вызывавшим никакого доверия».

«Приезд пластунов и перебежчиков дозволялся только на наш задний фас, и если он случался часов в 9 или 10 вечера, то в солдатских палатках начинался нарочито шумный разговор, пение песен, смех, шутки-прибаутки. Горцы смотрели и прислушивались, делая заключение, что русские не унывают».

«Картина чудная, особенно в тихую июльскую лунную ночь, когда все вокруг делается как бы сказочным, волшебным и немного страшным. Только, к сожалению, за отсутствием художественного таланта не сумею ее передать во всей красе»,— прибавляет дедушка.

«Час и более идут переговоры. В то время, когда старики горцы ведут перед начальником нашего отряда свои неторопливые, лукавые восточные речи, остальные, сидя на конях, внимательно осматривают наш лагерь».

«Мы, караульные, хорошо это видим, не спускаем с них глаз, держа ружья на изготовку».

«Просьба горцев обычно была относительно прекращения нами постройки укрепления, которое с каждым днем росло и увеличивалось».

«Мы отвечали горцам отрицательно, говоря:

— Ваша вина. Зимние набеги, грабежи хуторов и станиц за Кубанью надоели белому царю. Он приказал построить крепости и вас отогнать подальше».

«Все переговоры были одно и то же...»

«Иногда назначался летучий отряд с артиллерией. Он двигался вперед, уничтожая запасы горцев. При этом велась перестрелка, обычно кончавшаяся нашим успехом. Часа три-четыре двигались со стороны в сторону, жгли сакли, топтали посевы, иногда забирали добро горцев на повозки и возвращались с добычей домой».

Подлинно ужасная, грабительская, колониальная война. Удивительно, как хладнокровно пишет об этом дедушка.

«Получив сведения о готовящемся нашем движении, горцы обычно собирались перед лесом и заводили сильную оружейную стрельбу, время от времени пуская ядра по строящейся крепости. Мы, видя такое сильное скопление горцев, откладывали свое движение, и все оканчивалось одной стрельбой из пушек».

«В сентябре двинулись мы особым отрядом вовнутрь впереди находившегося леса. Горцы прозевали. Мы заняли лес и тотчас начали его рубить. Горцы пришли, но, уже будучи не в состоянии что-нибудь сделать, отступили, очень горюя о потерянном. Таким образом, отведя область артиллерийского огня горцев подальше от крепости, мы обеспечили строительные работы, которые пошли теперь быстрее и успешнее».

«Движения наши за пределы крепости стали повторяться, вызывая каждый раз истребление горского жилья».

«Природа чудная, местность восхитительная явились нашим глазам. Можно было понять, отчего солдаты так сильно отставали».

«Время шло да шло, укрепление возводилось. Батареи, фасы были уже готовы. Строились здания для офицеров, лазарет, казарма, склад провианта был за одним фасом, внутри укрытый брезентом. Сараи, ротные склады были размещены в землянках вне левого фаса под прикрытием крепостного огня и охраняемые в этом месте крутым берегом реки Адгулак».

«Октябрь и ноябрь стояли сухие, теплые, и за это время все работы закончились и батальон крымцев с четырьмя орудиями был водворен. Затем с каждого полка было выделено по четыре роты, казачий полк, пластуны, шесть орудий и на 30 ноября назначено движение вперед против левого фаса крепости. Остальным же ротам приказано было идти назад на Кубань. Мы, назначенные по жребию, двинулись за реку влево, а остальной отряд в 8 часов утра пошел на квартиры в станицы за Кубань...»

Сейчас, когда я переписываю и кое-где исправляю записки деда, мне кажется ужасным то равнодушие, с которым он упоминает об истреблении горского жилья,

о грабеже имущества горцев, наконец, о вооруженном захвате горских земель. Я вижу прекрасную природу, беспощадно преданную огню и мечу.

Ужасно, ужасно!

Но кто знает, какова была бы судьба народов Кавказа, если бы тогдашняя Россия не победила в этой войне с восставшими племенами, руководимыми знаменитым Шамилем? Что могло ожидать народы Грузии, Армении и Азербайджана, если бы они попали под власть Турции и Ирана, более отсталых государств?

Вероятно, мой дедушка, молоденький подпоручик, ничтожная песчинка в армии, не отдающий себе отчета в том, что происходит в мире, лишенный способности видеть историческую перспективу, жил и действовал почти бессознательно, бездумно, повинуясь скорее биологическим, чем историческим закономерностям.

Но, с другой стороны, можно ли все предвидеть заранее?

Одним из наших поэтов не без яду было написано следующее четверостишие: «Однажды Гегель ненароком и, вероятно, наугад назвал историка пророком, предсказывающим назад».

Хотя и считается, что время течет из прошлого в будущее, но человеческая память очень часто делает поправки к этому предположению, ничем, впрочем, не доказанному, так как точно неизвестно, что такое будущее и что такое прошлое. Человеческая память заставляет сознание возвращаться из будущего или даже из настоящего в прошлое или наоборот.

Дедушка в своих записках нередко возвращается в прошлое для того, чтобы восстановить какое-нибудь событие, ускользнувшее из его памяти. Так, например, он вдруг вспомнил в ноябре, что с ним произошло в августе, и вспомнил это уже на склоне лет, перед своим концом:

«В августе во время стычки при постройке предмостного укрепления однажды я с товарищем своим Витковским зашли на передовую батарею, где как раз стоял караул какого-то полка. Наблюдая шнырявших между деревьями и воспользовавшись временной тишиной, вдру-

малось нам потешиться над горцами. Теперь, на старости лет, делая эти записи и вспоминая мою далекую боевую молодость, я нахожу большой глупостью и мальчишеством то, что мы тогда проделали вместе с моим дружком-одногодком Витковским».

«Пробравшись через батарею между пушек, мы взобрались на бруствер, уселись на него рядом в нескольких шагах один от другого и начали посылать в сторону неприятеля кукиши».

«Расстояние, отделявшее нас от горцев, не превышало 500 шагов. Наши шутки разозлили горцев. Несколько человек в косматых папахах собрались у переднего дерева, довольно толстого, и стали из-за него стрелять в нас. Несколько штуцерных пуль с визгом пронеслось над нашими головами. Мы кубарем скатились с бруствера в ров. Батарея наша ответила горцам залпом из всех орудий. Загремели выстрелы с обеих сторон. На тревогу прискакал начальник отряда. Разобрав, в чем дело, он страшно рассердился и тут же приказал нас, виновников, нарядить не в очередь на работы».

«И поделом!»

Я думаю, следовало бы дедушке и его дружку Витковскому хорошенько надрать уши.

«Однако нет худа без добра: наша глупая выходка показала, что обе стороны не дремлют и бдительно охраняют занимаемые позиции».

«Итак, 30 ноября 1857 года движение наше началось до рассвета. Шли молча, спотыкаясь по неровностям местности. С восходом солнца мы вышли на поляну и построились в ротные колонны, выслав вперед с правой стороны застрельщиков со штуцерами».

«Сперва выстрелы были нечастые, но дальше, когда наши стрелки, поравнявшись с крайними саклями, стали поджигать их имеющимися в роте скоропалительными трубками, стрельба усилилась, загремели и наши пушки».

Что это за скоропалительные трубки? Я думаю, это были картонные пороховые ракеты на палках, которые пускали по горским деревням для того, чтобы поджигать сакли.

«Идя в колонне, повернувшей налево, я оказался сбоку левого фланга, на виду леса, где шла перестрелка».

«...привозили раненых, которых, перевязав на скорую руку, клали в лазаретные фургоны с красными крестами...»

Идя вперед и ведя стрельбу, я вдруг почувствовал, как одна пуля ударила в правый каблук моего сапога, так что я как-то невольно дернул ногу вперед и чуть не упал. Через несколько минут другая пуля ударила в мой меховой воротник сзади. Я схватился руками за затылок. Видя это, взводный унтер-офицер Сердюков, старый седой николаевский солдат в бескозырке блином, сказал:

— Видно, ваше благородие, вас сегодня убьют, недаром ни одна пуля не летит мимо.

— Ничего, братец,— бодро сказал я,— авось помилует! — А у самого сердце так и сжалось».

«Через несколько минут третья шальная пуля с левой стороны угодила в воротник».

Одна секунда, один шаг вперед — и не было бы ни дедушки, ни бабушки, ни мамы, ни меня самого, ни моего младшего брата Жени в этом чудесном, загадочном, непознаваемом мире.

Не могу себе этого представить.

«В то время загремели наши пушки и усилилась стрельба в цепи. Это отогнало горцев, и пули перестали залетать в роту...»

(Что, прибавлю я, сохранило в этом мире дедушку, и бабушку, и маму, и меня, и Женю...)

«В 12 часов, благополучно миновав открытую местность, отряд стал на привал отдохнуть и поесть сухарей».

Пока дедушка, сидя у походного костра, ест сухари, размачивая их в котелке с кипятком, и, сняв сапог, рассматривает каблук, сбитый черкесской пулей, мне вспоминается одна ночь, когда я, подобно дедушке, скатился кубарем с небольшой высотки под Сморгонью.

Наш взвод — две трехдюймовые скорострельные пушки с масляным компрессором и оптическим прицелом — выдвинули вперед, почти на линию пехотных окопов на самом переднем крае дивизии. Мы пришли ночью на

заранее приготовленную позицию, установили орудия с брезентовыми чехлами на дулах и затворах, а сами влезли в глубокие землянки с блиндажами в три наката толстых сосновых бревен и стали устраиваться на ночлег, выставив часовых. В полночь настала моя очередь заступить на дежурство у орудий. Мороз был трескучий, крещенский, и мне дали бараний постовой тулуп, остропахучий и теплый, как печь, и длинный, до самого пола, с чересчур длинными рукавами. Обнажив свой артиллерийский бебут — нечто вроде длинного кинжала, холодного оружия нижних артиллерийских чинов,— и взяв его по уставу к плечу, я стал ходить, топая твердыми, сухими, тоже «постовыми» валенками, возле орудия по твердому, драгоценно сверкающему снегу. Черное небо над бесконечными снегами России мерцало переливающимися крещенскими звездами, и я, живший до сих пор только на юге, был очарован никогда еще мною не виданной красотой северной морозной ночи.

Из-за снежного бугра, у подошвы которого была скрытно устроена наша позиция, время от времени взлетали немецкие осветительные ракеты, обливая местность косо плывущим, как бы лунным светом. От земли до неба стояла торжественная тишина, изредка нарушаемая винтовочными выстрелами. Это наши боевые охранения и патрули перестреливались с немцами. Однако, казалось, это не имеет никакого отношения ко мне — так далеки были мои мысли, так полна была моя душа красотою этой волшебной ночи.

Я взобрался на вершину бугра для того, чтобы увидеть пейзаж во всей его ширине и как бы приблизиться к играющим над моей папахой звездам.

Отсюда открывался еще более восхитительный вид на снежную равнину с темными островами хвойных перелесков.

Несколько осветительных ракет хлопнуло вдали, и яркие их звезды поплыли в небе, облив вершину бугра магическим светом, в котором двигалась моя удлинившаяся тень, плывя по фосфорическому снегу. И в тот же миг я услышал винтовочные выстрелы, и немецкие пули, как стайка птичек со щебетом и свистом, пронеслись над моей головой. Я кубарем скатился вниз, испытав в одно и то же время и ужас смерти, и счастье спасения.

Это было мое боевое крещение.

Впервые со всей очевидностью я понял, что война — это не игрушки и что смерть стережет меня повсюду и может настигнуть в любой миг.

А между тем ночь была вокруг по-прежнему величава и торжественна, и моя душа, сжавшись на секунду от ужаса смерти, снова горела любовью, предчувствием какого-то неведомого счастья, долгой жизни, восторгом перед красотою мира.

Юности так свойственны возвышенные заблуждения!

Мне тогда и в голову не приходило, что в любой миг могут вдруг встать спрятанные в пустынных снегах целые армии, миллионы солдат, сотни батарей, огнеметов, аппаратов для пуска удушливых газов — и все это с воем и грохотом обрушится друг на друга по велению единой сигнальной ракеты, красной звездочкой взлетевшей над верхушками мирного белорусского леса, и уничтожит меня навсегда...

Мне было в ту пору едва лишь восемнадцать лет, судьба меня помиловала, смерть обошла стороной, как деда и прадеда, но через четверть века я испытал в последний раз ее ужасное приближение.

Был горячий, безветренный июль на орловской земле. Кругом неубранные поля, истерзанные только что закончившимся здесь сражением. Кое-где поле было выжжено, и низко над землей тянулся удушливый дымок. Несколько мертвых немецких танков виднелось то там, то здесь. Из люка одной из этих обгоревших машин торчала нога в грубом солдатском башмаке. То и дело под ногами попадались кучи стреляных гильз мелкокалиберных пушек. Солнце только что закатилось за дымящийся горизонт, но безоблачное небо продолжало светиться розовым, ровным тоном июльской зари. Я шел по компасу, отыскивая танковый корпус, куда был назначен корреспондентом. Гимнастерка на спине пропотела, и брезентовые летние сапоги покрыты толстым слоем пыли. Луна посередине неба была едва обозначена белым кружком, обещая яркую лунную ночь. Но пока еще был день или, вернее, тот промежуток между днем и ночью, который в средней полосе России в июле так долго тянется в розовом молчании как бы слегка запыленной природы.

Среди тряпья, железного лома, обрывков каких-то бумажек, трупов, раздавленных танками, в некоторых местах мягко голубели цветы цикория и сине-красные васильки, обычная принадлежность русского поля. Орел был еще в руках немцев, но в ходе войны уже произошел роковой для немцев перелом, и началось их отступление. Все вокруг казалось безопасным. Но вдруг я услышал хорошо знакомый звук немецкого бомбардировщика. Он летел на страшной высоте над самой головой, неизвестно куда направляясь и, по-видимому, не представляя для меня — маленькой одинокой букашки, затерянной среди исковерканных орловских просторов,— никакой опасности. И вдруг в тот самый миг, как я подумал о своей безопасности, я услышал на той неимоверной, страшной высоте зловещий звук, который, вероятно, никто из фронтовиков не забудет до самой своей смерти: звук оторвавшейся от самолета тонновой авиабомбы. Я прыгнул в ближайшую воронку, как будто бы это могло спасти меня от гибели. Но среди военных существует убеждение, что в одну и ту же воронку снаряд попадает в виде редчайшего исключения. Солдаты прыгают под артиллерийским огнем в воронки, сидят там, втянув голову в плечи, надеясь, что снаряд в воронку не попадет... надеясь, но не вполне этому веря, потому что бывали случаи, что и попадал. Я лежал, свернувшись калачиком, на дне воронки, как в кратере вулкана с зубчатыми краями, для чего-то прикрыв голову походным планшетом, в котором носил бритву, мыло, помазок и блокнот с фронтовыми записями. Я понимал, что планшет меня не спасет, но все же крепко прижимал его к фуражке, в то время как мой необычайно обострившийся слух был весь поглощен звуком летящей сверху бомбы.

На войне любой снаряд, любая авиабомба и любая пуля кажется всегда метящей прямо в тебя.

Я знал это, но в данном случае был уверен, что слух меня не обманывает: бомба падала прямо на меня и не было мне спасения от неминуемого моего уничтожения.

Воображению отчетливо представлялась та с каждым мигом усиливающаяся звуковая линия, которая соединяла меня с падающей бомбой. Звук нарастал и настолько разросся, что все вокруг меня как бы померкло, ужас охватил душу, я понимал, что наступили последние секунды моего существования на земле, и в эти последние секунды под ужасающий свист бомбы я не увидел, а как

бы ощутил не только всю мою жизнь от самого рождения до смерти, но как бы соединился таинственным образом со всеми моими предками, как ближними, так и самыми отдаленными. Я как бы сторонним зрением увидел кладбище в Скулянах, о котором тогда еще не имел ни малейшего представления, я увидел Измаил и Браилов, штурмовые лестницы, летящие и дымящиеся бомбы, пылающие сакли горцев, подожженные скоропалительными трубками, в мой каблук ударила штуцерная пуля, кровь лилась по лицу моего прадеда на подступах к Гамбургу, разорвавшийся под Дрезденом снаряд оторвал руку генералу Александру Ипсиланти, и она, эта оторванная вместе с генеральским обшлагом рука, полетела куда-то в сторону вместе с осколками разорвавшейся гранаты; на берегу реки Прут горели кареты петровского обоза; и, тесно прижавшись ко мне, стояли на коленях мои маленькие дети — Павлик и Женечка — и жена, которых я мучительно любил больше всего на свете и которых я видел последний раз в жизни, ужасаясь тому, что через миг ничего этого уже никогда не будет, все это навсегда уничтожится. Звук падающей бомбы, превратившийся уже в нестерпимый визг, вдруг тупо оборвался, где-то в стороне от меня послышался грохот разрыва, и, осторожно выглянув из воронки, я увидел в километре от себя нечто пылающее в клубах черного дыма на небольшом возвышении, где до этого я видел несколько изб. «Моя» бомба разорвалась именно там, а для чего ее туда бросили, я не знал: может быть, там был какой-нибудь склад или, что вернее всего, у немцев на карте была неточно нанесена какая-то цель, казавшаяся им важной.

Бомбардировщик был уже далеко, еле слышен, и вокруг стояла темно-розовая прелестная тишина орловского вечера, и полная луна стала более заметной в зените безоблачного неба.

Во всю длину западного горизонта, еще более подчеркивая тишину, гремел неумолкающий бой. Это наши войска брали Орел.

Я выкарабкался из воронки, счищая с себя сухую глину и почему-то повторяя неизвестно откуда возникшие в моей памяти строки, каким-то образом связанные с моей военной молодостью и происшествием под Сморгонью:

«Не так ли под напев ветров, прозрачная и ледяная, в спиртовом пламени снегов сгорает полночь ледяная».

Но вернемся к запискам деда.

«Видны были горцы, перебегавшие в дальний лес по пути нашего следования...»

«Отдохнув час, пошли далее. Выстрелы загремели. Запылали сакли, сараи, стога сена и скирды хлеба, подожженные скоропалительными трубками, изготовленными в пиротехнической лаборатории нашего артиллерийского парка,— картонные трубки, туго начиненные спрессованной мякотью черного пороха. Стоило поднести к ним тлеющий фитиль, как из них начинали низвергаться фонтаны золотого именинного дождя, сжигая на своем пути все способное гореть: адское порождение невинного дачного фейерверка, который, бывало, зажигали у нас в Скулянах в табельные дни или семейные праздники при хлопанье пробок и звоне бокалов».

«...стали опять приносить на носилках или просто на шинелях раненых...»

«Так шло дело до 4 часов, когда начальник отряда, привстав на стременах и приложив к глазам бинокль, не осмотрел пылающую, дымящуюся, обугленную местность и, с видимым удовольствием разгладив усы, сказал:

— На сегодня хватит. Отбой!»

«Он приказал отозвать назад стрелков и штуцерных, из которых многих недосчитались: они легли там, среди обугленных развалин и догорающих саклей».

«В пять часов пошли назад. Пришли поздно. Палаток уже не было, так как отряд, ушедший на Кубань, забрал их с собой. Под открытым небом развели мы костры, сварили кашу, подсчитали невернувшихся товарищей и легли на голую землю, положив под голову ранцы, укрывшись шинелями и бурками, у кого они были, и заснули тягостным сном под маленькой холодной луной, стоявшей над нами посередине неба».

...той самой луной, которая через много лет после этого стояла надо мной в розовом небе под Орлом, той самой луной, которая много лет раньше светила над прадедушкой под Браиловом, под Дрезденом, под Гамбургом, той самой луной, которая и ныне освещает заброшенное кладбище в Скулянах, его сухую серебристую полынь, его изъеденные временем, вросшие в землю мраморные плиты с разноязычными надписями...

...той самой луной, на которую уже ступила нога человека — разрушителя и созидателя.

«1 декабря в 8 часов утра выступили на Кубань и мы. Пришли к вечеру, и тут же началась переправа, длившаяся часа два или три. Было очень холодно, как верно говорит пословица — «гнуло в дугу». Наконец переправилась и наша рота. Нам, офицерам, отвели какую-то комнату на почтовой станции. Остальные части разместились тут же невдалеке. Переночевав кое-как на грязном полу, напившись чаю, пошли в станицу Ивановскую, где назначена была зимовка».

«Станица была мне уже известна по командировке прежним летом произвести какое-то следствие. Тогда я стоял в хате у некой Пухинихи, разбитной, веселой казачки».

Что за Пухиниха? Имя, прозвище, фамилия? Неизвестно, об этом дедушка ничего определенного не написал. Пухиниха и Пухиниха. Об остальном можно только догадываться.

Обольстительная казачка. Вероятно, черноглазая. А может быть, просто веселая вдова-старуха.

«Теперь я было опять поселился у нее, но увы! Через некоторое время последовало распоряжение о сформировании трех стрелковых рот и упразднении 4-го батальона. Страсть начальства к постоянным переформированиям! Беда, да и только!»

«Я получил назначение во 2-ю стрелковую роту поручика Гончарова и перешел жить к нему. (Хороший был человек. Теперь он генерал и командует бригадой.)»

«Да, совсем забыл сказать выше: когда 30 ноября ходили мы в набег против горцев, застрельщиками нашими командовал офицер младше меня — князь Руслев, произведенный в офицерский чин в Мингрельском гренадерском полку за боевые отличия. Очень милый молодой человек, не захотевший идти внутрь России. Он и прапорщик Чиляев — оба произведенные одновременно — через полгода перевелись в Тифлис».

«У Гончарова жилось мне недурно, но скучно. Виделись мы утром за чаем, в 12 часов за обедом, иногда перед вечером, прежде чем по обыкновению отправлялись

в гости к полковому адъютанту Иванову, человеку семейному, имеющему бездетную жену. Ивановы жили вместе с ротным командиром Карташовым, женатым на сестре мадам Ивановой, молодой веселой барыне из Одессы».

Мог ли в то время дедушка предвидеть, что у двух прелестных сестер-одесситок мадам Ивановой и мадам Карташовой есть еще младшая сестрица, которой впоследствии суждено было стать моей бабушкой?

«Вскоре мы довольно тесно сошлись с моим ротным командиром Гончаровым. Наслушавшись моих рассказов о Пухинихе, Гончаров захотел и сам побывать у нее».

...Ангел смерти вынул мою душу и унес ее неизвестно куда, вернее всего, рассеял по всей вселенной. Но тело мое, четырнадцать раз раненное во время Отечественной войны, осталось на кладбище в Скулянах...

«Однажды вечером человек поручика Гончарова подвел к дверям его верхового коня, покрытого, как попоной, длинным кавказским ковром. Мы вместе с поручиком Гончаровым вышли из дома и, усевшись вместе верхом на длинного коня, поехали к Пухинихе».

«Грязь была великая, тьма кромешная, и только шагом на умном коне можно было добраться до цели нашего путешествия».

«Мы застали Пухиниху одну с сестрой. Познакомив Гончарова с сестрами, я сказал, что мы приехали ради скуки, надеясь, что, может быть, здесь нам будет веселее, причем приказал приготовить чай. Пухиниха быстро распорядилась чаем, послав сестру за местными молодыми казачками. Через каких-нибудь полчаса чай был готов и гостьи пришли, придерживая юбки, задрипанные грязью».

Начался шум, говор и пение кубанских старинных песен, которые, как известно, по всему казачьему Причерноморью были на редкость хороши».

«Вечер прошел незаметно и весело».

Я думаю, нечто подобное этой вечеринке, но неизмеримо талантливее описал Лев Толстой в «Казаках».

«...собравшись в 10 часов домой, мы с поручиком Гончаровым, сам-друг, прежним порядком поехали верхом на одной лошади, сказав, что в воскресенье будем опять».

«В то время мой Султан стал хромать. Появились мокрецы. Приходилось лечить его, как некогда Дагобера. Лечение шло успешно, но полковой коновал, призванный мною, сказал:

— Проваживайте коня, ваше благородие, но не ездите».

«Совет хороший, но очень скучный. Однако поневоле приходилось ему следовать. Все же в воскресенье мы опять собрались вечерком к Пухинихе. На этот раз мы заехали по дороге в местную лавку и накупили мелких сладостей, то есть изюму и каленых орехов. Наше угощение, по-видимому, очень понравилось гостям Пухинихи. Разговоры были веселые, песни пелись чаще, глаза молодых казачек блестели жарче, румяные губы многообещающе улыбались...»

На этом месте описание веселой вечеринки у гостеприимной Пухинихи обрывается, и можно лишь предполагать его продолжение. Во всяком случае, думаю, без жарких поцелуев в темных холодных сенях дело не обошлось.

Но дедушка в своих записках был крайне осторожен.

«Приближалась весна. Стало солнышко пригревать. Черноземная грязь подсыхала, а вместе с тем начались стрелковые учения. Собственно стрельбы, огня, было не очень много, а так себе, для препровождения времени, чтобы солдатики наши, да и мы, их офицеры, не забывали службу. Вместе с тем пошли слухи, что снова пойдем за Кубань, но только на этот раз с другой стороны».

«Это было в конце февраля. А в половине марта получился приказ выступать».

Вот тебе и поездки к Пухинихе, вот тебе и молоденькие казачки, их карие и черные глазки, их жаркие поцелуи в ледяных сенях. Прощайте!

«Солдатушки-ребятушки, где же ваши жены? Наши жены — ружья заряжены, вот где наши жены!»

...Да с присвистом, с присвистом...

«Опять забыл записать, что в половине января я с одним офицером выпросился в Екатеринодар, столицу казачьего войска, верст за сто от нашей стоянки».

«Выехав утром рано на санях, мы к вечеру приехали на почтовых. В город въехали на колесах. Началась оттепель, и в городе была такая страшная грязь, что посре-

ди главной улицы мы увидели громадный тарантас, застрявший в грязи».

«Остановились в местной гостинице. Помещение неважное. Но для нас, давно не видевших лучшего, было хорошо. Чай и обед тоже были хороши. Пробыв два дня, накупивши что нужно, рано утром третьего дня отправились домой на перекладных. Снегу стало очень мало, но ехали скоро и к вечеру были дома».

На старости лет дедушка почему-то вспомнил эту ничем не замечательную, даже как бы бессмысленную поездку на два дня в Екатеринодар, как говорится, «за сто верст киселя хлебать».

Догадываюсь, почему эта поездка вспомнилась дедушке. Для каждого, кому хоть когда-нибудь довелось попасть с фронта в тыловой город, на всю жизнь остается в памяти это событие.

Подобное испытал и я в своей военной молодости, поэтому могу себе представить, как два боевых кавказских офицера въезжают на перекладных в тыловой Екатеринодар. Здесь, правда, тоже чувствовались отголоски войны с горцами, но совсем по-другому, не так, как в дальних кубанских станицах, в горных аулах, на проселках, вырубленных в девственных лесах.

Проехал рысью казак-ординарец с казенным пакетом, засунутым за обшлаг рукава,— посыльный из штаба; его конь с трудом выдирал копыта из грязи со звуком хлопающей пробки... Проехали две артиллерийские упряжки, таща за собою пушку — видно, на ремонт в артиллерийский парк. Из казармы слышался хор солдатских голосов, стройно певших «Спаси, господи, люди твоя и благослови достояние твое» — обычную молитву после вечерней переклички. В церкви благовестили ко всенощной, и над колокольней совсем по-зимнему кружились галки. Дома были одноэтажные, иногда двухэтажные, каменные, особняки. Но попадались и трехэтажные, кирпичные, по-провинциальному затейливые. В окнах их за занавесками, за зеленью комнатных растений — фикусов, рододендронов — уютно светились олеиновые или керосиновые лампы, иногда под цветными абажурами. Мелькали тени, среди которых молоденькие офицеры не без волнения угадывали стройные женские силуэты со взбитыми прическами. В освещенных магазинах виднелись заманчивые товары. В вит-

ринах аптек с двуглавыми орлами пылали алым и синим огнем громадные стеклянные графины, наполненные подкрашенной водой. К подъезду большого здания с колоннами — гарнизонного собрания — пробирались гуськом солдаты музыкантской команды с медными трубами, флейтами, тромбонами и тарелками — видно, здесь предстоял танцевальный вечер.

Все это волновало молодых офицеров, предвидевших радости двух- или трехдневной свободы в заманчивом тыловом городе.

«Пошли, потянулись те же однообразные гарнизонные будни, и продолжалось это до половины марта, когда было получено приказание выступать на новую экспедицию. Я был послан с командою в пятьдесят человек хлебопеком, чтобы сохранить сухарный запас».

«Было и тепло и холодно. Когда греет солнышко — тепло. Когда облачко — холодно. Чем дальше шел я со своей командой, тем делалось теплее. К Пасхе пришли в станицу Лабинскую. Дневка на отдых, а потом опять в дорогу. И так далее».

«Наконец пришли к месту назначения, в станицу Прочный Окоп. Станица на крутом берегу реки Кубань, очень укрепленная, имеющая на валу пушки».

«Мы приготовили хлеб и, дождавшись прихода своих, сдали им хлеба, а затем я с отрядом переправился через реку и пошел дальше, но уже с осторожностью. Стоверстный поход с остановками в некоторых вновь построенных станицах ничего дурного не предвещал. Горцы показывались группами не более двух-трех человек и, видя мою вооруженную команду в пятьдесят человек, не нападали, следя лишь только за тем, не отстанет ли кто-нибудь из наших. Зная привычку горцев нападать на одиночек, я строго следил за своей командой».

«Придя в станицу, в которой назначено было очередное хлебопечение, я обратился с требованием в провиантский магазин, а также к квартировавшей здесь роте Крымского полка за некоторыми вещами. Получив все нужное, мы приготовили хлеб, я сдал его своему полку, а затем пошел далее».

«Помню один случай, бывший со мной по дороге. Переночевав в попутной станице, я утром послал унтер-офицера в станичное правление за подводами и стал ждать их прибытия. Возвратившийся унтер-офицер доложил, что

подвод не дают без приказания станичного атамана. Это крайне меня взбесило, и я тотчас отправился к станичному атаману. Придя на квартиру, спросил, где станичный атаман, и, получив указание, с маху отворил дверь, идущую прямо из сеней, где на табурете сидел дежурный казак с чубом из-под фуражки, внутрь дома».

«Это оказалась спальня».

«Налево возле дверей на высокой кровати лежала молодая жена атамана, то что называется «дезабилье», то есть совершенно раскрытая, в чем мать родила, и весело о чем-то болтала со своим мужем, станичным атаманом, который сидел возле стола».

«Что называется — табло! Ха-ха!»

«Я, конечно, очень поразился, хотя и не подал виду».

«Раздался женский крик, визг, возня... Лежавшая дезабилье дама укрылась с головой стеганым одеялом, из-под которого виднелся всего лишь один ее хотя и испуганный, но тем не менее довольно хорошенький любопытный глаз, опушенный густыми ресничками».

«Атаман, молодой казачий офицер из немцев, вскочил со стула, но я, как будто бы не замечая поднятой мною суматохи, сказал весьма официальным тоном, что нужны подводы».

«Атаман, вежливо указав рукой на дверь, попросил меня следовать за ним в соседнюю комнату, где, усадив меня на стул, с величайшим, чисто немецким самообладанием стал писать записку в станичное правление, которую, написав, с корректным поклоном подал мне, хотя руки его при этом сильно дрожали. Извинившись за свое невольное вторжение в его, так сказать, семейное святое святых, виной которого был дурак вестовой, указавший мне не ту дверь, я распрощался и удалился, будучи и сам несколько фраппирован этим пикантным происшествием».

«Придя домой, я тотчас послал унтер-офицера с запиской атамана за подводами и, без затруднения получив их, выступил в поход».

Не берусь утверждать, но думаю, что образ обольстительной атаманши неглиже еще долго тревожил воображение дедушки, заняв свое место в ряду жены интендантско-

го чиновника, дочки помещика Маклакова, поповны и всех хорошеньких казачек из числа гостей продувной бабы Пухинихи.

«Через несколько дней я пришел в укрепление Надежное — место стоянки нашего 1-го батальона, где должны были строиться укрепления для станицы Сторожевой, куда должны были прибыть новые поселенцы с Дона. Линейный батальон, тут стоявший, уходил в Пенбабский отряд».

«...занимался печением хлеба. Ничего не поделаешь. На военной службе ни от чего не откажешься...»

«Через неделю пришел наш батальон с полевым штабом. С 25 апреля начал он приемку казарм и церкви, бывшей в Надежном. Литовцы ушли, оставив сдатчика. Казармы четырехротные оказались очень плохи. Канцелярия получше. А офицерские флигеля совсем хороши. Хорош и прочен оказался также дом командира, а также два офицерских флигеля: сбоку одного из них и даже позади через крепостную стену оказался довольно хороший, хотя и небольшой фруктовый садик на возвышенном берегу реки Большой Зеленчук, через которую был перекинут небольшой мост».

Апрельское солнце сияло, трава зеленела, в ней чернели круглые, маленькие, очень глубокие норки тарантулов, было жарко, и яблони, вишни, груши были осыпаны душистым цветом, так что когда дедушка проходил под ветвями цветущих деревьев, подняв к небу свое узкое лицо с еле пробивающимися усиками и бакенбардами и голубыми глазами, унаследованными от матери, то на его плечи бесшумно слетали розовые, белые, зеленоватые лепестки, а над головой с посвистыванием, как маленькие пульки, проносились пчелы, и трудно было представить, что где-то в горах и лесах прячутся горцы, каждую минуту готовые напасть на станицу.

Душа была полна радости, умиротворения и беспечности. Казалось, что повсюду на земле наступил вечный мир под этим прелестным хрупко-голубым апрельским, не то русским, не то кавказским небом.

«Слева между фасом казарм и офицерского флигеля имелись ворота, открываемые на форштадт, где были построены в одну небольшую улицу дома женатых солдат,

огороженные особым высоким плетнем со щелями для стрелков. Плетневая эта стена оканчивалась воротами, выходящими на мост».

«С выступлением из Ивановской я был переведен в 1-ю стрелковую роту капитана Карташова, человека семейного, женатого на свояченице полкового адъютанта Иванова, о чем я, кажется, уже имел случай упомянуть ранее. Обе семьи жили вместе, занимая три очень большие и светлые комнаты с просторным крыльцом».

«Упоминаю о сем, так как впоследствии это имело влияние на всю мою дальнейшую жизнь».

...и на самый факт моего появления на свет, могу добавить я в качестве внука своего дедушки...

«Я вместе с прапорщиком Дмитрием Константиновичем Попаленко поселились на форштадте, где и поставили своих лошадей».

«На левой угловой башне, где находилось орудие и откуда был виден передний левый фас, а также ворота форштадта, возле моста на ночь ставились часовые. Впереди укрепления, шагах в шестистах, строили переднюю стенку — два густых плетня в сажень высотою, засыпанные в середине землею. Позади этой двойной стенки устроили низенькую завалинку, также из плетней, набитых землей, так называемый б а р б о т, на который становились солдаты с ружьями в случае необходимости открыть огонь. Такая стена с барботом тянулась на протяжении всего переднего фаса, на пятьсот шагов, имея на углах по батарее с одним орудием, обстреливавшим передний и боковой фасы. Подобная же стена шла по левому фасу, имея на середине батарею также из одного орудия да укрепления также по правому фасу».

«Впрочем, пока это все выстроилось, прошло довольно много времени, почти шесть месяцев».

Как говорится, время шло, а служба тоже от него не отставала.

«1 мая пришли поселенцы, казаки с Дону. Поставили их на места, назначенные для станицы, разбили кварталы, наметили колышками улицы, протянули канаты, и пошла постройка хат. Тут же появились маленькие казачата в ситцевых рубашках, босые, в бараньих шапках и сразу начали ловить тарантулов, опуская в ямки длинные нитки с мягкими восковыми шариками на концах. Тарантул

вцепится в шарик, завязнет, тут его и вытаскивают на свет божий — страшного, черного, лохматого, со злыми глазками...»

«Днем солдаты строили стены из плетней и батареи, а также ходили на прикрытие пастьбы — по одной роте, с одним орудием на каждое пастбище. Опасались набегов горцев».

«Жители-новоселы под нашей охраной спешно строили себе хаты, а пока что ночевали кое-как — в шалашах, времянках или просто под открытым небом».

«...кроме того, ходили мы на рубку леса — одна рота при орудии и полсотни казаков».

«21 мая получилось приказание выслать сотню казаков с ракетным станком, конвоировать командующего линией генерала Филипсона, прибывающего к нам для осмотра строящейся станицы. Утром рано сотня ушла, сделав предварительно объезд кругом, но не заметила ничего подозрительного».

«Секреты — впереди, в ущельях и наверху. Скот донских переселенцев — молодняк — выгнали на пойму за передний фас станицы под прикрытием одной роты штабс-капитана Равича, при одном орудии. Возле квартиры командира полка приготовили почетный караул под моим начальством».

«Я был в парадной форме, в маленьких сапогах. Начальство тоже. Приехал Филипсон, принял почетный караул и отправился в станицу».

«...сотня вываживала лошадей на форштадте...»

«Придя домой, я расстегнул тесноватый парадный мундир и сидел на кровати, разговаривая с Поповским».

Представляю себе приподнятое настроение дедушки, который только что в парадной тесноватой форме, в ярко начищенных коротеньких парадных сапожках, в замшевых перчатках, с рукой, лихо взятой под козырек, без запинки отрапортовал приезжему генералу о том, что на линии никаких происшествий не случилось, почетный караул построен, а генерал милостиво подал ему руку тоже в замшевой, но более дорогой перчатке.

«...и вдруг прозвучало несколько выстрелов. В ту же минуту казаки, вываживавшие своих лошадей на ярко-зеленом лугу, замундштучили их и понеслись на выстре-

лы. Во двор наш влетел денщик Поповского на моем Султане, крича:

— Ваше благородие, беда! Горцы напали, отбили табун и погнали в ущелье!»

«Услышав это, мы с Поповским вскочили как были незастегнутые, схватив пистолеты и шашки, и побежали в станицу. Шум, гам, формируется команда из партизан и посылается вперед. Пробегая станицу, вижу общую картину: бабы-переселенки повсюду плачут о своих коровушках. Человек двадцать тащат на вожжах какого-то горца в порванном бешмете, без шапки, с бритой головой. Он бормочет что-то неразборчиво, показывая какую-то измятую записку...»

«Вдруг он упал на землю».

«Мгновенно несколько винтовок было направлено на него. Раздались выстрелы. В воздухе блеснули выхваченные из ножен шашки... И человека не стало».

«Оказалось, что это так называемый «мирной» горец, приехавший вместе с генералом Филипсоном и заскочивший несколько вперед от генеральской свиты. Обезумевшая толпа не рассуждая схватила его и потащила на вожжах в штаб отряда, добравшись до которого он был бы спасен. Но, на грех, он споткнулся, упал — и всему конец!»

«На безумные лица казаков страшно было смотреть. Они наводили ужас».

«Я побежал дальше и, наконец нагнав роту, пошел с ней как был в расстегнутом парадном мундире и коротких парадных сапожках».

«Выстрелы впереди раздавались весьма часто...»

«Между тем дело было так: горцы, подкравшись к нашему секрету, моментально его изрубили, а затем в числе шестисот всадников понеслись на станицу, охватывая кольцом разбегающийся скот, который по тревоге барабанов и горнов стал сгоняться своими погонщиками. Пока, поймав одного, ловили другого, подоспели горцы и стали рубить поводья, угоняя лошадей; сопротивлявшимся же погонщикам рубили напрочь головы. Все это происходило на глазах генерала Филипсона, который со всем своим штабом стоял в двадцати шагах перед возводимой плетеной стеной».

«75 человек роты Равича стояли на месте, охраняя пушку. Двадцать горцев, выпалив из ружей, пронеслись из одного ущелья сквозь стадо вперед, в другое ущелье. Весь

скот — лошади, волы и коровы — шарахнулся за ними, а остальные 580 горцев сзади, отстреливаясь, поскакали во всю прыть. За ними в погоню выскочили казаки — человек восемьдесят из сотни. Они нагнали горцев уже во втором ущелье. Но что они могли сделать против 580?»

«Пехота, бывшая на работах перед нападением, ушла в укрепление Надеждинское обедать. Выскочив по тревоге в одних рубашках, с ложками за голенищами, они побежали преследовать горцев, но, конечно, не догнали. Впереди в пыли мелькнули только плоские папахи, похожие на вороньи гнезда. Конный пешему не товарищ».

«Для того чтобы пересечь путь горцам, мы, пехота, взяли вправо и на страшной высоте, по крутизне, надеялись перерезать горцам путь. Страшно устав, оборвав всю обувь, мы часа через два перевалили поперечные горы, но с высоты увидели, что горцы далеко впереди, тут мы остановились, вытащили из болотного провала брошенную горцами корову, принадлежащую нашему батальонному командиру подполковнику Клостерману».

«Возвратились в станицу: везде уныние, рассказы о разных случаях, бывших в течение этого страшного часа. Вот как прошло 22 число прекрасного солнечного майского дня».

На всю жизнь остались в памяти дедушки изрешеченное пулями, изрубленное шашками тело «мирного» горца, по ошибке убитого озверевшими казаками, и две окровавленные головы погонщиков, снесенные горскими шашками, острыми как бритвы. Эти даже не отрубленные, а как бы напрочь мгновенно срезанные головы катились по яркому лугу поймы, где еще совсем недавно казачьи ребятишки так беззаботно ловили тарантулов.

«Того же числа в 4 часа Филипсон уехал в Ставрополь. Все пошло своим чередом: заботы, пастьба оставшегося после набега горцев скота, хождение в лес и т. д.».

«Через неделю приехал военный следователь...»

«Надо еще сказать, что после 22 мая полковой квартирмейстер штабс-капитан Рубин, вздумав услужить командиру полка, отдал приказ, что во время перестрелки в тот несчастный день была убита 41 казенная лошадь и для осмотра этих убитых лошадей назначается комиссия в составе подполковника Мокреца, меня и прапорщика Поповского. Комиссия должна была представить акт. Это было через неделю после набега горцев, и мы, ходившие

в это время на рубку леса, видели несколько костей животных, не более. Но как же нам следовало поступить, если приказом, назначавшим нас в комиссию, мне и Поповскому был прислан подлинный акт, где были прописаны все кони — числом 41,— будто бы убитые. Акт этот был уже подписан Мокрецом».

«Думали мы, думали с Поповским, ничего не придумали, кроме как взять да и подписать акт, что мы по своему легкомыслию и сделали».

«Полк, получив такой акт, сейчас же представил его комиссариатской комиссии с просьбой отпустить деньги на покупку новых лошадей».

«Через две недели приехал следователь, полковник,— забыл его фамилию — и приступил к делу. Сначала все шло хорошо, но неделю спустя следователь с некоторыми нашими офицерами вздумал покутить, что по кавказскому обычаю было не в редкость. Когда в полночь шум кутежа стал разгораться, подполковник фон Клостерман, который оставался за командира полка, уехавшего на воды в Пятигорск, не мог перенести этого шума. Он вышел во двор укрепления и стал кричать на офицеров, кутивших со следователем. Произошла ссора между фон Клостерманом и следователем. Офицеры разошлись. Но дело приняло дурной оборот».

«На другой же день мы, комиссия, получили дополнительные вопросы: указать отряд, сопровождавший нас при осмотре убитых лошадей, причем назвать людей отряда поименно для опроса, при каких именно обстоятельствах производился осмотр убитых лошадей».

«Получив такие запросы, мы с Поповским вдвоем пошли к Мокрецу спросить, что делать. Он ответил нам:

— Не знаю, что хотите, то и пишите».

«Вот те на!»

«Придя домой в свою палатку, мы написали, что осмотра убитых лошадей не было, что приказ отдан задним числом, были ли убитые лошади — не знаем: готовый акт был прислан нам из полковой канцелярии, и мы подписали его».

«Представив рапорты, мы стали ждать, что будет, зная хорошо, что ничего доброго не будет».

«Скоро следствие кончилось, следователь уехал».

«...несколько раз была тревога: горцы подходили, мы их прогоняли; ходили в лес на рубку. В конце октября вышла

колонна в лес. Клостерман был за старшего, я — батальонным адъютантом. Рубка прошла спокойно. К вечеру пришли домой. На дороге сломалась ось у двух повозок, взятых нами у переселенцев. Клостерман приказал оставить их на месте с пятью казаками конвоя...»

«С заходом солнца стало холодать. Ветер из ущелья сделался порывистее. Между тем поправка осей замедлилась. Пять казаков, два подводчика и я — вот все, что было в диком ущелье. Положение не из приятных. Наконец оси исправили, и мы тронулись. Часов в 9 вечера были уже дома. Явившись к Клостерману, я рапортовал о благополучном прибытии».

«Однако меня, видно, сильно продуло в ущелье. На другой день я почувствовал какую-то слабость и отсутствие аппетита, но ничего не предпринял, врачу не сообщал, а так промаялся».

«Прошла неделя, а состояние мое становилось все хуже и хуже. Пригласил доктора Родзевича, который прописал мне какую-то микстуру и сказал, что у меня была просто лихорадка, но кто его знает, может, начнется и тиф».

«Подождем!»

«На другой день не лучше. Лихорадки как будто нет, а силы мои все убывают. Последовал приказ отправить меня в Ставрополь в больницу. Доктор Родзевич явился и сказал, что он меня записал. Надо собираться!»

«Предстояло ехать верст восемьдесят с оказией, то есть при казачьем конвое с пушкой, так как по дороге все еще пошаливали горцы».

Таким же способом и примерно в тех же местах езжали Пушкин, и Лермонтов, и Лев Толстой. Езжал и мой дедушка.

«Меня собрали и, уложив в мою повозку, отправили при первой оказии. При мне был мой денщик Иван, который ухаживал за мной, как нянька».

«Спасибо ему! Никогда не забуду!»

«Во время езды мне было легче, но при остановках ужасно нехорошо. Ночевали возле укрепления станицы Каменный Мост. Ночь прошла слава богу. Повезли далее.

Все дурно, все хуже и хуже. Аппетита никакого. Тошнота. К вечеру приехали на Кубань в станицу Баталпашинскую».

«Мне все хуже и хуже. Почти уже ничего не соображаю, живу как в тягостном тумане».

«После Баталпашинской езда уже одиночная, без конвоя. Оказия кончилась. Не страшно: река разлилась широко, горцы не нападут. Выехав из упомянутой станицы, я впал в бесчувствие. Мой бедный Иван вез меня далее, останавливаясь на ночлег в попутных станицах. Не помню, на какой день достигли мы Ставрополя. Не помню даже, как приняли меня в госпиталь. Смутно помню лишь, как на другой день Иван отправился обратно в отряд, а меня осмотрел дежурный врач, сказав, что нет мне спасения и нужно к вечеру выписать меня в покойницкую, ибо к вечеру я непременно умру».

«Так бы со мной и поступили, если бы не случившийся тут мой товарищ юнкер Русанов, который буквально вымолил у доктора оставить меня в палате до завтра — может быть, я очнусь. Доктор после долгих пререканий согласился. Я остался в палате. В полночь пришел в себя, простонал, но ничего не мог выговорить: от сильного жара потрескался язык, и я был не в состоянии произнести ни одного слова. Подошел фельдшер. Я показал ему на свой язык. Мои открытые глаза, движение руки показали фельдшеру, что кризис миновал и теперь нужно только поддержать организм, который сильно ослаб».

«Помазав мне язык кисточкой с разведенным медом, фельдшер стал ободрять, успокаивать меня. В 10 часов утра пришел доктор и очень удивился, что я жив. Прописавши мне какую-то микстуру, он ушел, причем у меня создалось такое впечатление, что он не совсем доволен тем, что я как бы не подтвердил своей смертью его предсказания».

...так сказать, подорвал его авторитет в глазах низшего больничного персонала...

«К моей койке стали подходить разные юнкера, бывшие в палате; подошел фельдшер; начались расспросы, разговоры, но я только пожимал плечами, будучи не в состоянии пошевелить распухшим, потрескавшимся языком».

«Через неделю мне стало лучше. Я уже мог произнести несколько невнятных слов».

Тут дедушка прибавляет свою любимую фразу:

«Так тянулось время...»

«Через месяц появился аппетит и вполне здоровый сон. Я быстро поправлялся».

На этот раз неосознанная попытка дедушки хоть на несколько дней укрыться от тягот походной жизни, от неприятностей, связанных с подписью акта насчет убитых лошадей, подкинутого ему жуликоватым интендантом, желание освободить свою пленную мысль от принудительных представлений, оказались чуть ли не роковыми: с кавказской лихорадкой — малярией — не шутят. Дедушка чуть не угодил в мертвецкую, откуда вряд ли бы уже выбрался живым. Он чудом вернулся к жизни. И, находясь между жизнью и смертью, в том ужасном и вместе с тем блаженном состоянии как бы душевной невесомости, он в своем погасающем воображении заново переживал кровавые события, о которых, уже на старости лет, он так безыскусно и так правдиво поведал в своих записках, нацарапанных плохо разбираемым почерком. Ничтожная песчинка среди великих и малых исторических событий XIX века, он жил общей армейской, ничем не замечательной — временами кровавой, временами безумно скучной — жизнью, которая, как всякая человеческая жизнь, всегда достойна художественного изображения хотя бы единственно для того, чтобы потомки имели достоверные свидетельства о жизни своих отцов, дедов и прадедов.

В истории человечества не бывает незначительных событий.

...Отпущенный дедушкой обратно в свою часть, ехал денщик, старый, еще николаевский солдат в бескозырке блином, в шинельке, подбитой ветром, с седыми усами и бакенбардами, из которых высовывался колюче-бритый солдатский подбородок, ехал среди причерноморских степей, в виду предгорий Кавказа, где все еще шумели незамиренные племена, трясясь на попутной фурштадтской повозке, и время от времени вытирал рукавом слезу, повисшую на усах: он не чаял уже когда-нибудь увидеть своего господина, умирающего в ставропольской больнице...

«Не за горами уже было то время,— читаем мы в книге французских историков Лависса и Рамбо «История XIX века»,— когда великий героизм русского народа, прояв-

ленный им во время всех войн XIX века, в которых участвовала Россия (...и в которых участвовали мои прадед и дед...), должен был сказаться в вооруженной революционной борьбе против своих хищников и своих интервентов...»

Предки мои, проливая кровь от дельты Дуная, от Добруджи и предгорий Карпат до Батума и Карса, героически сражаясь в Севастополе, подобно Петру, давшему России выход в Балтийское море, окончательно закрепили за Россией громадную полосу Причерноморья, навсегда открыв для нее путь в Средиземное море, от которого она до тех пор была отрезана турками.

Впрочем, если читателю все это неинтересно, если его до сих пор не увлекла судьба молоденького кавказского офицера, бессознательно совершающего свою более чем скромную, но все же историческую роль русского воина, то лучше бросьте эту книгу, так как вы ничего не найдете в ней особенно любопытного, кроме, быть может, истории женитьбы моего деда, а также участия прадеда в сражениях достославного Двенадцатого года и некоторых моих личных воспоминаний о первой мировой войне, участником которой я был.

«В конце ноября я узнал, что наш полковой командир полковник Чихачев, прибыв из Пятигорска и направляясь к своему полку, остановился в Ставрополе. Я пошел явиться к нему. Он встретил меня приветливо, советуя полежать еще в госпитале, но я сказал, что думаю поправиться среди своих боевых товарищей в полку и потому уже подал рапорт о выписке из больницы».

«Чихачев пожал плечами: редкий случай, когда офицер отказывается несколько лишних недель пролежать в госпитале. Вероятно, у меня вид был очень жалкий, потому что полковник Чихачев, посмотрев на мое пожелтевшее, исхудавшее лицо, измученное малярией, предложил мне взаймы денег. Я поблагодарил и отказался, сказав, что я не играю, не пью и деньги у меня есть. Вновь пожав плечами и усмехнувшись, Чихачев простился со мной».

«Хотя день был ясный, но морозный, вдыхать не комнатный, а открытый воздух было приятно. Обратно я пошел уже пешком, почти не чувствуя усталости. Силы мои заметно восстанавливались. По дороге я зашел в лавку, купив на дорогу чаю, сыру, сахару, сухариков».

Дома приятно было рассматривать, разложив на больничной койке, покупки, аккуратно упакованные лавочником-армянином в грубую оберточную бумагу и крепко перевязанные тонким шпагатом. Приятно было извлечь на свет божий небольшой цибик с латунной застежкой, обклеенный бумагой с разноцветными картинками, где в середине в свинцовой оболочке хранился душистый китайский чай. Приятно было держать в руках тяжеленную литую сахарную голову, выглядывающую из синей толстой бумаги, как снежная верхушка Эльбруса. Сухарики аппетитно шуршали в пакете, а головка красного голландского сыра с оранжевым разрезом источала тонкий запах, возбуждавший аппетит. Ямайский ром булькал в толстогорлой черной бутылке, и ярко-желтые лимоны распространяли вокруг свой свежий аромат, тут же смешавшийся с надоевшим запахом больничной карболки.

«Я почувствовал себя после прогулки по городу совершенно здоровым, бодрым и был очень доволен, получив в тот же день разрешение выехать в полк, к товарищам, без которых я уже, признаться, соскучился».

Вот как быстро меняется на военной службе настроение!

«Пообедав с аппетитом (дедушка никогда не упускал случая отметить этот факт) и поговоривши на сон грядущий с юнкером Русановым о том о сем, в последний раз я лег спать на свою надоевшую мне госпитальную койку. Утром, часов в восемь, явился я в контору госпиталя, получил прогоны, пообедал пораньше и, в час дня выехав, прибыл на следующий день в станицу Б., где стал на квартиру, ожидая прихода оказии».

«Через несколько дней оказия пришла, и я, примостившись на одной казенной полковой подводе, где, кстати сказать, везли деревянный ракетный станок, напомнивший мне одну из наших стычек с горцами, когда в толпу черкесов летели, шипя, огненные змеи наших боевых ракет, зажигая плоские крыши саклей, поехал шагом, рассчитывая к вечеру быть во вновь построенной станице Исправной, где стоял 2-й батальон под командованием Войткевича, того самого офицера-зверя, который недавно на моих глазах насмерть забил сапогами больного малярией унтерофицера Гольберга, о чем я уже упоминал в этой тетрадке...»

«Ужасное воспоминание!»

«К вечеру пришли на место. Хотя было неприятно-холодно, но это способствовало более скорому ходу конвоя: чтобы согреться».

«Я остановился у офицера Анатолия Васильевича Горбоконя. Это был мой лучший товарищ, который обрадовался, что я жив. Долгий вечер прошел в разговорах с милейшим Горбоконем. Наутро я собрался в дальнейший путь в свое Сторожевое. Горбоконь дал мне своего Бурого, на котором я и поехал, а также послал со мной своего денщика, чтобы потом привести коня обратно».

Молодцевато сидя в казачьем седле, дедушка ехал то шагом, то рысью, и вокруг него раскрывался знакомый пейзаж с белыми вершинами Кавказского хребта, откуда потягивало холодком.

«Прибыв в Сторожевое, я вступил в должность свою батальонного адъютанта. Еще до этого, лежа в госпитале, я прочел в старых номерах «Русского инвалида» о производстве меня в подпоручики 27 мая 1858 года, а в декабре по прибытии в полк узнал о своем производстве в поручики 10 ноября».

«В полку я нашел все благополучно. Надел новые погоны с тремя звездочками, адъютантские аксельбанты и почувствовал себя настоящим боевым кавказским офицером. Мне дали одну комнату во флигеле укрепления. Своего Ивана вместе с Султаном я устроил невдалеке. Иван, со своей вечной полуобгорелой трубочкой-носогрейкой в желтых зубах, очень мне обрадовался, не надеясь уже меня видеть в живых».

«...сильная сыпь появилась у меня на теле, но доктор и полковой фельдшер сказали, что это ничего: причина тому — слишком ранняя выписка из госпиталя и поездка по холодной погоде. Я просидел безвыходно в комнате месяц, и все прошло».

«2 февраля по ходатайству Войткевича я был назначен командующим 6-й ротой — за больного капитана Завадского, вскоре умершего».

«Прибыв к месту стоянки 6-й роты в станицу Исправную, я остановился на квартире по главной улице в угловом доме, у казака из донцов. Кормили меня там за 5 рублей в месяц очень сытно и довольно вкусно».

«Шло время незаметно»,— отмечает дедушка по своему обыкновению.

«Так как я состоял командиром роты, а в роте больше не было офицеров, то приходилось раз в месяц ходить с двадцатью человеками в караул для охраны Каменного Моста. Там было два орудия. Артиллеристы при них жили постоянно. Стоянка на Каменном Мосту была скучная, однообразная. Появление горцев иногда разнообразило жизнь. Тревога, стрельба из орудий — вот и все развлечение, да еще, пожалуй приход оказии, получение провианта».

«В конце марта мне пришлось идти на Каменный Мост на смену Русова. Он прислал мне записку с просьбой, чтобы я приехал на его коне, диком горце. Я согласился. Человек Русова привел мне коня, и я спокойно на него сел. Но только что я тронул его, чтобы ехать, как он стал бить задом и становиться на дыбы. Потом в один миг повернулся назад и, брыкаясь и «становясь козлом», помчался в конюшню с низкими дверями. Видя неминуемую смерть и не будучи в состоянии удержать дикого горца, я сбросил стремена и опрокинулся назад. Упал я хорошо, но у меня отнялись ноги...»

«...поволокли меня на квартиру, где доктор тотчас бросил мне кровь, поставил 10 банок, и к вечеру я оправился. В караул пошел другой офицер».

«В апреле на Пасху был такой случай: несколько человек горцев, все из так называемых абреков, то есть «обрекших себя на смерть», тихомолком проникли через всю нашу линию к Кубани и возле станицы Невинномысской бросились на грабеж хуторян. По поднявшейся тревоге со всех сторон на выстрелы полетели казачьи сотни. Горцы, видя неудачу, пустились наутек, приближаясь к нашей линии. Донские сотни, видя, что горцев немного и что их уже преследуют другие, остановились и стали возвращаться домой. Сотня же нашей станицы, приняв горцев, преследовала их не отставая, так как и тем и другим путь был один».

«Невдалеке от станицы горцы, видя, что им не уйти, бросились в соседний лес, в глубокую балку вроде ямы, поросшей лесом».

«Во время перестрелки один казак, оступившись, полетел вниз. Горцы заметили его — упавшего,— бросились к нему и начали рубить его шашками, тем самым совершенно открыв свое присутствие. Наши казаки, видя ужас-

ную гибель своего товарища, озлились, начали стрелять залпами из всех ружей, которых было у них более пятидесяти».

«Дело кончилось».

. . . . . .

«Убитые горцы были: три старика с седыми короткими бородами, один средних лет, а два — совершенно юноши лет по двадцать. Лица их, вымазанные кровью и вывалянные в пыли, со стиснутыми зубами, кроме окаменевшей злобы, ничего не выражали».

«Все это было неописуемо ужасно, переворачивало душу...»

«24 мая я сдал роту прибывшему из России нашему капитану Силину, а сам отправился опять в Сторожевую принять должность полкового квартирмейстера от капитана Рубана, едущего в Пятигорск. Прибыв в Сторожевую, я за неделю принял должность, после чего Рубан уехал, а за ним вскоре и командир полка полковник Чихачев, любившие лечиться на водах».

«Забыл еще сказать: в декабре 1858 года праздновали у нас два праздника: полковой и именины Чихачева. Будучи назначен ассистентом к знамени, я простоял в полной парадной форме, в коротких сапогах в церкви на молебствии, окруженный облаками ладана, блеском священнических облачений, штаб-офицерских эполет, кострами свечей, оглушенный хором наших солдатских, горластых певчих».

«После молебна вместе со всеми другими я отправился на обед к Чихачеву. Обед был хороший. Все привезено из Ставрополя. Кто играл в карты, тот сел за зеленый столик. А я с Горбоконем, не пившие и не игравшие, сейчас же после обеда отправились домой, где за стаканом сладкого чая провели весь вечер».

«Горбоконь ночевал у меня».

Из этой записи опять-таки явствует, что дедушка мой не пил и не играл; среди кавказских офицеров это было большой редкостью.

«В начале марта 1859 года, будучи уже ротным командиром, поехал я вместе с другими офицерами на блины к Чихачеву. Ехали целой компанией, человек двена-

дцать. Горбоконя не было, он в тот день дежурил по батальону. Обед начался в 12 часов, и через два часа встали из-за стола. Кто были любителями выпить или играть в карты, те, как водится, остались, а несколько человек нас — не пьющих и не игравших — ушли».

«Распорядившись, я оседлал своего верного Султана и поехал домой, то есть в станицу Исправную. Погода хотя и холодная, но приятная. Надышавшись за обедом у Чихачева блинного чада, табачного дыма трубок и папирос, я с наслаждением летел во весь опор, слыша, как подковы щелкают по кремнистой дороге, изредка высекая искры. Доехав до первой переправы и оглядевшись кругом, я приготовил свои пистолеты: луч холодного солнца скользнул по вороненой стали граненых стволов. Переправившись вброд через речку, я поехал рысью под горою, за которой были аулы горцев, так называемых «мирных». Но не дай бог попасться этим «мирным» в одиночку».

«Слыша крик, шум в аулах, я пришпорил Султана еще крепче и понесся во весь опор, сжимая в руке пистолет со взведенным курком. Подъехав на версту к Каменному Мосту, я попридержал Султана, перевел его на шаг, давая немного отдохнуть после скачки, а затем снова пустил во весь опор, и за мною во весь опор неслась по небу ущербная луна. К вечеру был уже дома, хотя и порядочно приморил коня. Более часу пришлось его потом выживать».

«...много всяких случайностей, но всего за 40 лет не припомнишь...»

«...2-й и 3-й батальоны выступили первый на постройку новой станицы Большой Зеленчукской, а второй для постройки другой станицы, служащей как бы охранением нашей Сторожевой».

«Переселенцы (тоже с Дону) прибыли одновременно с батальоном и начали постройку. Были при этом разные перестрелки. Самая большая случилась 24 числа, когда зеленчукская сотня делала утренний объезд. На нее напало более 600 горцев. Сотня, отстреливаясь, отошла к станице, где ее поддержал батальон».

По-видимому, предполагаю я, это было одно из последних боевых действий организованных горцев, так как примерно около этого времени, а именно 13(1) апреля, наши войска заняли резиденцию вождя горских племен знаменитого Шамиля — аул Ведено, из которого Шамиль

бежал в свое последнее пристанище — высокогорный аул Гуниб, где 25 августа по старому стилю и был взят в плен.

«В начале июля прибыл к нам новый командир полка Петр Васильевич Шафиров из Брестского полка: маленький, толстенький, неженатый. Вслед за тем был получен официальный приказ по армии об отчислении Чихачева. Началась сдача полка».

«Забыл сказать, что немного ранее этого получилось распоряжение продать вещи и имущество умершего капитана Завадского. Аукцион устроен был на дворе Надеждинского. Я купил тарантас покойного капитана и некоторую сбрую. Свою же кибитку, о которой упоминал раньше, я продал. Тарантас оказался совершенно исправным. Я поставил его вместе с полковым обозом...»

Заканчивалась мучительно долгая, кровавая война по завоеванию Кавказа, а молодой поручик, мой дедушка, наряду со своими служебными ротными делами не забывал обзаводиться собственным хозяйством, как бы предчувствуя близкий конец холостой жизни, хотя знакомство с будущей супругой еще скрывалось в туманном будущем.

А тем временем полковая жизнь, как любил часто поминать дедушка, «шла своим порядком».

«Получился приказ о переводе князя Руснева и Чивилева в войска города Тифлиса, куда они оба после прощального обеда и отправились».

«С 600 выбранных солдат в кавказскую армию послан был мой друг поручик Горбоконь, о котором мне еще придется много раз упоминать. Перед самым своим уходом Горбоконь продал мне своего бурого коня. Таким образом, у меня было уже два коня и тарантас».

Знал ли дедушка, что когда-то в отдаленном будущем его внук, маленький мальчик с круглым японским личиком и жесткими черными, коротко остриженными волосами, будет запрягать в опрокинутый стул своих игрушечных лошадок Лимончика и Кудлатку, как бы повторяя небольшой эпизод из жизни своего деда?

«Стал приучать бурого ходить на пристяжке».

«Время шло, а с ним приготовления к выступлению. Ждали только прихода резервного кавказского батальона. Сходил я с колонною на каменномостное укрепление, где получил крупу и муку для десятидневного запаса. По

приходе назад наши роты стали печь сухари, старую крупу расходовать, а новую сохранять на поход. 12 июля в сильный дождь пришли резервные. 23-го производилась сдача им наших позиций. 24 июля в 12 часов мы выступили на Каменный Мост».

«До выхода произошла продажа некоторого имущества Чихачева. Я купил его старого толстого верхового коня и шлею — за 10 рублей, теперь у меня были тройка и тарантас!»

«Ехать можно!» — в восторге восклицает дедушка, коего мечта о собственной тройке наконец осуществилась.

«Батальон шел впереди, а мы, штабные, ехали позади. (Дедушка на своей тройке!) Переход был небольшой, всего 10 верст. Дело шло к вечеру. Луна освещала дорогу. На Каменном Мосту ночевали. Батальон впереди выставил цепь, а мы с экипажами стали под стенами укрепления. Ночь прошла тихо. Луна сияла. Утро наступило ясное. В 8 часов пошли далее. На Каменном Мосту к нам присоединился 2-й батальон. В станице Кардафской присоединился также и 3-й батальон. Отсюда мы пошли целым полком. Шли с осторожностью, выставив сторожевое охранение, до Прочного Окопа, где, перейдя реку Кубань, сдали все оружие и далее шли с палочками».

«За несколько станций от Прочного Окопа наш полк догнал Горбоконь, вернувшийся из командировки. Шафиров, я, Войнов и еще некоторые другие офицеры гуляли по селу, наслаждаясь предвечерней прохладой и любуясь далекими горами с их снежными вершинами, как вдруг явился Горбоконь. Отрапортовав Шафирову о своем благополучном прибытии, он присоединился к нам. Мы все шли позади Шафирова, и наши тени длинно тянулись наискось деревенской улицы. Горбоконь и Войнов шли рядом, то громко смеясь, то перешептываясь. Шафиров несколько раз оглядывался на них, но они продолжали. На квартиру Шафирова я вошел один. И тут Шафиров начал высказывать свое неудовольствие на Горбоконя. Любя Горбоконя и зная, что Шафиров хотя человек и добрый, но мстительный, я призвал на помощь все свое красноречие и, клянясь и божась, стал выгораживать Горбоконя. Я выставил Шафирову на вид молодость Горбоконя, его природную живость. Я говорил, что, может быть, Горбо-

конь, после долгой разлуки свидевшись с приятелем, забыл по молодости лет о присутствии старших и позволил себе увлечься слишком громким и веселым разговором, что это, конечно, с его стороны неуместная ошибка, бестактность, о чем я Горбоконю непременно скажу; но ничего в этом не было для Шафирова оскорбительного, клянусь честью!»

«Я говорил долго и очень горячо».

«Шафиров успокоился и простился со мной дружески, сказав на прощание:

— Скажите Горбоконю, чтобы в другой раз он был осторожнее».

«Возвратившись домой, я застал у себя Горбоконя и передал ему о нашем разговоре с Шафировым. Горбоконь был крайне удивлен и сказал, что, увидевшись с Шафировым, извинится за невольно сделанную опрометчивость, что смеялись они с Войновым за спиной у Шафирова, может быть, и громко, но невольно, и смех их не имел общего с предположением Шафирова, что они смеялись на его счет».

Из этой заметки можно составить себе представление о той атмосфере мелочного самолюбия и вздорных понятий об офицерском приличии, которая царила в тогдашней армии.

Впрочем —

«Все пошло своим чередом: движение, ночевки, дневки — все дальше и дальше от Кавказа. Уже давно скрылись из глаз их снежные вершины, их ущелья, полные опасностей. Прошли Аксай, подошли к Мариуполю».

«Город приморский на берегу Азовского моря, здания каменные. По всему видно, что среди жителей процветает коммерция. Жители в большинстве греки и евреи. Тепло. Погода пока хорошая. За Мариуполем в одном селе нас встретил командир 5-го корпуса генерал-адъютант Безак. На следующий день он назначил смотр обоза и лошадей».

«Я распорядился всю свою тройку, лошадей других офицеров, а также лошадей раненых вести запряженными в обозные повозки. Несмотря на то, что многие лошади, в том числе и командирские, по закону могли содержаться и содержались «на траве» (то есть на своем, а не на казенном довольствии), все же следовало представить на смотр всех лошадей без исключения, ибо командир получал деньги на содержание их всех».

Видимо, по обычаю, командир присваивал себе деньги, получаемые на корм лошадей. Дедушка же ловко помог показать на смотру всех лошадей по «общему счету»,— тонкость того времени, которая, по-видимому, не считалась злоупотреблением и на которую обычно начальство смотрело сквозь пальцы.

«Тройку своих лошадей я пустил в первых упряжках, как довольно видных и светлых».

Опять какая-то хитрость, мне непонятная.

«Смотр прошел хорошо. Все шито-крыто. Шафиров поблагодарил меня».

«Прошли Ростов-на-Дону. Город большой, но мы его почти не видели, так как стоянка была далеко, а мне еще необходимо было побывать на почте — на противоположной стороне. Пришел я на почту и получил по переводу деньги. Почтмейстер, молодой человек, как видно, не любил военных. Он был по приемам своим очень нелюбезен. Но мне от этого ничего. Я получил деньги — и всему конец!»

Дедушке было глубоко наплевать на неучтивого почтмейстера, не жаловавшего военных. Но неприятный осадок остался; вечная вражда между военными и штатскими. Видимо, «кавказские офицеры» снискали себе не слишком хорошую славу.

«В то время за городом была ярмарка. Устроена довольно хорошо, хотя по большей части в холщовых бараках-балаганах. Сходил я на ярмарку, купил что надо...»

А что надо — неизвестно. Ром? Кремни для пистолетов? Мыло? Бумагу? Чернила? Бритву? Ваксу для сапог? Кто его знает.

«Домой возвратился к обеду. А квартиру мне отвели в центре города, у богатого купца-грека, разговорчивого старика, который меня радушно угостил отличным обедом, состоящим из очень вкусных греческих блюд. Мы с ним разговаривали допоздна и...

Время шло незаметно».

Почему-то дедушке очень нравилось, когда время шло незаметно, и он всегда отмечал этот факт в своих записках.

«...переночевав, пошли дальше... Началась Таврическая губерния, в которой назначена была наша стоянка».

«Дальше поход уже надоел, желалось скорее стать на постоянное место, какое бы оно ни было».

«22 сентября в 4 часа дня пришли наконец в свою Большую Знаменку. Здесь был назначен штаб полка и дежурная рота. Прочие роты пошли расходиться по Мелитопольскому уезду. В Мелитополе стал штаб дивизии. Воинские части стояли на своем продовольствии — не больше одной роты в селе. Вскоре по прибытии в Б. Знаменку последовало приказание продать 125 подъемных лошадей, а людей, прослуживших до 6 лет, уволить: кого в отставку, кого в бессрочный отпуск».

«Теперь стало ясно, что война кончилась и начинается мирное время».

В этой фразе, несмотря на то, что в ней содержится как бы нечто радостное оттого, что начинается «мирное время» и все бедствия и ужасы миновавшей войны окончились навсегда, вместе с тем чувствуется скрытая горечь, как это ни странно, свойственная почти всем военным, переходящим после длительной тяжелой войны на безопасную, мирную жизнь.

Я сам испытал это двойственное чувство радости и горечи поздней осенью 1917 года, когда демобилизовался из армии и явился за получением денег и документов в штаб полка, разместившийся в пустой даче на краю Одессы. Румынский фронт докатился до Одессы! Меня больно поразил беспорядок, царивший в канцелярии, где вместо столов писаря устроили свои «ундервуды» на досках, положенных на ящики. Все произошло быстро и както унизительно небрежно. Я расписался в ведомости, получил деньги, следуемые мне вперед за два месяца и за ранение, послужной список, где я уже именовался не прапорщиком, а подпоручиком и где находилась выдержка из приказа о награждении меня орденом святой Анны 4-й степени «за храбрость». Теперь я был свободен и мне не угрожала ежеминутная смерть. Я вышел из канцелярии и отправился по мокрой дороге в город, со всех сторон окруженный туманом, сквозь который слабо чернели голые, облетевшие деревья. Мои руки стыли в лайковых офицерских перчатках, полученных мною совсем недавно, при производстве в офицеры. Надо было бы радоваться, что война для меня кончилась так благополучно: всего одна контузия, пустяковое отравление газами и ранение в бедро. Тем не менее мне было грустно. Я нанял извозчика

и поехал в город, где долго сидел в кафе за чашкой кофе, а потом на углу Дерибасовской и Екатерининской возле дома Вагнера купил громадный букет гвоздик, сырых от тумана, и отправил его с посыльным в красной шапке к Ирэн. Потом я стал как безумный тратить свои последние военные деньги, и весь этот туманный, холодный октябрьский день остался в моей памяти как странная смесь радости и грусти, восторга свободы и унижения от демобилизации и горечи военного поражения.

Даже любовь меня не радовала.

«Командир нашего полка,— пишет дедушка,— занял квартиру бывшего командира Минского полка, выступившего в Феодосию, а я занял невдалеке квартирку в одну комнату. Стал устраиваться уже не по-походному, а прочно, с расчетом на долгое пребывание в этом уютном местечке, где судьбою суждено было мне найти свое счастье».

«Вскоре в Никополе была объявлена ярмарка, куда я отправился, чтобы продать свою тройку и тарантас. Никополь от нас в семнадцати верстах. Переправившись через реку на шаланде, куда поместилась моя тройка с тарантасом, я с Иваном приехали на ярмарку, остановились прямо на поле под открытым небом, распрягли лошадей и привязали их к тарантасу, в котором было сено. Часа через два явился какой-то помещик и сразу же, не торгуясь, купил мою тройку с тарантасом, упряжью и седлом за сто рублей. Получив деньги, я с Иваном примостились на воз к какому-то мужику из Знаменки и ночью поехали домой».

Ночь была теплая, осенняя, пахло сухим сеном, южнорусское небо чернело над степью, все осыпанное мелкими, еще почти летними звездами, над древними скифскими курганами, где, быть может, лежали кости наших отдаленных предков, над кустами чертополоха, или, как его здесь называли, будяка, вдоль пыльного шляха... Хрустальный хор поздних сверчков стоял вокруг от неба до земли, где далеко на горизонте, то приближаясь, то отдаляясь, горел красный пастуший костер. Иногда по светло-серому мерцающему небу среди родных созвездий пролетал метеор, и, пока он катился, дедушка загадывал свое самое сокровенное желание. Но чего он желал? Я этого

не знаю и никогда не узнаю, потому что дедушка ничего об этом в своей тетрадке не написал. Рядом с дедушкой на возу сидел, сгорбившись, его верный друг денщик Иван и курил свою трубку-носогрейку, которая часто гасла, и тогда Иван принимался рубить огонь, высекать искры и раздувать тлеющий трут, и его трубочка опять начинала рдеть в темноте той степной таврической ночи, и в теплом воздухе распространялся сытный запах махорочки, такой привычный, такой военный, такой солдатский...

Вокруг все было мирно. Ехать было безопасно. Кавказ с его тревожными ночами и набегами горцев лежал где-то далеко-далеко и казался уже смутным воспоминанием. Да и там уже война, очевидно, кончилась.

Дедушка чувствовал себя на пороге какой-то новой, счастливой жизни, и когда проезжали мимо заброшенного, почерневшего от времени ветряка, возле которого лежал старый, стершийся жернов, обросший вокруг серебристой душистой полынью, то дедушка уже не испытывал привычного страха и не вынимал из бокового кармана сюртука свой дорожный пистолет...

«Начало мирной гарнизонной жизни ознаменовалось тем, что началась продажа полковых лошадей. Лошади шли за бесценок: два, три и пять рублей. Командир полка из своих фуражных добавил три рубля».

(Для чего это делалось, не понимаю. Дедушка ничего не объясняет. Я думаю, что тут опять была какая-то финансовая тонкость...)

«Становой пристав, приглашенный мною на аукцион, устроил все формальности. Лошади были быстро распроданы. За хорошую продажу Шафиров получил благодарность от высшего начальства. Становой же за успешное содействие продаже получил в подарок тройку лучших лошадей, за которых Шафиров внес свои деньги».

Как я понимаю, никто не остался в накладе, и дедушка тоже. Это была как бы награда за все лишения и бедствия военной жизни.

«Кончилась распродажа лошадей, началось увольнение людей. Переписки стало масса. Но мы, офицерская молодежь, все превозмогли. По случаю перевода полка на мирный состав была тьма самых различных запросов и требований, которые нужно было исполнить. Я испол-

нял их дома за стаканом крепкого чая, засиживаясь нередко далеко за полночь».

«Возьмешь, бывало, лист бумаги, перо и не знаешь, что писать. Но едва напишется первая какая-нибудь буква, как мысль мгновенно мелькнет— и пошла писать губерния, едва успевает рука. Через час-два бумага готова».

«Вначале я, бывало, посылаю написанное Шафирову. Он прочитает, просмотрит и возвращает с надписью карандашом «хорошо». Получив бумагу с такой надписью, я откладывал ее в особую папку, с тем чтобы утром ее переписал начисто писарь. В 12 часов я нес эту бумагу (и все остальные бумаги) на подпись».

Значит, к этому времени дедушка уже был переведен в штаб полка, а может быть, и дивизии. Кем он только не был в армии: и младшим офицером, и командиром роты, и хлебопеком, и квартирмейстером, и водил команды на рубку леса, и жег «скоропалительными трубками» горские аулы, и объезжал диких лошадей — кавказский офицер, на все руки мастер! Настоящий, кадровый!

«К Рождеству получил я командировку в Одессу отвезти 30 тысяч рублей в банк. Со мною поехал юнкер Горбоконь 2-й и унтер-офицер 1-й роты. Сперва я поехал в Мелитополь, где начальник дивизии Вагнер надавал мне поручений к своей дочери. Собрав все посылки, в том числе — хорошо помню — 2 фунта табаку, я с Горбоконем 2-м поехали. За станцию до Херсона нас сильно вымочил дождь. Часа в два ночи приехали, но при сносе вещей у меня похитили табак Вагнера. Утром вставши, я начал осматривать вещи, но табаку, к сожалению, не оказалось. Сильно раздраженный, я дал Горбоконю 4 рубля и послал в город купить табак и заплатить за посылку. Сделав все это, я сдал табак по принадлежности. Вернувшись и хорошенько пообедав, отправились мы в дальнейший путь на Николаев, куда приехали на лошадях к вечеру, но, не останавливаясь, тут же отправились дальше в Одессу».

Представляю себе неустойчивую новороссийскую предрождественскую погоду в степи, недалеко от Черного моря: в Херсоне дождь, а между Херсоном и Николаевом уже, быть может, мокрый снег, морской ветер, временами туман, ночью мороз, так что телеграфные провода вдоль шоссе превратились в стеклянные палки и тяжело провисли между белыми фаянсовыми баночками изоляторов. А потом, быть может, снова потянуло влажным черномор-

ским ветром и с обледеневших проводов посыпались капли воды.

В общем, погода скорее неприятная, чем приятная. Дедушка время от времени ощупывал свою грудь, где была спрятана сумка с тридцатью тысячами казенных денег. Он переживал прилив того особенного чувства возвращения в родные места, откуда несколько лет тому назад выехал на войну мальчишкой-вольноопределяющимся, а теперь возвращался кадровым офицером, героем Кавказа, навсегда уже выбравшим свой жизненный путь.

В противоположность дедушке я, демобилизовавшись из армии в конце 1917 года, испытывал совсем другое чувство — тревоги, беспокойства, неизвестности: что меня ждет впереди? В то время, когда в Петрограде и Москве совершилась Великая Октябрьская революция, но Советская власть до нас еще не дошла, я чувствовал себя освобожденным от воинской присяги, не знал, не представлял, как я буду жить в дальнейшем,— недоучившийся гимназист, без профессии, без твердых представлений о гражданском долге. Единственно, что наполняло мою душу, это была поэзия. В эти смутные революционные дни я был влюблен и ни о чем другом не думал, как только о любви к «ней». Теперь я понимаю, как это было странно и глупо. Как раз в ту ночь, когда в Петрограде восставший народ при звуке выстрела шестидюймового орудия с крейсера «Аврора», при свете скрещенных прожекторов ринулся на штурм Зимнего дворца — последней опоры старого мира, ничего этого не зная, я сидел в своей комнате в облаках табачного дыма и писал три сонета о любви: «Душа полна, как звучный водоем, как парус, вздутый ласковым порывом, как облако над солнечным заливом, как майский сад, цветущий под дождем...» — и т. д.

Нет, я совсем не был похож на дедушку.

Рядом с дедушкой сидел, нетерпеливо поводя плечами, молодой юнкер Горбоконь в подвернутом башлыке, наполовину прикрывавшем малиновые от крепкого степного ветра нежные юношеские уши. А на козлах рядом с почтовым ямщиком боком сидел серьезный немолодой унтер-офицер в брезентовом кожане, держа руку на расстегнутой кобуре, где находился большой револьвер с оранжевым шнуром, надетым на шею унтер-офицера:

все-таки везли немалые казенные деньги; шутка ли сказать — тридцать тысяч!

Приближаясь к Одессе, где дедушка учился в гимназии, где жили его братья, все, все напоминало ему годы юности, мыслью дедушка устремился еще дальше — в Бессарабию, на берег реки Прут, в Скуляны, где возле древней церкви на кладбище была могила его отца, отставного капитана Нейшлотского полка, сражавшегося с турками в дельте Дуная, в Добрудже, на подступах к Цареграду... Дедушке представлялись виноградники, сады, ветряные мельницы в степи, просторный богатый помещичий дом, где он родился. Он знал, что после смерти отца их родовое гнездо было продано. Все распалось, разрушилось... Осталась лишь таинственная связь между ним, моим дедушкой, и его предками, и его будущими потомками, историческая судьба которых заключалась в боевом служении России, в укреплении ее черноморских границ, той громадной полосы родной земли, которая начиналась с буджакских степей, тянулась на восток через Новороссийский край, через Крым, через донские и кубанские земли, через Закавказье, через Дагестан, Грузию, Мингрелию, Абхазию, Армению вплоть до турецкой границы, мимо снежных шапок Арарата...

Телеграфные и верстовые столбы пробегали назад, мимо почтовой кибитки. Вокруг была мутная пустынная степь. И лишь недалеко от Одессы, возле Дофиновки, дорога подошла к обрывам, и перед глазами открылся простор зимнего моря, катившего свою тяжелую мертвую зыбь на песчаный берег, где белели сугробы тающего снега, похожие на белых медведей, улегшихся возле мутно-зеленой воды взбаламученного Черного моря с густым пароходным дымом на горизонте.

«Перед вечером, миновав Жевахову гору, лиманы и Пересыпь, мы въехали в город, уже освещенный огнями фонарей. Под копытами лошадей защелкала, рассыпая искры, новая гранитная мостовая. Юнкер Горбоконь 2-й почти на ходу высадился на Софиевской улице и, взяв извозчика, отправился домой, я же поехал к брату Александру на угол Почтовой и Ришельевской, двух великолепных, прямых, как струна, центральных улиц,— в дом Видмана... В квартире брата я застал одну лишь прислугу Елизавету, бывшую нашу крепостную из Скулян, а теперь вольную».

Сердце дедушки больно сжалось.

Сначала они не узнали друг друга. Она не узнала маленького Ваню в этом офицере с золотистыми бачками, с кавказской шашкой, в мокрой бурке, который молодым простуженным голосом спросил:

— Александр Елисеевич дома?

Но когда он скинул бурку и снял шинель и папаху, вытер платком желтоватое удлиненное лицо с голубыми глазами, она вдруг поняла, что перед ней младший сын ее бывших господ, тот самый мальчик Ваня, который, бывало, приходил к ней в людскую кухню, где она исполняла должность кухарки, и она жарила ему в духовке кукурузные зерна, вдруг с треском лопавшиеся, превращаясь в рыхлые белые цветочки вроде маленьких туберозы,— любимое лакомство всех скулянских детей, да и взрослых тоже. Она любила этого барчонка в красной рубашечке и сушила для него на подоконнике маленькие полосатые тыквочки, называвшиеся таракуцками, испорченным молдавским словом «тэртэкуцэ», служившие игрушками, чем-то вроде музыкальных инструментов, издававших при встряхивании удивительный шорох своих высушенных семечек.

Теперь Елизавете было странно видеть Ваню взрослым офицером. Она стояла перед ним — пожилая женщина с цыганскими глазами, в тесной ситцевой кофте, в переднике, в козловых башмаках с ушками, с серебряным печатным киевским колечком на опухшем пальце — такая чужая и вместе с тем такая домашняя, живая свидетельница их бывшего богатства и нынешнего разорения. Дедушке нужно было сделать умственное напряжение, чтобы наконец постичь, кто она такая. Может быть, он бы так ее и не узнал, если бы не тот особый кухонный запах вытертых мочалкой жирных кастрюль, который запомнился ему с детства и был связан с ее именем, так же как и с музыкальным шорохом высушенных таракуцек.

— Панычик! Це ж вы! — сказала она, склонив черноседую голову набок, и вдруг из ее карих глаз покатились слезы.

— Лизавета! — воскликнул дедушка.— Вот так встреча!

Он вдруг сразу припомнил свое навсегда миновавшее детство и улышал звук лопавшихся в духовке кукурузных зерен.

Бывшая их крепостная, а теперь вольная кухарка Елизавета стояла перед ним в солидно обставленной передней его старшего брата, теперешнего главы их семьи. Она стояла перед ним как конец прошлой дворянско-помещичьей жизни и начала новой, еще не вполне понятной жизни, в которую вступал дедушка.

«Расположился,— пишет он,— у брата в гостиной на диване. Брат пришел со службы поздно. Напились чаю, поговорили и легли спать».

Скупо, даже как-то не по-родственному неизменно упоминает дедушка о своем старшем брате Александре. О чем они говорят перед сном? Неизвестно. Вероятно, о каких-нибудь пустяках. «О том о сем»,— по шутливому выражению дедушки. А ведь они давно не виделись, и за то время произошло много событий: умер в Скулянах от холеры отец, сестра Елизавета, уехавшая в Петербург и, как дочь участника Отечественной войны двенадцатого года, принятая в привилегированное учебное заведение, окончила его и вышла замуж; умер брат Яков; после Крымской войны скулянское имение оказалось проданным, и мать дедушки Марья Ивановна принуждена была бросить насиженное гнездо и уехать. Где-то в Бессарабии осталась старшая сестра Анастасия, жена того самого Ковалева, который, как мы уже знаем, отвозил дедушку из Скулян в Одессу поступать в гимназию.

Почему-то мне кажется, что братья Александр и Иван не слишком любили друг друга, быть может, при разделе наследства старший брат обидел младшего, да и разница в летах была довольно велика для того, чтобы они могли стать близкими друзьями: Александр был уже настоящий, солидный мужчина средних лет, с бакенбардами, в вицмундире, занимавший в банке довольно видное положение. Дедушка же в его глазах представлялся необстоятельным мальчишкой, который, вместо того чтобы делать себе карьеру на поприще гражданской службы, ни с того ни с сего прямо с гимназической скамьи отправился добровольцем на войну на Кавказ и хотя уже дослужился до поручика, но какие же у него могли быть перспективы? На всю жизнь остаться армейским пехотным офицером, и тянуть лямку, переезжая из одного гарнизона в другой, и получать ничтожное жалованье, только и всего. Александр с высоты своего солидного служебного положения, имея уже известный вес в местных биржевых кругах, неодобрительно смотрел на своего меньшого брата, который, скинув

обмундирование и оружие и поставив грязные сапоги возле дивана, спал крепко, но тяжело, иногда вскрикивая во сне...

«На другой день, 24 декабря, в сочельник, пошел в город и купил что нужно».

Но что ему было нужно? По своему обыкновению, не пишет.

«Вернулся, пообедал и вечером пошел в гости к зятю Горбоконя майору Верстовскому на кутью; так как уже был вечер, то, едва поздоровавшись, сейчас же сели за стол».

Немножко подморозило, небо очистилось, стало прозрачно-зеленоватым, и над черными силуэтами голых акаций, над черепичными крышами, над чердаками показалась первая звездочка как знак того, что уже можно садиться за стол с голодной кутьей. Кутья только так называлась — голодная, а на самом деле на чистой льняной скатерти, разостланной поверх пахучей соломы, что должно было напоминать о яслях, в которых родился малютка-спаситель, были расставлены тарелки, блюда и поливенные миски со множеством всякого рода постных кушаний, специально приготовленных для сочельника: жаренные на подсолнечном масле пирожки с сильно наперченной гороховой начинкой или кислой капустой с поджаренным луком, заливной судак, от одного взгляда на который охватывала морозная дрожь, вареники с картошкой, пончики с вареньем, варенуха в графинах, та самая варенуха, о которой волшебник Гоголь сказал, что это «варенуха с вытребеньками»...

Но самое главное — на этом столе были две глубокие миски, одна с пшеничной кутьей, другая с взваром, слова, которые в наших краях всегда произносились вместе, неотделимо друг от друга, как пара волов в одном ярме,— «кутья и взвар».

Взвар был не что иное, как компот, сваренный из сушеных яблок, сморщенных, как старуха, черных сушеных груш, вишен, изюма, а кутья не имела ничего общего с той кладбищенской кутьей — рисовой кашей, посыпанной сахарной пудрой,— без которой не обходятся ни одни православные похороны. Рождественская кутья, распространенная у нас на юге, представляла из себя вареные на меду пшеничные зерна, перемешанные с мелко наруб-

ленными грецкими орехами (называвшимися, кстати, во времена моего дедушки волошскими) и залитые сладким соком растертого до молочной белизны мака. От кутьи невозможно было оторваться, и добрая хозяйка обычно щедро добавляла суповой ложкой эту божественную еду в глубокие блюдечки своих гостей.

Луч первой звезды — «вифлеемской» — дрожал в окне, наполняя сердце каким-то особым, рождественским холодом, составляя как бы одно неизъяснимо великолепное целое с кутьей, взваром, заливным судаком и прочими блюдами, расположенными на льняной скатерти поверх свежей душистой соломы.

Сидя за этим праздничным ужином, дедушка чувствовал себя умиротворенно, радостно, и давно забытый холодок детства пробегал по его телу.

«Хозяева оба очень милые, разговорчивые, расспрашивали о Кавказе, о тамошней жизни, климате, природе».

И, надо думать, дедушка — в парадном сюртуке и ярко начищенных парадных сапожках,— слегка облокотившись на спинку стула и позванивая под длинной скатертью шпорой, охотно делился своими наблюдениями о Кавказе, о жизни на позициях, о стычках с горцами, о рубке леса, о набегах и о многом другом, о чем примерно в то же время и даже иногда теми же словами писал Лев Толстой, а прежде него — Лермонтов и Пушкин в своем «Путешествии в Арзрум во время похода 1829 года», что как-то странно и сладко сближало моего скромного, ничем не замечательного дедушку с обоими великими писателями.

«Вечер прошел незаметно,— с удовлетворением отмечает дедушка по своей привычной любви к времени, когда «оно проходит незаметно».— В 10 часов я, простившись, пошел домой».

Когда он шел по празднично опустевшей Одессе, по гулким тротуарам, вымощенным плитками итальянской вулканической лавы, в рождественском небе уже мерцали мириады звезд, и среди них, быть может, скользил, как на коньках с горки, гоголевский черт, без которого не могло обойтись ни одно рождество.

И ночь была торжественна.

«Брат еще не возвращался из биржевой залы, открытой несмотря на сочельник, а когда пришел, то я уже спал. На другой день — первый день Рождества — я пошел в церковь».

В этот день 25 декабря праздновалась годовщина изгнания Наполеона с его «двунадесятью языками» и после литургии служился торжественный молебен. Морозное солнце било в узкие окошки под куполом, и в церкви Афонского монастыря, полной молящихся, лилово курились полосы солнечного света, и дедушка, любитель хорошего церковного пения, наслаждался звуками стройного и строгого монашеского хора, чувствуя себя причастным к русской воинской славе, к победе над врагами — отчасти потому, что сам был боевым офицером, а отчасти потому, что его отец (а стало быть, мой прадед) капитан Елисей Бачей был участником войны достопамятного Двенадцатого года.

«Отстояв литургию и молебен с водосвятием, с каплями святой воды на бровях, отобедав дома с братом, я пошел бродить по городу...»

Здесь все было связано с его гимназическими годами, с его юностью. Он с волнением узнавал все достопримечательности Одессы: белую колоннаду Воронцовского дворца, как бы повисшую над голубой пропастью порта, памятник дюку де Ришелье с изящной головкой, похожей на вилок цветной капусты, и рукой, протянутой к Стамбулу, городскую Думу со статуей слепой Фемиды, белый маяк при входе в порт, уже отстроенный после бомбардировки во время севастопольской кампании.

Прибавилось кое-что новое.

В цоколь памятника дюку было вделано ядро — память о бомбардировке города англичанами,— а против Думы стояла, повернутая к морю, чугунная пушка, снятая с потопленного против Малого Фонтана английского фрегата «Тигр» — событие, происшедшее во время, когда дедушки в Одессе не было.

Появился на соборной площади памятник Воронцову — узкое властное лицо и застегнутый на все пуговицы сюртук.

«Полумилорд, полукупец» и т. д.

Город явно менял свое лицо.

Несмотря на свою сравнительную молодость — деду

в ту пору едва исполнилось двадцать пять лет,— он ощущал легкую горечь от сознания хотя и медленно, но все же уходящей жизни.

«Так прошло три дня, в которые я бывал у Верстовских, пил чай и проводил вечера. На четвертый день отправился в банк, внес полковые деньги — 30 тысяч рублей,— получил свидетельство об этом, почувствовал облегчение и на пятый день выехал на почтовых из Одессы. Дорога была уже другая, не на Мелитополь, а прямо на Никополь, что оказалось заметно ближе. Переправившись по уже хрупкому льду через Днепр, часа через два был уже дома. Явился к командиру, отдал ему свидетельство, напился чаю и пошел к себе на квартиру».

«Дело пошло по-старому: днем в канцелярию, а вечером дома».

Легко разделался дедушка с грустными воспоминаниями юности, легко переступил порог зрелости, легко забыл войну.

Можно ему только позавидовать. Мне все это далось гораздо тяжелее. Впрочем, и время было не то. Вокруг меня бушевала революционная буря, по городу разъезжали броневики, заставляя содрогаться памятники и колоннады, по ночам в разных частях города слышалась редкая винтовочная стрельба, по улицам проходили матросские патрули с восставших кораблей «Синоп» и «Алмаз»... В их руках отливали синевой вороненой стали маузеры. Холодная предрассветная луна освещала мертвые дома. А я один, в своей маленькой комнате — не то отставной офицер, не то дезертир, ероша волосы, писал, обливаясь слезами:

«Вверху молчали лунные сады, внизу прибой считал песок, как четки. Всю эту ночь у дремлющей воды я просидел на киле старой лодки. И ныло от тоски все существо мое, тоска была тяжеле черной глыбы. И если бы вы поняли ее, то разлюбить меня, я знаю, не смогли бы...»

...В этом было отличие меня от дедушки...

«Командир полка Шафиров хотя и холостой, но любил устраивать у себя танцевальные вечера, что, впрочем, более приличествовало командиру полка не холостому, но женатому».

Танцевали под фортепиано, при стеариновых свечах. Надо признаться, дедушка не без удовольствия предавал-

ся этому невинному развлечению, вполне заменявшему для него занятие поэзией, тем более что на танцевальных вечерах у Шафирова бывали не только полковые дамы, но также местные знаменские девицы, среди которых попадались довольно хорошенькие, особенно прелестные при вечернем освещении, делающем их южно-провинциальные личики просто-таки фарфоровыми.

Воображаю, как дедушка в длинных военных брюках на штрипках, с красным кантом, в легких штиблетах, обхватив одной рукой в белой перчатке стройный девичий стан, а другую руку заложив за свою узкую сухопарую спину, обтянутую новым сюртуком с фалдами на шелковой подкладке, взбив над высоким лбом белокурый напомаженный кок, щеголевато выделывал па какой-нибудь чешской польки и лихо топал подошвами и каблуками во время кадрили.

Не следует забывать, что, будучи штабным офицером, он уже носил адъютантские аксельбанты, придававшие его фигуре некоторую служебную значительность.

Однако, несмотря на эти танцевальные вечера, стрела Амура ни разу не поразила дедушкино сердце настолько, чтобы ему могли угрожать «узы Гименея».

Все это было еще впереди.

«В январе пришлось съездить в Мелитополь по не совсем приятному поводу: дело в том, что из штаба дивизии совершенно неожиданно прислали начет на ротных командиров за довольствие рот в 1859 году. Никому и в голову не могло прийти, что может выплыть это дело, относящееся еще до времени военных действий. Думали: что с возу упало, то пропало. Однако не тут-то было. Командиру полка и ротным было неприятно. Стали просить меня уладить это дело».

Можно заключить, что к тому времени за дедушкой уже каким-то образом закрепилась репутация канцелярского дипломата, опытного в различных запутанных, кляузных делах, неизбежных во всех воинских частях, имеющих свое хозяйство.

«Я водил с собою старшего писаря Лося, весьма сведущего в таких неясных делах, старшего унтер-офицера — и мы в большом полковом тарантасе отправились в Мелитополь. Правду сказать, я сам плохо представлял себе, как буду действовать».

«Проехав целую ночь, я к вечеру был на месте».

«Дело оказалось серьезное, тем более что дивизией ко-

мандовал генерал Соболевский, человек разбитной и очень сердитый».

«Мой Лось, побывав в дивизионном штабе, разнюхал у своих знакомых писарей, в чем дело, и узнал, что все можно устроить, если прождать с неделю, пока не вернется Вагнер, поехавший в Херсон к дочери. Я сунул по совету Лося дивизионному писарю 25 рублей, и писарь познакомил меня с черновой бумагой, в которой было сказано: по встретившейся надобности возвратить книги дивизионному штабу. Прочитав эту секретную бумагу и найдя ее содержание весьма хорошим для того, чтобы замять дело, я поехал домой, куда прибыл благополучно».

В чем состояла миссия дедушки и о каких бумагах идет речь, не понимаю. Наверное, это была какая-то особенная канцелярская тонкость. Чувствую лишь, что дедушка ликовал.

«На другой день явился я к командиру полка и объяснил ему, в чем дело. Он был очень доволен моей командировкой и...»

На этом месте обрывается тетрадь без номера, а следующая тетрадь утрачена, так что приходится продолжать разбирать записки деда в тетради № 4 и тетради № 5, имеющих на обложке надпись:

«Мои воспоминания. И. Бачей».

«На Крещенье 6 января 1860 года после парада поручик Гуров уговорил меня пойти с визитом к полковому адъютанту Иванову, семейному человеку, у которого — как я, кажется, уже упоминал раньше,— кроме жены, жила еще мать жены и младшая сестра, впоследствии... моя жена».

Вот тебе и раз! Неожиданно. Скорей по-кавалерийски, чем по-пехотному, и уж во всяком случае не по-штабному. И не вполне в духе дедушкиного уравновешенного характера. Но...

С этого места стиль дедушкиной прозы делается многозначительно-скупым. Пишущий как бы желает внушить читателю мысль, какие важные последствия могут повлечь за собой столь незначительные события, как, например, праздничный визит молодого офицера в семейный дом полкового адъютанта с такой ординарной фамилией, как Иванов.

«Придя к Ивановым, мы провели за обыкновенным,

ничем не замечательным разговором час времени, а затем, простившись, ушли по домам».

Эту запись можно понять в том смысле, что дедушка как бы даже и вовсе не заметил присутствия в гостиной молодой девушки, сестры хозяйки дома мадам Ивановой.

Однако в самом умолчании о младшей сестре крылось многое.

«На масленой,— продолжает дедушка свои воспоминания все в том же лапидарном стиле,— мадам Иванова с сестрой и поручиком Евлашовым заехали за мной кататься на санях».

...большие полковые парные сани, крытые кавказским ковром, с медвежьей полостью и слегка выпившим солдатом на облучке. Лошади остановились как вкопанные против дедушкиного крыльца, но крупные бубенчики на хомутах все никак не могли угомониться, издавая волнующий музыкальный шорох.

Накинув бекешу, дедушка поспешно, дабы не задерживать дам, выходит на крыльцо.

Ветер валит с крыши облака снега, и сквозь пургу, жмурясь, дедушка видит башлык поручика Евлашова, перекрещенный на груди, и два женских розовых от мороза лица, наполовину закрытых муфтами: одно лицо мадам Ивановой, другое похожее на нее, но совсем молоденькое, почти детское личико ее младшей сестры.

Дедушка расшаркивается перед дамами, прося прощения за то, что замешкался, причем его маленькие штабные шпоры, прибитые к каблукам шевровых штиблет, позванивают, а поручик Евлашов отстегивает медвежью полость и так неловко втаскивает дедушку за рукав в сани, что дедушка под общий смех валится прямо на дам, от которых пахнет теплыми меховыми муфтами, меховыми шапочками, повязанными поверх оренбургскими платками, источающими запах свежих брокаровских духов.

Дамы жмутся друг к дружке, и вскоре дедушка устраивается рядом с поручиком Евлашовым на переднем сиденье, лицом к лицу с одной из дам, которая оказывается младшей сестрой мадам Ивановой.

— Пошел! — кричит поручик Евлашов, изображая бесшабашного масленичного кутилу.

— Слушаюсь, ваше благородие!— молодецки подмигивая, отвечает солдат и, привстав на облучке, лупит концом синих гарусных вожжей «по всем по двум».

Лошади берут с места в карьер, валдайский колокольчик заливается, бубенцы шуршат, вокруг степь, укрытая толстой пеленой пухлого южного снега, в лицо бьют вихри морозной пыли, забирающейся за воротники, ресницы у дам побелели, а щеки горят жарко...

Вон в стороне от дороги изо всей мочи скачет, оставляя за собой серые следы и прижав к спине уши, заяц беляк в зимней шубке.

Из сугроба торчит куст засохшего прошлогоднего чертополоха, дрожа от налетов степного таврического ветра.

— Заяц — это к счастью! — кричит сквозь ветер мадам Иванова, прикрывая лицо муфтой.

Дедушка изо всех сил поджимает и отводит в сторону ноги, боясь коснуться коленями колен младшей сестры мадам Ивановой, у которой из-за муфты виднеется только один веселый глаз.

...они с гиком обгоняют попутные сани...

Потом чьи-то сани обгоняют их, как бы осыпав на лету звоном бубенцов и колокольчиков.

Горизонт мутен. Снежное небо и снежная степь слились воедино, но где-то высоко чувствуется спрятанное солнце. Ну и так далее.

Странно, но, может быть, именно здесь в облаках метели, среди этой таврической, новороссийской степи, под елочный шорох бубенцов и дилиньканье валдайского колокольчика в конечном итоге решался вопрос о моем бытии.

«Проездив час за селом по дороге в Малую Знаменку, возвратились назад, причем мадам Иванова выговаривала мне, что я их забыл. Я отговаривался неимением времени. Этому не поверили и пригласили ехать к ним пить чай. Волей-неволей пришлось согласиться. За чаем я больше молчал, прислушиваясь, как поручик Евлашов трунил с младшею сестрою».

«Сам же Иванов все время занимался бумагами, по-семейному разложив их рядом со стаканом чая в подстаканнике».

«После сытного ужина я простился и ушел».

Кажется, на этом все бы должно было кончиться и я мог бы не появиться в этом мире...

Ан нет!

«Через неделю был ротный праздник 3-й стрелковой

роты, которою командовал капитан Попов. На этот праздник поехал я на казенных лошадях вместе с Ивановым. Все пили и ели очень много. Но Иванов и я очень мало. Вечером, когда поехали обратно, наш возница — фурштадт — оказался мертвецки пьян. Пришлось перетащить его в ящик повозки, сесть на козлы и править лошадьми самому».

«С этого вечера я стал чаще бывать у Ивановых».

Можно подумать, что в этом каким-то образом повинен мертвецки напившийся на ротном празднике фурштадт. Но нет.

«Меня,— пишет дедушка,— привлекала младшая сестра мадам Ивановой. Приходя к ним вечером, я вместе с молодой девушкой усаживались особняком, в уголку, играть в пикет».

«Однажды вечером, числа 10 марта, поручик Евлашов стал говорить о какой-то свадьбе. Младшая сестра мадам Ивановой, мадемуазель Мари, с которой я в это время по обыкновению играл в пикет, вдруг посмотрела на меня и спросила:

— Ну а вас, Иван Елисеевич, когда можно будет поздравить с законным браком?

— Нас вместе поздравят,— неожиданно для самого себя ответил я тихо, почти шепотом».

«Покраснев, как маков цвет, девушка ничего не сказала. Но дальнейшая игра наша в пикет была уже комедией: мы не смотрели в карты, а бросали их наобум».

«Прошел вечер. Гости разошлись, и я вместе с ними. Придя домой, я лег в постель, но сон бежал моих глаз. Разные думы сменялись одна другой. Я никак не мог унять душевного возбуждения. Рассвет застал меня у окна, над которым снаружи висела бахрома сосулек, откуда то и дело срывались капли. В воздухе плыл великолепный звон к ранней заутрени. Наконец я уснул. В 8 часов я проснулся, умылся в сенях ледяной водой, оделся, напился чаю».

Дедушка никогда, даже в самые важные минуты своей жизни, не забывал сообщить, что он напился чаю.

«...я в 10 часов пошел в канцелярию и писал, писал, писал бумаги, сам не зная и не понимая, что пишу».

«В 11 часов я пошел в отделение адъютанта Иванова и сказал ему:

— Прошу вас на несколько слов».

«Придя в особую комнату, чтобы быть наедине, я передал ему, что невестка его Мария Егоровна произвела на меня сильное впечатление; одним словом, я ее полюбил и прошу его содействия в своей семье, чтобы я мог назвать мадемуазель Мари своей женою».

«Иванов расстался со мною, сказав, чтобы я надеялся».

«Все это так меня взволновало, что я отправился к командиру полка с докладом бумаг в белом жилете, что было совсем не по уставу. Командир полка, зная меня как исполнительного, аккуратного офицера, при виде моего белого жилета посмотрел на меня удивленными глазами и, указав пальцем на мой жилет, спросил, строго нахмурившись:

— Что это значит, поручик?»

«Опомнившись и извиняясь, я поспешно застегнулся, дабы скрыть жилет».

«Вечером я был у Ивановых, и, встретив меня в гостиной, старуха мать сказала мне, что Иванов передал ей мое предложение и со своей стороны она согласна, но надо спросить самое Мари. Позвав Мари, которая тут же вошла в гостиную и остановилась в дверях, старуха мать спросила ее, согласна ли она».

«Та изъявила согласие».

«Остальные члены семьи и гости тут же поздравили нас».

«Мы стали жених и невеста».

«В пикет мы больше уже не играли, а ходили рука об руку по комнате, разговаривая о будущем».

«На следующий день послал в Полтаву своей матери и сестре письмо, прося их благословения, и скоро получил в ответ их полное согласие. Тогда с Подгурским, уезжавшим в командировку в Одессу, я написал письмо с тем же брату Александру. Через две недели Подгурский приехал и привез письмо от брата, который сильно отчитывал потому, что невеста бесприданница — ничего не имеет,— а на бедной жениться нельзя».

Тут влюбленный дедушка-идеалист, по-видимому, не на шутку вспылил; впрочем, отношения со старшим братом у него всегда были холодные: слишком разные они были люди.

«На это письмо послал я резкий ответ и вместе с тем попросил Шафирова быть у меня благословенным отцом».

«Свадьба была назначена в первое воскресенье после Пасхи, на так называемую Красную горку, когда обычно у нас на Руси играется большинство свадеб».

«На страстной я, взяв отпуск, поехал на почтовых со своим Иваном в Полтаву».

Становится кое-что более ясным в семейной хронике Бачей: сестра дедушки Лиза, та самая, с которой в детстве, в Скулянах, дедушка играл в таракуцки и лазил на горище, где хранились на зиму фрукты,— эта самая Лиза по окончании с шифром Смольного уехала в Полтаву, где поступила классной дамой в институт для благородных девиц; в нее влюбился губернский предводитель дворянства, богатый полтавский помещик, вдовец Петр Ганько, женился на ней, и она сделалась хозяйкой одного из самых видных полтавских домов. Впрочем, она при этом не бросила службы и еще долго продолжала оставаться классной дамой в институте для благородных девиц.

Хотя Лиза была бесприданница — имение в Скулянах перешло в другие руки,— но ее брак с Ганько был вполне равный, так как отец Лизиного отца, а мой прапрадед Алексей Бачей происходил из дворян Полтавской губернии и даже, по преданию, был выходцем из старшины Запорожской Сечи, то есть мог считаться как бы из рода гетманов, о чем я уже, впрочем, здесь упоминал.

Елизавета Елисеевна, урожденная Бачей, а в замужестве Ганько, поселила у себя нежно любимую мать, которая после смерти мужа и разорения совсем растерялась, однако обратно на родину в Гамбург уехать не захотела, навсегда оставшись русской дворянкой, хотя правильно изъясниться по-русски так никогда до самой своей смерти и не научилась, большею частью говорила по-немецки и всюду возила с собой мейсенскую чашку, из которой пила кофе, по немецкому обычаю наливая его из фарфорового кувшинчика величиной с наперсток несколько капель сливок.

О своем переезде на почтовых из Знаменки в Полтаву дедушка не распространяется, но я думаю, что это было полное очарования путешествие ранней весной, когда снег уже почти совсем сошел и на вербах засеребрились почки, похожие на заячьи хвостики, и на лозинах повисли сережки, сплошь покрытые желтой пыльцой странного своего цветения.

Казалось, сама природа готовится не только к празднику воскресения Христова, но также и к дедушкиной свадьбе, заставляя зеленеть пригорки и блестеть воды разлившихся рек и ручьев.

Наслаждаясь красотой ранней южной весны и предаваясь сладким мечтам о будущем семейном счастье, дедушка все время видел перед собой свою невесту, или, как он еще продолжал называть ее на людях, мадемуазель Мари, а сам с собой уже Машей и даже Машенькой. Ее образ всюду сопровождал его: милая молоденькая девушка из интеллигентной семьи профессора Шевелева, еще почти совсем девочка, крепенькая, с круглым румяным добрым лицом и маленькими пухлыми ручками, в шелковом расфуфыренном платье, довольно складно, хотя и грубо скроенном и пошитом знаменской модисткой, с косынкой на шейке,— точно такой, какой дедушка на всю жизнь запомнил ее в незабвенный день помолвки.

Таких хорошеньких, крепеньких, круглолицых красавиц так и хочется назвать таракуцками.

Ничего этого дедушка, конечно, в своих воспоминаниях не пишет. Приходится мне на правах его внука и наследника заниматься подобными описаниями.

«По приезде в Полтаву — при унылом звоне великопостных колоколов — я остановился в гостинице, переночевал, привел себя в порядок и отправился к Ганько, дом которого был хорошо знаком каждому извозчику. Застал дома мать, сестру и двух дочерей предводителя Ганько от первого брака».

«Поцелуи, объятия, восклицания — все пошло одно за другим. Расспросы обо всем. Узнав, что я остановился в гостинице, сестра ужасно рассердилась и заставила меня немедленно отправиться в гостиницу, забрать вещи и переехать к ним в дом, где в особом флигеле мне была приготовлена комната. В этой свежей, с только что вымытым полом и голубыми стенами комнате, я переоделся, почистился и через двор, уже поросший молодой травкой, отправился в дом».

«Зять, муж моей сестры Елизаветы, Петр Ганько, уже пришел. Мы познакомились. Он мне понравился: хороший седоватый господин, очень вежливый и бодрый. Тут же я познакомился со своей племянницей, дочкой моей старшей

сестры Анастасии, жены того самого Ковалева, который отвозил меня из Скулян в Одессу поступать в гимназию. Звали мою племянницу Верой Ковалевой».

«Сестра моя Елизавета вместе с нашей старушкой матерью, узнав о незавидном положении Ковалевых в Бессарабии, привезли Веру в Полтаву, с тем чтобы поместить в институт, где ей могла оказать протекцию Елизавета».

«Вера, полная краснощекая девушка, что называется, кровь с молоком, родилась в Скулянах в 1844 году, стало быть, ей исполнилось теперь 16 лет».

По-видимому, эта самая Вера принадлежала к тому же типу девушек, что и невеста дедушки мадемуазель Мари, младшая сестра мадам Ивановой, то есть была, что тогда называлось, «розанчик».

«...она любит самовластие, и здесь если ей приходится исполнять какой-нибудь приказ бабушки или тети, то исполняет его молча, прикусив пухлые губки...»

«Старшая дочь Ганько от первого брака все молчит, читает, но младшая, Анюта, 15 лет,— веселая и разговорчивая — очень мне понравилась».

«Вот и вся семья».

Дедушка сразу попал в общество молодых девушек, что не могло еще больше не поднять его настроение, и без того отличное, веселое, радостное, как и полагалось влюбленному жениху в ожидании свадьбы. Да и появление в доме молодого кавказского офицера, героя, да к тому же еще и жениха, не могло не возбудить повышенного интереса к нему молоденьких родственниц.

Я думаю, с появлением дедушки в доме Ганько сама собой установилась легкая атмосфера всеобщей влюбленности.

«Я приехал в страстную среду; на другой день, в четверг, был с сестрою в церкви кадетского корпуса и отстоял там длинную всенощную с приглушенным стройным мальчишеским хором, траурными ризами священнослужителей и тем особым вечерним великопостным светом, который так грустно и так молодо синел в узких церковных окнах».

Стоя рядом с сестрой, преклонив по-военному одно колено, а на другом, выставленном, придерживая фуражку, дедушка молился о своем покойном отце, о старушке

матери, об оставленной в Знаменке невесте и усердно крестился, прижимая ко лбу, груди и плечам крепко сложенное троеперстие. Сестра же его Лиза, стоя на коленях и убрав в сторону шлейф длинного платья, прижимала к груди руку в перчатках, вспоминала Скуляны, детство, дружбу с братом, думала о своем муже, таком прекрасном человеке, о его дочерях, таких прекрасных девушках, и на глазах у нее сияли слезы любви и умиления.

Эта совместная молитва еще больше сблизила брата и сестру, и без того крепко любивших друг друга.

«Прошла святая, разговены после пасхальной заутрени, стол, уставленный высокими, как башни, куличами, называвшимися здесь по-южному пасхами, и множеством ранних весенних цветов, выращенных в собственной оранжерее».

«В четверг на святой, получив благословение матери и не переставая думать о невесте, которую пообещал привезти в Полтаву в следующем году на Пасху, я выехал со своим верным Иваном восвояси, в полк».

«Поездка прошла благополучно»,— счел необходимым отметить дедушка, хотя трудно представить себе, почему бы поездке этой и не быть благополучной. Ведь время уже было мирное и черкесов вокруг не наблюдалось.

Ах, это время, которое почему-то всегда летит «незаметно»!

Каждое попутное местечко или большое село встречали дедушку пасхальным трезвоном; сияло солнышко; зеленела новая травка, в которой кое-где виднелись скорлупки крашенок; на дорогах курилась первая, уже почти летняя пыль. Над камышовыми крышами белых хуторов летели аисты. Милая сердцу картина.

Дедушка чувствовал себя прекрасно: только что он провел несколько радостных дней среди родных и близких, в красивом городе с белыми домиками под зелеными и красными железными крышами, окруженными пирамидальными тополями, садочками, где уже в полную силу цвели вишни и яблони; на праздничном базаре среди каруселей и перекидок стеклянно блестела на солнце поливенная посуда здешних гончаров — глиняные горшки и глечики, завернутые в солому; аппетитно пахли свежеиспеченные знаменитые полтавские бублики и сайки; нарядные чернобровые красавицы в клетчатых плахтах,

скрипучих полусапожках с подкованными каблучками, в платочках, накрученных на голове наподобие чалмы, так и обжигали молодого кавказского офицера взглядами своих карих, ярких, смоляных, чересчур смелых глаз, улыбками румяных ротиков...

...а знаменитые полтавские бабы-перекупки в плисовых безрукавках носили мимо него на плечах кипы богато вышитых рушников и свертки домоткаиого сурового холста...

Дедушка перебирал в памяти свои полтавские впечатления, веселые обеды и ужины в богатом доме Ганько среди молоденьких девушек, расспрашивавших его о Кавказе, о войне, о его невесте.

Присутствие девушек в кружевных платьях с розовыми кушаками и белых лайковых башмачках особенно украсило его пребывание в Полтаве отчасти потому, что, любуясь их свежестью и молодостью, он не мог каждый миг не возвращаться памятью к своей невесте, почти такой же молоденькой, но только во сто раз более желанной и любимой.

«Ах, Машенька, Машенька!» — не раз вздыхал про себя дедушка среди самых веселых застольных разговоров.

Дедушка проехал через поле знаменитой Полтавской битвы, где Петр разбил шведов и навсегда утвердил славу России.

«В Знаменке я застал всех здоровыми, в полку — все в порядке. Вещи мои уже оказались перенесенными к Ивановым, а потому я временно поселился в квартире на углу возле того же дома, где жили Ивановы».

Под звон пасхальных колоколов жених еще более приблизился к невесте.

«...был в канцелярии у командира полка, время шло незаметно. На временной моей квартире шла своего рода работа по приготовлению фейерверка, которым занялись Попаленко и Козинец, большие специалисты по «скоропалительным трубкам» и «ракетным станкам»...» —

...напоминавшим дедушке войну и горящие сакли горских аулов.

«Как прошло время с утра 24 апреля в воскресенье до 5 часов вечера, когда надо было ехать в церковь венчаться, не помню; все смешалось у меня в голове».

Время то стояло на месте неподвижно, как бы и вовсе отсутствуя, то лихорадочно мчалось куда-то: то ли вперед, то ли назад.

«В 5 часов, надев парадную форму с эполетами, я пошел к Ивановым, где меня уже ждал Шафиров — мой посаженый отец».

Дедушка стал перед Шафировым по-офицерски на одно колено, и Шафиров, тоже в полной парадной форме, в орденах, в белых перчатках, напомаженный, благословил дедушку иконой, после чего они поцеловались: дедушка почувствовал от усов Шафирова запах духов и бриллиантина, и у дедушки в сердце похолодело, как в колодце.

«Получив благословение, поехал я с Шафировым в полковом экипаже в церковь, где уже были мои товарищи офицеры и полковой священник в новенькой золотой ризе отец Тимофей Ковальский с наперсным крестом на алой анненской ленте. Через четверть часа, показавшихся мне бесконечными и тревожными, приехала и невеста, которую встретил я у порога церковного и, предложив ей руку, провел к алтарю. На ней было подвенечное платье со шлейфом, скрывавшим маленькие пухлые ножки в шелковых туфельках, и фата с веточкой воскового флердоранжа, пришпиленной к затейливой прическе. Ее рука в длинной, по локоть перчатке с морщинками на сгибе дрожала на обшлаге рукава моего новенького мундира».

«Началось венчание, которое шло очень долго. Шаферами были у меня Горбоконь и Попаленко, а у невесты Войков и Козинец».

«Наконец всему делу венец!»

«...и мы, то есть я, невеста и Шафиров, поехали в полковом экипаже домой, где были приняты матерью Шафирова, от которой получили новое благословение, и сели рядом с Машей на диван в гостиной. Нас все поздравили. Выпили шампанского, чай, затем начались танцы под звуки полкового оркестра и продолжались до 12 часов ночи, когда подали ужин, а за окнами затрещал и застрелял фейерверк — бураки, бенгальские огни, римские свечи,— добавочно освещая плывущими разноцветными огнями и без того ярко освещенную залу, куда с улицы

заглядывали любопытные знаменские жители. И мне временами казалось, что где-то совсем рядом горят сакли, зажженные «скоропалительными трубками». Тотчас после ужина опять пошли танцы, а в три часа ночи гости разъехались и мы с Машей, снявшей уже фату и раскрасневшейся от танцев, пошли спать».

«25-го опять поздравления наших шаферов, потом обед по случаю того, что Шафиров выехал в Мелитополь, где на 27-е назначена была свадьба Супруненко и Шафиров был у него, как и у меня, посаженым отцом».

«1 мая, прискакав из Мелитополя со свадьбы Супруненко, Шафиров, неутомимый танцор, устроитель офицерских свадеб, но сам при этом закоренелый холостяк, тут же устроил у себя танцевальный вечер с дамами. Чай в саду при звуках полкового оркестра, и огнях, и треске фейерверка, оставшегося от моей свадьбы, был весьма оживлен. Потом старики засели за карты, а молодежь пошла танцевать».

«Я тоже танцевал кадриль с молодой женой, а в промежутке между танцами ходил с ней под руку по саду, по аллеям среди высоких кустов цветущей сирени при свете теплой майской луны».

«В 12 часов сели за ужин, длившийся час. Смеялись, шутили и...— и не забывает отметить дедушка,— вечер прошел незаметно».

Так женился мой дедушка.

Может показаться, что его просто-напросто женили. Возможно. Пусть так. Но не все ли равно, если они полюбили друг друга, в результате чего у меня и моего младшего брата Жени появилась бабушка, хотя матери еще и в помине не было, в чем я вижу одно из доказательств того, что время имеет свойство двигаться также и в обратную сторону.

«Потом наступили хлопоты по устройству лагеря с его солдатскими и офицерскими палатками, клумбами ночной красавицы, обложенными выбеленными кирпичами, линейкой и караулом возле знамени в клеенчатом чехле и зеленого полкового сундука».

«По окончании устройства лагеря, к июлю, начались вольные работы. В некоторых деревнях, где работали наши солдаты, время от времени возникали неудовольствия землевладельцев-помещиков, и Шафиров посылал меня улаживать неприятности и получать деньги».

«К 1 августа полевые работы кончились и роты вернулись в лагерь. Начались учения. Тут 15 августа во 2-м батальоне майора Войткевича, того самого, который на Кавказе послужил причиной смерти унтер-офицера Гольберга, о чем я уже писал, произошла во время учения стычка его с поручиком Горбоконем».

«Учение производилось после Кавказа по новому уставу, офицеры и солдаты часто ошибались. После одной дурно исполненной команды Войткевич остановил учение и грубо сказал:

— Господа офицеры, если будет еще так продолжаться, то я позову на ваше место кашеваров, а вас пошлю на кухню чистить картошку».

«Услышав такие слова, Горбоконь вспыхнул, вложил саблю в ножны и, подойдя к Войткевичу, сказал, изо всех сил сдерживая ярость:

— Господин майор, я болен... Я не могу больше продолжать учение... при подобных оскорблениях».

«Войткевич с презрением повернулся к нему спиной и, ничего не ответив, ушел в свою палатку».

«На другой день у нас была ротная поверка, при коей Горбоконь доложил командиру полка жалобу на Войткевича за грубое обращение».

«Командир полка позвал Войткевича к себе в кабинет. Что они там говорили, неизвестно, но, выйдя оттуда, Шафиров сказал Горбоконю:

— Я не имею, поручик, от вас донесения о вчерашнем случае и потому не могу ничего сделать».

«В тот же день Горбоконь подал рапорт, в котором описал все случаи грубого обращения Войткевича с офицерами и нижними чинами, причем упомянул об убийстве Войткевичем на Кавказе унтер-офицера Гольберга».

«Рапорт его был представлен начальнику дивизии. Через дней десять начальник дивизии прислал ответ: подать Горбоконю в отставку, то есть решил, что поступки Войткевича — грубость и убийство — хороши».

Впервые я нашел в записках дедушки подлинное, глубское чувство возмущения нравами, царящими в армии.

«Вслед за этой бумагой приехал сам начальник дивизии Эйсмонт. Начался смотр. На смотру начальник дивизии старался всячески давить Горбоконя: во фронте кричал, чуть не топтал его конем. После смотра офицеры, собравшись, отправились к Шафирову и просили разреше-

ния пойти к начальнику дивизии просить за Горбоконя. Шафиров, испросив предварительно позволения Эйсмонта и получив согласие, разрешил».

«Офицеры пошли к Эйсмонту и стали его просить оставить Горбоконя в полку как хорошего офицера и товарища».

«Начальник дивизии, услышав такой единодушный отзыв офицеров о Горбоконе, подумал и сказал:

— Это совсем другого рода дело. Хорошо, господа, я согласен, но пусть Горбоконь попросит извинения у Войткевича, а Войткевич у Горбоконя — и делу конец».

«Поблагодарив начальника дивизии, офицеры отправились прежде всего к Горбоконю, передали ему все бывшее у Эйсмонта и просили согласиться. Подумав, Горбоконь сказал:

— Благодарю вас, господа. Вашу просьбу я исполню нынче же вечером».

«Тогда офицеры пошли в палатку к Войткевичу, передав ему слова начальника дивизии и Горбоконя.

— Хорошо,— сказал Войткевич,— я согласен».

«После обеда был смотр, строевые учения. Все прошло отлично. Подали экипаж. В экипаж сел Эйсмонт и посадил с собой Шафирова, а затем пригласил в экипаж полкового адъютанта Иванова и меня. Мы сели и поехали домой».

«Между тем в лагере произошло следующее».

«Горбоконь, пригласив в свидетели офицеров стрелковой роты, пошел к Войткевичу, который ходил взад-вперед возле своей палатки, заложив руки за спину».

«Обратившись к Войткевичу, Горбоконь взял под козырек и сказал:

— Господин майор, в своем рапорте я позволил себе выразиться резко и потому прошу у вас извинения».

«Войткевич, осмотревшись, сказал:

— Отлично. Но, к сожалению, здесь нет моих офицеров, которые могли бы быть свидетелями моего извинения».

«С этими словами он послал своего адъютанта за офицерами. Адъютант их позвал. Они пришли и стали против офицеров — свидетелей Горбоконя».

«Все было весьма формально, чин чином».

«— Господа,—четко и резко сказал Войткевич, обратившись к офицерам.— На учении в июле я, погорячив-

шись, позволил себе довольно резко выразиться, а потому извините меня».

«Он сделал некоторую паузу, вынул из тесного кармана рейтуз серебряный портсигар со множеством золотых монограмм и оранжевым запальным шнуром, закурил папироску, немного попускал из ноздрей дыма, а затем небрежно поворотившись в сторону Горбоконя, так же четко и резко заметил:

— А перед вами, поручик, заметьте это себе, я *не извиняюсь!*»

«Он сильно нажал на слово *не* — и повернулся спиной к Горбоконю».

«Горбоконь был ошеломлен».

«— Почему же? — сказал он, побледнев.— Я обиделся вашими словами в июле на ученье и затеял дело. Теперь же по приказанию начальника дивизии мы с вами должны извиниться друг перед другом и кончить это дело. Я извинился перед вами, а вы?

— Я вам отвечать не намерен. Про то знает полковой командир,— сказал Войткевич.

— Но почему же? — сорванным голосом воскликнул Горбоконь, еще более побледнев.

— Повторяю,— отчеканил Войткевич,— я вам отвечать не намерен».

«Судорога отчаяния пробежала по лицу Горбоконя. Из мертвенно-белого оно вдруг стало багровым. Он уже не владел собой».

«— А! — закричал он, задрожав всем телом.— Так ты не батальонный командир, а подлец!»

«И с этими словами, размахнувшись, Горбоконь ударил Войткевича правой рукой по левой щеке, а затем повторил удар, но уже левой рукой по правой щеке».

«Не удержавшись на ногах, Войткевич упал на палатку, закричав:

— Лошадей мне! — желая немедленно ехать к начальнику дивизии».

«Все стояли, пораженные ужасом».

«Один из офицеров сказал:

— Зачем, Горбоконь, ты это сделал? Если бы мы это знали, мы бы не пошли с тобой».

«Горбоконь, снова побледневший как смерть, посмотрел на своих товарищей странным взглядом и произнес с еще более странной, блуждающей улыбкой:

— Не бойтесь, господа. Ничего вам не будет».

«С этими словами он пошел к себе в палатку, где, бросив на кровать скинутый поспешно сюртук и саблю, бывшую на нем, взял заряженный револьвер, вставил дуло между двумя пальцами руки, которую положил на белый жилет против сердца, и произвел выстрел, окончив таким образом свою печальную жизнь».

А что еще оставалось делать ему, молодому, самолюбивому, горячему, обесчещенному офицеру?

«Итак, вместо жалобы Войткевич привез начальнику дивизиона известие, что Горбоконь застрелился. Начальник дивизии Эйсмонт, сильно испугавшись, закричал, чтобы ему сейчас же дали лошадей ехать домой, а Шафирову приказал разобрать дело и донести».

«Шафиров послал ординарца за полковым адъютантом, у которого я в это время был в гостях. Ординарец явился к Ивановым, сказав, что Горбоконь застрелился. Услыхав это, Иванов пошел к командиру полка, а я без шапки побежал в лагерь».

За селом меня догнал экипаж, в котором мчался Шафиров со своим адъютантом Ивановым. Меня окликнули. Я отозвался и был приглашен командиром полка присоединиться к ним. Стоя на подножке накренившегося экипажа, я въехал в лагерь. Вижу такую сцену: офицеры стоят кучками и рассказывают что-то друг другу...»

«Шафиров распорядился некоторых офицеров арестовать до утра под надзором дежурного по полку».

«К палатке, где лежал Горбоконь, приставили часового. Доктору было приказано утром освидетельствовать застрелившегося. Остальным офицерам приказано было идти в свои палатки и не выходить. Сделав эти распоряжения, Шафиров забрал меня и Иванова с собой, и мы поехали обратно в деревню».

Застрелившийся Горбоконь был ближайшим другом дедушки, его боевым товарищем и шафером у него на свадьбе. Однако в своих записках дедушка ни словом не обмолвился о том, как отнеслась бабушка к ужасному происшествию.

Вообще после свадьбы дедушка редко упоминает о бабушке. Вероятно, он так привык жить исключительно интересами службы, что молодая прелестная жена как бы вовсе выпадала из поля его зрения, а вернее, существовала для него в каком-то другом измерении, что совсем

не противоречило тому, что он очень ее любил всю свою жизнь.

«Утром на другой день, часов в семь, я отправился пешком в лагерь. Доктор и дежурный по полку вошли в палатку, где всю ночь лежал мертвый Горбоконь, я и несколько других офицеров пошли с ними».

«Доктор, осмотрев, сказал, что нечего тормошить мертвого, так как и без того все ясно. Надо просто написать, что застрелился в припадке острого сумасшествия».

«Услышав это, я запротестовал и стал требовать подробного вскрытия, заявляя, что Горбоконь никогда не был сумасшедшим и застрелился в полном уме, так как не мог снести нанесенного ему оскорбления. Другие офицеры меня поддержали. Доктор, видя, что делать нечего, вскрыл голову Горбоконя; оказалось в полном порядке; вскрыл сердце, живот — все нормально; только, видно, человек был возбужден».

«Затем труп был отдан мне для погребения, так как самоубийца лишен был погребения со священником. Я заказал у полкового столяра гроб, который был через два часа готов».

«Доктор зашил голову Горбоконя, грудь и живот. На него мы с доктором не без труда надели мундир, застегнули и положили в гроб. Трудней всего было сложить ему руки на груди: они уже окоченели. Но все же мы их сложили».

Дедушка не пишет, каков был Горбоконь в гробу, но я вижу его ясно: горбоносое казачье молодое лицо (может быть, горбоносое по ассоциации с фамилией). Русый волнистый чуб, прилипший к высокому красивому лбу. Чуть заметные усики, слегка вьющиеся. Запавшие, закрытые глаза и черта предсмертного мучения, искривившая обескровленные сиреневые губы... И восковой подбородок, подпертый твердым воротником армейского мундира с поднятыми эполетами.

«В первом часу дня при пасмурном небе мы, человек двадцать офицеров 1-й стрелковой роты, подняли гроб на свои плечи и понесли по передней линейке лагеря».

«Дежурные барабанщики били дробь».

«Солдаты, выходя из палаток на переднюю линейку, крестились и кланялись гробу».

«Пронеся таким образом гроб с телом Горбоконя вдоль всего лагеря, мы отправились на дорогу, которая вела из села, где возвышалась башня над могилой какого-то ранее, несколько лет тому назад, застрелившегося доктора».

Как видно, в то время люди часто стрелялись.

«Прибыв к заранее приготовленной могиле, мы прочли молитву, по очереди поцеловали застрелившегося товарища в ледяной лоб, покрыли гроб крышкой, забили крышку гвоздями и спустили в могилу».

«Так умер человек молодой, полный сил и ума, ценимый всеми его знавшими. Мир праху твоему, благородный человек!»

«После похорон началось следствие. Опрошенные офицеры единогласно показали, что Горбоконь согласно приказанию начальника дивизии попросил извинения у Войткевича и у своих офицеров, а Войткевич отказался извиниться в свою очередь перед Горбоконем, к чему его обязывало приказание начальника дивизии, чем поставил Горбоконя в унизительное положение; Горбоконь вспылил, сказал Войткевичу: «Ты не батальонный командир, а подлец!» — и ударил его в левую щеку, а затем в правую, отчего Войткевич упал на палатку, закричав: «Лошадей мне!»

И так далее, о чем здесь уже было писано.

«Из произведенного следствия начальство увидело всю вину Войткевича и, не удовлетворившись этим, прислало из Одессы своего следователя, который еще больше выяснил поступок Войткевича».

«Надо сказать, что на другой день после смерти Горбоконя Войткевич как ни в чем не бывало вывел свой батальон на учение и начал командовать. Но Шафиров, узнав об этом, послал сказать ему, чтобы он сдал батальон и тотчас явился к нему. Сдав батальон, Войткевич пошел на квартиру командира полка и, поговорив с ним, подал рапорт о болезни».

«По представлении материалов следствия корпусному командиру генерал-адъютанту Врангелю, старому кавказцу, Войткевич был уволен в отставку с пенсией майора 320 рублей в год и поступил управляющим в имение к ротмистру Попову».

«Во время этого дела я получил письмо от сестры

Горбоконя, которая просила меня продать оставшиеся после его смерти вещи и поставить памятник на могиле. Вещи я продал с аукциона офицерам. Шубу енотовую и пистолет, из которого Горбоконь застрелился, купил Кульчицкий, взяв деньги в долг, с тем чтобы расплатиться по частям».

«На вырученные деньги я принялся строить над могилой Горбоконя памятник из камня, обитого железом, покрытого темно-синей масляной краской, с крестом и надписью на фронтоне. В памятник была вделана лампада.

В 1861—1862 годах наш полк стоял в том же лагере. Отправляясь на ученье, мы всегда проходили из села мимо памятника, служившего воспоминанием об умершем, о недавно закончившейся кавказской кампании и о стихотворении поручика Лермонтова, напечатанном в альманахе «Утренняя заря» и ходившем по рукам в армии, в особенности среди бывших кавказских офицеров».

«...Ура! — и смолкло.— Вон кинжалы, в приклады! — и пошла резня. И два часа в струях потока бой длился. Резались жестоко, как звери, молча, с грудью грудь, ручей телами запрудили. Хотел воды я зачерпнуть... (И зной и битва утомили меня), но мутная волна была тепла, была красна... Окрестный лес, как бы в тумане, синел в дыму пороховом. А там вдали грядой нестройной, но вечно гордой и спокойной тянулись горы — и Казбек сверкал главой остроконечной. И с грустью тайной и сердечной я думал: «Жалкий человек. Чего он хочет!.. небо ясно, под небом места много всем, но беспрестанно и напрасно один враждует он — зачем?»

Лампадка на могиле Горбоконя теплилась так мирно, так кротко... Но ангел смерти, видно, летал над этой степной местностью, ища новых жертв.

«По моему назначению офицер Кульчицкий был командирован в Херсон получить для полка порох, разные учебные припасы и денег 800 рублей. Зная слабость Кульчицкого, я написал было в Херсон, чтобы деньги выслали по почте, но командир полка Шафиров, находя это недоверием к офицеру, приказал переписать бумагу и выдать деньги Кульчицкому под расписку. Кульчицкий поехал, получил все припасы, порох и деньги, но последние проиграл и написал мне слезное письмо, прося его выручить».

«Припасы и порох прибыли своевременно. Вслед за ними приехал Кульчицкий, но, не имея денег, по начальству не явился. Я захлопотал, стал собирать у себя офицеров, чтобы как-нибудь выручить Кульчицкого: составил подписной лист, лично подписался на 25 рублей».

«Между тем Шафиров, узнав о прибытии пороха и припасов и о приезде Кульчицкого и видя мое смущение и суетливое поведение, призвал меня к себе.

— Отчего Кульчицкий не является? — спросил он, поставивши меня своим вопросом в крайне затруднительное положение».

«Я некоторое время находился в нерешительности, но наконец сказал:

— Петр Васильевич, вам как человеку я могу ответить на ваш вопрос, а как начальнику я промолчу.

— Говорите мне как человеку,— ответил он».

«Услышав эти слова, я рассказал ему все, что знал».

«— Пусть Кульчицкий явится ко мне сейчас,— сказал Шафиров,— скажите ему, что я денег не потребую».

«Я тотчас побежал к Кульчицкому и послал его к Шафирову. Кульчицкий пошел. Командир полка его «выпудрил», чем дело и кончилось».

«Через месяц после сего Шафиров назначил Кульчицкого командиром 3-й стрелковой роты, думая этим дать ему «поправиться». Получив роту, Кульчицкий закутил, сильно пошла в ход картежная игра. На все мои предостережения Кульчицкий не обращал внимания».

«В феврале 1861 года по случаю прибытия в полк старшего по чину, чем Кульчицкий, офицера отдан был приказ Кульчицкому сдать роту. Это сильно его обескуражило. Накануне сдачи денежного ящика с ротными суммами он был у меня. Шафиров тоже был. Видя Кульчицкого в таком ужасном состоянии, Шафиров сказал:

— Что это молодой офицер так печалится? Не печальтесь! Пройдет месяц — и я опять вам дам роту, чтобы вы могли поправиться».

«Но эти обнадеживающие слова мало подействовали на Кульчицкого. Видно, его денежные дела были непоправимо запущены. Он чуть ли не со слезами выпросил у меня часть недостающих денег, уверяя, что сейчас же их пошлет по почте в Алешки, место стоянки его бывшей роты. Я дал. Он уехал. Но не в роту, а в Каменку, где стал опять играть в карты, и проигрался в пух».

«На рассвете, когда я с женою еще спал, он вдруг явил-

ся к нам — страшный, взъерошенный, с красными глазами,— попросил у моего человека рюмку водки, выпил, махнул рукой и поехал в роту. Там Кульчицкий — видимо, уже совсем не владея собой,— написал донос на Шафирова, что тот будто бы притесняет его по службе, отправил этот донос со своим братом на почту, а сам заперся в комнате, взял и застрелился из того же самого пистолета, из которого застрелился Горбоконь».

«Все были оскорблены таким поступком Кульчицкого, зная, что вопреки его доносу Шафиров был к нему всегда внимательно-добр».

«Произвели проверку сумм — оказалось, как и следовало ожидать, большая недостача, не говоря уж, что и у меня взял».

«Насколько смерть Горбоконя была сожалительна, настолько смерть Кульчицкого была осудительна».

«Приехал следователь от корпусного командира; все офицеры показали за Шафирова, против Кульчицкого. Получив дело, корпусной прислал Шафирову извинительное письмо. Дело кончилось без всяких последствий».

Представляю себе самоубийство Кульчицкого: раннее утро, низкое солнце, еще розовое, в как бы ночной комнате на полу косяки утреннего света, беспорядок, трагически разбросанные вещи, чернильница, ручка с пером, обрывки бумаги — черновики доноса. И Кульчицкий без сюртука, в подтяжках, в несвежей сорочке, с опухшим лицом, злыми, воспаленными, как бы светящимися глазами. А сюртук — валяется на железной кровати, не чищенный уже по крайней мере неделю, с пухом на сукне. Посередине комнаты на полу штиблеты с засохшей грязью. Может быть, Кульчицкий даже не присел к столу. У него под ногами валялись разорванные игральные карты. Кульчицкому все еще представлялся зеленый ломберный стол с сукном, дымящимся от стертого мела, щеточки, шандалы, окурки, белые колонки цифр. Сумбур последних дней. Кружила голову последняя рюмка водки, выпитая в передней у дедушки, который, обняв пухлые плечи молодой жены, спал сладким утренним сном, слегка похрапывая.

Очень длинные, почти бесконечные тени на розовой пустынной улице большого таврического села. Ранние воробьи.

Я думаю, Кульчицкий, рыжеватый, взъерошенный, с белым лицом подлеца, со скрюченной рукой, просто присел боком на шаткий стул перед столом, с выражением отвращения на лице зажмурился и выстрелил себе в открытый рот, на один миг ощутив на языке гальванический вкус пистолетного дула и успев подумать, что это пистолет покойного Горбоконя, после чего перестал существовать. А енотовая шуба, которую дедушка в своих воспоминаниях писал «янотовая», висела на гвозде, вбитом в дверь, такая же запущенная, как и ее теперешний хозяин.

Шуба двух самоубийц.

С размозженным изнутри затылком, откуда наружу хлынула кровь, залив всю комнату, Кульчицкий упал лицом на стол и так и остался до тех пор, пока не явился полковой доктор и не совершил всех формальностей.

Дедушка ничего не пишет о похоронах. Вероятно, Кульчицкого похоронили, как самоубийцу, без духовенства, где-нибудь за околицей, или перед оградой сельского кладбища при звуках ротных барабанов, сыпавших зловещую траурную дробь. И солдаты выходили из казармы, крестились и кланялись, тревожно косясь на мертвый профиль Кульчицкого и на его сложенные на груди руки.

Может быть, кто-нибудь поставил на могиле Кульчицкого крест или камень.

И все о нем забыли.

А ведь у него, наверное, была мать-старушка, и сестра, и брат, для которых он был самым дорогим человеком.

Таким образом, в таврической степи появилась третья могила самоубийцы.

Могилы самоубийц в пустынной степи — какое щемящее душу зрелище!

Сколько раз еще потом мимо этих могил проходили в XIX и XX веках самые различные войска: русские, немецкие, красные, белогвардейские, советские, фашистские — и, проходя мимо, никто из них уже не знал, что это за надгробия, как они сюда попали, в эти сухие, горькие полынные просторы на подступах к Крымскому полуострову, твердыне России на Черном море.

«Роту Кульчицкого принял поручик Пригара 1-й, славный офицер, произведенный из саперов. Пришло время лагеря, опять на том самом месте, где он был в прошлом

году. После лагеря — работы на полях землевладельцев. Поездки к помещикам за деньгами. Все как в прошлом году».

«Время мелькало,— автоматически отмечает дедушка,— пришел август, собрались обратно с полевых работ в лагерь. Прошли слухи, что идем на Керчь. Даже один раз вдруг в то время, когда я принимал провиант в магазине, потребовали меня к Шафирову, говоря, что — поход. Я бегом направился к нему. Оказалось, что недавно сформированный окружной штаб потребовал какие-то сведения о тяжестях полка».

«В этом же году,— вскользь прибавляет дедушка,— у меня родилась дочь Надя, хорошая девочка».

«Лето прошло незаметно, а затем и зима... Настал 1862 год. Встретили его по обыкновению у Шафирова весело, шумно, не зная, что принесет будущее».

«Пришла весна, яснее стали говорить о походе в Керчь. Собрались пока в лагерь, ожидая приказания, которое пришло к июлю. Стали готовиться к выступлению. Закипела работа, которая скоро была закончена. Предстояло тяжести отправить сухим путем на Арабатскую стрелку, а батальоны идут на Бердянск, где сядут на пароходы Русского общества пароходства и торговли — РОПИТ. Десятидневный сухарный провиант повезут на казенных лошадях. Но как быть с вещами на подъемных лошадях, которых всех не имелось? Это крепко заботило Шафирова и командира 1-го батальона Шверина».

«Оба думали, что я как молодоженатый поеду вместе с женой на Арабатскую стрелку, а не вместе с батальонами».

«Узнав это, я решительно объявил командиру полка, что, пока я на службе, я вижу сперва интересы полка, а потом уже свои личные, семейные: если он прикажет мне идти с первым эшелоном, то я и пойду, а жену с ребенком отправлю в экипаже через стрелку».

Вот какой оказался дедушка-службист, молодец!

«Услыхав мое решение, Шафиров и Шверин очень обрадовались и благодарили меня. Шафиров сказал, что он все сделает для моей семьи».

«Собравшись в половине июля, я выступил с 1-м батальоном, а жену с ребенком приготовил на другой день к поездке в коляске на паре своих лошадей в сопровож-

дении фургона с другой парой лошадей — для следования в Керчь через Геническ».

«Поход мой был хорош, без задержки. Я брал подводы по числу, сказанному в открытом листе, причем если не было лошадей, запрягал в повозки паруволовие как пару лошадей».

Из этой не вполне ясной фразы можно заключить, что в тех местах вместо лошадей главным образом запрягались волы.

«Паруволовие» — пара волов, спаренных деревянным ярмом.

«Все шло хорошо. Шверин не имел никаких хлопот. Все лежало на мне. Так дошли на волах до Бердянска. Я остановился в гостинице и сделал распоряжение о посадке на пароход Русского общества».

«Проводя в Бердянске два дня, был в театре: играли актеры довольно плохо, но по распоряжению Шафирова в оркестре играла даром наша полковая музыка, что скрашивало скверное впечатление о спектакле. На другой день был в городском саду. Играла тоже наша полковая музыка».

«Народу и интеллигентной публики масса!»

«На следующий день после обеда была посадка на пароход, а ночью пошли в Керчь, куда и прибыли в 11 часов следующего дня. Сперва высадили людей, а с ними вышли и сами».

«Вместе с женой, встретившей меня на пристани, сели на дрожки и отправились на квартиру, нанятую ею накануне (жена приехала в город ранее моего прибытия). Квартира довольно хорошая, из четырех комнат. Хозяин и хозяйка с Дону. Часть мебели жена приобрела у ранее квартировавшего тут подполковника Виленского полка».

Бабушка моя, несмотря на свою молодость — ей в ту пору было лет девятнадцать, от силы двадцать — почти девочка! — оказалась энергичной, расторопной, вполне самостоятельной, как, прочем, и полагалось быть заправской полковой даме.

Вижу, как тащилась молодая офицерша с севера на юг по Арабатской стрелке в полковом экипаже, запряженном парою собственных лошадей, с кучером-солдатом на козлах и денщиком рядом с ним, с казенной фурмапкой

позади, нагруженной домашним скарбом, которым уже успели обзавестись бабушка и дедушка.

Бабушка в холщовом пылевике и в полотняном дорожном капоре, из которого выглядывало, как из будки, ее румяное, как яблочко, лицо; она держала на коленях годовалую круглолицую девочку, одетую точно так же, как и ее мама, в холщовый пылевичок и серый дорожный чепчик с рюшами. У девочки от жары потрескались губки, и бабушка время от времени доставала из баула рожок со сладкой водой и поила ребенка, вытирая ей ротик и щечки батистовым «приданым» платком.

Повертывая круглую головку, девочка смотрела уже почти осмысленными глазками вокруг себя на утомительно медленно движущийся мир солончаков Арабатской стрелки, опрокинутых над горизонтом зеркальных миражей, выжженной таврической степи, кувыркающихся поперек дороги шаров высохшего перекати-поля, подгоняемого знойным ветром...

...Бывшие и будущие поля сражений...

Именно где-то здесь в отдаленном будущем была найдена в вонючем рассоле Сиваша та позеленевшая, забитая солью медная гильза от трехлинейного винтовочного патрона — память о гражданской войне, о взятии Красной Армией Перекопа, которую некогда подарил мне на память товарищ Корк, начальник штаба Фрунзе. Помню, как блеснули стекла его пенсне без оправы. Подтянутый, стройный, доброжелательный...

...не чувствуя, что дни его уже сочтены...

Эта гильза долго лежала у меня в столе и пропала во время второй мировой войны... Но тогда ничего этого еще не было, и моя будущая бабушка тряслась в полковом экипаже в Керчь. В экипаже с потрескавшимися кожаными крыльями, в которых мутно, но ослепительно отражалось крымское солнце.

«Город Керчь, как приморский, населенный разными иностранцами, преимущественно греками, довольно по тому времени хороший, имеет мужскую гимназию, женский институт, клуб, где зимою четыре раза в месяц бывают семейные танцевальные вечера».

«Перезнакомившись в городе, мы зажили веселее, чем в Знаменке».

«Перед Рождеством я по делам службы собрался второй раз в Одессу. Зима была очень суровая, и мне пришлось испытать всю ее суровость».

«Брата Александра нашел я на прежней квартире на углу Почтовой и Ришельевской. Исполнив все служебные поручения, я купил жене часы в магазине Баржанского, большой платок, набрал на платье и выехал опять на стрелку, чтобы ехать в Керчь».

«Дорога была ужасная: лишь на шестой день к вечеру я добрался домой. Жена сильно беспокоилась, потому что несколькими днями ранее под Керчью погиб пароход Русского общества, шедший из Одессы».

Бабушка боялась, что дедушка находился на этом пароходе.

Дикий норд-ост нес над морем тучи снега. Зеленые волны с зубчатыми белогривыми гребнями, такие зловещие под черными низкими тучами, точно их написал своей быстрой кистью сам феодосийский житель, знаменитый Айвазовский, обрушивались на потерявший управление пароход, из высокой трубы которого валил черный дым и на сломанной мачте трепался флаг бедствия.

Бабушка, кутаясь в бурнус, в зимнем капоре с развевающимися лентами, прибежала, задыхаясь, на пристань и, ломая пухлые ручки, следила вместе с онемевшей толпой за ужасным зрелищем взбаламученного моря, среди которого на глазах у всех погибал пароход...

О, как громко и радостно она закричала, когда вдруг уже поздним вечером услышала в передней нетерпеливое дилиньканье колокольчика и голос дедушки, сбрасывающего на руки денщика свою обледеневшую походную бекешу!

Перебивая друг друга вопросами и ответами, с поцелуями, слезами и объятиями, с молодым веселым смехом, бабушка и дедушка стали разворачивать гостинцы.

Только и слышались бабушкины восклицания:

— Ах, какая прелесть! — Голос ее был почти совсем девичий, с южными придыханиями.— Какая роскошь! Какая прелесть!

Она так часто повторяла слова «какая прелесть», что они впоследствии перешли ко всем ее многочисленным дочерям и сделались как бы семейным выражением восторга.

Когда значительно позже появился на свет и я, то помню, как меня, маленького мальчика, тормошили бабушка и все незамужние екатеринославские тетки, подбрасывали меня к потолку, тискали, целовали, миловали, причем то и дело слышались выражения фамильного восторга: «Ах, какая прелесть!»

Я был «ах, какая прелесть», и все вокруг меня в том мире, который только еще начинал познавать, все было «ах, какая прелесть».

И моя мама тоже довольно часто произносила эту всеобъемлющую фразу:

— Посмотри, Пьер,— восклицала она, обращаясь к моему папе,— на это облако над морем, не правда ли, какая прелесть!

Я так привык к этому восклицанию, что когда в первый раз выпил из большой серебряной ложки рыбий жир, то воскликнул:

— Ах, какая прелесть!..— Но сейчас же опомнился, скривил рот и поправился:— Вот гадость!

Но тогда, в те незапамятные и для меня легендарные дни в Керчи, поздним вечером на дворе бесился норд-ост, а в четырехкомнатной квартирке, только что оклеенной бумажными шпалерами, было так тихо, так тепло, так уютно.

Столовая с висячей олеиновой лампой под белым абажуром; дедушкин кабинет: письменный стол с парафиновыми свечами под зеленым козырьком, кавказский ковер на стене с кавказской шашкой, кинжалами и двумя пистолетами; спальня с горкой подушек на двуспальной кровати, покрытой стеганым одеялом, а наверху пирамиды из подушек — совсем маленькая подушечка в кружевной наволочке — думка,— которую обычно бабушка подкладывала себе под щеку; детская комната, где в колыбельке, разметавшись, спала годовалая девочка Надя, а рядом на сундуке, расставив толстые ноги в шерстяных чулках, сидела заспанная няня.

Натопленные печи и кухня, откуда потягивало запахом солдатских сапог и сквознячком из-под двери, ведущей во двор.

Всюду в педантичном порядке была расставлена старая и новая, по случаю приобретенная мебель.

По-вечернему все было темновато, но уютно освещено и очень нравилось дедушке, который впервые чувствовал себя настоящим, зрелым, женатым мужчиной,

обладателем молоденькой жены Маши, отцом семейства, владеющим такой прекрасной четырехкомнатной квартирой, что когда бы еще ко всему этому фортепиано, то впору хоть штаб-офицеру.

Денщик успел стащить с дедушки мокрые сапоги, и дедушка ходил из комнаты в комнату по своей прекрасной квартире в удобных штиблетах на резинках, с ушками.

Штиблеты легко поскрипывали, вполне по штаб-офицерски.

Вручение подарков происходило в столовой со специально припущенным по этому поводу фитилем. Мягкий свет заливал обеденный стол. Стараясь не торопиться, дедушка выкладывал один за другим свертки и пакеты перед счастливой, раскрасневшейся бабушкой. Бумажные свертки были плоские, элегантные, сделанные опытными руками одесских приказчиков и мануфактурных и галантерейных магазинов на углу Дерибасовской и Преображенской, против кафедрального собора и памятника Воронцову.

Впоследствии на этом углу был выстроен знаменитый одесский пассаж, нисколько не уступающий пассажам на Больших бульварах.

Одесский пассаж несколько раз горел, что дало повод местным острякам сочинить на этот случай довольно глупые куплеты:

«По дешевой распродаже продается все в пассаже, по копейке, по грошу, покупателей прошу».

Одесские магазины имели вполне европейский вид, а приказчики в визитках и полосатых штучных брюках, в высоких стоячих воротничках, с напомаженными проборами от лба до затылка на английский манер, и с закрученными усами на немецкий манер, и с бородками а ля Наполеон III на французский манер, с перстнями на хорошо вымытых руках представлялись наимоднейшими европейцами.

Дедушка разворачивал пакеты, извлекал из них набранные для бабушки отрезы легкой шерстяной материи или тяжелого лионского бархата, причем на углу каждого отреза висел маленький бумажный сверточек в виде треугольника, где находилась свинцовая пломба— свидетельство того, что товар настоящий заграничный и прошел через таможню.

Бабушка прикладывала на себя материи, смотрела в зеркало кокетливыми глазами. Она была такая хорошенькая «таракуцка», что ее нисколько не портила довольно заметная беременность, сделавшая ее отчасти похожей на грушу.

Особенный восторг вызвал платок, то есть, вернее сказать, большая кашемировая шаль с турецким рисунком огурчиками и густой бахромой. Эта шаль была так велика, что бабушка закуталась в нее с головы до ног и вертелась перед дедушкой, лицо которого сияло счастьем.

Не была забыта и нянька: ей досталось пять аршин бумазеи на платье с таким простеньким, но вместе с тем миленьким рисуночком, что на миг у бабушки даже мелькнула мысль, не взять ли этот отрез бумазеи себе на халатик. Но доброе сердце победило искушение, и бумазея была отдана няньке.

Самый главный подарок дедушка приберег на конец. Он извлек из заднего кармана дорожного сюртука коробочку и торжественно вручил ее бабушке.

Она открыла и ахнула.

В коробочке в розовой вате лежали, как птенчик в гнезде, маленькие дамские часики с эмалью.

— Настоящие швейцарские, от Баржанского! — не без гордости провозгласил дедушка, произнеся фамилию «Баржанский» с таким видом, точно это было имя какого-то знаменитого полководца, причем самодовольно разгладил свои уже порядочно отросшие бакенбарды.

Баржанский был владельцем одного из лучших часовых магазинов на всем юге России, однако не самого лучшего; лучшим считался магазин Пурица и К°, у которого можно было приобрести неслыханной красоты дамские часики чистого золота и даже усыпанные алмазиками.

Говоря правду, бабушка втайне мечтала о золотых часиках от Пурицы и К°. Но дедушка не заметил мгновенного разочарования бабушки, а бабушке не стоило большого труда так же мгновенно полюбить часики от Баржанского, и дело кончилось традиционным семейным восклицанием:

— Ах, какая прелесть!

Сейчас я неясно помню эти бабушкины часики «от Баржанского», которые заводились по-старинному, клю-

чиком, и которые я однажды, гостя в Екатеринославе и оставшись один в бабушкиной комнате, стал заводить и, конечно, перекрутил пружину, так что часики пришлось отдавать в починку. За это я получил по рукам, но не слишком больно, потому что у бабушки были добрые, пухлые руки.

Зато турецкую шаль помню очень хорошо.

Эта шаль была так связана с представлением о бабушке, что бабушку и шаль было трудно отделить друг от друга: бабушка никогда не расставалась с этой шалью.

Бабушка и шаль старели на моих глазах, хотя я познакомился с ними, когда они были уже и не столь молоды.

С течением времени у бабушки на глазу появилось сначала еще не очень заметное бельмо, а шаль потерлась, но все же еще производила впечатление богатой вещи.

Последний раз я видел бабушку в самый разгар гражданской войны и военного коммунизма, летом 1919 года в Екатеринославе (который тогда еще не был переименован в Днепропетровск), где моя батарея по дороге на фронт пополнялась патронами.

Белые наступали на нас от Ростова на Лозовую, узловую станцию, имевшую решающее тактическое значение, и мы очень торопились поспеть туда вовремя.

Все же я решил съездить в город для того, чтобы хоть на десять минут повидаться с бабушкой, предчувствуя, что это будет наша последняя встреча, тем более что она, эта встреча, была как бы предопределена самой судьбой: наш эшелон мотался по местам, связанным с молодостью бабушки и дедушки.

Мы проезжали по стране дедушкиной молодости, где он служил после кавказской войны, о чем уже здесь упоминалось.

Мы проезжали через Мелитополь, Пятихатку, Бирзулу, Знаменку, ту самую Знаменку, где была свадьба дедушки и бабушки, пока нас наконец не занесло на запасные пути Екатеринослава, где мы должны были дожидаться боеприпасов.

В Екатеринославе закончил свою службу и вышел в отставку дедушка, туда меня возили из Одессы, когда я был совсем ребенком, там дедушка умер в первом году XX века, так и не дописав своих мемуаров.

Я сел в реквизированный экипаж, который моя бата-

рея возила с собой в эшелоне, и на паре чесоточных лошадей, с босым красноармейцем на козлах поехал по городу, за несколько дней до этого разграбленному бандой батьки Махно.

Поднимаясь в гору по некогда нарядному тенистому бульвару, по которому в пору моего детства с жужжанием и звоном бегали вагончики первого на юге России электрического трамвая, а теперь рельсы поросли травой, я с трудом узнавал улицы, разбитые окна, выломанные металлические шторы магазинов, грязные вывески, тротуары, некогда такие чистенькие и политые из шлангов, а теперь усыпанные сухим мусором и битым стеклом, нестерпимо резко блестевшим под лучами яростного и вместе с тем какого-то как бы пьяного июньского солнца.

Всюду было пусто, безлюдно, как будто город опустошила чума.

Долго не мог я найти бабушкин дом.

Я с трудом узнал знаменитый Потемкинский парк на высоком берегу Днепра, знакомый мне с детства своими вековыми дубами, а теперь наполовину вырубленный.

Черные бархатные бабочки со сложенными крыльями сидели на громадных древесных пнях.

Перед Археологическим музеем, на пустыре, потонувши в разросшемся бурьяне, стояли знакомые мне каменные плосколицые скифские бабы, провожающие меня еле намеченными глазами.

Далеко внизу, отливая оловом, струился широкий Днепр.

Появление моего экипажа посреди пустынной улицы у крыльца знакомого дома вызвало переполох: в окнах заметались женские фигуры. Мне долго не открывали. Наконец после звяканья каких-то многочисленных крючков и засовов упала последняя цепочка, дверь отворилась, и я увидел перед собой сильно постаревшую бабушку, завернутую в потертую турецкую шаль, так хорошо мне знакомую, но забытую.

Завидев меня, бабушка сначала испугалась и даже несколько отпрянула, но тут же узнала меня и радостно вскрикнула, и я бросился в ее мягкие объятия, прижавшись лицом к кашемировой турецкой шали, пропахшей множеством семейных, бачеевских, екатеринославских запахов.

Бабушка отвела меня от себя на расстояние вытянутых рук и, продолжая крепко сжимать пальцами мои предплечья и не отпуская меня от себя, почти с ужасом смотрела на мой френч со споротыми погонами, на фуражку, где вместо выпуклой офицерской кокарды краснела плоская пятиконечная звездочка, на цейсовский полевой бинокль, болтающийся у меня на груди.

— Боже мой, ты служишь у красных! — воскликнула она.

— Да, я командир батареи.

Видимо, это понравилось бабушке, которая привыкла уважать воинские должности, и даже ей немного польстило, что ее внук, несмотря на свою молодость, уже командует батареей, что в переводе с артиллерийского на пехотный означало, что я батальонный командир.

Меня окружили сбежавшиеся изо всех комнат тетки, мамины сестры, проживавшие все вместе в своем екатеринославском гнезде.

Они не столько ужаснулись, сколько были поражены тем, что я, их племянник, офицер русской армии, внук генерала — участника покорения Кавказа и правнук героя Отечественной войны 1812 года капитана Нейшлотского полка Елисея Бачея, служу в Красной Армии.

Впрочем, времени для объяснения не было. В моем распоряжении оставалось десять минут, и мой кучер-красноармеец уже несколько раз подозрительно заглядывал в окна и стучал в стекла кнутом.

Я перецеловался со всеми тетками, которые, узнав, что моя батарея скоро идет в бой, стали меня крестить и благословлять.

В знакомых комнатах было неуютно, незнакомо, беспорядочно. На постаревших обоях я увидел увеличенный портрет покойного дедушки в генеральском мундире, с бакенбардами, как у Александра II.

Общий разговор был сумбурный, отрывистый. Бабушке хотелось напоить меня чаем с клубничным вареньем, сохранившимся в кладовке от лучших времен, ей хотелось рассказать мне о своей жизни, о моей покойной маме, о дедушке, о его записках, которые она предполагала отдать мне вместе с замшевым портфелем, где хранились также записки моего прадеда, хотелось узнать о папе, о брате Жене, но время мое было на исходе.

Кучер снова постучал в окно.

Я вышел на крыльцо, как бы покрытое кружевной

тенью цветущей белой акации. За мной следом бежала бабушка в домашнем капоте, поверх которого была накинута упомянутая турецкая шаль. Бабушка переваливалась, как утка, своим отяжелевшим телом. Слезы катились по ее пухлому лицу с бельмом на глазу, что делало ее похожей на Кутузова, и она, стоя на крыльце, еще долго крестила удаляющийся батарейный экипаж, кожаные крылья которого сухо блестели на солнце.

...И вот наш эшелон уже на всех парах мчался в сторону Лозовой, не останавливаясь на станциях и разъездах, и на открытых площадках со стуком подпрыгивали на стыках наспех закрепленные трехдюймовки и зарядные ящики, возле которых сидели часовые, опустив ноги в черных обмотках за борт платформы, и в теплушках ржали и били копытами батарейные лошади, а вокруг сколько хватало глаз расстилались необъятные южные поля густой спелой пшеницы, стекловидно желтевшей под раскаленным солнцем; из мотающегося в хвосте эшелона почтового вагона, обклеенного революционными плакатами и портретами Ленина, два политработника в толстовках выбрасывали на полустанках пачки листовок, летающих в воздухе, как стаи чаек; а на горизонте в мучительно безоблачном небе уже то и дело вспыхивали, разрываясь, черно-белые облачка шрапнели, и сквозь грохот летящего поезда доносились звуки артиллерийской пальбы.

Это на Лозовую с Дона наступали деникинцы.

...товарищи, мы в огненном кольце!..

Скоро все улеглись спать, но в доме все еще царил дорогой запах импортной мануфактуры, а на кухне в углу за плитой лежала гора смятой оберточной бумаги.

«На другой день пошел в канцелярию, и все пошло своим порядком»,— замечает дедушка со свойственным ему философским педантизмом.

«В Керчи была превосходная итальянская опера Корона. Мы посещали театр не менее трех раз в месяц, а иногда и чаще. Ложа стоила 4 рубля. Перед Пасхой у меня явилась еще одна маленькая дочь, Александра, таким образом, стало налицо их две: Наденька и Сашенька».

«Пасха довольно поздняя и потому очень теплая».

Ах, как, наверное, хороша была эта южная степная причерноморская поздняя весна среди холмов и развалин древних греческих и генуэзских городов и крепостей, под-

твердивших догадки ученых, что Черное море есть всего лишь залив Средиземного.

Этой мирной весной еще сравнительно молодой дедушка сразу как-то возмужал, стал солидным семьянином с отличным служебным положением и хорошими видами на будущее. Дела его шли прекрасно, он успешно продвигался по службе, начальство его любило, и материально он был недурно обеспечен: помимо офицерского жалованья, различного рода суточных, прогонов, кормовых, командировочных денег, дедушка получил кое-что от своей матери: от продажи скулянского имения. Правда, наследство это делилось на несколько частей, но все же дедушке, по-видимому, кое-что перепало.

Чувствуя себя хозяином хорошей квартиры, счастливым мужем и отцом, дедушка захотел упрочить свое общественное положение, устроив у себя для гостей богатый пасхальный стол, что должно было как бы утвердить его положение в гарнизоне. А может быть, он просто хотел слегка похвастать своими достатками.

«Помню,— пишет дедушка,— как хлопотала жена, приготовляя вместе с кухаркой и денщиком множество всякого пасхального печенья. Однако когда начали накрывать раздвинутый на три доски обеденный стол, оказался недостаток некоторой посуды. Пришлось послать к Ивановым просить одолжить, но получили отказ. Это очень меня задело».

«Несмотря на довольно позднее время — было уже часов 8 вечера страстной субботы,— я, чтобы успокоить жену, сам отправился в лавки и купил недостающие тарелки и большое блюдо для жареного поросенка».

«Когда я, до подбородка нагруженный покупками, шел домой, повстречалась мне компания молодых женщин и стала со мной разговаривать, заигрывать. Но, само собой разумеется, я молчал. Это их задело, и они, сказав:

— Это всегда так с женатыми. Толку с них мало,— отошли от меня прочь, а я спокойно пошел домой».

По всей вероятности, это небольшое уличное происшествие произвело на дедушку довольно сильное впечатление, иначе с какой бы стати он вспомнил о нем на старости лет и внес в свои записки?

Судя по всему, время было позднее, на улице южного города в таинственной сладострастной тени уже распустившихся акаций стоял теплый, сладостный запах

молодых листьев, над городом еще плыл великопостный колокольный звон, к божьим храмам тянулись богомолки святить куличи, завязанные в салфетки, и во всем уже чувствовалось раздражающее нервы, какое-то любовное волнение, предчувствие того таинственного мига, когда вдруг в церквах как по волшебству траурные ризы священников превращаются в золотые, розовые, сверкающие, пасхальные; тысячи свечей, зажженные пороховым шнуром, вспыхивают в люстрах, открываются настежь царские врата — и грянет разноголосое ликующее «Христос воскресе» как весть того, что жизнь восторжествовала над смертью и теперь под трезвон пасхальных колоколов всем надо любить друг друга, и целоваться, и обмениваться пунцовыми крашенками.

В эту пасхальную ночь, по обычаю южнорусских городов, на улицу вышли искательницы приключений, веселые керченские полукровки — полухохлушки-полугречанки в нарядных шляпках в надежде подцепить на всю пасхальную ночь красивого кавалера и всласть с ним нахристосоваться где-нибудь в укромном уголке городского сада или на кладбище в кустах сирени.

Очень может быть, что солидный женатый дедушка, нагруженный до подбородка пакетами с посудой, при виде керченских месалин пожалел, что он не холостяк, и вспомнил свои былые поездки к Пухинихе и веселые посиделки в ее хате. Но холостая жизнь для него навсегда прошла со всеми ее соблазнами; он был озабочен судьбой своего пасхального стола и торопился к ожидающей его нежно любимой супруге...

Как ни старались ночные феи соблазнить весьма недурного собой офицера, как ни уговаривали его своим колдовским шепотом пойти с ними сначала в церковь, а потом на кладбище христосоваться, но дедушка проявил похвальную твердость характера.

...Может быть, если бы не посуда...

— Ну что, на самом деле,— шептали феи.— Ей-богу, паныч, пидемо с нами, не пожалеете.

Но дедушка оставался непреклонным, хотя, правду сказать, и испытывал некоторый соблазн.

И феи наконец от него отстали, сообразив, что это «пустой номер».

— Да вы, наверное, уже обкручены. Жаль, что такой пиковый офицерик и уже, наверное, женатый. Идите себе с богом домой, христосуйтесь со своей жинкой!

Супружеская верность восторжествовала, и заливной поросенок с зеленой петрушкой в оскаленных зубках был водружен на большое новое блюдо между окороком с задранной кожей и перламутровой костью и высокими пасхами с сахарными барашками на белоснежных куполах.

А в квартире было жарко, духовито, пахло горячей сдобой, шафраном, ванилью, кардамоном, и на кухне сохли только что выкрашенные пунцовые, лиловые, зеленые, алые яйца, разложенные на тарелке вокруг горки с проросшей чечевицей.

Разговены прошли на славу, так что даже сестре бабушки мадам Ивановой, той самой, которая отказала в посуде, пришлось позавидовать, а командир полка Шафиров, известный кавалер, дамский угодник и бонвиван, в тесном парадном мундире отличного сукна, с высоким воротником, прищемившим ему кожу под подбородком, распространяя вокруг запахи цветочного одеколона и бриллиантина, похристосовался с бабушкой и дедушкой, выпил рюмку рябиновки и закусил ломтем сочной ветчины, предварительно намазав его таким толстым слоем нежинской горчицы, что слезы выступили у него на глазах.

«23 апреля, в день св. Георгия, весьма чтимого греками, весь город собрался с утра в греческий монастырь. Мы с женой и маленькой Надей тоже отправились туда в экипаже».

«Народу масса. Пробиться в церковь и думать нечего. Сели на траву под большим деревом. Отличный вид на окрестности. Посидели час, наслаждаясь солнцем, воздухом, весной, до тех пор, пока кончилась служба. Из церкви до нас доносились только звуки хора, которые делали все вокруг еще более прекрасным, торжественным, праздничным».

«Потом поехали домой».

«Надя очень милый ребенок. Ей полтора года, и она уже ходит. Всю дорогу она нас веселила своим лепетанием».

(Наверное, девочка, повторяя вслед за родителями, любующимися античными окрестностями Керчи, восклицала: «Кука пьелесть!»)

А дома еще лежала в колыбельке грудная Сашенька.

«В мае месяце по вечерам мы проводили время в саду Китлера в двух верстах за городом, куда выезжали в экипаже, что еще более увеличивало наше удовольствие от прогулки».

«Наступила зима. Тут уже пошла езда на тройках, на розвальнях, крытых коврами. Это доставляло нам немалое развлечение: вспоминалась та незабвенная масленая неделя в Знаменке, когда мы с Машей впервые мчались на санях в облаках снежной пыли; у Маши только одни глазки блестели из-за муфты. А теперь мы уже давно муж и жена, у нас две девочки, дом — полная чаша, вокруг мир и благоволие, никакой войны, живи — не хочу!»

«6 декабря, на Николу Зимнего, Шафиров по обыкновению давал обед, а потом танцевальный вечер с ужином».

Эти свои светские привычки неугомонный Шафиров протащил с собою всю войну, по всему кавказскому фронту, кажется, даже умудрился устроить танцевальную вечеринку во время очередной осады какой-то крепости.

«Таким же образом встретили и Новый год: с полковым оркестром, танцами и пробками цимлянского в потолок. Все шло радостно, печали не было. Словом, окончательно втянулись в мирную жизнь. Теперь можно было подвести кое-какие итоги минувшей кампании».

Впрочем, дедушка об этом мало думал; во всяком случае, ничего об этом не писал. Приходится заполнить этот пробел.

Вот что я вычитал в «Истории XIX века»:

«...в момент, когда вспыхнула Крымская война, русское владычество прочно утвердилось только на юге Кавказа, между Черным и Каспийским морями, в долине, отделяющей Армянский горный массив от Кавказского. В последнем направо и налево от Дарьяльской военной дороги (ныне Военно-Грузинская) горцы были почти независимы: на востоке Шамиль и его мюриды были хозяевами Дагестана; на западе абхазцы и черкесы, жившие на протяжении трехсот километров вдоль Черного моря, хотя и признавали номинально русское верховенство, однако свободно сносились с Турцией, обменивали там рабов на оружие и боевые припасы, которыми они большей частью пользо-

вались против пограничных кубанских казаков. Восстание всех этих народов во время Крымской войны подвергло бы Россию более значительной опасности, чем падение Севастополя. К счастью для нее, союзники не предприняли ничего серьезного в этом направлении».

Прибавлю от себя, что и дедушка там воевал неплохо.

«...в сущности, несмотря на свои выскомерные заявления, русское правительство желало мира; истощение России делало этот мир с каждым днем все более необходимым, но нельзя было сложить оружие до решающих военных действий. «Сначала возьмите Севастополь»,— говорил в Вене князь Горчаков представителям держав. Севастополь был взят. Но несколькими неделями позже успех русских — взятие Карса — дал возможность удовлетворить их самолюбие и облегчить переговоры. Мир был заключен. Окончив войну, русское правительство поспешило покончить с опасностью, которой ему удалось избежать почти чудом».

«Русские войска (...и дедушка был в их числе...), продвигаясь со всех сторон вперед, проводя дороги, устраивая форты при всех выходах из долин, покоряя одни племена за другими, принудили Шамиля запереться в Гунибе, почти недоступном ауле, который был взят приступом после ожесточенной борьбы...»

Это был, в сущности, всего лишь небольшой, хотя и важный эпизод, в конечном итоге связанный с многовековой историей борьбы России с Оттоманской империей за выход к Черному морю.

То, что в свое время не удалось Петру, то удалось его потомкам; в том числе моему прадеду и моему деду.

...Они не зря проливали кровь на полях многих сражений.

«Наступил 1863 год. 1 мая мы переехали на другую квартиру, заняв теперь целый особняк. Поездки за город в сад Китлера, вечера у Шафирова, работа в канцелярии... Дни шли незаметно...»

«Но тут подошло польское восстание, которое разделило общество нашего полка. Русские и поляки стали держаться отдельно, питая друг к другу неудовольствие».

«6 декабря, в день полкового праздника, за обедом у Шафирова я предложил послать телеграмму Муравьеву в Вильно. Русские офицеры поддержали меня. Шафиров согласился тоже, поручив мне написать ее. Я тут же со-

ставил и прочел. Все русские офицеры одобрили. Шафиров подписал. И я тотчас сам отвез ее на телеграф на станцию. Вот ее содержание:

«Литовский егерский полк, празднуя сегодня день своего полкового праздника, не мог пройти молчанием Ваше имя, столь дорогое для каждого русского, преданного государю, престолу и отечеству. Пьем за здоровье Ваше, за дела Ваши! Подписал от лица офицеров полковник Шафиров».

«Через два дня позвал меня Шафиров и дает прочесть полученный ответ, в котором Муравьев благодарит за приветствие и шлет свой привет полку из усмиренной Литвы».

«— Вы,— сказал мне Шафиров,— виновник этой телеграммы. Отдайте ее в приказе по полку и сохраните у себя на память».

Мне крайне неприятно приводить эти строки из дедушкиных записок. Но что делать — из песни слова не выкинешь...

События в Польше раскололи на две части все русское общество, даже, как мы видим, офицерство.

Историки говорят, что в 1863 году в восставшей Польше и Литве было, по-видимому, не больше 6 или 8 тысяч инсургентов, разделенных на большое количество мелких отрядов. Они вообще не могли держаться против русских ввиду численного превосходства последних, но спасались от их преследования благодаря густым лесам, содействию местного населения и служащих, уроженцев страны. Чтобы покончить с восстанием, понадобилась армия в 200 тысяч человек и военная диктатура. Генералы Берг в Варшаве и Муравьев в Вильно, облеченные всей полнотой власти, расправлялись с диким произволом, поддержанные консервативным русским общественным мнением.

Характеризуя позицию, занятую русскими «либералами» по отношению к восставшей Польше, Ленин подчеркивал, что подлинные демократические элементы русского общества держались совершенно иной позиции.

Увы, дедушка не был не только «подлинно демократическим элементом», но даже не был простым «либералом», хотя бы и в кавычках. Он был заурядным армейским офицером, прошедшим суровую школу кавказской кампании по усмирению горских племен. Для него восстание поляков было нечто вроде восстания Шамиля. Он мало разбирался в политике. Он был всего лишь исправным служакой, готовым положить свой живот за веру, царя и отечество.

«Наступил 1864 год. Все шло по-прежнему. К 1 мая мы перебрались на новую квартиру в доме грека, отставного чиновника, на Николаевской улице. Во дворе во флигеле жил сам грек со своей семьею, а на углу, в фасадном доме,— я. Пять комнат и крытая галерея за 240 рублей в год, с конюшней и сараем для экипажей, которых у меня было уже два: коляска и дрожки, а еще крашеный немецкий фургон».

«Жилось хорошо и весело».

«В сентябре наш знакомый доктор Сохраничев женился на мадемуазель Штурба. Мы были на свадьбе, а потом часто навещали молодых, живших также на Николаевской улице. Через месяц Сохраничевы уехали по переводу мужа в артиллерию Московского военного округа».

«Наступил 1865 год. Собрание офицеров полка у меня в доме продолжалось, как и прежде».

По-видимому, дедушка и бабушка жили зажиточно, может быть, даже богато; у них был открытый дом, и своим хлебосольством они уже начинали соперничать с самим Шафировым.

Дедушка отпустил бакенбарды и стал походить лицом на императора Александра II, а бабушка еще более расцвела, раздобрела и как полковая дама, хозяйка открытого дома, затмила свою старшую сестру мадам Иванову, жену адъютанта.

«Прошла масленая, наступил великий пост, а затем и святая Пасха. Все шло как прежде».

«В июне произошел казус, о котором не могу не вспомнить»:

«Офицер полка подпоручик с курьезной фамилией Пехота, из фельдфебелей 17-й дивизии, произведенный в наш полк пять лет тому назад, был большим любителем рюмки водки».

«В июне, будучи в лагере дежурным по батальону и захотев выпить на чужой счет, отправился он в землянку женатых солдат проведать, нет ли у солдаток продажной водки. В 4-й и 5-й ротах ему дали выпить по шкалику даром, и он уходил оттуда молча. Но в 6-й роте одна старая солдатка возмутилась столь незаконным требованием даровой выпивки и не пустила подпоручика Пехоту в землянку, куда он рвался, чтобы поискать спрятанную водку».

«Будучи уже изрядно пьян, подпоручик Пехота пришел

от этого сопротивления в ярость, ворвался в землянку и с криком стал все перевертывать вверх дном».

«Баба, возмутившись таким поведением пьяного офицера, стала его бранить. Пехота ударил ее по лицу. От этого баба еще больше разъярилась, начала, в свою очередь, бить Пехоту по лицу, сорвала с него погоны и с бранью вытолкала его вон».

«Пехота, будучи пьян, от такого приема упал за хатой и уснул. Дали знать дежурному по полку. Дежурный по полку велел поднять подпоручика Пехоту и перенести в палатку. Назначив другого дежурного по батальону, дежурный по полку о поступке Пехоты донес рапортом командиру полка».

«Все офицеры были возмущены Пехотою. Я, как член суда чести офицеров, стал говорить, что это подлый, постыдный поступок».

«Командир полка, получив рапорт дежурного, отдал приказание суду чести разобрать все дело. Мы — то есть суд — потребовали сведения от офицеров, знающих дело, опросили солдат, бывших дневальными и дежурными по роте, видевших все происшествие. Как офицеры, так и солдаты все показали одно: что Пехота в мундире ходил по землянкам и требовал показать ему, где спрятана водка, и что хозяева подносили ему по шкалику, которые он тут же выпивал, а затем уходил в другие землянки, пока не попал в землянку женатого солдата 6-й роты, где встретил сопротивление опытной солдатки-шинкарки и, будучи уже совершенно пьян, ударил бабу по лицу; та, в свою очередь, дала ему сдачи, порвала на нем мундир и выставила за дверь, после чего он упал и уснул».

«Прочитав все показания, я стал требовать, чтобы Пехоту удалили из полка, предоставив ему подать в отставку. Все члены согласились со мной, за исключением председателя суда чести подполковника Соколова, который полагал спросить сперва мнения командира полка. Я говорил, что поступок Пехоты так грязен, что Пехота не может оставаться в полку».

«На другой день утром Соколов доложил обо всем Шафирову, причем присовокупил, что я в особенности требую и настаиваю на удалении Пехоты из полка».

«Шафиров потребовал меня к себе. Когда я прибыл, он с пеной у рта набросился на меня: как я смею требовать удаления Пехоты из полка, когда командир полка он, Шафиров, и что это его дело — увольнять офицера из полка

или не увольнять. Я стал возражать, говоря, что нас зачем-то избрали судом чести и он сам приказал нам разобрать это дело».

«Шафиров накричал на меня, что это не мое дело, потом, повернувшись быстро спиной ко мне, убежал в соседнюю комнату, а я, выйдя вон, сейчас же написал телеграмму брату в Одессу, прося его посодействовать в штабе корпуса о назначении меня в юнкерское училище, так как я больше в полку служить не хочу».

«Через две недели была получена бумага из окружного штаба через дивизию о неимении препятствий о назначении меня в Одесское юнкерское училище. А еще через две недели последовал приказ по округу о назначении меня адъютантом-казначеем училища».

«После первой телеграммы Шафиров, встретившись со мной в садике, где было гулянье, подозвал меня и ласково спросил:

— Зачем вы оставляете полк?»

«Я ответил, что после происшедшего относительно подпоручика Пехоты мне невозможно оставаться в полку».

«Шафиров, пожурив меня, ласково простился и ушел».

«По получении приказа по округу Шафиров спросил меня, не могу ли я порекомендовать кого-нибудь вместо себя. Я указал на прапорщика Щербака как хорошего офицера. Шафиров, собрав батальонных командиров, поручил мне переговорить с офицерами относительно избрания Щербака. Батальонные командиры переговорили со своими офицерами, которые согласились на кандидатуру Щербака. По докладе Шафирову тот отдал приказ относительно избрания. Выборы состоялись, избирательные листы подписаны, и Щербак в три дня принял от меня должность».

(Какая это была должность, дедушка не упоминает. Вероятно, какая-нибудь штабная, может быть, казначея или чего-нибудь вроде. Видимо, после войны дедушка не занимал строевых должностей.)

История с подпоручиком Пехотой, столь неожиданно кончившаяся для дедушки, отчасти проливает свет на порядки русской армии того времени. Была какая-то демократия, выборность, но все это имело чисто показной характер. Выборность была при обязательном единоличном утверждении вышестоящим начальником, в данном случае командиром полка — полновластным хозяином своей части.

Комический случай с Пехотой дает возможность сопоставить два человеческих характера, весьма, я думаю, распространенных в дореволюционной русской армии, два офицерских типа: тип дедушки и тип Шафирова, тип идеалиста и тип практика. Оба хотя и дворяне, белая кость, но очень отличаются друг от друга.

Дедушка — молодой офицер, трезвенник, аккуратист, блюститель офицерской чести.

Шафиров — немолодой полковой командир, холостяк, весельчак, любитель всяческих танцевальных вечеров, банкетов и полковых праздников, дамский угодник, обаятельный кавалер, что не мешало ему отлично воевать и быть хорошим командиром, любимцем как офицеров, так и нижних чинов.

Дедушка, будучи членом полкового суда чести, подошел к поступку подпоручика Пехоты неумолимо строго и потребовал удаления Пехоты из полка, что по всем понятиям об офицерской чести было справедливо.

Однако Шафиров не только с дедушкой в этом вопросе не согласился, но даже был, как пишет дедушка, «разъярен» тем, что дедушка потребовал изгнания Пехоты из полка в отставку.

Шафиров подошел к делу не с высоты своего дворянства, а очень просто, по-хозяйски, прекрасно понимая характер провинившегося подпоручика Пехоты, который, будучи произведен в офицеры из нижних чинов за образцовую строевую службу, в сущности, продолжал оставаться все тем же солдатом. Ему захотелось выпить — и он, как человек простой, не пошел к офицерам, а пошел шарить по семейным солдатским землянкам, прекрасно зная, что у своего брата солдата или у солдатской женки-шинкарки всегда найдется для него шкалик водки и соленый огурец — и все будет шито-крыто. Свой брат солдат его не выдаст. Таким образом он очутился в землянке старой солдатки, промышлявшей шинкарством. Баба не захотела ему дать водки даром, и они по-простецки подрались: она разодрала на нем мундир, сорвала погоны, подбила глаз, а он устроил в землянке дебош, за что и был вытолкан в шею на свежий воздух, после чего мирно заснул на земле, по-детски сопя и чмокая губами под рыжими мокрыми усами.

Подобные истории случались с ним частенько, и дело это, собственно, не стоило выеденного яйца: ну, пьяный мужик подрался со сварливой бабой, с кем не бывает.

Посадить его на десять суток на гауптвахту — и дело с концом.

А тут раздули целое дело: товарищеский суд, офицерская честь и тому подобный вздор.

Шафиров же правильно понял все это происшествие. Ему вовсе не хотелось как рачительному хозяину полка из-за пустяков терять опытного офицера «из простых», то есть человека, знающего в совершенстве солдатскую душу. Таким офицерам цены нету!

А дедушка-чистюля этого не понял, и Шафиров чуть было не лишился такого в высшей степени полезного офицера, как Пехота, по сравнению с которым все эти франтики вроде дедушки немногого стоили, ибо армия держится именно на таких сверхсрочных унтер-офицерах и фельдфебелях, из каких выбился в офицеры Пехота.

Разумеется, Шафиров вызвал к себе Пехоту и втихую дал ему хорошую взбучку, может быть, даже раза два съездил по уху, даром что Пехота был господин офицер.

Дело это обошлось как нельзя лучше, келейно. И подпоручик Пехота остался доволен, что его не турнули из полка, и Шафиров не потерял нужного человека.

А дедушке пришлось перевестись из полка в штаб округа.

«15 сентября 1865 года Шафиров дал мне прощальный обед с собранием всех офицеров. За шампанским Шафиров, а потом и офицеры говорили речи и выражали свое удовольствие за мою службу и сохранение их интересов. В свою очередь, я благодарил их за внимание и доверие, которое они мне оказывали».

Видимо, дедушка исполнял в полку какую-то общественно-выборную должность, может быть, ведал кассой взаимопомощи.

«Я забыл сказать,— пишет дедушка,— что в сентябре 1864 года заболевшая сильно маленькая дочь моя Саша умерла. Похоронив ее рядом с Надей, остался безутешным, но ожидал через месяц прибыли новой, которая завершилась 26 октября 1864 года рождением дочери Клеопатры, то есть попросту Клёни. Крестины были спустя месяц после рождения. Шафиров был крестным отцом, а мадам Метемилио крестной матерью».

Эту маленькую девочку я хорошо помню как старшую мамину сестру — Клеопатру Ивановну, «тетю Клёню».

В детстве она казалась мне уже старухой с лицом Пиковой дамы. Она дожила до Советской власти и умерла в двадцатых годах в Екатеринославе, через год или два после того, как я в последний раз виделся с бабушкой по дороге на фронт, о чем здесь упомянуто.

Помню, до революции тетя Клёня служила в Контроле, и это слово было в моем представлении тесно связано с ее именем. Слова «контроль» и «Клёня» слились в некое единое звукосочетание, напоминающее также щелканье подков по мостовой, звук звонка конки, на которой тетя Клёня ездила служить в Контроль в то время, когда в Екатеринославе еще не было электрического трамвая. Впрочем, трамвайные звонки тоже напоминали слово «Клёня».

«16 сентября 1865 года я поехал с прощальными визитами, которые длились до позднего вечера, а на другой день утром, часов в 11, поехал на пароходе в Одессу».

Дедушка ничего не пишет о том, что он испытывал, покидая Керчь.

Худой тридцатилетний офицер в летней шинели внакидку, он стоял на палубе парохода и смотрел на удаляющуюся пристань, где в толпе провожающих стояла его Маша, а рядом с ней — мамка-кормилица, держа в руках недавно родившуюся девочку Клёню. Маша была в шляпе и махала платочком. Дедушка снял фуражку с громадным, еще «севастопольским» кожаным козырьком и помахал ей в ответ.

Знакомые очертания керченских окрестностей потонули в угольном дыму, валившем из пароходной трубы. Позади виднелись голубые очертания исчезающего кавказского берега, вызывая воспоминания о минувшей войне, спереди приближались очертания Крыма.

Сентябрьское солнце сияло еще довольно ярко, спокойное море расстилалось до самого горизонта, подернутого осенней дымкой, летали чайки, несколько дельфинов, обгонявших пароход, показали из воды свои спины с треугольными плавниками...

Привыкший к размеренной полковой жизни и семейной суете и вдруг теперь оставшийся наедине с самим собой среди праздной красоты осеннего моря, дедушка почувствовал щемящее одиночество. В голову стали приходить печальные мысли о двух маленьких девочках — Наденьке

и Сашеньке,— чьи могилки остались позади, на каменистой земле керченского кладбища.

Странно, что о смерти Наденьки, которая некогда так забавляла дедушку и бабушку своим прелестным лепетом, дедушка в своих записках даже прямо не упомянул!

Стоя на палубе, дедушка думал о своей жизни, половина которой прошла как-то совсем незаметно, бездумно, даже не прошла, а бессмысленно пролетела...

«...Средь этой пошлости таинственной...»

Но больше всего душевной боли причиняли ему мысли о том, что Россия не только потеряла свой черноморский флот, потопленный в Севастополе, не только пережила горечь поражения во время несчастной крымской кампании, но подписала унизительный мир, по которому не имела права иметь на Черном море ни военного флота, ни арсеналов, то есть, по-теперешнему, военных баз. Еще слава богу, что кавказская армия взяла Карс, что дало возможность обменять его на Севастополь, а то бы и Севастополя лишились.

Сгоревший дотла, превращенный в груду развалин, Севастополь был кровоточащей раной в сердце каждого русского человека того времени.

Стоя на спардеке и приложив ладонь к козырьку фуражки, дедушка оглядывал пустынный черноморский горизонт, не надеясь увидеть многоярусные паруса русских военных кораблей. Их не было и быть не могло. Лишь изредка появлялся скромный парус русской торговой шхуны, дубка или турецкой бригантины.

«В 5 часов вечера того же дня прибыли в Феодосию и стали на рейде. Взяв лодку, я сошел на берег и отправился навестить Карташовых. Пробыв у них час, напившись чаю, уехал обратно на пароход, который уже давал третий гудок».

Ночью прошли мимо херсонесского маяка. Поднимался крепкий ветер. Развалин Севастополя не было видно в кромешной тьме, но мысли о нем продолжали мучить.

«Сердитый вал к нам в люки бьет,— писал примерно в то же время Полонский,— фонарь скрипит над головой; и тяжко стонет пароход, как умирающий больной... Едва ли, впрочем, этот Крым, и этот гул, и этот дым, и эти кучи смрадных тел забудешь ты когда-нибудь, куда бы ты ни полетел душой и телом отдохнуть...»

«Гром и шум. Корабль качает; море темное кипит; ветер парус обрывает и в снастях свистит. Помрачился свод небесный, и, вверяясь кораблю, я дремлю в каюте тесной... Закачало — сплю. Просыпаюсь... Что случилось? Что такое? Новый шквал? — Плохо. Стеньга обломилась. Рулевой упал».

«Что же делать? Что могу я? И, вверяясь кораблю, вновь я лег и вновь дремлю я...»

«Закачало — сплю».

«Снится мне: я свеж и молод, я влюблен, мечты кипят... От зари роскошный холод проникает в сад...»

Не думаю, чтобы дедушка знал эти стихи Полонского, но, несомненно, нечто подобное он испытывал ночью, когда пароход по обыкновению здорово тряхнуло под Тарханкутом.

(Тогда на пароходах иногда ставили парус, чаще всего кливер.)

Утром ветер утих, море успокоилось, началась мертвая зыбь.

«В 11 часов утра приехали в Одессу».

Дальше дедушка со свойственной ему педантичностью сообщает, как он сначала поехал к брату, а на другой день явился начальству юнкерского училища, а потом делал визиты офицерам, в том числе ротному командиру штабс-капитану Ивану Васильевичу Банову, «милому, любезному человеку — холостяку».

Дедушка почему-то всегда имел обыкновение отмечать семейное положение человека — холостяк ли он, или женатый, или вдовец.

«Училище помещалось на Канатной улице, в Сабанских казармах, во второй их половине; передняя часть была занята стрелковым батальоном».

Один из ротных командиров юнкерского училища был поручик Андреевский, дедушкин товарищ по гимназии.

Так прошли первые дни пребывания дедушки в Одессе. Все здесь было ему знакомо с юных лет. Сабанские казармы — одна из достопримечательностей города — каменное громоздкое здание, некогда принадлежавшее Каролине Собаньской, несметно богатой польской аристократке, у которой бывал во время своего пребывания в Одессе Адам Мицкевич, кажется, бывал и Пушкин; затем полукруглая белокаменная колоннада возле Воронцовско-

го дворца, как бы повисшая в голубом воздухе над раскинувшейся глубоко внизу торговой гаванью, над мачтами парусников и трубами пароходов, которые еще недавно назывались «пироскафами»; гимназия, откуда дедушка отправился волонтером в действующую кавказскую армию; знаменитая лестница; памятник дюку де Ришелье, символически простершему свою античную руку в сторону Стамбула; пушка с потопленного английского фрегата «Тигр»; бульвар, его пятнистые платаны; городской театр; Ришельевский лицей...

Все это имело для дедушки особый смысл: здесь он был гимназистом, мальчиком, а теперь вернулся тридцатилетним отцом семейства, героем кавказской войны.

«Остальные дни недели я был занят приисканием квартиры, которую нашел на углу Ришельевской и Базарной улиц в доме Чижевича. В ожидании приезда жены прикупил некоторую мебель».

«Скоро приехала жена, которую я встретил на пристани. Она привезла остальные вещи и двух человек солдат; один из них был наш денщик Иван, другой временно дан из полка как вестовой сопровождать жену».

Вместе с бабушкой приехала и маленькая Клёня, которую держали на руках.

Веселая, энергичная, добрая бабушка, тогда еще совсем молодая женщина, сразу же разогнала меланхолию дедушки. Весь мир вокруг него как бы озарился ласковым южным светом.

Бабушка бегала по новой квартире среди узлов и неразобранных корзин, баулов, портпледов и чемоданов, то и дело цепляясь шлейфом за мебель.

Она хвалила квартиру, время от времени обнимала и целовала дедушку в бакенбарды, немножко с ним вальсировала, мысленно размещала обстановку и определяла назначение каждой комнаты, в то время как нянька варила на спиртовке кашку для маленькой Клёни.

В голые окна, еще не одетые занавесками, светило золотое сентябрьское солнце, проникавшее с улицы сквозь мелкую зелень еще не пожелтевших акаций, а с Ришельевской улицы долетали звонки конок, щелканье подков по гранитной мостовой, дробный стук дрожек, крики разносчиков и старьевщиков — беспорядочный уличный гам.

«В 3 часа, после того как брат вернулся из банка, мы отправились к нему. Я познакомил его с моей Машей. Мы поговорили о том о сем и через два часа пошли домой».

Как читатель уже знает, старший брат дедушки Александр Елисеевич, крупный одесский банковский служащий, один из столпов местного общества, обладавший большими связями, что видно хотя бы из того, с какой легкостью он устроил перевод дедушки из Керчи в Одессу, не одобрял женитьбы дедушки на хорошенькой бесприданнице. Однако дедушка его поставил перед свершившимся фактом. Неизвестно, понравилась ли старшему брату жена младшего. Судя по сухому замечанию дедушки «мы поговорили о том о сем и через два часа пошли домой», старший брат не вполне примирился с выбором младшего брата. Но делать было нечего. Неохотно, но все же он признал свою бель-сер, и, таким образом, с этого дня бабушка вошла в одесское общество.

«Из дома пошли мы с Машей по лавкам покупать что нужно для обстановки. Купили мебель, зеркала, швейную машинку, пианино и все прочее, что нужно».

...Они уже не были молодоженами, но совместная покупка новой мебели и прочих предметов домашнего обихода всегда возвращает супружескую пару к первым дням совместной жизни. Устройство нового гнезда еще больше их сблизило, возвратив весь пыл слегка остывшей страсти.

Бабушка, по рождению одесситка, уехавшая некогда из родного города молоденькой девушкой, вернулась обратно женой офицера, матерью семейства, полковой дамой.

Со свойственной ей энергией она ходила мелким шагом под руку со своим мужем по магазинам, выбирая необходимые вещи. Она с детских лет знала, где что можно дешево купить. Они обошли Ришельевскую, Дерибасовскую, Екатерининскую, Преображенскую, заходя в магазины и выбирая вещи.

...Теперь уже война отступила в такую глубокую даль, что дедушка едва мог представить, что все это — и рубка леса, и пылающие сакли, и горные аулы среди каменных нагромождений, и снежные вершины, и древняя небольшая крепость, выстроенная некогда на возвышенности посредине Гори против турок, и самоубийство Горбоконя, и убийство унтер-офицера Гольберга, и набеги горцев, и отрубленные головы, катящиеся по окровавленной каме-

нистой почве,— все это было на самом деле, а не приснилось.

Да и захолустная полковая жизнь в Знаменке казалась временами никогда не бывшей.

Начиналась новая жизнь в большом портовом, вполне европейском каменном городе.

Бабушка и дедушка, сделав покупки и распорядившись о доставке их на новую квартиру, веселые и довольные, напоследок отправились в Пале-Рояль — маленькую изящную копию парижского Пале-Рояля — и там, сев за круглый железный столик под сенью платанов, съели в кондитерской две порции пунша-гляссе, которым славилась эта кондитерская не только на всю Одессу, но и на весь юг Новороссии.

Пунш-гляссе представлял собой полупрозрачное банановое мороженое в металлическом бокале. Посередине горки мороженого была сделана ямка, наполненная ямайским ромом, распространявшим тонкий опьяняющий запах, особенно волнующий в садике, пронизанном жаркими лучами сентябрьского солнца и слегка грустным ароматом подсыхающих платановых листьев.

Читатель еще прочтет в этой книге нечто о ямайском роме.

...Приподняв с хорошенького носика вуаль с мушками, бабушка облизывала маленькую ложечку розовым язычком. Ложечка была покрыта морозным туманом, и язык прилипал к ней...

Вечером на углу Ришельевской и Базарной возле ворот дома Чижевича остановились две пароконные открытые площадки, называемые в просторечии «плацформы». Они были нагружены мебелью из магазина братьев Тонет, зеркалами из магазина Зусмана и пианино из депо музыкальных инструментов Рауша, обернутыми пахучей рогожей.

Вскоре все эти вещи были внесены в квартиру, расставлены по своим местам, и бабушка села на крутящийся на винте табурет перед пианино, открыла лакированную крышку и сыграла несколько зажигательно-веселых полечек своими проворными пальцами, а дедушка между тем искал место, где бы поставить ломберный стол. Определив его наконец между двумя окнами, он с удовольствием смотрел на его новенькое зеленое сукно, еще не запачканное карточными записями, сделанными особыми

мелками, а потом стертыми специальными круглыми щеточками.

Дедушка разложил на ломберном столе колоду нераспечатанных карт, круглые щеточки, поставил медные шандалы с необожженными стеариновыми свечами и долго любовался всем этим картежным хозяйством, воображая, как он будет иногда устраивать для своих сослуживцев-офицеров вечеринки с танцами под пианино, легким ужином и карточной игрой по маленькой с пуншиком.

«Начали устраиваться. Через неделю я отправил вестового обратно в полк».

Началась новая жизнь, совсем не похожая на старую.

«В училище все надо было устраивать заново, все заводить сначала. 1 октября начался курс. Собственно говоря, со 2-го, так как 1-го было молебствие и освящение помещений. Первое время начальник училища Ордынский ходил в казначейство со мною вместе и полученные деньги брал к себе. Я ничего на это не возражал, думая про себя: так лучше, меньше ответственности. Ордынский скоро убедился на деле, что возиться с деньгами не так легко, как думается».

«Месяц прошел».

«Ордынский, запутавшись и приплатившись, бросил это дело и деньги дал мне — получать, выдавать и вести счеты, говоря:

— Ну их к черту, эти деньги, делайте все сами, в конце концов, это ваше дело».

«С тех пор я вступил в обязанности казначея, кроме того, исполнял также и должность адъютанта».

«Моя канцелярия помещалась в нижнем этаже возле ворот, с левой стороны входа; тут же в нижнем этаже были столовая и гимнастический зал».

«С первого времени письменных занятий было много, переписка большая, так что я приходил в 8 утра и работал до 3-х. Затем уходил домой обедать, через два часа возвращался и засиживался до 8 вечера. Однако через полгода переписка уменьшилась, и занятия были только днем, до обеда».

«На Рождество и Новый год делал визиты Ордынскому и своим офицерам. Мало-помалу перезнакомился с од-

ними, с другими, и жизнь пошла, как в полку,— дружно, со взаимным доверием и уважением друг к другу».

«На Рождество и масленую устраивались у нас в училище спектакли или танцевальные вечера, на которых юнкера и начальствующие плясали до света».

Можно себе представить эти спектакли на самодеятельной сцене, сколоченной юнкерскими плотниками, среди декораций, написанных местными малярами, освещенных рампой, состоящей из ряда олеиновых ламп с рефлекторами, и рубчатой раковиной суфлерской будки, по сторонам которой горело две свечи: переодетые в театральные костюмы юнкера-любители в париках, наклеенных усах, с подмазанными глазами, в женских юбках и кофточках, говорящие неестественными голосами, разыгрывали «Женитьбу» Гоголя, и публика на скамейках и стульях умирала от хохота, когда Подколесин прыгал в трясущееся полотняное окно, в то время как из суфлерской будки доносился все время зловещий шепот суфлера.

А потом — танцы до утра под звуки юнкерского духового оркестра, до утра, до упаду.

Юнкера в парадных мундирах с ярко начищенными медными пуговицами и бляхами поясов, в сапогах первого срока.

Дамы — приглашенные епархиалки и институтки, приведенные сюда парами под наблюдением классных дам, в своих грубых форменных платьях, белых фартуках и козловых башмаках с ушками, с волосами в черных сетках, но такие юные, такие хорошенькие, смущенные, румяные, с вспотевшими подмышками...

...Они летали в упоительной мазурке по паркету, сотрясенному топотом юнкерских каблуков, а стекла высоких казенных окон дрожали от ударов турецкого барабана, да и не только стекла! Казалось, самые стены Сабанских казарм, непомерно толстые, старинной кладки, мрачные, холодные, плохо освещенные коридоры и закоулки, пропитанные запахом светильного газа, солдатского сукна, щей, самоварной мази, которою юнкера начищали пуговицы своих мундиров,— все содрогалось от мазурки...

...Тех самых Сабанских казарм, выходящих на четыре стороны одного из кварталов Канатной улицы, выстроенных в тяжелом стиле русского ампира богачом Собаньским, крупнейшим хлеботорговцем, который держал здесь запасы зерна, приготовленного на вывоз за границу, и от-

куда из верхних окон было видно яркое море с белым Воронцовским маяком...

...Сами Собаньские занимали парадные апартаменты в этом, по существу, торговом заведении, складском здании, связанном с легендой о романе Собаньской с Адамом Мицкевичем и о романе Собаньского с женой известного итальянского негоцианта мадам Ризнич, в которую в то же время был влюблен Пушкин, посвятивший ей божественные стихи «Для берегов отчизны дальной ты покидала край чужой; в час незабвенный, в час печальный я долго плакал пред тобой...» — и т. д.

Но, видимо, в ее глазах нищему опальному поэту нечего было тягаться с миллионером Собаньским!

Судьба Мицкевича была более счастливой.

Впрочем, быть может, все это лишь пустая легенда, плод воображения экзальтированных одесситов.

«Начальник училища Ордынский раз в неделю по вечерам читал лекции по истории или русской литературе, весьма интересные, и я тоже бывал на них, интересуясь его рассказами».

Из этого я заключаю, что к тому времени в офицерской среде уже давно началось некое просветление после ужасной кавказской кампании и тягостной Крымской войны. В армии появился дух просвещения. Нашлись офицеры-просветители. К их числу принадлежал и начальник юнкерского училища Ордынский.

Дедушка не пишет, о чем «рассказывал» в своих лекциях этот полковник, так не похожий на бывшего начальника дедушки полковника Шафирова.

Можно предположить, что в области литературы Ордынский говорил, конечно, о Пушкине, о Лермонтове с его «Героем нашего времени» и, уж наверное, о Белинском, а может быть, и о Чернышевском с его «Очерками гоголевского периода...», и о добролюбовском «Луче света в темном царстве».

Армия в лице передовых офицеров была более свободна в своих суждениях, более широка в литературных вкусах, более независима и даже «либеральна», чем гражданское чиновное общество.

Быть может, тут сказалась горечь крымской катастрофы, в которой был виноват Николай I со своей невеже-

ственно-грубой политикой и глупой самонадеянностью посредственного монарха, возомнившего себя гением, чуть ли не владыкой мира, что довело несчастную Россию до полного отупения и упадка, приведших к несчастной Крымской войне, к севастопольской катастрофе.

Офицерские круги яснее других понимали причины военных неудач и стремились поднять армию на высоту современных требований, сделать русское офицерство культурнее и умнее. Может быть, это были какие-то далекие, слабые отблески декабризма.

Появились образованные, честные офицеры вроде Ордынского, которые несли в военную среду свет образования: лекции, театр, музыку.

Дедушка, будучи по природе службистом и «аккуратистом», видимо, поддался новому веянию и увлекся лекциями Ордынского, ради которых отказывался от вечеров в семейном кругу в уютной квартире на углу Базарной и Ришельевской, от полек и вальсов, которые бабушка разыгрывала на новом, еще резко звучащем пианино, в то время как маленькая Клёня, сидя у него на руках, вертелась и таращила черные глазенки на пламя стеариновых свечей, отражавшихся в черном лаке инструмента.

В особенности дедушка увлекался историческими лекциями Ордынского.

Плотный, несколько тучный, в сюртуке с выпуклым значком Академии генерального штаба, Ордынский сидел за особым столиком перед слушателями — офицерами и юнкерами, и, наклонив над тетрадкой круглую, коротко остриженную ежиком серебряную голову, блестя золотыми очками, читал несколько грубоватым, но проникновенным голосом свои замечания по истории выхода Российского государства к Черному морю.

...Петр прорубил окно в Европу на Балтийском море, но ему не удалось сделать то же самое на Черном. Прутский поход кончился поражением...

Дедушка живо представлял себе военную обстановку того времени. Как писал в своих записках бригадир Моро-де-Бразе о походе Петра 1711 года, в котором Моро-де-Бразе участвовал на стороне русских, это было ужасное поражение, из которого, впрочем, Петр выпутался, сохранив военную честь, отступив за Прут со знаменами, в полном порядке и с музыкой.

«При совершенном наступлении ночи, — пишет Моро-де-Бразе,— его царское величество велел остановиться батальону каре. Мы выстроились как можно исправнее. Мы расположились на биваках. Ночлег был краток, и ночь чрезвычайно дождлива...»

Тут галантный француз-бригадир делает следующее отступление, обращаясь к своей читательнице:

«Не правда ли, что вы находите меня нечувствительным в отношении к вашему полу, ибо до сих пор не говорил я вам о всем, что претерпели дамы, находившиеся в нашей армии?»

«Вообразите их себе, милостивая государыня, посреди ужасов четырехдневного сражения, подверженных тем же опасностям, как и мы; кареты их прострелены были пулями, разбиты пушечными ядрами; и эти милые дамы должны были попасться в плен, если не погибнуть в нечаянном нападении, коего мы только и опасались. Не знаю, более ли они страдали во время битвы, нежели радовались о своем избавлении; но знаю, что генерал-майорша Буш три недели после не могла еще оправиться от страха, ею претерпенного в те четыре дня, как мы имели дело с турками...» — и т. д.

И все это — турецкие атаки, пушечная пальба, горящие кареты полковых дам — было на берегу Прута, возле родных Скулян. А в войсках Петра, может быть, дрался с турками прадедушка дедушки, какой-нибудь лихой кавалерист, выходец из Запорожской Сечи.

Впервые за время своей военной службы дедушка со всей ясностью понял свою причастность к тому длительному периоду русской истории, в течение которого русское государство с невероятными трудами и усилиями распространялось на юг, к Черному морю, где до сих пор хозяйничали турки.

Турки запирали России путь в Средиземное море, а стало быть, и в мировой океан. Это была постоянная война за укрепление российских границ на юго-западе и юго-востоке.

Свобода плавания по Черному морю и через проливы была насущной необходимостью русского государства. Несколько веков длилась эта борьба, не одно поколение русских людей проливало кровь на полях сражений в дунайских княжествах, на Черноморском побережье Кавказа, в

Малой Азии на границе Турции и России, на громадном пространстве, примыкавшем к Черному морю.

Через сто лет после прутского похода Петра в этих же местах воевал отец дедушки, а отвоевавшись, занялся сельским хозяйством в своем обширном имении в Скулянах, о чем уже было здесь говорено.

Дедушка представлял себе неизмеримо громадную Россию, ведущую борьбу за выход к Черному морю, видел Скуляны, старую петровскую церковь и кладбище с могилой своего отца, видел сухую полынь, по которой бежал горячий ветер, слышал звон кладбищенского колокола.

Дедушка внимал строгому голосу полковника Ордынского, видел блеск его золотых очков при свете газовых рожков и чувствовал себя уже не легкомысленным молодым офицером, а слугой попавшего в беду отечества.

Дедушка испытывал, как все русские люди того времени, чувство оскорбленного национального достоинства, унижения и вместе с тем верил в будущее России, ради которого надо не жалея сил трудиться, укрепляя армию.

«Это было на второй год со времени моего прибытия в училище. В 1867 году я был произведен в капитаны за отличие по службе».

Дедушка сравнялся в чине со своим отцом, моим прадедом, капитаном Нейшлотского полка, покоившимся на кладбище в Скулянах.

Но действительно ли «покоившимся»?

Кто знает, в какие отдаленные области прошлого и будущего переносила его та необъяснимая сила, которую мы условно называем временем...

«В 1866 и 1867 годах у меня родились дочери Людмила и Евгения».

Евгении, пятой дочери дедушки, суждено со временем стать моей матерью.

Вспотевшая, осипшая от крика, только что отоспавшаяся бабушка лежала на двуспальной кровати в доме на углу Базарной и Ришельевской, и у нее в ногах лежала новорожденная девочка, твердо спеленатая безрукая куколка. Сестра милосердия из Стурдзовской общины, акушерка, довольно грубо, но уверенно подняла ее на руки и, поддерживая ладонью маленький затылок, вертикально поднесла ребенка дедушке.

Удлиненная головка, напоминающая крошечную дыню-

ку, виднелась из батистового чепчика. Китайский разрез закрытых глазок, треугольный зевающий ротик...

Почему я это так ясно представляю?

Наверное, потому, что шестьдесят восемь лет спустя точно такую же девочку, но только уже мою дочку, тоже Евгению, как и ее бабушку, крошечную Женечку, принесли мне показать в родильном доме в Москве, в освещенной солнцем палате, и я вдруг увидел в ней бачеевские черты своей давно уже покойной матери, то есть той самой пятой дочери дедушки, которую показали ему тогда в Одессе на углу Базарной и Ришельевской.

Дедушка посмотрел на свою пятую дочь и осторожно прикоснулся губами к ее чепчику. А бабушка смотрела на него с вопросительно-виноватой улыбкой, как бы спрашивая, нравится ли ему ее произведение.

Дедушка, конечно, ждал мальчика, а рождались все девочки и девочки. Две первые, Наденька и Сашенька, остались лежать на кладбище в Керчи, две другие, Клёня и годовалая Люда, возились на ковре в детской, а пятая, Женечка, горестно морщила и зевала треугольным ротиком в руках у акушерки.

А дедушке так хотелось мальчика!

Впрочем, если бы это был мальчик, то он, наверное, был бы убит во время будущей русско-японской войны где-нибудь под Мукденом или Чемульпо.

«Ну да авось следующий будет мальчик»,— думал дедушка.

Его лицо с нежно-снисходительной улыбкой обратилось к бабушке.

— Какая прелесть! — сказал он, целуя потную бабушкину руку.

Увы, следующие тоже были девочки, множество девочек: Елизавета, Наташа, Нина, Маргарита — мои тети, ныне давно уже покойные.

Дальше в записках дедушки следуют малоинтересные сведения о частых переменах квартиры и о том, что в январе 1870 года он вместе с семьей наконец нашел хорошую квартиру в доме некоего инженера на Почтовой улице.

«Надо сказать,— пишет затем дедушка,— что в сентябре 1869 года старший адъютант окружного штаба майор Гончаров предложил мне быть в штабе его помощником вместо есаула Саф (неразборчиво), который переходил на должность старшего адъютанта в штаб Войска Донского.

Я согласился, и в сентябре состоялся высочайший приказ о моем назначении».

Это был крупный шаг вперед в карьере дедушки, ставшего штабным офицером крупного военного округа.

«В этом же году я стал страдать глазами. Два доктора, Винскер и Вагнер, лечили меня без пользы. Что ни делали, ничего не помогало. Говорят: сильная трахома».

«В сентябре приехал из-за границы доктор Шмидт, известный...»

Здесь кончается 4-я тетрадь и начинается тетрадь № 5 с надписью «Мои воспоминания».

«...окулист. Я отправился к нему. Осмотрев вечером мои глаза, он сказал мне прийти еще завтра днем, так как ничего не видит в моих глазах того, что нашли лечившие меня ранее доктора. Я пришел на другой день опять. Шмидт осмотрел мои глаза внимательно — час целый! — и наконец сказал, что ничего нет, кроме воспаления, которое произошло от прижигания и впускания ляписа. Он сказал, что у меня просто близорукость, что глаза мои требуют очков и вместе с тем уменьшения воспаления, для чего ввел в глаза желтую мазь и дал очки. Все это сразу успокоило глаза. В течение месяца боль глаз прошла. Я при занятиях стал носить очки».

Теперь уже дедушка сделался типичным штабным: капитан, многосемейный, в черном сюртуке, в серебряных погонах, в очках.

На столе — баночка с желтой мазью, и розовые, воспаленные веки.

Так навсегда минула его молодость. Наступила зрелость. А вместе с ней как-то незаметно и пока еще очень неопределенно вдалеке забрезжил конец жизни.

«Занятия в штабе шли усиленно...»

Не пролив пока ни капли крови, не истратив ни одного рубля, Россия уничтожила постыдный Парижский договор в той его части, которая была наиболее оскорбительна для нашего национального самолюбия.

Правда, чтобы добиться этого результата — то есть иметь право снова держать на Черном море военный

флот,— Россия согласилась на такое положение Европы, как франко-прусская война.

После уничтожения унизительных статей Парижского договора Россия стала вооружаться так, как до сих пор ей никогда не приходилось.

Работа в генеральном штабе кипела, а в Одесском военном округе, наиболее близком к театру будущих возможных военных действий и недавно созданном со специальной целью войны с Турцией за освобождение дунайских княжеств и Добруджи, трудились день и ночь.

Утомленный адской работой в штабе, летом 1870 года дедушка вместе со своей семьей перебрался поближе к морю, на Малофонтанскую дорогу, на дачу, нанятую на лето у итальянского негоцианта Томазини.

«Купанье, воздух хорошо помогли мне»,— пишет дедушка, не упоминая ни о бабушке, ни о своих маленьких дочерях — Клёне, Люде и Евгении.

А я вижу, как эти девочки вместе со своей матерью, в сопровождении денщика с ведром пресной воды, полотенцами и большим полотняным зонтиком, мал мала меньше, в детских шляпках, в накрахмаленных платьицах и длинных кружевных панталончиках, взявшись за руки, топают по глинистому спуску на морской берег, откуда доносится йодистый запах сухих водорослей.

Трехлетняя девочка с черными бровками и раскосыми глазками — моя будущая мама — с жадным любопытством смотрела на легкие, прозрачные, как бы совсем незаметные морщинки прибоя, с волшебным позваниванием катавшие туда и назад мелкую, обточенную морем гальку и гравий.

Девочка остолбенела от красоты этого полуденного моря, резко горевшего на солнце белым огнем, хотя и не знала, что это красота.

Ее близорукие глазки сделались мечтательными, щечки покраснели. И она как зачарованная смотрела на горизонт, где белел маленький косой парус...

...они поднимались наверх. «Ограды дач еще в живом узоре в тени акаций. Солнце из-за дач глядит в листву. В аллеях блещет море... День будет долог, светел и горяч. И будет сонно, сонно. Черепицы стеклом светиться будут. Промелькнет велосипед бесшумным махом птицы, да прогремит в немецкой фуре лед...»

По пыльной Малофонтанской дороге тащится конка — летний вагон, занавешенный с солнечной стороны полотняной шторой. По обе стороны — виллы одесских богачей: вилла Маврокордато — каменная серая стена, как бы составленная из глухих арок с вазами наверху, за которыми угадывается роскошный южный сад... Против нее вилла Маразли — кованая железная решетка, сквозь которую видна какая-то итальянская растительность — может быть, пинии! — и огромный яркий газон, окруженный каймой алых гераний, а посередине газона отличная, в натуральную величину мраморная копия знаменитой скульптуры «Лаокоон»: отец и два сына, удушаемые змеями, ползущими по их мускулистым телам с напряженными мускулами.

...И еще вдали какие-то мраморные античные статуи, особенно белые на фоне пламенного моря с хвостом темного пароходного дыма...

На всю жизнь все это запечатлелось в сознании маленькой Евгении — Женечки,— моей мамы, передавшей мне по наследству эти свои первые впечатления моря, юга, красоты, чего-то итальянского и белеющего на горизонте паруса.

Дача Томазини, где дедушка снял домик на летнее время, была, конечно, гораздо скромнее. Но все же...

«На этой даче я познакомился с Петром Федосеевичем Алисовым, курским помещиком, женатым на молодой особе. Чудак, взбалмошный человек, богатый, труда не знает. Мы часто спорили с ним о русской истории. Взгляд его слишком вольный и безрассудный. Я не мог с ним согласиться. Это было причиной того, что мы с ним разошлись. Например, он на даче Томазини купил на самом берегу моря десятину земли, выстроил маленький домик, в котором были: гостиная, кабинет, спальня и столовая. При этом под одной крышей, позади столовой — крошечная кухня, где его жена сама готовила и стирала пеленки годовалого ребенка».

«Жена целый день в труде и занятиях, а сам Алисов ничего не делал, ездил в город, ухаживал за хорошенькими».

«Раз как-то после обеда я сидел под навесом, который был шагах в ста от дома Алисова; вижу, идет какой-то рабочий купаться в море возле дома. Цепная собака, сорвавшись с привязи, бросилась и начала рвать рабочего. На его крик прибежал дворник из бывших крепостных Алисова, стал гнать собаку, но собака, не слушаясь, продолжала бросаться на рабочего и рвать его. Тогда дворник, взяв хворостину, ударил собаку, которая с воем бросилась прочь».

«На этот шум вышел Алисов и, увидев, что дворник ударил собаку, подскочил к нему и нанес несколько ударов кулаком по лицу, крича и браня его...»

«Эта возмутительная картина до сих пор стоит в глазах моих!..»

«Вечером, встретившись с Алисовым, я стал говорить ему об этом, выражая свое негодование.

Алисов ответил:

— Ну и что ж такое? Дворник — мужик, его можно и даже нужно бить!»

«Какими же глазами я должен был после этого смотреть на такого господина? Только с презрением! Иначе нельзя!»

«Впоследствии в каком-то журнале или газете прочел я, что этот самый курский помещик Алисов, будучи за границей, вел пропаганду. Но из Франции и Германии он был изгнан. Въезд в Россию ему не разрешен. Вот доигрался, и поделом!»

Не совсем понятно, о какой «пропаганде» Алисова пишет дедушка. Вероятно, Алисов выступал за границей против русского правительства и против отмены крепостного права, но, конечно, не с точки зрения революционной, а с точки зрения матерого крепостника: Курская губерния славилась своими помещиками-реакционерами, как их тогда называли, «зубрами».

Вероятно, Алисов принадлежал к их числу.

Во всяком случае, эта история показывает, что Александр II, совершив свою реформу, попал между двух огней: возмущенного и ограбленного крестьянства и возмущенных помещиков-зубров.

Атмосфера в России накалялась.

«В сентябре 1870 года мы перебрались с дачи в дом на Базарной улице, угол Канатной. Комнаты невысокие, но просторные. В марте этого года у меня родилась дочь Елизавета...»

(Та самая тетя Лиля, которая после смерти нашей матери в 1903 году по обещанию, данному ей, воспитала меня и моего младшего брата Евгения.)

«Брат мой Александр,— продолжает дедушка,— отказался быть крестным отцом Елизаветы...»

Тут же на полях тетради рукой деда написано: «Майор 1870». Очевидно, он вдруг вспомнил, что в этом году был произведен в майоры.

«Я пригласил офицера Булича быть крестным отцом новорожденной Елизаветы, а крестной матерью была старшая дочь Клёня».

«В конце сентября жена моя со всеми детьми поехала в Винницу к своей сестре Ивановой. Отлучка продолжалась месяц. Все время погода стояла хорошая, осень была замечательная, наступил 1871 год, казалось, все благополучно...»

«Но пришла Пасха, и все недовольство народа вылилось очень резко».

Оказывается, было недовольство народа, о чем дедушка упоминает впервые.

В Европе бушевал пожар франко-прусской войны, Парижской коммуны. Это не могло не отразиться на настроении в России, где было больше чем достаточно горючего материала.

...Одесса кипела...

...Примерно в это же время в Вятке умирал протоиерей местного кафедрального собора отец Василий...

«Конечно,— пишет дедушка,— этому много помогли разные неблагонадежные лица. На Пасху, на первый день, когда кончилась утреня, пошли разговены; часов в десять утра против греческой церкви стали собираться толпы разговевшегося народа. За оградой церкви было несколько десятков греков. Вследствие подстрекательства неблагонадежных личностей народ с улицы стал задевать греков. Греки ответили бранью. С улицы в них полетело не-

сколько камней. Полиция разогнала толпу. Тогда кто-то крикнул:

— Это жиды дали знать полиции!»

«Народ рассвирепел. Бросились на еврейские дома. Полиция была разогнана основательно «разговевшейся» пьяной толпой. Народ побежал во все стороны».

«Была потребована дежурная воинская часть».

«Но и полиции, и вытребованных войск оказалось недостаточно для того, чтобы усмирить толпу. Толпа быстро организовалась».

А в это время по всему городу продолжался пасхальный трезвон, над крышами летали стаи голубей, с моря дул нежный ветерок.

«Часа в два стройная толпа, человек тысяча, двигалась по Канатной улице со стороны Сабанских казарм по направлению к нам. На углу Троицкой толпа остановилась и стала громить еврейский кабак. Производилось это чинно, в порядке. Когда двери кабака были высажены, толпа бросилась внутрь».

...Сначала маленькие девочки, майорские дочки, сжав губы, смотрели с балкона вдаль вдоль Канатной улицы, откуда двигалась громадная молчаливая толпа, подобная грозовой туче. Потом девочек увели...

«Из разбитых окон на улицу полетели бочонки, штофы с водкой. Все это билось, ломалось. Еврейские вещи (так называемые бебехи) рвались на части. В полчаса кабак был пуст. Толпа с песнями, свистом, криками двинулась далее, приближаясь к нашему дому против аптеки, и остановилась возле большого дома богатого еврея Красносельского».

«Дом был закрыт, молчалив, обречен, окна затворены. Толпа выстроилась молча. Какие-то мальчишки-греки бросили несколько камней в окна. Брызнули стекла. После этого сигнала вдруг вся толпа схватила камни и стала швырять в окна и в ворота. Ворота держались, но окна со своими внутренними деревянными ставнями распахнулись».

Толпа ринулась в окна. Затем из первого и второго этажей полетели на улицу разные вещи, посуда, высунулся угол пианино, и оно со странным звоном разбилось о камни тротуара. Все это ломалось, рвалось на части. Пух

из разорванных подушек и перин, как снег, носился в воздухе».

«Я с семьей и несколько интеллигентных лиц стояли на улице возле своего дома, молча, оцепенело смотря на все это безобразие».

«Полицеймейстер граф фон Фитингоф, красивый молодой человек, в сопровождении четырех казаков подъехал и стал уговаривать толпу. Но, видя, что это бесполезно, куда-то уехал. Это еще больше ободрило толпу. Разгром пошел гораздо быстрее».

«Через полчаса прибежали человек сорок стрелков 13-го стрелкового батальона с ружьями наперевес и тотчас же, орудуя прикладами, бросились на толпу».

«От каждого удара кто-нибудь из погромщиков летел в сторону с окровавленным лицом».

«Толпа кинулась врассыпную. Стрелки ловко полезли в разбитые окна, и оттуда назад на улицу посыпались все погромщики, успевшие уже забраться в дом и хозяйничающие там».

«В 10 минут никого не стало».

«Стрелки действовали молодцами, энергично. Часа в три в город были выведены из казарм все войска гарнизона».

«Коцебу сам распоряжался, уговаривая народ. Ничего не помогало. Погромы вспыхивали то там, то тут по всему городу. Вслед Коцебу из толпы неслись оскорбительные выкрики, насмешки. Вечером беспорядки усилились, а на второй день еще более разгорелись благодаря тому, что, прослышав о погромах, по железной дороге стали прибывать разные элементы из соседних городов, надеясь поживиться».

«Были и убитые».

«Одного убитого толпа принесла в Воронцовский дворец, положив посреди комнаты. Дежурный адъютант, испугавшись, велел дворцовым служителям отнести труп в полицию...»

«Юнкерское училище — человек двести — поставили поперек дороги из Карантина, откуда вверх по Карантинному спуску из порта бежали в город матросы русских и иностранных судов».

«Столкновение было сильное».

«Более 10 ружей было сломано в рукопашной драке. Толпы разного сброда носились по улицам города, все разрушая и разбивая на своем пути. Более 50 человек было убито. В 12 часов ночи всеобщий разгром стал утихать».

«Войска ночевали на улицах. Горели костры. Город напоминал осажденный лагерь».

Маленькая девочка Женя то и дело просыпалась в своей кроватке в детской, освещенной желатиновым синим ночником. Ее сестры тоже не спали. Им мерещились всякие ужасы. Дневные впечатления тревожили детское воображение.

Женя, сжав тонкие губки, наморщив смуглый лобик, открыв свои узкие глазки, смотрела на золотящуюся в потемках икону, на тень пальмовой ветки, которая тянулась через весь потолок. Девочка крестилась под одеяльцем, моля бога, чтобы он спас их всех от погибели.

Иногда она забывалась тревожным сном, и тогда во сне мимо нее летали лазурные тени черноморских чаек и блестел на солнце прибрежный песок.

«На третий день Пасхи Коцебу вследствие особо полученной телеграммы из Петербурга распорядился иначе».

«Войска были поставлены на площадях. На каждую площадь на армейских фурах были привезены кучи розог. Бунтовщиков стали приводить на середину выстроенного в каре батальона, и полицейские наносили от 25 до 50 ударов, в зависимости от степени участия в погроме».

«Каждый хорошенько выпоротый поспешно застегивал штаны и убегал домой. Это средство отлично подействовало и на других погромщиков. Многие из них были арестованы, посажены на баржи и отбуксированы в открытое море».

«К вечеру все умолкло».

Из скупых заметок дедушки можно заключить, что трехдневные события значительно переросли понятие городских беспорядков, связанных с погромами. Это несомненно было нечто большее.

Дедушка, не склонный к историческим обобщениям, воспринимал происшествие как обыкновенный, средний штабной офицер и городской обыватель. Впрочем, к его чести надо заметить, что он не сочувствовал погромщикам, свидетельством чего также является и следующая его заметка, довольно, впрочем, забавная.

«Жена моя подшутила в эти дни над нашим денщиком, который, сбежав со двора, тоже участвовал в погромах. Придя утром третьего дня на кухню, Маша серьезно заявила, что по приказу Коцебу всем тем, «которые били жидов», на городских площадях выдают подарки».

«Наш денщик Нестор, услыхав это, тотчас побежал на ближайшую от нас площадь — Куликово поле — и заявил, что он «бил жидов». Его тотчас схватили и тут же не сходя с места всыпали 25 горячих. Получив эту награду, Нестор прибежал домой заплаканный и больше уже во все время событий не отлучался со двора».

Бабушка, так мило подшутившая над денщиком Нестором, по-видимому, не была лишена юмора.

Сколько я помню ее, она была веселая, пухлая, подвижная. Во всяком случае, урок, который она преподала денщику Нестору в дни своей молодости, характеризует ее не только как женщину остроумную, но также и справедливую.

«В октябре жена с детьми снова поехала в Винницу навестить свою старуху мать и Ивановых. Я же, будучи вновь при начальнике штаба генерале Горемыкине (Иван Георгиевич, губернатор Восточной Сибири), остался дома. Таким образом, шли годы жизни в Одессе без изменения... Дочери росли...»

Записки дедушки, которые он делал на старости лет, незадолго до смерти, будучи уже генерал-майором в отставке, проживающим на покое в Екатеринославе, приходят к концу. Почерк дедушки меняется: то мелкий, совсем неразборчивый, то крупный, с жирными росчерками. Иногда дедушка пишет красными чернилами, и это имеет какой-то зловещий оттенок. Память ему все чаще и чаще изменяет. Он повторяется. Путает годы, месяцы, смерть приближается к нему, а он не записал и половины своей жизни.

Ему уже за шестьдесят, у него паралич. Кончается XIX век, а он только дотянул свои воспоминания до конца семидесятых годов.

Маленькой Женечке, как мы уже знаем, в 1870 году минуло три года. У нее уж был жених, о существовании которого ни она, ни кто другой, конечно, не имели поня-

тия: он был на десять лет старше ее и родился где-то недалеко от Перми, на Урале, в городе Глазове, в семье священника Василия Алексеевича Катаева, которая вскоре переехала в Вятку, где отец Василий стал соборным протоиереем и через некоторое время умер.

...Я скончался 6 марта 1871 года в 10 часов вечера в городе Вятке после тяжелой болезни, окруженный своей семьей. Перед тем как умереть, я испытал невыносимые телесные муки.

Сперва я лежал на нашей супружеской двуспальной кровати, покрытой лоскутным одеялом, под образами, потом обмытое теплой водой мое похолодевшее тело переложили в приличный моему сану дубовый гроб, поставленный в гостиной на два ломберных стола.

Мое человеческое сознание давно уже погасло, но взамен его началось новое, вечное, необъяснимое и никогда уже не угасающее сознание, как бы неподвижное, но вместе с тем охватившее весь существующий мир, все его бесконечное движение.

В нем, в этом странном нечеловеческом сознании, заключалось нескончаемое прошлое, настоящее и нескончаемое будущее. В этом мире я продолжал свое ни с чем не сравнимое, вечное существование, в котором так ничтожны должны были казаться отметки времени, например формулярные списки духовной консистории, сохранившиеся в вятском архиве.

Из них следовало, что в 1857 году я был смотрителем Глазовского уездного духовного училища; тогда мне было тридцать семь лет и жизнь моя земная казалась мне бесконечной. Я был сын священника из Вятской губернии и как таковой безвозмездно обучался в Вятской духовной семинарии, а потом в Московской духовной академии, которую и кончил по второму разряду, а в 1844 году получил степень кандидата.

В Глазове состоял я инспектором духовного училища и учителем высшего отделения уездного училища по греческому языку.

В 1847 году я был переведен в Вятку, стал священником при духовном училище, затем вернулся в Глазов и был священником местного собора.

Я хорошо продвигался по служебной лестнице, но какое это теперь имело для меня значение?

Я получал награды.

За препровождение глазовских дружин подвижного ополчения в духе христианского и патриотического усердия, за отличную тщательность в назидании новокрещеных вотяков в вере, за особую старательность по обучению прихожан молитвам и вообще в назидании и утверждении их в истинах и правилах христианства.

В награду за все это получил я в 1850 году скуфью, в 1848 году набедренник, в 1856 году камилавку.

Глазовские ополченцы, воспитанные мною в духе христианства и патриотизма, принимали участие в крымской кампании и проявляли чудеса храбрости на севастопольских бастионах, а также в боях с восставшими горскими племенами на Кавказе.

Я получил за это наперсный крест на анненской ленте, что при жизни вселяло в мою душу гордость и я чувствовал себя как бы причастным к славе русского оружия.

Теперь же все это стало для меня не только безразлично, но вовсе перестало существовать, уничтожившись вместе с моим сознанием.

По углам моего дубового гроба с серебряными кистями душно и неподвижно горели толстые восковые свечи, вставленные в подсвечники, привезенные из кафедрального собора, где я был при жизни протоиереем. Обычно эти пугающе-громадные подсвечники были в холщовых чехлах, перехваченных посередине вышитыми лентами, но теперь чехлы были сняты, и в серебре мутно и огненно отражалась картина первой ночной панихиды в нашем тесном зальце с зеркалами, грозно завешенными простынями, с лампадками, иконами, фикусами и филодендронами в зеленых кадках со своими висячими воздушными корнями и громадными дырявыми листьями, которые в представлении моих потомков могли бы показаться похожими на рентгеновские снимки грудной клетки.

Я лежал по диагонали комнаты в лиловой бархатной камилавке, в траурном облачении, в парчовом набедреннике, с большой бородой, расчесанной моей супругой Павлой Павловной, попадьей, и смазанной душистым елеем.

У меня был хрящеватый нос и склеротические глаза, которые некоторые вятичи, мои прихожане, считали при моей жизни похожими на глаза сатирика Салтыкова-Щедрина, сосланного к нам в Вятку и некоторое время жившего неподалеку от нашего дома.

Теперь же, в гробу, в облачении, с высоко сложенными на груди костлявыми руками, в которые был вложен наперсный крест, с закрытыми глазами, я скорее был похож на некое языческое божество, окруженное облаками росного ладана.

...Я умер от гнилой горячки, провалившись под лед на реке Вятке, которую я переходил зимой с одного берега на другой, в заречную слободку, дабы поспеть к одному из моих умирающих прихожан, дать ему последние наставления, исповедать, отпустить грехи и приобщить святых тайн.

Я нес на голове дарохранительницу, покрытую шелковыми воздухами.

Лед на реке был не всюду достаточно крепок. Под моими ногами оказалась полынья. Я провалился сначала по колена, потом по пояс. Я боялся упасть, дабы не уронить святые дары. Одной рукой я поддерживал на голове дарохранительницу, другой опирался о ребро поднявшейся дыбом льдины. Сопровождавший меня псаломщик помог мне выкарабкаться. Но я вымок в ледяной воде по грудь.

Вечерело. Красный закат светился над высоким берегом Вятки, над куполами и колокольнями церквей, над деревянными домиками, как багряное причастное вино кагор.

Моя шуба до половины обледенела, стала тяжелой, как из чугуна. Все же мне удалось перейти через реку и вовремя поспеть к умирающему.

Я возвращался домой почти без сознания, в страшном жару. Кости моих ног болели. Моя попадья напоила меня малиной. Я горел. Сознание то и дело покидало меня. Я стал заговариваться. Позвали епархиального лекаря, который отворил мне кровь, ударившую из-под его ланцета яркой струей в оловянный таз, подставленный одним из сыновей моих.

Но это не помогло.

Голень воспалилась, посинела, вулканически почернела. Колено стало нарывать. Нечто ужасное. Тогда лекарь решился прибегнуть к крайнему средству: каленому железу.

В кухне на плите раскалили железный шкворень. Фельдшер держал его кузнечными клещами, обернутыми тряпкой, от тряпки шел желтый дым. Мои жена и дети с ужасом смотрели, как железный шкворень, раскаляясь, меняет тона: синий перешел в угрюмо-малиновый, потом в ярко-вишневый, потом в пылающе-оранжевый и наконец, сделавшись ослепительно белым, как молния, остановился на этом: железо было доведено до белого каления.

Я лежал, откинув бороду, и лекарь выпростал из-под простынь мое раздувшееся колено и безжалостно приложил к нему конец раскаленного добела шкворня. Я на миг потерял сознание. Дым и чад паленого человеческого мяса наполнили спертый воздух.

Попадья, трое моих сыновей и грубиян фельдшер держали меня за руки и за ноги, изо всех сил прижимая мое извивающееся тело к постели.

Лекарь вторично приложил раскаленное железо к моему больному колену.

Страшный крик потряс наш бревенчатый дом от подполья до конька крыши. Это был мой крик. Кровавые слезы текли из моих глаз.

(Библейско-желтые члены старческого человеческого тела среди хаоса простынь, одеял и занавесок, посредине небольшой провинциальной комнаты, оклеенной коричневыми шпалерами, как бы пылали адским заревом).

Комната была яко пещь раскаленная, яко геенна огненная.

Моисеева борода вилась вокруг моего разинутого рта с несколькими недостающими зубами. Ничто уже не могло спасти меня от мук, и я умер, и смерть моя в тот же миг стала подобием какой-то еще неведомой мне жизни — огненной и бесконечной.

Два дня лежал я в гробу дома. На третий меня со всяческими почестями перенесли в кафедральный собор, как бы еще хранивший в своих расписанных сводах мой навеки запечатленный голос.

Посреди похоронного великолепия я лежал, высоко воздвигнутый над толпой молящихся обо мне прихожан, и соборный причет отпевал меня, и священнослужители кадили вокруг меня, наполняя кафедральный собор облаками ладана.

Затем мой гроб подняли за металлические ручки, поставили на носилки, покрытые черным сукном, вынесли из собора на плечах родных и близких и поставили возле вырытой могилы, резко черневшей среди мартовского снега.

Надо мною произносили надгробные речи.

— На погребение умершего брата нашего, протоиерея Василия, священнослужителя сего собора, стеклись мы, — сказал, выступив вперед, протоиерей Стефан Кашменский, прижимая к груди бобровую шапку и наклоняясь вперед так, что длинные полы его черной драповой шубы на хорьках касались края могилы.

Он был известный духовный оратор Вятки, и его слово над гробом было знаком великой чести для усопшего.

От его голоса стая галок снялась с купола собора и облетела крест на фоне фиолетовых мартовских туч, откуда скупо сыпался мелкий снежок, падая на мое лицо и не тая. Звонил похоронный колокол.

— Так смерть похищает то того, то другого из наших ближних — из сотрудников, родных и знакомых.

Стефан Кашменский строго из-под золотых своих очков оглядел всех предстоящих, влажным взглядом задержавшись на моей семье, на трех моих сыновьях — Николае, Петре, Михаиле — и на моей попадье, такой маленькой, такой беспомощной Павле Павловне, урожденной Бубликовой, с таким белым окаменевшим личиком, что душе моей, еще не окончательно отлетевшей и присутствующей рядом, стало больно и жалко, хотя в последние годы своей земной жизни я как-то утратил чувство жалости и, несмотря на свой сан, перестал жалеть больных, нищих, убогих, сирых...

— Так она заметно и незаметно, но всегда безостановочно приближается к каждому из нас. О, смерть, неожиданная, но неизбежная смерть! —вдруг вскричал высоким голосом Стефан Кашменский и зарыдал.— Иногда мы не хотели бы видеть тебя, не хотели бы и думать о тебе, а ты сама являешься нам со своими жертвами, сама напоминаешь нам о себе. Волею и неволею мы останавливаем свой взор на умерших, и вид смерти заставляет нас так или иначе подумать о ней.

Лежа в открытом гробу на краю могилы, лицом, обращенным к фиолетовым тучам, неподвижный и, вероятно, страшный для окружающих, я был именно тем видом смерти, которая как бы вселилась в мое тело, хотя и не уничтожила моей вселенской жизни, о чем среди всех стоящих вокруг меня знал один только я.

— От земной жизни ты перешел в загробную,— гремел голос оратора, ноздри его округлились, борода вздулась.— Да откроется же там иная для тебя блаженнейшая деятельность, которая никогда не ослабляет, никогда не изнуряет сил наших, но всегда воодушевляет действующего, всегда радует его.

Долго еще говорил Стефан Кашменский. Это была прекрасная речь — надгробное слово, напечатанное впоследствии, как было объявлено, «по желанию чтителей покойного» в «отделе духовно-литературном» на нескольких страничках «Вятских епархиальных ведомостей»...

Это были слова прекрасные для живых, но для меня — пустой звук. Они пролетели мимо, не касаясь моего слуха, потому что я уже им не обладал. Ни слухом не обладал, ни зрением, ни осязанием, ничем человеческим я больше не обладал. Но зато моя якобы мертвая плоть не только продолжала существовать, но также продолжала обладать даром отражения окружающего меня мира, притом тысячекратно увеличивала эту способность, по мере того как растворилась во вселенной, раскатилась по всем направлениям пространства и времени.

...я лежал в гробу на высоком берегу реки Вятки, откуда открывался широкий вид на низкое заречье, на лесистые пространства северной России, покрытые волнами великопостного заунывного звона, плывущего из всех церквей прекраснейшего в мире города Вятки...

Покойник был отцом моего отца, и я, пишущий эти строки, последний из оставшихся в живых его внуков, измученный столь естественным в каждом человеке желанием проникнуть в прошлое своего рода, недавно перебирал странички ксерокопии «Слова при погребении»,

присланные мне доброжелателем из города Кирова (бывшей Вятки).

Сквозь четко по-старинному набранные странички «Слова» до меня как бы доносится голос кладбищенского оратора:

«...будем молиться об усопшем, потому что смерть есть переход к такому состоянию, в котором человек особенно нуждается в молитве о себе — умерший в молитве живых...»

Не думаю, чтобы мой мертвый дед нуждался в молитве живых, так как он сделался уже существом как бы высшим, вездесущим и всеведущим, как бог. Ему были безразличны слова оратора.

«Усопший брат наш был внимателен, благорассудителен, миролюбив, благоговеен; очищал себя долговременным предсмертным страданием; приготовлял себя к смерти таинством церкви, и знаменательно, что он недели за полторы до болезни своей здесь, в храме святителя и чудотворца Николая, свое слово с церковной кафедры заключил так: «...болезни ли постигли тебя, путник земной... *всяку радость имеет,* по наставлению Апостола, предавая Христу богу сам себя, «и других, и весь живот свой». Да сподобится же небесной радости дух твой, почивший брат наш. Не о том да радуется он, что прекратились болезни и страдания его тела, а о том, что страдания эти переносились с полной преданностью воле божией и очищали душу, как металл очищается в горниле...»

(...Может быть, как шкворень добела раскалился и потом дочерна прожег коленную чашечку, оттуда потек зеленый гной на смятые простыни...)

«Да удостоится очищавшаяся душа твоя водворения там, *и деже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание».*

Осиротевшее семейство утирало слезы, и средний сын покойного, мальчик Петя, в шинели духовного училища, стоял без фуражки, с покрасневшими добрыми глазами, такими же самыми, какие были у него в тот страшный день, когда много лет спустя рядом со мной, его старшим

сыном, он стоял перед гробом своей жены, той самой девочки Жени, которая родилась в семье моего дедушки Бачея.

А тогда в Вятке черная толпа прихожан и нищих, окружившая могилу другого моего деда, отца Василия Катаева, крестилась, кланялась... Звонили похоронные колокола, синели великопостные тучи, над колокольнями носились стаи галок, на занесенной снегом реке с бревенчатой конторкой пристани и вмерзшим в лед паромом виднелись черные квадратики прорубей, откуда шли бабы в оранжевых тулупах, в темных платках, с ведрами на расписанных коромыслах...

Но вернемся к запискам другого моего дедушки, Ивана Елисеевича Бачея. В этих записках он не успел рассказать о свадьбе своей дочери Евгении, вышедшей замуж девятнадцати лет за учителя Петра Васильевича Катаева, приехавшего из Вятки в Одессу со своей матерью, вдовой протоиерея, поступать в императорский Новороссийский университет, недавно открывшийся в этом городе, где жизнь, по слухам, была дешевле, чем в любом другом университетском городе Российской империи.

Петр Катаев с серебряной медалью кончил университет по историческому отделению историко-филологического факультета, стал преподавателем и женился на Евгении Бачей, моей будущей матери.

«В ноябре,— пишет дедушка Бачей,— была объявлена мобилизация. Распоряжение мы получили 1 ноября после обеда. Я пошел обедать в 2 часа, а пообедав и вернувшись в штаб, застал такую сцену: все тревожилось, суетилось... посылалось множество телеграмм во все места».

Дедушка, по-видимому, был так сильно взволнован нахлынувшими воспоминаниями о приближении русско-турецкой войны, что почерк его с трудом можно было разобрать даже с помощью увеличительного стекла, тем более что он почему-то стал писать красными канцелярскими чернилами, и это придало его воспоминаниям зловещий оттенок.

«Мне как секретарю работы сначала было мало, но со 2 ноября стало приходить такое множество депеш, что пришлось увеличить аванс дежурного писаря».

Что обозначает это загадочное выражение, не знаю.

«Назначено было дежурство офицеров. Мы, адъютанты, помощники и я — секретарь,— сходив обедать в 3 часа, приходили на дежурство и были в штабе всю ночь. Важные депеши несли начальнику штаба тотчас, а неэкстренные оставляли до утра».

«Так шло время без остановки...»

На этом месте красные чернила вдруг сменяются траурными черными.

«...до апреля 1877 года, когда приехал в Одессу государь Александр II с наследником Александром Александровичем».

Эти воспоминания дедушка вписывал в тощую трехкопеечную школьную тетрадку накануне своей смерти, кажется в 1901 году.

Он с трудом восстанавливал в слабеющей памяти события двадцатипятилетней давности. Его рука стремительно и криво выводила крошечные буковки, как бы желая убежать от смерти, которая уже стояла за его плечами, согнутыми над письменным столом с двумя парами зажженных свечей под зеленым козырьком в форме утюга. Именно при таком освещении отставные генералы имели обыкновение писать свои мемуары.

Быть может, и сам император Александр II при подобных свечах под зеленым абажуром подписал манифест, несправедливо давший ему титул «царя-освободителя».

«Назначен был смотр всем одесским войскам на Тюремной площади тотчас же по выходе императора из вагона железнодорожного поезда. Великий князь Александр Александрович — будущий император Александр III — был в донской казачьей форме».

«Мы, штабные, были возле вокзала; я видел наследника в пятнадцати шагах от себя, не далее. Он сидел верхом».

Впоследствии скульптор Паоло Трубецкой примерно в таком же виде изобразил его, тогда уже покойного императора Александра III, в грузном памятнике, установлен-

ном в Петербурге против Николаевского вокзала. Это был памятник-карикатура, хорошо замаскированная видимой монументальностью: толстая лошадь, толстый царь в казачьей форме и круглой каракулевой шапочке. В дореволюционное время об этом памятнике ходила эпиграмма: «Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте — обормот». Февральская революция началась возле того памятника: черные толпы народа, красные знамена, лиловые тучи, ветер с Невы, остатки снега, надежды, надежды.

Ныне этого памятника на вокзальной площади нет, его куда-то убрали.

«Государь при сходе с подъезда железнодорожной станции распекал градоначальника графа Левашова очень сильно и громко за беспорядки в Одессе при окружном суде во время осуждения революционерки Засулич, которую суд оправдал, несмотря на то, что все улики ее вины были налицо...»

«Не дай бог дожить еще до такого времени, как было тогда в Одессе...»

Это последняя строка, написанная дедушкой. Записки прерываются на середине странички, дальше идут уже чистые, пожелтевшие от времени листы...

Возможно, что именно в этот миг и настигла дедушку смерть от удара.

Голова дедушки с бакенбардами, делавшими его, как я уже говорил, похожим на царя-освободителя, упала на зеленое сукно письменного стола, и вбежавшая на шум бабушка увидела уже сползшего на пол дедушку в домашней генеральской тужурке с красными лацканами, с остекленевшими глазами, устремленными в потолок; его худые пальцы продолжали сжимать деревянную обкусанную ручку со стальным пером, откуда на потертый кавказский ковер капали канцелярские чернила.

...а на столе, где продолжали гореть под зеленым абажуром оплывающие свечи, виднелся заветный портфель, завещанный дедушке его отцом, моим прадедушкой Ели-

сеем Алексеевичем Бачеем. В портфеле хранились его записки, через много лет доставшиеся в наследство мне, пишущему эти строки.

Итак, последнее, написанное дедушкой, было то, что император распекал Левашова за беспорядки в Одессе и за то, что суд присяжных оправдал революционерку Засулич.

Тут дедушка что-то напутал, так как известно, что Веру Засулич судил и оправдал суд присяжных в Петербурге. Однако тот факт, что дедушка сопоставил имя известной революционерки Веры Засулич со взбучкой, которую задал Александр II графу Левашову за беспорядки в Одессе, свидетельствует о той грозовой, предреволюционной обстановке, которая уже тогда начинала созревать в России.

Дело Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника Трепова, было первым проявлением новых сдвигов в психологии революционно настроенных людей того времени. Наступало время революционных дел, террористических актов...

Хотя дедушка в своих записках, очевидно, что-то и напутал, но в них отразилось настроение русского общества того времени.

Накануне русско-турецкой войны и приезда Александра II в Одессу там был раскрыт «Южнороссийский союз рабочих». Дело слушалось в одесском суде в год приезда императора. Очень возможно, что в этом деле была замешана также и Вера Засулич еще до того, как она стреляла в Трепова: она долгое время жила на юге и была связана с подпольными революционными организациями.

Через год после приезда Александра II в Одессу, в июле, были преданы военному суду пять юношей и три молодые девушки, обвиненные в заговоре и вооруженном сопротивлении властям. Главный из обвиняемых, Ковальский, был приговорен к смертной казни и расстрелян. Спустя два дня начальник тайной полиции (III Отделения собственной его императорского величества канцелярии) генерал Мезенцов, получивший предупреждение, что с ним рассчитаются за Ковальского, был заколот кинжалом на

Михайловской площади в Петербурге молодым человеком, который немедленно скрылся и, несмотря на все старания, не был разыскан.

Эти события совпали с неудачным для русской дипломатии концом Берлинского конгресса: в широких слоях русского общества открыто негодовали на бездарно «проигранную» в Берлине восточную войну, стоившую таких огромных жертв, как Шипка, Плевна и т. д.

Вскоре после убийства Мезенцова — на этот раз в Киеве — был также заколот кинжалом жандармский офицер Гейкинг.

Так называемая мирная пропаганда отошла в прошлое. Между революционерами и правительством начался смертельный поединок. Во всех губерниях участились аресты и высылки без суда. Скоро некто Фомин был арестован в Харькове за попытку освободить политических заключенных. Он был предан военному суду губернатором князем Кропоткиным, двоюродным братом одного из вождей революционного движения. Тогда во всех значительных городах России Исполнительный комитет объявил о смертном приговоре, вынесенном им харьковскому губернатору Кропоткину, и еще раньше, чем Фомин предстал перед судом, князь Кропоткин при выходе с бала был смертельно ранен выстрелом из револьвера боевиком Гольденбергом.

Через две недели в Одессе пришла очередь жандармского полковника Кнопа. Рядом с его трупом нашли приговор Исполнительного комитета.

23 февраля в Москве был убит агент тайной полиции Рейнштейн. В тот же день в Петербурге произошло покушение на преемника Мезенцова генерала Дрентельна. Вскоре в Киеве стреляли в губернатора, а в Архангельске был убит кинжалом полицеймейстер.

Наконец, 2 апреля некто Соловьев пять раз подряд стрелял из револьвера в императора, который бежал от него как заяц, и пять раз промахнулся: Александр II остался невредим.

Однако грозный и неуловимый Исполнительный комитет (не признавший себя ответственным за покушение Соловьева) прокламацией от 26 августа 1879 года приговорил к смерти императора Александра II. Вскоре под Москвой был взорван возвращавшийся из Крыма императорский поезд. Взрыв разрушил полотно железной дороги, но император проехал предыдущим поездом.

...Пока Александру II везло...

Через год прокламация Исполнительного комитета уведомила императора об условиях, на которых он может быть помилован: объявление свободы совести и печати, учреждение народного представительства.

Император не дал на это никакого ответа.

Тогда страшный взрыв потряс здание Зимнего дворца. Было взорвано караульное помещение, находившееся непосредственно под императорской столовой, в шесть часов вечера, именно в тот момент, когда императорская фамилия должна была войти в столовую. Но императорская фамилия замешкалась, и Александру II опять повезло.

Главным, если не единственным, организатором покушения был Халтурин, столяр, которому Исполнительный комитет выдал динамит. Халтурину удалось наняться на работы, производившиеся в погребах Зимнего дворца под местом расположения императорской столовой. Он жил там в течение нескольких месяцев в постоянном напряжении не только из-за обысков полиции, знавшей о том, что дворцу угрожает опасность, но также из-за неосторожности своих товарищей по работе; спал Халтурин на динамите, стоически перенося вызываемые им ужасные головные боли.

...и Халтурину спать не дает динамит...

Ему удалось скрыться из дворца до взрыва, и, когда впоследствии он был арестован в Одессе за участие в другом покушении, власти судили его и приговорили к смертной казни, приведенной в исполнение в двадцать четыре часа, даже не подозревая, что он был организатором взрыва в Зимнем дворце.

Халтурин вместе с Желваковым убил в марте 1882 года прогуливавшегося в Одессе на Николаевском бульваре военного прокурора Стрельникова, прославившегося своей беспощадной жестокостью.

Дедушка, который до сих пор, судя по его запискам, очень мало интересовался политическими событиями и не выходил из круга своей служебной деятельности и семей-

ных дел, вдруг в один прекрасный день ощутил, что он живет в бурную предреволюционную эпоху. Зарево надвигающейся революции уже стояло над Россией.

Для дедушки это было неожиданным открытием, и он ужаснулся. Теперь, перед смертью, как бы заново переживая и переосмысливая события того времени, он не мог вытеснить из своего воображения картину убийства Александра II 1 марта 1881 года. Того самого Александра II, который еще так недавно при выходе из Одесского вокзала на Тюремную площадь распекал графа Левашова.

...Выходя из дверей вокзала, царь — высокий, с узким немецким лицом, с бакенбардами по сторонам голого подбородка, в летней шинели тонкого жемчужно-серого сукна, из-под которой по ступеням волочилась зеркально-блестящая сабля, в фуражке с тульей, приподнятой сзади на прусский манер,— нервно теребил замшевую перчатку, сдернутую с побелевшей руки. Его шпоры звенели, царапая гранитные ступени.

Граф Левашов стоял навытяжку, с рукой под козырек, на тротуаре, глядя снизу вверх на разъяренного монарха, изо рта которого — как бы из самых недр августейших бакенбард — вылетала самая грубая, непристойная ругань, особенно зловещая среди торжественной церемониальной тишины выстроенных на площади войск...

И вот теперь этот самый Александр II уже в своей столице Санкт-Петербурге едет из дворца на развод караула. На обратном пути около трех часов пополудни на Екатерининском канале, в темной воде которого так зловеще отражаются желтые пятиэтажные дома, под его карету брошена бомба. Взрыв. Убито и ранено несколько казаков императорского конвоя и кое-кто из прохожих. Но судьба все еще хранит императора. Он цел и невредим. Он стоит среди обломков кареты, среди трупов казаков и лошадей, истекающих кровью, конвульсивно бьющихся на мостовой.

Чудесно уцелевший император делает, шатаясь, несколько шагов в облаке еще не рассеявшегося динамитного вонючего дыма, но в этот самый момент под его ноги брошена вторая бомба. Он падает.

Официальная версия гласила, что, перенесенный во дворец, он в тот же день умер, не произнеся ни слова.

Но все в России — и дедушка в том числе — знали, что царь был разорван в клочья и его августейшее тело собирали по частям с окровавленной гранитной мостовой того чугунно-синего цвета, которым так мрачно отливают в начале марта петербургские мостовые.

Красно-черные клиновидные молнии взрыва пронзили дедушкин мозг и погасили его сознание.

А ведь ему еще предстояло описать в своей тетрадке по крайней мере двадцать лет дальнейшей жизни при новом императоре Александре III, том самом, которого так близко видел дедушка некогда на Тюремной площади,— громадного дородного офицера в казачьей форме, тогда еще великого князя, верхом на откормленной лошади из дворцовой конюшни. Дедушка пережил и этого царя и умер уже перед самой русско-японской войной, при последнем русском императоре Николае II. Но об этой эпохе дедушка не оставил никаких записок. Известно только, что после службы в штабе Одесского военного округа он, неуклонно продвигаясь, был воинским начальником в Феодосии, командовал полком в Ново-Московске, где летом в полковой лагерной церкви состоялось венчание его дочери Евгении и преподавателя одесских учебных заведений Петра Васильевича Катаева — моих родителей.

...И так далее, и так далее...

...до тех пор, пока, выйдя в отставку в чине генерал-майора, не поселился в Екатеринославе, где и доживал свои дни в кругу семьи, сочиняя по примеру прочих отставных генералов того времени свои мемуары, скромно названные им записками.

После его смерти записки эти надолго были похоронены среди семейных бумаг, которыми бабушка, кажется, мало интересовалась. Они разделили участь записок дедушкиного отца Елисея Алексеевича Бачея. Наконец они попали в мои руки. Под увеличительным стеклом побежали магически выросшие рукописные строки...

Это не подлинная рукопись прадеда — она утрачена,— а копия с нее, аккуратно сделанная женской рукой. Она озаглавлена так:

«Воспоминания капитана Елисея Алексеевича Бачея (1783—1848)».

«Разбирая бумаги покойного отца, мы нашли отдельный портфель, в котором были сложены бумаги и документы деда по отцу Елисея Алексеевича Бачея. Среди этих бумаг оказалась небольшая тетрадь старинной желтой бумаги, на первой странице которой рукой нашего отца написано: «Замечания моего отца о некоторых военных действиях, в которых он сам участвовал». С большим трудом читается написанное старинным почерком, но чем дальше, тем интереснее и живее становится рассказ, обрывающийся, к сожалению, на 1813 году. Сведения о дальнейших военных подвигах деда в кампании 1813 и 1814 годов мы знаем из документов и рассказов покойного отца. Марина Бачей. 18 апреля 1911 г.».

Кто такая Марина Бачей, я не знаю, так как не помню, чтобы кто-нибудь из моих многочисленных теток носил имя Марина. Была среди них Маргарита, самая младшая. Может быть, ее настоящее имя было Марина, а Маргаритой она называлась в семье для красоты? Впрочем, это несущественно. А то, что ее предисловие датировано 1911 годом, легко объяснить: приближалось столетие со дня Отечественной войны 1812 года, и потомкам прадеда не хотелось, чтобы его имя как участника этой войны было забыто.

«Замечания о некоторых военных действиях, в которых я сам участвовал».

«Не стану описывать тех походов и действий, которые протекли во время моего служения в унтер-офицерском звании, а опишу только некоторые из тех, которые произведены мною были в офицерском чине и не дошли до сведения высшего начальства».

Так начинаются «Замечания» моего прадеда; из них можно заключить, что прадед мой был несколько обижен по службе и не получил всех наград и чинов, по его мнению, им заслуженных.

«Предварительно скажу, что я вступил в службу в Переяславский земский суд в 1793 году».

(То есть десяти лет от роду? Что-то мне непонятно.

Но, может быть, в то время дворянских детей записывали в службу со дня рождения?)

«Генваря 12 числа бежал из дому и отправился в армию Его Величества 1802 года, генваря 20 дня».

Стало быть, в то время прадеду было уже лет девятнадцать. Впоследствии его сын Иван, как мы уже знаем, с гимназической скамьи бежал из дому воевать на Кавказ — в пятидесятых годах. А я — их правнук и внук — бежал из дому уже в начале XX века, тоже с гимназической скамьи, на первую мировую войну.

В этом было что-то фамильное, бачеевское.

«1809 года, сентября 8-го,— пишет в своих «Замечаниях» мой прадедушка Бачей,— в первом часу полуночи я послан был Житомирского драгунского полка подполковником Снарским с двумя казаками и двумя драгунами под крепость Браилов. Я проезжал впереди моей команды мимо сада Назир-паши; вдруг лошадь моя испугалась; я тотчас остановил ее, соскочил с оной, отдал ее казаку, а сам в ту же минуту схватил спящего человека в полном вооружении, зажав ему рот, и представил его к подполковнику Снарскому; от него Снарский узнал, что он стоял на часах и что в назирском саду есть команда турецких застрельщиков для того, что как донские казаки в тот сад приезжать будут, то чтобы поймать оных. Снарский тотчас же с тремя эскадронами и сотней казаков окружил сад и, видя открывшуюся перепалку, приказал мне взять 40 спешившихся драгун и занять сад, который я очистил штыками, взяв в плен 18 человек».

Отсюда можно заключить, что прадед мой был хватом, лихим воякой и сражался с турками не за страх, а за совесть.

Город Браилов, упомянутый им, да, впрочем, и весь театр тогдашних военных действий против турок по странному совпадению хорошо мне знакомы. Я воевал в этих самых местах через сто с лишним лет после прадедушки, в 1916 году на Румынском фронте, и, будучи вольноопределяющимся, младшим фейерверкером 64-й артиллерий-

ской бригады, исколесил со своей батареей почти всю Добруджу от Дуная до Базарджика и несколько раз побывал в Браилове, румынском городе, но ни крепости, ни садов Назир-паши не заметил. Их в то время уже, наверное, не было.

Недавно, совершая поездку по Румынии, я опять попал в Браилу, как теперь по-румынски называется Браилов. И мне вспомнилось, как некогда я после отступления нашей армии из Добруджи, потеряв свою батарею и кое-как перебравшись по зыбкому понтонному мосту через Дунай, шел худой и голодный, таща на спине катушку с тремя верстами телефонного провода, спасенного мною в бою под Констанцей. Я разыскивал штаб своей бригады. Была осень. От Дуная тянуло холодным туманом, и в этом тумане тонули купы пожелтевших деревьев, растущих вдоль всего берега этой широкой, разлившейся после осенних дождей реки, быстро несущей свои оловянные воды с воронками водоворотов к Черному морю.

Теперь мы переправились с правого берега Дуная на левый на пароме, уставленном легковыми автомобилями и грузовиками, нагруженными пчелиными ульями, которые перевозили с места на место.

Был конец июня. Полдень. Беспощадное солнце пекло голову, и я боялся солнечного удара, так как на пароме не было тени, а температура была выше сорока. Я пришел в отчаяние, отдавшись на милость судьбы. Однако посередине реки вдруг подул легкий ветерок и стало легче дышать.

О, как знакома была мне эта речная пресная дунайская свежесть!

...мы выгрузили свою машину на плоском голом берегу, исполосованном автомобильными шинами и истоптанном человеческими следами, что делало его безнадежно скучным...

И я снова вспомнил этот самый берег и тот день поздней осени, когда я, командированный с фронта в военное училище, должен был сесть на пароход, чтобы доплыть на нем до Рени, а оттуда уже на поезде в Одессу.

С позиций я добирался до Браилова частью пешком, частью на попутных армейских повозках, частью на случайных румынских каруцах.

Осень уже переходила в зиму, и однажды, ночуя возле длинной скирды соломы и положив под голову свой черный артиллерийский ранец, я проснулся утром и увидел, что все вокруг бело и я сам — вернее сказать, половина меня, укрытая шинелью,— покрыт инеем, и в воздухе уже слышится острая снежная свежесть. Я встал, и отпечаток моего тела резко желтел среди пшеничной соломы, покрытой инеем. За ночь я порядочно промерз, а темный свет позднего ноябрьского рассвета еще более усиливал бивший меня озноб. Однако этот гнилой рассвет, унылые очертания невысоких предгорий Карпат, еле видных в тумане, мокрая дорога со следами многочисленных колес и лошадиных копыт проходивших здесь воинских частей нисколько не отразились на моем настроении. Я привел себя в порядок, туго перепоясался, поправил шпоры и быстро зашагал в Браилов, до которого оставалось совсем немного. По дороге меня подобрал санитарный фургон с двумя веселыми румынскими военными медиками и быстро довез до пристани, где уже дымил готовый к отплытию пароход. Я предъявил у трапа свое командировочное удостоверение и очутился на нижней палубе нарядного дунайского пароходика. Откуда-то из недр, из машинного отделения, дуло горячим ветром, пропитанным запахом пара, отшлифованной стали и минерального масла.

Пароход отчалил. Браилов поплыл назад, потонул в холодном тумане. Пошел дождь. Я продрог до костей. Мне захотелось тепла, уюта, выпить чего-нибудь горяченького. В кают-компании горели электрические бра.

Я переступил через высокий порог, откозырнув нескольким сидящим здесь офицерам, и подошел к стойке, за которой буфетчик-румын в белой куртке разливал чай.

Внутренний голос сказал мне, что нижний чин не имеет права находиться в этом прекрасно освещенном, красивом, теплом помещении, пропитанном запахами папиросного дыма, круто заваренного чая, кофе и еще чего-то пряно-колониального. Но другой внутренний голос ответил на это, что я хотя и считаюсь по уставу нижним чином, но являюсь вольноопределяющимся, младшим

фейерверкером, у меня на шинели нашита георгиевская ленточка, а на рукаве — тесемочка за отравление газами, я еду поступать в военное училище и скоро стану офицером, наконец — на мне прекрасное новое обмундирование, отличные хромовые сапоги со шпорами (правда, грязноватые), у меня молодое интеллигентное лицо, я состою в любовной переписке с хорошенькой дочкой генерал-майора, командира нашей бригады, так что вполне могу находиться в этом привилегированном месте, среди офицеров.

В нагрудном карманчике моей суконной гимнастерки вместе с командировочным удостоверением имелось несколько румынских бумажных лей, полученных в канцелярии бригады в виде суточных, кормовых и приварочных за четыре дня.

Чай подавался в больших толстых фаянсовых чашках с синим вензелем пароходства. Я заказал себе — на ужасном французском языке — чаю покрепче и погорячее, а так как я заметил на полке массивную бутылку ямайского рома с головой негра, то я попросил буфетчика положить в чай побольше сахара и долить чашку ромом.

Наступила минута, о которой я мечтал всю жизнь: я уже вполне взрослый, самостоятельный человек, обстрелянный в боях солдат. Я нахожусь на корабле; у меня в кармане кредитные билеты; я весел, независим, и я небрежно заказываю стюарду большую чашку горячего чая с красным ямайским ромом, то есть, по сути дела, пунш.

Буфетчик поставил передо мной чашку, и тотчас в воздухе распространился запах ямайского рома. Я потрогал чашку пальцами: она была горячей, почти огненной. Я предвкушал блаженство первого глотка. Но для того, чтобы оттянуть минуту наслаждения, продлить миг ожидания, я сначала расплатился с буфетчиком, щедро оставив ему всю сдачу на чай, а потом осторожно лизнул языком край чашки, ощутив спиртуозное испарение обжигающего напитка. Еще минута — и я буду с жадной медлительностью пить чай, чувствуя тепло, разливающееся по моему продрогшему телу.

Но как раз в этот миг за моей спиной раздался повелительный голос:

— Вольноопределяющийся!

Я обернулся и увидал офицера с кожаным портсигаром на ремешке через плечо, развалившегося на бархат-

ном диване. Он поманил меня пальцем. Я быстро поправил фуражку и с рукой под козырек подошел к нему строевым шагом, остановился как вкопанный по уставу за четыре шага и брякнул шпорами.

— Кэк вы смээте нэходиться в эфицерской кеютк-кэмпании! — крикнул он гвардейским тенором, от которого мурашки побежали по моей спине и в голодном желудке еще больше похолодело.— Вон этсюда нэ пэлубу, и чтобы я вас здесь больше не видел! Рэспустились!

Я хотел объяснить ему, что я интеллигентный молодой человек, еду с фронта поступать в военное училище, очень озяб и хочу выпить чашку горячего чая с ромом, но язык не слушался меня и пролепетал какую-то чепуху.

— Кр-ру-гом! — загремел офицерский голос.— И нэ пэлубу шэгом эррш!

Продолжая держать руку под козырек, я повернулся на каблуках и строевым шагом вышел из кают-компании на палубу мимо стойки, где медленно испарялась чашка моего чая, распространяя вокруг божественный аромат красного ямайского рома!

На палубе было холодно, ветер нес порывами над оловянными водами Дуная полосы мелкого ледяного дождя, возле люка машинного отделения, сидя на своих вещевых мешках, грелись несколько раненых солдат-пехотинцев, едущих, по-видимому, в тыл; я подсел к ним, они посунулись, давая мне место, и угостили меня щепоткой махорки «тройка» и клочком бумаги, вырванным из румынской газеты «Адаверул», и я довольно ловко скрутил цигарку и затянулся горьким, сытным солдатским дымком, в то время как перед моим умственным взором как бы плыла в сыром воздухе большая фаянсовая чашка чая с ромом. Я чуть не плакал от обиды и огорчения, но не показывал виду и выпускал из ноздрей крепкий махорочный дым.

Вот уж верно говорится: по усам текло, а в рот не попало.

Я думаю, что пушкинский Руслан испытывал нечто подобное, когда из его объятий выскользнула и бесследно пропала Людмила, унесенная Черномором. С той лишь разницей, что Руслан в конце концов нашел свою «минутную супругу» и выпил чашу брачных наслаждений до дна, в то время как моя чашка горячего чая с ромом была потеряна навеки и ее образ преследовал меня всю жизнь

как неудовлетворенное желание, хотя в своей жизни впоследствии я выпил много чашек чая с ямайским ромом, но это уже было не то, совсем не то. А та единственная, неповторимая чашка осталась навсегда как первая неразделенная любовь, и, если сказать правду, ее образ преследует меня до сих пор, я так ясно ее вижу: толстую, фаянсовую, белую, с синей монограммой румынского дунайского пароходства, распространяющую вокруг колониальный запах красного ямайского рома.

...А между тем кончался уже шестнадцатый год, последний год старой, царской России...

«...того же года и месяца 12 числа,— продолжает описывать свои подвиги прадедушка,— тоже ночью были поиски под крепостью Браиловом; полковник Снарский послал меня с 24 драгунами и 30 казаками, велел затем секретно выйти от крепости Браилова по Галацкой дороге, где и находиться до восхождения солнца, секретно наблюдая за действием неприятеля, но отнюдь не начинать никаких действий, а он, Снарский, с батальоном егерей, четырьмя эскадронами драгун, тремя сотнями казаков и двумя орудиями, под командой есаула Суворина состоящими, оставался под горой. При восхождении солнца заметив турецкий отряд, я тотчас, спрятав свою команду в большой бурьян на месте разоренной деревни, дал знать подполковнику Снарскому, но когда увидел, что турки в числе 20 человек, не заметив меня, возвращались обратно к крепости, то я, не дождавшись приказания г. Снарского, пустился вслед за ними, схватил 8 человек в плен на том самом месте, где во время несчастного штурма Браилова стоял лагерь фельдмаршала Прозоровского».

«После сего я, заметив, что турки начали выскакивать из крепости, повел с ними перепалку в надежде той, что г. Снарский пришлет ко мне в сикурс капитана Рейнгольфа и с оным более ста человек драгун и казаков, но капитан Рейнгольф, видя перепалку, остановился в дальнейшем от меня расстоянии; я послал 8-го полка урядника Житнева спросить г. Рейнгольфа, что прикажет мне делать, и получил в ответ, что ему велено открыть Галацкую дорогу, идущую из Браилова к Серету, а потому чтобы я с командою к нему присоединился».

«Хотя такое распоряжение было для меня неприятно, но я принужден был исполнить оное».

«Прикрыв отступление г. Рейнгольфа своею командою, я начал было спускаться с горы тропою вниз, в большие камыши, к Серету, но в то время я заметил идущий эскадрон напротив турок, остановил свою команду, а вместе с оной осталось несколько отличных охотников из партии егерей, так что моя партия простиралась до 80 человек; тогда я велел людям встать с лошадей, дать оным отдохнуть, а сам замечал за действием наших и неприятельских войск; между тем я узнал, что эскадроном, который уже вступил в бой с турками, командует бывший адъютант генерала Олсуфьева лейб-гвардии финляндского батальона капитан Г. (что ныне генерал от инфантерии). Он заметил, что с левой стороны прибыл к нему эскадрон драгун под командою майора К. и что из отряда Снарского также есть подкрепление; но турки усилились так, что начали наших теснить в Браилов».

«Тогда я со своей партией выскочил из-за горы и поскакал в отрез туркам, а как в то время была сушь, то в пыли турки не могли заметить хозяйничанья моей партии, а увидя впереди идущее подкрепление с артиллерией, бросились бежать до крепости, потеряв немалое количество людей».

Прадед мой, по-видимому, не отличался особой скромностью, что было в духе того далекого времени, когда военные являлись если не единственной, то, во всяком случае, одной из главнейших опор государства.

Быть героем считалось непременным условием каждого военного, и прадедушка мой, несмотря на свои скромные чины, не являлся исключением.

...высокий густой бурьян, знойное сентябрьское солнце; тучи белой пыли на дорогах, по которым двигались войска; черные рыбацкие челны в густых камышах; турецкая крепость, окруженная пыльными садами Назирпаши; ржанье казачьих лошадей, пики, султаны кавалеристов; скрип фурштадтских повозок; палатки, белеющие по склонам холмов — последних отрогов Карпат; пушечная пальба; хлопающие выстрелы карабинов; развернутые знамена; крики военной команды; трубы горнистов; скачущие адъютанты...

Как все это было не похоже на ту войну, в которой

я участвовал более ста лет спустя. Дунай был рекой моей военной молодости, рекой наступлений и отступлений, как бы рубеж, разделивший юг России на дореволюционный и революционный.

До революции весь этот театр военных действий против турок, болгар, немцев и венгров назывался Румынским фронтом, или, в штабном сокращении, Румфронтом. После революции Румфронт превратился в Румчерод.

Февральская революция совершилась, но война еще продолжалась.

В последний раз, уж во времена Керенского, я дважды пересек реку Прут по железнодорожному мосту над древесными зарослями широкой поймы этой реки, так тесно связанной с судьбами моей семьи: один раз туда, когда, уже будучи прапорщиком, я вез свою маршевую роту на фронт, переместившийся из Добруджи на север, в район румынского города Бакэу, куда, перевалив через Карпаты, наступал Макензен, а другой раз через месяц, раненный во время нашего летнего наступления, уже обратно в санитарном поезде, в жару, в бреду, качаясь на полотняной койке, окруженный странными видениями, ночью, я снова пересек заросшую лесом пойму реки Прут между Яссами и Унгенами и снова погрузился в не познанный мною еще тогда мир моих предков. В моем бреду участвовали зловеще-черные ветряные мельницы, сады, виноградники, кладбище, заросшее сухой полынью, и старая церковь петровских времен, наполовину каменная, наполовину деревянная...

...и горящие кареты, и турецкая конница, и Петр в треугольной шляпе, едущий рядом с Кантемиром среди прыгающих ядер и свистящих пуль, осененный рваными знаменами...

Во времена военной молодости моего прадеда обстановка на турецком театре военных действий, если не врут историки, сложилась примерно таким образом.

К апрелю 1809 года, то есть с того года, с которого прадедушка мой начал свои записки, силы русской и турецкой армий были примерно равны: тысяч 80 и у тех и у других. Однако русские войска были изрядно закалены во многих сражениях, сравнительно хорошо снаряжены, а также имели таких незаурядных боевых командиров, как Кутузов, Милорадович, Платов, знаменитый французский

эмигрант Ланжерон, находившийся под общим начальством главнокомандующего Прозоровского.

Турецкая же армия за небольшим исключением представляла какой-то сброд, а начальствующий над нею великий визирь Юсуф, известный главным образом по тем поражениям, которые нанес ему Бонапарт в Египте, был уже восьмидесятилетним стариком.

Александр I дал приказ скорей перейти Дунай и закрепить за собой румынские области. 5 апреля армия, в которой служил мой прадедушка, не дожидаясь ответа на свой ультиматум туркам, тронулась тремя колоннами: она заняла без труда Фокшаны, затем, как теперь говорится — с ходу, захватила крепость Слободзею, но потерпела неудачу при штурме Журжева. Здесь она приступила к осаде крепости Браилов. Штурм русских с 1 на 2 мая был отбит, причем потери равнялись 5 тысячам человек.

Легенда гласит, что известием об этом поражении главнокомандующий Прозоровский был так расстроен, что даже заплакал.

Присутствовавший же при этом будущий герой Отечественной войны 1812 года, победитель Наполеона Кутузов будто бы сказал Прозоровскому в утешение:

— Ваше высокопревосходительство, стоит ли расстраиваться? Я проиграл Аустерлицкое сражение, от которого зависела судьба Европы, и то не плакал.

Каков характер Кутузова!

После двойной неудачи под Журжевом и Браиловом император Александр I приказал не тратить сил на штурмы турецких крепостей, а идти прямо на Константинополь.

Прадедушка продолжает:

«1810 года июня с 25 на 26 заложена была под крепостью Шумла батарея, близ Цареградских Ворот, расстоянием от крепости не далее 150 саженей. Здесь на работе и для прикрытия было несколько батальонов, в том числе батальон пехотного Нейшлотского полка. (В сем полку я сам служил подпоручиком.)»

Стало быть, за год наши войска прошли всю Добруджу, что при тогдашней технике можно считать сроком довольно коротким.

Сто лет спустя я сам прошел со своей батареей почти всю Добруджу, не подозревая, что иду по следам своего прадеда, однако до подступов к Константинополю мне дойти не пришлось, в чем я сильно отстал от моего предка, которого занесло под самую Шумлу, к Цареградским Воротам!

«Поутру 26 числа,— продолжает прадед,— после развода караулов, я просил шефа полка полковника Баллу позволения осмотреть новостроящуюся батарею, равно и батальон Нейшлотского полка, там находящегося, и хотя г. Балла с неудовольствием сказал мне:

— Наверное, хочешь ты что-нибудь напроказничать с турками,— но отпустил».

«...я приехал к последнему бикету, отдал лошадь казаку и взошел на батарею; я увидел оную в худом положении, ибо каменная почва не позволила в одну ночь даже прикрыть бруствер, а только один фас прикрыт землею».

«Здесь стоял полковник Белокопытов с 28-м егерским полком. Заметивши, что на правом фланге батареи, на турецком кладбище, стоит того же полка бикет под командованием унтер-офицера, пошел к оному и, видя, что турки, нуждаясь в траве для своих лошадей, выходят из крепости и режут серпами траву около крепостной канавы, взял у егеря ружье и выстрелил по турку; он ответил мне; с сего завязалась перепалка».

«Г. Белокопытов, видя усиливающихся турок, прислал еще с унтер-офицером сикурс. Я принял над сим отрядом команду и, заметя, что у турок показалось два знамени, велел людям приготовиться в случае чего принять неприятеля в штыки...»

«... как вдруг турки закричали:

— Алла! Алла!

И бросились на наших людей, из которых малая часть храбрых осталась на месте жертвою».

«Стрелки, оставив меня, бежали. Тут, признаюсь, уже не кричал, чтобы остановить бегущих моих людей, а сам бежал за ними. Но когда какой-то турок наскочил на меня с саблею, то я ударил его в бок штыком и бросил в него

ружье. Он упал на землю, а сам я, обнажив саблю, колол моих бегущих егерей, изранив некоторых саблею и тем самым остановивши оных».

«С помощью подоспевших конных орудий роты подполковника Бушуева на штыках опрокинул я со своими людьми турок и взял из них четырех человек в плен».

«Тогда, заметивши, что вся наша армия, стоявшая под командою графа Каменского 2-го, пришла в движение, я поспешил взять свою лошадь и хотел ехать в лагерь, как вдруг увидел, что Нейшлотский полк прошел с левой стороны батареи и стал впереди в прикрытие оной. Тогда я явился к шефу полка полковнику Балле, который с неудовольствием сказал мне сии неприятные слова:

— Это твоя работа! Ступай в стрелки, смени штабс-капитана Мавжинова да потешься, коли тебе так нравится проказничать!»

Видно, прадедушка был порядочный «проказник».

«Я тот же час сменил Мавжинова, принял 120 храбрых стрелков, кои были расположены в худой позиции; из них некоторые уже были ранены. Я тотчас переместил позицию, расположил оных по выгодным местам в две линии».

«Тут люди, ободренные нашим прибытием, повели убийственный огонь противу шанцев, прикрывавших Цареградские Ворота, и, видя меня, расхаживающего между ними, промеж себя говорили:

— Его пуля не берет, он знает, как ее заговаривать».

«После сего я заметил, что шанцы, прикрывавшие Цареградские Ворота, усилены войсками, в коих показались 9 знамен, и что турки начали уже выходить даже со знаменами перед шанцы».

«Положение наше было таково: с правой моей стороны ручей, выходящий из Шумлинской канавы и текущий вниз, к Эски-Стамбулу, повыше Ени-Базара, а левый мой фланг по-над крепостной канавой, которой вал возвышен так, что моим стрелкам пушки не могли нанести вреда».

«Я послал к полковнику Балле фельдфебеля Гатова доложить, чтобы мне еще привели подкрепление. Через четверть часа 100 человек стрелков и поручик Семенов, остановя оных позади, прибыл ко мне спросить распоря-

жения. Но так как Семенов был старше меня чином, то я спросил его, что, быть может, мне велено состоять под его распоряжением, и, узнав, что он должен составить только резерв, мною сделаны были ему некоторые наставления. Но в тот же самый миг Семенов был турецкою пулей повержен на землю».

«Я приказал отнести его на ружьях в полк и принял его команду в свое ведение. Заметив, что турки пошли вышеописанным ручьем с намерением обойти наш левый фланг, я тотчас приказал подпоручику Окиловичу взять 40 человек охотников, дабы отрезать турок».

«Окилович исполнил свое дело со всей точностью. Молодец!»

«Между тем прибыл на батарею генерал Уваров. Заметив мое действие, спросил, которого я полка, и прислал мне ординарца сказать, что эскадрон Александрийского гусарского полка будет идти в атаку на шанцы турок и чтобы я прикрывал фланги эскадрона стрелками. Я исполнил приказание и, увидя, что эскадронный командир убит и гусар много пало, приказал им поспешно отступить».

«Тогда, сомкнув стрелков, на плечах неприятеля вскочил я в шанцы, переколов штыками значительное число турок, отбив 4 знамени, 15 снарядных ящиков с патронами, которые тут же и затопил в протоке».

«Будучи от самых Цареградских Ворот не далее 40 саженей и видя, что в оных стояло несколько тысяч турок и уже закатившееся солнце, велел я ударить отмарш».

По-видимому, отмарш — это по-теперешнему отбой.

«Тут гренадер Сидоров сказал мне сии достопамятные слова:

— Что вы, ваше благородие, делаете? Вот Ворота уже почти в наших руках, а вы велите отступать!..»

«...но роковое ядро из корпуса графа Каменского 1-го разорвало Сидорова надвое...»

«Итак, сей храбрый гренадер пал жертвою оттого, что наших пушек не подвинули ближе или, по крайней мере, не подняли стволами вверх».

«Но за всем тем я отступил, оставя неприятельские шанцы, к своему полку уже в сумерках и, когда взошел на возвышенность, тут из крепостной артиллерии покрыт был жестоким огнем и контужен ядром так тяжело, что через несколько дней пришел в чувство уже в ени-базарском госпитале. Там я узнал, что генерал Уваров и главнокомандующий Каменский были довольны моими действиями. Потом я узнал, что взятые мною 4 турецких знамени представлены главнокомандующему, а о 15 снарядных ящиках, мною потопленных, только слух носился, но без меня, так как я лежал без сознания в госпитале и некому было объяснить начальству, что это сделал я».

«Итак, за мое дело многие были награждены орденами, в том числе поручик Семенов награжден орденом святой Анны 3-го класса, а мои награды...»

«...мои награды пролетели мимо меня вместе с теми пулями, которые в меня не попали...»

Этими горькими словами заканчиваются записки прадедушки, относящиеся к его участию в турецкой кампании.

Читая и перечитывая эти записки, я все время не только ощущал как бы свое присутствие при описанных событиях, но даже причастность к ним, личное участие в них.

Иногда мне даже кажется, что в меня вселилась душа моего прадеда и что все это происходило со мной: и штурм Цареградских Ворот, и так несвоевременно заходящее солнце, и горькие слова гренадера Сидорова, и вынужденное отступление в тот самый миг, когда, казалось, победа была так близка, и купола и минареты стамбульских мечетей, среди которых так ясно и так, казалось бы, близко виднелась мне Айя-София с крестом вместо полумесяца, голубели на фоне бледно-фосфорического неба неизмеримо далекого восточного горизонта.

Но то, что прадедушке и гренадеру Сидорову казалось такой горькой случайностью, на самом деле было следствием крупного поворота исторических событий, о чем в то время в армии никто даже и не подозревал.

...Весной 1811 года, пишет историк, русская армия усилилась на 20 000 человек. Смелым маршем на Балканы Каменский двинулся на Константинополь. Вдруг Камен-

ский получил из Петербурга приказание, совершенно его удивившее: ему велено было отправить пять дивизий на Днестр (это уже было началом отлива русских военных сил к будущему северному театру военных действий, то есть приближение Отечественной войны 1812 года).

Каменский заболел и был заменен Кутузовым. Кутузов, который еще во времена Екатерины и Суворова был свидетелем битв при Ларге, Кагуле, Мачине, понял, что всякая надежда форсировать дорогу на Константинополь должна быть оставлена. Назревала новая, страшная война с Наполеоном. И Кутузову выпал жребий стать героем этой войны, победителем Наполеона.

Прадедушка еще некоторое время, вплоть до заключения мира с турками, на котором настоял император Александр I, воевал в Добрудже.

Ах, Добруджа, Добруджа!.. Иногда ты снишься мне.

В то время, когда в середине 1916 года наша артиллерийская бригада, внезапно переброшенная из-под Сморгони, где в течение нескольких месяцев мы сдерживали натиск немцев и отвлекали их силы от Вердена в придунайский город Рени, расположилась лагерем со всеми своими трехдюймовками, обозами и парком среди пыльных сливовых садов и огородов и ждала, когда Румыния наконец вступит в войну против немцев на нашей стороне и мы переправимся через Дунай на театр военных действий, я получил кратковременный отпуск в Одессу и болтался там, разыгрывая из себя перед знакомыми барышнями героя знаменитых боев под Сморгонью, щеголяя новыми хромовыми сапогами и медными пушечками на погонах вольноопределяющегося.

Однако мне не пришлось долго валандаться в тылу: Румыния объявила войну Германии, я поспешил в свою часть и через сутки уже был в опустевшем Рени. Мне пришлось догонять свою батарею, пристроившись на одну из барж, которая везла вверх по Дунаю продовольствие, фураж и боеприпасы для действующей армии.

Не стану описывать свое плавание на барже, которую тащил за собой маленький, но могучий катерок, красоту широко разлившегося Дуная, мутно-голубые отроги

Карпат, таинственно видневшиеся вдалеке, на румынской стороне.

Иногда навстречу нам шли катера или мониторы, откуда нас приветствовали гудками и флагами.

Не помню уже, сколько времени продолжалось путешествие на барже, но вскоре мы достигли города Черновода, откуда я должен был согласно предписанию военного коменданта Рени следовать дальше по железной дороге до города Меджидие, где, по его предположению, должны были находиться тылы нашей бригады, ведущей наступление на Базарджик.

Высадившись на берег, я очутился на немощеной площади, сплошь истыканной лошадиными копытами и заваленной пачками прессованного сена. Посреди площади находилась кофейня, имевшая вид дощатого сарая, со столиками, расставленными под открытым небом на черной земле. Возле кофейни возвышался высокий шест с пучком соломы, что, по-видимому, являлось как бы вывеской этого заведения, а на крыше висел румынский национальный флаг, говоривший, что я уже нахожусь за границей.

За столиками сидели румынские простолюдины в высоких бараньих шапках, бараньих жилетах и пили из маленьких чашечек черный турецкий кофе, заедая его вишневым вареньем из таких же маленьких блюдечек и запивая свежей водой, которую каждые пять минут меняла хорошенькая румынка в красной юбке и черном корсете, но босая.

У меня не было денег, и я мог лишь полюбоваться видом кофейных чашечек и блюдечек с красной вишенкой посередине.

Кое-как я добрался до станции железной дороги и узнал, что поезд на Меджидие отправляется лишь в семь часов утра, а так как розовое августовское солнце еще только собиралось опуститься за пыльные фруктовые сады, длинные скирды свежей ярко-желтой соломы и черепичные крыши хорошеньких мещанских домиков с угловыми балконами и колодцем против каждых ворот, то я с грустью понял, что мне не остается ничего другого, как устроиться на длинной лавке под станционным навесом и кое-как переночевать, положив под голову ранец, набитый всякой всячиной, которую я вез из тыла в подарок своим товарищам по орудию.

На станционной площадке не было ни души. Я уже собирался расположиться на лавке, как вдруг...

...мое внимание привлекла женская фигура, появившаяся на платформе...

Она несколько раз медленно прошла мимо меня, но лица ее я не мог разглядеть, так как оно было закрыто кисейной чадрой, выкрашенной в мутно-голубой цвет домашним способом. Чадра эта опускалась ниже колен, почти до самой земли.

По-видимому, это была молоденькая девушка.

Весь ее стройный стан, невинная худоба рук, легкая походка говорили, что ей лет семнадцать. Меня взяла досада, что я не мог рассмотреть ее лица, но длинные волосы льняного цвета, почти белые, заплетенные в две косы, давали понять, что она если и не красива, то, во всяком случае, очень мила.

В то незабвенное время я еще придавал слишком большое значение красоте женского лица.

Мне показалось, что сквозь голубую кисею я увидел робкую улыбку, явно относящуюся ко мне. Мне даже показалось, что в этой улыбке проскользнуло что-то грешное. «Чем черт не шутит»,— подумал я.

Судя по ее недорогой обуви, можно было заключить, что она принадлежит к невысокому классу черноводского общества, и это еще более воспламенило меня. «Доступная мещаночка»,— подумал я и прошел быстро мимо нее, сделав ей то, что тогда называлось «глазки».

Ветер на миг откинул ее вуаль, и я увидел белое личико, усыпанное золотистыми веснушками, которые, впрочем, ничуть его не портили.

Я уже собрался щелкнуть шпорами, откозырять и предложить познакомиться, но в решительный момент робость одолела меня: в свои девятнадцать лет я еще не был достаточно испорчен. Я покраснел и удалился на свою скамейку, делая вид, что поправляю ранец.

К своему удивлению, я заметил, что моя незнакомка снова еще более медленным шагом прошла мимо меня, а потом остановилась, как бы ожидая, что я подойду к ней.

Преодолевая смущение и делая вид завзятого армейского волокиты, я подошел к ней и приложил руку к козырьку потрепанной в боях фуражки. Она благосклонно мне поклонилась.

Трудность положения заключалась в том, что у нас не было общего языка. Я попытался сказать ей комплимент по-французски, который я еще совсем недавно изучал в гимназии. Она ничего не поняла, но вдруг сказала мне какую-то фразу на незнакомом языке, но не на румынском, а на каком-то другом, напоминающем один из древних славянских диалектов. Из ее фразы я смутно понял, что она рада нашему знакомству и называет меня «господин офицер».

Скорее знаками, чем словами, я объяснил ей, что я не офицер, а всего лишь вольноопределяющийся, волонтер, показал ей на свои погоны со скрещенными пушечками и сделал губами звук «бум-бум». Она поняла и ласковым голосом произнесла слова:

— Храбрый воин, солдатик.

Мне показалось, что я ей понравился, и в моем воображении сразу же возникла картина мимолетной любовной интрижки странствующего артиллериста и обольстительной туземки, обещавшей прекрасную ночь.

Сделав над собой известное усилие, я взял ее под руку.

Она смутилась, но руки не отняла. Мы некоторое время погуляли туда и назад по станционной платформе, причем я старался как бы невзначай прижать ее тонкий стан к себе.

Оказалось, она, как я и предполагал, не румынка, а принадлежит к так называемым русинам, народу, населяющему некоторые придунайские области.

...Вскоре мы стали довольно хорошо понимать друг друга...

Солнце уже закатилось, но на небе еще долго держалось его зарево. Потом и оно исчезло. Наступили сумерки.

Девушка, взглянув на меня таинственно из-под вуали, нежным голосом произнесла довольно длинную фразу на своем неясном славянском наречии. Слов ее я не понял, но ее жесты были понятны: она приглашает меня к себе. Для меня не было ни малейшего сомнения в значении этого приглашения на пороге ночи, и я еще крепче прижал к своему боку ее худенький локоть. Это ее, очевидно, несколько смутило, так как она сделала слабую попытку высвободить руку, но я был настойчив и не выпустил ее из плена.

Я взвалил на плечи ранец, и мы отправились вниз по немощеной полудеревенской улице, состоящей из двух рядов хорошеньких домиков-хаток с палисадниками, где в потемках все еще ярко рдели крупные георгины, источавшие волнующий запах растительного тления.

Девушка пропустила меня в одну из калиток и, взяв за руку, ввела через угловую террасу в дом, показавшийся мне безлюдным.

Боже мой, какими глупостями занимался я в эти страшные дни, быть может, на пороге смерти, когда вокруг бушевала мировая бойня... А мне даже и в голову не приходило, что завтра меня, может быть, уже убьют на позициях нового Румынского фронта, и отец, сняв пенсне, будет плакать над роковым извещением, и брат мой, гимназист Женя, придет в гимназию с траурным крепом на рукаве...

В большой низкой комнате, обставленной по-мещански, с рукодельным шерстяным ковром на стене, стояли друг против друга две кровати под вышитыми покрывалами.

Я привлек к себе девушку и, не теряя золотого времени, сделал попытку ее поцеловать, но она вежливо отвернулась и, таинственно прижав пальчик к губам, сказала на своем странном языке нечто, понятое мною как просьба не торопиться. Она показала мне на одну из кроватей. Я понял, что эта кровать предназначается мне. Затем она снова вывела меня на улицу и показала знаками, что, когда настанет ночь и взойдет луна, она придет ко мне в этот дом, заставила меня запомнить номер, написанный на воротах, и быстро ушла, оставив меня одного.

В ожидании ночи я стал бродить по Черноводам, напоминавшим скорее большое село, чем город.

Наконец настала ночь.

Я нашел знакомые ворота, пробрался в палисадник и через сени, стараясь не скрипеть сапогами, вошел в комнату.

Сначала, не зажигая огня, я долго сидел впотьмах на подвернувшемся мне стуле, нетерпеливо ожидая появления девушки, но потом лег на кровать и решил немного

вздремнуть, свесив наружу ноги в сапогах, чтобы не запачкать покрывала.

Но, как известно, стоит только солдату прилечь, как он тут же и заснет крепчайшим сном.

Я проснулся среди ночи. Яркая луна изо всех сил светила в окошки с кружевными занавесками. Где-то лаяли собаки. Черные тени деревьев виднелись в окнах.

Придя в себя после сна, крепкого, как обморок, я вдруг вспомнил про девушку, прислушался и услышал дыхание на противоположной кровати.

Я понял, что, пока я дрыхнул, пришла девушка и, не желая меня будить, прилегла на свободную кровать. Я прислушался к ее ровному дыханию, и кровь закипела во мне.

Скинув сапоги, я приблизился к ее кровати вкрадчивой походкой графа Нулина. Протянув в потемках руку, я тронул похолодевшими пальцами укрытое одеялом плечо. Девушка не пошевелилась. Я потряс ее плечо посильнее.

Она пошевелилась, раздался глухой грубый кашель, мычание, чья-то рука потянулась к столу, на котором стоял подсвечник, чиркнула серная спичка, и при свете загоревшейся свечи я увидел громадного, как медведь, мужчину с лицом разбойника и вьющейся бородой, иссиня-черной, как ежевика.

Разбойник посмотрел на меня с добродушной улыбкой и произнес несколько слов, из которых я понял лишь:

— Рус, молодец. Надо спать.

При этом он показал волосатой рукой на мою кровать, задул свечу и тут же страшным образом захрапел.

Испуганный до смерти, я отступил к своему ложу, положил на всякий случай под подушку заряженный наган, вынув его из кобуры, и решил больше не спать, так как был уверен, что меня заманили в разбойничий притон и собираются ограбить и убить. Я проклинал себя за легкомысленное знакомство и со страхом прислушивался к несомненно притворному храпу разбойника.

Однако сон сморил меня, я опять крепко заснул, сунув руку под подушку, а когда открыл глаза, то увидел, что уже совсем рассвело, в комнате нет никого, кроме меня, а на комоде, покрытом вязаной попонкой и уставленном какими-то гипсовыми фигурками и морскими раковинами, стоит глиняный кувшин с молоком, покрытый

большим ломтем желтого пшеничного хлеба с примесью кукурузной муки.

Хотя я чувствовал себя обманутым и обиженным, но голод не тетка, и я быстро опустошил кувшин с холодным жирным молоком, заев его удивительно вкусным хлебом.

...На дворе уже кричали третьи петухи...

Я обулся, сунул руки в лямки своего ранца, надел его и, отбиваясь ногами от преследующей меня дворовой собаки, спущенной на ночь с цепи, вышел за калитку.

Каково же было мое удивление, когда у ворот я увидел свою девушку и услышал ее странный голос, желавший мне на своем русинском языке доброго утра; она показывала рукой в сторону железнодорожной станции. Я понял, что она боится, как бы я не опоздал на поезд.

Она довела меня до станции. Мы поспели как раз вовремя: через пять минут маленький румынский поезд с вагонами на европейский лад (множество дверей, выходящих из купе прямо на платформу), дал свисток и тронулся в путь.

Я смотрел в окно вагона на девушку, которая посылала мне прощальные поцелуи, махала накрахмаленным платочком и крестила меня своей худенькой цыплячьей ручкой.

— Храни тебя бог!..

...или нечто вроде этого крикнула она вслед моему уходящему поезду...

Тут я наконец понял, что произошло: добрая молоденькая русинка, увидев на станции одинокого русского военного, отправляющегося на позиции и не имеющего крова, решила отвести его в знакомый дом, где бы он мог переночевать по-человечески.

Это было традиционное внимание к солдату — союзнику, другу, единоверцу, защитнику отечества.

Я ехал в купе румынского пассажирского узкоколейного поезда. Меня окружали румыны в фетровых шляпах, некоторые в бараньих жилетах — пассажиры, едущие в Меджидие. Некоторые читали румынские газеты, громко обсуждали начавшиеся военные действия и закусывали, доставая еду из дорожных корзинок.

Я оказался в центре внимания. Еще бы: русский военный, отправляющийся на фронт. Пассажиры рассматривали мою амуницию, угощали виноградом и брынзой, ласково на меня смотрели, заговаривали со мной по-румынски, часто употребляя слово «рэзбой», что означало, как я вскоре догадался, «война». Тогда же я узнал, что хлеб называется «пыне», вода — «апэ», кукуруза — «попушой», а сыр — «кашкавал», что меня в глубине души несколько смешило.

Пассажиры видели во мне боевого русского солдата, артиллериста, и я пытался рассказать им по-французски, как наша батарея воевала под Сморгонью и как я был отравлен удушающими газами. При этом я для убедительности даже немного покашлял, и румыны стали горестно вздыхать, повторяя на все лады:

— Рэзбой!.. Рэзбой!..

Вскоре поезд прибыл в Меджидие, где возле живописного восточного базара белели минареты старой турецкой мечети, реквизированной нашими войсками под штаб корпуса.

В прохладном сводчатом помещении вместо слов Корана раздавался стук штабных пишущих машинок, поставленных на пустые ящики от снарядов. Я отыскал дежурного офицера. Он указал мне расположение нашей батареи. Я поспешил отправиться сначала пешком по узкому, но аккуратному шоссе среди сжатых полей непривычно желтой пшеницы и плантаций поспевающей кукурузы с бунчуками подсохших соцветий, в которых было что-то турецкое. Потом меня подвезла полковая фурманка, нагруженная цинковыми ящиками с патронами. В отдалении уже слышались звуки пушек, которые всегда напоминали мне выбивание ковров. Я почувствовал себя на фронте. Душа моя незаметно сжалась, внимание обострилось.

День был жарок, безоблачен и ангельски-прекрасен, но тень смерти уже мерещилась мне на закатном горизонте.

Низко над нами откуда ни возьмись пролетела эскадрилья немецких аэропланов «таубе» с загнутыми назад концами крыльев, и наши лошади вздернули дышла и

шарахнулись в кукурузу. Но «таубе» уже скрылись из глаз.

Наконец я увидел коновязь с нашими батарейными лошадьми, потом передки, спрятанные в пологой балке, и наконец свою родную батарею с «точкой отметки» в виде высокого шеста с фонариком.

Оказалось, что немецкие летчики только что кинули несколько небольших бомб на нашу батарею, и хотя кое-где виднелись свежие воронки, но батарея наша нисколько не пострадала.

Солдаты — канониры, бомбардиры и фейерверкеры, мои товарищи по орудию, окружили меня, и я, не теряя времени, сразу же стал раздавать им привезенные из тыла гостинцы, но тут из своего окопчика выскочил телефонист и прокричал только что принятую команду:

— Передки на батарею!

...что значило, что батарея снимается с позиции.

Вскоре наши изрядно-таки потрепанные еще под Сморгонью трехдюймовки, прицепленные к передкам, и сдвоенные зарядные ящики, нагруженные ранцами и вещевыми мешками, двинулись на юго-запад, догоняя части нашей и сербской пехоты в еще незнакомых мне шапочках-хаки (типа нынешних пилоток), которые смяли противника и по пятам турок и болгар наступали на Базарджик.

Тут уже как бы начинался мир военной молодости моего прадеда. Хотя техника была другая, но пейзаж вокруг оставался все тем же древним, турецким, с брошенными турецкими поселениями, полуразрушенными деревенскими минаретами, с отравленными колодцами и зловещими крючконосыми старухами, посылающими вслед нам проклятия на непонятном нам языке. Иногда в стороне открывалось Черное море, но это было уже совсем другое море, не похожее на то, которое я привык видеть с детства на Ланжероне, в Отраде и на Малом Фонтане, а пустынное, дикое, видневшееся темно-индиговой полосой над обрывами, поросшими мелкой серебристой полынью и богородичной травкой, среди которых иногда белели мраморные остатки античных колоний. А впереди мое воображение рисовало исторические картины столетней давности: сражение возле Цареградских Ворот, взятие Эски-Стамбула, Шумла, Марица... Граф Каменский, скачущий в

облаках пыли, окруженный казачьим конвоем. Турецкие знамена. Русские знамена. Заходящее солнце. Дым пожарищ. Крест на святой Софии и башни Константинополя... Все смешалось в моем воображении...

Мы наступали. Сербы сражались как львы. Наши наблюдатели уверяли, что видят в бинокль Базарджик... Впервые я испытал радость наступления.

Так началась наша румынская кампания, которая, впрочем, кончилась тем, что мы едва не попали в мешок к появившимся немцам, и корпус генерала Макензена гнал нас обратно почти до самого Дуная, что сильно отличалось от победоносной кампании моего прадеда в этих же местах.

Но ведь то было время Суворова, Кутузова, Милорадовича, Ланжерона, Каменского, даже Чичагова...

«По замирению с турками,— пишет прадед мой под особым заголовком «Достопамятный 1812 год»,— Нейшлотский полк из Белграда, что в Сербии, форсированным маршем под командованием графа Орурка * следовал к реке Березине, а после, будучи уже под командой генерала Рудзевича, вдруг получил повеление следовать обратно во Владимир-Волынский...»

Так, с известным опозданием, обусловленным исторической и военной обстановкой, о которой тут уже говорено, для прадедушки началось участие в Отечественной войне 1812 года, которым все семейство Бачей очень гордилось.

«Прибытием нашим вопреки желанию поляков сей город спасен от вторичного занятия неприятельского, то есть армии Наполеона».

«На сем пункте, задерживая набеги неприятельские, полк наш оставался несколько времени под командой генерала Решикалова 1-го, где в ноябре ночью, перейдя реку Буг, нашел я неприятельские посты в городе Грубешове. Тут были взяты в плен полковник Зубрицкий, несколько офицеров и множество нижних чинов».

---

* Портрет Орурка висит в Зимнем дворце среди героев Отечественной войны 1812 года. *(Примеч. автора.)*

(Речь, очевидно, идет о поляках, служивших в войсках Наполеона.)

«Повыше города, в лесу, я заметил, что немалое количество неприятельских войск бросилось на лед, чтобы переправиться через реку. Тотчас схватив неприятельские ружья со штыками и двух казаков Турчанинова 2-го полка, я поспешил к неприятельским войскам, которые, пришедши в робость, соединились в кучу, провалились и пошли под лед, а оставшиеся 12 человек я захватил в плен и представил генералу».

Этот подвиг тоже остался неизвестен высшему начальству, и награда опять пролетела мимо прадедушки, чего он не мог забыть до самой своей смерти в Скулянах, с чего я и начал эту мою книгу.

А что, не назвать ли ее семейной хроникой или даже романом-хроникой?

Надо подумать.

Будучи неожиданно переброшен со своим Нейшлотским полком с турецкого фронта на север, прадедушка, родившийся в Молдавии или на Украине, что мне в точности неизвестно, но, во всяком случае, привыкший к южной степной природе, к особому причерноморскому миру сухих новороссийских просторов, к скифским курганам, полыни, суховеям, к полосе Черного моря, которая сопровождала его во время турецкой кампании, к Дунаю, к быстрому Пруту, к Серету, где через сто лет пролилось столько русской крови, к очертаниям турецких крепостей,— вдруг попал на север, в густые хвойные леса левого фланга русской армии, которая уже приступила к окончательному разгрому наполеоновских дивизий.

Прадедушка опоздал к Бородину и пожару Москвы, к Тарутину, к Малоярославцу...

Когда он со своим Нейшлотским полком появился на театре военных действий Отечественной войны, то центр армии Наполеона, или так называемая Великая Армия, Grande Armèe, был уже почти разгромлен и Наполеон начал свое ужасное отступление.

В ноябре наступили холода, речки замерзли, что дало возможность прадедушке потопить неприятельский отряд, провалившийся под лед: как бы некое преддверие Березины.

Через сто с лишним лет после прадедушки нечто подобное повторилось со мной с той лишь разницей, что я начал свою войну, попавши с юга на север, а закончил ее на юге, на Румынском фронте, в предгорьях Карпат, на походных носилках, с бедром, пробитым навылет осколком немецкой бризантной гранаты, а прадедушка начал свою войну на юге, потом попал на север и в конце концов получил под Гамбургом четырнадцать ранений. Если же к этому столетию прибавить еще лет шестьдесят до сего дня, когда я на старости лет взялся за свою семейную хронику, то получится лет полтораста, если не больше, цифра настолько почтенная, что ничего нет удивительного в том, что я принужден пренебречь всякой хронологией, а писать по завету Льва Толстого — «как вспомнится», или даже еще лучше по-своему — «как представится».

Сейчас, когда я пишу и переписываю эти строки, мне представляются глухие белорусские леса, куда я попал в крещенские морозы мальчишкой-вольноопределяющимся, в чем-то повторив молодость своих деда и прадеда.

Красота еще никогда не виданной мною русской северной природы, ее сверкающей зимы, запах смолистых елей, заваленных высокими сугробами, имеющих вид как бы одетых в тулупы, несказанно восхитили меня, я чувствовал себя в некотором сказочном царстве, и на поздней утренней заре, когда в апельсинном снизу, но все еще темном вверху небе гаснут последние звезды, а по мелколесью хрустально потрескивает двадцатиградусный мороз, и первые дымы встают столбами над трубами белорусских халуп, и в лиловом зените тает осколок ледяного месяца, а я, выскочив без шинели, в одних валенках, умываюсь жестким снегом,— то в эти минуты жизнь казалась мне одинокой и прекрасной до слез, и ни до какой войны не было мне дела, хотя за горизонтом и слышались уже привычные звуки как бы где-то далеко выбиваемых ковров.

Это был ближний тыл. А потом я увидел и передовые позиции: едкий бальзамический дым еловых костров, глубокие землянки-блиндажи в три или даже четыре наката ядреных сосновых бревен, истекающих прозрачной смолой, и в печурке трещат ловко наколотые дрова, а земляные нары, на которых спал наш орудийный расчет, были за-

стланы душистым лапушником и можжевельником с мутно-синими ягодами.

Несмотря на масляную коптилку и отблески горящей печурки, в землянке нашей было так темно, что, выбравшись из глубины наверх по земляным ступеням, обшитым свежим тесом, я бывал почти до обморока ослеплен дневным светом независимо от того, светило ли солнце или небо было покрыто темными тучами.

Рядом с землянкой, наполовину вкопанное в землю, стояло наше орудие — скорострельная трехдюймовка. Таких орудий в батарее было шесть, и они были выстроены в ряд, по линейке, так называемым параллельным веером.

Наше орудие на первый взгляд немногим отличалось от тех пушек, какие были во времена дедушки и прадедушки: хобот, колеса, зарядный ящик. Но если присмотреться, в нем было много нового и даже новейшего: масляный компрессор, передний щит, защищающий орудийную прислугу от пуль и осколков, разные поворотные и подъемные механизмы, но главное — оптический прибор прицельного приспособления, или, как его называли, панорама, бережно хранимая, как микроскоп, в особом стальном ящичке, приделанном к станине орудия, и во время стрельбы вставлявшаяся в гнездо рядом с местом первого номера, то есть наводчика.

Затвор был поршневой и на вид очень массивный и тяжелый, стальной. Но он очень легко открывался — стоило лишь нажать и потянуть на себя рукоятку на пружинке. Тогда открывалась казенная часть ствола, и туда, в зеркально отшлифованное отверстие, надо было вогнать снаряд, котрый назывался у нас унитарным патроном, так как составлял как бы одно целое с медной гильзой. Потом затвор так же легко закрывался, защелкивался, и для того, чтобы произвести выстрел, следовало дернуть за короткую цепочку, обшитую кожей, что делало ее похожей на сосиску.

Никогда не забуду свой первый выстрел!

Бомбардир-наводчик Ковалев навел орудие, «отметившись» по отдельному дереву в полосе дальнего леса, я открыл затвор черной вороненой стали, вложил в казенную часть длинный и довольно тяжелый унитарный патрон с головкой, поставленной «на удар», достав его предварительно из особого лотка, а потом плавно захлопнул затвор.

Орудийный фейерверкер проверил верность прицела, приложив глаз к окуляру оптического прибора, и дал мне предварительную команду:

— По цели номер семнадцать гранатой — огонь!

Но это еще не значило, что я должен тянуть за сосиску, я должен был дождаться окончательной команды «первое».

— Первое! — крикнул орудийный фейерверкер, записывая что-то в записную книжку в клеенчатом переплете.

«Первое» — это был номер нашего орудия.

Со страхом, даже с ужасом я взялся за кожаную сосиску спускового устройства и, зажмурившись, изо всех сил дернул. В тот же миг из дула вылетел лоскут красного огня, но звук оказался не столь оглушительным, как я представлял: не басовитый, барабанный, а скорее какой-то струнно-сорванный. Одновременно с этим орудие подпрыгнуло и ствол отскочил назад, чуть не ударив замком мою руку. Потом масляный компрессор не торопясь, как бы на салазках накатил его на прежнее место. А звук вылетевшего снаряда шарахнул метлой по верхушкам рощи и унесся вдаль, к немецким позициям, все утихая и утихая.

Мои товарищи солдаты, стоявшие вокруг, с добродушным смехом поздравили меня с боевым крещением... а звук снаряда все еще слабо слышался, пока совсем не заглох, и лишь через минуту или две откуда-то издалека. из-за синих белорусских лесов, донесся слабый звук разорвавшейся гранаты.

Оказалось, что «мой снаряд» хотя, в общем, и попал по цели номер семнадцать, но в это время там не было «скопления неприятеля» и он разорвался впустую, о чем нам тут же сообщил телефонист, высунувшись из своего окопчика, связанного проводом с наблюдательным пунктом.

Помню мое огорчение по этому поводу. Тогда я не отдавал себе отчета о последствиях попадания моего снаряда по «скоплению неприятеля».

Только сейчас, через шестьдесят лет, мне вдруг однажды бессонной ночью представилось, что было бы, если бы наш снаряд попал куда надо.

...Толпа немецких солдат в серо-синих шинелях и касках в суконных чехлах, стоящих с алюминиевыми манер-

ками возле походной кухни,— и вдруг раздается резкий свист и в самой середине этой толпы разрывается граната, которую я только что держал в руках: во все стороны летят оторванные ноги в сапогах, руки, котелки, окровавленное тряпье, исковерканные каски, и черное облако вонючего мелинитового дыма застилает всю эту ужасную картину массового убийства, совершенного девятнадцатилетним сентиментальным мальчишкой, поэтом и фантазером, потянувшим за кожаную колбаску за пять верст оттуда.

Сейчас от одной мысли об этом у меня сжимается сердце и чудный солнечный лесной сентябрьский пейзаж меркнет в моих глазах.

А тогда — ничего...

...и война, с которой я начал свою сознательную молодую жизнь, представлялась мне лишь скоплением, как я теперь понимаю, различных незначительных мелочей, казавшихся мне тогда самыми важными в жизни: оловянные колпачки на боевых головках наших снарядов, которые, перед тем как зарядить орудие, следовало снять, потому что они охраняли дистанционную трубку, поставленную на картечь с красной печатной буковкой «к»; серповидный особый ключ с двумя шпеньками для установки кольца дистанционной трубки на заданное расстояние; стреляная гильза, которая после выстрела выползала из казенной части орудия, горячая, дымящаяся, покрытая зеленоватым маслом, и падала на землю с музыкальным бронзовым звоном; оптический прибор прицела, повернутый назад и отражающий в своем зеркале синеющий вдалеке лес... Меня радовали новые сапоги, полученные у каптенармуса в обозе второго разряда, и гречневая каша, специально оставленная от обеда, которую мы подогревали на ужин, покрошив в нее луку и кусочки мясных порций, сбереженных от того же обеда. А как радовали меня письма от знакомых барышень, каким влюбленным героем казался я тогда сам себе. А как я гордился большим кинжалом, так называемым бебутом — непременной принадлежностью каждого артиллерийского канонира,— а также тяжелым солдатским наганом в кожаной кобуре...

Все вокруг волновало и радовало меня и было в то же время как бы подернуто легкой, прелестной, беспричинной грустью молодости. Что же касается снарядов, которые

время от времени выпускала наша батарея куда-то в неведомую даль, то это меня беспокоило меньше всего, если даже оказывалось, что стрельба была удачной и наши гранаты разрывались в немецких окопах или наши шрапнели, разрываясь в воздухе, косили на марше немецкие колонны, не успевшие укрыться от нашего беглого огня.

Я не представлял себе немецкие трупы на снегу, так же как, вероятно, мой молодой лихой прадед, сто лет назад где-то в этих местах пустив под лед скопление французов, не представлял себе всего значения того, что он наделал, а видел только живописную картину: ставшие дыбом льдины с сапфирно-синими изломами, крики ужаса, французские кивера, плывущие по черной воде, смятение, серое низкое небо над замерзшими лесами...

...все это, я думаю, прошло, как-то не затронув воображения прадедушки. Душа его ликовала, когда он гнал пленных представлять их генералу в надежде получить за свой подвиг «Георгия». Однако его надежды не сбылись. Ему не везло на ордена. Только это, может быть, по-настоящему огорчало его. А то, что живые люди, хотя и французы, пошли под лед и захлебывались в черной зимней воде среди течения, которое куда-то волокло их мертвые тела с обвисшими усами и сиреневыми лицами утопленников,— это, наверное, тогда пролетало мимо его сознания, в чем и заключался весь ужас войны, который я стал понимать лишь сравнительно недавно.

Может быть, и прадед, умирая в Скулянах, понял весь ужас того, что он делал...

...Можно ли примириться с ужасами войны, которая ни на один день не прекращается на земном шаре — то в одном месте, то в другом, то почти незаметно, тлея, как подземный пожар, то вдруг вставая багровыми облаками до самых звезд...

А в молодости — что? Смерть? Ну и черт с ней! Какая чепуха. Не стоит внимания.

«22 декабря корпус наш состоял под командой генерала Мусина-Пушкина, который имел квартиру во Владимире-Волынском,— продолжает прадедушка свои записки.— Генерал отрядил полковника Баллу с Нейшлот-

ским, Пензенским, Саратовским пехотными полками, 43-й егерской батарейной ротой полковника Х. и легкой при полках артиллерией, двумя донскими и частью Переяславского конно-егерского полка за границу».

Это уже был полный разгром Наполеона. Не повезло прадеду: он едва поспел к шапочному разбору. А то, что он до этого не за страх, а за совесть воевал с турками, при звуках победных фанфар Двенадцатого года было забыто, и награды опять пролетели мимо.

Приходилось всего лишь добивать разрозненные части бегущего неприятеля.

И все это происходило примерно в тех же самых местах, где в 1916 году воевал с немцами я.

Дух прадеда моего как бы носился еще среди этих дремучих лесов на стыке Белоруссии, Литвы и Польши, где на перекрестках еще можно было увидеть распятие, а в хвойной чаще вдруг на поляне показывалась то «рыбья косточка костела, то православной церкви просфора».

...И почту еще, как при деде и прадеде, возили в этих глухих местах на тройках с колокольчиком почтальоны в тулупах, вооруженные против разбойников саблями и пистолетами...

Сидя по вечерам в глубине своей землянки, орудийцы нередко вспоминали давно бытующие в народе рассказы о нашествии Наполеона в достославном 1812 году. Наши позиции между Минском и Вильно, под Сморгонью как раз находились близ того самого тракта, по которому на легких саночках, окруженный конным конвоем, завернувшись в меховой плащ, и уже не в знаменитой своей треуголке, а в собольей шапке с опущенными ушами бежал из России властелин полумира и где его чуть не захватили в плен казаки.

Мне даже не надо было представлять себе ту далекую зиму и то шоссе. Я видел его каждый день: громадные березы, синеющие в дыму метелей, и густой ельник, в снежной чаще которого мерещились мне оранжевые тулупы партизан, их самодельные копья, косы и вилы и кудлатая голова сизовато-красного курносого Дениса Давыдова, тоже в мужицком тулупе, с образом Христа-спасителя на груди.

Часто мы пели хором известную песню «Шумел, горел пожар московский», с особенным чувством упирая на

горькие слова Наполеона: «Зачем я шел к тебе, Россия, Европу всю держа в руках?»

И при малюсеньком огоньке коптилки мы представляли Бородинский бой, московский пожар, кремлевскую стену, где среди дыма и пламени стояла маленькая фигурка в белом жилете и сером сюртуке, и гибель Великой Армии среди бесконечных снегов и тех самых лесов, которые окружали нас.

На мотив все той же «Шумел, горел пожар московский» наши орудийцы пели также неизвестно кем сложенную песню: «Шумел, горел лес Августовский; то было дело в сентябре; мы шли из Пруссии Восточной, за нами германец по пятам».

Это были горькие воспоминания о страшном поражении царской армии в Мазурских болотах, о гибели двух корпусов — Самсонова и Ренненкампфа.

В песне этой упоминалось также о подвиге, совершенном нашим полубатарейным командиром поручиком Тесленко, щуплым офицером с веснушчатым незначительным личиком — «из простых», — пользовавшимся огромной любовью у солдат: «Поручик храбрый наш Тесленко сказал: «Не сдамся никогда!»...— и т. д.

В чем заключался его подвиг во время отступления через Августовские леса, я не знал, так как прибыл в часть после этого отступления, когда наша армия уже остановилась и заняла прочные позиции.

В этих местах наша батарея стояла, лишь изредка меняя позиции, всю бесконечно длинную зиму, а потом прелестную белорусскую весну с ее мартовскими туманами, капелью, подающей дождем с длинных ветвей берез, и березовым соком, который мы, просверлив столетние, «кутузовские» бело-черные стволы и вставив бузиновые трубочки, собирали в котелки и с наслаждением пили эту свежую, прозрачную, как слеза, слегка душистую и чуть-чуть сладковатую воду.

Все березы были обвешаны солдатскими котелками.

Стояли мы здесь также почти все лето, незабываемое «лето под Сморгонью», когда спокойная зимняя жизнь с редкими перестрелками кончилась и несколько раз нам пришлось участвовать в тяжелых боях.

...Глухая ночь. Далеко вправо бой. Еловый лес пылает, как солома. Ночная тишь разбужена пальбой, похожей на далекий рокот грома. Ночной пожар зловещий отблеск льет. И в шуме боя, четкий и печальный, стучит, как швейная машинка, пулемет, и строчит саван погребальный.

...Ночь прошла тревожно и тоскливо, где-то справа за холмом гремело, а наутро луг, и лес, и нива — все в росе курилось и блестело. Бой умолк, но старые березы, наклоняясь длинными ветвями, у дороги проливали слезы над простыми серыми крестами...

Были кресты не только прошлогодние, серые, но также и совсем новые, желтевшие свежей древесиной. Но были также и совсем древние, каменные, замшелые, сохранившиеся, вероятно, еще с прадедовских времен.

Выходя иногда на свет божий из землянки, если было затишье, любил я бродить вдоль «кутузовских» берез в молодом ельничке, и мне казалось, что в это время в меня вселяется душа моих предков Бачеев — деда, прадеда — русских офицеров, в течение нескольких столетий и в разных местах сражавшихся за Россию, за ее целостность, за ее славу, за Черное море, за Кавказ...

...как странно движется время, если только оно действительно существует, в чем я иногда и сомневаюсь,— в разные стороны!

А ведь был еще и прапрадед, отец прадедушки Бачея, о котором не осталось никаких сведений, кроме того, что его звали Алексеем и он был полтавским дворянином. Но следов его жизни мне не удалось найти.

Как я уже упоминал, по семейным преданиям и судя по фамилии и по историческим обстоятельствам того времени в Малороссии, прапрадед мой был запорожцем, одним из полковников славной Запорожской Сечи, охранявшей границы нашей родины на юге и на западе от польской шляхты, от турок и от крымских татар, о чем уже написано историками.

Когда Запорожская Сечь была уничтожена Екатериной, то запорожские полковники получили земли и стали оседлыми помещиками.

Во всяком случае, мой прапрадед Алексей Бачей не принадлежал к тем сечевикам, которые после уничтожения

Сечи бежали за Дунай и отложились от России, а остался верен своей родине.

Все Бачеи были военные.

Не следует забывать, что я Бачей лишь с материнской стороны. Со стороны отцовской я происхожу из вятского духовного сословия. Таким образом, во мне странным образом соединилось южное и северное, вятское и скулянское, военное и духовное, даже запорожское и новгородское, так как вятские Катаевы были выходцами из Новгорода, а их предки по преданию принадлежали к ушкуйникам. Все это странным образом соединилось во мне и наложило отпечаток на весь мой характер.

Впрочем, в дореволюционное время и священники зачастую участвовали в войнах и даже были награждаемы боевыми наградами — наперсными крестами на орденских лентах. У папы в комоде я видел два подобных наперсных креста, принадлежавших один моему вятскому дедушке, а другой, по-видимому, его отцу, то есть моему прадедушке, тоже священнику, который, видимо, участвовал в одной из турецких кампаний в качестве полкового священника.

Теперь, подобно своему деду и прадеду, я считаю вполне уместным предаться своим военным воспоминаниям.

У нас на батарее под Сморгонью служил бомбардир-наводчик Ковалев. Это был молодой исправный солдат родом из Таврической губернии, по-крымски смуглый, с карими, девичьи нежными глазами и черными, закрученными вверх усиками. Он был ласковый, добрый и славился на всю бригаду как один из лучших наводчиков, содержа и себя и свое орудие в образцовой чистоте и порядке; товарищи его любили, и даже наш строгий пожилой фельдфебель подпрапорщик Ткаченко, который никому не давал спуску и смотрел на своих подчиненных волком,— даже он изредка выказывал Ковалеву некоторую начальственную благосклонность: подойдет, бывало, к Ковалеву, похлопает ладонью по погону и спросит:

— А скажи мне, Ковалев Ваня, какой губернский город, например, в Херсонской губернии?

— Херсон, господин подпрапорщик.

— Верно. Молодец. А в Екатеринославской?

— Екатеринослав, господин подпрапорщик.

— Так. А в Полтавской?

— Полтава, господин подпрапорщик.

— Опять молодец, Ваня. А теперь скажи мне, какой ты сам губернии?

— Таврической, господин подпрапорщик.

— Хорошо. А какой в нашей Таврической губернии губернский город?

— Симферополь, господин подпрапорщик.

— Мне это очень странно, Ковалев: губерния Таврическая, а губернский город — Симферополь?

— Так точно, господин подпрапорщик.

— Вот тебе и раз! У всех губерний как у губерний, а у тебя губерния Таврическая, а город — Симферополь?

Ковалев густо краснел, переминаясь с ноги на ногу, но продолжал держать руки по швам и молчал.

— Куда ж ты свой губернский город девал? Профукал? Не похвалю я тебя, Ковалев, за это. Слышите, друзья? — обращался Ткаченко к присутствовавшим при сем батарейцам, сановно поглаживая себя по довольно большому животу.— Оказывается, наш Ковалев профукал свой губернский город.

Видя, что начальство в хорошем настроении, солдаты охотно поддерживали его шутку и со своей стороны начинали донимать Ковалева расспросами, каким образом ему удалось профукать свой родной губернский город.

Читатель, конечно, догадывается, что вместо слова «профукал» было употреблено другое слово из «неисчерпаемых запасов великого, свободного русского языка».

С течением времени за Ковалевым утвердилась слава как за человеком, профукавшим свой губернский город.

На Пасху я уезжал в отпуск на неделю, и, как водится, мои товарищи по орудию надавали мне разных поручений — привезти из тыла кому четверку легкого табачку, кому курительной бумаги, кому чернильный карандаш и т. д.

Перед тем как я собрался влезть в батарейную двуколку, чтобы ехать на станцию Залесье, ко мне смущенно подошел как-то боком Ковалев и, отведя меня в сторону, попросил привезти ему «одну вещь»... он несколько помялся, а именно: медаль за трехсотлетие дома Романовых. Я был удивлен, так как до сих пор не знал о существовании такой медали: у нас в армии ее никто не носил. Заметив мое удивление, Ковалев тихим, ласковым голосом

объяснил мне, что все солдаты, проходившие действительную службу в 1913 году, имеют право носить юбилейную медаль и что эти медали продаются везде и стоят семьдесят пять копеек штука вместе с колодкой и ленточкой.

— Сделайте мне такое одолжение,— умоляющим голосом просил Ковалев, заливаясь девичьим румянцем.— Не откажите, Валентин!

На батарее меня впервые в жизни называли по имени-отчеству Валентином Петровичем или, более официально, господином вольноопределяющимся, но в минуты особого расположения просто Валентином.

Ковалев даже полез в узкий карман своих черных артиллерийских шаровар за кошельком, но я его пристыдил и влез в телефонную двуколку, а через неделю вернулся и вручил Ковалеву небольшой сверточек, завернутый в розовую папиросную бумагу, который он проворно спрятал в нагрудный карманчик своей аккуратной гимнастерки так, чтобы никто не заметил. Несмотря на всю свою радость, он все же был чем-то смущен.

Я никак не предполагал, что при всей его скромности у Ковалева есть тайная страстишка к наградам!

Впрочем, его можно было понять. Он был одним из лучших наводчиков, воевал с первых дней войны, совершил вместе со своим орудием легендарное отступление с тяжелыми боями через Августовский лес, но до сих пор еще почему-то не был награжден Георгиевским крестом, хотя несколько наших наводчиков уже носили на груди этот такой скромный и вместе с тем такой значительный крестик из литого серебра, на черно-оранжевой ленточке, дающий солдату, кроме славы, еще три рубля ежемесячной пенсии, что также имело немалое значение.

В один прекрасный день Ковалев, покопавшись в углу землянки, вылез наверх на солнышко к своему орудию для того, чтобы проверить, все ли брезентовые чехлы на затворе и на конце орудийного ствола в порядке. На его груди блестела позолоченная юбилейная медаль на оранжевой романовской ленточке. На лице Ковалева было написано скромное удовольствие с оттенком легкой тревоги.

Орудийцы, гревшиеся на весеннем солнышке возле своей трехдюймовки, так и ахнули.

— А что, хороша штучка? — хвастливо сказал Ковалев, подбрасывая ладонью медаль, где на одной стороне

был изображен первый Романов, Михаил, в большой шапке Мономаха, из-под которой виднелось маленькое, почти детское личико, а на другой — профиль ныне царствующего государя императора Николая II, тоже Романова, но, как вскоре оказалось, последнего.

Сначала орудийцы как бы онемели, не отрывая глаз от груди Ковалева. Затем они стали переглядываться и перемигиваться, и во время этого молчаливого переглядывания и перемигивания как бы сложилось общественное мнение относительно этого чрезвычайного события.

Тот, кто побывал на военной службе и жил среди солдат, тот знает, что значит солдатское общественное мнение и что значит сделаться в глазах солдат посмешищем, мишенью простодушных шуток, иносказаний и подковырок.

В один миг Ковалев стал посмешищем батареи. А это — не дай бог! Ковалев никак не ожидал, что его невинное честолюбие вызовет столь бурный отклик у товарищей. Он не принял в расчет, что почти все орудийцы были его «годками», то есть одного призывного возраста, и проходили действительную службу в злополучном 1913 юбилейном году, а стало быть, так же, как и Ковалев, имели право на романовскую медаль, однако почему-то не воспользовались этим правом.

Не стану описывать всех мук, которые претерпел Ковалев, выслушивая замечания своих товарищей.

Даже самый близкий друг Ковалева бомбардир Прокоша Колыхаев, бывший рыбак с Голой Пристани в Херсоне, повернулся к Ковалеву спиной, нагнулся и непристойно хлопнул себя по заду как бы в виде салюта в честь юбилейной медали.

Что касается фельдфебеля Ткаченко, то он дипломатично делал вид, что не замечает медали, но при этом не без ехидства шевелил своими фельдфебельскими усами и от сдерживаемого смеха наливался кровью, отчего его щеки приобретали каленый цвет медных пятаков.

— Скажи мне, Ваня, ты и до ветру теперь будешь ходить в таком виде?

Эта пытка продолжалась несколько дней и кончилась тем, что однажды на рассвете, когда все орудийцы еще спали и лишь я один с обнаженным бебутом выстаивал свое ночное дежурство у зачехленного орудия, Ковалев босиком выбрался из землянки и прокрался к новому

колодцу, который так отлично соорудили для нас дивизионные саперы недалеко от мачты, где еще светился зажженный на ночь фонарик «точки отметки».

Солнце уже чувствовалось за горизонтом, разгоняло ночные тени, и огонек фонарика почти полностью был поглощен приливающим светом весенней зари.

Я прикорнул на лафете и видел, как Ковалев наклонился над колодцем и бросил в него медаль, которая, блеснув в первом луче восходящего солнца, канула в темную глубину, унося с собой двух русских царей Романовых — первого и последнего, с аккуратным косым пробором, выпуклым затылком и небольшой окладистой бородкой под усами, со странной, непонятной полуусмешкой.

Вот что произошло через сто лет после того, как в этих же местах воевал мой прадед...

«...сей отряд,— продолжает он свои записки,— без всякого сопротивления неприятельского занял город Грубешов, где я, будучи поручиком и полковым адьютантом, исправлял должность плац-адъютанта, квартирмейстера для всего отряда и заведовал всеми передовыми постами, резервами и нарядами, не упуская также наблюдения за неприятельским движением, имея на то шпионами проворнейших местечковых жидочков с выплатой им хорошего жалованья из контрибуционной суммы...»

Значит, сверх всего прадед занимался тем, что в наше время называется агентурной разведкой или даже контрразведкой, расплачиваясь со своими шпионами, как он деликатно выражался, из «контрибуционных сумм», то есть из денег, взятых в казначействах неприятеля.

Представляю себе нечто гоголевское: местечковый житель Янкель, в лапсердаке, в белых носках наружу, с рыжими пейсами, ни жив ни мертв стоит перед лихим поручиком с раздутыми от гнева ноздрями, который, стуча ручкой пистолета по столу, чеканит ему сквозь стиснутые зубы:

— Так вот что я тебе скажу: или ты мне за одну ночь разведаешь и доложишь, где ночует французский арьергард, и тогда получишь в звонкой монете сотню польских злотых, или я тебя вздерну на первой сосне. Понял, что я тебе сказал?

— Понял, пан офицер... зачем же не понял? Еще и солнышко на небо не взойдет, как я вашему высокому

благородию шановному пану коменданту доложу всю диспозицию.

— Ну так ступай. И помни, я не шучу. Пшел!

«Посредством сих шпионов я, открыв движение неприятельских войск от Красного на правый наш фланг, доложил о сем шефу полка г. Балле: посему сделано распоряжение подвинуть войска от Красного для занятия Грубешова; с прочими войсками и 24 орудиями г. Балла с 8 на 9 генваря 1813 года двинулся к местечку Уханы, послав подполковника Турчанинова 2-го с казачьими полками с правой стороны, а меня с сотней казаков по прямой дороге, имея наблюдение впереди левого нашего фланга; на дороге я встретил неприятельский бикет и взял в плен одного офицера и семь человек рядовых близ местечка Уханы. Узнав от пленных, что неприятельские силы под командованием полковника Жувье с 12 орудиями в местечке Вусковичи, то есть в 8 верстах от нас, я дал о сем знать Балле, просив его как можно скорее поспешить с отрядом к м. Уханы. До прибытия его я оставил преследование бегущих бикетов неприятеля и подвигался скрытно к м. Уханы, оставив при отряде Платова 5-го полка хорунжего Карпова для того, чтобы на рассвете он дал мне знать, в коль далеком расстоянии будет находиться мой отряд на марше не далее от меня двух верст. Я схватил еще двух пленных и вторично послал Карпова доложить г. Балле, что силы неприятельские весьма слабы и чтобы он, сдвинув все войска в густую колонну, поспешно следовал прямо в местечко, предваряя, что именем его, г. Баллы, я послал приказание Турчанинову обойти скрытно м. Уханы и стать с фланга, дабы действовать напротив неприятеля. Сам я решил на рассвете открыть силы неприятельские».

«Видя впереди местечка неприятельскую кавалерию, я повел перепалку в надежде, что Турчанинов, отрезав неприятеля, нанесет ему решительный удар, но вместо этого вышло противное: г. Балла позади меня в полуверсте развернул из густой колонны фрунт, открыл канонаду с батарейных орудий; неприятель, увидя наши силы, тотчас пошел ретироваться...»

«Я, будучи в недоумении, послал Карпова доложить Балле сими словами:

— Уж нечего трусить. Неприятель бежал».

«...а видя в местечке суматоху и горя неудовольствием, сам поехал к отряду, застал его еще на месте и лично повторил Балле прямо в лицо вышеизложенные слова и получил в ответ:

— Стыдно, срамец, в публике это говорить!»

«За всем тем я просил послать стрелков из егерей бегом в местечко, что и было исполнено; сам же я с сотнею казаков ударил на неприятельскую кавалерию, схватил в плен 13 человек, а прочие присоединились к ретирующейся пехоте; между тем я, услышав с левой стороны залп, а потом батальонный огонь, поспешил на место — и что же? 43-го егерского полка штабс-капитан Михайловский с его ротой егерей настиг было неприятеля, выходящего из местечка, и когда неприятель сделал по нем залп и повел батальонный огонь, то сей храбрый офицер с своею ротою лег на косогоре. В таком положении я, заставши его, пристыдил и сам поскакал вперед на открытое место, где, глядя во все стороны на пять верст, увидел весьма много побросанных вещей и экипажей и ретирующегося неприятеля по глубокому снегу в двух густых колоннах числом до четырех тысяч; не видя нигде Турчанинова, я послал моего бессменного вестового Платова 5-го полка храброго казака Полякова, с тем чтобы отыскать Турчанинова, велел ему повести на изнуренного неприятеля атаку или, по крайней мере, показаться бы из леса и так привести неприятеля в большую робость».

«Тут полковник Балла со всем отрядом и артиллерией вышел из местечка. Увидя неприятеля в вышеописанном положении за три версты впереди и меня с сотней казаков, преследующего оного, прислал 43-го егерского полка поручика Н. сказать мне, чтобы я как можно старался не допустить неприятеля в лес. Я в ответ просил офицера доложить Балле, что пусть он сам уже удерживает тогда, когда по трусости выпустил неприятеля из местечка».

«Но за всем тем я с моею сотнею бросился на тех и отрезал 24 человека».

«Итак, я довольствовался тем, что, не видя Турчанинова с кавалерией, преследовал неприятеля по следам его в глубоком снегу, а видя, что неприятель начал скрываться в лес, я уверил моих казаков, что у неприятеля ружья не заряжены, и повел их в атаку с тыла. Тут неприятель начал передо мною стлаться по снегу, как будто по белым пуховикам; здесь я взял более 100 человек в плен...»

«...и вдруг из леса последовал залп, от которого я потерял два человека убитыми и несколько ранеными; тогда я отправил пленных к отряду, сам выскочил на дорогу к Красному, где, увидя французского уланского офицера, сбил ему кивер пистолетной пулей, а потом плетью через лоб сбил с лошади и взял в плен...»

«Как военную добычу я снял с него богатую лядунку и надел на себя, а его самого отправил к отряду».

«Когда уже не видно было нигде неприятеля, я, собравши еще некоторых пленных, при заходе солнца прибыл в местечко Уханы. Здесь заседал г. Балла и прочие штаб и обер, а вместе с ними и пленные офицеры, при закуске».

Вероятно, и «при выпивке».

«Тут французский уланский офицер увидел на мне свою лядунку. Так как я был в легкой крестьянской шубе, то он принял меня за простого казака и просил г. Баллу, чтобы я отдал ему лядунку. Хотя г. Балла и согласился на то, но я ответил, что военная добыча никогда не возвращается, а всегда остается победителю».

«Тут начали меня спрашивать, каким образом я его ранил в лоб, да так, что только снял кожу, тогда как он уверял, что был ранен пулею. Но когда узнали, что я ранил его плетью, оказали к нему презрение, и даже его товарищи французские офицеры сожалели, что он объявил себя раненым, утруждая медиков, ходя на перевязки...»

...встает довольно яркая картина последних дней так называемой Великой Армии Наполеона, едва уносившей ноги по глубоким январским снегам недалеко от местечка Уханы и Красного, то есть примерно там же, где сто лет спустя довелось и мне воевать с немцами. Но какая громадная разница была между войной, описанной прадедом, и войной моей!..

Только то и было общего что один и тот же неизменный пейзаж: дремучие хвойные леса, поляны, небольшие поля, давно уже заброшенные, заросшие бурьяном, васильками, да кое-где на этих маленьких делянках среди засоренной каменьями земли — стальные чушки неразорвавшихся снарядов и воронки от бомб.

Во времена прадеда война была маневренная, подвиж-

пая, с кавалерийскими атаками, засадами, взятием в плен, сикурсами, военной добычей, густыми колоннами батальонов, дневными переходами, ночными биваками...

...казачьи разъезды с пиками, меховые шапки, кивера, ментики, много лошадей, кареты генералов. Природа вокруг, хорошо известная по «Войне и миру». Местами как будто даже нечто вроде ремарок из «Бориса Годунова», например — «корчма на литовской границе»...

Все вокруг меня дышало русской историей. Но люди в мое время были уже другие: тоже русские, тоже воины (ратные люди), но не такие нарядные, заметные, шумные, как в прадедовское время.

Не воины, а просто солдаты.

Да и характеры совсем другие. Такого забияку, рубаку, скандалиста, как мой блаженной памяти прадед, я в армии никогда и не видывал. Офицеры скромные, незаметные, с ног до головы в хаки. Солдаты тоже в защитном: зимой в серых папахах из искусственной нитяной мерлушки. Разве только и выделяются оранжевые револьверные шнуры на шеях артиллерийской прислуги. Войск почти нигде не видно, а их вокруг миллионы: все спрятано, скрыто, замаскировано, зарылось в землю. Даже батарею в двух шагах от себя не заметить, так она умело закидана еловыми ветками, заставлена срубленными сосенками.

Такое впечатление, что вокруг безлюдье и никакой войны нет.

А война себе идет да идет, позиционная, нудная, все на одном месте — против дальнего леса, за которым где-то, невидимые, тоже окопались немцы со своими гаубицами, пулеметами, газовыми командами. Между нами и немцами «ничья земля» — разбитый вдребезги город Сморгонь с рыбьей косточкой разрушенного костела. Зимой Сморгонь занесена глубокими снегами, летом — сплошь лиловая от разросшейся, местами одичавшей махровой сирени, которую наши батарейцы ползают ломать, чтобы громадными букетами, вставленными в стреляные гильзы, украсить свои глубокие темные норы.

Война позиционная. Она может длиться таким образом — от боя до боя — месяцами, годами.

Долгая жизнь в одной землянке превратила нас, ору-

дийную прислугу первого орудия, в дружную семью со своими горестями, радостями, ссорами, примирениями и «разными случаями».

Например, история с Зайцевым.

Он был одним из наших батарейцев, и хотя служил с первого дня войны, то есть уже почти два года, и побывал во многих боях, в том числе в знаменитом отступлении через Августовский лес, но не дослужился даже до бомбардирской лычки и снискал себе известность как один из самых ледащих, ничего не стоящих батарейцев.

Нередко фамилия каким-то странным образом определяет наружность человека. Зайцев не принадлежал к числу таких людей. В нем ничего не было заячьего, кроме разве толстеньких щек. Во всем же остальном он принадлежал к типу довольно плотных красивых русаков с несколько ленивыми глазами и медлительными движениями. Вопреки репутации «последнего человека» он был хорошо грамотен, одевался чисто, исправно умывался и даже чистил зубы, для чего носил за голенищем вместе с обкусанной деревянной ложкой костяную зубную щетку.

Иногда мне казалось, что лентяйство не врожденное чувство Зайцева, а скорее сознательное поведение, имеющее даже как бы характер скрытого протеста против военной службы.

Лентяйничал он чрезвычайно ловко, умело, тайно, так что поймать его на этом было почти невозможно. Он прямым образом не отлынивал от службы, но исполнял ее с особой, виртуозно спрятанной медлительностью, которую трудно было обнаружить.

Дрова по наряду рубил он с неуловимой оттяжкой, патроны подносил к орудию в самом жарком бою не слишком торопясь, во время чистки орудия, когда орудийные номера, взявшись дружно за длинный банник, с усилием вводили круглую щетку, густо смазанную орудийным салом, в канал ствола, Зайцев хотя и держался за банник, но лишь делал вид, что прилагает усилия.

В конце концов его возненавидел фельдфебель и хотя не мог поймать его с поличным, но при каждом подходящем случае посылал на штрафные работы.

Однажды он послал Зайцева копать землянку для нового наблюдательного пункта. Зайцев взял шанцевый инструмент и вместе с двумя плотниками и тремя телефо-

нистами-наблюдателями поплелся к месту работы за три версты от батареи, совсем близко от немцев.

Как он там работал, неизвестно, но среди дня на батарею позвонили с нового наблюдательного пункта, и телефонист, выскочив на свет божий из своего маленького окопчика, сообщил новость, что Зайцев ранен шальной немецкой пулей.

Через некоторое время на батарее появился Зайцев, которого вел батальонный плотник. Рука его была замотана бинтом из индивидуального пакета и висела на поясе, надетом на шею.

Орудийцы окружили Зайцева, но ничего особенного в нем не нашли, лицо его побледнело и выражало нечто вроде высокомерия или, во всяком случае, гордости.

Никаких подробностей относительно обстоятельств ранения от Зайцева добиться было нельзя, так как на все вопросы он отвечал лениво:

— Прилетела и пробила руку.

А появившийся фельдшер добавлял:

— Неизвестно еще, задета кость или не задета.

На батарею приехала санитарная двуколка, и фельдшер увез Зайцева в бригадный околоток, причем фельдфебель Ткаченко не удержался, чтобы не сказать:

— Доигрался!

К вечеру из околотка сообщили, что кость не задета. А через два дня, к общему удивлению, на батарею пришел своим ходом Зайцев с перевязанной рукой, спустился в землянку и улегся на свое место, положив под голову вещевой мешок.

Фельдфебель, обдумав положение, позвал Зайцева к себе и сказал:

— Ну что же, друг, можно тебя поздравить: походишь дня четыре в околоток на перевязку, а потом, как положено по ранению, поедешь с богом на четырнадцать дней в отпуск. Можно только позавидовать. Скажи спасибо немецкой дуре пуле.

— Никак нет,— сказал Зайцев.— От законного отпуска отказываюсь, а желаю остаться в строю.

У фельдфебеля Ткаченко округлились ястребиные глаза и еще больше побагровели сизые щеки.

— Это еще что за фокусы? — спросил он, нахмурившись.

— Никак нет, господин подпрапорщик,— ответил Зай-

цев, глядя прямо в лицо фельдфебелю. — Хотя я и ранен в боевой обстановке, но желаю остаться в строю.

Для человека непосвященного отказ Зайцева от законного отпуска должен был показаться по меньшей мере необъяснимым: попасть с фронта в тыл хотя бы на одну недельку было заветной мечтой любого солдата. Но фельдфебель Ткаченко, опытный службист, сразу раскусил Зайцева и еще более нахмурился.

— Ты что же это задумал? — грозно сказал он, напирая на Зайцева своим обширным животом, перетянутым широким офицерским поясом.— Выбрось из головы подобную глупость, а то знаешь... я таких шуток не люблю...

— Никак нет,— упрямо сказал Зайцев.— Будучи ранен, желаю остаться в строю. Имею на это право.

И тут вся батарея поняла замысел Зайцева: каждый раненый нижний чин, оставшийся в строю, награждался знаком военного ордена четвертой степени, то есть солдатским Георгиевским крестом, что, в свою очередь, влекло за собой повышение в воинском звании на одну лычку. Стало быть, Зайцев одним махом получал на грудь крестик, а на погоны бомбардирскую нашивку и из самого ледащего солдата превращался в уважаемую личность, георгиевского кавалера, что, помимо всего, давало еще ту привилегию, что в случае посадки на гауптвахту его, как георгиевского кавалера, должны были туда вести в сопровождении оркестра военной музыки.

Откуда батарейцы узнали о таком правиле, неизвестно, но в этом все были уверены. Кроме того, среди солдат считалось, что георгиевский кавалер имеет право посещать женские бани.

В этом духе батарея и обрушилась на Зайцева своими шутками и остротами.

Никто не думал всерьез, что Зайцев метит на георгиевского кавалера.

Были уверены, что Зайцев в конце концов получит отпуск и съездит в тыл, на чем дело и кончится. Однако Зайцев уперся. Встревоженный фельдфебель отправился в офицерский блиндаж, где доложил о положении дел командиру батареи. Тот удивился, пожал плечами и позвонил по телефону Эриксона командиру дивизиона. Командир дивизиона удивился еще больше и позвонил командиру бригады. Командир бригады подумал, потер свою

круглую, ежом стриженную седоватую голову и сказал, что если раненый воин желает остаться в строю, то это совсем неплохо, так как показывает боевой дух артиллеристов вверенной ему бригады, и что канонир Зайцев молодец.

Таким образом, судьба Зайцева круто изменилась. Из последнего, самого никудышного солдата он вдруг превратился в героя, и через некоторое время перед выстроенной батарей сам генерал — командир бригады — пришпилил к груди Зайцева литой серебряный крестик на черно-желтой полосатой репсовой ленточке, один лишь цвет которой сразу же придал Зайцеву боевой, молодцеватый вид, а желтая бомбардирская лычка поперек погона со скрещенными пушечками сделала его как бы еще более обстрелянным солдатом, побывавшим во многих сражениях, что, собственно говоря, вполне соответствовало истине.

Как сейчас вижу складную фигуру Зайцева, его гладко заправленную под пояс гимнастерку и на ней знак военного ордена четвертой степени, а невдалеке густой еловый лес, шоссе со столетними березами, пожелтевшими от удушающих газов, которые недавно на нашем участке пускал немец. Было такое впечатление, что березы эти облиты серной кислотой.

...и потом целый день по шоссе вдоль этих изуродованных берез одна за другой тянулись повозки, нагруженные, как дровами, почерневшими трупами убитых фосгеном солдат Аккерманского полка, стоявшего перед нашей батареей на передовой...

Может быть, именно где-то тут содрал прадедушка с французского офицера нарядную дорогую лядунку с золотой французской буквой «N», окруженной золотым лавровым венком,— вензель Наполеона.

На этой истории с трофейной лядункой обрываются записки моего прадеда: то ли ему надоело писать, то ли как раз в этот миг пришла смерть, подобно тому как она таким же образом впоследствии прервала записки его сына Вани, моего деда, отставного генерал-майора Бачея, отца моей матери.

К запискам прадеда приложена выписка из его формулярного списка:

«1813 года генваря 9 числа участвовал в сражении с польскими войсками под местечком Уханы и Вуйсловичем при разбитии и совершенном истреблении оных. Февраля 12-го близ крепости Новое Замостье послан был с казаками для открытия неприятеля и нашел одного в селении Плоскинев в числе 4 компаний пехоты, которую истребил и взял в плен 64 человека; марта 7-го при блокаде крепости Замостье на разных перестрелках был; того же марта 23-го при штурме неприятельской батареи в сражении и прогнании оной и за оказанные отличия 4 раза рекомендован начальству, но как и за прежние два раза, так равно и за сии не получил никакого награждения».

Понятно, почему прадедушке так не везло с наградами. У него был неуживчивый, заносчивый нрав. Он всем насолил и порядочно надоел начальству. По-видимому, это наследственное: по себе знаю.

«...того же года августа с 19-го в Пруссии, сентября с 9-го в австрийском владении, через Богемию 26-го, в Саксонии 27-го, в сражении при местечке Дале и в селении Гайтнахе со стрелками; октября 5, 13, 14, 17 чисел при городе Дрездене против французских войск и с того 17-го и по декабрь при блокаде и покорении того же города, а оттоль через Мекленбургские, Голштинские владения и голландские владения через Ганноверию декабря с 13-го в Дацком королевстве, при блокаде и до покорения города Гамбурга находился, где 1814 года генваря 1-го и по 28 число был в действительных сражениях и при занятии неприятельских укреплений и за оказанные отличия награжден орденом Владимира 4 степени с бантом...»

Наконец-то!

«...а оттоль того же года декабря с 10-го обратно через Ганноверию, Мекленбургию и герцогство Варшавское 1815 года февраля по 21-е, а с 21-го — в пределы России...»

«1818 года февраля в 10 день по Высочайшему Его Императорского Величества приказу за ранения уволен от службы капитаном с мундиром».

В заветном особом портфеле, в котором хранились записки как прадеда, так и деда, имелась еще запись, сделанная рукою одной из моих теток — сестер матери:

«Во многих сражениях он и раньше бывал ранен и контужен, но раны, полученные им под Гамбургом, оказались настолько серьезны, что продолжать военную службу уже не мог и должен был выйти в отставку. В то время как наши войска совершали свое победное шествие к самому сердцу Франции, дед, мучимый тяжкими ранами (их было 14), лежал в доме гамбургского пастора Крегера, где за ним самоотверженно ухаживала юная дочь пастора Марихен. Через несколько месяцев дед оправился и 10 декабря 1814 года выехал в Россию, в свое имение в Скулянах, с молодой женой».

На этом кончается все, что мне известно о моем прадеде с материнской стороны.

Возможно, что именно на том самом месте в Скулянах, где в прошлом веке стоял ныне давно уже не существующий большой дом прадедушки, теперь построен скромный, молдавского типа деревенский домик, в котором помещается управление процветающего скулянского совхоза и выставлен большой плакат с надписью «Миру — мир».

Здесь мы попрощались с молодым человеком, директором совхоза, выразившим сожаление, что мы не нашли никаких следов бывшего имения прадедушки — ни барского дома, ни пяти фруктовых садов, ни пруда, ни ветряных мельниц, сгоревших при наступлении советских войск на Яссы во время Великой Отечественной войны, ровно ничего, кроме, как я уже упоминал, чудом сохранившейся еще с петровских времен церковки и кладбища вокруг нее, где среди изъеденных временем и глубоко ушедших в землю, заросших мхом, полынью и бессмертниками могильных плит со стертыми, почерневшими надписями на русском, древнеславянском, латинском, молдавском и еще каком-то непонятном языке есть и могила моего прадеда, отставного капитана Елисея Алексеевича Бачея, разыскивая которую я еще неясно и первоначально представил в своем воображении все то, что написано в этой книге.

...и чашку крепкого сладкого чая с красным ямайским ромом...

1973—1975 гг.
Переделкино

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗБИТАЯ ЖИЗНЬ, ИЛИ ВОЛШЕБНЫЙ РОГ ОБЕРОНА 7
КЛАДБИЩЕ В СКУЛЯНАХ 511

Катаев В. П.

К29 Собрание сочинений. В 10-ти т. Т. 8. Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона; Кладбище в Скулянах.— М.: Худож. лит., 1985.— 743 с.

В том вошли написанные на автобиографическом материале книги «Разбитая жизнь, или Волшебный рог Оберона» (1969—1972), и «Кладбище в Скулянах» (1973—1975).

К $\frac{4702010200\text{-}128}{028(01)\text{-}85}$ подписное

ББК 84Р7
Р2

ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ КАТАЕВ

Собрание сочинений
в десяти томах

ТОМ ВОСЬМОЙ

Редактор *О. Новикова.* Художественный редактор *Е. Ененко.* Технический редактор *Е. Полонская.* Корректоры *Г. Киселева, О. Наренкова*

ИБ № 3864
Сдано в набор 18.05.84. Подписано к печати 07.02.85. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бумага тип № 1. Гарнитура «Обыкновенная новая». Печать высокая. Усл. печ. л. 39,06. Усл.-кр. отт. 39,06. Уч.-изд. л. 40,35. Тираж 150 000 экз. Изд. № III-1644. Заказ № 4-267. Цена 3 р.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», 107882, ГСП, Москва, Б-78, Новобасманная, 19

Киевская книжная фабрика, 252054, Киев-54, ул. Воровского, 24